ISSN 0130–6545

7.1995

Иностранная литература

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1
ИЮЛЬ
1955
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

В следующем номере "ИЛ"

В рубрике **№** - большая подборка статей и рассказов, представляющая творчество талантливого, эпатирующего и, к сожалению, недавно умершего американского писателя ЧАРЛЬЗА БУКОВСКИ.

Литературный гид «АВСТРИЙСКИЙ СИНДРОМ» посвящен выдающемуся культурному феномену, который во многом определил судьбы современной литературы, — мощному выбросу духовно-эстетической энергии, порожденному распадом Габсбургской империи. Вместе с ирландским номером (1995, № 2) этот литературный гид образует своего рода генеалогический диптих, рисующий родословную литературы завершающегося столетия.

Роман ЙОЗЕФА РОТА **«Иов»** — шедевр прозаического наследия одного из наиболее ярких писателей века, вольное переложение библейской притчи о многострадальном Иове.

Лекция АЛЬБЕРТА КАРЕЛЬСКОГО о творчестве Франца Кафки.

Статья ДМИТРИЯ ЗАТОНСКОГО **«Эта гротескная Австрия».**

А также рассказы, стихи, документальная проза.

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 26.06.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.

Бумага типографская. Усл. печ. л.25,2 Усл. кр.-отт. 26,6. Уч.-изд. л. 28,9 Заказ №866

Тираж 29 000 экз. Цена по подписке 10 000р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

7 июль 1995

СОДЕРЖАНИЕ

УМБЕРТО ЭКО — Маятник Фуко (*Роман. Перевод с итальянского Е. Костюкович*) 6

ДЖОН АПДАЙК — Игра с динамитом (*Рассказ. Перевод с английского И.Бернштейн*) 135

ЧЕСЛАВ МИЛОШ — Ода птенцу (*Стихи. Перевод с польского С.Морейно*) 140

МИЛОРАД ПАВИЧ — Вечность и еще один день (*Меню для театрального ужина. Перевод с сербского Н.Вагаповой и Л.Савельевой. Вступление Ясмины Михайлович*) 145

ГЕНРИ МИЛЛЕР — Дьеп—Ньюхейвен (*Рассказ. Перевод с английского А. Ливерганта*) 176

ЭМИЛЬ АЖАР — Голубчик (*Роман. Перевод с французского Н.Мавлевич*) 189

Литературное наследие

Вглубь одного стихотворения

ПОЛЬ ВЕРЛЕН — Песня без слов (*Перевод с французского. Вступление А.Гелескула*) 247

И. БРОДСКИЙ — Памяти Марка Аврелия 254

К 40-летию «ИЛ»

Юбилейная анкета «ИЛ» 269

«ИЛ»: эпоха великих географических открытий 272

О том, что было...

МОРИС ВАКСМАХЕР — Вспоминая начало 273

Н.ТРАУБЕРГ — Теплое лето 1955 года 276

БОРИС ДУБИН — Язык другого 279

К нашим иллюстрациям 282

«Намного лет задолго», или Из тайного архива редакции 283

TOP TEN, то есть Первая десятка лучших опечаток в истории «ИЛ» 286

Авторы этого номера 287

© «Иностранная литература», 1995

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 29 000 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н.Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, И.А. БРОДСКИЙ, П.Л. ВАЙЛЬ,
Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ,
В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
ЭРВЕ БАЗЕН, КРИСТА ВОЛЬФ,
ТОНИНО ГУЭРРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

Нам — 40 лет

Юбилей — это не просто годовщина, это еще и попытка упорядочить временну́ю стихию, придав ей вид запланированного движения из некоего пункта А.

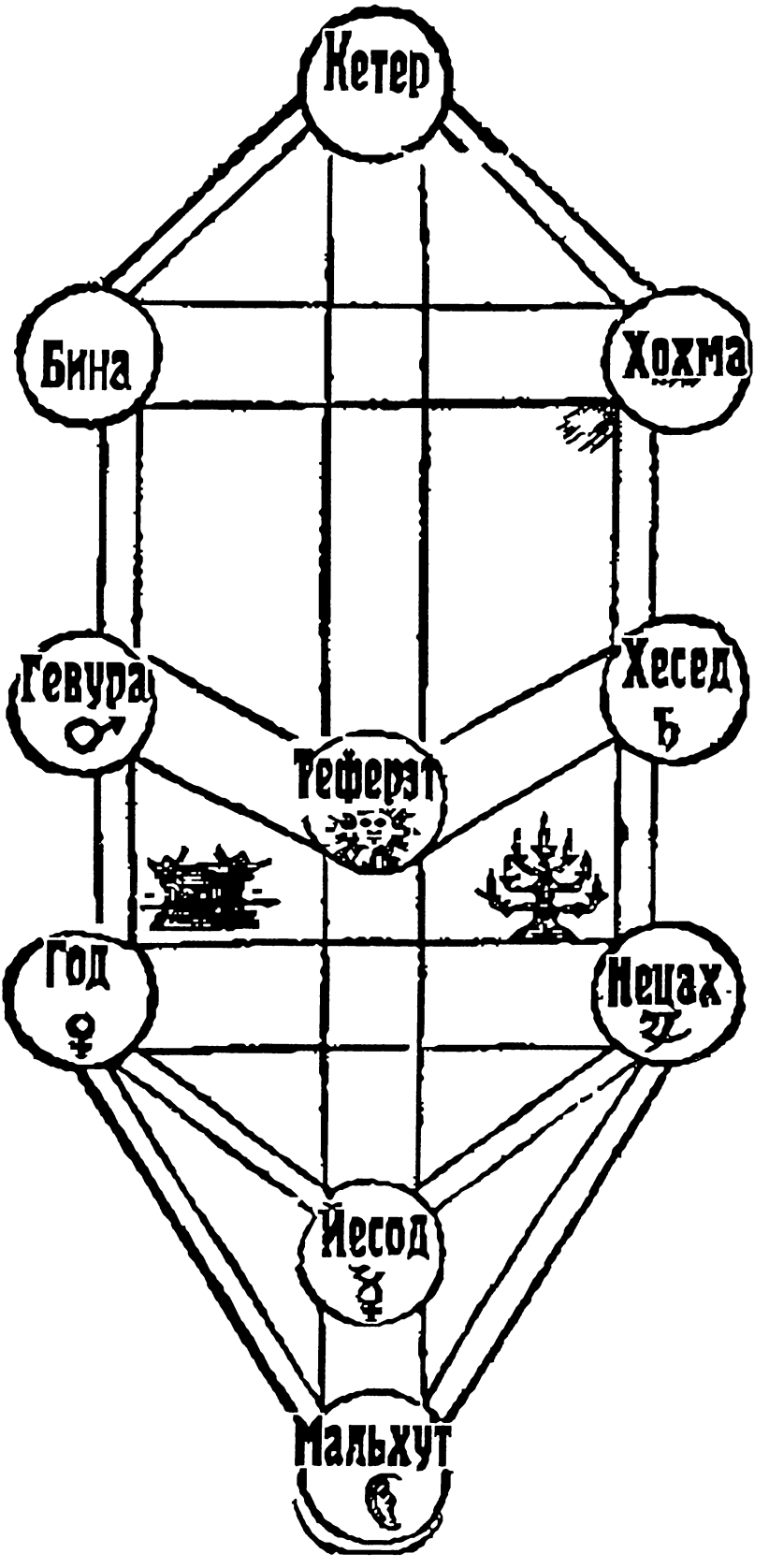
Нетрудно догадаться, что наш пункт А находился на Старой площади, где подпись главного идеолога страны под документом о создании нового журнала стала не только очередным свидетельством окончания «холодной войны», но и подтвердила намерение прорубить очередное историческое окно в мир.

Как это не раз случалось в отечественных условиях, четкий государственный замысел обернулся непредвиденными идеологическими результатами: под присмотром цековских мамок и союзписательских нянек «ИЛ» неожиданно для самих редакторов превратилась в рассадник вольнодумства. Ни боевые приемы марксистско-ленинской критики, ни редакторские ножницы, ни переводческая косметика оказались не в состоянии выхолостить Литературу и свести многообразие стилей и направлений мирового искусства к главенству метода соцреализма.

Но есть у журнала и другая история, может быть, еще более подлинная, чем рассказанная выше. Исходный пункт А в этой истории следует искать, вероятно, в XVIII веке, в окружении Николая Новикова, когда литературный перевод стал профессией. На российское книжное дело помимо социальных и географических особенностей влиял и пристальный, пытливый интерес читательской аудитории к иному, зарубежному. Поэтому у нас много предшественников: от столетней давности «Вестника иностранной литературы» до довоенной «Интернациональной литературы». Это означает, что «ИЛ» вызвана к жизни вашей, дорогие читатели, отзывчивостью, которая, по определению классика, всемирна.

Что же до побед и поражений на пути длиной в 40 лет, то, разумеется, было все. Победы — в писательских именах, открытых журналом, в мастерстве опубликованных переводов, подчас граничившем с искусством. А поражения... Журнал терпел их заодно со всей страной, сражавшейся за торжество идеологической химеры.

Есть надежда, что времена коллективной агитации и пропаганды остались в прошлом. Нас вполне устраивает более чем почетная роль быть посредником между миром и Россией, напоминая при этом, что мы всего лишь часть человечества.


Кетер
Бина
Хохма
Гевура
♂
Хесед
♄
Теферэт
Год
♀
Нецах
♃
Йесод
☿
Мальхут

Кентур

УМБЕРТО ЭКО
Маятник Фуко

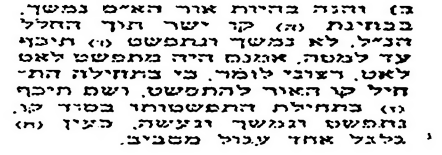
РОМАН

Перевод с итальянского Е. КОСТЮКОВИЧ

Единственно ради вас, сыновья учености и познанья, создавался этот труд.
Глядя в книгу, находите намерения, которые заложены нами в ней;
что затемнено семо, то проявлено овамо, да охватится вашей мудростью.
Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский
Об оккультной философии
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim
De occulta philosophia, 3, 65
Суеверия приносят несчастье
Раймонд Смуллиан, *За пять тысяч лет до нашей эры*
Raymond Smullyan, *5000 B.C.*, 1.3.8

1
КЕТЕР

1



И тут я увидел Маятник.

Шар, висящий на долгой нити, опущенной с вольты хора, в изохронном величии описывал колебания.

Я знал - но и всякий ощутил бы под чарами мерной пульсации - что период колебаний определен отношением квадратного корня длины нити к числу π, которое, иррациональное для подлунных умов, пред лицом божественной Рацио неукоснительно сопрягает окружности с диаметрами любых существующих кругов, как и время перемещения шара от одного полюса к противоположному представляет результат тайной соотнесенности наиболее вневременных мер: единственности точки крепления - двойственности абстрактного измерения - троичности числа π - скрытой четверичности квадратного корня - совершенства круга.

[1] И видно: в то время, как свет Бесконечности (Эн-Соф) прежде простирался в виде прямой линии посреди бесконечной пустоты, ныне же не тем образом Оно вниз направилось и устремилось. Оно распространялось очень медленно. Да будет так сказано: сперва Оно распространялось как луч света, но затем таинственно возвратилось в самое начало своего распространения и сделалось как колесо круглым кругло. - Изложение мысли равви Исаака Бен-Соломона Ашкенази Лурия (1536-1572), учившего под именем Ари, отца новейшей каббалы, принадлежащее его ученику Хаиму Виталю («Древо жизни», 1,4).

© 1988 Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno Etas S.P.A.
Редакция благодарит издательство «Бомпиани» за любезно предоставленную возможность опубликовать журнальный вариант романа.

Еще я знал, что на конце отвесной линии, восстановленной от точки крепления, находящийся под маятником магнитный стабилизатор воссылает команды железному сердцу шара и обеспечивает вечность движения: это хитрая штука, имеющая целью перебороть сопротивление материи, но которая не противоречит закону Фуко, напротив, помогает ему проявиться, потому что помещенный в пустоту любой точечный вес, приложенный к концу нерастяжимой и невесомой нити, не встречающий ни сопротивления воздуха, ни трения в точке крепления, действительно будет совершать регулярные и гармоничные колебания – вечно.

Медный шар поигрывал бледными переливчатыми отблесками под последними лучами, шедшими из витража. Если бы, как когда-то, он касался слоя мокрого песка на плитах пола, при каждом из его касаний прочерчивался бы штрих, и эти штрихи, неуловимо изменяя каждый раз направление, расходились бы, открывая разломы, траншеи, рвы, и угадывалась бы радиальная симметричность, костяк мандалы[1], невидимая схема пентакула[2], звезды, мистической розы. Нет, нет. Это была бы не роза, это был бы рассказ, записанный на полотнах пустыни следами несосчитанных караванов. Повесть о тысячелетних скитаниях; наверное, этой дорогой шли атланты континента Му, в угрюмой, упорной решительности, из Тасмании в Гренландию, от тропика Козерога к тропику Рака, с острова Принца Эдуарда на Шпицберген. Касаниями шара утрамбовывалось в минутный рассказ все, что они творили в промежутках от одного ледового периода до другого и, скорее всего, творят в наше время, сделавшись рабами Верховников; вероятно, перелетая от Самоа на Новую Землю, этот шар нацеливается, в апогее параболы, на Агарту, центр мира. Я чувствовал, как таинственным общим Планом объединяется Авалон гипербореев с полуденной пустыней, оберегающей загадку Айерс Рок.

В данный миг, в четыре часа дня 23 июня, Маятник утрачивал скорость у края колебательной плоскости, безвольно отшатывался, снова начинал ускоряться к центру и на разгоне, посередине рассекал с сабельным свистом тайный четвероугольник сил, определявших его судьбу.

Если бы я пробыл там долго, неуязвимый для времени, наблюдая, как эта птичья голова, этот копейный наконечник, этот опрокинутый гребень шлема вычерчивает в пустоте свои диагонали от края до края астигматической замкнутой линии, я превратился бы в жертву обольщения чувств, и Маятник убедил бы меня, что колебательная плоскость совершила полный оборот и возвратилась в первоначальное положение, описав за тридцать два часа сплюснутый эллипс - эллипс, обращающийся вокруг собственного центра с постоянной угловой скоростью, пропорциональной синусу географической широты. Как вращался бы тот же эллипс, будь нить маятника прикреплена к венцу Храма Соломона? Вероятно, Рыцари испробовали и это. Может быть, их расчет, то есть конечный результат расчета, не изменялся. Может быть, собор аббатства Сен-Мартен-де-Шан - это действительно истинный Храм. Вообще чистый эксперимент возможен только на полюсе. Это единственный случай, когда точка подвешивания нити расположилась бы на продолжении земной оси, и Маятник заключил бы свой видимый цикл ровно в двадцать четыре часа.

Однако это отступление от Закона, к тому же предусмотренное самим Законом, эта погрешность против золотой нормы не отнимала чудесности у чуда. Я знал, что Земля вращается, и что я вращаюсь вместе с нею, и Сен-Мартен-де-Шан, и весь Париж со мною, и все мы вращались под Маятником, который, действительно, нисколько не изменял ориентации своего плана, потому что наверху, где он к чему-то был привязан, на другом конце вообража-

[1] Мандала - круг, диск, шар - один из основных сакральных символов в буддийской мифологии (*Здесь и далее - примечания редакции*).

[2] Пятиконечной звезды (*лат.*).

емого бесконечного продолжения нити, в высоту и вдаль, за пределами отдаленных галактик, - находилась недвижимая и непреложная в своей вековечности Мертвая Точка

Земля двигалась, однако место, к которому прикреплялся канат, было единственным неподвижным местом вселенной.

Поэтому мой взгляд был прикован не столько к земле, сколько к небу, осиянному тайной Абсолютной Неподвижности. Маятник говорил мне, что хотя вращается все - земной шар, солнечная система, туманности, черные дыры и любые порождения грандиозной космической эманации, от первых эонов до самой липучей материи, существует только одна точка, ось, некий шампур, Занебесный Штырь, позволяющий остальному миру обращаться около себя. И теперь я участвовал в этом верховном опыте, я, вращавшийся, как все на свете, сообща со всем на свете, удостаивался видеть То, Недвижное, Крепость, Опору, светоносное явление, которое не телесно, и не имеет ни границы, ни формы, ни веса, ни количества, ни качества, и оно не видит, не слышит, не поддается чувственности, и не пребывает ни в месте, ни во времени, ни в пространстве, и оно не душа, не разум, не воображение, не мнение, не число, не порядок, не мера, не сущность, не вечность, оно не тьма и не свет, оно не ложь и не истина.

До меня долетел пасмурный обмен репликами между парнем в очках и девицей, увы, без очков.

– Это маятник Фуко, - говорил ее милый. - Первый опыт проводили в погребе в 1851 году, потом в Обсерватории, потом под куполом Пантеона, длина каната шестьдесят семь метров, вес гири двадцать восемь кило. Наконец, в 1855-м подвешен тут, в уменьшенном масштабе. Канат протянут через нижнюю часть замка свода...

– А зачем надо, чтобы он болтался?

– Доказывается вращение земли. Поскольку точка крепления неподвижна...

– А почему она неподвижна?

– Потому что точка... Сейчас я тебе объясню... В центральной точке... любой точке, находящейся среди других видимых точек... В общем, это уже не физическая точка, а как бы геометрическая, и ты ее не можешь видеть, потому что у нее нет площади. А то, у чего нет площади, не может перекоситься ни влево, ни вправо, ни кверху, ни книзу. Поэтому она не вращается. Следишь? Если у точки нет площади, она не может поворачиваться вокруг себя. У нее нет этого самого себя...

– Но эта точка на Земле, а Земля вертится...

– Земля вертится, а точка не вертится. Можешь не верить, если не нравится. Ясно?

– Мне какое дело...

Несчастная. Иметь над головой единственную стабильную частицу мира, то ни с чем не сравнимое, что не подвержено проклятию общего бега, - panta rei - и считать, что это не ее, а Его дело! Вслед за этим чета пошла прочь, он – обнимая свой справочник, отучивший его удивляться, она - волоча свой организм, глухой к сердцебиению бесконечности, и оба - никак не пытаясь закрепить в памяти опыт этой встречи, их первой и их последней - с Единым, с Эн-Соф, с Невысказуемым. Они не пали на колени перед алтарем истины.

Я глядел с вниманием и страхом, и мне поверилось, что Якопо Бельбо прав. Всегдашние его дифирамбы Маятнику я привык списывать на бесплодное эстетство, злокачественное, которое медленно разъедало его душу, и, бесформенное, перенимало форму его тела, незаметно перекодируя игру в реальность жизни. Однако если Бельбо был прав насчет Маятника, вероятно, он был прав и насчет всего прочего - и был План, и был Всеобщий Заговор, и было правильно, что я оказался здесь сегодня, накануне летнего противостояния. Якопо Бельбо - не сумасшедший, ему просто привелось во время игры, через игру, открыть истину.

Дело в том, что сопричастность Божескому не может продолжаться долго, не потревожив рассудок.

Тогда я постарался отвести взгляд, прослеживая дугу, которая от капителей расставленных полукругом колонн уходила, подпираемая гуртами свода, к ключу, повторяя уловку стрельчатой арки, умеющей опереться на пустоту - высшая степень лицемерия в статике, - и уговорить колонны, что они обязаны пихать вверх ребра свода, а ребрам, распираемым давлением замка, – внушить, чтоб они прижимали к земле колонны; но свод еще хитрее, он является и всем и ничем, и причиной и следствием в едином лице. Однако я моментально понял, что отворачиваться от Маятника, свисающего со свода, и размышлять вместо этого о своде - то же самое, что зарекаться от родника, но пить из источника.

Хор собора Сен-Мартен-де-Шан существовал лишь благодаря тому, что имел существование, в прославление Закона, – Маятник; а Маятник существовал только потому, что существовал собор. Не сбежишь от бесконечности, подумал я, удирая к другой бесконечности, не убережешься от встречи с тождественным, пытаясь отыскать иное.

По-прежнему не отводя глаз от ключа соборного свода, я стал пятиться, отступая шаг за шагом; за время, прошедшее с момента прихода, я детально заучил расположение зала, да и мощные металлические черепахи, патрулировавшие стены, постоянно маячили в углу поля зрения. Пропятившись через весь неф, до входной двери, я снова оказался под сенью грозных птеродактилей из проволоки и тряпок, зловещих стрекоз, неведомо чьей оккультной волей засланных под потолок нефа. Они выступали метафорами знания, значительно более глубокими, чем, вероятно, замышлял дидакт, разместивший их в назидательной последовательности. Трепетание насекомых и рептилий мезозоя. Аллегория бессчетных миграций Маятника над поверхностью земли. Архонты[1], извращенные эманации, они пикировали на меня, целясь археоптериксовыми клювами, аэропланы Бреге, Блерио, Эсно, геликоптер Дюфо.

Посетитель Консерватория Науки и Техники в Париже, пройдя через двор восемнадцатого века и после этого несколько коридоров, вступает в древнюю аббатскую церковь, врезанную в более новый комплекс зданий, подобно тому как прежде она была облеплена со всех сторон строениями приората. При входе сразу перехватывает дух от странного союза горней запредельной стрельчатости с хтоническим миром пожирателей солярки и мазута.

По низу тянется процессия самоходов, самокатов и паровых экипажей, сверху висят воздухоплавательные машины пионеров, одни предметы целы, другие ободраны, истрепаны временем, и все они вместе предстают под смешанным – естественным и электрическим - светом как будто в патине, в лаке коллекционной виолончели: иногда сохраняется только скелет, шасси, наворот приводов и рукоятей, и сулит неописуемые пытки, так и видишь себя прикрученным цепями к этому ложу откровенности, вот-вот оно шевельнется, пойдет копать твое мясо и рыться в жилах до полного и чистосердечного признания.

А за этой вереницей старых движков, ныне безвредных, с заржавелою душою, символов технологической суетности, с левого фланга под надзором статуи Свободы, уменьшенного макета той, которую Бартольди спроектировал для другого мира, а ежели повернуться направо - статуи Паскаля, - над всем этим высится хор, и в пустоте хора вокруг метаний маятника кружит и бьется бред сумасшедшего энтомолога: клешни, челюсти, усы, членики, крылья, ножки - мавзолей механических мумий, способных просыпаться в какие-то секунды, - магниты, однофазные трансформаторы, турбины, преобразователи частот, паровые машины, динамо; а в глубине за Маятником, в затененном трансепте - ассирийские, халдейские, карфагенские идолы, великие Ваалы, чье чрево беременно пламенем, Нюрнбергские девы, чье сердце усея-

[1] Враждебные Богу и человеку духи - мироправители, слуги дьявола (*христ. мифол.*).

но гвоздями, оголено, - когда-то они были моторами самолетов, - хоровод моделей, распластавшихся в рабском обожании Маятника: се детища Разума и Света, приговоренные вечно оберегать Воплощение Предания и Познания.

Скучающие туристы, несущие девять франков в кассу, а по воскресеньям идущие бесплатно, таким образом могут подумать, что господа девятнадцатого века с бородами, желтыми от никотина, с воротничком, засаленным и мятым, с бантом черного цвета, в рединготе, пропахшем понюшками, с руками, потемневшими от щелочей, с мозгами, окисленными в академических интригах, карикатурные существа, зовущие друг друга«cher maître», разместили эти предметы под этим сводом из чистой любви выставляться, ради ублаготворения как буржуазной, так и радикальной прослойки, во славу достижений знания и прогресса? Нет, нет, Сен-Мартен-де-Шан был запланирован, и на этапе аббатства, и на этапе революционного музея, для хранения сверхсекретных данных, и самолеты, самоходные машины и магнитные скелеты, согласно заданию, ведут условный диалог, к которому я до сих пор не имею ключа.

Неужели предполагалось, что я поверю - как лицемерно подзуживал каталог музея, - что замечательная идея принадлежала господам из Конвента, а целью их было - приобщить массы к святилищу техники и искусств? При том что проект музея во всех мельчайших деталях, даже и в терминологии, совпадает с описанием Соломонова Дома в «Новой Атлантиде» Фрэнсиса Бэкона?

Может ли быть, что один только я – я и Якопо Бельбо, и Диоталлеви - распознали истину? Сегодня мне, вероятно, предстояло получить ответ. Для этого надо было остаться в музее после его закрытия и дождаться двенадцати часов.

Как войдут в собор Те - мне было неизвестно, но я знал, что коллекторы парижской канализации - это катакомбы, значит, и музей сообщается с разными концами города - войдешь тут, а вынырнешь у ворот Сен-Дени. Но если бы сейчас вышел, то вряд ли сумел бы найти подземный ход обратно. Так что для меня единственное решение - спрятаться и ожидать здесь.

Я попробовал выпасть из романтического транса и проинспектировать помещение чисто практически, ища не откровения, а информации. Начнем с того, что в соседних залах еще труднее найти место, защищенное от внимания смотрителей (а в их обязанности входит, перед закрытием, проверять залы на предмет затаившихся воров). Но в этом нефе, заставленном машинами, что может быть естественнее, чем угнездиться пассажиром в какой-нибудь из них? Обжиться в мертвом панцире. Мы так много играли, что глупо не поиграть еще немножко.

Смелей, душа, сказал я, не думай больше о Знании и доверься Науке.

2

У нас есть странные и редкие часы, и часы идущие обратно, и вечные.... У нас есть и Каморы обмана чувств, где любые чудеса Фиглярства, и Мнимых видений, Мороков и Блазнов... Таковы, о сын, богатства Дома Соломонова.

Фрэнсис Бэкон, *Новая Атлантида*
Francis Bacon, *New Atlantis*
ed. Rawley, London, 1647, p.p.41-42

Я взял себя в руки. В эту игру следовало играть с тем же юмором, что и до сих пор, и не дать запутать себя. Я в музее, и я доиграю свою рольку по возможности остро, умно, хитро.

В вышине самолеты зазывали влезть в кабину биплана и дожидаться ночи, паря над Ла-Маншем, предвкушая Почетный легион. Внизу имена машин напоминали прадетство. Испано Сюиза 1932 года, само совершенство, удобство. Не годится, слишком близко к кассе. Хорошо бы, конечно, для обмана смотрителя напялить брюки гольф, застыть, придерживая дверцу автомобиля перед дамой в кремовом английском костюме, с длинным шарфом во-

круг лебединой шеи, в шляпе раструбом, со стрижкой под мальчика. Ситроен С-6G 31 года имелся только в разрезе, прекрасная учебная модель, но никудышное укрытие. О паровой машине Кюньо не шло речи – она целиком состояла не то из бака, не то из котла, бог весть как называется эта штука. Правая стена была заставлена велосипедами на фигурных колесах, дрезинами с плоскими рамами, самокатами, отрадой господ в высоких цилиндрах, раскатывающих по Булонскому лесу, этих рыцарей прогресса.

Перед велосипедами - солидные автомобили, бесподобные убежища. Не обязательно первый попавшийся - непригоден Панар Динавия 1945 года, слишком сквозной, приплюснутый, аэродинамический, точеный. А вот высоченная Пежо 1909-го как раз вполне подошла бы: гарсоньерка, альков. В глубинах ее кожаных диванов никто бы меня не нашел. Но трудно в нее забраться, смотритель уселся у дверцы, на скамеечке, спиною к бициклетам. Шагнуть бы на подножку, раздвигая полы шубы, и пусть он, в обтяжных по колено гетрах, почтительно сдернув кепку, подержит мне тяжелую дверь...

Я рассмотрел кандидатуру Обеиссана 1873-го: первое французское транспортное средство на механическом ходу, дюжина пассажиров. Если Пежо мы принимаем за шикарную квартиру, Обеиссан может считаться дворцом. Но как же в нем замаскироваться, если это центр всеобщего внимания? И вообще, как укрыться от сыщиков-разбойников посреди картинок с выставки?

Я снова обошел залу. Статуя Свободы высилась, «озаряя весь мир», на почти двухметровом пьедестале - на мощном корабельном носу, оборудованном ростром. Внутри было что-то вроде рубки, где через иллюминатор, выходящий на корму, можно было любоваться диорамой Нью-Йорка с залива. Прекрасный наблюдательный пункт для ночного времени: в полутьме мне будут видны весь хор слева и весь неф справа, с тыла меня прикроет огромный каменный памятник Грамму, вглядывающийся в дальние коридоры из своей ниши-трансепта. Но при свете дня внутренность рубки отлично просматривалась, и любой нормальный сторож, выпроводив посетителей, перед тем как закрывать, должен бросить взгляд сюда.

Времени было немного, в полшестого закрывали. Я углубился в часовенку-трансепт. Ни один из моторов не мог дать укрытия. Ни гигантские топки четырехпалубных суден - останки какой-нибудь «Лузитании», давно ушедшей в пучину, - ни газовый двигатель Ленуара, весь в зубчатых передачах. Нет. Свет убывал и совсем водянисто сочился сквозь витражи, и опять, сильнее чем прежде, мне становилось страшно: спрятаться на ночь среди этих тварей и потом наблюдать, как они оживают, в темноте, под лучом электрического фонарика, слушать земнородное бульканье их утроб, видеть кости и требуху без кожи, скрипучие и склизкие от масляного пота. Меня поражала непристойность этой картины: гениталии дизелей, вагины турбин, глубокие глотки, готовые изрыгать огни, дымы, шумы; чудища, надоедливо жужжащие, как майские жуки, стрекочущие, как цикады, а по другую руку - образцы чистейшей абстрактной практичности, автоматы, мнущие, жнущие, толкущие, бьющие, нарезающие, ускоряющие, замедляющие, пожирающие, рыдающие всеми цилиндрами, развинчивающиеся на части, как кошмарные куклы, ворочающие барабанами, преобразующие частоты, трансформирующие энергию, трясущие маховиками - какое мне было спасенье? Они напали бы на меня, науськиваемые Верховниками Мира, которые их используют для доказательства тезиса об ошибке творца, бедные бессмысленные механизмы, столь ценимые бедными повелителями нижнего мира, - о, мне-то как надеяться устоять, не дрогнув?

Надо бежать, надо бежать, это сумасшествие, я ввязался в игру, через которую Якопо Бельбо потерял разум, зачем же я, ...Фома недоверчивый...

Не знаю, правильно ли я поступил вчера, оставшись в этом зале. Если бы не остался, сегодня я знал бы начало истории, но не знал бы конца. И не сидел бы здесь, один, в домике на взгорье, не вслушивался в тявканье псов внизу под горою, не решал бы вопрос: так знаю я конец этой сказки или концу еще предстоит случиться - случиться со мною?

Итак, я решил остаться. Я вышел из капеллы, из церкви и за памятником Грамму двинулся налево, в галерею. В галерее была выставка паровозов, разноцветные модели локомотивов и вагонов стояли жизнерадостные, как игрушки: уголок Диснейленда, Страны Дураков, луна-парка. Я, похоже, привыкал к смене собственных настроений. Ужас, эйфория, тоска, снова облегчение... подозрительно похоже на известный синдром... МДП. Я втолковывал себе, что столь острая реакция на зрелище машин в церкви объясняется тем, что я начитался записей Бельбо, которые удалось расшифровать с огромным трудом, и которые, невзирая на мой труд, - бред. Здесь музей техники, бормотал я, я в музее техники, самое нормальное место, немножко занудное, но не более того; коллекция безобиднейших трупов, ты же знаешь, что такое музеи, никого еще не съела Джоконда, эта уродина-гермафродит, хотя для снобов она и Медуза. И еще меньше шансов, что тебя съест паровоз Ватта, его боялись только оссианические, неоготические аристократы, и поэтому у машины такой межеумочный вид: функциональность с коринфским шиком, рычаги с капителями, котлы с колоннадой, колеса с порталами. Якопо Бельбо из своего непрекрасного далека норовил затащить меня в мышеловку, погубившую его самого. Надо, сказал я себе, действовать по науке. Вулканологи не сгорают, как Эмпедокл. Фрэзер не заблудился в Немейском лесу. Ладно, приятель, значит, недаром тебя зовут Сэм Спейд[1]! Маленькая прогулка по притонам, такая уж у нас работенка. Женщина, с которой ты славно провел время, должна умереть, и прикончишь ее ты. Прощай, Эмили, детка, это было прекрасно, но тебе незнакомо слово «любить».

Однако за паровозной галереей следовал зал Лавуазье, после которого парадная лестница уводила на следующие этажи.

И все витрины по стенам, и алхимический алтарь по центру, изысканная макумба[2] Века Просвещения - все здесь стояло не случайно, все было результатом специальной символической стратагемы.

Во-первых, засилье зеркал. Если имеется зеркало, это уж просто, по Лакану[3]: вам хочется посмотреться в него. Но ничего на выходит. Вы меняете положение, ищете такого положения в пространстве, при котором зеркало вас отобразит, скажет: «вот ты, ты тут». И совершенно невозможно примириться с тем, что зеркала Лавуазье, выпуклые, вогнутые и еще бог весть какие, отказываются вести себя нормально, издеваются над вами: отступите на шаг - и вы в поле зрения, шагнете хоть чуть-чуть - и теряете себя. Этот катоптрический театрик создавался специально для разрушения вашей личности, то есть вашего самоощущения в пространстве. Вам как будто внушают: вы не только не Маятник, вы и не там, где Маятник. Появляется неуверенность не только в себе, но и во всем прочем. Исчезают вполне реальные вещи, которые вы видите рядом с собою. Разумеется, физика способна объяснить, что происходит: вогнутое зеркало фокусирует лучи, исходящие от предмета - сейчас этот предмет перегонный куб на медном чане, - а нормальное зеркало отражает получаемые из вогнутого лучи таким образом, что собственно предмета, очертаний его, в зеркале не видно, а ощущается нечто призрачное, мимолетное и к тому же перевернутое вверх ногами, где-то в воздухе, вне зеркала. Разумеется, стоит пошевелиться, и эффект пропадет.

Взамен эффекта я увидел себя во втором зеркале - вниз головой.

Невыносимо.

Что имел в виду Лавуазье, чего требовали от него основатели музея? Со времен арабского средневековья, с трактатов Альхацена изучена магия зеркал. Стоило ли городить огород - Энциклопедия, Век Просвещения, Революция, - чтоб продемонстрировать: любое изогнутое стекло способно спровадить вас в Воображаемость. Да и нормальное зеркало наводит дурной глаз - каждое утро за бритьем мы глядим в глаза Двойнику, обреченному пожизненному левше. Стоило ли оборудовать зал для такого скромного сообщения,

---

[1] Имя детектива в романе «Мальтийский сокол» американского писателя Дэшила Хэммета (1894-1961).

[2] Колдовское ритуальное действо (*Браз.*).

[3] Жак Лакан (1901-1981) - французский философ, теоретик структурного психоанализа.

или нам что-то недоговаривают, и следует в новом свете рассмотреть все попутное - витринки, инструменты, приуроченные к зачаточной физике, к химии просветительства?

Кожаная маска для защиты лица во время опытов по известкованию. Да право? Неужто великий повелитель подколпачных свеч напяливал эту баутту и глядел помойною крысой из-под скафандра: инопланетянин боится повредить глаза? Oh, how delicate, doctor Lavoisier[1] . Если вы хотите разработать кинетическую теорию газа, зачем так тщательно воссоздаете эолипилу – краник на шарике, который от нагрева вертится и выбрасывает пар? Вы знаете, что первая эолипила была изобретена Героном[2] во времена Гнозиса и что она находится в основе говорящих статуй и прочих хитроумий египетских жрецов?

А прибор для наблюдения гнилостного брожения, 1789, напоминание о зловонных выблядках Демиурга? Переплетение стеклянных трубок, восходящих из пузыревидного лона к перепутанным сосудам и сочленениям, – семенные пути на узких вилочках-подпорах между двумя колбами, из одной в другую держит путь призрачная жидкость, тонкие дренажи расширяются в пустоту... Гнилостное брожение? Balneum Mariae[3], сублимация меркурия, таинство совокупления, сотворение Эликсира!

Вот еще один прибор для брожения, на этот раз винного. Игра хрустальных радуг, переброшенных от атанора к атанору, выходящих из одного перегонного куба и в другой куб впадающих. А крошечные очки, миниатюрная клепсидра, малюсенький электроскоп, линза, лабораторный ножик, похожий на клинописную литеру, лопаточка с рычагом-выхлопом, стеклянное лезвие, тигелек в три сантиметра из огнеупорной глины, чтоб плодить в нем гомункулов росточком с гнома, неразличимых размеров матка для микроклонирования, ларцы красного дерева, полные белых пакетиков, похожих на облатки в деревенской аптеке, завернутых в линованный пергамент с неразборчивыми надписями, и в этих пакетиках - минералогические образчики, так обычно говорится, а на самом деле - обрывок Василидовой плащаницы, ковчежец с крайней плотью Гермеса Трисмегиста, длинный, тонкий молоточек мебельного обойщика, которому назначено отстучать сигнал к стремительному дню Страшного Суда, аукцион квинтэссенций для публики Малого Народа Эльфов Авалона, замысловатейший приборчик для опытов по сгоранию масел: стеклянные шары, сращенные, как лепестки четырехлистника, и соединенные с другими четырехлистниками, связанными между собой золотыми трубками, и четырехлистники с трубками из хрусталя и с медными цилиндрами, под которыми - очень далеко внизу - еще другой цилиндр из стекла и золота, и новые трубки, опять свисающие вниз, и от них отростки, железы, мошонки, гланды, гребни... И это химия нового времени? И за это надо было гильотинировать изобретателя, притом что вроде бы материя не образуется и не исчезает? Или все-таки его убили, чтоб он не мог никому рассказать то, что старался высказать в завуалированном виде, подобно быстрому разумом Невтону, который в свою очередь больше всего интересовался каббалой и ее качественными эссенциями?

Зала Лавуазье Консерватория Науки и Техники - это исповедь, шифровка, это резюме остального музея, насмешка над самоуверенной и жесткой рациональностью нового времени, шепоток иных тайн. Якопо Бельбо был прав, Разум был крив.

Я торопился, время поджимало. Вот метр, килограмм и меры, иллюзия гарантированных гарантий. Но я помнил из лекций Алье, что тайна пирамид раскрывается, только если вести расчеты не в метрах, а в локтях. Вот арифметические машины, по виду - триумфы количественности, на самом же деле - прославление оккультной качественности цифр, возврат к принципам Нотарикона, к учению раввинов, рассеянных по городам и весям Европы. Астрономические приборы, часы, автоматы; беда - вдумываться в эти новые от-

---

1 О, деликатный доктор Лавуазье (*англ.*).
2 Герон Александрийский (около II в. н.э) - древнегреческий математик.
3 Морские ванны (*лат.*).

кровения. Я проникал в сердцевину тайного текста, представленного в форме Театра Разума, хорошо, успеется, я еще обследую от закрытия до полуночи эти экспонаты, которые в мутных заходящих лучах восстанавливают свой подлинный облик - образов, а не орудий.

Так, теперь скорее через залы разных видов техники, энергии, электричества, все равно за их витринами не удалось бы мне укрыться. Чем лучше я постигал или угадывал смысл этих вещей, тем большая тоска меня охватывала, поскольку я не успевал найти укрытие, чтобы ночью присутствовать при проявлении их таинственных характеров. Теперь я мчался, как загнанный - вслед за мною, как зверь, летела стрелка часов, чудовищно рос счет; земля неотвратимо обращалась, время перло вперед, и меня вот-вот должны были отсюда выгнать.

Наконец, миновав галерею электрических устройств, я попал в зал стекла. Какая странная логика потребовала, чтобы в дополнение к самым дорого - стоящим и сложным чудесам современной техники там находилась и выставка примитивного стекла, известного еще финикийцам? Зала подходила под определение «с миру по нитке»: китайский фарфор и вазы-андрогины Лалика, керамика, майолика, фаянс, муранское стекло, а в глубине, в гигантских размеров витрине, в натуральную величину и в трех измерениях, лев, убивающий змею. Формально присутствие этого экспоната оправдывалось, скорее всего, тем, что группа целиком была выполнена из стеклянной пасты, но эмблематический смысл коренился, надо думать, в ином... Я попытался вспомнить, где я уже видел эти фигуры. Потом я вспомнил. Демиург, отвратительное порождение Софии, первый из архонтов, Ильдабаот, ответственный за этот мир и за его основные недостатки, имел именно этот облик - змеи и льва, - и очи его испускали огненный свет. Можно предположить, что и весь Консерваторий является символическим отображением мерзкого процесса, при котором от полноты первопринципа - Маятника - и от сиятельности Плеромы[1], от эона к эону, по мере расщепления Огдоада, все переходит к космическому царству, в котором торжествует Зло. Однако в этом случае и змея и лев свидетельствовали, что мое хождение по музею - инициация - к сожалению, à rebours[2] - было окончено, и вскоре мне предстояло увидеть мир не каким он должен быть, а какой он есть.

И действительно я заметил, что в правом углу, напротив окон, открывается вход в будку Перископа. Я поднялся в нее и увидел большую стеклянную пластину, как бы экран командного пульта, на котором расплывалось изображение, крайне нечеткое, города с высоты. Вслед за этим я понял, что изображение передается с другого экрана, расположенного у меня над головой, куда оно поступает в зеркальном виде, и этот второй экран – окуляр допотопного перископа, слаженного, в сущности говоря, из двух кожухов, совмещенных под прямым углом, из которых более длинный вытягивался, как труба, из будки и продолжался у меня над головой и за спиною, доходя до верхнего окошка, из которого, за счет внутренней игры линз, позволявшей очень широкоугольный обзор, и ловились картины внешней жизни. Я прикинул, на сколько метров мне пришлось подниматься в будку, и пришел к выводу, что при помощи перископа мы смотрим как бы сквозь верхние витражи абсиды Сен-Мартена - как бы вися на маятнике: мир глазами повешенного. Я постарался приспособить глаз к размытому изображению. Теперь можно было различить улицу Вокансон, куда выходил хор, и улицу Конте, в идеальном смысле продолжавшую неф. Улица Конте пересекалась с улицей Монгольфьер слева и с улицей де Тюрбиго справа, на том и на другом углу по кафе, «Уик- энд» и «Ротонда», а напротив - вывеска, бросавшаяся в глаза на фасаде дома, «Ателье Жаксам», с трудом прочитал я справа налево. Перископ. Не совсем очевидно, почему он должен был быть в стекольном зале, а не, скажем, в зале оптических приборов, значит, для кого-то имело значение, чтобы

[1] Плерома (*греч. - полнота*) - в доктрине гностицизма - совокупность эонов, каждый из которых являет собой персонификацию одного из аспектов абсолютного божества.

[2] В обратном порядке (*франц.*). Также. название романа Ж. К. Гюисманса, 1884, герой которого скрывается от реальности в сон.

образы внешнего мира приходили именно сюда, в это помещение, именно с этой ориентацией, но кому и зачем - я не мог догадаться. Кому понадобилась эта каютка, позитивистская, жюльверновская, напротив многозначительной эмблемы - змеи и льва?

В любом случае, если мне хватит силы и смелости просидеть здесь еще двадцать-тридцать минут, может быть, смотритель уйдет, а я останусь.

Я провел в своей субмарине полчаса, показавшиеся веком. Слышались шаги последних посетителей, шаги последних сторожей. Велико было искушение залезть под лавку, чтоб избежать случайного обнаружения, но я сказал себе: нельзя. Если меня заметут в стоячем положении, я смогу сойти за заглазевшегося растяпу.

Вскоре погасили свет и воцарилась полутьма. В будке сделалось светлее, потому что с потолка отсвечивал экран, мой последний канал связи с миром. Осторожности ради я должен был оставаться на месте стоя, а если заболят ноги - сидя, по меньшей мере два часа. Время закрытия музея, конечно, не означает конца работы служащих. Меня взял страх: что, если придут мести залы, перетирать каждый экспонат? Потом я подумал, что, так как музей открывается не самым ранним утром, скорее всего его убирают в утренние, а не в ночные часы. Видимо, так и было, по крайней мере на верхних этажах больше никто не ходил. Только какие-то дальние шорохи, сухие щелчки, вероятно - захлопываемые двери. Надо было ждать. В церковь я успею перейти между десятью и одиннадцатью или даже позже, поскольку Верховники соберутся только к полуночи.

Тем временем компания молодежи вышла из кафе «Ротонда». Одна из девушек направилась по улице Конте, повернула на Монгольфьер. Место было не слишком оживленное, и предстояло довольно нудное времяпрепровождение: час за часом созерцать безлюдный мир у себя за спиной. Но все-таки перископ был зачем-то установлен здесь. Какое же зашифрованное сообщение мог он передавать? Мне начинало хотеться в уборную, разумеется от нервов, не надо об этом думать.

Чего только не лезет в голову, когда вы один, нелегально, в перископе. Примерно то же переживали подпольные эмигранты в трюме парохода. Мне, как и им, предстояло пробиться к статуе Свободы с диорамой Нью-Йорка. Одолевала дремота. Может быть, и вправду немного поспать. Нет, лучше не надо, просплю все на свете.

Еще опаснее было предощущение нервного срыва, то есть когда вот-вот завопишь как резаный. Перископ, подлодка, залегшая на дно, а слева и справа проскальзывают страшные глубоководные рыбы, черней черноты, а их не видно, а воздуха не хватает...

Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Надо собраться. Единственное, что не подводит никогда, - список обязательств. Чем необходимо заняться. Вспомнить мелкие дела, составить перечень, со всеми подробностями, со всеми последствиями. Я пришел к необходимости таких-то действий на основании таких-то и сяких-то предпосылок...

Навалились воспоминания, детальные, четкие, упорядоченные. Воспоминания последних диких трех дней, потом - последних двух лет, потом – предшествовавших сорока лет, в том виде, в каком они открылись, когда я вломился в электронный мозг Якопо Бельбо.

Я вспоминаю (вспоминал вчера) для того, чтобы ввести какой-то смысл в неразбериху нашего поспешного сотворения. Сейчас, как и вчера в перископе, я устанавливаю себя в некоей отдаленной точке сознания и раскручиваю из нее рассказ. Точно как с Маятником. Диоталлеви говорил мне, что первая сефира[1] – это Кетер, Венец, первопричина, первоначальная пустота. Сначала Он сотворил точку, которая стала Мыслью, где Он начертал все фигуры... Он был и Он не был, заточенный в имени и убежавший имени, не имел иного

[1] Сефира (мн. ч. сефирот) - ключевое понятие каббалы, каждое из десяти мистических слов, объединяемых по схеме дерева, человеческого тела, семисвечника и пр., послуживших сотворению мира. По смыслу близко греческому «Логос» (см. рисунок в начале романа).

имени, кроме «Кто?», – одно только желание прозываться именем... В начале Он начертал знаки на воздухе, темный свет вышел из Его потаенной глуби, как бесцветный туман, дарующий форму бесформенному, и как только Он начал распространяться, в Его середине забили источники пламен, и пламена разлились и озарили нижние сефирот вплоть до самой нижней - сефиры Царства.

Однако, может быть, и в том *tsimtsum*, в том уединении, в одиночестве уже содержалось, как утверждал Диоталлеви, обещание возврата.

2
ХОХМА

3

In hanc utilitatem clementes angeli saepe figuras, characteres, formas et voces invenerunt proposueruntque nobis mortalibus et ignotas et stupendas, nullius rei iuxta consuetum linguae usum significativas, sed per rationis nostrae summam admirationem in assiduam intelligibilium pervestigationem, deinde in illorum ipsorum venerationem et amorem inductivas.[1]

Иоганн Рейхлин, *О каббалистическом искусстве*
Johannes Reichlin, *De arte cabalistica*, Hagenhau, 1517, III

Все закрутилось за два дня до того, утром в четверг, я еще не вылезал из постели. Накануне я вернулся из-за города, звонил в издательство, Диоталлеви был по-прежнему в больнице, и Гудрун была настроена мрачно: все то же, все хуже. Жутко было думать, что надо идти к нему.

Что касается Бельбо, его в конторе не было. Гудрун сказала, что он звонил и сказал, что исчезает по семейным обстоятельствам. Какая еще семья? Самое странное, что он забрал компьютер, под кодовой кличкой Абулафия, вместе с принтером. Гудрун сказала, что он хотел работать дома. Что за гонка? Почему не работать на работе?

Чувствовал я себя сиротливо. Лия с ребенком возвращалась только через неделю. Накануне вечером я наведывался к Пиладу, но и там было пусто.

Меня разбудил телефон. Говорил Бельбо, издалека, искаженным голосом.

- Вы где? Откуда вы звоните? Вас причислили к павшим под Аустерлицем...

- Не до шуток, Казобон, слушайте. Я в Париже.

- В Париже! Это же я собирался в Париж! Вы украли мой Консерваторий!

- Не шутите, прошу вас. Я звоню из автомата... Из кафе... Не знаю, смогу ли долго говорить...

- Если нет жетонов, переведите разговор на меня. Перезвоните, я подожду...

- Дело не в жетонах. У меня неприятности...- И он прокричал быстро, чтоб не дать мне себя перебить: - План. План существует на самом деле. Оказался правдой. Пожалуйста, не надо спорить. За мной охотятся...

- Да кто охотится? - я все еще не понимал.

- Храмовники, о господи, Казобон, вы не хотите верить, но все это правда! Они думают, что карта у меня, я у них на крючке, они заставили меня приехать в Париж. В субботу в полночь они ждут меня в Консерватории, в

[1] Ради этой-то надобности милосердно от ангелов к нам фигуры, буквы, черты и гласы не раз ниспосланы и обозначены, для нас, смертных, изумительные и невиданные, ничего как будто бы на привычном употребляемом нами языке не значащие, однако же в глубинах разума нашего пробуждающие высочайший восторг, благодаря упорному их умственному постижению, соединенному с любованием ими и обожанием их.

субботу, понимаете, в ночь Святого Иоанна! - он говорил бессвязно, следить было трудно. – Я не хочу идти, я попытаюсь бежать, Казобон, они убьют меня! Предупредите Де Анджелиса, или нет, бесполезно, не надо, не надо никакой полиции...

- Что же делать?

- Что делать- не знаю, прочтите дискетки на Абулафии, я записал туда все, что случилось за последний месяц. Вас не было, некому было рассказать, я писал трое суток... Вы слушаете? На работе, в ящике, в моем столе лежит пакет, в нем два ключа. Большой ключ вам не нужен, он от дома в деревне, а маленький - от миланской квартиры. Идите туда и все прочтите, а потом решайте или поговорим сейчас, господи, не могу сообразить, что делать...

- Хорошо, я прочту. Но вас-то где искать?

- Не знаю, я каждый день меняю гостиницу. Сегодня вы делайте, как я сказал, а завтра ждите с утра в моей квартире, я попытаюсь перезвонить, если смогу. Да, еще. Забыл сказать вам пароль...

Послышался шум, и голос Бельбо то приближался, то удалялся, то совсем исчезал, как будто кто-то вырывал у него трубку.

- Бельбо! Что происходит?

- Они выследили меня. Пароль...

Раздался удар, как выстрел. Наверно, упала трубка, ударилась о стену или о полочку под телефоном. Звуки драки. Потом кто-то повесил ее обратно - разумеется, не Бельбо.

Я встал и пошел под душ, чтобы совсем проснуться. Я ничего не мог понять. «План оказался правдой»! Что за чушь, мы сами его сочинили. Кто схватил Бельбо? Розенкрейцеры, граф Сен-Жермен, Охранка, Рыцари-Храмовники, Ассассины? Все было равно возможно, потому что равно невероятно. Могло случиться, что у Бельбо поехала крыша, он последнее время жил в таком напряжении, непонятно из-за чего: то ли из-за Лоренцы Пеллегрини, то ли из-за все возраставшего увлечения своим собственным порождением. Вообще-то детище было не только его, План был общий, мой, его и Диоталлеви, но из нас троих именно он, по-видимому, втянулся сильнее прочих, больше, чем требовала игра. Строить дальнейшие предположения не имело смысла. Я побежал в издательство. Гудрун встретила меня кисло: ее оставили одну в лавке. Но я, не останавливаясь, промчался в нашу комнату, выхватил из ящика пакет с ключами и побежал к Бельбо.

Запах затхлости, стоялых окурков, все пепельницы переполнены, мойка завалена тарелками, ведро забито жестянками от консервов. В кабинете на столике три пустых бутылки от виски, в четвертой еще оставалось пальца на два. Квартира человека, который несколько дней сидел взаперти, ел что попадется и работал абсолютно как ненормальный.

Всего там было две комнаты, в обеих книги занимали все полезное пространство и громоздились по углам, стеллажи стонали под их весом. Мне тут же бросились в глаза компьютер, принтер, коробки с дискетами. В тех немногих местах на стенах, где не было книг, висели картины, и в частности напротив стола - гравюра семнадцатого века в замечательной рамке, аллегорический сюжет, на которую я не обратил никакого внимания месяц назад, когда заходил к Бельбо выпить пива накануне отъезда в отпуск.

На столе - фото Лоренцы Пеллегрини, красовалась и дарственная надпись мелким кривоватым почерком подростка. Лицо крупным планом; выражение глаз - странное выражение глаз - волнующие глаза; из безотчетной деликатности - или ревности? - я отвернул снимок и не стал читать подпись.

Среди папок на столе большинство было - графики, распечатки издательских планов. Но довольно быстро мне попался связный текст, напечатанный на принтере. Судя по датировке файла, это были первые пробы работы на компьютере. Они так и назывались «Абу». Я тут же вспомнил первые дни, когда Абулафия только-только появился в нашем издательстве. Бельбо совершенно потерял покой, вел себя как ребенок, Гудрун похмыкивала, Диоталлеви отпускал иронические замечания.

Файл «Абу» представлял собой открытое письмо Якопо Бельбо всем насмешникам его жизни. Письмо довольно сумбурное, «на новенького», выдающее невероятное комбинаторное исступление, с которым Бельбо набросился на электронную машину. Человек, который говорил о себе с обычной бескровной улыбочкой: однажды-де он понял, что ему не светит роль главного героя, и выбрал себе роль умного наблюдателя; бессмысленно писать, если нет серьезной мотивации, гораздо лучше переписывать уже написанное, то есть быть хорошим редактором, – этот человек обнаружил для себя в компьютере некий галлюциноген. Он бренчал на клавиатуре, как подбирают собачью польку на стареньком домашнем пианино, когда никто не слушает и не судит. Творческая мысль не имела к этому отношения; затерроризированный письмобоязнью, он не воспринимал данный процесс как письмо, а только как пробу автоматического устройства, как физзарядку ума. И в то же время, освободившись от присущих фобий, он увидел в этой новой игре выход в подростковое состояние, столь любезное пятидесятилетним. В любом случае, каким-то образом, его природный пессимизм и сложные расчеты с прошлым как-то отступили на второй план перед возможностью контакта с памятью неорганической, вещной, покорной, безответственной, внеисторической, до того по-человечески бесчеловечной, что он на время переставал чувствовать собственную знаменитую «болезнь бытия».

Имя файла: Абу

О яснейшее утро конца ноября, в Начале было Слово, гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Муза прелестница, Муза печальница. Точка и новая строчка.

Само идет на новую строчку.

Проба проба проба παρακαλεω παρακαλεω. Хорошая программа строит анаграммы. Если вы написали роман из жизни южных штатов, героя зовут Ретт Батлер, а героиню Скарлетт, а потом вам это не понравилось, надо только дать команду, и Абу поменяет всех Реттов Батлеров на князей Андреев, всех Скарлетт на Наташ, Атланту на Москву, и готова война и мир.

Абу все может. Сейчас я напишу фразу и заставлю Абу поменять все «а» на «акка» и все «о» на «улла» и получится по-фински.

Аккабу все муллажет. Сейчаккас я наккапишу фракказу и заккастаккавлю Аккабу пулламенять все «акка» накка «аккаккакка» и все «улла» накка «уллакка» и пуллалучится пулла-фински.

О счастье, о головокружение неподобия, о мой идеальный читатель/писатель, обуреваемый идеальной «несонницей» (О поминки по Финнегану, о нежная, возвышенная тварь!). Не думает за тебя, а помогает тебе думать за него. Механизм стопроцентной духовности. Ежели пишешь гусиным пером, скрипя по засаленной бумаге и макая его ежеминутно в чернильницу, мысли опережают друг друга и рука не успевает за мыслью, если печатаешь на машинке, буквы перепутываются, невозможно поспеть за скоростью собственных синапсов, побеждает тупой механический ритм. А вот с ним (может быть, с нею?) пальцы пляшут как им угораздится, мозг объединен с клавиатурой, и порхаешь посреди неба, у тебя как у пташки крылья, ты сочиняешь психологический критический разбор ощущений первой брачной ночи.

А теаперь явот что с делаю, напечатаою кучок вслепуб, в затем возьму этоу кучу орфографияечких мо н смров и потребу= от малшины сдубллировать ее и перенести во врепменную память, И песть после жтого снова выведется и из Лимба на эжокран, в хвосте за самой слбойю

Вот так, я напечатал кусок вслепую, а затем взял эту кучу орфографических монстров, и сдублировал свои ошибки, и перенес их во временную память, и снова воспроизвел всю кучу в хвосте за самой собою, но в выправленном виде, и теперь она - образец аккуратности, по амбарам поскребли, колобок нам испекли, и глаз любуется и душа услаждается.

Я мог бы, исправив текст, выкинуть предыдущий кусок: оставляю его только для демонстрации того, как на этом экране могут сосуществовать бытие и долженствование, случайность и необходимость. А мог бы убрать порочный кусок из видимого текста, но сохранить в виртуальной памяти, на-

капливая таким образом каталог предыдущих стадий, не лишая загребущих фрейдистов и асов «критики вариантов» ни радостей научного сыска, ни профессионального удовлетворения, ни академических лавров.

Эта память лучше настоящей, потому что настоящая, вероятно благодаря суровой школе, научена запоминать, но не научена забывать. Диоталлеви самым сефардическим образом балдеет от своих дворцов с огромными лестницами, а потом там дальше, дальше - статуя воина, насилующего полонянку, и коридоры с тысячами комнат, и в каждой комнате - чудища подлы, позорны, и тревожные видения, странные призраки, оживающие мумии, и с каждым зрелищем сассоциирован в сознании некоторый факт, категория, какой-то элемент устройства космоса, то силлогизм, то не имеющий конца сорит - силлогизм в форме цепочки, - вереницы апофегм, ожерелья гипаллагов, розы зевгм, кадрили гистеронов-протеронов, апофантические речи, иерархии стихий, процессии равноденствий, параллаксы, гербарии, генеалогии гимнософистов - и далее до бесконечности, то Раймунд, то Камилл, достаточно отослаться воображением к этим зрительным картинам и немедленно снова выстраивается великая цепь бытия, идешь направо love, идешь налево joy, - привет вам от Лавджоя, так «все, что разлисталось по вселенной», у вас в глубинах памяти «как в книгу совершенную сплелось», Пруст в сравнении с подобной штукой - детская бирюлька. Однако однажды мы с Диоталлеви сели изобретать ars oblivionalis[1] - и не сумели сформулировать правила забвения. Это бесполезно: можно брести в поисках утраченного времени по самым хрупким следочкам, как Мальчик с Пальчик по лесной тропинке, но у вас не получится специально сбить с пути время обретенное. Мальчик с Пальчик возвращается как штык, с этим ничего не поделаешь. Не существует технологии забвения, в этом смысле мы все еще ждем от природы случайных милостей - мозговых кровоизлияний, амнезии, хирургии и что там еще может стрястись, ну, скажем: путешествия, пьянство, лечение сном, самоубийство.

А Абу вместо всего этого предлагает широкий выбор локальных минисамоубийств, временных амнезий, безболезненных афазий.

Где ты была сегодня ночью, Л

Вот так вот, мой нескромный читатель, ты не узнаешь никогда, а ведь эта оборванная линия строкой выше, кончающаяся пустотой, не что иное как зачин одной ужасно предлинной фразы, которую я на самом деле написал, но потом захотел как бы никогда не иметь ее написанной (и никогда не иметь произнесенной даже про себя), потому что хотел, чтобы то, что я написал, никогда бы не бывало произошедшим. И достаточно простого нажатия клавиши, млечная пена захлестнула фатальный, нежеланный кусок текста, я шлепнул по «отмене сигнала» и текст исчез.

Но и это не все. Трагедия самоубийцы в том, что обычно, выпрыгнув из окна и пролетая между седьмым и шестым этажами, он всей душою взывает: «Ах, если бы я мог переиграть!» Но это дудки. Никто переиграть не может. Бац. А мой Абу милосерден, он позволяет обратный ход, я еще восстановлю мой исчезнувший текст, если только не слишком тянуть и сразу щелкнуть по клавише восстановления. Какое счастье. Исключительно потому, что всегда в нашей власти вспомнить - теперь мы умеем забывать.

Не пойду я больше по окрестным барам разносить в щепки неприятельские миноносцы боевыми снарядами, покуда алкоголь окончательно не развалит на обломки меня самого. Здесь гораздо интереснее: здесь можно расщеплять мысли. Здесь галактика из тысяч тысяч астероидов, все выстроились по ранжиру, беленькие-зелененькие, на выбор, все созданы вами. Фиат Люкс, Биг Бэнг, семь дней, семь минут, семь секунд, и вот пожалуйста, сотворяется мир вековечной текучести, где не существует ни четких космологических линий, ни временных связей, здесь орднунг *не* мус зайн[2] и возможен поворот обратно, такожде и во времени, письмена рождаются и тонут, идут ко дну и снова выплывают невозмутимо, выйдут из небытия и спокойно канут туда же, и ты волен их вызывать, переставлять, тасовать, и стирать и

[1] Искусство забвения (*лат.*).
[2] Ordnung muss sein - порядок должен быть (*нем.*).

тереть их, они растворяются и снова гектоплазмируются в отведенном им месте, это субмаринная симфония перетягиваний и влажных разрывов, студенистый вальс самопожирающих комет, они как рыбина из Jellow Submarine, прикоснитесь подушечкой пальца и непоправимое поползет назад в пасть прожорливой вокабуле, так и ухнет в ее зубы, а она засосет и хрряп, мрак, не удержишь - сожрет самое себя, раздуется от собственного несуществования, Черная дыра Чешира.

А если пишешь такое, которое стыдно писать, можно вогнать все это в мягкую дискетку, а на дискетку наложить вето - придумать пароль, и никто не сумеет прочитать, что в ней зашифровано, это находка для шпионов, записал, запечатал и привет, можешь гулять с диском в кармане и никакой Торквемада не дознается, что там за секреты, будут знать только ты и он (и Он?). Пусть даже предположим, что тебя пытают, ты соглашаешься стучать, сдать свой Секрет, настучать пароль, а вместо этого нажимаешь секретную кнопку и все, и пиши пропало, вся твоя криптограмма навеки перестает существовать.

Ой, тут было что-то написано, я нечаянно тюкнул пальцем, все исчезло. Что это было? Не помню. Знаю только, что очень важных Откровений там не было. Хотя за будущее не поручусь.

4

Кто хочет проникнуть в Розовый Сад Философов, не имея ключа, подобен тому, кто хочет идти, не имея ног.
Михаэль Майер, *Аталанта Бегущая* [1]
Michael Maier, *Atalanta fugiens*,
Oppenheim, De Bry, 1618, emblema XXVII

Больше ничего на поверхности не было. Предстояло разбираться в дискетах. Они были перенумерованы, и я начал с первой. Но Бельбо предупреждал что-то насчет пароля. Он всегда был ревнив к секретам Абулафии.

И действительно, едва я зарядил машину, на экране появилась строка: «Вы знаете пароль?» Формулировка не обидная. Бельбо был тактичный человек.

Машина вела себя безучастно, она знала, что требуется пароль, и, не получая пароля, скучала. Но в то же время как бы подзуживала: «Вот так-то! То, что тебя интересует, у меня тут, в брюхе, да только как ты ни пыхти, старый крот, все равно ничего не узнаешь». Вот теперь и посмотрим, сказал я себе, ты так любил играть в шарады с Диоталлеви, ты был Сэм Спейд издательского дела, лови теперь соколка, как сказал бы Якопо Бельбо (и Дэшил Хэммет, разумеется само собой).

Пароль на Абулафии мог быть длиной в семь букв. Сколько шарад, сколько семерок способен дать наш двадцатипятибуквенный алфавит с учетом возможности повторов, ибо ничто не препятствует таинственному слову выглядеть как «кадабра»? Есть формула подсчета вариантов. В общем, результат будет где-то шесть миллиардов и хвостик. Допустим, берется здоровенная счетная машина, способная перебрать нужные шесть миллиардов со скоростью миллион в секунду, но все равно после этого придется закладывать их в Абулафию поштучно и смотреть, что будет, а так как при этом известно, что Абулафии требуется примерно десять секунд на вопрос и на прогонку ответа, имеем шестьдесят миллиардов секунд. Учитывая, что календарный год в пересчете на секунды – это около тридцати одного миллиона, округлим до тридцати, выйдет, что на работу надо отдать примерно две тысячи лет. Не слабо.

Остается путь дедукций. Какое слово могло иметь особый смысл для Бельбо? И прежде всего – выбирал ли он это слово в самом начале, когда только затевал свой роман с машиной, или в последние дни – после того как понял, что в память заложены взрывоопасные вещи и игра перестает быть игрушкой, по крайней мере для него самого? Результаты, в первом и во втором случае, будут сильно отличаться.

Пойдем от второй гипотезы. Бельбо попадает в тиски Плана, принимает

[1] Основной трактат по алхимии в форме эмблем с подписями.

План всерьез (судя по последнему его звонку) и, вероятно, выбирает какое-то слово, связанное с нашими делами.

А может быть, и нет: ведь нельзя забывать, что пароль, восходящий к Преданию, доступен и Тем... Вдруг я подумал, что Они свободно могли уже побывать в этой квартире, скопировать все дискетки, и в данную минуту в каком-нибудь другом доме, как и я, сидят, ломают голову над комбинациями. Вычислительная техника завтрашнего дня в Дракульем замке на Карпатах.

И очень глупо, возразил я себе. Этот народ далек от техники. Они вооружатся Нотариконом, Гематрией, Темурой, обратятся к дискеткам как к Торе. И потратят на толкование не меньше времени, нежели минуло со времен создания «Сефер Йецира» [1]... Однако дедуктивный метод все равно имеет смысл. Исходим из того, что Они, если бы существовали, искали бы разгадку в каббале. Если, в свою очередь, Бельбо был убежден, что Они существуют, он вполне мог выбрать Их путь.

Для очистки совести я попробовал каждую из десяти сефирот: Кетер, Бина, Хохма, Гевура, Хесед, Теферэт, Год, Нецах, Йесод, Мальхут, и в нагрузку подбросил еще Шекинах. Разумеется, ничего не получилось, ибо это была первая мысль, которая пришла бы в голову кому угодно.

И тем не менее слово-пароль должно было быть вполне очевидным, вытекающим из объективного хода вещей, потому что когда люди делают работу, да еще в таком безумном темпе, в каком работал Бельбо последние дни, они не способны отключиться от искусственного мира, в который погружены. Негуманно предполагать, что Бельбо мог совершенно сбрендить от этого Великого Плана и начать думать, скажем, о Линкольне или о Момбасе. Нет, это должно было быть что-то связанное с делом. Только что?

Я попытался приобщиться к ментальным процессам Бельбо. Вот я работаю запоем, прикуриваю новую сигарету от предыдущей, подливаю себе виски и лишь изредка взглядываю по сторонам. Я отправился в кухню и выцедил себе последние капли виски в единственный чистый стакан, имевшийся в доме, возвратился к столу, откинулся на спинку стула, задрал на стол ноги, стал потягивать маленькими глотками (стопроцентный Сэм Спейд – а может быть, так вел себя не Сэм Спейд, а Марло?) и озираться по сторонам. До книжных полок было далеко, надписи на корешках не читались.

Я залил в рот последнюю дозу, прикрыл глаза, проглотил виски и снова воззрился перед собой. В фокусе оказалась старая гравюра. Семнадцатый век, типичнейшая для того времени розенкрейцерская аллегория, полная шифрованных сигналов - обращений к законспирированным собратьям по ордену. В середине был несомненный розенкрейцерский Храм - башня, увенчанная куполом, вариация иконографического канона эпохи Возрождения, как христианского, так и иудейского, согласно которому Иерусалимский Храм изображался по подобию мечети Омара.

Ландшафт вокруг этой башни был разорван и заселен странно, как в тех ребусах, где нарисованы дворец, жаба на первом плане, мул с вьюком, король, получающий дар от пажа. В данном случае в левом нижнем углу рисунка какой-то жантильом вылезал из колодца, уцепившись за трос, шедший через два роликовых блока, поверх довольно хлипких подпорок, прямо в круглое оконце башни-храма. В середине картины всадник и пешеход, справа - коленопреклоненный пилигрим, опирающийся на большой якорь, как на посох. На правой стороне, на уровне верха башни, - скала, с которой валится вниз человек, туда же летит его шпага, а на противоположной стороне, на горизонте - гора Арарат и на ее вершине - причаливший ковчег. В небесах, по углам гравюры, два облака, из коих каждое озарено звездой, испускающей на крышу башни мутные лучи, в которых парили два существа справа и слева – голый, обвитый змеей, и лебедь. В самом верху, в середине, нимб, увенчанный словом «ORIENS»[2], с надпечаткой еврейскими литерами; из нимба выходит длань Господня, держащая нить, на которой подвешена башня.

---

[1] «Книга Творения» – название двух древнееврейских трактатов о сотворении мира Богом посредством сочетания двадцати двух букв алфавита, с использованием структуры «дерева сефирот» и «тридцати двух тайных путей творения». Воспринималось и как руководство к творению чудес. Исходный текст для многих разновидностей мистицизма.

[2] Восток, восходящий (*лат.*).

У башни имелись колеса и квадратное основание с окнами, дверью, подъемным мостом в правой стене; этажом выше - что-то вроде балюстрады с четырьмя наблюдательными вышками, на каждой стоял оружный чин со щитом, испещренным еврейскими буквами, и салютовал пальмовой ветвью. Этих оружных людей можно было видеть только трех, а наличие четвертого подразумевалось, он был заслонен восьмиугольным куполом, в центре которого возвышался венец, такой же восьмиугольный, и из венца высовывалась пара огромных крыльев. Наверху еще один купол поменьше, с четырехугольным барабаном, открытым на четыре стороны света, состоящим из арок и тоненьких колонн, в середине которого просматривался колокол. И наконец, выше всего помещался четырехскатный купол, к которому крепилась нить, удерживаемая в облаках божественной рукой. По сторонам верхнего венца было написано «Fa/ma»[1]. Над куполом на ленте: «Collegium fraternitatis»[2].

На этом странности не кончались, так как из двух круглых окон башни торчали: слева - несуразно огромная рука, которая могла бы принадлежать разве что втиснутому внутрь башни гиганту, чьи были торчащие крылья; а справа - таких же масштабов труба. Труба, снова эти трубы...

Что-то подтолкнуло меня пересчитать отверстия в башне: в венцах - слишком частые и регулярные, в нижних стенах, наоборот - слишком произвольные. Башня была нарисована в две четверти, в ортогональной проекции, и оставалось только предположить, что постройка симметрична и что все двери, окна и проемы, показанные художником, присутствуют на тех же местах на остальных стенках. Таким образом: четыре арки колокольного венца, восемь окон в среднем ярусе, четыре башенки, шесть отверстий в восточной плюс западной стенах, четырнадцать в северной плюс южной. Подобьем счет Тридцать шесть отверстий.

Тридцать шесть. Вот уже десять лет как меня преследует эта цифра. Вместе с цифрой сто двадцать. Это числа розенкрейцеров. Сто двадцать поделить на тридцать шесть - с точностью до седьмого знака - дает 3,333333. Это было бы чересчур красиво... Но все равно стоило попробовать. Я попробовал. Без толку.

Мне пришло в голову, что в удвоенном виде это число выглядело более или менее как 666. Число Зверя. Но и с этой догадкой, как показала практика, я перемудрил.

Мне снова бросился в глаза центральный ореол - обиталище Бога. Еврейские буквы в нем были настолько четки, что их можно было прочесть даже не вставая из-за стола. Но Бельбо не мог печатать на Абулафии по-еврейски! Я присмотрелся: буквы мне были знакомы, ну да, конечно, справа налево: йод, ге, вав, гет. Яхве, Iahveh, Иегова. Имя Бога.

5

И начал складывать это имя, имя YHWH, сначала только это, а потом во всех сочетаниях, и кружить его, и поворачивать, будто колесо...

Абулафия, *Хайе га-Нефеш*
Abulafia, *Hayyê ha-Nefes*, München 408

Имя Бога. Разумеется. Я вспомнил первую беседу Бельбо и Диоталлеви в тот день, когда Абулафию привезли к нам в контору.

Диоталлеви, привалившись к косяку кабинета, так и лучился снисходительностью. Снисходительность Диоталлеви обычно бывала обидной, но Бельбо до обид не снисходил.

- Что ты с ним будешь делать? Переписывать чужие рукописи? Ты же их не читаешь!

- На нем можно составлять указатели, вести библиографию, классифицировать. Можно писать что-нибудь свое. Почему обязательно чужое?

- Ты вроде божился, что не будешь писать свое.

- Я сказал, что не буду засорять мир новыми рукописями. Поелику роль главного героя мне не дают...

---

1 «Сла-ва» (*лат.*).
2 «Коллегия братства» (*лат.*).

- ...ты удовлетворяешься ролью умного наблюдателя. Ну так как же?

- А так, что и умный наблюдатель, когда идет домой с концерта, насвистывает мотив, но это не значит, что он собирается выступать с ним в Карнеги-холл...

- Значит, ты собираешься насвистывать свои писания, чтоб убедиться, что не должен писать.

- Это будет по крайней мере честно.

- Ах да?

Диоталлеви и Бельбо были оба по происхождению пьемонтцами, а у пьемонтцев из приличных семей особенно ценится умение вежливо выслушать собеседника, глядя ему в глаза, и затем переспросить «Ах да?» тоном, полным живейшего интереса, но так, чтобы при этом собеседник пожелал провалиться сквозь землю. Я же был чистый варвар, заявляли они, и подобные тонкости, разумеется, были мне недоступны.

- Варвар? - возмущался я. - Хоть я и родился в Милане, моя мама из Валь Д'Аосты!

- Наплевать, - стояли они стеной. - Пьемонтцы узнаются по скептицизму.

- Я же скептик!

- Нет. Вы Фома недоверчивый. Это другое.

Я понимал, почему Диоталлеви не доверяет Абулафии. Он слышал, что компьютер может переставлять буквы в произвольном порядке, выворачивать слова наизнанку, и всполошился, потому что предвидел самые дьявольские последствия подобных манипуляций. Бельбо успокаивал его.

- Эта игра в перестановки, - говорил он - иначе называется Темура, ведь верно? Не этим ли путем правоверные раввины восходят ко вратам Сияния?

- Друг мой, - отвечал Диоталлеви, - ты никогда ничего не поймешь. Да, это правда, что Тора - я имею в виду, разумеется, видимую Тору - есть лишь одна из перестановок-пермутаций букв, составляющих вековечную Тору, какою создал ее Творец и какой ее дал Адаму. Пермутируя столетие за столетием буквы в этой Торе, возможно рано или поздно взойти к Торе изначальной. Но важен не результат. Важен процесс, то есть та истовость, с которой мы бесконечно обращаем жернова моления и писания, составляя истину из малых крупиц. Если же машина выдаст тебе правду немедленно, ты эту правду не примешь, ибо сердце твое не будет очищено продолжительным испытанием. И потом - в таком месте, в редакции! Как можно! Слова Книги произносятся шепотом, в закоулке гетто, там, где человек научается жить, горбясь и плотно прижимая локти к бокам; в ладонях же он держит Книгу, и той руке, которая листает, нет почти никакого пространства, и чтобы смачивать пальцы, приходится подымать их к губам вертикально, как будто причащаясь хлеба неквашеного, и дыша еле-еле, чтоб не уронить ни единой крошки. Слова пережевываются медлительно; каждое слово, чтобы разобраться на частицы и снова составиться, должно быть распущено во рту, под языком; не приведи бог уронить каплю слюны на ткань кафтана, если утратится хоть одна буква, порвется та нить, которая связывает тебя с высшими сефирот. Этому посвятил всю жизнь Авраам Абулафия, в то время как ваш Святой Фома из кожи вылезал, отыскивая Бога на своих пяти тропинках. «Хохмат га-Зеруф» Абулафии в равной степени явилась ученьем о пермутации литер и ученьем об очищении души. Мистическая логика, мир букв и их коловращение в бесконечной взаимозаменяемости - это и есть мир блаженства. Наука сопоставлений - музыка для рассудка, однако имей в виду, надо двигаться осторожно, с особой медленностью. А твоя машина способна породить суматоху, а не экстаз. Многие ученики Абулафии не сумели удержаться на тонкой грани, разделяющей созерцание имен Бога от магической практики, от манипуляции именами с целью составления талисманов, орудий управления природой. И они не ведали, как не знаешь и ты и не знает твоя машина, - что всякая буква увязана с какой-либо частью организма, и если ты сдвинешь с места одну согласную, не понимая ее силы, один из твоих органов сойдет со своего места, игра природы, и тебя всего перекорежит как снаружи, на всю жизнь, так и внутри, на вечные времена.

- Слушай, - отвечал ему Бельбо в тот самый день, - ты меня не разубедил, а разохотил. Теперь в моих руках и в моей полной власти, как Голем у твоих любимых евреев, персональный Абулафия. Я решил назвать его Абулафия, сокращенно Абу. И представь себе, мой Абулафия работает даже аккуратнее, чем твой. Осторожнее. Как я понял, твоя проблема в том, чтобы испробовать все возможные комбинации букв в имени Бога? Прекрасно. Посмотри в учебник. Вот маленькая программа на Бейсике для подбора всех вариантов взаимоположения четырех букв. Как будто нарочно для нас, для IHVH. Хочешь, я ее запущу? - И он открыл страницу с программой, вот уж точно совершенной каббалой для Диоталлеви:

```
10 REM anagrams
20 INPUT L$(1),L$(2),L$(3),L$(4)
30 PRINT
40 FOR I1=1 TO 4
50 FOR I2=1 TO 4
60 IF I2=I1 THEN 130
70 FOR I3= 1 TO 4
80 IF I3=I1 THEN 120
90 IF I3=I2 THEN 120
100 LET I4=10-(I1+I2+I3)
110 LPRINT L$(I1);L$(I2);L$(I3);L$(I4)
120 NEXT I3
130 NEXT I2
140 NEXT I1
150 END
```

- Вот попробуй с I,H,V,H. Введи там, где написано Input, и запускай программу. Не хотелось тебя огорчать, но возможных вариантов получится только двадцать четыре.

- Великое открытие. Святые Серафимы! Ты открыл двадцать четыре имени Бога! Неужели ты думаешь, что наши мудрецы все это до сих пор не посчитали? Да возьми «Сефер Йецира», шестнадцатый параграф четвертой главы. А у них, заметь, не было счетных машин. «Из двух Камней складываются два Дома. Из трех Камней складываются шесть Домов. Из четырех Камней складываются двадцать четыре Дома. Из пяти Камней складываются сто двадцать Домов. Из шести Камней складываются семьсот двадцать Домов. Из семи Камней складываются пять тысяч сорок Домов. А дале и впредь ступай и мысли о том, что уста не рекут и чему уши не внемлют». Ты знаешь, как в наши дни называется то же самое? Расчет факториала. А знаешь, почему Предание предлагает прекратить счет и дальше не пытаться? Потому что если бы букв в имени Бога было восемь, вариантов получалось бы уже сорок тысяч, а если бы десять - три миллиона шестьсот тысяч, а анаграмм твоего несчастного имени можно было бы подобрать почти сорок миллионов, и скажи спасибо, что у тебя нет промежуточного инициала, как у американцев, иначе бы дело дошло до четырехсот миллионов с хвостиком. А если бы в имя Бога входили все двадцать семь букв, поскольку в еврейском алфавите нет гласных, а есть просто двадцать две согласных и пять знаков вокализации, имена Бога исчислялись бы двадцатидевятизначным числом. К этому следует прибавить и все варианты с повторениями, ибо нигде не сказано, что имя Бога не может быть Алеф[1], повторенный двадцать семь раз, и тогда одним факториалом обойтись уже невозможно и надо будет вычислять двадцать семь в двадцать седьмой степени; это дает, я полагаю, четыреста сорок четыре миллиарда миллиардов миллиардов миллиардов возможных вариантов, плюс - минус погрешность, короче говоря, число из тридцати девяти знаков.

- Только не надо передергивать. Я тоже читал твою «Сефер Йецира». Основных букв известно двадцать две; из них, и только из них Бог образовал все сущее.

- Во-первых, не надо софизмов, потому что ты отлично понимаешь, что мы остаемся на тех же порядках величин, и если вместо двадцати семи в двадцать седьмой степени взять двадцать два в двадцать второй, все равно наберется что-то вроде трехсот сорока миллиардов миллиардов миллиардов.

[1] Первая буква еврейского алфавита, в каббале означает эн-соф - безграничную, чистую божественность.

С простой человеческой точки зрения, разница пренебрежима. Я могу предложить тебе начать с единицы - один, два, три - и считать дальше по цифре в секунду. Чтобы дойти до миллиарда, до какого-то вонючего миллиардика, знаешь, сколько тебе потребуется? Тридцать два года. Но дело обстоит еще сложнее, нежели ты думаешь. Каббала не сводится к «Сефер Йецира». Если хочешь, я могу объяснить, почему в хорошей работе по пермутации Торы должны все-таки учитываться двадцать семь букв, а не двадцать две. Ты правильно утверждаешь, что пять конечных знаков, попадая при перестановке в середину слова, превращаются в свой нормальный эквивалент. Но это не в ста процентах случаев. Возьми Исайю девять-шесть-семь, слово LMRBH - Лемарбех - которое, кстати, обрати внимание, значит «умножение». Здесь в середине слова пишется «мем» конечная.

- Почему?

- Потому что каждой букве соответствует число, причем нормальная «мем» значит сорок, а конечная «мем» - шестьсот. Но в данном случае приобретает определяющее значение не Темура - трактат о пермутации, а Гематрия, посвященная наблюдению тончайших связей между словами и их цифровыми смыслами. С конечной «мем» слово LMRBH начинает значить не 277, а 837, что соответствует по сумме словосочетанию «Тат Цаль», что означает «обильно одаривающий». Из этого следует, что необходимо принимать в расчет все двадцать семь букв, ибо важны не только звучания, но и количественные значения слов. А теперь вернемся к моему расчету. Пермутаций Торы может быть четыреста с чем-то миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов. Известно ли вам, сколько времени надо, чтобы просмотреть их все, по одной в секунду, допуская даже, что некая электронная машина, разумеется не твоя маломощная дрянь, способна на такое? Пропуская по одной в секунду, ты будешь этим заниматься семь миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов минут, сто двадцать три миллиона миллиардов миллиардов миллиардов часов, немногим более пяти миллионов миллиардов миллиардов миллиардов дней, четырнадцать тысяч миллиардов миллиардов миллиардов лет, сто сорок миллиардов миллиардов миллиардов веков, четырнадцать миллиардов миллиардов миллиардов тысячелетий. А если бы у тебя был компьютер, способный подбирать по миллиону комбинаций в секунду, ты только подумай, какой выигрыш во времени, при таком электронном пулемете ты бы разделался со всем этим всего за четырнадцать тысяч миллиардов миллиардов тысячелетий! Однако на самом деле настоящее имя Бога, тайное имя, длинно, как вся целиком Тора, и не существует на свете машины, способной подобрать все пермутации его, потому что и Тора сама по себе – это уже результат пермутации двадцати семи букв с учетом повторений, и наука Темуры гласит о необходимости пермутировать не двадцать семь литер алфавита, а все до одного знаки Торы, из коих каждый знак имеет восприниматься как если бы он был самостоятельною буквой, даже если он появляется бесконечное количество раз в других местах и на других страницах, то есть с этой точки зрения, к примеру, два «ха» в имени IHVH - две разные буквы. Поэтому если ты соберешься просчитать все возможные пермутации всех возможных знаков, составляющих целую Тору, тебе не хватит всех на свете нулей. Давай, давай, старайся со своей бухгалтерской машинкой. Истинная Машина, разумеется, существует, но она создавалась не в какой-то силикатной долине, эта Машина - святая Каббала или, иначе говоря, Предание, и раввины на протяжении столетий разрабатывали то, что ни одной машине разработать не по силам и, надеюсь, даже не придет ей в голову. Ибо буде пермутация задумана и осуществлена, результат должен оставаться секретом, и в любом случае мироздание на этом скончало бы свой цикл - и мы полыхнули бы и погасли в вековечном забвении, во славу великого Метатрона.

- Аминь, - заключил Бельбо.

Однако с тех самых пор благодаря дорогому другу Диоталлеви в душе Бельбо поселился опасный интерес к вечному и бесконечному. Не раз и не два вечерами после работы он оставался и гонял на компьютере программы в явной надежде доказать Диоталлеви, что Абу способен наглядно представить

истину за несколько секунд, без ручных подсчетов, без желтых пергаментов, без допотопных систем счисления, которые - кто их разберет? - возможно, вообще обходились без нулей или еще как-нибудь в этом духе. Но все было без толку, Абу по любому поводу норовил ответить экспонентными формулами, и Бельбо никак не удавалось поразить Диоталлеви зрелищем экрана, целиком заполненного нулями, что было бы хотя и бледной, но иллюстрацией размножения комбинаторных миров и взрывного распада всех возможных универсумов...

Но в любом случае теперь, после всего, что имело место, и пред лицом розенкрейцерской гравюры, невозможно предположить, чтобы Бельбо не подумал, изобретая пароль, о пермутациях имени Бога. И, вероятно, он обратился в первую очередь к цифрам тридцать шесть и сто двадцать, ибо, судя по всему, эти цифры стали и его наваждением; а если так, значит, он отправлялся не от четырехбуквенного еврейского слова ЯХВЕ, а от какого-то другого, ибо из четырех камней максимум, что можно построить, это двадцать четыре дома.

Естественнее всего было взять за основу итальянскую транскрипцию ИЕГОВА. Шесть букв - это уже семьсот двадцать пермутаций. Из них он мог употребить для пароля тридцать шестую или сто двадцатую.

Я пришел сюда в одиннадцать, теперь был час дня. Требовалось срочно составить программу анаграммирования шести букв, то есть, вернее, переработать уже имеющуюся программу для четырех.

Голова была мутная; чтоб развеяться, я спустился на улицу, зашел в ближайший бар, купил бутербродов и новую бутылку виски.

Поднявшись в квартиру, я оставил бутерброды около двери, а виски немедленно откупорил, задвинул в компьютер системную дискету Бейсик и начал сочинять программу для шести букв - разумеется, по методу проб и ошибок, так что вместо пяти минут я убил на это прорву времени, но где-то в половине третьего программа наконец пошла и на экране поползли передо мною семьсот двадцать вариантов имени Бога.

Иегова	Иегоав	Иегвоа	Иегвао	Иегаов	Иегаво	Иеогва	Иеогав	Иеовга
Иеоваг	Иеоагв	Иеоавг	Иевгоа	Иевгао	Иевога	Иевоаг	Иеваго	Иеваог
Иеагов	Иеагво	Иеаогв	Иеаовг	Иеавго	Иеавог	Игеова	Игеоав	Игевоа
Игевао	Игеаов	Игеаво	Игоева	Игоеав	Иговаа	Игоаве	Игоаев	Игоаве
Игвеоа	Игвеао	Игвоеа	Игвоае	Игваео	Игваое	Игаеов	Игаево	Игаоев
Игаове	Игавео	Игавое	Иоегва	Иоегав	Иоевга	Иоевог	Иоегав	Иоеавг
Иогева	Иогеав	Иогвеа	Иогвае	Иогаев	Иогаве	Иовега	Иовеаг	Иовгеа
Иовгае	Иоваег	Иоваге	Иоаегв	Иоаевг	Иоагев	Иоагве	Иоавег	Иоавге
Ивегоа	Ивегао	Ивеога	Ивеоаг	Ивеаго	Ивеаог	Ивгеоа	Ивгеао	Ивгоеа
Ивгоае	Ивгаео	Ивгаое	Ивоега	Ивоеаг	Ивогеа	Ивогае	Ивоаег	Ивоаге
Иваего	Ивасог	Ивагео	Ивагое	Иваоег	Иваоге	Иаегов	Иаегво	Иаеогв
Иаеовг	Иаевго	Иаевог	Иагоев	Иагево	Иагоев	Иагове	Иагвео	Иагвое
Иаоегв	Иаоевг	Иаогев	Иаогве	Иаовег	Иаовге	Иавего	Иавеог	Иавгео
Иавгое	Иавоег	Иавоге	Еигова	Еигоав	Еигвоа	Еигвао	Еигаов	Еигаво
Еиогва	Еиогав	Еиовга	Еиоваг	Еиоагв	Еиоавг	Еивгоа	Еивгао	Еивога
Еивоаг	Еиваго	Еиваог	Еиагов	Еиагво	Еиаогв	Еиаовг	Еиавго	Еиавог
Егиова	Егиоав	Егивоа	Егивао	Егиаов	Егиаво	Егоива	Егоиав	Еговиа
Еговаи	Егоаив	Егоави	Егвиоа	Егвиао	Егвоиа	Егвоаи	Егваио	Егваои
Егаиов	Егаиво	Егаоив	Егаови	Егавио	Егавои	Еоигва	Еоигав	Еоивга
Еоиваг	Еоиагв	Еоиавг	Еогива	Еогиав	Еогвиа	Еогваи	Еогаив	Еогави
Еовига	Еовиаг	Еовгиа	Еовгаи	Еоваиг	Еоваги	Еоаигв	Еоаивг	Еоагив
Еоагви	Еоавиг	Еоавги	Евигоа	Евигао	Евиога	Евиоаг	Евиаго	Евиаог
Евгиоа	Евгиао	Евгоиа	Евгоаи	Евгаио	Евгаои	Евоига	Евоиаг	Евогиа
Евогаи	Евоаиг	Евоаги	Еваиго	Еваиог	Евагио	Евагои	Еваоиг	Еваоги
Еаигов	Еаигво	Еаиогв	Еаиовг	Еаивго	Еаивог	Еагиов	Еагиво	Еагоив
Еагови	Еагвио	Еагвои	Еаоигв	Еаоивг	Еаогив	Еаогви	Еаовиг	Еаовги
Еавиго	Еавиог	Еавгио	Еавгои	Еавоиг	Еавоги	Гисова	Гисоав	Гисвоа
Гиевао	Гисаов	Гисаво	Гиосва	Гиосав	Гиовса	Гиоаве	Гиоаев	Гиоаве
Гивеоа	Гивсао	Гивоса	Гивоас	Гиваео	Гиваое	Гиаеов	Гиаево	Гиаоев
Гиаове	Гиавео	Гиавое	Геиова	Геиоав	Геивоа	Геивао	Геиаов	Геиаво
Геоива	Геоиав	Геовиа	Геоваи	Геоаив	Геоави	Гевиоа	Гевиао	Гевоиа
Гевоаи	Геваио	Геваои	Геаиов	Геаиво	Геаоив	Геаови	Геавио	Геавои
Гоисва	Гоисав	Гоивса	Гоивас	Гоиаев	Гоиаве	Госива	Госиав	Госвиа
Госваи	Госаив	Госави	Говиса	Говиас	Говсиа	Говсаи	Говаис	Говаси
Гоаиев	Гоаиве	Гоасив	Гоасви	Гоавис	Гоавси	Гвисоа	Гвисао	Гвиоса
Гвиоас	Гвиаео	Гвиаос	Гвсиоа	Гвсиао	Гвсоиа	Гвсоаи	Гвсаио	Гвсаои
Гвоиса	Гвоиас	Гвосиа	Гвосаи	Гвоаис	Гвоаси	Гваисо	Гваиос	Гвасио
Гвасои	Гваоис	Гваоси	Гаисов	Гаисво	Гаиосв	Гаиове	Гаивео	Гаивос
Гасиов	Гасиво	Гасоив	Гасови	Гасвио	Гасвои	Гаоиев	Гаоиве	Гаосив

Гаосви	Гаовие	Гаовси	Гавиео	Гавиос	Гавсио	Гавеои	Гавоие	Гавоеи
Оиегва	Оиегав	Оиевга	Оиеваг	Оиеагв	Оиеавг	Оигева	Оигеав	Оигвеа
Оигвае	Оигаев	Оигаве	Оивега	Оивеаг	Оивгеа	Оивгас	Оиваег	Оиваге
Оиаегв	Оиаевг	Оиагев	Оиагве	Оиавег	Оиавге	Осигва	Осигав	Осивга
Осиваг	Осиагв	Осиавг	Осгива	Осгиав	Осгвиа	Осгваи	Осгаив	Осгави
Освига	Освиаг	Освгиа	Освгаи	Осваиг	Осваги	Осаигв	Осаивг	Осагив
Осагви	Осавиг	Осавги	Огиева	Огиеав	Огивеа	Огивае	Огиаев	Огиаве
Огсива	Огсиав	Огевиа	Огеваи	Огеаив	Огеави	Огвиса	Огвиас	Огвеиа
Огвеаи	Огваие	Огваси	Огаиев	Огаиве	Огасив	Огасви	Огавие	Огавси
Овиега	Овиеаг	Овигса	Овигае	Овиаег	Овиаге	Овсига	Овсиаг	Овегиа
Овегаи	Овеаиг	Овеаги	Овгиса	Овгиас	Овгеиа	Овгеаи	Овгаие	Овгаси
Оваиег	Оваиге	Оваеиг	Оваеги	Овагие	Оваги	Оаиегв	Оаиевг	Оаигев
Оаигве	Оаивег	Оаивге	Оаесигв	Оаесивг	Оаегив	Оаегви	Оаевиг	Оаевги
Оагиев	Оагиве	Оагеив	Оагеви	Оагвие	Оагвеи	Оавиег	Оавиге	Оавеиг
Оавеги	Оавгие	Оавгеи	Вигоа	Вигао	Вигоа	Вигоаг	Вигаго	Вигаог
Вигеоа	Вигеао	Вигоса	Вигоае	Вигаео	Вигаос	Виоега	Виоеаг	Виогеа
Виогас	Виоаег	Виоаге	Виасго	Виасог	Виагео	Виагое	Виаоег	Виаоге
Веигоа	Веигао	Веиога	Веиоаг	Веиаго	Веиаог	Вегиоа	Вегиао	Вегоиа
Вегоаи	Вегаио	Вегаои	Веоига	Веоиаг	Веогиа	Веогаи	Веоаиг	Веоаги
Веаиго	Веаиог	Веагио	Веагои	Веаоиг	Веаоги	Вгиеоа	Вгиеао	Вгиоса
Вгиоае	Вгиаео	Вгиаое	Вгеиоа	Вгеиао	Вгеоиа	Вгеоаи	Вгеаио	Вгеаои
Вгоиса	Вгоиае	Вгосиа	Вгоеаи	Вгоаие	Вгоаси	Вгаиео	Вгаиое	Вгаесио
Вгасои	Вгаоие	Вгаоси	Воиега	Воиеаг	Воигеа	Воигас	Воиаег	Воиаге
Восига	Восиаг	Восгиа	Восгаи	Восаиг	Восаги	Вогиеа	Вогиас	Вогсиа
Вогсаи	Вогаие	Вогаси	Воаиег	Воаиге	Воаеиг	Воаеги	Воагие	Воагси
Ваиего	Ваиеог	Ваигео	Ваигое	Ваиоег	Ваиоге	Ваеиго	Ваеиог	Ваегио
Ваегои	Ваеоиг	Ваеоги	Вагиео	Вагиое	Вагеио	Вагеои	Вагоие	Вагоеи
Ваоиег	Ваоиге	Ваоеиг	Ваоеги	Ваогие	Ваогеи	Аисгов	Аисгво	Аисогв
Аисовг	Аисвго	Аисвог	Аигсов	Аигсво	Аигосв	Аигове	Аигвео	Аигвое
Аиосгв	Аиосвг	Аиогсв	Аиогве	Аиовег	Аиовге	Аивего	Аивеог	Аивгео
Аивгос	Аивоег	Аивоге	Асигов	Асигво	Асиогв	Асиовг	Асивго	Асивог
Асгиов	Асгиво	Асгоив	Асгови	Асгвио	Асгвои	Асоигв	Асоивг	Асогив
Асогви	Асовиг	Асовги	Асвиго	Асвиог	Асвгио	Асвгои	Асвоиг	Асвоги
Агисов	Агисво	Агиосв	Агиове	Агивео	Агивое	Агсиов	Агсиво	Агсоив
Агсови	Агсвио	Агсвои	Агоисв	Агоиве	Агосив	Агосви	Аговие	Аговси
Агвисо	Агвиос	Агвсио	Агвсои	Агвоис	Агвоси	Аоисгв	Аоисвг	Аоигсв
Аоигве	Аоивег	Аоивге	Аосигв	Аосивг	Аосгив	Аосгви	Аосвиг	Аосвги
Аогиев	Аогиве	Аогсив	Аогсви	Аогвие	Аогвси	Аовиег	Аовиге	Аовсиг
Аовги	Аовгие	Аовгси	Авиего	Авиеог	Авигео	Авигое	Авиоег	Авиоге
Авсиго	Авсиог	Авсгио	Авсгои	Авсоиг	Авсоги	Авгиео	Авгиос	Авгсио
Авгсои	Авгоие	Авгоси	Авоиег	Авоиге	Авосиг	Авосги	Авогие	Авогси

Я сгреб отпечатанную ленту бумаги, не разделяя ее на страницы; будем пользоваться муляжом свитка первобытной Торы. Попробовал имя номер тридцать шесть. Никакого эффекта. Последний глоток виски, и вслед за тем трясущимися пальцами я набрал имя номер сто двадцать. Тишина.

Я был готов повеситься. Что делать? Я старался перевоплотиться в Якопо Бельбо, а Якопо Бельбо несомненно рассуждал именно так, как сейчас рассуждаю я. Но где-то закралась ошибка, маленькая, гаденькая ошибочка, совсем ничтожненькая, малюсенькая, и все полетело псу под хвост. Я был близко-близко, что же делать, может быть, Бельбо по каким-то странным причинам начинал счет не с начала, а с конца?

Казобон, кретин злополучный, сказал я себе. Разумеется, он считал с конца. То есть справа налево. Бельбо заложил в компьютер имя Бога в латинской транскрипции, ввел туда две гласные, это ясно, но так как слово все-таки еврейское, он написал его не слева направо, а справа налево. Таким образом, input выглядел не как IAHVEH, а как HEVHAI. О чем я думал раньше! Естественно, что таким образом порядок пермутации выйдет обратный.

Значит, надо было считать с конца. Я отсчитал и попробовал.

Никакой реакции.

Выходит, ошибочной была посылка. Я купился на красивую, но ложную гипотезу. Бывает с самыми лучшими учеными.

Какие к черту лучшие? С самыми худшими, как мне блистательно удалось продемонстрировать. Обсуждалось же нами недавно, что за последние несколько месяцев вышло как минимум три романа, где главный герой ищет имя Бога в компьютере. Бельбо не мог унизиться до такой пошлости. И потом вообще, если подумать минуточку, ну кто возьмет для пароля такую трудно-запоминаемую абракадабру? Наоборот, нужно самое простое из возможных слов, чтобы оно набиралось спонтанно, инстинктивно. ИОВГЕА! Как же, жди! Ему бы пришлось освоить весь Нотарикон и всю Темуру и составить какой-нибудь невероятный акростих, чтобы только запомнить это слово. «Имельда

Отомстила Врагам Гирама, Его Абидевшим...»

Кроме того, с какой стати Бельбо мыслил бы каббалистическими категориями Диоталлеви? Для Бельбо важнее всего был План, а в План мы ввели, слава Богу, и Розенкрейцерство, и Синархию, и Гомункулов, и Маятник, Башню, Друидов, Эннойю...

К слову, об Эннойе. Я подумал о Лоренце Пеллегрини. Я потянулся к фотографии и повернул ее лицом к себе. В память лезло неуместное воспоминание той ночи в Пьемонте... Подпись выглядела так: «Ибо я есмь первая и я последняя, я чтимая и я хулимая, я блудница и я святая. SOPHIA»

Вероятно, писано после вечера у Риккардо. SOPHIA. Шесть букв. Да нет. Какой смысл их анаграммировать? Это у меня извращенное мышление. Бельбо любит Лоренцу, любит именно за то, что она такая, какая есть, а она есть София - и подумать только, что в эту самую минуту она, наверно... Нет, надо учесть, что у Бельбо гораздо более извращенное мышление. Мне снова вспомнились слова Диоталлеви: «Во второй сефире сумрачный Алеф превращается в Алеф светоносный. Из Темной Точки выходят наружу буквы Торы. Тело - согласные, дыхание - гласные, а все вместе сопровождают пение благочестивого. Когда мелодия звуков движется, движутся с нею согласные и гласные. Созидается Хохма, Мудрость, Познание, первоначальная идея, в которой все содержание лежит как бы в укладке и готово распространиться по всему сотворенному. В Хохме содержится сущность всего того, что будет...»

А что есть Абулафия со своим тайным банком файлов? Укладка всего, что Бельбо знал или думал, что знает; его София. Бельбо избрал таинственное имя, открывающее доступ к Абулафии, к предмету его любовных ласк (единственному!), но лаская его, он воображает Лоренцу, он ищет слово, которое поможет ему владеть Абулафией, но в то же время и Лоренцей, ищет талисман, он хочет проникнуть в сердце Лоренцы и понять его, как понимает сердце Абулафии; он хочет, чтобы Абулафия оставался непроницаем для всех, как для него самого – Лоренца, он верит, что способен охранить, объять и овладеть тайной Лоренцы, как овладел тайной Абулафии...

Все это было крайне сомнительно, но я старался убедить себя, что мыслю в верном направлении. Как и в случае Плана, я принимал желаемое за действительное.

Но так как я все-таки был пьян, я снова пододвинулся к компьютеру и отбил СОФИЯ. Машина вежливо переспросила: «Вы знаете пароль?» Глупая машина, тебя не волнует даже мысль о Лоренце.

6

Judá León se dió a permutaciones
De letras y a complejas variaciones
Y al fin pronunciò el Nombre que es la Clave,
La Puerta, el Eco, el Huesped y el Palacio...

J. L. Borges, *El Golem*[1]

На этот раз от ненависти к Абулафии, к его тупым приставаниям - «Есть у вас ключевое слово?» - я рявкнул: «Нет».

Экран вздрогнул и начал заполняться буквами, линиями, списками, излились хляби слов. Я взломал Абулафию.

Я так обезумел от своей победы, что даже не задумался: а почему Бельбо выбрал именно это слово? Теперь-то я понимаю почему и понимаю, что он в некую минуту озарения понял то, что понимаю теперь я. Но в четверг я думал только об одном: победа!

Я плясал, бил в ладоши, орал армейские песни. Когда наконец буря стихла, я скомандовал себе: марш в ванную и умыться. Потом приступил к печатанию последнего файла, который Бельбо кончил перед самым броском в Париж. Пока принтер похрюкивал, я взялся за бутерброды и налил себе еще виски.

[1] Иегуда Леон из пермутаций
В исходе многосложных вариаций
Составил Имя, что есть Ключ и Дверь,
И Божество, и Эхо, и Дворец...
Х. Л. Борхес, Голем (*испанск.*). (Здесь и далее переводы стихов, кроме специально оговоренных, Е.Л. Костюкович.).

Потом я прочел напечатанное, и содрогнулся, и стал мучительно решать: разоблачительный материал или бред безумца? Что я в сущности знал о Якопо Бельбо? Что я понял в нем за те два года, которые мы провели бок о бок, видясь ежедневно? В какой степени мог я верить дневнику человека, писавшего, по его же признанию, в исключительных обстоятельствах, одурманенного алкоголем, курением, страхом, три дня и три ночи отрезанного от всяких контактов со внешним миром?

Была уже ночь. Двадцать первое июня. Глаза слезились. С утра перед глазами маячил только экран и муравьиная мелкота точечной печати. Истинны или ложны догадки - в любом случае Бельбо собирался позвонить на следующее утро. Значит, надо ждать его звонка. Кружилась голова.

Шатаясь, я переполз в спальню и улегся на чужую постель.

Около восьми я пробудился от крепчайшего липкого сна и поначалу не мог понять, где нахожусь. Слава богу, в банке было немного кофе, я выпил две или три чашки. Телефон не звонил. Выйти за продуктами я не решался: вдруг Бельбо доберется до телефона именно в это время.

Я опять включил машину и стал печатать другие дискеты, в хронологическом порядке. Обнаружил игры, упражнения, рассказы о вещах, известных мне независимо. Увиденные глазами Бельбо, эти вещи рисовались в новом свете. Дневник, интимные записи, наброски и пробы пера, педантично каталогизированные - с педантизмом смирившегося неудачника. Я находил там портреты людей, которых знал, и их лица здесь приобретали совершенно другое выражение, очень трагическое; а может быть, трагическим было прочтение? Способ, которым я укладывал намеки, случайные кусочки в чудовищную мозаику?

Особенно меня поразил файл, состоящий из одних цитат. Они относились к чтениям недавнего времени, я узнавал каждую, о, сколько книг в этом духе прошло мимо нас с Бельбо за последние месяцы... Цитаты были пронумерованы: ровно сто двадцать. Число со значением. Или, если совпадение - странное совпадение. И почему Бельбо выбрал именно эти фразы?

Прошло несколько дней; сегодня без помощи этого файла я уже не мог бы объяснить ни писания Бельбо, ни ужасную историю, в которой участвуем мы все. Я перебираю цитаты, как бусины богохульных четок, и чем дальше, тем яснее вижу, что многие из них могли бы прозвучать для Бельбо сигнальным звоночком, указать путь спасения.

А может быть, дело во мне? Может быть, это я не способен отличить логику от буйного бреда? Я все твержу, что именно моя версия - правильная, но не далее как несколько часов назад - именно мне, а не Бельбо - было сказано: вы ненормальный.

Луна неторопливо восходит над горизонтом, за Брикко. Большой дом заселен кем-то шуршащим - видимо, сверчки, мыши... скелет дядиного врага Аделино Канепы... Мне страшно пересечь коридор, я сижу в кабинете дяди Карло, смотрю в окошко. Время от времени подхожу к балкону, чтобы проверить, не поднимается ли кто-то по склону горы. Я чувствую себя как в кино, какая тоска! «Сейчас они появятся...»

Но гора спокойна в сиянии летней ночи.

Насколько же более беззаветна, лиха, весела была моя гипотеза, выработанная в тот вечер, с пяти до десяти, чтобы обмануть время и спасти жизнь, - как я вил цепочки догадок, притаившись в перископе, потаптывая затекающими ногами в ритме афро-бразильской пляски!

Передумать все недавние годы, отдаваясь мерному перестукиванию «атабаке»... Чтобы свыкнуться с мыслью о том, что наши фантазии, разыгранные как в механическом балете, ныне, в этом храме механики, пресуществятся в ритуал, в обладание, в богоявление и во владычество бога Эшу?

Тогда в перископе у меня еще не было доказательств, что рассказанное компьютером - правда. Я мог еще защищаться сомнением. К полуночи следовало бы, наверно, признать как безусловный факт, что я прискакал в Париж, затаился, яко тать, в невиннейшем техническом музее, словом - наделал кучу глупостей только потому, что поддался на простую приманку - макумбу для туристов, дал себя одурманить ароматами «перфумадорес», ритмами «понтос»...

Скептицизм, сострадание, подозрительность поочередно правили моими воспоминаниями, складывали мозаику, и это состояние духа, раздираемого между обаянием интриги и предощущением капкана, я бы хотел сохранить в себе и сегодня, когда на значительно более свежую голову передумываю то, о чем думал ночью в музее, и снова возвращаюсь к документам, лихорадочно читанным перед этим, и тогда утром в аэропорту, и во время перелета в Париж.

Я пытался объяснить хотя бы сам себе ту безответственность, с которой мы - я, Бельбо и Диоталлеви - осмелились переписывать мироздание и, как выразился бы Диоталлеви, переоткрывать те части Книги, что напечатлены пламенем белым, то есть пробелы, оставленные саранчою черного пламени, населяющей - и изъясняющей - Тору.

Теперь, когда я здесь, когда достиг - надеюсь - спокойствия и amor fati[1], я могу начать историю, которую пытался выстроить в тревоге и в надежде - ах, скорее всего, обманной! - два вечера назад в перископе, историю, прочитанную за два дня до того в квартире Якопо Бельбо и прожитую мною самим, не всегда сознавая это, в течение последних двенадцати лет на фоне стойки «Пилада» и запыленных стеллажей «Гарамона».

3
БИНА

7

Не ждите слишком многого от конца света.
Станислав Ежи Лец. Афоризмы, фразы
«Непричесанные мысли»
Stanislaw J. Lec, Aforysmy, Fraszki Kraków,
Wydawnictwo Literackie, 1977 «Myśli Nieuczesane»

Поступить в университет через два года после шестьдесят восьмого - было таким же невезеньем, как в академию Сен-Сир в девяносто третьем. Основное ощущение - что ты опоздал родиться. Хотя Якопо Бельбо, будучи на пятнадцать лет старше меня, впоследствии уверял, что это чувство свойственно каждому поколению. Все всегда рождаются не под своей звездой, и единственная возможность жить по-человечески - это ежедневно корректировать свой гороскоп.

По-моему, наибольшее воспитательное значение для ребенка имеет то, что он слышит от родителей, когда они его не воспитывают; роль второстепенного огромна. Мне было десять лет, я хотел, чтоб родители подписали меня на журнал, где печатались знаменитые литературные произведения в виде комиксов. Не по скупости, а из недоверия к комиксам мой папа мялся и выжидал.

- Цель этого органа, - произнес я тогда, будучи мальчиком велеречивым и хитрым и цитируя рекламный проспект, - распространение знаний в легкодоступной форме.

- Цель этого органа, - отвечал отец, не подымая глаз от газеты, - та же, что у остальных, - увеличить тираж.

С этого дня я стал Фомой недоверчивым.

То есть я пожалел, что когда-либо бывал доверчив. Что поддавался одной из страстей разума. Доверчивость - это страсть.

[1] Amor fati (*лат.*) - любовь к року, выражение стоиков. У Ницше - радостное принятие судьбы сверхчеловеком.

Недоверчивый Фома не то чтобы не верит ни во что: он верит не во все. Он верит в первое, а во второе - лишь в той мере, в которой оно вытекае из первого. Недоверчивый близоруk, методичен, далеко не загадывает. Если даны две взаимопротиворечащие вещи, верить и в ту, и в другую, предполагая гипотетическую третью, которая их объединяет, - это уже доверчивость.

Недоверчивость не исключает любопытства. Наоборот. Я мог не верить в сочленение идей, но ценил многоголосие идей. Достаточно не верить ни во что - и две идеи, равно неверные, дают вам возможность совместить их посредством хорошего интервала и сотворить diabolus in musica. Я не уважал идеи, за которые требовалось класть жизнь, но из двух или трех не уважаемых мною идей можно было образовать чудную мелодию. Или чудесный ритм, лучше всего джазовый.

Пройдут годы, и Лия мне скажет:

- Ты живешь поверхностностями. Твоя глубина - это напластование множества поверхностностей, такого множества, что они создают впечатление плотности, однако будь это настоящая плотность, ты бы не выдержал собственного веса.

- Значит, по-твоему, я поверхностен?

- Нет, - отвечала Лия. - Просто то, что обычно имеют в виду под глубиной, это тессеракт - четырехмерный куб. С одного боку входишь, из другого выходишь, и оказываешься в измерении, которое с твоим не сообщается.

(Лия, не знаю, суждено ли нам увидеться теперь, когда Они вошли не с того боку и заполонили твой мир, и виноват во всем я: это я убедил их, что там есть бездна - бездну-то они и ищут, в своей жалкости.)

О чем же я действительно думал пятнадцать лет назад? Убежденный, что не верю, я чувствовал вину перед теми, кто верил. Поскольку я ощущал, что правы они, я положил себе верить, как в других случаях полагается принимать аспирин. Вреда от него нет, а на душе становится легче.

Я оказался в гуще революции (как минимум, это была самая очаровательная из всех симуляций революции) именно потому, что приискивал себе порядочную веру. Я считал, что приличный человек обязан ходить на собрания, участвовать в уличных шествиях и манифестациях; я кричал вместе со мне подобными «фашистские гады, буржуям нет пощады!» («fascisti, borghesi, ancora pochi mesi!») и не швырял порфировых кубиков и металлических шаров только по той причине, что всегда опасался, как бы ближний не сделал мне того же, что я делаю ближнему; однако испытывал невероятный внутренний подъем, улепетывая по узким улочкам центра от дышащих в затылок полицейских. Я возвращался домой с чувством выполненного долга. На собраниях мне не удавалось одушевиться групповой психологией; мешало подозрение, что достаточно одной правильно выбранной цитаты, чтобы из этой группы пришлось уходить в противоположную. Я этим и занимался про себя - подбирал цитаты. И так проводил время.

Поскольку в ходе вышеупомянутых уличных шествий я подстраивался то к одному, то к другому транспаранту, если там обозначалась девица, радовавшая взоры, я сделал вывод, что для многих моих товарищей по борьбе политическая деятельность является родом секса, а секс является страстью. Мне же хотелось до страсти не доходить и ограничиваться любопытством. Хотя, в то же время, занимаясь храмовниками-тамплиерами и многообразными половыми извращениями, которые приписывали им, я попал на цитату из Карпократа[1] насчет того, что чтобы быть свободным от тирании ангелов, захвативших наш космос, необходимо предаваться всяким непотребствам, освобождаясь тем самым от долговых обязательств перед универсумом и собственным телом, и что только этаким путем душа способна отмежеваться от страстей и обрести первоначальную чистоту. Когда мы вырабатывали План, я обнаружил, что многие запойные заговорщики, чтобы добыть озарение, следуют этому рецепту. Однако Алейстер Кроули, которого полагается считать самым извращенным человеком всех времен и всех народов и который для этого творил все возможное и невозможное с верующими обоих полов,

[1] Древнегреческий философ II в.н.э., последователь Платона.

имел, по свидетельству биографов, только очень некрасивыхженщин (думаю, что и мужчины, судя по тому, что они писали, были не лучше), и у меня есть сильное подозрение, что он ни разу не занимался любовью по полной программе.

Должна существовать связь между волей к власти и половым бессилием. Маркс симпатичен мне: чувствуется, что он и его Женни занимались любовью с энтузиазмом. Это ощущается по умиротворенности его стиля и по неизменному юмору. В то же время, как я заметил однажды в коридоре университета, если спать с Надеждой Константиновной Крупской, человек потом с железной неотвратимостью напишет что-то жуткое, типа «Материализма и эмпириокритицизма». Мне пригрозили чугунной дубиной и заклеймили фашистом. Меня клеймил длинный парень с татарскими усами. Я его прекрасно помню. Сейчас он стал бритоголовым, живет в коммуне, они зарабатывают плетением корзин.

Я реконструирую нравы того времени только для того, чтобы описать, с каким внутренним багажом я предстал перед коллективом «Гарамона» и завел дружбу с Якопо Бельбо. Я был из тех, кто принимает участие в беседах о смысле жизни лишь для того, чтоб быть готовым править верстку на эту тему. Я полагал, что основная проблема, связанная с изречением «Аз есмь СЫЙ»[1], состоит в соотношении прописных и строчных букв.

Поэтому политический выбор я сделал в пользу филологии. Миланский университет в те годы был единственным в своем роде. В то время как во всей остальной стране захватывали аудитории и нападали на профессоров, требуя, чтобы они участвовали в пролетарской науке, у нас, за исключением мелких эксцессов, соблюдалась конвенция, иными словами, был проведен территориальный раздел мира. Революция проходила во дворах, в актовом зале и главных коридорах, а официальная культура гнездилась в безопасном и тихом месте - во внутренних коридорах и на верхних этажах, и там продолжала существовать точно так, как будто никакой революции не было.

Я проводил утра внизу, судача о пролетарской науке, а вечера - наверху, наторея в аристократических умствованиях, замечательно освоился в параллельных мирах и не ощущал ни малейшего раздвоения. Я, как и все, считал, что мир стоит на пороге справедливого общества, но при этом полагал, что в справедливом обществе должны будут действовать (и эффективнее, чем в предыдущем), к примеру, железные дороги. Однако окружавшие меня санкюлоты вовсе не учились загружать уголь в топку, подсовывать башмаки и согласовывать расписание. Кого они собирались приставлять к поездам - непонятно.

Не без некоторого смущения я ощущал себя маленьким Сталиным, который усмехается в усы и думает: «Давайте, давайте, большевички, я пока что поучусь в тифлисской семинарии, все равно потом пятилетними планами буду заниматься лично я».

Непонятно отчего - по контрасту с утренним энтузиазмом? - во второй половине дня я отождествлял знание с недоверием. Поэтому хотелось изучать что-то такое, что позволило бы опереться на факты, в противовес утренним материям, которые можно было только брать на веру.

По причинам в высшей степени случайным я пристал к семинару по средневековью и начал писать диплом о судебном процессе по делу ордена тамплиеров. История тамплиеров очаровала меня с первой минуты, как только я увидел первый документ. В тот период, когда все были против властей, меня чистосердечно возмутило это стародавнее судопроизводство, мягко говоря, подтасованное от первого до последнего слова, в результате которого многие тамплиеры пошли на костер. Но кроме этого, я обнаружил, что в самом скором времени после того, как всех их отправили на костер, толпы охотников за чудесами начали находить тамплиеров повсеместно, как правило, без единого доказательства. Эти визионерские излишества бесили мою недоверчивую натуру, и я решил не терять время на охотников за чудесами, ограничив свой материал только документами эпохи. Храмовники-тамплиеры -

[1] Исход 3-14.

для меня это понятие охватывало конкретный монашеско-рыцарский орден, существовавший постольку, поскольку он был признан церковью. Когда же церковь его распустила, а это она сделала около семисот лет назад, тамплиеры больше не могли существовать, а те, кто существовал, не были тамплиерами. По этому принципу я выписал около сотни книг, однако в конце концов прочитал только тридцать.

Мои отношения с Якопо Бельбо завязались именно благодаря тамплиерам, в баре «Пилад», в эпоху, когда я сочинял свой диплом, в самом конце тысяча девятьсот семьдесят второго года.

8

Пришедший от света и от богов, вот я в изгнании, отделенный от них.

Фрагмент Турфа'н М7

Бар «Пилад» в те далекие времена являл собою порто-франко, галактическую таверну, в которой пришельцы с Офиука, осаждавшие в те времена Землю, встречались совершенно беспрепятственно с людьми Империи, охранявшими пояса ван Аллена[1]. Это был старый бар около канала, со стойками из цинка, бильярдом и всеми трамвайщиками и ремесленниками района, собиравшимися по утрам для приема первой порции беленького. В шестьдесят восьмом и в последующие годы «Пилад» превратился в «Рик'с Бар», где активист студсовета играл в карты с журналистом, прислужником желтой прессы, только что подписавшим передовицу и явившимся за своим законным "виски-беби", в то время как первые грузовики разъезжались по городу развозить капиталистическую пропаганду. У Пилада почему-то все акулы пера объявляли себя эксплуатируемыми пролетариями, производителями прибавочной стоимости, прикованными к идеологическому конвейеру. Студенты жалели и прощали их.

От одиннадцати вечера до двух утра - это было время издательских работников, архитекторов, хроникеров, мечтавших дорасти до отдела культуры, художников из Бреры, сочинителей средней талантливости и дипломников вроде меня.

Минимальная степень алкогольного опьянения являлась обязательной, и старичок Пилад, продолжая держать бутыли крестьянского белого для трамвайщиков и аристократов, учел новый контингент, уничтожил как класс лимонад и портвейн и завел у себя марочные игристые вина для демократических интеллектуалов и виски для революционеров. На примере пиладовских виски, я берусь проследить развитие политической истории с тех пор и до нашего времени с хронологической привязкой сначала - к красной этикетке «Джонни Уокера», потом - к «Баллантайну» двенадцатилетней выдержки и, наконец, - к мальто.

С появлением новой публики Пилад не тронул старого бильярда, на котором теперь художники с трамвайщиками играли в кегли, однако установил еще и флиппер.

Когда играл я, шарик жил так недолго, что, можно сказать, совсем не жил. Я считал, что виной тому рассеянность, неловкость - но настоящую причину я понял значительно позднее, когда увидел, как играет Лоренца Пеллегрини. Сначала я не заметил Лоренцу, но потом не мог не обратить на нее внимания, проследивши за взглядом моего друга Якопо Бельбо.

Бельбо в баре обычно имел такой вид, будто впервые вошел минуту назад, между тем он обитал там уже не менее десяти лет. Иногда он участвовал в разговорах как у стойки, так и за столиками, однако почти всегда подавал не более двух реплик, охлаждавших любой энтузиазм, чем бы энтузиазм ни был вызван. Для замораживания собеседника использовалась специальная техника вопроса. Некто рассказывал нечто, занимая внимание публики, а потом Бельбо подымал свои водянистые очи, донельзя рассеянные, держа бокал где-то на бедре, как будто он давно о нем позабыл, и в такт вежливо пере-

[1] Джеймс Альфред ван Аллен (род. в 1914 г.) - американский физик, открывший пояса радиации, опоясывающие Землю.

спрашивал: «И на самом деле это случилось?» или «И он действительно так сказал?» Не могу точно объяснить механику, но после двух подобных вопросов кто угодно начинал сомневаться в сообщаемой информации, в первую очередь рассказчик. Возможно, дело в пьемонтском выговоре, из-за которого утвердительная интонация звучала как вопросительная, а вопросительная как издевательская. Безусловно пьемонтской была у Бельбо эта манера держаться, не встречаясь взглядом с собеседником, но и не отводя глаза. Взгляд Бельбо не устранялся от диалога. Он попросту прогуливался по пространству и отыскивал точку конвергенции параллельных, которая до тех пор не ощущалась как таковая, благодаря чему у вас появлялось чувство, будто все предыдущее время вы тупо пялились в то единственное место, которое не имеет никакого значения.

Бельбо работал не только взглядом. Он мог и жестом, и одним междометием отправить вас куда угодно. К примеру: предположим, вы пытаетесь убедить свой столик, что Кант произвел коперникианский переворот в философии нового времени, и многие надежды возлагаете на успех этого выступления. Бельбо, сидящий против вас, в какой-то момент начинает разглядывать ногти или колено или прикрывает усталые веки, на устах показывается этрусская улыбка; или он замирает на секунду с разинутым ртом, глаза в потолок, а потом шелестит самым ласковым шепотком: «Вот чего мы не ждали бы от Канта...» Если же вами описывался де-факто сокрушитель системы трансцендентального идеализма, Бельбо переспрашивал: «Он действительно был такой буйный?» Потом великодушно взирал на вас, как будто вы, а вовсе не он, развалили все обаяние теории, и говорил: «Интересно, интересно. Я вас перебил, извините. В этом что-то есть... Определенно. Большой фантазии был человек...»

Периодически, когда он сильно бесился, он проявлял себя беспардонно. Поскольку единственным, что могло его взбесить, была беспардонность ближнего, его собственная ответная беспардонность носила внутренний, частный характер. Он закатывал глаза, качал головой и произносил вполголоса: «Вынул бы пробку». Кому же был неизвестен смысл этого пьемонтского выражения, он мог и объяснить: «Надо иногда вынимать пробку. Чтобы избежать взрыва. Надутый человек находится в опасности. Вытащив пробку из зада, п-ш-ш-ш, вы возвращаетесь в натуральное состояние».

Подобные реплики подчеркивали тщету всего, и я очаровывался. Однако извлекал ложные выводы. В ту пору фразочки Бельбо мне казались образцом высшего презрения к банальности чужих истин.

Только теперь, после того как я взломал, вместе с секретом Абулафии, секрет психологии Бельбо, я вижу: то, что я принимал за высшую трезвость и что считал принципом жизни, было проявлением подавленности. Депрессивным интеллектуальным либертинажем он маскировал неутоленную жажду абсолюта. Это было трудно уловить с первого взгляда, потому что в Бельбо моменты бегства, колебания, отчужденности компенсировались моментами безудержной говорливости, когда он, в экстазе от собственного неверия, создавал альтернативные абсолюты. Это было, когда он вдвоем с Диоталлеви выдумывал учебники невозможного, миры навыворот, библиографические тератологии. И видя его энтузиазм, страсть, с которой строил он свою раблезианскую Сорбонну, невозможно было догадаться, насколько болезненно переживал он свой уход с факультета теологии - на этот раз с настоящего.

Я только потом понял, что я-то вычеркнул из своей жизни адрес этого факультета, а он не вычеркнул, а потерял, и это не давало ему покоя.

Среди файлов Абулафии я обнаружил много страниц псевдодневника, который Бельбо доверил дискетам, убежденный, что они не выдадут его и не развенчают настойчиво создаваемый им образ обыкновенного наблюдателя. Некоторые были датированы давними годами. Ясно, что Бельбо переписал в компьютер старые заметки - то ли просто так, из сентиментального чувства, то ли собираясь их как-то литературно обработать. Другие отрывки относились к последним нескольким годам, когда он уже познакомился с верным Абу. Бельбо писал ради механического упражнения, ради одинокой «работы над ошибками», уверяя себя, что не «творит» и не имеет никакого отношения

к творчеству, так как творчество, даже когда порождает ошибку, всегда диктуется любовью к кому-то, кто не является нами. Однако Бельбо, сам того не зная, обходил сферу с другой стороны и приходил в ту же точку. Он творил, хотя лучше бы было ему не творить; и в этом берет начало его любовь к Плану - именно из потребности написать Книгу, пусть даже состоящую из только - исключительно и всецело - намеренных ошибок. Кувыркаясь в своей пустоте, вы можете убеждать себя, будто состоите в общении с Единым; но как только вы начали возиться с глиной, пускай даже электронной, вы - демиург, и от этого никуда не деться, а кто собирается сотворить мир, тот неизбежно уже запятнан и ошибками и злом...

Имя файла: Три донны к сердцу подступили вместе[1]

Вот так вот: toutes les femmes que j'ai rencontrées se dressent aux horizons - avec les gestes piteux et les regards tristes des sémaphores sous la pluie...[2]

Бери повыше, Бельбо. Первая любовь - Пречистая Дева. Мама держит меня на коленях и укачивает, хотя я уже вышел из возраста колыбельных, но все равно прошу ее, чтоб она мне пела, потому что люблю ее голос и запах лаванды от ее груди: «О царица в эмпиреях - ты, чистейшая, святая, - славься, дева, славься, матерь, - матерь господа Христа».

Итак, первая жена в моей жизни была не моей, как, с другой стороны, следует заметить, не была и ничьей, по определению. Первым делом я влюбился в единственную жену, способную целиком и полностью обходиться без меня.

Потом была Марилена (Мерилена? Мэри-Лена?). Лирически описать сумерки, золотые пряди, голубой бант. Я, вытянувшийся по струнке, задравши нос, перед скамейкой, - она, прогуливающаяся по верху спинки, раскинув руки, чтобы регулировать колебания (обольстительные экстрасистулы). Юбочка легонько колышется вокруг розовых ног. Высота, недоступность.

Наплыв: тот же вечер, мама, присыпающая боротальком розовые округлости моей сестры. Я спрашиваю, когда у сестры наконец отрастет пистолетик, и мне сообщается в ответ, что у девочек ничего не отрастает, они так и живут без этого. В тот же миг у меня перед глазами снова Мэри-Лена, белизна ее белья, видного под куполом голубой юбки, когда эта юбка развевалась, и я понимаю, что она белокура и надменна, потому что принадлежит к иному миру, с которым нет и не может быть никакого контакта, принадлежит к иной расе.

Третья жена сразу же низверглась в пропасть, где погребена. Только что она усопла во сне, бледненькая Офелия в цветах, в своем девическом гробе, и священник вычитывает над нею поминальную молитву, как вдруг она столбом встает над катафалком, насупленная, белая, мстительная, воздев перст, пещерным голосом: «Отче, не молись за меня. Этой ночью, до сна, я зачала нечистый помысел, единственный в моей жизни, и посему я - душа проклятая». Надо найти учебник, который я зубрил перед первым причастием. Была в нем картинка или все это - целиком моя фантазия? Разумеется, нечистая мысль перед смертью отроковицы относилась ко мне, нечистый помысел - был я, нечисто мысливший о Мэри-Лене, неприкосновенной, инакого бо назначенья, рода. Я виновник ее проклятия, я виновник проклятия всех, кто проклят, и поделом мне, что не моими были три жены: это наказание за то, что я их желал.

---

1 Данте, канцона CIV, 1. Перев. Е. Солоновича (изменено Е.Костюкович «Три донны» вместо «Три дамы»).
Три дамы к сердцу подступили вместе,
Расположась кругом,
Затем что в нем самом
Любви угодно было воцариться.
(*Речь идет об аллегориях Справедливости, Правды и Законности*).

2 Тех женщин, что я знал, на горизонте тень:
Их жесты жалобны и взоры их печальны,
Как семафоры под дождем... (Блез Сандрар).

Оставим первую, потому что она в раю, вторую, потому что она в чистилище грустно алчет мужественности, которая у нее не отрастет никогда, и третью, потому что она - в аду. Теологически закруглено. Так уже писал до меня один господин.

Но была еще Цецилия, и Цецилия никуда с нашей грешной земли не делась. О ней я помышлял засыпая, я поднимался на гору, я шел за молоком на ферму, а партизаны с противоположной горы открывали стрельбу по контрольно-пропускному пункту, и тут я приходил на помощь, я спасал Цецилию от своры черных полицаев, которые гнались за нею с автоматами наизготовку... Златоглавее Мэри-Лены, притягательнее гробовой отроковицы, чище и святее Пречистой Девы. Цецилия земная и доступная, чуть-чуть еще, и я мог бы заговорить с нею, я был убежден, что она способна полюбить существо моей породы, тем более что она уже любила такое существо, именовавшееся Папи, с белыми всклокоченными волосами на крошечном черепе, годом старше меня, и обладавшее саксофоном. У меня же не было и трубы. Я ни разу не видел их вместе, но ребята в классе шушукались, толкая друг друга локтями, подхихикивая, что эти двое «живут». Разумеется, они все выдумывали, эти крестьянские малолетки, похотливые, словно козы. Больше всего им хотелось уверить меня, что она (Она - Пресветлая Мэри Цецилия суженая и супруга) до такой степени доступна, что каждый, кто угодно, может сблизиться с нею. Исключая и в данном случае - в четвертом по очереди, - исключая меня.

Пишут ли романы о подобных вещах? Может быть, надо писать, наоборот, о тех женщинах, которых я избегаю, потому что их я мог иметь? Или мог бы. Иметь. Или первое и второе - стороны одной медали?

В общем, когда неизвестно даже о чем писать, лучше редактировать труды по философии.

9

И в его деснице труба золотая.
Иоганн Валентин Андреаэ, Алхимическое бракосочетание Христиана Розенкрейца
Iohann Valentin Andreae, Die Chymiche Hochzeit des Christian Rosencreutz Strassburg, Zetzner, 1616, 1

В этом файле примечательно упоминание трубы. Позавчера, сидя в перископе, я еще не понимал, до чего это важно. Тогда я располагал только одним контекстом, довольно бледным, маргинальным.

...В долгие гарамонтские вечера, бывало, Бельбо, замученный рукописью, подымал глаза от бумаги и начинал говорить, а я слушал, перетасовывая дряхлые офорты Всемирной выставки в макете очередной книги, - он импровизировал на вольную тему, но мгновенно захлопывал раковину при малейшем подозрении, что его могут принять всерьез. Имели место воспоминания прошлого, но единственно в басенной функции: иллюстрации того, как не следует поступать. - Конец наш приходит, - пробормотал он однажды.

- Закат Европы?

- Да пусть закатывается... Нет, я насчет пишущих масс. Третья рукопись за неделю. Одна о византийском праве, другая о Finis Austriae[1] и третья о порнографических сонетах Баффо[2]. Казалось бы, разные вещи, вы не находите?

- Нахожу.

- Ну вот, а во всех трех рассуждается о терминах Желания и Предмета Любви. Великая сила мода. Я еще понимаю Баффо, но византийское право...

- Киньте в корзину.

- Да нет, все это печатается за счет Центра научных исследований, и вообще не так уж плохо. В крайнем случае позвоню всем по очереди и спрошу, согласны ли они расстаться с этими абзацами. В их же интересах.

- А как он вставил предмет любви в византийское право?

---

[1] Finis Austriae - кризис австро-венгерской империи накануне первой мировой войны (термин С.Цвейга).

[2] Джорджо Баффо (1694-1768) - итальянский поэт.

- Нашел как вставить. Как вы понимаете, если в византийском праве и был предмет любви, он был не тот, который думает автор. Предмет любви всегда не тот.

- Что значит не тот?

- Не тот, какой думают. Когда-то, в возрасте не то пяти не то шести лет, мне приснилась труба. Златая. В общем, один из тех снов, в которых будто мед бежит по жилам - что-то вроде ночной поллюции до достижения половой зрелости. Полагаю, что ни разу впоследствии в жизни я уже не был так счастлив. Никогда. Разумеется, после пробуждения я осознал отсутствие трубы и стал реветь, как теленок. Проплакал весь день. Что я могу сказать? Наверно, действительно до войны, а это было в тридцать восьмом, мир был очень нищ. Потому что сегодня, если бы у меня был сын и я увидел его в такой печали, я сказал бы ему: пошли, купим тебе трубу, какую пожелаешь. В конце концов речь шла об игрушке, сколько уж там она могла стоить. Но у моих родителей и в мыслях такого не было. К деньгам относились с серьезностью. И с той же серьезностью внушали чадам: не все, что захочется, можно получить. Вот я, например, не люблю капустный суп - ну что в этом преступного, боже мой, разваренную капусту я в рот взять не могу... Но в ответ не говорилось: дело твое, живи сегодня без супа, съешь второе (а мы жили не бедно, у нас каждый день было первое, второе и компот). Но не на тех напали, никаких капризов, ешь, что дают. Единственное, на что они соглашались в порядке компромисса - это чтобы бабушка вытащила водоросли из моей тарелки, и она тянула их, нитку за ниткой, червяка за червяком, соплю за соплей, и я должен был глотать этот разминированный суп, еще более мерзкий, чем раньше, - однако даже и такие послабления мой папа весьма не одобрял.

- А труба?

Он посмотрел на меня с подозрением.

- Почему вам надо знать про трубу?

- Мне ничего не надо. Это вы заговорили про трубу, что-то про предмет любви, что он всегда не тот.

- Труба. Должны были приехать дядя и тетя из ***. У них детей не было, я был любимый племянник. Они узнали, что я оплакиваю эту призрачную трубу, и сказали, что берутся все уладить. Что завтра мы пойдем в торговый центр, где есть целый прилавок игрушек, и я выберу трубу, какую захочется. Ночь я не спал, все утро следующего дня трясся. Наконец мы пошли в универмаг и там были трубы как минимум трех конфигураций. Латунная штамповка - но мне они казались кипящей медию земли обетованной. Там был походный горн, тромбон с раздвижной кулисой и некая псевдотруба, потому что у нее был раструб и она была золотая, но с клавишами от саксофона. Я не знал, какую выбрать, потратил много времени - в этом была, видимо, моя ошибка. Мне нравились все три, а им могло показаться, что ни одна не нравится. Тем временем, скорее всего, дядя и тетя посмотрели на ценники. Они были не жадные, однако, вероятно, они поняли, что есть вещь и подешевле - кларнет из бакелита, черный, с серебряными клапанами. «Может быть, тебе это хочется?» - спросили они, указывая на кларнет. Я попробовал кларнет, он блеял как положено кларнету, я попытался внушить себе, что кларнет - это то, что надо, а в это время мой мозг работал на высоких скоростях и приходил к выводу, что дядя и тетя уламывают меня на кларнет, потому что он дешевле, труба же, как я начинал думать, стоила целое состояние и я не мог требовать от дяди и тети такой жертвы. Меня всегда учили, что когда тебе предлагают что-то хорошее, надо сразу ответить «спасибо, нет», и даже не один раз, не тянуть руку сразу вслед за «нет», а дождаться, чтобы даритель настоял, сказал: пожалуйста, возьми, доставь мне удовольствие. Только после этого благовоспитанный ребенок сдается. Поэтому я сказал, что, наверно, мне не так уж и хотелось трубу. Что, наверно, кларнет тоже хорош, если им так кажется. И снизу заглянул им в лицо, надеясь, что они переспросят. Они не переспросили. Царствие им небесное. Они были просто счастливы, что могут подарить мне кларнет, раз уж - сказали они - мне именно кларнета так хотелось. Пути обратно не было. Мне купили кларнет.

Он глянул на меня с подозрением: - Хотите знать, снилась ли мне потом

опять труба?

- Нет, - сказал я. - Хочу знать, кто был предметом любви.

- А, - отозвался он, снова берясь перелистывать рукопись. - Видите, вот и вы зациклены на этом предмете любви. В данных вопросах обычно все врут как могут. Да... Ну а если бы мне купили трубу? Был бы я на самом деле счастлив? Что вы скажете, Казобон?

- Вам бы приснился кларнет.

- Нет, - сухо сказал он. - Кларнетом я только владел. Ни разу не играл.

- Кларнеты детям не игрушка...

- Я на кларнете не играл, - отчеканил он, и я почувствовал себя паяцем.

10

И наконец, не иное выводится каббалистически из vinum, как VIS NUMerorum (сила чисел), от которых и зависит сказанная Магия.

Цезарь делла Ривьера, Магический мир Героев.
Cesare della Riviera, Il mondo magico degli Eroi
Mantova, Osanna, 1603, pp. 65-66

Но я говорил о первой встрече с Бельбо. Мы виделись и раньше, перекидывались репликами в пиладовском баре, знал я о нем мало - только что он работал в "Гарамоне", книги этого издательства я читал в университете. Издательство маленькое, серьезное. Юноше, трудящемуся над дипломной работой, обычно импонирует знакомство с сотрудником престижного издательства.

- А вы чем занимаетесь? - спросил он однажды вечером, притиснутый рядом со мной к дальнему углу цинковой стойки Пилада в жуткой давке по случаю праздничного нашествия посетителей. В ту эпоху все обращались друг к другу на ты, студенты к преподавателям и преподаватели к студентам. Что уж говорить об аборигенах «Пилада». - Закажи и мне выпивку, - бросал студент в битловке главному редактору крупной газеты. Похоже было на Петербург молодости Шкловского. Одни Маяковские и ни одного Живаго. Бельбо не сопротивлялся общепринятому «ты», однако было ясно, что для него это синоним всего самого отвратительного. Он принимал игру в «ты», как бы чтобы продемонстрировать, что отвечает на хамство хамством, но что при этом имеется пропасть между дружбой и амикошонством. Настоящее «ты», которое, как в старину, выражало дружбу либо любовь, на моей памяти у него находилось для считанных людей. Для Диоталлеви и двух-трех женщин. К тем, кого он уважал, но знал не слишком давно, он обращался на «вы». Так он разговаривал и со мной все то время, что мы проработали вместе, и я гордился этой честью.

- А вы чем занимаетесь? - обратился он ко мне, и, как я теперь понимаю, это был знак высшей симпатии.

- В жизни или на этой сцене? - отозвался я, обводя взором пиладовские подмостки.

- В жизни.

- Учусь.

- Ходите в университет или учитесь?

- Смешно сказать, но одно не всегда исключает второе. Я пишу диплом о тамплиерах.

- Ой, как нехорошо, - отозвался Бельбо. - Разве это не тема для сумасшедших?

- Почему? Сумасшедшими я как раз и занимаюсь. Они герои большинства документов. Вы что, соприкасались с этой темой?

- Я служу в издательстве, а в издательствах одна половина посетителей нормальные, другая - сумасшедшие. Задача редактора - классифицировать с первого взгляда. Кто начинает с тамплиеров, как правило, - псих.

- Можете не продолжать. Их имя легион. Однако не все безумцы начинают с тамплиеров. Как вам удается опознавать прочих?

- Есть технология. Могу вас научить, как младшего товарища. Кстати говоря, как вас зовут?

- Казобон.

- А это не герой «Миддлмарч»[1]?

- Не знаю. В любом случае был такой филолог в эпоху Возрождения. Но он мне не родственник.

- Ладно, замнем. Выпьете еще что-нибудь? Еще две порции, Пилад. Спасибо. Итак. Люди делятся на кретинов, имбецилов, дураков и сумасшедших.

- Кто-нибудь остается?

- Я-то уж точно. Хотя и вас обижать не хочется. Если сформулировать точнее, любой человек подпадает под все категории по очереди. Каждый из нас периодически бывает кретином, имбецилом, дураком и психом. Исходя из этого, нормальный человек совмещает в разумной пропорции все эти компоненты, иначе говоря, идеальные типы.

- Идеальтюпен.

- А. Вы и по-немецки можете.

- Приходится. Все библиографии по-немецки.

- В мои времена, кто знал немецкий, никогда не защищался. Так и проводил всю жизнь - зная немецкий. Теперь это, кажется, происходит с китаистами.

- Я не сильный спец в немецком. Так что не теряю надежды защититься. Но вернемся к вашей типологии. Что делать с гениями - с Эйнштейном, например?

- Гений - это тот, кто играет всегда на одном компоненте, но гениально, то есть питая его за счет всех остальных. - Он поднял свой стакан и к кому-то обратился: - Привет, красавица. Ты опять травилась?

- Нет, - отвечала прохожая. - Я теперь в коммуне.

- Молодец, - похвалил ее Бельбо и опять повернулся ко мне. - Что хорошо в коммуне. Отбивает любые желания.

- Вы говорили о сумасшедших.

- Надеюсь, вы не собираетесь уверовать в меня, как в бога. Я не открываю смысл жизни. Я говорю конкретно - о поведении умалишенного в издательстве. Это теория ad hoc[2], договорились?

- Договорились. Теперь моя очередь платить.

- Валяйте. Пилад, пожалуйста, поменьше льда. Иначе я слишком быстро напьюсь. Так вот. Кретин лишен дара речи, он булькает, пускает слюни и не попадает мороженым в рот. Он входит в вертящуюся дверь с обратной стороны.

- Это невозможно.

- Ему - возможно. Исключаем кретина из круга интересующих феноменов. Кретин легко узнаваем и по издательствам не ходит. Отбросим.

- Отбросим.

- Имбецилу жить труднее. Подразумевается комплекс социального поведения. Имбецил - это тот, кто попадает пальцем в лужу.

- Пальцем в небо.

- Нет, пальцем в лужу. - И он погрузил палец в озерцо спиртного на буфетной стойке. - Когда хочет попасть в стакан. Рассуждает о содержании стакана, но так как в стакан не попал, в результате рассуждает о содержимом лужи. Попросту говоря, это специалист по ляпсусам, он спрашивает, как здоровье супруги, как раз у кого сбежала жена. Я передал идею?

- Передали. Знакомый тип.

- Имбецилы очень ценны в светских ситуациях. Они конфузят всех, но находят неисчерпаемые поводы для разговоров. Один безвредный подвид имбецила часто выступает дипломатом. Он способен говорить только о луже, не о стакане, и поэтому если «гафф» совершили другие, имбецил автоматически переключает тему. Это удобно. Однако и он нас не интересует, он не самостоятелен, его ставят только на подачу мячей, он рукописи по издательствам не носит. Имбецил не говорит, что кошки лают, он просто говорит о кошках, когда люди говорят о собаках. Он путается в светской беседе и когда обделается как следует - восхитителен. Это вымирающий вид, средоточие дивных бур-

---

1 Роман английской писательницы Джордж Эллиот (1819-1880).

2 Для этого случая (*лат.*).

жуазных добродетелей. К нему требуется салон Вердюренов или даже Германтов. Нынешнему студенчеству знакомы эти фамилии?

- Что-то знакомое.

- Имбецил - это Жоашен Мюрат, выплясывающий на кровном жеребце перед офицерским строем. Вдруг он видит одного, в орденах, с Мартиники. «Вы негр?» - обращается к нему Мюрат. «Так точно, высокопревосходительство!» На что Мюрат: «Молодцом! Продолжайте, продолжайте!» Знаете эту байку? Прошу извинить, но сегодня я отмечаю исторический поворот моей судьбины. Я бросаю пить. Еще по одной? Не реагируйте, а то мне станет очень стыдно. Пилад!

- А дураки?

- Да. Специфика дурака затрагивает не сферу поведения, а сферу сознания. Дурак начинает с того, что собака домашнее животное и лает, и приходит к заключению, что коты тоже лают потому, что коты домашние... Или что все афиняне смертны, все обитатели Пирея смертны, следовательно, все обитатели Пирея афиняне.

- Что верно.

- По чистой случайности. Дурак способен прийти к правильному умозаключению, но ошибочным путем.

- А что, лучше приходить к ошибке, но рационально?

- Еще бы, а иначе зачем было делаться с таким трудом рациональными животными?

- Крупные человекообразные обезьяны произошли от низших форм жизни, люди происходят от низших форм жизни, следовательно, люди являются крупными человекообразными обезьянами.

- Для начала неплохо. Вы уже почти уверены, что есть какой-то логический сбой, но, конечно, вам надо еще поработать, чтобы понять, где... Дураки коварны. Имбецилы опознаются моментально, не говорю уж о кретинах, в то время как дураки рассуждают похоже на нас с вами, не считая легкого сдвига по фазе. От дурака редактору нет спасения, приход его, как правило, длится вечность. Дураки публикуются легко, потому что с первого наскока выглядят убедительно. Издательский редактор не стремится выявлять дураков. Если их не выявляет Академия наук, почему должен редактор?

- Философия тоже для дураков открыта. Онтологическое доказательство Святого Ансельма - глупость. Бог обязан существовать потому, что я могу вообразить его как существо, обладающее всеми совершенствами, в том числе существованием. Он перепутал существование представления с существованием сущности.

- Хотя не менее глупо опровержение Гонилона. Я вполне могу думать об острове в море даже если этого острова нет. Второй дурак перепутал представление случайности с представлением необходимости.

- Турнир дураков.

- Вот-вот, а Господь Бог рад до безумия. Он специально сделался немыслимым, только чтобы доказать, что Ансельм и Гонилон оба дураки. Ничего себе высшая цель творения. То есть я хочу сказать, того деяния, во славу коего Господь Бог сотворил себя. Отлов дураков в космическом масштабе.

- Мы окружены дураками.

- И спасения нет. Дураки все, кроме вас и меня. Ну не обижайтесь! Кроме вас одного.

- По-моему, здесь применима теорема Геделя.

- Не знаю, я кретин. Пилад!

- Сейчас очередь моя.

- Ладно, ваша следующая. Эпименид Критский утверждает, что все критяне лгуны. Если это говорит критянин, и если он хорошо знает критян, он говорит правду.

- Еще одна глупость.

- Святой Павел, Послание к Титу. Пошли дальше. Все, кто полагает, что Эпименид - лгун, по логике должны доверять критянам, но сами критяне не доверяют критянам, следовательно, ни один обитатель Крита не думает, что Эпименид - лгун.

- Это глупость или не глупость?

- Как скажете. Я же говорю, что дурака идентифицировать трудно. Дурак свободно может взять Нобелевку.

- Тогда дайте подумать... Некоторые из тех, кто не верит, что Господь сотворил мир в течение семи дней, не являются фундаменталистами, но некоторые фундаменталисты верят, что Господь сотворил мир в течение семи дней. Следовательно, ни один не верящий, будто Господь сотворил мир в течение семи дней, - фундаменталист. Это глупость или нет?

- Господи помилуй... Как раз тот случай. Не знаю. А вам как кажется?

- В любом случае глупость, даже если все так. Здесь нарушается основной закон силлогизмов. Нельзя выводить универсальные заключения из двух частных посылок.

- А если бы дураком оказались вы?

- Попал бы в большое и хорошее общество.

- Это верно, глупость нас окружает. И так как наши логики обратны, наша глупость - это их мудрость. Вся история логики сводится к вырабатыванию приемлемого понятия глупости. Она слишком грандиозна. Всякий крупный мыслитель - рупор глупости другого.

- Мысль как когерентная форма глупости.

- Нет. Глупость мысли есть некогерентность другой мысли.

- Глубоко. Уже два, Пилад хочет закрываться, а мы еще не дошли до сумасшедших.

- Сейчас дойдем. Сумасшедших опознавать нетрудно. Это дураки, но без свойственных дуракам навыков и приемов. Дурак умеет доказывать свои тезисы, у него есть логика, кособокая, но логика. Сумасшедшего же логика не интересует, по принципу бузины в огороде любой тезис подтверждает все остальные, зато имеется идея фикс, и все, что попадает под руку, идет в дело для ее проталкивания. Сумасшедшие узнаются по удивительной свободе от доказательств и по внезапным озарениям. Так вот, вам может это показаться странным, но раньше или позже сумасшедшие кончают тамплиерами.

- Все?

- Нет, есть сумасшедшие без тамплиеров. Но которые с тамплиерами, опаснее. Сначала вы их не узнаете, вам кажется, что они говорят, как нормальные, но в одну прекрасную секунду... - Он потянулся было заказать еще виски, передумал и попросил счет. - Кстати к слову. О тамплиерах. Вчера там у нас один оставил очередную рукопись. По виду он именно сумасшедший, но, как говорится, с человеческим лицом. Угодно ознакомиться?

- С удовольствием. Может быть, найду что-нибудь полезное.

- Не думаю. Но если будет свободных полчаса, загляните к нам. Улица Синчеро Ренато, 1. Мне это нужнее, чем вам. Вы мне скажете, есть ли смысл в этой рукописи или нет.

- Почему вы доверяете мне?

- С чего вы взяли, что доверяю? Когда придете, начну доверять. Я доверяю тем, кто проявляет интересы.

Вошел студент с взволнованным видом: - Товарищи! Около канала показались фашисты с цепями!

- Где моя дубинка, - сказал тот парень с татарскими усиками, который грозился расправиться со мной за Ленина. - Пойдем со мной, товарищи! - и все поспешно вышли.

- Надо бы пойти? - шепнул я, снедаемый совестью.

- Не надо, - ответил Бельбо. - Это просто Пилад освобождает помещение.

Так как сегодня первый вечер, что я бросаю пить, чувствую я себя погано. Должно быть, начинается ломка от воздержания. Все, что я вам говорил в течение вечера, включая и данное высказывание, является ложью и только ложью. Спокойной ночи.

11

Его бесплодие было безгранично. Оно доходило до экстаза.
Э. М. Сьоран. *Дурной демиург.*
E. M. Cioran. *Le mauvais demiurge.*
Paris, Gallimard, 1969 Pensées étranglées

В «Пиладе» я имел дело с «Бельбо для посторонних». Наблюдательный человек догадывался, что его сарказм идет от меланхолии. Непонятно, было ли все это маской, или, может быть, маской был другой вариант - дружеская доверительность. В сарказме «на публику» чувствовалась такая настоящая печаль, что ее трудно было замаскировать - и от себя самого - печалью напускною.

Читая этот файл, я нахожу в олитературенной форме все то, что на научном языке мы обсуждали на следующий день в «Гарамоне»: письмобоязнь в сочетании со страстью к письму и горечь редакторской работы - вечно пишешь от лица подставных лиц, и тоска по несбывшемуся творчеству, и интеллектуальная стыдливость, побуждавшая его казнить и грызть себя за то, что ему хотелось того, на что, по собственному мнению, он не имел права - казнить, выставляя это желание в смешном олеографическом свете. Никогда не видел, чтобы себя жалели с таким презрением.

Имя файла: Лимонадный Джо

Завтра повидать юного Чинти.

1. Монография удачная, новаторская. Чуть-чуть слишком академична.

2. В заключении. Сравнительный анализ Катулла, poetae novi[1] и современного авангарда. Самое лучшее в тексте.

3. Не пустить ли как введение.

4. Постараться убедить. Он скажет, что в филологической серии эффектный зачин - научный руководитель не стерпит. Еще чего доброго снимет свое предисловие. Поставить под вопрос карьеру. Гениальная идея, будучи на последней странице, пролетит безболезненно, а на первой притянет внимание и раздразнит зубров.

5. Ответ. Но достаточно набрать это место курсивом, что-то вроде взгляда и нечто, отсоединить от ряда собственно исследовательского. Гипотеза останется гипотезой, без ущерба серьезности работы, а читатель сразу будет завоеван, увидит книгу в другой перспективе.

Если разобраться по совести - делаю я подарок этому парню или пишу его руками собственную книгу?

Изменять весь текст с помощью двух-трех поправок. Демиург на чужом горбу. Чем подготавливать сырую глину, мять и выделывать ее, - несколько легоньких щелчков по терракоте, из которой уже сформована статуя. Добавь последний штришок, дай разок молотком по голове, она превратится в Моисея, заговорит.

Должен зайти в издательство Уильям Ш.

- Просмотрел вашу вещь, очень, очень неплохо. Умело выстроено, есть напряжение, драматизм. Это у вас первый опыт?

- Нет, я вообще-то уже написал одну трагедию про двух любовников из Вероны, которые...

- Лучше поговорим о вашей новой работе. Я вот думаю, почему действие должно разворачиваться обязательно во Франции. А не в Дании, например? Условно говоря? Не так уж много пришлось бы менять. Два-три топонима. Замок Шалон-на-Марне превращается, ну скажем, в замок Эльсинор... Северный колорит, протестантство, витает тень Кьеркегора, такое, знаете, экзистенциальное напряжение...

- А может, вы и правы.

---

[1] Новые поэты (poeti novi) 1 в. до н.э. - Валерий Катон, Лициний Кальв, Катулл. Определение Цицерона.

- Мне кажется так. Потом тут надо бы немножко пройтись по стилю. Чуть-чуть, несколько мелких поправок, вроде как делает парикмахер прежде чем приставить зеркало к затылку... Вот, к слову, призрак отца героя. Почему он выходит в конце? Я бы, откровенно говоря, выпустил его в начале. Так, чтобы отцовский дух постоянно потом присутствовал и влиял на поведение его сына, принца. Тогда будет яснее и конфликт с матерью.

- В этом что-то есть. И надо только одну сцену перенести.

- Вот именно. Наконец, вопрос стиля. Возьмем любой кусок на пробу, например, когда молодой герой выходит на просцениум и заводит это свое рассуждение насчет действия и бездействия. «Действовать или нет? Вот что надо бы мне решить; сносить бесконечные нападки злобной судьбы...» Почему это только ему надо решить? Я сказал бы, в этом вообще состоит вопрос, понимаете, не его личная проблема, а основной вопрос экзистенции. Так сказать, выбор между бытием и небытием, быть или не быть...

Населяешь мир детищами, которые будут носить чужие фамилии, и никто не узнает, что они твои. Господь Бог в штатском. Ты Господь, ты гуляешь по городу и слушаешь, что о тебе толкуют. Господь да Господь, да какой замечательный мир ему удалось сработать, и какая смелая идея всемирное тяготение, и ты улыбаешься в усы, придется, видимо, ходить в накладной бороде, или нет, наоборот, без бороды, по бороде сразу догадаются, что ты Господь Бог. Ты бормочешь себе под нос (солипсизм Господа - настоящая трагедия): «Так это же я и есть, а никто меня не знает». На улице тебя толкают, могут даже и послать подальше, а ты смущенно извиняешься, увертываешься и проходишь себе своей дорогой, на самом деле все-таки ты Бог, а это не шутки, по одному твоему чиху мир превратится в головешку. Но ты настолько всемогущ, что можешь себе позволить даже быть добрым.

Роман о Господе Боге инкогнито. Никакой надежды. Раз пришло в голову мне, значит, уже пришло и еще кому-нибудь.

Другой вариант. Ты литератор, хороший или плохой - ты пока не знаешь. Любимая тебе изменила, жизнь перестала иметь смысл, и в некий день, ища забвения, ты грузишься на «Титаник» и терпишь крушение в южных морях. Ты единственный кто спасся, питаясь пеммиканом, тебя подобрала индейская пирога и долгие годы ты, неведомый миру, проводишь на острове в обществе одних папуасов, их девушки напевают тебе песни, которые слаще меда, и покачивают грудями, полуприкрытыми гирляндой из цветов пуа. Ты прижился на острове, тебя называют Джо, как всех белых, девушка с кожей цвета янтаря приходит вечером к тебе в шалаш и говорит «я - ты - твоя». В общем это прекрасно - вечером на веранде вглядываться в небо, глядеть на Южный крест, голова у нее на коленях, ее ладони порхают над твоими волосами.

Ты живешь календарем рассветов и закатов и не ведаешь иного. Однажды появляется моторная лодка с голландским экипажем. От них ты узнаешь, что миновало десять лет. Они зовут тебя уехать с ними. Ты колеблешься, ты предпочитаешь заняться бартерным обменом кокосов на мануфактуру, ты руководишь сбором лимонов и открываешь производство лимонада, даешь работу местным индейцам, начинаешь путешествовать с островка на островок, отныне ты сделался в этом мире Джо Лимонадом. Авантюрист португалец, полуразрушенный алкоголем, нанимается на работу к тебе и исправляется, о тебе теперь говорят повсюду в морях Зондского архипелага, ты становишься советником магараджи Брунея в его войне против речных даяков, тебе удается вернуть к жизни старую пушку времен Типпа Сагиба, ты заряжаешь ее железной мелочью, набираешь роту преданных малайцев с зубами почерневшими от бетеля, и в схватке около Кораллового рифа старый Сампан, с зубами почерневшими от бетеля, закрывает тебя собственным телом. - Я рад умереть за тебя, Лимонадный Джо. - Бедный старый Сампан, ты был настоящим другом.

Отныне ты знаменит на этом архипелаге от Суматры до Порт-о-Пренса, у тебя дела с англичанами, в порту Дарвин ты приписан под вымышленным именем Курц, и теперь ты для всех белых Курц и Лимонадный Джо для всех

индейцев. Но в один прекрасный вечер, когда девушка тебя ласкает на веранде и Южный Крест сияет так ярко, как никогда до этого не сиял, - до чего он не похож на Медведицу, - ты понимаешь, что должен вернуться. Ненадолго, только чтобы посмотреть, что сохранилось от тебя в том, другом мире.

Ты доезжаешь до Манилы в своей моторной лодке, там тебя берут на вертолет, направляющийся в Бали. Потом Самоа, Адмиральские острова, Сингапур, Тананариве, Тимбукту, Алеппо, Самарканд, Бассора, Мальта - и ты дома.

Прошло восемнадцать лет. Жизнь тебя переменила. Лицо загорело под пассатами и муссонами, ты возмужал, очень хорош собою. И вот ты возвращаешься на родину и видишь, что во всех книжных витринах выставлены твои книги, причем в академических изданиях, и твое имя выбито на фасаде старой школы, где тебя учили читать и писать. Ты Погибший Поэт, совесть поколения. Романтические девушки кончают с собою над твоей пустой гробницей.

А потом я встречу тебя, моя любовь, со многими морщинками у глаз, и лицо твое, все еще красивое, будет печальным от воспоминаний и от запоздалого раскаяния. Я чуть не задел, проходя, тебя на тротуаре, вот я здесь, в двух шагах, и ты посмотрела на меня так же, как глядишь ты на всех, выискивая в облике каждого встречного - тень того, кого ищешь. Я заговорил бы с тобою, зачеркнул прошедшие годы. Но для чего мне это? Разве я не получил от жизни все, чего можно желать? Я - Бог, я равен Богу одиночеством, равен тщеславием, равен отчаянием из-за того, что сам не являюсь, как другие, моим созданием. Все живут в моем свете, а сам я живу в непереносимом сверкании моих сумерек.

Ступай, ступай же в мир, о Уильям Ш.! Ты знаменит, ты проходишь рядом со мной и меня не видишь, я бормочу себе под нос: Быть или не быть? и говорю себе: неплохо, Бельбо. Хорошо сработано. А ты валяй, старичок Уильям Ш., и получай что тебе причитается. Ты ведь только создал. А переделывал я.

Мы, рожающие чужими родами, как актеры, не имеем права лежать в освященной земле. Но грех лицедеев - что они внушают людям, как будто бы наш мир на самом деле устроен иначе. А мы внушаем людям, как будто наш мир бесконечен и бесконечны иные миры, и неограниченно количество возможных миров.

Как может быть жизнь такой щедрой, выдавать такую неоценимую награду - посредственности?

12

Sub umbra alarum tuarum, Iehova[1].
Fama Fraternitatis[2]
цит. по: Всеохватная и всеобщая Реформа всего целого Мира Allgemeine und general Reformation der ganzen weiten Welt Cassel, Wessel, 1614, fine

На следующий день я пошел в «Гарамон». Ворота дома номер один по улице Синчеро Ренато открывались в мусорную подворотню, за которою виднелся двор, а во дворе - мастерская по ремонту стульев. Направо подъезд с лифтом - экспонатом музея индустриальной археологии. От лифта изошло несколько подозрительных подрагиваний, и никакого движения вверх. Тогда благоразумия ради я поднялся пешком на два этажа по лестнице исключительно обрывистой, в этом смысле приближающейся к винтовой, и невероятно грязной. Как мне сказали впоследствии, господин Гарамон обожал помещение редакции, потому что оно напоминало ему парижские издательства. На площадке виднелась табличка «Издательство Гарамон А/О». Открытая дверь вела в холл: ни телефонистки, ни секретаря, однако войти было невозможно так, чтобы не быть замеченным из кабинетика напротив, и я немедленно был атакован человеческим существом, похожим на женщину, непо-

[1] Под сению крил твоих, Господи (Псалмы 56-2).
[2] Слава Братства (*лат.*) - устав ордена розенкрейцеров.

нятного возраста и такого роста, который эвфемически принято называть «ниже среднего».

Она напала на меня на языке, который мне показался знакомым, через некоторое время я понял, что это итальянский, но из которого изъято почти сто процентов гласных. В ответ я сказал «Бельбо». После чего был оставлен подождать в коридоре, а затем блюстительница повела меня в дальний конец.

Бельбо встретил меня радостно. -А, так вы серьезный человек. Проходите. -Меня усадили напротив его стола, такого же дряхлого, как и вся обстановка, и так же заваленного папками, как стеллажи по стенам.

- Вас не напугала Гудрун, - сказал он.

- Гудрун? Эта мадам из коридора?

- Мадемуазель. На самом деле она не Гудрун. Мы ее так зовем за брунгильдистость и тевтонский акцент. Она синтезирует большинство морфем и экономит на гласных. Но у нее есть чувство симметрии. Когда пишет на машинке, экономит на согласных.

- Что она у вас делает?

- К сожалению, все. В каждом издательстве должно быть лицо абсолютно незаменимое, которое одно в состоянии найти вещи в том бардаке, который само творит. При этом хотя бы, когда теряется рукопись, понятно, на кого орать.

- Она еще и рукописи теряет?

- Все теряют. Во всех издательствах теряют рукописи. Я думаю, это основное, что с ними делают в издательствах. Поэтому нужен козел отпущения. Я огорчен только тем, что она теряет не те. Это вредит процессу, который мой друг Бэкон называл the advancement of learning[1].

- А куда ж они теряются?

Бельбо в ответ развел руками: - Прошу прощения, вопрос какой-то странный. Если бы знали куда, их бы находили.

- Логично, - отвечал я. - А кстати. Издания «Гарамона» подготовлены так тщательно, и книги выходят беспрерывно. Сколько человек у вас в редакции? Вы много даете делать на сторону?

- Насчет сколько человек. Напротив через коридор технический отдел. За стеной сидит мой коллега Диоталлеви. Он занимается учебниками, всяким долгостроем, тем, что долго делают и долго продают, то есть что теоретически остается в продаже всегда. Научную серию всю делаю я. Но вы не думайте, это не так уж неподъемно. Нет, конечно, с некоторыми книгами приходится сильно возиться, рукописи надо читать, но в основном это все товар надежный и с бюджетной и с научной точки зрения. Публикации института имени Такого-то, материалы конференций, подготовляемые и финансируемые университетами. Если автор начинающий, научный руководитель дает к нему предисловие и ответственность вся на научном руководителе. Автор правит верстки, первую и вторую, сверяет все цитаты, примечания, и все это бесплатно. Потом книгу выставляют в магазинах, продают за несколько лет от тысячи до двух тысяч экземпляров, покрывают расходы... Все спокойно, все идет в актив.

- А вы что же делаете?

- Да немало. Прежде всего - надо их отбирать. Кроме того, есть еще книги, которые мы публикуем от себя, как правило, это переводные престижные книги, чтобы держать марку. Наконец, самотек, то, что приносят никому не известные люди. Это, как правило, несъедобно, но всякий раз лучше посмотреть, не судить заранее.

- Вам нравится эта работа?

- Не то чтобы нравится. Это единственное, что я хорошо умею.

Разговор был оборван появлением человека лет сорока, одетого в пиджак с чужого плеча, с белесыми редкими волосами, которые свисали у него на лоб поверх таких же блондинистых бровей. Говорил он нежным голосом, как обычно разговаривают с детьми.

---

[1] Продвижение науки (*англ.*).

- Тяжелый случай этот Спутник Налогоплательщика. Его надо целиком переписывать, нет сил. Не помешал?

- Это Диоталлеви, - сказал Бельбо, и мы познакомились.

- А, пришли читать тамплиеров? Несчастный человек. Слушай, я предлагаю. Цыганская урбанистика.

- Какая прелесть, - с восхищением сказал Бельбо. - А я думал об ацтекском коневодстве.

- Чудесно. А куда - в супосекцию или в несусветную?

- Погоди, - ответил Бельбо, порылся в ящике и достал оттуда листки. - Супосекция, - разъяснил он, видя мой удивленный взгляд, - как легко понять, это технология нарезания супа. Так ведь дело-то в том, - продолжил он, обращаясь к Диоталлеви, - что супосекция это не подсекция, а одна из наук наряду с механической предкоавгурацией или же с пилокатавасией, все это - на факультете какопрагмософии.

- Какопраг... - пробормотал я.

- Неприкладного умствования. На этом факультете студенты получают многие неприменимые знания и умения. Так, механическая предкоавгурация есть конструирование автоматов для поздравления дядей и тетей. Можно автоматически поздравить готтентотенпотентатенаттентейторстанте. Тетушку человека, покушавшегося на вождя готтентотов... Мы вот с коллегой еще не решили, оставлять ли в учебном плане пилокатавасию, то есть искусство быть на волосок от. Это, может быть, не совсем ненужно.

- Ну пожалуйста, ну очень прошу, еще немножко, - клянчил я в восхищении.

- Дело в том, что мы с Диоталлеви планируем обновление науки. Организуется университет сравнительных ненужностей, где изучаются науки либо ненужные, либо невозможные. Цель учебного заведения - подготовка кадров, способных открывать и исследовать как можно большее количество новых ненужных научных проблем - ННННП.

- Сколько же там факультетов?

- Пока что четыре, но они могут объять все неинтеллигибельное. Факультет какопрагмософии проводит подготовительные курсы, воспитывая в учащихся наклонность и тягу к ненужностям. Крупные научные силы сосредоточены на несусветном факультете, большая их часть - на кафедре невозможностей. Примеры: вот как раз цыганская урбанистика или коневодство у ацтеков. Сущность наук, как правило, состоит в выявлении глубинных оснований их ненужности, а для программы несусветного факультета - невозможности. Чтобы дать вам несколько примеров. Морфология азбуки Морзе. История хлебопашества в Антарктиде. Живопись острова Пасхи. Современная шумерская литература. Самоуправление в специнтернатах. Ассиро-вавилонская филателия. Колесо в технологиях доколумбовых цивилизаций. Иконология изданий Брайля. Фонетика немого кино.

- Как насчет социологии Сахары?

- Ничего, - сказал Бельбо.

- Очень даже ничего, - веско повторил Диоталлеви. - Вас надо бы привлечь. Юноша уловил, правда, Якопо?

- Да, я сразу сказал, что он улавливающий. Вчера он доказывал ерунду очень изящно. Но продолжим, учитывая, что тема вас увлекла. Что мы там относили к кафедре оксюмористики, а то я куда-то задевал листок?

Диоталлеви вытащил листок из своего кармана и приятно посмотрел на меня. - Под оксюмористикой, как и следует из названия, понимаются обоюдопротиворечивые предметы. Вот почему, с моей точки зрения, цыганской урбанистике самое место здесь...

- Нет, - тут же возразил Бельбо. - Только если урбанистика кочевых племен. Надо различать. Несусветность предполагает эмпирическую невозможность, а оксюмористика - терминологическую.

- Ну ладно. Что у нас тогда в оксюмористике? А, вот. Революционные постановления... Парменидова динамика, Гераклитова статика, спартанская сибаритика, учреждения народной олигархии, история новаторских традиций, психология мужественных женщин, диалектика тавтологии, Булева эвристика...

Я почувствовал, что дальше отсиживаться невозможно, и поднял перчатку. - Могу я предложить грамматику анаколуфов?

- Хорошо! Хорошо! - отозвались один и другой и принялись куда-то записывать.

- Есть загвоздка, - остановил их я.

- Какая?

- Как только о вашем проекте станет известно, к вам повалит народ и захочет публиковаться по этим темам.

- Я тебе говорил, что мальчик вострый, слышишь, Якопо, - произнес Диоталлеви. - Именно в этом и состоит наша главная проблема. Против собственного желания нам удалось создать идеальную модель реальной науки. Мы доказали необходимость возможного. Лучше нам не обнародовать проект. Я должен идти.

- Куда? - спросил Бельбо.

- Пятница, вечер.

- О Господи милосердный, - сказал на это Бельбо. Потом обратился ко мне: - Тут напротив через улицу живет несколько семей правоверных евреев, знаете, таких, в черных шляпах, с бородами, с пейсами. Их в Милане почти совсем нету. Сегодня пятница и после заката начинается суббота. В это время в доме напротив как раз готовятся, чистят семисвечники, жарят и варят, все так раскладывают, чтобы назавтра можно было бы ничего не делать и не зажигать ни свет, ни газ. Даже телевизор работает у них с ночи, только приходится примириться с тем, что нельзя переключать каналы. Наш друг Диоталлеви через свою подзорную трубу бессовестно подглядывает из окна за евреями и тает от восторга, воображая себя тоже там, по ту сторону улицы.

- А почему? - спросил я.

- Потому что наш друг Диоталлеви настойчиво утверждает, будто он еврей.

- То есть как это утверждаю? - обидчиво спросил Диоталлеви. - Я еврей. Вы что-то имеете против евреев, Казобон?

- Кто, я?

- Диоталлеви, - решительно вмешался Бельбо. - Ты не еврей.

- Не еврей? А как же моя фамилия? «Храни тебя Бог». Наряду с Грациадио - «Богу хвала», Диосиаконте - «С тобой Бог», - все это переводы с еврейского, это имена из гетто, типа Шолом Алейхем, что тоже означает «с вами Бог».

- Диоталлеви - самое обыкновенное имя, которое давали в приютах подкидышам. А твой дедушка был подкидыш.

- Еврейский подкидыш.

- Диоталлеви, у тебя розовая кожа, горловой голос и ты почти альбинос.

- Есть же кролики альбиносы, могут быть и евреи альбиносы.

- Диоталлеви, нельзя стать евреем по собственному желанию, как становятся филателистами или свидетелями Иеговы. Евреем можно только родиться. Успокойся, ты такой же язычник, как и все вокруг.

- Нет, я обрезан.

- Опять за свое. Каждый может обрезаться из гигиенических соображений. Достаточно договориться с фельдшером, у которого есть термокаутер. С какого возраста ты обрезан?

- Не будем уточнять.

- Ну почему же. Как раз лучше бы уточнить. Евреи всегда все уточняют.

- Никто не докажет, что мой дедушка не был еврей.

- Разумеется, раз он был подкидыш. Но с таким же успехом он мог бы быть и наследником византийского трона, и побочным сыном Габсбургов.

- Никто не докажет, что мой дедушка не был еврей. Его нашли около гетто.

- Но твоя бабушка не была еврейкой, а счет родства у евреев ведется по материнской линии.

- Да, но есть голос крови, а голос крови подсказывает мне, что у меня изысканно талмудичный склад ума. Надо быть подлым расистом, чтобы утверждать, будто какие-то язычники способны на такую талмудическую изысканность, на какую способен я.

С этими словами он вышел. Бельбо сказал: - Не обращайте внимания. Этот разговор повторяется постоянно, и я каждый раз выдвигаю по одному новому аргументу. Дело в том, что Диоталлеви помешался на каббале. Не хочет слышать, что бывают и каббалисты-христиане. А вообще, знаете, Казобон, если Диоталлеви в конце концов так уперся быть евреем, что я с этим могу сделать?

- Ничего. У нас демократия.

- У нас демократия.

Он закурил сигарету. Я вспомнил о цели своего визита. - Вы говорили о тамплиерской рукописи, - сказал я.

- Ах да. Сейчас. Она была в папке из кожзаменителя. - Он прошелся пальцами по пирамиде рукописей и попробовал вытащить одну из середины, при этом не нарушив равновесия. Рискованный замысел - и действительно половина рукописей рухнула на пол. В руках у Бельбо осталась папка «под кожу».

Я просмотрел оглавление и вступление. - Речь идет об аресте храмовников. В 1307 году Филипп Красивый решил арестовать всех храмовников Франции. Легенда, однако, гласит, что за два дня до того как были подписаны ордера на арест, некий воз, груженный свежим сеном и влекомый быками, выехал из ворот Храма, в Париже, и взял неизвестный курс. Говорили, что в нем спряталась группа рыцарей под водительством некоего Омона и что они укрылись в Шотландии, объединившись вокруг ложи каменщиков в Килвиннинге. Согласно этой легенде, рыцари-храмовники внедрились в бригады каменщиков, которым и передали секреты Храма Соломона. Именно это я и предвидел. Этот человек тоже пытается приурочить зарождение масонства к моменту бегства храмовников в Шотландию. Эта версия муссируется вот уже два века. Она ни на чем не основана. Доказательств нет. Я могу положить вам на стол пятьдесят книг, и во всех рассказывается именно это, и все передирают друг у друга. Смотрите сюда, вот я открыл на случайном месте: «Доказательство высадки тамплиеров в Шотландии состоит в том факте, что даже и сейчас, через семьсот пятьдесят лет, в мире сохраняются тайные ордена, которые считают себя наследниками Гвардии Храма. Как иначе объяснить подобную преемственность?» Видели? Как можно сомневаться в существовании маркиза Карабаса, если кот утверждает, что он у него на службе?

- Все ясно, - сказал Бельбо. - Рукопись вон. Однако это дело с тамплиерами, по-моему, любопытное. Раз в жизни мне попался информированный человек, и было бы глупо так просто вас отпустить. Объясните мне, почему все занимаются храмовниками и никто не занимается мальтийскими рыцарями. Нет, сейчас не начинайте. Уже поздно. Мы с Диоталлеви через несколько минут должны ехать ужинать с господином Гарамоном. Но где-то в пол-одиннадцатого все это кончится. Я охотно увиделся бы с вами в «Пиладе», постараюсь привести также и Диоталлеви, хотя он непьющий и ложится рано. Вы будете там?

- Где мне еще быть? Я ведь потерянное поколение, и если кто меня хочет найти - пусть ищет там, где собираются все потерянные... Буду вас ждать.

13

Li frere, li mestre du Temple
Qu'estoient rempli et ample
D'or et d'argent et de richesse
Et qui menoient tel noblesse,
Où sont ils? que sont devenu?[1]
Chronique à la suite du roman de Fauvel

Et in Arcadia ego[2]. «Пилад» тем вечером представлял собой типичную картину золотого века. Буквально в воздухе витало предчувствие, что революция не только назрела, но и нашла себе спонсора - Союз Промышленников. Владелец трикотажной фабрики (битловка, борода) играл в подкидного дурака с будущим террористом в двубортном костюме и галстуке. Ломалась парадигма. Еще в начале шестидесятых годов борода была признаком фашизма - шкиперская, в духе Итало Бальбо[3]; в шестьдесят восьмом она стала означать революционность, а потом приобрела нейтральный смысл в духе "я выбираю свободу". В любую эпоху борода заменяет маску; фальшивую бороду лепят, чтобы не быть узнанными; но в те времена, в начале семидесятых, можно было маскироваться настоящей. Прикрывать бородой свою исконную бородатость: пред лицом подобной бороды вряд ли могла пройти бравада бородою. Однако этим вечером самая искренняя борода рисовалась даже и на бритых лицах, ее не носивших, но намекающих, что непременно бы носили, да дух противоречия не позволяет.

Бог с ним. Наконец предо мною предстали Бельбо и Диоталлеви. Вид у них был мученический, и они не могли говорить ни о чем, кроме перенесенного ужина. Я тогда еще не представлял себе ужины с господином Гарамоном.

Бельбо потребовал ежевечернюю дозу, Диоталлеви долго и подозрительно принюхивался и расхрабрился на стакан минеральной. Мы нашли столик в глубине зала, еще не остывший после двух шоферов, которые отправились по домам, потому что назавтра вставать было рано.

- Ну, ну, - начал с ходу Диоталлеви. - Тамплиеры.

- Не надо, умоляю. Это можно прочесть в любом учебнике.

- Мы любим сказовый стиль, - сказал Бельбо.

- Это более мистично, - сказал Диоталлеви. - Бог создал мир с помощью слова. Заметьте, не телеграммы.

- Да будет свет тчк подробности письмом, - отозвался Бельбо.

- Не письмом, а посланием к фессалоникийцам, - сказал я.

- Давайте о тамплиерах, - сказал Бельбо.

- Значит, - начал я.

- Со значит начинать неграмотно, - запротестовал Диоталлеви.

Я сделал вид, что встаю со стула. Никто не стал умолять сесть. Я сел сам.

- Так вот, это вообще известные вещи. Первый крестовый поход. Готфрид, как известно из Тассо, Господен гроб почтивши, снял обет. Бодуэн становится первым королем в Иерусалиме. Христианское царство в Святой Земле. Но один разговор Иерусалим, другое дело остальная Палестина. Сарацин побили, но они не угомонились. Жизнь в тех краях не слишком спокойная ни для новопоселенцев, ни для паломников. И в этот момент, в 1118 году, во время правления Бодуэна II, девять человек, под командой некоего Гуго де Пейнса, образовывают ядро Ордена Бедных Рыцарей Креста: орден монашеский, но с ношением оружия. Три обычных обета бедности, воздержания и послушания. Плюс к тому обязательство давать защиту паломникам. Король, епископ и прочая иерусалимская верхушка немедленно отстегивают деньги. Им

---

1 Магистры, братие во Храме,
Кто неусыпными трудами
Его расширил, укрепил
И золотом обогатил -
Где все они? Что с ними сталось?
(Хроника-продолжение «Романа о Фовеле» Жерве дю Бю (нач. XIV в).

2 И я в Аркадии (*лат.*).

3 Итало Бальбо (1896-1940) - известный авиатор, министр аэронавтики в правительстве Муссолини.

выделяют помещение - в одной из пристроек при старом Храме Соломона[1]. Так они становятся Рыцарями Храма.

- Что это были за люди?

- Скорее всего, романтики крестового похода. Но потом это переменилось. Начали прибиваться к компании Иваны-дураки, младшие сыновья без наследства. Иерусалим - это была та же Аляска, туда ехали за деньгами. В основном те, кому дома ждать было нечего, или прежде судимые. Иностранный легион. Такой плакатик: ты записался в тамплиеры? Ждут тебя дальние страны, крепких и сильных душой. Кормежка, одежка казенная, под расчет еще и спасение души. Разумеется, с хорошей жизни на это не шли. Жить в пустыне, в палатке, годами не видя человеческих лиц, если не считать других тамплиеров и нескольких турецких рож, потом еще жара, жажда и обязанность вечно потрошить сарацин...

Я перевел дух. - Получается какой-то вестерн. Прошу прощения. На самом деле орден пережил три эпохи, и на уровне третьей этих проблем уже не было и в него записывались даже те, кто отнюдь не бедствовал. Потому что стало не обязательно вербоваться в Святую Землю, можно было работать на материке. Вообще что касается тамплиеров, мне они не вполне ясны. Иногда кажется, что это просто банда, иногда, наоборот, в них есть какое-то изящество. Этнические чистки они проводили по-рыцарски. Они, конечно, били мусульман, потому что это была их работа... Но когда посол эмира Дамасского прибыл с визитом в Иерусалим, тамплиеры предоставили ему мечеть для отправления культа, невзирая на то, что ее уже успели переделать в христианскую церковь. Он себе молится, в этот момент заходит какой-то франк, видит неверного в святом месте и вышвыривает его. Тамплиеры наказали виновного, а перед мусульманином извинились. Это джентльменское отношение к противнику их и погубило, не зря на суде им шили связь с эзотерическими мусульманскими сектами. Может быть, связь и была, точно так же как авантюристы прошлого века заболевали Африкой. Тамплиеры были люди без систематического образования, они не понимали многих идейных тонкостей и не думали о них, а одевались в духе Лоуренса Аравийского... Вообще понять причины их действий для меня не легко, потому что христианские историки, Гийом Тирский и прочие, при каждом случае поливают их грязью...

- Почему?

- Потому что тамплиеры слишком усилились, и притом слишком быстро. Все началось со Святого Бернарда. Вы представляете себе, кто такой Святой Бернард? Гениальный организатор, реформатор бенедиктинского ордена. Из всех церквей велел вынести статуи и украшения. Когда ему не нравится коллега, например Абеляр, он с ним ведет себя по-маккартистски, а в принципе предпочел бы сжечь. Если нельзя, то хотя бы сжечь его книги, что он и сделал. Потом начал агитировать за крестовые походы. Вперед, Святая Земля зовет...

- Симпатяга, - подытожил Бельбо.

- Ненавижу. По мне, его не в святые надо бы, а в самый глубокий круг ада. Но он умел себя подать, посмотрите, на какой пост его определил Данте, пресс-секретарем Пречистой Девы. А с такими суперсвязями и канонизовали его потом быстро. Когда Бернард прослышал о тамплиерах - сразу спикировал на эту идею. Благодаря ему девять авантюристов превратились в Militia Christi[2], так что можно сказать что тамплиеров как героический миф изобрел он. В 1128 году он созывает собор в Труа именно для того, чтоб легитимировать этот новый орден монахов-солдат, а через несколько лет пишет более чем положительный отзыв на их деятельность и сочиняет статут в семидесяти двух параграфах, где чего только нет. Месса ежедневно, и нельзя иметь связи с рыцарями, отлученными от церкви, однако если те попросят о принятии их в орден - реагировать по-христиански. Видите, я не случайно прово-

---

[1] Храмом Соломона латинские хронисты называли мечеть Аль-Акса, выстроенную в XI веке и ставшую после завоевания крестоносцами Иерусалима церковью Святого Гроба Господня.

[2] Христово воинство (*лат.*).

дил параллель с Иностранным легионом. Формой будет белая накидка, простая, без меховой оторочки, позволяется только ягнячий или же бараний мех. Запрещено носить гнутую или тонкую по моде обувь, спать следует в рубахе и портах, на тюфяке и с простыней и одеялом...

- В жарком климате, могу вообразить эту вонь, - сказал Бельбо.

- О вони поговорим особо. Есть иные жесткие ограничения: питаться двоим из одной миски, трапезовать в молчании, мясная пища трижды в неделю, строгий пост по пятницам, вставать на рассвете, если накануне день выдался трудный, разрешается пролежать еще не более часу, но в этом случае надо прочитать в постели тринадцать отченашей. Главным в ордене является магистр; имеется иерархия младших по званию, на нижних ступенях - прапорщики, оруженосцы, денщики и слуги. Каждый рыцарь владеет тремя конями и оруженосцем, запрещено украшать стремена, седла и поводья, оружие должно быть простое, но отличного качества, никакой охоты, за исключением львиной, словом - жизнь военная, богоспасаемая. Не говорю уж о воздержании, на которое сочинитель статута напирает особенно. А ведь наши герои живут не в монастыре, а на людях, если можно звать людьми тот сброд, который тогда наводнял Святую Землю. В уставе сказано, что общества женщин надобно избегать, насколько возможно, и не целовать никого, кроме матери, сестер и теток.

Бельбо вставил: - Насчет теток я бы поостерегся. К слову, тамплиеров разве не обвиняли в содомии? Я помню в книге Клоссовского, «Бафомет»[1]... Бафомет - какой-то дьявольский идол, которого они чтили...

- Сейчас дойдем. Ну посудите по логике. Жили они по-матроссски, месяц за месяцем в пустыне, у черта на рогах. Представьте себе: по ночам ледяной ветер, вы в палатке вместе с другом, с которым едите из одной плошки, страшно, голодно, холодно, хочется к маме. Что дальше?

- Фиванский легион, мужественное объятие, - предположил Бельбо.

- Подумайте об этом адском положении, бок о бок с солдатней, которая никаких обетов не давала, врываясь в город, добыча солдата - мавританочка, золотой нежный живот и ресницы как бархат, а что достается тамплиеру в ароматной тени ливанских кедров? Оставьте ему хотя бы маленького мавра. Понятно вам теперь, кстати, откуда идет выражение «пить и ругаться как тамплиер»? Их удел напоминает мне положение войскового капеллана, который жрет спирт и богохульствует со своими неотесанными подопечными. Уж одного того хватило бы... А тут еще печати. На печатях тамплиеры изображаются по двое, на одной и той же лошади. С чего бы это, если учесть, что по уставу каждому положено три коня? Конечно, Бернард мог считать это удачной находкой в качестве эмблемы бедной жизни или символа двойственного служения: рыцарство-монашество... А теперь представьте себе, как все это выглядело в глазах простого человека: ничего себе монах, гляди-ка, присоседился даже на скаку! Вполне возможно, что все это домыслы...

- Но, безусловно, они сами нарывались, - продолжил Бельбо. - А что, Святой Бернард был такой глупый?

- Не сказал бы... Но он монах тоже, а в те времена монахи странно представляли себе смирение плоти. Я только что извинялся, что мой рассказ слишком походит на вестерн, но вообще такой подход не вполне несправедлив... Я захватил с собой выписку из нашего любимого Бернарда, вот как он описывает идеал поведения тамплиера: «Они презирают и ненавидят мимов, шутов, площадных жонглеров, неблаголепные песни и фарсы, они обрезают волосы коротко, потому что апостол сказал, что не подобает мужчине заботиться о прическе. Их никогда не встречают причесанными, очень редко мытыми, их борода клочковата, они покрыты пылью, грязны от ношения брони и от жаркой погоды ...»

- Не хотел бы я жить в их квартале, - произнес Бельбо. /.../

- В общем, тамплиеры были оборванцы, - подытожил Диоталлеви.

- Да нет, - ответил я. - Это я перестарался, впечатление получилось одностороннее. Рядовые действительно ходили примерно в этом виде, но орден

---

[1] Роман о тамплиерах французского писателя Пьера Клоссовского, написанный в 1965 г.

как таковой с самого начала стал получать субсидии, чем дальше - тем больше, по мере того как открывались капитанства на территории Европы. Вот к примеру, только от одного Альфонса Арагонского тамплиеры получили в подарок целую страну, то есть он оформил на них завещание и оставил им королевство при условии, если умрет без прямых наследников. Тамплиеры предпочли не полагаться на случай и переоформили документы, получив синицу в руки еще при жизни дарителя, а синица представляла собой полудюжину крепостей по всей Испании. Король Португалии подарил им лес. Лес этот вообще-то был сарацинский, но тамплиеры взялись за его чистку, в два счета выбили оттуда мавров и между делом основали Коимбру. И это только отдельные зарисовки... В общем, картина такая: боевики едут сражаться в Палестину, но ядро ордена расположено на родине. Какие это открывает возможности? Да такие, что если кто-либо направляется в Палестину, и не хотел бы путешествовать с золотом и драгоценностями в кармане, он попросту заходит к рыцарям-тамплиерам, в их французские, испанские или итальянские гарнизоны, вносит деньги, берет квитанцию и получает по ней в Палестине.

- Аккредитив, - сказал Бельбо.

- Именно. Это они изобрели систему чеков. Задолго до флорентийских банкиров. Теперь вам должно быть ясно, что на основании добровольных пожертвований, военных контрибуций и поступлений от финансового посредничества орден превратился в международный концерн. Подобная структура могла держаться только на менеджерах высокого класса. Эти люди сумели убедить Иннокентия II предоставить им экстраординарные льготы: орден имел право оставлять себе всю военную добычу, и по имущественным вопросам не должен был отчитываться ни перед королем, ни перед епископами, ни перед патриархом Иерусалимским, а только перед папой. Таким образом, они были освобождены от уплаты десятин, но сами имели право облагать десятинной пошлиной все контролируемые территории... В общем, мы имеем дело с фирмой, которая при постоянно активном балансе недоступна никакой налоговой инспекции. Понятно, почему епископы и коронованные особы не могли их любить, но и без них не могли обходиться. Крестовые походы организуются с бухты-барахты, народ едет воевать не зная куда и каким образом, а тамплиеры - свои люди в тех краях, понимают, с кем они воюют и чего ждать от противника, прекрасно знают местность и ведение боя на этой местности... Хотя, судя по хроникам, способны увлекаться и нагородить кучу глупостей. Время от времени какие-то абсурдные кавалерийские наскоки... Странно, до чего не сочетается их политическая и управленческая серьезность с лихостью их боевых привычек. Летят сломя голову, не проверяя обстановку, попадают в ловушку и погибают ни за что ни про что. Например при осаде Аскалона...

/.../- Серьезные люди, но мечутся немножко как три поросенка, - подытожил Бельбо.

Мне стало совестно. На самом деле я сожительствовал с тамплиерами вот уже два года и очень любил их. В угоду снобизму моих знакомых я вел свой рассказ действительно в духе детского мультфильма... А может быть, виноват был Гийом Тирский, злораднейший из историографов. На самом деле они не такими были, кавалеры Храма, бородатые, горячие, с огненным крестом на полотне покрывала, летящие на звонких конях под сенью черно-белого знамени, зовущегося Босеан. Они были великолепны, призванные на пир самопожертвования и смерти, и та патина пота, о которой мы знаем от Святого Бернарда, вероятно, придавала бронзово-ярое благородство усмешке их ужасного лика... Львы на арене боя, как описывает их Жак де Витри, и нежнейшие агнцы в дни мира, лихие в бою, самоотверженные в молитве, безжалостные с врагами, внимательные к собратьям, избравшие черный и белый цвета для стягов, так как белый - цвет чистоты друзей Христа, а черный - это немилосердие к неприятелю...

Милые поборники веры, последние истинные паладины на излете рыцарской эпохи, разве они заслужили, чтоб я над ними хихикал, как какой-ни-

будь там Ариосто? Я, который мог бы стать их новым Жуанвилем[1]. Мне вспомнились страницы о тамплиерах в «Истории Людовика Святого», сочинении, автор которого, воин и писец, ходил вместе с королем Людовиком в Святую Землю. К тому времени тамплиеры существовали уже более ста пятидесяти лет, и крестовых походов уже состоялось предостаточно, чтобы разочароваться в каких бы то ни было идеалах: Развеялись, как сон, призраки королевы Мелисенды и Бодуэна, прокаженного короля, на время стихли междуусобицы и распри в Ливане, где уже тогда земля горела под ногами. Уже однажды пал Иерусалим, Барбаросса утонул в Киликии, Ричард Львиное Сердце, разбитый наголову и покрытый позором, возвратился на родину, переодетый, кстати говоря, в накидку тамплиера. Христиане проиграли свою войну, а у мавров оказалось совсем иное представление о конфедерации политических субъектов, самостоятельных, но объединенных во имя защиты цивилизации: это были люди, читавшие Авиценну, никакого сравнения с невеждами европейцами. Возможно ли было в течение двух столетий, постоянно соприкасаясь с толерантной, мистичной, либертинской культурой, не поддаться ее обаянию - в особенности имея для сравнения культуру Запада, грубую, низкую, варварскую и германскую? В 1244 году Иерусалим пал в последний и окончательный раз, война, начавшаяся за сто пятьдесят лет до того, была христианами проиграна, и отныне им нечего было делать с мечом на мирных равнинах, в ароматной тени ливанских кедров, бедные мои тамплиеры, для чего, для кого все ваши жертвы?

В нежности, в грусти, в бледном отсвете одряхлевающей славы - не склоняется ли слух к таинственным ученьям мусульманских мистиков, взор - к иератическому созерцанью потаенных сокровищ? Не тогда ли родилось легендарное представление о рыцарях Храма, до сих пор живущее в разочарованных, жаждущих умах, - повесть о безграничной могущественности, не знающей, к чему ей применить свою мощь...

/.../В 1291 году пал последний форпост христиан на Святой Земле - оплот иоаннитов, Акка. Акка была завоевана маврами, все обитатели перерезаны. Христианское царство в Иерусалиме окончилось. Орден тамплиеров в этот час состоятельнее, многочисленнее и мощнее, чем когда бы то ни было прежде, но они, рожденные для сражений в Святой Земле, - не могут больше оставаться в ней.

Похоронив себя заживо в великолепных капитанствах Европы и в Тампле Парижа, они все еще грезят о нагорье вокруг Иерусалимского Храма во времена их звенящей славы, с дивной церковью Святой Марии Латеранской, вотивными капеллами, короной трофеев, вспоминают горячую возню в кузницах, в шорных лавках, кучи тканей, ворохи зерна, конюшню на две тысячи голов, беготню оруженосцев, адъютантов, турецкий палаточный городок, красные кресты на белых епанчах, коричневые подрясники служек, посланцев султана в грандиозных тюрбанах и в золотых шлемах, пилигримов, стройное движенье сторожевых нарядов, эстафет, курьеров и счастье ломящихся закромов, переполненных сейфов портового города, откуда разлетаются распоряжения и приказы и отправляются грузы по назначениям: замки родной страны, острова, прибрежные крепости Малой Азии...

Все кончено, мои дорогие тамплиеры.

И тут я обнаружил, тем самым вечером, в «Пиладе», на стадии пятого виски, подносимого мне заботливой рукою Бельбо, что я, похоже, грезил наяву, однакоже вслух и с чувством (стыд какой, Господи!), что-то рассказывал собутыльникам, причем Диоталлеви, взбудораженный до предела двумя стаканами тоника, серафически возводил очи горе, а вернее сказать, к совершенно не сефиротному потолку забегаловки и бормотал: - Таковы они и были, души святые и души пропащие, ковбои и рыцари, ростовщики и полководцы...

- Они были своеобразные, - подытожил Бельбо. - А вы, Казобон, ведь их любите?

---

[1] Жан де Жуанвиль (1224-1317) - участник и летописец крестовых походов, возглавляемых Людовиком IX (Святым Людовиком).

- Я пишу о них диплом. Кто пишет диплом о сифилисе, в конце концов полюбит и бледную спирохету.

/.../ Бельбо усталым жестом пригладил волосы и заказал, как он выразился, последнее виски. - Скоро двенадцать, становится поздно. Конечно, не для взрослых, а для Диоталлеви. И тем не менее я хотел бы еще кое-что узнать, в частности о процессе. Когда, как, почему...

- Cur, quomodo, quando, - подхватил Диоталлеви. - Да, да, пожалуйста...

14

Утверждает, что за день до того он видел, как пятьдесят четыре брата его по ордену были возведены на костер, потому что не пожелали признаться в вышеуказанных заблуждениях, и он слышал, что они были сожжены, и сам он, не будучи уверен, что проявит должную крепость в случае, если его станут жечь, намерен признаваться, из опасения смерти, в присутствии господ комиссаров и кого еще угодно, если бы его допросили, что все заблуждения, приписывавшиеся ордену, действительно имели место, и, кога да был бы к тому побуждаем, сознался бы даже и в том, что убил Господа нашего Иисуса Христа.

Из протокола допроса Эмери де Вилльс-ле-Дюка, 13.5. 1310

Процесс тамплиеров полон недомолвок, противоречий, загадок и глупостей. Глупости бросаются в глаза прежде всего, и своей необъяснимостью граничат с загадками. В те счастливые дни я еще думал, будто глупость порождает загадку. А недавно в перископе я , напротив, предположил, что самые ужасные загадки, чтобы не выглядеть загадками, прикрываются безумием. Наконец, сейчас мне кажется, что мир - это доброкачественная загадка, которую делает злобной наше безумие, ибо старается разрешить ее исходя из собственных истин.

У тамплиеров больше не было цели. Вернее говоря, они сделали целью - средства, они сосредоточились на управлении своими несметными сокровищами. Естественно, что централизующий монарх, такой, как Филипп Красивый, относился к ним неприязненно. Мог ли он держать под контролем суверенный орден? Великий Магистр по рангу был равен принцу крови, он командовал армией, распоряжался необъятными земельными владениями, избирался как император и имел в своих руках неограниченную власть. Сокровища короны находились не в руках короля, а на хранении в Парижском Храме. Тамплиеры были контролерами, распорядителями и администраторами текущего счета, формально принадлежащего королю. Они вносили на этот счет средства, снимали средства, играли на процентных ставках, вели себя, как колоссальный частный банк, но с такими льготами и привилегиями, которыми располагают банки государственные... При этом казначей короля был опять-таки тамплиер. Подите поцарствуйте в такой обстановке.

Не можешь победить - объединяйся... Филипп попросился в почетные тамплиеры. Получил отказ. Обиду намотал на ус. Тогда он предложил папе слить тамплиеров с госпитальерами и передать новый орден под управление одного из своих сыновей. Тут Великий Магистр Ордена, Жак де Молэ, с великой помпой пожаловал на материк с Кипра, где он в то время проживал, как монарх в изгнании, чтобы вручить папе меморандум, в котором как будто анализировал преимущества, но на самом деле в первую очередь выявлял недостатки подобного объединения. Без всякого стеснения Молэ, в частности, напирал на тот факт, что тамплиеры более богаты, нежели госпитальеры, и что при слиянии одни должны обеднеть для того, чтоб обогатились другие, что нанесло бы суровый ущерб состоянию духа его кавалеров. И Молэ выиграл первую распасовку начавшейся партии - дело отправили в архив.

Оставалось действовать клеветой. Тут у короля были на руках все козыри - сплетен о тамплиерах гуляло более чем достаточно. Что, по-вашему, го-

ворили об этих «десантниках» добропорядочные обыватели, видя, как те собирают дань с колоний и никому ничего отдавать не обязаны, не обязаны даже - с некоторых пор - рисковать своей кровью, охраняя Гроб Господен? Они, конечно, французы, но не вполне, - то, что сейчас называют «черноногие», а в те времена «poulains». Совершенно не исключено, что эти "черные" предаются восточному разврату, кто их знает, - уж не говорят ли между собой на языке арапов? По уставу они монахи, но для всех вокруг очевидны их развязные манеры, и вот уж сколько лет назад папа Иннокентий III принужден был бороться с ними буллой «О дерзновениях храмовников». Ими даден обет бедности, а сами роскошны, как наследственные аристократы, скаредны, как нарождающееся купеческое сословие, и неукротимы, как команда мушкетеров.

Немного нужно, чтобы от ворчания перейти к досадливым наговорам. Мужеложцы! Еретики! Идолопоклонники, обожающие бородатого болвана, взявшегося неведомо откуда. Уж только не из иконостаса богобоязненного христианина! Вероятно, они причастны секретам исмаилитов. Не исключено, что и водят шашни с Ассасинами Горного Старца. Филипп и его советники подхватили эти пересуды и довели дело до суда.

За спиной Филиппа маячат его любимые головорезы Мариньи и Ногаре. Мариньи - это тот, кто в конце концов наложит лапу на тамплиерское имущество и получит право управления им в интересах короля, вплоть до дня, когда оно должно перейти к госпитальерам, а до тех пор так и непонятно, в чью пользу набегают проценты. Ногаре, хранитель королевской печати (министр юстиции) - тот, кем разрабатывался сценарий знаменитого скандала в Ананьи, в 1303 г., когда Шарра Колонна надавал оплеух Бонифацию Восьмому и тот, не оправившись от перенесенного унижения, скончался в течение месяца.

В определенный момент появляется некто Эскье де Флуаран. Он был в тюрьме по неизвестному нам делу и дожидался высшей меры, как тут его подсадили в камеру к раскаявшемуся тамплиеру, также ожидавшему петли, и тамплиер поделился с ним леденящими душу признаниями. В обмен на отмену приговора и на некоторую сумму денег Флуаран пересказал все, что слышал. А слышал он примерно те же побаски, которые были на устах у всех. Только в данном случае они были оформлены в виде следственного протокола. Король известил об этих сенсационных разоблачениях папу. В папской должности в тот год мы видим Климента V, того самого, который перенес престол в Авиньон. Папа и верит и не верит, но он безусловно понимает, что тамплиеры - очень крепкий орешек. Наконец в 1307 году он вынужден санкционировать судебное расследование. Молэ об этом информируют. Он заявляет, что совершенно спокоен. Он продолжает участвовать, наряду с королем, в отправлении официальных церемоний - князь среди князей. Климент V тянет резину, королю кажется - что ради того, чтобы дать тамплиерам время свернуть дела. Но тамплиеры и не думают ничего сворачивать. Они продолжают пить и браниться в своих капитанствах, они ничего не подозревают - вот, кстати, первая из загадок этой истории.

14 сентября 1307 года король рассылает запечатанные депеши всем приказным своего королевства, требуя массовых арестов и конфискации имущества тамплиеров. От рассылки ордеров до ареста, который состоялся 13 октября, проходит еще месяц. Тамплиеры ничего не подозревают. Утром условленного дня они все оказываются в мешке и - еще одна неразгаданная загадка - сдаются, не оказав сопротивления. Заметьте кстати, что в непосредственно предшествовавшие дни офицеры короля, дабы ни одна крупица добра не ускользнула от экспроприаторов, провели полную инвентаризацию имущества тамплиеров, пользуясь совершенно неправдоподобными предлогами. А тамплиеры ничего, проходите, господа, описывайте что хотите, чувствуйте себя как дома.

Папа, когда услышал о массовых арестах, попытался что-нибудь сделать, но было уже слишком поздно. Королевские уполномоченные пустили в

дело огонь и железо, и многие тамплиеры, по применении пытки, начали каяться. Назад уж пути быть не могло, полагалось передавать их в распоряжение инквизиции, инквизиторы в то время к огню еще не прибегали, но эффективная методология у них была. Покаяние приняло массовый характер.

И вот перед нами третья по счету загадка. Конечно, верно, что пытка применена, и довольно серьезно, так что тридцать шесть подсудимых от нее умерли, но ведь это были несгибаемые люди! Привыкшие не тушеваться перед лютыми турками! Оказавшись перед прокурором, все тушуются. В Париже только четверо рыцарей из четырехсот отказались давать показания. Остальные признавались во всем, в том числе и Жак де Молэ.

- В чем во всем? - спросил Бельбо.

- Они признавались именно во всем том, что было сформулировано в ордере на арест. Очень мало чем отличаются одни показания от других, по крайней мере, во Франции и в Италии. В Англии же, напротив, где следователи работали ленивее, в протоколах фигурируют такие же канонические обвинения, но приписываются свидетелям, не входившим лично в орден, и в основном цитируются понаслышке. В общем, тамплиеры признаются только там, где кто-то очень сильно хочет этого, и только в том, в чем хотят, чтоб они признались.

- Нормальный инквизиционный процесс. Не первый и не последний, - заметил Бельбо.

- Однако поведение подсудимых несколько нестандартное. В главных пунктах обвинения утверждается, что рыцари во время ритуалов инициации троекратно отрекались от Христа, плевали на распятие, разоблачались и были целуемы в нижние части спины, то есть попросту говоря в зад, а также в пуп и в рот, «поносно человечьему достоинству», а также предавались взаимному смыканию, как свидетельствует текст. Это оргия. Потом им показывали бородатого идола, и они обожали его. Что же отвечают сами допрашиваемые на подобные обвинения? Жоффруа де Шарнэ, тот, которого сожгут на костре вместе с Молэ, говорит, что да, дело было, он отрекался от Христа, но лишь на словах, а не в сердце, и не помнит, плевал ли он на распятие, потому что в тот вечер все торопились. Относительно поцелуев в заднюю часть, это тоже было, и он слышал, как прецептор Оверньский говорил, что естественнее сочетаться брату с братом, нежели осквернять себя с женщиной, однако лично он никогда себя не допускал до плотского греха с остальными кавалерами. Итак, в общем все оказываются виноваты, но у всех получается, что все делалось как бы понарошку, что никто на самом деле не придавал ничему значения, если кто и натворил дел, то не я, я просто не мог уйти из вежливости. Жак де Молэ - не последняя спица в колеснице! - показывает, что, когда ему протянули распятие - плюнь-ка, - он плюнул мимо, на землю. Он соглашается, что инициационные церемонии обстояли примерно так, как говорит господин судья, однако - вот незадача! - сам бы он не мог описать их в подробностях, потому что лично он инициировал за всю жизнь очень мало кого. Еще один подсудимый допускает, что поцелуи действительно были, но он лично никого не целовал в зад, а только в рот, но другие его целовали и в зад, это правда. Некоторые признают даже больше, нежели требуется. Не только отрекались от Христа, но и утверждали, что Христос преступник, отказывали в девственности Деве Марии, а на распятие так даже мочились, и не только во время обряда инициации, а и в течение всей Страстной недели, и не веровали в таинства, и обожествляли не только Бафомета, а даже и дьявола в кошачьем обличье./.../

После этого наступает совсем другой этап - и здесь я вижу одну из первостепенных проблем, которые хочу разрешить в дипломе. Стоило папе, превеликими трудами, отбить своих храмовников у короля - как неожиданно он отсылает их обратно. Никак я не могу понять, что же там у них стряслось в

это время. Сначала Молэ берет назад все данные на допросах показания. Климент предоставляет ему возможность оправдаться и посылает трех кардиналов для контрольной проверки. 26 ноября 1309 года Молэ выступает с пламенной защитой ордена, отстаивает его чистоту, доходит даже до прямых угроз обвинителям. После этого к нему приближается посланный короля, Гийом де Плэзан, которого Молэ считает своим другом, и де Плэзан дает ему какой-то непонятный совет. 28 числа того же месяца Молэ подписывает робкое, очень путаное заявление, в котором говорится, что он бедный солдат, наукам не учен, и после того перечисляются достижения храмовников, к тому времени сильно устаревшие: благотворительная деятельность, военные заслуги - покорение Святой Земли - и далее в этом роде. Ко всем прочим напастям тут возникает еще и Ногаре со своими воспоминаниями о том, как орден поддерживал связи, и самые дружеские, с Салах-ад-Дином. Начинает пахнуть государственной изменой. Оправдания Молэ на этом допросе не выдерживают критики, чувствуется, что у человека за плечами два года тюрьмы, они хоть кого превратят в тряпку... Но наш Молэ походил на тряпку и на второй день после ареста!

Третий публичный допрос - в марте следующего года. Третий вариант поведения Жака де Молэ. На этот раз он отказывается отвечать перед кем бы то ни было, кроме самого папы.

Смена декораций, и мы присутствуем при эпилоге высокой трагедии. В апреле 1310 года сто пятьдесят тамплиеров требуют слова и выступают в защиту чести ордена. Они заявляют о пытках, которым были подвергнуты те, кто оговорил себя. Они опровергают все обвинения, доказывают их абсурдность. Но король и Ногаре тоже знают свою профессию. Тамплиеры берут назад показания? Тем лучше, это характеризует их как опасных рецидивистов, или же *упорствующих* - relapsi - самое страшное обвинение, по тем временам. Значит, они нагло отрицают то, что уже раз признали перед судом? Так вот, мы прощаем тех, кто покаялся и признал свои ошибки, но не тех, кто каяться не желает, опровергает свои признания и утверждает, кощунствуя, что ему каяться не в чем. Сто пятьдесят кощунов приговариваются к смерти. /.../

Легенда утверждает, что Великий Магистр перед смертью напророчествовал разруху своим гонителям. И действительно, папа, король и Ногаре умерли в течение следующего года. Что касается Мариньи, он после смерти короля подозревался в растратах. Его враги объявили его чернокнижником и подвели под петлю. Уже тогда многие люди начали представлять себе Молэ как мученика. Данте вторит общественному мнению, заклеймив тех, кто преследовал тамплиеров.

Тут начинается легенда - история кончается. Один исторический анекдот рассказывает, будто незнакомец в тот день, когда гильотинировали Людовика XVI, вскочил на помост и закричал: «Жак де Молэ, ты отомщен!»

Что-то в этом духе я рассказывал тогда вечером в «Пиладе», хотя меня злостно перебивали.

Бельбо вмешивался с фразочками типа: - Простите, по-моему, это уже что-то из Оруэлла или Кестлера... - или : - Знаем, довольно известная история о... как его там звали... во время культурной революции... - Диоталлеви однообразно философствовал, что история - учитель жизни. Бельбо в ответ: - Ты же каббалист. Каббалисты не верят в историю.- Тот отбивался: - Именно каббалист. Все повторяется по кругу, история учитель, потому что учит, что ее нет. Но великую важность имеют пермутации.

Слово за слово, уже давно была ночь, Диоталлеви шатался, сраженный своей минералкой. Мы стали прощаться. Тогда мы не понимали, что началась наша крупная игра - игра с огнем, который и жжет и губит.

15

Герард де Сивери сказал мне: «Сир, если вы рассудите, что от того нам не выйдет бесчестья, я пойду за подмогою к графу д'Анжу, которого вижу там на поле битвы». Я отвечал ему: «Мессир Герард, полагаю, вы совершите дело чести, пойдя за подмогой ради наших жизней и подвергнув вашу собственную жизнь неизвестности».

Жуанвиль, История Людовика Святого
Joinville, Histoire de Saint Louis, 46, 226

После наших тамплиерских бдений мы почти не виделись с Бельбо, только раскланивались в баре - я занимался дипломом.

Потом в один прекрасный день была объявлена антифашистская демонстрация. Их обычно объявляли университетские студенты, а участвовала вся прогрессивная интеллигенция в широком смысле. Полицейских согнали много, но вид у них был мирный. Типичная раскладка для тех лет: недозволенное шествие/демонстрация, но до тех пор, пока осложнений нет, полиция не вмешивается, а следит, чтобы левые не нарушали границ своей зоны обитания, ибо по негласной конвенции центр Милана был поделен. С нашей стороны был заповедник левых, за площадью Аугусто и во всем районе Сан-Бабила окопались фашисты. /.../

Я примкнул к компании журналистов, издательских людей и художников, прогуливавшихся по площади Санто-Стефано: бар «Пилад» в полном составе поддерживал демократическое мероприятие. Бельбо был с дамой, с ней же я его часто видел в баре, потом она куда-то растворилась, куда - я узнал впоследствии, прочитав файл о докторе Вагнере.

- И вы тут? - спросил я.

- Что вы хотите. Все для спасения бессмертной души. Crede firmiter et pecca fortiter[1]. Вам не напоминает это тамплиеров перед налетом на Аскалон?/.../

Тут произошло непредвиденное. Демонстрация, топтавшаяся на месте, вдруг пришла в движение, и находившиеся в передних рядах боевики, с тряпками на лицах и цепями в руках, подались в сторону полицейского заслона, к площади Сан-Бабила. Послышались агрессивные выкрики. Полицейские расступились, из-за их спин высунулись водометы. Из толпы полетели первые гайки, булыжники - в ответ полицейская цепь, защищенная шлемами и щитами, двинулась вперед и активно заработала дубинками. Удары наносились нещадные, толпа пришла в волнение, в этот момент сбоку, от площади Лагетто, послышался какой-то выстрел. Это могла быть проколовшаяся шина, могла быть петарда, а могла быть и самая настоящая предупреждающая стрельба из группы ребят вроде тех, кто через несколько лет перешел на регулярное употребление Питона-38[2].

Это был сигнал к началу паники. Полиция полезла за пистолетами, а наша толпа разделилась на две - те, кто собирался помахать кулаками, и те, кто считал свою миссию оконченной. Я опомнился на бегу - ноги несли меня по виа Ларга, в бешеном страхе, что какой-либо контузящий предмет отправится мне вслед и, чего доброго, настигнет. Как ни странно, на одной скорости со мной перемещались и Бельбо, и его дама. Они неслись, но паники на лицах я не увидел.

На углу улицы Растрелли, Бельбо придержал меня за локоть. - Поворачиваем, - сказал он. Я был удивлен. Широкая виа Ларга казалась спасительнее, там были люди, а сплетение улочек между виа Пекорари и архиепископским дворцом таило массу опасностей и в частности - налететь на полицию. Но Бельбо дал мне знак к молчанию, повернул за угол, снова за угол, постепенно снизил скорость, и мы вынырнули уже шагом - а не бегом - на задах Собора, где текла нормальная жизнь и куда не доносились отзвуки сражения, бушевавшего в двухстах метрах отсюда. Все в той же тишине мы обогнули

[1] Верь крепче и греши сильнее (*лат.*).
[2] Пистолет, излюбленный политическими террористами.

Миланский собор и вышли на площадь перед фасадом у входа в пассаж. Бельбо купил мешочек овса и с серафически-благостным видом принялся кормить голубей. Мы ничем не отличались от прочих участников субботнего променада - я и Бельбо в пиджаках и галстуках, наша дама в униформе миланской синьоры: серый джемпер и нитка бус, жемчужных или под жемчуг. Бельбо представил нас друг другу: - Это Сандра. Знакомьтесь.

- Видите ли, Казобон, - начал после этого Бельбо. - Удирать нельзя по прямой линии. Взявши пример с Турина, с Савойцев, Наполеон распотрошил Париж и превратил его в сетку бульваров, что превозносится всеми как образец урбанистики. Однако прямые улицы прежде всего нужны для разгона толпы. При малейшей возможности и боковые улицы, как на Елисейских Полях, лучше строить широкими и прямыми. Стоит недосмотреть - например, в Латинском квартале, - вот вам, пожалуйста, парижский май шестьдесят восьмого. Никакая сила не способна удержать под контролем переулки. Полицейские сами не хотят туда соваться. Если вы встречаетесь с ними один на один - по молчаливому соглашению оба улепетываете в разные стороны. Собираясь на публичное сборище в незнакомой местности, имеет смысл за день до того провести рекогносцировочку.

- Вы проходили революционную подготовку в Боливии?

- Технику выживания изучают в подростковом возрасте. Кроме случаев, когда взрослый человек завербовывается в спецвойска. Когда шла партизанская война, я находился в ***,- он произнес название городка между Монферрато и областью Ланги. - Мы эвакуировались из города в сорок третьем, гениальный расчет, чтобы накликать на свою голову и облавы, и эсэсовцев, и перестрелки вокруг дома. Помню один вечер, меня отправили за молоком на ферму, ферма была на горе, и вдруг свистит над головой, между вершинами деревьев: пиу, пиу-у. И тут я понимаю, что это с дальней горы, к которой я как раз направляюсь, жарят из пулемета по железной дороге, которая проходит в долине за моей спиной. Инстинкт подсказывает: бежать или броситься на землю. Я допускаю ошибку, бегу вниз, и через некоторое время слышу в поле с обеих сторон чак-чак-чак. Это были не попавшие в меня пули. Тут-то я понял, что если стреляют с горы, с высокого положения, удирать надо навстречу стреляющим: чем выше взбегаешь, тем круче траектория пуль у тебя над головой. Моя бабушка во время одного боя между фашистами и партизанами, перестрелка велась в кукурузе, оказалась на тропинке в этом кукурузном поле и поступила совершенно правильно, улегшись на землю на самой демаркационной линии боя - самое безопасное место. Так она пролежала с десяток минут, вжавшись носом в землю, уповая, что ни одна из сторон не станет слишком сильно побеждать. Когда подобные примеры изучаются с малолетства, формируются безусловные рефлексы.

- Значит, вы у нас герой Сопротивления.

- Созерцатель Сопротивления, - угрюмо поправил он. - В сорок третьем мне было одиннадцать, когда кончилась война - тринадцать лет. Слишком мало, чтобы участвовать, достаточно, чтобы наблюдать, запоминая почти фотографически. Или чтобы удирать - как сегодня.

- Сейчас вы могли бы рассказывать запомненное, вместо того чтоб исправлять чужие рассказы.

- Все уже рассказано, Казобон. Если бы мне тогда было двадцать, в пятидесятые годы я предался бы «литературе воспоминаний». Бог меня спас, и когда я мог начинать писать, мне уже не оставалось другой дороги, кроме исправления чужих писаний. С другой стороны, я на самом деле мог схватить пулю в том пейзаже военных лет.

- От которых? - выпалил я и спохватился. - Простите, глупая шутка.

- Ничего не глупая. Сейчас я, конечно, знаю, от которых. Но это сейчас. А тогда, если честно? Можно промучиться всю жизнь из-за того, что не выбрал пусть даже ошибку, в ней хоть можно раскаиваться, - нет, из-за того, что не выбрал ничего, не имел возможности доказать самому себе, что ошибку бы не выбрал ... Я был потенциальным предателем. Какое право могу я иметь говорить об истине и писать о ней для других?

- Одну минуточку, - перебил я. - Потенциально вы могли стать Джеком

Потрошителем. Этого вы не сделали. Невроз и больше ничего. Или ваши самообвинения основаны на конкретных уликах?

- Что может выступать уликой в подобном вопросе? Кстати о неврозах. У меня сегодня ужин с доктором Вагнером. Пойду на стоянку такси на площади Ла Скала. Идешь, Сандра?

- Доктор Вагнер? - повторил я, прощаясь с ними. - Собственной персоной?

- Да, он в Милане на несколько дней, и я надеюсь получить у него что-нибудь неизданное для сборника статей.

Значит, уже в те времена Бельбо виделся с доктором Вагнером. Интересно - в тот ли вечер этот Вагнер (ударение на последнем слоге) провел свой бесплатный сеанс психоанализа, о котором не догадались ни один, ни другой. Тогда или в другой вечер - но он его провел.

В тот день Бельбо впервые заговорил о своем детстве в ***. Забавно, что эта сага о разных бегствах - почти что венчанных славой, ибо славно воспоминаемое, - встрепенулась в памяти в тот момент, когда он, вместе со мною, однако впереди меня и опять-таки бесславно, совершенно бесславно, снова предавался бегству.

16

После чего брат Стефан из Провэна, приведенный перед судьями, на вопрос, намерен ли он отстаивать свой орден, ответил, что не намерен, а магистры, если они намерены, пусть отстаивают, он же до ареста пробыл в ордене только девять месяцев.

Протокол от 27.11.1309

Повести о других бегствах Бельбо, постыдных бегствах детства я нашел в недрах Абулафии. Позавчера вечером, сидя в перископе, я вспоминал эти рассказы, в черных потемках, наполненных цепочками шуршаний, поскрипываний, попискиваний, - а я ушептывал свой трепет: поспокойнее, это только трепотня, это музеи и библиотеки и старинные постройки так забалтываются по ночам, это старые шифоньеры покряхтывают, это рамы расседаются от предвечерней волглой стыни и облупливается штукатурка, по миллиметру за век - и позевывает кладка. Ты-то не побежишь, уговаривал я себя, ведь ты пришел, чтоб понять, что случилось с вечно бежавшим, решившим на этот раз не бежать - в безумии безрассудной (или безнадежной) отваги, - а шагнуть навстречу реальности - сколько раз он по трусости откладывал эту встречу!

/.../

После памятной ретирады в день демонстрации, я не виделся с Бельбо около года. Я влюбился в Ампаро и не бывал более у Пилада, вернее, те несколько раз, когда я заходил с Ампаро к Пиладу, Бельбо там не было. Ампаро туда ходить не любила. Ее политический и моральный кодекс, несокрушимый как ее краса и почти что как ее гордыня, утверждал, что «Пилад» есть оплот демократического дендизма, а демократический дендизм в ее глазах выступал одной из скрытых, значит, и самых коварных, личин капиталистической идеологии. Весь тот год был дико прогрессивный, очень серьезный, страшно милый. Я даже находил время что-то делать для диплома.

Однажды я столкнулся нос к носу с Бельбо на набережной канала возле «Гарамона». - Вот это да, - весело начал он. - Любезнейший из тамплиеров! Мне как раз подарили один дистиллят незапамятной выдержки. И еще мне даны природой: картонные стаканчики, свободный вечер.

- Прекрасная зевгма, - оценил я.

- Прекрасный бурбон, залитый в бутылку, полагаю, еще до «бостонского чаепития»[1].

Не успели мы поднести к устам нектар, как Гудрун оповестила нас, что дожидается посетитель. Бельбо хлопнул себя по лбу. Он совсем позабыл об этом типе, но - заметил он с улыбкой - это как раз ваш случай. Господин

---

[1] 1773 г., эпизод борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость.

был по поводу книги - вы не поверите - о тамплиерах. - Я его ликвидирую в две минуты, надеюсь на вашу научную поддержку.

Точно подмечено - это был именно мой случай. Я и заметить не успел, как оказался в ловушке.

17

Таким образом исчезли члены ордена Храма вместе с их секретом - под покровом тайны жила их прекрасная надежда на некий земной град. Однако Абстракция, к которой были прикованы их усилия, продолжала в недостижимых краях свою недоступную жизнь... И не раз, в течение разных времен, она питала вдохновением те души, которые были способны восприять его.

Виктор Эмиль Мишле, *Тайна рыцарства*
Victor Emile Michelet, *Le secret de la Chevalerie*, 1930, 2

Человек с лицом как из сороковых годов. На снимках в старых газетах, найденных мною в подполе, у всех было это лицо, видимо, из-за некалорийного тогдашнего питания. Щеки западали, обрисовывались скулы, глаза блестели лихорадочно и ярко - такие лица в кадрах расстрелов мы видим и у жертв и у палачей. В те времена люди с одинаковыми лицами расстреливали друг друга.

Посетитель был одет так: темный костюм, белая рубашка, серый галстук; он в штатском, инстинктивно подумал я. Волосы подозрительной черноты, напомаженные, хотя умеренно, на висках зализаны, на макушке лысина. Лицо покрыто загаром и изборождено геройскими складками самого колониального вида. Бледный шрам тянется через левую щеку, от угла рта до уха, черный длинный ус в духе Адольфа Менжу частично прикрывает его, и видно только, что губа когда-то была взрезана и зашита. Дуэль студиозусов - мензур - или касательная пуля?

- Полковник Арденти, к вашим услугам. - Бельбо досталось рукопожатие, а мне легкий кивок, в соответствии с рангом, как младшему редактору.

- Полковник действительной службы? - спросил Бельбо. Арденти оскалил великолепную вставную челюсть.- На пенсии или, если хотите, в запасе. По виду не скажешь, но я отнюдь не молод.

- По виду не скажешь, - отреагировал Бельбо.

- Вот. А за спиной четыре войны.

- Вы начали при Наполеоне?

- Я начал лейтенантом в Эфиопии - добровольцем. Затем капитаном - добровольцем - в Испании. Получил майора в новом африканском походе. В сорок третьем... Скажем так: встал на сторону проигравших и сам проиграл все, кроме чести. Нашел в себе мужество начать с нуля. Иностранный легион. Специальное подразделение. В сорок шестом году - сержант, в пятьдесят восьмом - полковник под началом у Массю[1]. Как видите, я часто выбирал сторону проигравших. Когда пришли к власти левые - де Голль, - я вышел в отставку. Жил во Франции. Благодаря еще алжирским контактам, я открыл фирму импорта-экспорта в Марселе. Тот редкий случай, когда мой выбор оказался к моей выгоде... Сейчас я живу на ренту и посвящаю все время своему хобби - выражаясь сегодняшним языком. В последние годы я занес на бумагу результаты работы. Вот они,- и вытащил объемистую папку, по-моему, красного цвета.

- Короче говоря, - подвел итог Бельбо, - исследование о тамплиерах?

- Так точно, - кивнул полковник. - Моя страсть с юношеских лет. Мы одной крови - рыцари удачи, искавшие счастья за Средиземным морем.

- Господин Казобон занимается тамплиерами, прекрасно знает материал. Так что можете рассказывать.

- Настоящие герои. Их цель была - установить человеческий порядок у дикарей обоих Триполи...

- Их противники были в общем не такие уж дикари, - мягко возразил я.

---

[1] Жак Массю - французский генерал, командир французских парашютистов во время войны в Алжире (1954-1962).

- Вас когда-нибудь держали в плену магрибские мятежники? - последовал саркастический вопрос.

- Пока нет, - парировал я.

Он пронзил меня взором, и я возблагодарил бога, что не служил в его роте.

- Я хотел бы сразу поставить точки над «и», - отчеканил он, обнимая папку. - Я беру на себя часть расходов по изданию и не собираюсь приносить вам убытки. Если вам нужны научные отзывы, я принесу. Только что, два часа назад, я встречался с крупнейшим специалистом по вопросу, он специально прибыл из Парижа. Он даст предисловие. - Встретившись с вопросительным взглядом Бельбо, он полуприкрыл глаза, давая понять, что имя эксперта будет названо в свой срок.

- Доктор Бельбо! - торжественно продолжил он. - Эти страницы содержат настоящую интригу. Получше американских детективов. Я обнаружил такие вещи... Важные вещи, но это только начало. И теперь я решился обнародовать все, что знаю, в надежде, что те, кто способен дополнить и разрешить головоломку, - откликнутся. Я решил закинуть приманку. И не могу терять время. Был человек, знавший то же, что и я. Он погиб - скорее всего, его убили, чтобы закрыть ему рот. Я обнародую то, что знаю, двухтысячным тиражом, и после этого убивать меня будет непродуктивно. - И добавил после паузы: - Вы представляете себе обстоятельства ареста тамплиеров?

- Да, Казобон рассказывал нам, что они были захвачены врасплох и не сопротивлялись.

Полковник тонко улыбнулся. - Вот-вот. Хотя довольно-таки странно, что люди, превосходившие могуществом французского короля, дали так легко себя подловить и не знали в доскональности, что какие-то мерзавцы наушничают о них королю, а король все передает папе... Как бы не так. Мы имеем дело с планом. С очень хитрым планом. Предположите, что храмовники ставили себе целью завоевание мира и что они отыскали источник неисчерпаемой власти, некий секрет, стоивший того, чтобы принести ему в жертву весь квартал тамплиеров в Париже, и все их владения во французском королевстве и в Испании, Португалии, в Англии и в Италии, и урочища в Святой Земле, и колоссальные денежные суммы. Король Филипп, безусловно, почуял опасность, иначе необъяснимо, для чего он уничтожил красу и гордость своих вооруженных сил. И тамплиеры, безусловно, узнали о том, что Филипп все знает, и поняли, что Филипп постарается их уничтожить, в связи с чем они решили, что открытое сопротивление бесперспективно, а для выполнения программы им требовалось время: то ли источник могущества надо было еще дополнительно расследовать, то ли задействовать его можно было только поэтапно... И тайный руководящий центр ордена тамплиеров, существование которого в наше время общеизвестно...

- Общеизвестно?

- Конечно. Как можно предположить, чтобы такая крепкая организация просуществовала столько веков без эффективного тайного руководства...

- Железный аргумент, - пропел Бельбо, косясь на меня.

- И железные выводы, - продолжал свою речь полковник. - Великий Магистр, разумеется, входит в совет тайных руководителей ордена, но он нужен им, в основном, в качестве крыши. Готье Вальтер, в труде «Рыцарство и тайны истории», пишет, что годом окончательной реализации Программы был намечен год двухтысячный! До тех пор храмовники решают перейти на подпольное положение, а для этого лучше всего, если орден в глазах всего мира перестанет существовать. Они принесли себя в жертву идее. Все, включая Великого Магистра. Конечно, многие приняли смерть. Скорее всего, они были назначены по жребию. Другие получили иные приказы - раствориться, прибегнуть к мимикрии. Что сталось с многочисленными рядовыми членами, жившими в миру, со «стрельцами», со «стекольщиками»? Они составили собой человеческий материал будущего Братства вольных каменщиков - об этом хорошо известно. В Англии же король якобы сумел противостоять давлению папы и спокойно отправил тамплиеров на пенсию. А те якобы спокойно это восприняли и удалились на заставы доживать свой век. Вам кажется это

логичным? Мне - нет. В Испании орден укрывается под новым именем - Монтесов, ордена Монтесской богоматери. Им ничего не стоило надавить на испанского короля, у них в сейфах денег было столько, что королю гарантировалось банкротство за неделю. Король Португалии тоже торговался недолго. Договоримся так, любезнейшие компаньоны, зовитесь не рыцарями Храма, а рыцарями Креста, и мне от вас ничего не надо. Посмотрим теперь в Германии. Один-два показательных процесса, чисто формально провозглашается запрет на тамплиеров, но тут же на месте есть превосходное прикрытие - тевтонский орден, государство в государстве, точнее, государство государств, по типу нынешней советской империи и не меньшего размера, которое досуществует до конца пятнадцатого века, покуда не сшибется с монголами - но тут уже начало новой повести, современной повести, монголы до сих пор с мечом у наших границ... но не будем отклоняться...

- Не будем, - отозвался Бельбо. - Вперед, вперед!

- Вперед. Как опять же известно, за два дня до того, как Филипп скомандует брать всех, и за месяц до того, как всех действительно возьмут, из ограды Храма отправляется некий воз сена, влекомый волами в неизвестном направлении. Об этом читаем, в частности, у Нострадамуса в одной из центурий... - он полистал папку. - Вот:

Souz la pasture d'animaux ruminant
par eux conduits au ventre herbipolique
soldats cachés, les armes bruit menant...[1]

- Телега с сеном - легенда, - сказал я. - А Нострадамус как исторический документ...

- Многие люди, в том числе и постарше вас, господин Казобон, с вниманием относились к пророчествам Нострадамуса. С другой стороны, я и не пытаюсь выдать свидетельство о возе за чистое золото. Этот воз - символ. Это символ того неопровержимого факта, что в преддверии близкого ареста Жак де Молэ передает руководство и все секретные инструкции своему племяннику графу де Божо, и тот становится подпольным магистром подпольного, отныне, ордена...

- Имеются исторические свидетельства?

- История, молодой человек, - ответил полковник Арденти, и глаза его наполнились печалью, - пишется победителями. С точки зрения официальной истории люди, подобные мне, не существуют. Но они существовали, и под сенным камуфляжем скрывались лица, сумевшие восстановить свою организацию в глубокой тайне, в спокойном месте. Что ж вы не спрашиваете - где?

А ведь ему удалось нас зацепить. - Где? - вскрикнули мы хором.

- Ладно, скажу вам. Где зарождается тамплиерство? Откуда происходит Гуго де Пейнс? Из Шампани, из-под Труа. И там же правит известный Гуго Шампанский, который через несколько лет после основания ордена, в 1125 году, присоединится к ним в Иерусалиме. Потом, по возвращении, он убедит аббата Сито приступить к обработке и переводам некоторых еврейских сочинений. Вообразите только! Бургундских ребе зовут в Сито к белым бенедиктинцам, и кто же зовет? Святой Бернард, чтобы толковать какие-то тексты, найденные Гуго в Палестине. Гуго же предоставляет в распоряжение братьи Святого Бернарда целый лес в Бар-сюр-Об, и там будет построено аббатство Клерво. Что делал Святой Бернард?

- Поддерживал тамплиеров, - сказал я.

- А почему он это делал? Ведь при его помощи тамплиеры стали сильнее бенедиктинцев! Бенедиктинцам он запретил получать в дар земли и постройки, и эти земли и постройки отходили к тамплиерам! Вы представляете себе Восточный лес возле Труа? Там невообразимо что делается, капитанст-ва, заставы! А тем временем, вы знаете, что рыцари в Палестине перестают сражаться? Обосновавшись в Храме, они вместо того, чтоб убивать мусульман, с ними подружились и вышли напрямую на тех мусульманских «посвященных». В общем так: Святой Бернард при экономической поддержке шам-

[1] Под брашном, пожираемым скотом
И им влекомы, в чреве полнотравном
Таятся вои звучны копием...

панских графов учредил орден, непосредственно завязанный на тайные арабские и еврейские секты Святой Земли. Я побывал там, куда не совался ни один ученый. Там, где тамплиеры правили свой бал в течение двух столетий, чувствуя себя как рыба в воде...

- Так говорил председатель Мао: революционер должен чувствовать себя в народе как рыба в воде, - вставил я.

- Правильно говорил ваш председатель. Но тамплиеры работали на настоящую великую революцию, не то что ваши коммунисты с косичками.

- Они теперь без косичек.

- Тем хуже для них. А храмовники, повторяю, могли искать себе укрытие только в Шампани. Но где - в Пейнсе, в Труа, в Восточном лесу? Нет, нет и опять нет. Пейнс - деревушка, один несчастный замок, где уж там прятаться. Труа - большой город, но в нем слишком много людей короля. Лес - по определению заповедник тамплиеров, там их стали бы искать в первую очередь, как потом и случилось. Нет, сказал я себе: Провэн! Если было место для них на этой земле, это место - Провэн!

18

Ежели бы мы были способны провидеть насквозь и узреть под землею всю ее глубь от остия полунощного до полуденного или же от наших ног и до самых антиподов, с ужасом видели бы пронизанные недра вдоль и поперек расщелинами и кавернами.

Т. Бернет, *Священная теория земли*
T. Burnet, *Telluris Theoria Sacra*, Amsterdam, Wolters, 1694, p.38

- Почему Провэн?

- Вы бывали в Провэне? Волшебные места. Даже и сегодня еще чувствуется. Поезжайте. Да, волшебные места, до сих пор благоухают тайною. Между прочим, в одиннадцатом столетии это резиденция шампанских графов, и долгое время затем Провэн остается свободной зоной, где центральная власть практически не имеет силы. Тамплиеры там свои люди, даже сейчас имеется улица, названная их именем. Церкви, дворцы, крепость, откуда просматривается вся равнина. Большие, большие деньги, множество купцов, устраиваются ярмарки, в этой суете легко запутать следы. Но самое главное в городе - известные с доисторических времен катакомбы. Сеть подземных ходов, пронизывающих собою всю гору, многие из них открыты для посещения и в настоящее время./.../

Глаза полковника сверкали. - Сейчас мы приближаемся к самому главному пункту. В центре Провэна имеется большое готическое здание, называемое Ла Гранж-о-Дим, что означает Десятинные закрома. Вы помните, что одно из главных преимуществ положения тамплиеров - право собирать десятинную пошлину, не делясь с государством. Под закромами, как и под всеми остальными зданиями города, множество подземных галерей, в настоящее время совершенно заброшенных. Так вот, в архиве Провэна мне попалась подшивка городской газеты за 1894 год. И представьте себе, что в одном из номеров была заметка о том, как два драгуна, Камиль Лафорж, уроженец Тура, и Эдуар Ингольф, уроженец Петербурга (да, господа, Петербурга!) совершали экскурсию с гидом в подземельях Ла Гранж и, спустившись в один из подземных залов, на второй ярус, заметили, что шаги по полу звучат гулко. Согласно этой хронике, отважные драгуны тут же, обвязавшись веревками и зажав в зубах лампы, продираясь через непроходимые лазы, проникли в большое боковое подземелье с камином и колодцем в самой середине. Спустив веревку с камнем в колодец, они намерили одиннадцать метров. Через неделю они возвратились с более прочными канатами и в то время как гид со вторым драгуном страховали, Ингольф спустился в колодец и обнаружил еще одну большую палату каменной кладки, десять метров на десять, высотою пять. По очереди спускались и те двое добровольцев, и исследовали эту палату на третьем уровне от поверхности почвы, на глубине тридцать метров. Что видели и что делали эти трое на дне колодца, осталось неизвестно. Репортер добавляет, что когда он сам посетил это место, ему не хватило смелости спуститься в колодец. История эта меня взволновала, и я ощутил горячее

желание посетить то место. Однако за годы, прошедшие с конца прошлого века, многие подземные галереи рухнули, и если этот колодец когда-либо и существовал, теперь никто не знает, где его искать. Мне же запала в голову идея, что драгуны могли что-нибудь обнаружить там, в подземелье. Я незадолго до этого читал книгу о тайне Ренн-ле-Шато, связанной, в частности, с тамплиерами. Один кюре, нищий и без всяких перспектив, затеял ремонт в своей церкви - приходская церковь в деревушке населением двести душ, - он поднимает плиту и находит сундучок, полный древнейших рукописей. Так говорит сам кюре. Но были ли там только рукописи? Неизвестно. Мы знаем только, что в последующие несколько лет этот человек становится непомерно богат, швыряется деньгами, ведет распущенную жизнь, попадает под церковный трибунал... Что, если какой-нибудь из драгунов, или оба, нашли нечто подобное? Ингольф спускался первым. Предположим, он наткнулся на какой-либо ценный предмет небольших габаритов. Он сует его под мундир и выходит, тем, другим, ничего не сообщает... В общем, я человек упрямый, если бы не был так упрям, жизнь моя повернулась бы по-другому. - При этих словах он потрогал свой шрам. Потом провел рукой от виска к затылку, чтоб убедиться, что все волосы прилегают куда надо.

- Я направился в Париж, на центральный телефонный узел, и просмотрел справочники всей Франции в поисках имени Ингольф. Нашел только одного абонента, в городе Оксер, и написал туда как бы от имени археологического общества. Через две недели я получил ответ. Мне писала старая акушерка, дочь того самого Ингольфа. Она очень заволновалась, узнав, что я интересуюсь ее родителем, и более того, умоляла меня ради Бога поделиться с ней всем, что мне известно. Как так? Я поспешил в Оксер. Мадемуазель Ингольф живет в маленьком домике, опутанном плющом, с деревянной калиточкой, запираемой на гвоздь. Седая, прибранная, подтянутая старушка, довольно ограниченная. Она сразу стала расспрашивать, что мне известно о ее отце, на что я ответил, что знаю только об одной его подземной экспедиции в Провэне и что работаю над историческим очерком о тех местах. Она вне себя от изумления: понятия не имела, что отец когда-либо бывал в Провэне. В драгунах он служил, это правда, но оставил свою службу в 1895 году, то есть до ее рождения. Купил этот домик в Оксере и в 1898 году женился на местной девушке с небольшим приданым. Мать умерла в 1915 году, когда нашей мадемуазели было только пять лет. Что же касается отца, то его не стало в 1935-м. Не стало в буквальном смысле. Он уехал в Париж, как уезжал регулярно не менее чем дважды каждый год, и с того отъезда не подавал о себе известий. Местное жандармское управление наводило справки в Париже. Он испарился. Выдали свидетельство о предполагаемой кончине. Так что наша мадемуазель осталась одна и пошла работать, потому что отец оставил ей не так уж много. Разумеется, она не нашла себе мужа, и из некоторых вздохов я понял, что имел место роман, единственный за всю жизнь, и он кончился плохо. "И всегда со мною эта печаль, господин Арденти, эта постоянная грусть - ничего не знать о бедном папе, не знать, где находится его могила, и есть ли она вообще на этом свете". Она охотно рассказала об отце: заботливый, спокойный, методичный и очень ученый. Целые дни он проводил в своем кабинете, наверху в мансарде, читал и писал что-то. Кроме этого ковырялся в саду, время от времени разговаривал с местным аптекарем. Аптекарь тоже сейчас умер. Иногда Ингольф, как уже было сказано, наведывался по делам в Париж. Каждый раз покупал в Париже книги. Книги до сих пор в его кабинете, можно посмотреть. Мы поднялись. Комнатка в чистоте, в порядке, мадемуазель еженедельно протирает там пыль. Маме она носит цветы на могилу, для папы может делать только это. Все в комнате точно так, как было при ее папе, жаль, что она мало училась, а то бы могла читать его книги, но все книги напечатаны на старофранцузском, на латыни, по-немецки и даже на русском языке; дело в том, что папа родился и провел свое детство в России, его отец работал во французском посольстве. Библиотека насчитывала около сотни томов, большая часть которых - к моему восторгу - относилась к следствию над тамплиерами. /.../ Много работ о тайнописи - серьезное собрание по криптологии - несколько томов по палеографии и дипломатии. Была там и старая

приходо-расходная книга, и, листая ее, я буквально подскочил, наткнувшись на запись о продаже ларца. Без подробностей, без имени покупателя. Стоимость сделки тоже не была указана, но имелся год - 1895-й, а далее подробные, точные записи о том, как этот аккуратный человек распорядился своим небольшим капиталом. Несколько записей о приобретении книг у парижских букинистов. Так все более прояснялась предо мной механика событий. Ингольф обнаруживает в крипте золотую шкатулку с драгоценными инкрустациями, недолго раздумывая укладывает ее за пазуху, выбирается на свет божий и товарищам ни гу гу. Дома он открывает ларец и находит в нем пергамент, это очевидно. Он едет в Париж, обращается к антиквару, к ростовщику, к коллекционеру - в общем, продает ларец, и хотя не за полную цену, тем не менее он становится вполне состоятельным человеком. Но этого ему недостаточно. Он оставляет службу, переселяется на жительство в деревню и начинает покупать и читать книги, с тем чтобы разгадать пергамент. Наверное, в его душе издавна вызревала эта страсть - охотника за сокровищами, - иначе бы он не погружался на третий ярус подземельных катакомб в Провэне, и он достаточно подготовлен, чтобы попытаться открыть секрет найденного им клада. Он работает тихо, одержимо, скажем даже маниакально. Проходит более тридцати лет. Делился ли он с кем-либо тайной своей жизни? Неизвестно. Однако в 1935 году, скорее всего, он знал уже достаточно много или же, наоборот, оказался в таком тупике, что принял решение обратиться к некоему лицу, или чтобы поделиться тем, что знает, или чтобы спросить о том, чего не знал. Однако то, о чем он дознался, таинственно и ужасно - до такой степени, что человек, к которому он обращается, уничтожает его... В любом случае, вернемся к мансарде. Прежде всего, я должен был понять, остались ли какие-либо следы работы Ингольфа. Я сказал той милой женщине, что надеюсь, просмотрев книги ее отца, найти какие-то следы открытия, сделанного им в Провэне, и тогда в моем исследовании его имени будет отведено заслуженное место. Она воодушевилась, бедный папа должен быть отмечен по достоинству, и мне было сказано, что я могу оставаться до вечера и возвратиться на следующий день, если, конечно, понадобится. Она принесла мне кофе, зажгла лампу и вернулась в свой сад, предоставив мне свободу действий. Комната имела стены белые и гладкие, в ней не имелось шкафов, сундуков, ларей, где я мог бы порыться, но все, что в ней было, я проверил, осмотрел сверху, снизу и внутри немногочисленную мебель, стоявшую там, а также платяной шкаф, почти пустой, в котором было всего несколько костюмов, за подкладкой которых - ничего кроме нафталина. Ни за, ни под рамками трех-четырех эстампов, висевших на стенах, тоже ничего не скрывалось. Не буду утомлять вас подробностями, заверю только, что работал я на совесть, например мягкая мебель должна быть не только ощупана, но и исследована длинными иглами, чтобы удостовериться, что в набивке не присутствуют посторонние тела...

Я подумал, что полковник явно обучался не только технике рукопашного боя.

- Оставалось обработать книги, переписать все их названия, проверить, нет ли в них маргиналий, подчеркиваний, каких-либо помет... И вот в одну прекрасную минуту я решительно тряхнул старый большой том в тяжелом переплете, том упал, и из него выскочил листок с записями. По сорту бумаги - это был листок из тетради - и по чернилам можно было датировать документ как не слишком старый. Он, скорее всего, относился к последним годам жизни Ингольфа. Краем глаза я увидел запись «Провэн 1894» и был потрясен. Вы можете вообразить, какие чувства овладели мною. Я понял, что оригинал - пергамент - Ингольф увез в Париж, а дома он оставил копию. Я не колебался ни минуты. Мадемуазель Ингольф протирала эти книги годами, но она никогда не видела листка - иначе бы о нем упомянула. Прекрасно, она его никогда и не увидит. Мир делится на тех, кто выигрывает, и тех, кто проигрывает. Я мою долю проигрыша уже получил сполна. Известно, как надо обходиться с победой - хватать ее за чуб. Я отправил листок в карман. Я откланялся милейшей старой даме, сказавши ей, что ничего достойного не обнаружил, но что ее отца я упомяну, если соберусь написать что-нибудь, и она меня благословила на прощанье. Господа, человек действия, человек, пожираемый страс-

тью, которая пылает в его груди, не испытывает слишком больших моральных затруднений пред лицом серого и жалкого существа, обиженного природой.

- К чему оправдываться, - сказал Бельбо. - Взяли так взяли. Рассказывайте же.

- Я покажу вам этот текст. С вашего позволения, ксерокопию. Не от недоверия. Чтобы не трепать оригинал.

- То, что переписал Ингольф, не оригинал, - сказал я, - а копия с предполагаемого оригинала.

- Господин Казобон, когда оригиналы все уничтожены, оригиналом становится последняя копия.

- Но Ингольф мог скопировать неправильно.

- Вы прекрасно знаете, что не мог. А я знаю, что записи Ингольфа передают истину, потому что в противном случае не вижу, что тогда должно считаться истиной. Следовательно, копия, сделанная Ингольфом, - оригинал. Есть у нас согласие по этому поводу или будем заниматься интеллигентским крохоборством?

- Только не крохоборство! - отвечал Бельбо. - Посмотрим вашу оригинальную копию.

19

После смерти Божо, Орден ни на минуту не переставал существовать, и нам известна, с момента смерти Омона, непрерывная последовательность Великих Магистров Ордена с тех пор и до наших дней и, даже если имя и местонахождение истинного Великого Магистра, так же как имена и местонахождение истинных Старшин, управляющих Орденом и заведующих его возвышенной деятельностью, остаются в секрете, открытом только для немногочисленных посвященных, содержащемся в глубочайшей тайне, это из-за того, что время Ордена еще не настало и час еще не пробил...

Рукопись 1760 года, цит. в:
Г. А. Шиффман, Образование рыцарской степени в франкмасонстве в середине XVIII столетия
G.A.Schiffmann, Die Entstehung der Rittergrade in der Freimauerei um die Mitte des XVIII Jahrhunderts, Lipsia, Zechel, 1882, S. 178-190

Это была первая наша встреча с Планом. В тот день я мог бы оказаться в совершенно другом месте. Если бы в тот день я не встретился на улице с Бельбо, сейчас бы я мог... Продавать на рынке в Самарканде кунжутное семя. Готовить в печать издания произведений классической литературы для слепых по Брайлю. Возглавлять филиал Ферст Нейшнл Бэнк на Земле Франца Иосифа... Условно-противительные предложения с недостоверной посылкой всегда истинны, благодаря тому что ирреальна предпосылка. Но в тот день я был не где-нибудь, а там, так что теперь я действительно здесь.

Театральным жестом полковник выкинул на стол листок. Он до сих пор хранится среди моих бумаг, в целлофановой корочке, пожелтевший, полинявший по сравнению с тем разом - ксерокопии делались в ту пору на специальной термической бумаге. На листочке было две записи - вверху мелкая и частая, ниже что-то вроде стихотворения, строчки в столбик.

Первый отрывок содержал демонские заклинания на каком-то псевдосемитском языке:

Kuabris Defrabax Rexulon Ukkazaal Ukzaab Urpaefel Taculbain Habrak Hacoruin Maquafel Tebrain Hmcatuin Rokasor Himesor Argaabil Kaquaan Docrabax Reisaz Reisabrax Decaiquan Oiquaquil Zaitabor Qaxaop Dugraq Xaelobran Disaeda Magisuan Raitak Huidal Uscolda Arabaom Zipreus Mecrim Cosmae Duquifas Rocarbis

- Я не все понял, - сказал Бельбо.

- Ах, не все? - ядовито переспросил полковник. - Да я бы всю жизнь просидел над этой штукой, если бы однажды, совершенно случайно, я не увидел на книжном лотке книгу о Тритемии и мне не попался бы на глаза образец одного из шифров: «Pamersiel Oshurmy Demulson Thafloyn...» Это был след, и я начал копать в глубину. Имя Тритемия мне ничего не говорило, но в Пари-

же я разыскал издание его труда «Стеганография (тайнопись)» - Steganographia, hoc est ars per occultam scripturam animi sui voluntatem absentibus aperiendi certa, Франкфурт, 1606. Искусство открывать при помощи тайнописи секреты своей души далеким людям. Великолепная личность, этот Тритемий. Бенедиктинский аббат из Шпаннгейма, живший на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков, ученый человек, знавший в совершенстве еврейский и халдейский языки, а также восточные языки, такие, как татарский, имевший контакты с теологами, каббалистами, алхимиками, несомненно с великим Корнелием Агриппой Неттесгеймским и вероятно с Парацельсом... Тритемий маскирует свои откровения относительно тайнописи с помощью туманных намеков на ритуалы некромантов, он говорит, что следует составлять шифрованные послания наподобие того, которое сейчас перед вашими глазами, а адресат в первую очередь должен будет вызывать ангелов, таких, как Памерсиель, Падиель, Доротиель и прочие, и ангелы помогут ему понять истинное сообщение. Однако примеры, которые он приводит, сплошь и рядом представляют собой военные корреспонденции, а книга посвящается пфальцграфу и герцогу баварскому Филиппу, и являет собой один из первых примеров учебников шифрования, которыми пользуются в секретных спецслужбах.

- Но прошу прощения, - вмешался я. - Если я вас верно понял, Тритемий жил по меньшей мере сто лет спустя после даты составления записи, которую мы разбираем...

- Тритемий был членом Кельтского Единства, в котором изучались философия, астрология, пифагорейская математика. Улавливаете связь? Тамплиеры - секретный орден, наука которого восходит, в частности, к мудрости древних кельтов, что в наши дни не требует доказательства. Не удивительно, что Тритемию стали известны те же криптографические системы, которыми пользовались тамплиеры.

- Очень логично, - сказал Бельбо. - А расшифровка тайного послания, как она выглядит?

- Одну минуточку, господа. Тритемием опубликовано сорок больших и десять меньших криптосистем. Мне повезло, а может быть, тамплиеры из Провэна не стали особенно мудрить, будучи уверенными, что никто не подберет ключа к их шифру. Я попробовал применить первую же из сорока больших криптосистем, то есть отправился от гипотезы, что в этом тексте имеют значение только первые буквы слов...

Бельбо взял в руку листок и бросил взгляд на надпись: - Но и в этом случае выходит набор букв без всякого смысла: kdruuth...

- Разумеется, - снисходительно процедил полковник. - Тамплиеры не собирались особенно мудрствовать, но они не были такими уж невероятными лентяями. Этот первый набор букв является в свою очередь очевидной шифровкой, и тут я моментально подумал о втором подразделе, о десятке меньших криптосистем. Видите ли, в этом втором подразделе Тритемий использует концентрические круги, и первый по порядку чертеж у Тритемия таков...

Он вытащил из своей красной папки еще одну ксерокопию, пододвинул стул поближе к столу и начал показывать последовательность чтения, касаясь букв закрытой шариковой ручкой.

- Это самая простая из всех схем. Смотрите только на внешний круг. Берем каждую букву исходного сообщения и заменяем предыдущей буквой алфавита. Вместо A пишем Z, вместо B пишем A и так далее. Для профессионального разведчика это детсадовский уровень, но в те времена считалось чуть ли не чернокнижием. Разумеется, для чтения используется обратный принцип и каждую букву шифровки надо заменять следующей буквой алфавита. Я попытался и, повторяю, мне невероятно повезло - шифр был угадан с первой же попытки. Вот конспиративный текст.

И он написал фразу: «Les XXXVI invisibles separez en six bandes». «Тридцать шесть невидимых, разделенных на шесть отрядов».

- А что это значит?

- На первый взгляд ничего. Это девиз, обрядовая формула, объявляющая об основании общества и записанная потайным языком, по ритуальным соображениям. В остальном же наши тамплиеры, будучи уверенными, что помещают свои записи в недосягаемый тайник, ограничились французским языком четырнадцатого столетия. Вот перед вами второй текст.

a la .... Saint Jean
36 p charrete de fein
6... entiers avec saiel
p.... les blancs mantiax
r... s... chevaliers de Pruins pour la ... j. nc.
6 fois 6 en 6 places
chascune foiz 20 a ... 120 a...
iceste est l'ordonation
al donjon li premiers
it li secunz joste iceus qui ... pans
it al refuge
it a Nostre Dame de l'autre part de l'iau
it a l'ostel des popelicans
it a la pierre
3 fois 6 avant la feste ... la Grant Pute.

- Это, стало быть, нешифрованное сообщение? - спросил Бельбо и хихикнул.

- Совершенно ясно, что, переписывая текст, Ингольф ставил точки там, где не мог разобрать буквы или слова, то есть на тех местах, где пергамент был испорчен... И теперь, господа, я наконец ознакомлю вас с моей собственной версией, в которую введены конъектуры, осмелюсь заявить, блестящие и безупречные. Я сумел возвратить древнему тексту его первоначальное великолепие. Вот он перед вами.

Быстрым жестом, как фокусник, он перевернул ксерокопию и мы увидели несколько строк, написанных печатными буквами.

A LA (NUIT DE) SAINT JEAN
36 ((ANS) P(OST LA) CHARRETTE DE FOIN
6 (MESSAGES) ENTIERS AVEC SCEAU
P(OUR) LES BLANCS MANTEAUX
R(ELAP)S(I) CHEVALIERS DE PROVINS POUR LA (VAIN)J(A)NC(E)
6 FOIX 6 EN 6 PLACES
CHACUNE FOI 20 A(NS FAIT) 120 A(NS)
CECI EST L'ORDONNATION:
AU DONJON LES PREMIERS
IT(ERUM) LES SECONDS JUSQU'A CEUX QUI (ONT?) PAINS
IT(ERUM) AU REFUGE
IT(ERUM) A NOTRE DAME DE L'AUTRE PART DE L'EAU
IT(ERUM) A L'HOTEL DES POPELICANS
IT(ERUM) A LA PIERRE
3 FOIX 6 AVANT LA FETE (DE) LA GRANDE PUTAIN

- Я приблизил орфографию к нашему времени. Как видите, текст стал вполне постижим и означает следующее:

В НОЧЬ СВЯТОГО ИОАННА
ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ ПОСЛЕ СЕННОГО ВОЗА
ШЕСТЬ ПОСЛАНИЙ ПОД ЦЕЛЫМИ ПЕЧАТЯМИ
ДЛЯ РЫЦАРЕЙ В БЕЛЫХ МАНТИЯХ
УПОРСТВОВАВШИХ В ПРОВЭНЕ РАДИ МЩЕНИЯ
6 РАЗ ПО 6 В 6 КРАЕВ
ВСЯКИЙ РАЗ ПО 20 ЛЕТ ВСЕГО 120 ЛЕТ
ВОТ ПЛАН:
ПЕРВЫЕ ПОЕДУТ В ЗАМОК
ЗАТЕМ (ВНОВЬ ЧЕРЕЗ 120 ЛЕТ) ВТОРЫЕ СОЕДИНЯТСЯ С ТЕМИ, КТО У ХЛЕБА
ЗАТЕМ СНОВА В УБЕЖИЩЕ
ЗАТЕМ СНОВА К НАШЕЙ ГОСПОЖЕ ЗА РЕКОЙ
ЗАТЕМ СНОВА В ПРИЮТ ПОПЛИКАН
ЗАТЕМ СНОВА К КАМНЮ
3 РАЗА ПО 6 (666) ПЕРЕД ДНЕМ ВЕЛИКОЙ БЛУДНИЦЫ

- Темно как ночью, - подытожил Бельбо.

- Конечно, это нуждается в толковании. Но Ингольф несомненно сумел разгадать все шарады. Точно так же, как сумел я. Смысл менее загадочен, чем кажется, для тех, кто не новичок в истории этого ордена.

Повисло молчание. Полковник попросил стакан воды и снова взялся за свою запись, начиная с первого слова.

- Итак. Ночь Святого Иоанна, через тридцать шесть лет после сенного воза. Тамплиеры, избранные для сохранения секретов ордена, спасаются от ареста в сентябре 1307 года, укрывшись в повозке с сеном. В ту эпоху года отсчитывались от Пасхи до Пасхи. Значит, 1307 год кончается приблизительно тогда, когда по нашим понятиям была Пасха 1308-го. Попробуйте отсчитать тридцать шесть лет после конца 1307 (то есть после нашей Пасхи 1308-го) - что это нам даст? Год 1344-й. Условленные тридцать шесть лет прошли, 1344 год настал, и грамоту торжественно поместили в крипту, укрыв в драгоценный ларец, в знак вечной памяти об основании тайного ордена, в ночь Святого Иоанна - то есть 23 июня 1344 года.

- Почему 1344-го?

- Я полагаю, что с 1307-го по 1344-й орден переформировывался и вырабатывал программу, к исполнению которой было приступлено именно в день, указанный на этой хартии. Надо было выждать, пока обстановка придет в норму, а также установятся стабильные связи между тамплиерами пяти или шести стран. С другой стороны, тамплиеры выжидают именно тридцать шесть лет, а не тридцать пять или тридцать семь, потому что цифра тридцать шесть определенно обладает для них мистическим характером. Это подтверждается и в шифрованной записке. Внутренняя сумма тридцати шести составляет девять... Не знаю, должен ли я напоминать вам сокровенные значения этой цифры...

- Мне можно? - послышался из-за наших спин тихий голос Диоталлеви, бархатный, как шаги провэнских тамплиеров.

- Это из твоей оперы, - подвинулся Бельбо, освобождая ему место. Он бегло представил нового собеседника, появление которого, кажется, вовсе не смутило полковника, жаждавшего многочисленной и внимательной аудитории. Он продолжил объяснение, а Диоталлеви впитывал, просто-таки исходя слюной от подобных нумерологических разносолов. Чистой воды Гематрия.

- Перейдем теперь к печатям, - продолжал полковник. - Шесть посланий под целыми печатями. Ингольф как раз и находит ларчик, вероятнее всего запечатанный. Кому же адресовались запечатанные ларчики? Белым Накидкам, то есть - тамплиерам. Затем мы видим в послании букву r, несколько вытертых букв, а затем s. Я предлагаю читать relapsi. Почему? Потому что мы все знаем, что этот термин употреблялся для обозначения лиц, которые на процессе прежде каялись, а потом брали обратно свои показания. Фактор ре-

цидива немало повлиял на тяжесть приговора в процессе над тамплиерами. Тамплиеры из Провэна носят прозвище рецидивистов с гордо поднятой головой. Своим актом они подчеркнули, что не желают иметь ничего общего с позорной комедией процесса. Итак, речь идет о relapsi из Провэна, готовых... к чему? Те немногие буквы, которые имеются в нашем распоряжении, подсказывают прочтение vainjance - к вендетте, к отмщению.

- Отмщение кому?

- Господа! Вся мистика тамплиеров, от дня суда и казни и до настоящего времени, тяготеет вокруг желания отомстить за Жака де Молэ. Я невысокого мнения о масонских ритуалах, но и масоны, эта мещанская карикатура на рыцарственное храмовничество, как бы то ни было - тоже детища, хотя и выморочные, давней, древней идеи. Одна из степеней масонства по шотландскому обряду называется Рыцарь Кадош, по-еврейски это рыцарь мщения...

- Хорошо, тамплиеры готовятся отомстить. Что же происходит после?

- После... надо нам понять, на какой период рассчитан план отмщения. Обратимся к шифрованному девизу, и он разъяснит нам нешифрованный текст. Пусть появятся шесть паладинов шесть раз в шести местах, итого тридцать шесть, разделенных на шесть отрядов. Потом говорится «Всякий раз двадцать», а потом идет что-то, что в передаче Ингольфа напоминает букву A. ANNO - год, всякий раз по двадцать лет, догадался я, что даст сто двадцать лет. Остальное сообщение содержит попросту список этих шести мест, или же шести тайных заданий. Рыцарям дается ordonation - План, проект, информация к исполнению. Говорится, что первые должны будут следовать в донжон, или укрепление, замок, вторые еще куда-то, и так вплоть до шестых. Значит, документ оповещает нас о том, что должны где-то иметься еще шесть документов, охраняемых печатями, укрытых в различных местах. И мне кажется очевидным, что печати должны были вскрываться именно в указанном порядке, каждая через сто двадцать лет после вскрытия предыдущей...

- Но почему «всякий раз двадцать лет»? - спросил Диоталлеви.

- Рыцари мщения были призваны исполнять свою миссию каждые сто двадцать лет в предуказанном Планом месте. Таким образом запрограммирована своего рода эстафета. Понятно, что после Ивановой ночи 1344 года шесть кавалеров разъезжаются по шести концам земли, как предусмотрено в Плане. Но хранитель первой печати, естественно, не может оставаться в живых в течение ста двадцати лет. Значит, каждый хранитель каждой печати должен оставаться на посту двадцать лет, после чего передоверять свое служение следующему. Двадцать лет - разумный срок, таким образом, у каждой печати чередуются шесть хранителей, из которых каждый несет стражу по двадцать лет, что является гарантией того, что в конце сто двадцатого года хранитель печати вскроет ее, прочтет инструкцию и передаст указания первому хранителю второй печати. Вот почему в документе употреблено множественное число, первые пусть едут туда, вторые сюда... Каждое место контролируется, скажем так, за сто двадцать лет шестью ответственными. Посчитайте: от первой до шестой печати имеется пять переходов, то есть должно пройти шестьсот лет. Прибавьте к 1344 шестьсот - и выйдет 1944. Это подтверждено, в частности, и последней строчкой. Ясно как день.

- Почему как день?

- В последней строке говорится: «три раза по шесть перед днем Великой Блудницы». Здесь, в частности, учтен нумерологический аспект, потому что внутренняя сумма 1944 дает как раз восемнадцать. Восемнадцать равно трижды шести, и это новое примечательное совпадение натолкнуло тамплиеров на еще одну тончайшую загадку. 1944 - год, когда должен увенчаться План. В предвидении чего? Разумеется, двухтысячного года! Тамплиеры полагали, что конец второго тысячелетия будет означать пришествие их Нового Иерусалима, Иерусалима земного, Антииерусалима. Они видели себя гонимыми как еретики - и в законной ненависти к официальной церкви сыдентифицировали себя с Антихристом. Кроме того, им известно, что 666 в оккультной традиции отождествляется с апокалиптическим Зверем. Год шестьсот

шестьдесят шестой - год Зверя - для них это двухтысячный, в который наконец должно восторжествовать мщение за тамплиеров. Антиерусалим - это Новый Вавилон, и поэтому 1944 - это год триумфа Великой Любодейцы, той самой, о которой говорится в Апокалипсисе! Отсчет на основании числа 666 - это, конечно, вызов, бравада отважных духом... Неординарное решение, вы согласны?

Он глядел на нас влажноватыми глазами, губы и усы увлажнились, руки поглаживали папку.

- Допустим, - сказал Бельбо. - Здесь указываются этапы исполнения Плана. Но какого?

- Вы слишком много от меня хотите. Если бы я знал какого - не забрасывал бы свою наживку. Я знаю только одно. Что в какой-то момент произошел сбой, и программа не завершилась, иначе, позвольте вас уверить, мы с вами об этом бы знали... Можно даже представить себе, почему План не состоялся. 1944-й был не самым простым годом, тамплиеры не могли тогда предполагать, что мировая война так перепутает карты, затруднив перемещения и контакты между отдельными лицами.

- Простите, что я вмешиваюсь, - послышался голос Диоталлеви. - Если я правильно понял, после вскрытия каждой печати династия ответственных за нее не исчезает. Она продолжает свое служение впредь до вскрытия последней печати, поскольку тогда потребуется участие всех вообще представителей тайного ордена?И это значит, что каждое столетие, точнее, каждые сто двадцать лет, в деле участвуют по шесть человек на каждое место, итого общей суммой тридцать шесть.

- Так точно, - подтвердил Арденти.

- Тридцать шесть кавалеров на каждом из шести постов составляет 216, внутренняя сумма этого числа равна 9. А так как столетий 6, умножим 216 на 6, и получим 1296, внутренняя сумма которого равна 18, то есть трижды шесть - шестьсот шестьдесят шесть...

Бельбо старался остановить Диоталлеви взглядом, но полковник, несомненно, уже признал в нем родную кровь. - Это чудесно, восхитительно, все, что вы сказали, коллега! Учтите также, что девять лежит в основании всего, потому что именно девять рыцарей основали ядро ордена в Иерусалиме!

- Великое Имя Господне, представленное в тетраграмматоне, Элоим,- состоит из семидесяти двух букв, а семь плюс два составляют собой девять. Еще минуточку, если позволите. Согласно пифагорейской традиции, которую каббала продолжает (вернее, которой вдохновляется): сумма нечетных чисел от одного до семи дает шестнадцать, а сумма четных от двух до восьми дает двадцать, что в сумме составляет тридцать шесть.

- Боже мой, коллега, - вибрировал полковник. - Я предполагал, я догадывался. Как вы мне помогаете, если бы вы знали... Я так близок к истине!

Так я и не понял, была ли для Диоталлеви арифметика верой, или вера арифметикой, или же и то и другое - для атеиста, организовывавшего экскурсии на седьмое небо... Он мог бы отдаться рулеточной религии (и было бы перспективнее для него) - а предпочел стать неверующим раввином.

Не помню уж как мы вышли из положения, кажется, вмешался Бельбо со своим пьемонтским здравым смыслом, все вспомнили, что полковник не объяснил до конца остальные строчки, а было уже шесть вечера. Шесть - подумал я - вернее сказать, восемнадцать...

- Хорошо, - сказал Бельбо. - По тридцать шесть за раз, все эти кавалеры стараются открыть камень. Но что это за камень?

- Ну знаете! Это и спрашивать незачем. Разумеется, Грааль!

20

Средневековье ожидало героя Грааля, благодаря чему глава Священной Римской Империи представал бы образом и воплощением самого Властителя мира.... Невидимый Император превращался в то же время в Императора воплощенного, а Серединная Эпоха... становилась также Эпохой Центральной... Невидимый, недосягаемый центр, властитель, которому предстоит воскресение, образ героя - мстителя и восстановителя - это не фантазии мертвого прошлого, более или менее романтического; это истина тех, кто, единственные, в наше время сегодня могут по праву именоваться живыми.

Юлиус Эвола, *Тайна Грааля*
Julius Evola, *Il mistero del Graal*,
Roma, Edizioni Mediterranee, 1983, c. 23 e Epilogo

- А, так тут не без Грааля, - вздохнул Бельбо.

- Разумеется. И это сказано не мной. Думаю, излишне напоминать здесь историю легенды о Граале, я имею дело с достаточно образованными людьми. Рыцари круглого стола, мистический поиск волшебного предмета, который в глазах одних представляет собою кубок, принявший в себя кровь Христа и доставленный во Францию Иосифом Аримафейским, в глазах других - камень, обладающий сверхъестественной силой. Часто Грааль описывают и в виде ослепительного света... Речь идет о символе силового поля, какой-то энергии неслыханной мощности. Она способна питать организмы - залечивать раны - ослеплять - испепелять. Что это? Лазерный луч? Кое-кто предполагал, что Грааль - то же, что философский камень алхимиков, но даже если это так, одно другого не исключает: что есть философский камень как не символ источника космической энергии? Литература по этому вопросу необъятна, однако на первом плане прежде всего некоторые неопровержимые доказательства. Почитайте "Парцифаль" Вольфрама фон Эшенбаха[1], и вы убедитесь, что Грааль в этой книге сберегается в замке тамплиеров! Может быть, Эшенбах был посвящен в орден? По неосторожности выболтал то, о чем следовало хранить тайну? Мало того. Этот охраняемый храмовниками Грааль определяется в книге как lapis exillis - камень, упавший с неба. То есть на самом деле возможны два толкования: упавший с неба - ex coelis - или привезенный из изгнания - ex exilio. В любом случае доставлен он издалека. Были предположения, что Грааль - метеорит. В любом случае то, что нас интересует, сказано ясно: это камень. Чем бы ни был Грааль на самом деле, для тамплиеров он - и предмет и цель их плана.

- Извините, - вмешался я. - По логике этого документа, там назначается последняя встреча около камня или на камне, а не предлагается найти камень.

- Еще одна хитроумная уловка и блистательная мистическая аналогия! Да, конечно, шестое свидание назначено на камне, и сейчас мы дойдем до этого места и увидим, о каком камне речь. Но на этом камне, исполнив все этапы Плана и взломав шестую печать, рыцари узнают, где же находится их Камень! Учтем и евангельскую параллель - «Ты, Петр[2], и на сем камне...» На камне вы найдете Камень.

- Теперь мы видим, что иначе быть не могло, - подвел итоги Бельбо. - Рассказывайте же конец, прошу вас. Казобон, не надо перебивать все время. Очень хочется услышать конец этой истории.

- Так вот, - начал вновь полковник, - очевидная связь с Граалем навела меня на мысль, что сокровище, о котором идет речь, - это колоссальное хранилище радиоактивных материалов, может быть, занесенное с других планет. Подумайте например, в той же самой легенде, о таинственной ране короля Амфортаса... Больше всего напоминает физика, получившего облучение. И действительно, Грааля запрещено касаться. Почему? Подумайте только,

---

1 Вольфрам фон Эшенбах (примерно 1170-1220) - немецкий поэт-миннезингер.
2 Камень. (Матфей 16.18).

какие чувства, должно быть, охватили тамплиеров, когда они достигли берега Мертвого моря, вы, конечно, знаете, что вода в этом море тяжелая, смолянистая, тело болтается на поверхности, как пробка, и доказано целебное влияние этой воды. Они могли обнаружить в Палестине залежи радия или урания, и осознали, что не в состоянии сразу же использовать их. Связь между Граалем, храмовниками и катарами[1] была научно доказана одним немецким офицером, кстати, человеком огромной личной храбрости. Его звали Отто Ран, обер-штурмбаннфюрер СС, посвятивший всю жизнь кропотливому исследованию европейской и арийской природы Грааля. Не имеет смысла рассказывать, как и почему его жизнь в 1939 году оборвалась, но и тут есть место предположениям... Можно ли скинуть со счетов пример смерти Ингольфа? Ран проследил взаимосвязь золотого руна аргонавтов и Грааля. В общем, совершенно ясно, как сопрягаются между собой мистический Грааль из легенды, философский камень и тот источник неограниченного могущества, к которому стремились люди, верные идеалам Гитлера, с самого кануна войны и до последней капли крови. Скажу вам еще, что в одном из вариантов легенды аргонавты наблюдают чашу - повторяю, чашу, - зависшую над Мировой Горою, где растет Дерево Света. Аргонавты находят золотое руно, и их корабль чудодейственно переносится на Млечный Путь, в небеса южного полушария, где в окружении созвездий Креста, Треугольника и Алтаря торжествует и утверждает световую природу Бога. Треугольник символизирует Троицу, Крест - высочайшее самопожертвование во имя любви и, наконец, Алтарь - это стол Вечери, несущий на себе Кубок Воскресения. Несомненно кельтское, чисто арийское происхождение этих образов.

Полковник, по-видимому, находился в той же самой геройской экзальтации, как та, которая довела до высочайшего самопожертвования его любимого оберштурмунддранга или как его к чертям звали. Приходилось вернуть полковника к грубой действительности.

- Приблизимся к выводам, - предложил я.

- Господин Казобон, вы что, сами не в состоянии сделать выводы? Речь велась о Граале как о Люциферовом камне, этот образ сближался с фигурой Бафомета. Грааль представляет собой источник энергии, тамплиеры - хранители тайны неисчерпаемой энергии, вот они и намечают свой суперсекретный План. Каковы их опорные пункты? Тут-то, уважаемые господа, - и полковник окинул нас многозначительным взглядом, как будто мы конспирировались с ним в одну шайку, - я расследовал одну версию, ошибочную, но нужную. Один сочинитель, который, надо думать, каким-то образом оказался в курсе некоторых тайных данных, по имени Шарль-Луи Каде-Гассикур (в частности, его сочинение имелось и в библиотеке Ингольфа), в 1797 году издал труд под названием «Гробница Жака де Молэ или Тайна заговорщиков, стремившихся знать все», где он утверждает, что Молэ перед смертью основал четыре тайных общества - в Париже, в Шотландии, в Стокгольме и в Неаполе. Эти четыре ложи якобы имели своей целью уничтожить всех коронованных особ и свергнуть власть римского папы. Безусловно, Гассикур перегибает палку, но я использовал общие очертания его идеи для того, чтоб установить, где же на самом деле тамплиеры собирались разместить свои опорные пункты. Я не мог бы разгадать загадки их завещания, если бы у меня отсутствовала руководящая идея... само собой разумеется. Но она у меня была, и она состояла в уверенности, основанной на бесчисленных очевидных фактах, что природа храмовничества - кельтская, друидическая по происхождению, - содержала в себе дух северного арийства, который по традиции обычно сопрягается с островом Авалон, центром подлинной гиперборейской цивилизации. Вы, конечно, знаете, что у различных авторов Авалон отождествляется то с садом Гесперид, то с Ultima Thule[2], то с Колхидой золотого руна. И совсем не случайно, что самая почетная рыцарская награда в истории носит имя «Золотое руно». Таким образом, становится понятно, что закодировано под обозначением «донжон», замок. Гиперборейский замок, в котором тамплиеры охраняли свой Грааль, - то же самое, что Монсальват легенды!

[1] Катары - члены еретических сект.
[2] Краем света (*лат.*).

Он выдержал паузу. Он хотел, чтоб мы впились в него выжидательным взором. Мы впились.

- Теперь второе указание. Хранители печати должны отправиться туда, где имеется некто или нечто связанное с хлебом. Этот адрес сам по себе довольно ясен. Грааль - чаша с кровью Христовой, хлеб - плоть Христа, место причащения хлебу - место, где состоялась Тайная Вечеря, то есть Иерусалим. Невозможно допустить, чтобы тамплиеры, после сарацинского завоевания, не сохранили за собой в Иерусалиме какие-то тайные явки. Честно говоря, поначалу меня беспокоило вторжение иудейского элемента в План, выдержанный целиком в духе арийской мифологии. Потом же я, продумав эту позицию, пришел к выводу, что мы напрасно продолжаем представлять себе Христа порождением иудейской религии, как хотела бы представить это римская церковь. Тамплиеры же придерживались мнения, что Иисус - это кельтский миф. Все евангельское повествование - это герметическая аллегория возрождения, приходящего на смену растворению в недрах земли, и так далее и тому подобное. Христос есть не что иное как Эликсир алхимиков. С другой стороны, как всем известно, Троица - арийское представление, и именно поэтому уложение храмовничества, составленное испытанным друидом, каким был Святой Бернард, основывается на цифре три.

Полковник выпил большой глоток воды. Голос его звучал хрипло. - Перейдем же к третьему этапу. Убежище. Тибет.

- Почему Тибет?

- Потому что прежде всего фон Эшенбах говорит, что тамплиеры оставили Европу и перенесли свой Грааль в Индию. Колыбель арийства. Убежище - это Агарта, местожительство правителя всего мира, подземный город, в котором Старшины Мира определяют историю человечества и повелевают ею. Тамплиеры разместили один из своих опорных пунктов там, у самых источников собственной духовной силы. Вам известны взаимосвязи между царством Агартой и Синархией...

- Честно сказать, не вполне...

- Тем лучше для вас. Некоторые знания могут быть смертельны. Не станем отклоняться. В любом случае, всем известно, что Агарта была основана шесть тысяч лет назад, на заре эры Кали-Юга, в которой мы пребываем до сих пор. Задачей рыцарских орденов искони было поддержание контактов с этим таинственным центром, активный взаимообмен между мудростью Востока и мудростью Запада. И таким образом ясно, где намечалась состояться четвертая встреча. В другом святилище друидов, в городе Девы - то есть в Шартрском соборе. Шартр по отношению к Провэну располагается на другом берегу крупнейшей реки Иль-де-Франса - Сены.

Мы не поспевали за нашим гуру. - Но каким образом попадает Шартр в ваш кельтский друидический маршрут?

- А вы как думаете, откуда происходит образ Приснодевы? Первые девственницы, появившиеся в Европе, это черные девы кельтов. Святой Бернард в молодости преклонял колена в церкви в Сен-Вуарле перед черной девой, и у той из сосцов выделились три капли молока и упали на губы будущего основоположника тамплиеров. Отсюда повелись романы о Граале - как прикрытие для крестовых походов, и начались крестовые походы - как прикрытие для поисков Грааля. Что бенедиктинцы - духовные наследники друидов, это известно всем.

- Но где же находятся эти черные девы?

- Их уничтожили те, кому выгодно было извратить северную традицию и преобразить кельтскую религию в средиземноморскую, используя придуманный ими же миф о Марии Назаретянке. Тех, которых не удалось уничтожить, замаскировали, обезобразили - таковы те черные мадонны, которые и в наши дни часто являются предметом массового фанатичного поклонения. Однако если вы примете всерьез святые изображения в соборах, как принял знаменитый Фульканелли, вы увидите, что они открытым текстом передают взаимосвязь между кельтскими девами - и алхимической традицией тамплиерского происхождения, которая видит в черной деве символ первородного

вещества, с которым работали искатели философского камня, который в свою очередь, как мы уже знаем, не что иное как Грааль. Теперь призадумайтесь, из каких источников черпал вдохновение знаменитый выученик друидов, Магомет, заложив черный камень в Мекке? В Шартре кому-то понадобилось замуровать крипту, которая ведет в подземную молельню, где до сих пор находится древняя языческая статуя, а если хорошо поискать, в этом соборе можно найти и черную деву Нотр-Дам дю Пилье, высеченную каноником-одинистом. Статуя имеет в руке магический цилиндр великих жриц бога Одина, а слева от нее высечен магический календарь, на котором были изображены - я говорю были, потому что эти скульптуры не избегли разрушения от рук вандалов, правоверных каноников,- были изображены священные животные одинизма, собака, орел, лев, белый медведь и вурдалак. С другой стороны, ни от кого, кто интересуется готическим эзотеризмом, не укрылось, что там же в Шартре находится статуя, держащая в руках чашу Грааля. Эх, господа, если бы до сих пор было принято видеть Шартрский собор не в том свете, в котором его пытаются представлять туристские путеводители, католические, апостолические, римские, а глазами Предания, ту истинную историю, которую рассказывает эта крепость Эрец...

- Но надо переходить к попликанам.

- Да. Катары. Один из терминов для обозначения еретиков. Павликиане или попликане. Провансальских катаров к тому времени уничтожили, я не настолько наивен, чтобы верить в пресловутый слет на руинах Монсегюра. Однако секта не погибла, мы располагаем всей географией подпольного катаризма, из которого произошли и Данте, и поэты «Дольче стиль нуово», и секта Преданных любви. Значит, пятая назначенная встреча имела место где-то в северной Италии либо в южной Франции.

- А последняя?

- Камень? Что же это может быть, если не самый старый, самый славный, самый крепкий из всех кельтских камней, святилище солярных божеств, лучшая из обсерваторий, в которой соберутся для завершения Плана потомки провэнских тамплиеров и сопоставят, на своем великом съезде, все тайны, скрытые под всеми шестью печатями, и в конце концов откроют способ использования бесконечного могущества, которое связано с владением Святым Граалем? Конечно, это Англия, это магическая окружность Стоунхенджа! Что же еще? /.../

- Послушайте, - спросил тогда Бельбо. - Почему вы исключаете, что встречи регулярно происходили и что рыцари уже приступили к своему делу, только нас об этом не поставили в известность?

- Нет, я не вижу признаков подобного, и позвольте мне добавить "к несчастью". Цепочка оборвалась; тех, которым было предназначено завершить ее, скорее всего, уже нет на этом свете. Отряды тридцати шести рассеялись в результате какой-то планетарной катастрофы. Но некая группа, некий отряд, располагающий правильной информацией, мне кажется, мог бы и подхватить оборванные судьбой нити. Я ищу правильных людей. Для этого я хочу опубликовать свою книгу - чтобы стимулировать их активность. В то же время мне хотелось бы встретиться и с теми, кто способен помочь мне найти какие-либо подсказки в дебрях традиционной науки. Сегодня я встречался с крупнейшим экспертом по данному вопросу. Однако, увы, хотя речь идет о мировом светиле, он не смог сообщить мне ничего, хотя и явно заинтересовался моей работой и обещал написать предисловие...

- Но извините, - перебил его Бельбо. - Не было ли опасно делиться подобной тайной с этим господином? Вы ведь сами говорили о неосторожности Ингольфа и чем это кончилось...

- Помилуйте, - возразил ему полковник.- Ингольф был легкомыслен. Я же вышел на связь с лицом, находящимся вне каких бы то ни было подозрений. С ученым, который остерегается непроверенных гипотез. До такой степени, что сегодня он просил меня отложить встречу с издателями, не представлять материал, покуда в нем остаются хотя бы минимальные неясности или несоответствия... Я не хотел лишаться его симпатии и поэтому не сказал ему, что намерен посетить вас немедленно. Но вы, безусловно, поймете, что

после стольких трудов я испытываю законное нетерпение. Это лицо... Ладно, оставим недомолвки, назовем вещи своими именами, а то вы можете подумать, что здесь пустое бахвальство. Так вот: мой собеседник был Раковски...

И он обвел нас глазами.

- Кто? - переспросил Бельбо, явно разочаровав полковника.

- Как! Раковски! Крупнейшее имя в традиционной науке, бывший главный редактор «Журналь дю секрэ»!

- А-а, - промычал Бельбо. - Да-да, я слышал, Раковски, конечно...

- В любом случае, я оставляю за собой право внести окончательные поправки в рукопись после серии консультаций с этим лицом. Но пока что, дабы сэкономить время, я предпочитаю завершить все предварительные формальные стадии с вашим издательством... Повторяю, время не терпит, я должен как можно скорее опубликовать это, вызвать ответные реакции, собрать данные... Есть люди, которые много знают, но молчат. Господа! Невзирая на то, что уже было известно, что война проиграна, как раз около 1944 года Гитлер заговорил о секретном оружии, которое позволило бы ему радикально изменить соотношение сил. Говорили, что он безумен. А если он не был безумцем? Вы следите за моей мыслью? - Лоб его был усеян потом, усы торчали как у кота. - В общем, - заключил он, - я заброшу наживку. Посмотрим, кто на нее отзовется.

По тому впечатлению, которое успело у меня сложиться, я мог ожидать, что Бельбо двумя-тремя вежливыми фразами избавится от него. Вместо этого я услышал:

- Знаете что, полковник, это мне кажется в высшей степени интересным. Нужно только подумать, что имеет для вас наибольший смысл - иметь дело с нашим издательством или с каким-либо другим. У вас есть еще десять минут?

Затем Бельбо обратился ко мне: - Мы продержали вас массу времени, Казобон. Большое вам спасибо. Давайте увидимся завтра, хорошо?

Меня выставляли. Диоталлеви подхватил меня под руку и сказал, что он тоже уходит. Мы распрощались. Полковник с жаром пожал руку Диоталлеви, а мне достался полупоклон и прохладная улыбка.

Пока мы спускались по лестнице, Диоталлеви прервал молчание: - Вы, наверное, удивились, когда Бельбо вас выпроводил. Не обижайтесь. Он просто должен сделать полковнику конфиденциальное издательское предложение. Конфиденциальность - главный принцип господина Гарамона. Я тоже не присутствую на подобных переговорах.

Как я понял впоследствии, Бельбо замыслил толкнуть полковника прямо в пасть Мануцио.

Я повлек Диоталлеви к Пиладу, где заказал себе кампари, а Диоталлеви - ликер из ревеня, который он воображал почему-то напитком монашеским, архаичным и почти тамплиерским.

Я спросил, что он думает о полковнике.

- В издательствах, - отвечал Диоталлеви, - сосредотачивается вся глупость мира. Но так как эта глупость осияна мудростью Всесоздателя, мудрец наблюдает за глупцом со смирением. - И тут же начал прощаться.- Меня ожидает пир. - сказал он.

- Идете в ресторан? - переспросил я.

Он явно был фраппирован моей легковесностью. - «Зогар»[1], - пояснил он. - «Легх Легха». Доныне неистолкованный отрывок.

---

[1] Одно из основных каббалистических сочинений, написанных в средние века, приписываемое разным авторам.

21

...des grâles, der sô swaere wigt
daz in diu valschlîch menscheit
nimmer von der stat getreit.

Wolfram von Eschenbach Parzival, IX, 477[1]

Полковник мне не понравился, но запомнился. Можно ведь долго и с восхищением наблюдать, скажем, за гадюкой. Видимо, я впитывал тогда первые испарения того яда, который, действуя много лет, отравил нас всех, довел до погибели.

На следующий день я зашел к Бельбо и мы поболтали о вчерашнем посетителе. По мнению Бельбо, типичный буйный бред. - Как он говорил о своем Рокоссовском, Ростроповиче, вроде это по меньшей мере Кант?

- И бред начался бог весть когда, - добавил я. - Сначала один псих, Ингольф, уверовал в свою бумажку, а сейчас этот псих полковник верит в бумажку Ингольфа.

- Это было вчера. Во что он верит сегодня - не знаю. Скажу вам, что под конец я устроил ему встречу в одном солидном издательстве... неважно, в общем, оно иногда публикует книги за счет авторов. Он вроде был счастлив от этой перспективы. Так вот - его прождали сегодня все утро, он и не появился и не позвонил. А у нас он забыл свою драгоценную ксерокопию. Раскидывает тамплиерские секреты как фантики. Несерьезные люди нас окружают.

Именно в эту минуту звякнул телефон. Бельбо поднял трубку. - Да, я Бельбо. Да, это «Гарамон». Слушаю вас... Да, он был вчера вечером. Предлагал нам рукопись. Извините, здесь проблема издательской этики. Если вы мне можете объяснить...

Несколько секунд он молча слушал, потом поднял на меня глаза, бледнея:

- Полковника убили, или что-то в этом роде... . - Затем он вернулся к своему собеседнику: - Извините, это я говорю Казобону, нашему сотруднику, он вчера присутствовал при разговоре... Да, полковник Арденти вчера предложил нам рукопись, исследование, которое мне показалось довольно надуманным, о поиске предполагаемых сокровищ тамплиеров. Это средневековый рыцарский орден...

Тут он невольно прикрыл рукой микрофон, как бы собираясь сообщить что-то мне по секрету, помедлил, убрал руку и продолжил свою речь необычно оживленным голосом.

- Нет, комиссар Де Анджелис. Этот господин рассказывал что-то о книге, которую только собирался написать. Нечто весьма туманное... Что? Вместе с ним, оба? Прямо сейчас? Ладно, говорите адрес.

Затем он повесил трубку и несколько секунд барабанил пальцами по столу. - Вот что, Казобон, вы должны меня извинить, я просто не подумал и ввязал вас в эту историю. Просто от неожиданности. Комиссар полиции Де Анджелис. Вроде бы этот полковник жил в пансионе, и кто-то утверждает, что видел его труп вчера вечером...

- Утверждает? А что комиссар - не знает?

- Да, это непонятно, но комиссар не знает. Якобы нашли в его ежедневнике мое имя и запись о встрече. Кажется, это их единственный след. Поздравляю. Надо идти.

В такси Бельбо взял меня за локоть.

- Казобон, скорее всего это совпадение. Но в любом случае... в наших краях не любят называть имена. Помню одно рождественское представление на диалекте - волхвы спрашивают у пастуха, как зовут его хозяина. Он говорит: Джелиндо. В каждой пьемонтской деревне сто Джелиндо. Ну ладно. Когда хозяин узнает, что батрак сказал волхвам его имя, он колотит батрака и приговаривает: помни, каналья, имя нельзя открывать кому попало... Наверное, лучше не забивать комиссару голову. Если вы не возражаете, полковник ничего нам не говорил ни об Ингольфе, ни о послании из Провэна.

[1] ...грааль до того тяжеловесен,
что никому из грешных человек
не поднять его вовек.
Вольфрам фон Эшенбах, *Парцифаль*, IX, 477 (*старонемецк.*).

- Чтобы с нами не произошла такая же досадная неприятность, - подхватил я, стараясь улыбнуться.

- Повторяю: чистая глупость с моей стороны. Но от некоторых вещей лучше держаться подальше.

Я сказал, что согласен, но в глубине души волновался. Как ни крути, я учился в университете, время от времени участвовал в демонстрациях - входить в отношения с полицией мне не улыбалось. Мы доехали до пансиона, не первой категории и далеко от центра. Нам сразу показали квартиру - там номера назывались квартирами. На лестнице полиция. Поднялись в номер двадцать семь (два плюс семь - девять, автоматически отметил я). Спальня, коридор со столиком, угол для готовки, душевая без занавески, дверь была полуприкрыта, так что не видно, есть ли биде, но в подобных местах биде, вероятно, это первое и единственное удобство, которого требуют все клиенты. Обстановка жалкая, личных вещей мало, но все перекопано и перевернуто - кто-то вывалил вещи в спешке из шкафов и чемоданов. Может быть, те же полицейские, которых, как в униформе, так и в штатском, я насчитал человек десять.

Навстречу нам двинулся достаточно молодой мужчина с достаточно длинными волосами. - Де Анджелис. Доктор Бельбо? Доктор Казобон?

- Я еще не доктор. Только кончаю университет.

- Кончайте его, кончайте. Пока не защититесь, вас не возьмут работать к нам в полицию. Не представляете, как это увлекательно. - Вид у него был раздраженный. - Кончим кстати и с предварительными формальностями. Вот паспорт, принадлежавший жильцу этой комнаты, зарегистрированному как полковник Арденти. Вы его опознаете?

- Это он, - ответил Бельбо. - Но объясните мне, в чем дело. По телефону я не понял, он погиб или...

- Это я предпочел бы узнать от вас, - произнес комиссар, и лицо его передернулось. - Но вы, безусловно, имеете право на более полную информацию. Так вот, господин Арденти, именующий себя полковником, въехал в пансион четыре дня назад. Вы, наверное, отметили, что здесь не Гранд Отель. Есть швейцар, который уходит спать в одиннадцать, потому что жильцам выдаются ключи от нижней двери, одна-две уборщицы, работающие по утрам, и старый пьяница, который носит чемоданы и выпить клиентам в номер, когда они вызывают. Пьяница, повторяю еще раз, и в придачу склеротик. Допрашивать его - дикая мука. Швейцар утверждает, что у того особое пристрастие к привидениям и что он уже напугал не одного клиента. Вчера вечером, около двадцати двух, швейцар видел, как Арденти возвратился в номер с двумя гостями. Здесь можно приводить хоть по десять перелицованных шлюх, так что два нормальных человека не могли привлечь интереса, хотя швейцар утверждает, что заметил у них иностранный акцент. В половине одиннадцатого Арденти вызвал старца и заказал виски, бутылку минеральной и три стакана. Около часу, может быть в полвторого, старик услышал из двадцать седьмого, что кто-то обрывает звонок. Но судя по тому, в каком виде мы его застали сегодня, к тому моменту старичина уже здорово поднабрался какой-то дряни. Он якобы идет в номер, стучит, не отвечают, он открывает дверь универсальным ключом и видит беспорядок, а полковник лежит на кровати с вытаращенными глазами и с проволокой вокруг шеи. Тот удирает со всех ног, будит швейцара, ни тот ни другой больше идти туда не желают, хватаются за телефон, но линия повреждена. Утром сегодня линия работала превосходно. Но будем верить тому, что они говорят. Тогда швейцар бежит на угол в телефон-автомат и звонит в квестуру, в то время как старичок тащится на квартиру к врачу. В общем, они отсутствуют около двадцати минут, приходят обратно и сидят у себя внизу, перепуганные, доктор тем временем одевается и поспевает в пансион одновременно с машиной полиции. Все подымаются в двадцать седьмой номер, где на кровати никого нет.

- Как никого нет? - переспросил Бельбо.

- Вот так, трупа нет. После чего врач возвращается к себе домой, а мои коллеги осматривают то же, что видите и вы. Снимают показания с портье и с этого старика. Куда девались двое, приходившие к Арденти? А кто их разбе-

рет, могли уйти и от одиннадцати до часу, никто бы не обратил внимания. Были они еще в номере, когда туда поднялся старик? А как можно знать, он пробыл одну минуту, не заглядывал ни в кухонный угол, ни в туалет. Могли они уйти, когда эти два остолопа отправились за помощью, и вынести мертвеца? И это вполне возможно, к тому же имеется лестница, выходящая во двор, а из двора выезд на параллельную улицу. Но прежде всего, кто мне скажет, был ли на самом деле этот труп или полковник удалился до наступления ночи с двумя своими знакомыми, а остальное все старику приснилось? Швейцар твердит, что этому типу не впервой видеть призраков и что несколько лет назад он уже докладывал, будто видел одну постоялицу повешенной в голом виде, а через полчаса она спустилась из номера свежая как цветок, а на раскладушке старика был обнаружен садомазопорнографический журнал, скорее всего, у него родилась великолепная идея подсмотреть за той дамой в замочную скважину и он увидел занавеску, развевающуюся на ветру. Единственный точный факт, которым мы располагаем, это что комната в непотребном виде и что Арденти испарился. Вот я вам рассказал что мог, теперь слово за вами, доктор Бельбо. Единственный имеющийся у нас след - этот листок, найденный под столом. 14 -00, отель Принц Савойский, господин Раковски. 16-00, «Гарамон», доктор Бельбо. Вы подтвердили, что он приходил к вам. Теперь расскажите, как было дело.

22

al des grâles pflihtgesellen von in vrâgens niht enwellen[1].
Wolfram von Eschenbach *Parzival*, XVI, 819

Бельбо говорил недолго, он повторил то же, что было сказано по телефону, почти без новых деталей, не считая второстепенных: что полковник рассказал невнятную историю, как будто он напал на след неких сокровищ, на основании документов, найденных во Франции. Не более того. У нас, сказал Бельбо, сложилось впечатление, что он считает свой секрет опасным, и хотел бы рано или поздно обнародовать его, чтобы не быть единственным хранителем. Он ссылался на опыт каких-то предшественников, которые якобы после разгадки секрета таинственно исчезали. Он готов был показать нам документы, но только после подписания контракта, а Бельбо не мог подписывать контракт, не посмотрев на материалы, и стороны разошлись, договорившись увидеться в будущем. Полковник действительно упоминал о встрече с неким Раковски, добавив, что тот - бывший главный редактор «Журналь дю секрэ». Собирался обратиться к тому за предисловием. Раковски, кажется, советовал ему не торопиться с публикацией. Полковник скрыл от Раковски, что собирается в «Гарамон». Все.

- Ясно, ясно, - сказал Де Анджелис. - Какое он произвел впечатление?

- Человека неуравновешенного. Явно страдает ностальгией по былым геройствам, по иностранному легиону.

- Да, он геройствовал в легионе, и не только там. Мы вообще-то за ним давно присматривали, хотя не очень строго. Знали бы вы, сколько у нас таких молодцов. Его на самом деле зовут не Арденти, хотя французский паспорт - настоящий. Он уже несколько лет появляется в Италии наездами и был опознан, но не стопроцентно, как некий капитан Арковеджи, приговоренный к смертной казни заочно в 1945 году. Сотрудничество с СС, бог знает сколько народу отправлено им в Дахау. Во Франции за ним тоже наблюдали, он был судим за мошенничество и выкрутился чудом. Предположительно, повторяю, предположительно, но не точно, он есть и то лицо, которое под именем Фассотти в прошлом году жульнически предлагало одному мелкому миланскому промышленнику войти с ним в долю для разыскания сокровищ Муссолини. Фассотти утверждал, что знает, где именно перед расстрелом в Донго дуче успел опустить в озеро Комо сундуки с золотом, драгоценностями и документами, и что достаточно нескольких десятков тысяч долларов, чтобы нанять водолазов и катер... Получив деньги, исчез. Теперь и от вас я слышу, что сокровища - его пунктик.

[1] ...чтобы рыцарям Грааля вопросов не задавали.
Вольфрам фон Эшенбах, *Парцифаль*, XVI, 819 (*старонемецк.*).

- Что насчет Раковски? - спросил Бельбо.

- Уже запросили. В «Принце Савойском» действительно зарегистрировался Раковски, Владимир, с французским паспортом. Почтенный господин, особых примет не имеется. Словесный портрет совпадает с тем, который получен от тутошнего швейцара. В аэропорту говорят, что он был зарегистрирован на сегодняшнем раннем рейсе на Париж. Я задействовал Интерпол. Маурицио, есть новости из Парижа?

- Пока что нет, комиссар.

- Вот вам. В общем, полковник Арденти, или кто там за него, появился в Милане четыре дня назад, чем он занимался первые три - поди угадай, вчера в два предположительно встретился с Раковским у того в гостинице, скрыл от того, что направляется к вам... Это существенная деталь. Вечером он возвращается в гостиницу, скорее всего с тем же Раковским и еще с каким-то субъектом. После чего наступает полный туман. Если даже его и не убили, в любом случае номер обыскали. Чего ради? Что они ищут? В его пиджаке - да, вот еще, если он ушел действительно на своих ногах, то в любом случае без пиджака, пиджак с паспортом остался в номере, но не думайте, что этим дело облегчается, потому что старец клятвенно утверждает, что на кровати труп лежал в пиджаке, но что это могла, с другой стороны, быть комнатная куртка, попробуйте работать с подобными показаниями. Ладно, я говорил про пиджак. Там оказалось довольно много денег, я бы сказал, чересчур много... Значит, эти люди искали не деньги. Единственную подсказку в данном деле я могу получить от вас. У полковника были какие-то документы? Как они выглядели?

- Коричневая папка, - сказал Бельбо.

- А по-моему, красная, - вмешался я.

- Коричневая, - повторил Бельбо. - Но я не очень запомнил.

- Красная или коричневая, - сказал комиссар, - но здесь нет никакой. Вчерашние посетители унесли ее. Значит, именно эта папка - ядро детектива. Я думаю, что ваш Арденти совсем не собирался публиковать книгу. Он накопал какие-то данные, чтобы шантажировать Раковского, и пытался использовать издательские контакты как пружины давления на того. Вполне в его стиле. Что дает нам возможность выдвинуть новые гипотезы. Парочка уходит, ограничившись угрозами. Арденти перепуган и решает оторваться, бросает все на свете и забирает только папку. И неизвестно ради какой цели устраивает так, чтобы старик засвидетельствовал, что видел его труп. Хотя это немного слишком романтично и не объясняет перерытую комнату. С другой стороны, если те двое его убили и забрали папку, зачем им забирать еще и труп? Ладно, будем разбираться. Извините, мне необходимы ваши документы.

Он повертел мой студенческий билет. - Философия, так, так.

- Не я один, - парировал я.

- Лучше бы вас было меньше. Значит, занимаетесь тамплиерами. Что я должен читать, чтобы понять все про этих тамплиеров?

Я назвал ему две книги, популярные, но достаточно серьезные. Добавил, что настоящие сведения о тамплиерах относятся только к периоду до процесса, все что было потом - голословные измышления.

- Понятно, понятно, - сказал он. - Еще и тамплиеры на мою голову. На эту группировку у меня еще досье не было.

Появился Маурицио с телефонограммой. - Только что получено из Парижа.

Комиссар прочитал. - Очень прекрасно. В Париже Раковского знать не знают, паспорт с этим номером украден два года назад. Очень превосходно. Господина Раковского на свете нет. Вы говорили про как его там... - он заглянул в свои записи, - «Журналь дю секрэ». Запросим информацию. Но я и без нее знаю, что либо такого журнала нет вовсе, либо он прекратил выходить еще при царе Горохе. Хорошо, господа. Спасибо вам за сотрудничество, может быть, мне придется еще раз-другой вас потревожить. А кстати, последний вопрос. Этот Арденти намекал на свои связи с какими-либо политическими объединениями?

- Нет, - сказал Бельбо. - Намекал, что оставил политику ради сокровищ...

- ...а не был вытурен за бездарность. - Комиссар повернулся ко мне: - Вам, наверно, полковник не понравился.

- Этот тип людей мне несимпатичен, - ответил я. - Но я не давлю их железными проволоками. Разве что мысленно.

- Конечно, конечно. Возиться вам лень. Не беспокойтесь, господин Казобон, я не из тех, кто считает, что все студенты террористы. Идите с богом. Счастливого диплома.

Прощаясь, Бельбо спросил: - Простите, комиссар, просто чтоб знать. Вы из угрозыска или из органов?

- Тонкий вопрос. Мой коллега из угрозыска был тут ночью. Так как потом в архивах обнаружилось кое-что на вашего друга Арденти, к делу подключили меня. Я из органов. Но не знаю, хорошо ли подхожу на свое место. Жизнь не так проста, как можно подумать по детективам.

- Я и сам догадывался об этом, - процитировал старый комикс Бельбо. Пожал руку комиссару и вышел.

Мы ушли, но определенную неловкость я продолжал ощущать. Не в комиссаре было дело, он как раз оказался неплохим, - а во мне самом, я впервые в жизни очутился в скользком положении. Лгал. И Бельбо лгал тоже.

При прощании у подъезда «Гарамона» обоим было не по себе.

- Да ничего мы страшного не сделали, - сказал Бельбо виноватым голосом. - Будет комиссар знать об Ингольфе и катарах или не будет - что это меняет? Зачем повторять такой бред? Полковник мог улетучиться по тысяче причин. Может быть, Раковский из Моссада и наконец восстановил справедливость. Может быть, он работает на какого-нибудь крутого босса, которого наш полковник обжулил. Может быть, это старый дружок по Иностранному легиону и они что-нибудь не доделили. Или киллер из Алжира. Скорее всего, погоня за тамплиерскими кладами занимает второстепенное место в судьбе полковника. Да, я понимаю, исчезла только та папка, красная или коричневая... М-да. Хорошо, что вы мне возразили, тем самым твердо дали понять, что я видел ее только краем глаза...

Я молчал, а Бельбо не знал, как ему закончить.

- Ну, скажите, что я опять сбежал, как тогда на демонстрации.

- Глупости какие. Все правильно. Я пойду.

Мне было его жалко, потому что он чувствовал себя подлецом. Я же не чувствовал, потому что меня еще в школе научили, что полиции надо врать. Из принципа. Но правы те, кто говорит, что от нечистой совести дружба портится.

С того дня мы не встречались. Я был бы для него ходячим упреком, он - для меня.

Но этот случай еще раз доказал ту закономерность, что студент всегда выглядит подозрительнее, нежели выпускник университета. Я проработал еще год и написал двести пятьдесят страниц о суде над тамплиерами. В те времена защита диплома равнялась свидетельству о лояльности по отношению к государству, и поэтому на защите со мной обошлись мягко.

Через несколько месяцев многие студенты приступили к вооруженным акциям, эпоха больших демонстраций под открытым небом заканчивалась.

У меня было ужасно мало идеалов. Но имелось алиби: в лице Ампаро я обнимал стопроцентное воплощение третьего мира. Ампаро отличалась красой, марксистской идеологией, бразильским подданством, энтузиазмом, раскованностью. Все было при ней: восхитительно перемешанная кровь и годовая стажировка в Италии, увы, близившаяся к концу.

Мы встретились на одной вечеринке и я повел себя спонтанно, предложив ей сразу же заняться любовью. Предложение имело успех. Спустя некоторое время та же Ампаро переслала мои бумаги в университет Рио, где как раз требовался преподаватель итальянского. Со мной заключили контракт на два года при возможности продления. В Италии мне становилось тесно, и я

уезжал с удовольствием.

К тому же в Новом Свете, сказал я себе, не будет тамплиеров.

Какая ошибка, прокомментировал я эту мысль в субботу вечером в музее, в перископе. Взойдя по ступеням «Гарамона», я был введен во Дворец. Говорил же Диоталлеви: Бина есть Дворец, который вырастает из первоначального замысла, заложенного в сефире Хохма. Хохма - это источник, Бина - река, берущая начало из него, до тех пор, покуда все не ввергнутся в великое море последней из сефирот, а в сефире Бина уже заранее оформлены все формы.

4
ХЕСЕД

23

Аналогия противоположных есть взаимоотношение света к тени, пика к бездне, полного к пустому. Аллегория, матерь любых догм, есть замена отпечатка - следом, действительности - тенью; она есть ложь истинности и истинность лжи.

Элифас Леви, *Догма высокой магии.*
Eliphas Levi, *Dogme de la haute magie*, Paris, BaillПre, 1856, XXII, 22

Я попал в Бразилию из любви к Ампаро и остался из любви к стране. /.../Ампаро говорила, что в их полушарии, когда вода всасывается в водослив раковины, струя, образующая воронку, вращается не в ту сторону, как у нас. /.../ В те времена я решил не драматизировать эту проблему, но в субботу вечером, в перископе, мне поверилось, что все действительно зависит от теллурических глубинных токов и что Маятник бережет именно этот секрет.

/.../Однажды утром, побывав с Ампаро на ее любимом семинаре по классовой структуре люмпен-пролетариата, мы отправились на машине в сторону взморья. На пляже тут и там виднелись подношения, свечки, ритуальные белые корзины. Ампаро сказала, что это подарки Иеманже, матери вод. Машину мы остановили. Ампаро медленно подошла к кромке прибоя. Я спросил, верит ли она во все это. Она огрызнулась, что верить в это невозможно. Потом добавила: « Бабушка водила меня сюда на пляж и просила богиню вырастить меня красивой, умной и счастливой. Какой это ваш философ рассуждал о черных кошках, коралловых рожках, в смысле «это неверно, но я верю?». Ну так вот: лично я в это не верю - но это верно».

Тогда-то я и решил подэкономить на зарплатах и попытаться съездить в Баию./.../

24

Sauvez la faible Aischa des vertiges de Nahash, sauvez la plaintive Héva des mirages de la sensibilité, et que les Khérubs me gardent[1]

Жозефен Пеладан, *Как становятся феями.*
Josйphin Péladan, *Comment on devient Fée*,
Paris, Chamuel, 1893, p. XIII

Пока я блуждал в сумрачном лесу подобий, получилось письмо от Бельбо.

Дорогой Казобон,

я не знал вплоть до вчерашнего дня, что Вы в Бразилии, я как-то потерял вас из виду и даже не знал, что Вы защитились (мои поздравления), хорошо, что ваши друзья в «Пиладе» смогли дать Ваш адрес. Я считаю, что следует поставить Вас в известность о некоторых новостях, касающихся дурацкой истории с полковником Арденти. Прошло уже больше двух лет, если не ошибаюсь, но все равно мне хочется еще раз попросить у Вас прощения за то, что, не подумав, припутал Вас к этому делу.

[1] Спасите слабую Айшу от головокружения Нахаша, спасите жалостную Хеву от миражей чувствительности, и пусть хранят меня Херувимы (*франц.*).

Я почти забыл об этом злосчастном эпизоде, но две недели назад я совершал прогулку по Монтефельтро и, в частности, побывал в замке Святого Лео. В восемнадцатом веке, кажется, это было папское владение, в общем - папа именно туда сослал Калиостро, заточив его в камеру без двери (туда попадали, в первый и единственный раз, через люк в потолке) и с окошком, сквозь которое приговоренный мог видеть только две приходские церкви. Там на нарах, где Калиостро спал и умер, я увидел букет роз и мне объяснили, что у него до сих пор масса поклонников, паломничающих по калиостровским местам. Самые настырные из пилигримов - члены «Пикатрикса», это миланский кружок со специализацией по мистериософии, выпускающий, в частности, журнал, который называется - оцените фантазию - «Пикатрикс».

Так как я любопытен и досуж, по прибытии в Милан я приобрел номер этого самого «Пикатрикса», из которого почерпнул, что через несколько дней у них намечалось собрание, гвоздем которого по программе было пришествие духа Калиостро. Я пошел посмотреть.

Штаб-квартира имеет следующий вид. Сплошные транспаранты с каббалистическими знаками, куча сычей, филинов, ибисов и скарабеев, а также сомнительных восточных божеств. В глубине виднеется трибуна, на просцениуме - горящие факелы, вместо подставок неотесанные поленья, в самом конце алтарь, на алтаре треугольной формы покров и статуэтки Озириса и Изиды. Вокруг расставлены: Анубис[1], бюст Калиостро (я так думаю; кого же еще?), позолоченная мумия марки «Хеопс», два пятисвечных канделябра, гонг, подпертый двумя переплетенными аспидами, столик, на столике платок с иероглифами, а на нем - пюпитр. Еще там были две короны, две треноги, чемоданного вида саркофаг, трон, кресло под семнадцатый век, четыре разрозненных стула - в общем, гостиная Робин Гуда. Свечи, свечонки, свечуги, сплошное пыление, понятное дело, интеллекта.

Выходят на сцену семь отроков в подрясниках цвета ясного, жара алого - цвета красного, следом за ними главный заклинатель, который в то же время исполняет обязанности заведующего «Пикатриксом» и имеет трогательную фамилию Брамбилла, общую для большинства миланских булочников. Мотая по полу розовой с прозеленью мантией, Брамбилла выводит за собою звезду программы: девицу-медиума.

Выйдя, Брамбилла увенчал сам себя тройною короной с полумесяцем, вытащил ритуальный меч, начертал на просцениуме магические фигуры, адресовался к каким-то ангельским духам, кончающимся на «эль», что сразу напомнило мне псевдосемитскую абракадабру в полковничьем - если помните - послании Ингольфа. Но потом я об этом забыл, потому что затевалось нечто невероятное, микрофоны, стоявшие на подмостках, подключили к синтонизатору, чтобы перехватывать звуковые волны, блуждающие в пространстве. Оператор, к сожалению, справлялся неважно, и в динамиках сначала был слышен джаз, а потом «Радио Москвы». Брамбилла раскрыл свой саркокофр, вытащил оттуда «гримуар»[2], саблю и кадило и завыл «Приидет царствие», да так, что «Радио Москвы» действительно заглохло, хотя потом, в самый драматический момент, оно бабахнуло снова, причем хором веселых казаков, знаете, которые стригут задницами по земле. Брамбилла нашел в своей книге заклинание «Ключ Соломонов», поджег пергамент на треноге, слава богу, обошлось без пожара, покричал еще каких-то божеств из храма Карнака, упрашивая, чтоб они восставили его на кубический камень Есода, а потом стал домогаться какого-то Товарища № 39, и чувствуется, что этот товарищ хорошо знаком всей собравшейся публике, потому что по рядам прошло рыданье. Одна слушательница впала в транс и закатила глаза, торчали белки. « Врача, - закричали, - врача! » Брамбилла тогда обращается к Высокому Могуществу Пентакулов, и девица, которую тем временем посадили в лжесемнадцативечное кресло, начинает трястись, подскакивать, Брамбилла наседает на нее с воплями, требуя выхода на связь, точнее, требуя связи от Товарища № 39, который, как к тому времени я догадался, не кто иной как сам Калиостро.

И тут-то начинается неприятная часть рассказа. Девица в самом жалком виде, она, скорее всего, действительно страдает, с нее льет пот, она рычит, корчится, корячится и изрыгает какие-то несвязанные выкрики - не то храм, не то врата, открыть, создать пучину силы, взойти на Великую Пирамиду,

---

1 Египетское божество, покровитель умерших, часто изображался в виде человека с головой собаки или шакала.

2 Черная книга, используемая для заклинаний.

Брамбилла клубится по сцене, жонглирует гонгом и зычно кличет Изиду, я взираю на все это, и вдруг девица, на переходе от бульканья к реву, выдает на-гора шесть печатей, сто двадцать лет ожидания и тридцать шесть неведомых. То есть никакого сомнения быть не может. Она имела в виду записку из Провэна. Я так и замер. Но в это время девица выдохлась, рухнула как куль, Брамбилла успокаивал ее, поглаживая виски, благословлял собравшихся своим кадилом и говорил, что собрание окончено.

Отчасти от неожиданности, отчасти от любопытства, я приближаюсь к девице, которая тем временем пришла в себя и уже надела потертый макинтош. И тут меня кто-то берет под локоть. Поворачиваюсь - комиссар Де Анджелис. Говорит мне оставить девицу в покое, от нас она не убежит. А мне предлагается пройти с ним, выпить кофе. Я бреду за ним, ощущаю, что меня взяли с поличным. В баре он меня спрашивает, что я делал там и почему хотел говорить с девицей. Я негодую, говорю, что у нас еще пока не тоталитаризм и я могу ходить куда угодно и разговаривать с кем угодно. Комиссар извиняется и объясняет: в расследовании дела полковника у них полный штиль, но они попробовали понять, чем он занимался первые два дня в Милане. Через год, вообразите себе, благодаря счастливейшему совпадению показаний, обнаружилось, что кто-то видел, как Арденти выходил из штаб-квартиры Пикатрикса с этой вот девицей. С другой стороны, дама представляет собой интерес и для отдела борьбы с наркобандами, как сожительница одного из их «героев».

Ну, я сказал ему, что забрел на этот шабаш совершенно случайно, но был удивлен, услышав от этой девушки одну фразу о шести печатях, которую в свое время произносил и полковник. Он заметил, что довольно интересно, что через два года я так детально помню фразы, которые произносил полковник, а тогда, на следующий день после встречи, мог припомнить только невнятный разговор о сокровищах тамплиеров. Я сказал ему на это, что именно о сокровищах полковник и произнес эту фразу и что сокровище это скрыто что-то вроде под шестью печатями, и что в тот момент мне не показалась эта информация ценной для полиции, учитывая, что все сокровища запечатываются шестью печатями и золотыми скарабеями. Комиссар мне на это говорит, вот именно, не понимаю почему вас настолько поразили слова медиума, если на всех сокровищах припечатывают по шесть скарабеев. Тут я протестую против тона и говорю, что перед ним не рецидивист, и ранее не судимый, и вообще хотелось бы понять... Он меняет тон, с широкой улыбкой начинает делиться соображениями. По его мнению, не странно, что Арденти подучивал девушку говорить именно это, он, видимо, хотел ее использовать как средство связи в поисках своих астральных контактов. Такая бесноватая - будто простая губка, фотографическая пластинка, ее подсознание больше всего похоже на луна-парк, товарищи из «Пикатрикса» промывают ей мозги каждый божий день, и не удивительно, что в состоянии транса - а в транс она действительно впадает по-настоящему, у нее с психикой большие проблемы - ей припоминаются какие-то речи, которые она слышала в давнишние времена.

Казалось бы, хорошо, да только через два дня Де Анджелис появляется у меня в конторе и говорит мне: вы подумайте только, он пошел вчера проведать эту девицу, а ее дома нет. Он спрашивает у соседей, никто ее не видел с вечера накануне, приблизительно со времени выступления. Комиссар встопорщивается, чует неладное, ломает дверь в квартиру, там все вверх тормашками, простыни на полу, подушки в коридоре, повсюду мятые газеты, ящики выкинуты. Исчезла и она, и ее сутенер - содержатель - сожитель или как хотите называйте.

Он говорит, что если я хоть что-нибудь знаю, лучше, если я заговорю немедленно, потому что довольно странно, что девица испарилась, и причин этому может быть, по его мнению, две: либо стало заметно, что комиссар Де Анджелис ею интересуется, либо кто-то увидел, что доктор Якопо Бельбо хочет с ней поговорить. А это значит, что все рассказанное ею в трансе, не исключено, имеет достаточно серьезную подоплеку, и, возможно, даже сами Они, Те, непонятно кто, прежде не отдавали себе отчета в том, что девица настолько информирована. « Вообразите кстати, что какому-либо моему коллеге западает в голову, что укокошили ее вы, - добавляет Де Анджелис с ласковой улыбкой. - И вы убедитесь, что лучше нам с вами маршировать в ногу ». Тут мое терпение начало лопаться, Бог свидетель, что это со мной бывает не так уж часто, но я, видимо, дал это почувствовать и заодно спросил

полковника, с какой стати человек, которого не оказывается дома, непременно должен быть кем-то убит, неважно, мною или не мною. Тот в ответ спросил, а помню ли я эпизод с трупом полковника. Я на это сказал, что убил я ее или похитил, но произошло это тогда, когда я находился в его обществе. Он сказал, что странно, что я так хорошо знаю, когда это произошло, и что в любом случае он наблюдал меня только до полуночи, а что случилось потом, ночью - за это он не отвечает. Я его спросил, всерьез ли он говорит всю эту нелепицу. Он меня спросил, читал ли я в своей жизни когда-нибудь детективы. И знаю ли я, соответственно, что полиция должна подозревать всех и любого, у кого не имеется на данный случай алиби блистательного, как Хиросима. Что он предлагает свою голову для пересадки сию же самую минуту, если я способен предоставить алиби на период с полуночи того вечера до следующего утра.

Что мне сказать вам, Казобон. Может быть, лучше было бы выложить ему все. Но в нашей деревне любят стоять на своем, а давать задний ход не любят.

Я пишу Вам потому, что точно так же, как я отыскал Ваш адрес, способен отыскать его и комиссар. Если он захочет связаться с Вами, Вы как минимум будете знать, какой линии придерживался я. Но так как эта линия мне кажется не самой лучшей, если Вы считаете для себя возможным, расскажите ему все. Мне очень совестно, простите за откровенность. Я чувствую себя замешанным сам не знаю в чем, и ищу любого оправдания, хотя бы в минимальной степени достойного, и не нахожу. Наверное, действительно сказываются гены деревенских предков. Упрямцы и тупицы. Мерзкий народ.

Вся новелла кажется мне - как говорил знакомый доктор из Вены - unheimlich[1].

Ваш Якопо Бельбо

25

... и все причастные тайн, многочисленные, преданные, объединенные: иезуитизм, магнетизм, мартинизм, философия камня, сомнамбулизм, эклектизм - все родилось от них.

Ш.-Л. Каде-Гассикур, *Гробница Жака де Моле*
C.-L. Cadet-Gassicourt, *Le tombeau de Jacques de Molay*,
Paris, Desenne, 1797, p. 91

Письмо обеспокоило меня. Не из-за того, что меня мог бы начать разыскивать Де Анджелис, тоже мне опасность, на другом полушарии, а из каких-то других, более неуловимых причин. Тогда я решил: вероятно, из-за того, что оно рывком возвращало меня в ту жизнь, которую я оставил. Теперь-то я знаю, что смутила меня очередная цепочка совпадений, подозрение на аналогию. Инстинктивная реакция была - раздражение: все тот же Бельбо, все с теми же комплексами. Я решил вытеснить это из памяти и Ампаро ничего не рассказал.

Хорошо, что пришло второе письмо через два дня, в котором Бельбо меня успокаивал.

История с бесноватой обрела рациональное объяснение. Один осведомитель известил полицию о том, что любовник девчонки оказался в эпицентре неприятной разборки по поводу партии наркотиков, которую он распродал в розницу вместо того, чтобы передать честному оптовику, оплатившему все авансом. Таких штук у них очень не любят. Так что они просто уносили ноги. Копаясь в газетах и журналах, разбросанных у них по квартире, Де Анджелис нашел кое-какие «Пикатриксы» с жирными красными подчеркиваниями. В одном месте речь шла о сокровищах тамплиеров, в другом о розенкрейцерах, которые жили не то в замке, не то в пещере, как бы то ни было, там была надпись POST 120 ANNOS PATEBO[2] и об этой компании говорилось, что они - «тридцать шесть незаметных». Таким образом, у Де Анджелиса больше не было вопросов. Бесноватую подпитывали этой литературой (кстати, ею же питался и наш полковник), чтобы она бормотала это и подобное, когда впадала в транс. Расследование закрывалось и передавалось в отдел наркобанд.

---

1 Unheimlich - тревожащий (термин Фрейда) (*немецк.*).
2 Явлюсь через 120 лет (*лат.*).

Письмо Бельбо прямо дышало облегчением. Гипотеза Де Анджелиса выглядела наиболее экономичной. /.../

Время близилось к концу 1975 года. Я решил больше не заниматься подобиями и уделить свою энергию работе. В конце концов меня наняли преподавать итальянскую культуру, а не тамплиерство.

Я углубился в философию гуманизма и обнаружил, что, не успевши выбрести из сумерек Средневековья, люди светского современного мышленья не нашли ничего лучшего, как ухватиться за каббалу и чародейство.

Прообщавшись два года с гуманистами, читавшими заклинания, чтобы принудить природу сделать то, что она совсем не собиралась делать, я получил новые сообщения из Италии. Оказалось, что мои давние друзья, если не все, то многие, стреляли в затылок тем, кто с ними был не согласен, чтобы принудить людей сделать то, что они совсем не собирались делать.

Я не в состоянии был это постичь. Я решил, что, значит, отныне составляю собою часть третьего мира и что поездка в Баию назрела. Я положил в чемодан историю культуры Возрождения и давно мною купленную книгу о розенкрейцерах, пылившуюся на стеллаже.

26

Все предания на земле должны рассматриваться как переводы материнского, исконного предания, которое с самого Начала было поверено согрешившему человеку и его чадам.
Луи-Клод де Сен-Мартен, *О духе вещей*
(*«О духе традиций вообще»*)
Louis-Claude de Saint Martin, *De l'esprit des choses*,
Paris, Laran, 1800, II, "De l'esprit des traditions en général"

И мне открылся Салвадор, Салвадор да Баия де Тодос ос Сантос - Всех Святых, «черный Рим» с тремястами шестьюдесятью пятью церквами, осыпающими собой склоны и приникающими к морю, и прославляющими всех богов африканского пантеона.

У Ампаро нашелся знакомый художник, примитивист, он рисовал на крупных деревянных досках мириады библейских и апокалиптических видений, раскрашенных, как средневековые миниатюры, щедро используя как коптские, так и византийские мотивы. Он, разумеется, исповедовал марксизм, революцию полагал неизбежной, а в основном нежился целыми днями в ризницах святилища Носсо Сеньор де Бомфим (Господа Заступника), где в пароксизме horror vacui[1] стены и потолок были облиты золотом, обметаны каменьями, плетеницы благодарственных даров свисали с потолка, дико и прекрасно сочетались между собою серебряные сердечки, деревянные костыли, руки, ноги, изображения чудесных избавлений от сребролещущих штормов - смерчей - мальстремов - ураганов. Он привел нас в дарохранительницу соседнего храма, наполненную древней утварью из пахучей жакаранды. - Кто изображен на этой картине, - спросила Ампаро у пономаря, - Святой Георгий?

Пономарь покосился заговорщицки. - Считается, что Георгий, лучше так, а то каноник больно злится. А вообще это Ошосси.

Два дня художник водил нас от паперти к паперти, из капеллы в капеллу, перед нами громоздились фасады, изукрашенные, как серебряная посуда, почернелые от времени. В церквях нами занимались морщинистые, хромоногие служки, дарохранительницы изнывали от золота и мельхиора, от перегруженных ларей и бесценных окладов. Там вдоль стен в хрустальных гробах агонизировали натуральной величины святые, сочащиеся кровью, с разверстыми язвами, усеянными рубиновой росою, и Христы, искореженные мукой, их ноги были алы от кровотечений. Из всего этого златозарного барокко вдруг проглядывали ангелы с этрусскими лицами, романские грифоны и восточного вида сирены подмаргивали с капителей.

Я не мог оторваться от старых улиц с их поющими именами - Руа да Агониа, Авенида дос Аморес, Травесса де Шико Дьябо. Мы попали в Салвадор как раз в период, когда правительство, или кто там за него, приняло

[1] Horror vacui - страх пустоты (*лат.*).

решение оздоровить старый город, искоренив тысячи борделей, но процесс был еще на полупути. От подножия церквей, безлюдных и истомленных, как проказой, собственным великолепием, растягивались во все стороны вонючие переулки, а в них кишели пятнадцатилетние негритянские шлюхи, старухи, торговавшие африканскими сластями, перегораживали улицы, сидели с кипящими котлами, жгли костры, и тут же оравы юных сутенеров отплясывали на пятачке между сточными канавами под транзистор из бара. Древние дворцы, построенные колонизаторами, увенчанные гербами, которые уже никто не мог бы распознать, давно стали тут домами терпимости.

На третий день у нашего художника была деловая встреча, и мы пошли вместе с ним в бар одной гостиницы в Верхнем городе, в отреставрированном квартале, где было полным-полно шикарных антикварных магазинов. Встреча была с одним господином, итальянцем, собиравшимся приобрести за хорошую цену большую картину, три метра на два, на которой несметные ангельские рати готовились задать трепку легионам нечистой силы.

Так состоялась наша встреча с господином Алье. Он был в приличнейшем сером костюме, невзирая на жару, в золотых очках, с розовыми щеками и серебрящейся шевелюрой. Он поцеловал руку Ампаро, как будто ему были незнакомы другие способы сказать здрасте, и заказал шампанское. Художник торопился, Алье вручил ему пачку тревеллер-чеков и попросил доставить картину в гостиницу. Мы же задержались поболтать, Алье вполне владел португальским, но говорил с лиссабонским произношением, чем усиливался его старосветский шарм. Он расспрашивал о нас, поделился соображениями о возможных женевских корнях моей фамилии, потом поинтересовался семейной историей Ампаро и непонятно откуда угадал, что ее род происходит из Ресифи. Что же касается его собственного происхождения, он выразился туманно. - Мои истоки очень, очень отдаленны, и во мне смешались гены бесчисленных рас. Я ношу итальянское имя по названию итальянского имения одного из предков. Да, так называемая голубая кровь, но кто в наше время обращает на это внимание. В Бразилию меня привело любопытство. Меня манят все формы Предания.

Потом он сказал, что в Милане, где он проживает уже несколько лет, у него богатая библиотека по религии. - Приходите посмотреть, когда вернетесь на родину. У меня есть интересные издания - от афро-бразильских ритуалов до культов Изиды в период поздней Империи.

- Обожаю культы Изиды, - произнесла Ампаро, которой нравилось морочить людей, изображая светскую дуру. - Вы, наверное, знаете культы Изиды в совершенстве?

Алье отвечал, скромно поклонившись:

- Я знаю то немногое, что сам видел.

Ампаро попыталась отыграться.

- А это было не две тысячи лет назад?

- Я ведь не так молод, как вы, - усмехнулся Алье.

- Вы как Калиостро, - сказал тогда я. - Ведь это он, кажется, проходя мимо распятия, громко сказал кому-то из сопровождающих: «Говорил же я в тот вечер этому иудею: будь осторожнее! Он не послушал, и вот что вышло».

Алье напрягся, и я понял, что пошутил неуместно. Естественно, я стал извиняться, но наш хозяин перебил меня с успокоительной улыбкой. - Калиостро был лгуном, ибо о нем прекрасно известно, когда и где он был рожден, и ему, к слову, не удалось прожить даже одну порядочную жизнь. Все это бахвальство.

- Да уж я думаю...

- Бахвальство и ничего более, - настойчиво продолжал Алье. - Однако это не означает, что не существовали - в частности они и ныне существуют - некие лица, способные прожить не одну, а несколько жизней. Наука пока еще настолько мало осведомлена о процессе старения, что я не исключаю, что смерть является просто-напросто результатом неправильного воспитания.

Калиостро был хвастуном, однако граф Сен-Жермен[1] хвастуном не был, и когда он утверждал, что обучился многим химическим секретам древнейших египтян, он нисколько не преувеличивал. Но так как, когда он упоминал подобные эпизоды, никто ему не верил, он из вежливости к собеседникам делал вид, будто говорит в шутку.

- Вот вы делаете вид, что говорите в шутку, чтобы уверить нас, что говорите правду, - сказала Ампаро.

- Вы не только прекрасны, но еще и необыкновенно восприимчивы, - ответил Алье. - Однако заклинаю, не верьте моим словам. Если бы я действительно предстал перед вами в огнедышащем мареве моих истинных столетий, ваша краса в тот же час бы увяла, и я никогда бы не смог себе этого извинить.

Ампаро была завоевана, я же ощутил покалыванье ревности. Я перевел разговор на церкви, на того Святого Георгия-Ошосси, которого мы недавно видели. Алье на это сказал, что нам обязательно нужно попасть на праздник кандомбле. - Не ходите туда, где берут деньги за вход. Настоящее кандомбле - то, где вас ни о чем не просят, не просят даже верить. Только наблюдать, уважительно, конечно, в духе той же толерантности ко всем верам, с которой они принимают вас самих вместе с неверием вашим. Некоторые «матери святого» или «отцы святого» на вид только что вышли из хижины дяди Тома, но обладают культурой доктора теологии из Грегорианского института.

Ампаро накрыла рукою его руку. - Возьмите нас с собой! - сказала она. - Меня водили только один раз, много лет назад, в шатер умбанды, но я ничего не помню, помню только ужасное волнение...

Алье, судя по всему, был растревожен этим прикосновением, но руки не отнял. Только, как я имел возможность наблюдать неоднократно в будущем, движением, характерным для минут его раздумья, другой рукой он вынул из жилета крохотную шкатулочку из золота и серебра, вроде табакерки, с агатовой крышкой. На столике бара была зажжена небольшая свеча, и Алье, как бы не нарочно, приблизил к огню свою коробочку. Мы увидели, что от жара агат сделался бесцветным, и на его месте возникла тончайшая миниатюра зеленью, лазурью и золотом, изображающая пастушку с корзиною цветов. Он повертел свою штучку в пальцах с рассеянным видом, как люди перебирают четки. Заметил, что я смотрю внимательно, усмехнулся, спрятал безделушку в карман.

- Волнение? Не хотелось бы мне, моя нежная госпожа, чтобы кроме восприимчивости вам была свойственна также чрезмерная чувствительность. Это изысканнейшее свойство, в особенности когда сочетается с красотою и с обаянием ума, но опасное для тех, кто отправляется в такое место, не зная, чего ищет и что его ждет...С другой стороны, прошу вас, не путайте умбанду и кандомбле. Во втором случае мы имеем дело с автохтонным афро-бразильским культом, первое же - достаточно поздний цветок, распустившийся, когда привили к туземным ритуалам побеги европейской эзотерической культуры, полной мистицизма, я бы сказал, тамплиерства...

Тамплиеры, похоже, гонялись за мною повсюду. Я сказал Алье, что ими занимался. Он посмотрел на меня с интересом. - Любопытное совпадение, мой дорогой друг. Здесь, на широтах Южного Креста, встреча с юным тамплиером...

- Я не хотел бы, чтоб вы меня сочли адептом...

- Ну что вы, дорогой Казобон. Знали бы вы, сколько несерьезности бытует в этой сфере.

- Знаю, знаю.

- Тогда о чем говорить. Но мы должны увидеться до вашего отъезда.

И мы назначили друг другу встречу на другой день, с тем чтобы отправиться вместе на исследование грандиозного портового базара. /.../

---

[1] Граф Сен-Жермен (? - 1784) - известный французский авантюрист, прославился как блестящий рассказчик, считается учителем Калиостро.

27

Рассказывая однажды, что он встречался с Понтием Пилатом в Иерусалиме, он досконально описал жилище наместника и перечислил блюда, поданные к столу. Кардинал де Роган, полагая, что слушает вымышленный рассказ, обратился к камердинеру графа Сен-Жермена, седоволосому и с виду почтенному: «Друг мой, сказал он, мне трудно верить всему тому, что рассказывает ваш патрон. Что он чревовещатель, это я допускаю; что он умеет изготовлять золото - пусть и так; но что ему лет уже две тысячи и что он обедывал с Понтием Пилатом - это для меня чересчур. Это ведь шутка, не правда ли?»- «Не могу знать, милостивый государь, - отвечал с наивным видом камердинер, - я на службе у господина графа всего только четыреста лет».

Коллен де Планси, *Инфернальный словарь*
Collin de Plancy, *Dictionnaire infernal*, Paris, Mellier, 1844, p. 434

Шли дни, я был целиком захвачен Салвадором. В гостинице я бывал немного. Перелистывая именной указатель книги о розенкрейцерах, я обнаружил там графа Сен-Жермена. Смотри-ка, сказал я сам себе, прямо как на заказ.

Вольтер писал о нем: «человек, никогда не умиравший, который знал все», но Фридрих Прусский был с ним не согласен и именовал Сен-Жермена «смехотворный граф». Хорас Уолпол полагал, что это был некий итальянец, или испанец, или поляк, разбогатевший в Мексике, а после этого бежавший в Константинополь вместе с драгоценностями жены. Самые достоверные сведения о нем содержатся в воспоминаниях мадам Оссе, камеристки маркизы де Помпадур (хорошая рекомендация, скептически вставила Ампаро). Он сменил великое множество имен: в Брюсселе был Сюрмоном, в Лейпциге Уэллдоном, в других местах - маркизом Эмар, Бедмар, Бельмар, графом Солтыковым. До своего ареста в Лондоне в 1745 году, он был там славен как музыкант, играл по салонам на скрипке и на клавесине. Через три года в Париже он предложил свои услуги Людовику Пятнадцатому в качестве специалиста по красителям, взамен истребовав себе резиденцию в замке Шамбор. Король использует его для дипломатических поручений в Голландии, там он впутывается в некрасивую историю и вынужден снова бежать в Лондон. В 1762 году он в России, потом - опять в Бельгии. Там его встречает Казанова, который рассказывает о том, как граф превратил монету в золото. В 1776 году он при дворе Фридриха II, показывает тому разнообразные химические проекты, а через восемь лет после этого умирает в Шлезвиге, у ландграфа Гессенского, для которого устраивал фабрику для производства красок.

Ничего экстраординарного, стандартная карьера авантюриста восемнадцатого века, меньше амуров, чем у Казановы, и надувательства не так театральны, как у Калиостро. В конечном счете, за вычетом нескольких провалов, в глазах сильных мира его репутация не так уж плоха, он ловит их всех на алхимическую наживку, однако с промышленным уклоном. Но именно вокруг его фигуры, безусловно в результате его же направленных усилий, складывается легенда о бессмертии. Не раз и не два в салонной беседе от него слышали рассказы о событиях глубоко древних так, как будто он их видел собственными глазами. Он создавал свой миф непринужденно, под сурдинку.

В книге цитировался также «Гог» Джованни Папини, где описана ночная встреча героя на палубе трансатлантического парохода с Сен-Жерменом. Истомленный тысячелетним возрастом и воспоминаниями, переполняющими память, граф находится в отчаянии, как знаменитый борхесовский Фунес[1] - только текст Папини написан раньше, в 1930 году. « Не думайте, что наша участь так завидна, - говорит Гогу граф. - Столетия два проходит, и невыразимая докука охватывает собою несчастных бессмертных. Мир монотонен, история ничему не учит людей и в каждом поколении все те же страхи, все те же страсти, события не повторяются, но одно напоминает другое... новости, открытия, откровения - все изживает себя. Я могу признаться только вам,

[1] Рассказ Борхеса «Фунес, чудо памяти» опубликован в 1944 году.

сейчас, когда нас двоих слышит только Красное море: мое бессмертие мне надоело. Земля уже не готовит мне секретов, а на мне подобных я не надеюсь».

- Любопытный персонаж, - сказал я Ампаро. - Ясно, что наш друг Алье работает под него. Зрелый, даже перезревший джентльмен, с деньгами все в порядке, свободное время есть, как и наклонность к сверхъестественному...

- Реакционный склад ума, достаточно смелый, чтобы стать на грань декадентства. На самом деле я предпочитаю этот тип демократическому буржуа, - доложила Ампаро.

- Вимен пауэр[1], вимен пауэр, а потом пускаете слюни от того, что вам чмокнули ручку.

- Это вы нас довели. Доводили в течение многих столетий. Дайте нам время как следует эмансипироваться. Я же не говорю, что хочу за него замуж.

- И на том спасибо, - сказал я.

На следующей неделе Алье позвонил сам. Он договорился на сегодняшний вечер, что нас примут на террейро де кандомбле. К ритуалу нас не допустят, потому что иалориша не доверяет туристам, но она собственной персоной встретит нас до начала церемонии и проведет экскурсию по террейро.

Алье заехал за нами на машине и мы покатили по направлению к фавелам - бедняцким пригородам, с другой стороны горы. Здание, у которого мы остановились - какой-то брошенный фабричный павильон, - охранялось старым негром, он и ввел нас на территорию, предварительно окурив какою-то очистительной смолою. По ту сторону забора виднелся жиденький сад, посреди которого стояла огромная корзина из пальмовых листьев, наполненная божьими лакомствами - comidas de santo.

Внутри в огромном цеховом помещении все стены были увешаны картинами, благодарственными подношениями, африканскими масками. Алье пояснил нам, как организован зал. В глубине поставлены скамьи для непосвященных, ближе к середине - помост с музыкальными инструментами, стулья для оганов. - Оганы, так называются почитаемые люди, не обязательно верующие, но уважающие культ. Тут в Баие великий Жоржи Амаду - оган на одном террейро. Его назначила Иансун, повелительница войны и ветра.

- А откуда возникли эти божества? - спросил я.

- Они прошли сложный путь. Прежде всего, важное значение имеет суданская ветвь, которая укоренилась на севере на самом раннем этапе завоза рабов. Из этого этнического куста берет свое начало кандомбле, прославляющее африканских божеств ориша. В южных штатах Бразилии сначала преобладало влияние групп банту, но потом смешивания самого разного рода в геометрической прогрессии привели к полной неузнаваемости исходного материала. Поэтому на севере культы исповедуются в соответствии с африканскими религиями, а на юге примитивная макумба эволюционировала, приведя к появлению умбанды, в которой присутствуют и католицизм, и кардецизм, и европейский оккультизм...

- Не слышу тамплиеров. Слава Аллаху.

- Тамплиеров я упомянул ради метафоры. В любом случае сегодня вы действительно о них не услышите. Но пути синкретизма почти что неисповедимы. Вы видели перед дверью, рядом с Божией снедью, железную статуэтку, напоминающую черта с рогатиной, у его ног - множество вотивных[2] подношений? Это Эшу, имеющий огромную силу в умбанде, но не в кандомбле. И тем не менее в кандомбле его почитают в качестве как бы промежуточного божества, аналога пониженному в должности Меркурию. Эшу вселяется в участников умбанды, но не кандомбле. Но все-таки Эшу почитается и здесь. Глядите, там под стенкой... - и он показал нам на раскрашенные статуи: индейца и старого негра, присевшего покурить трубку. Негр был в белой повязке, индеец - голый. - Это «прето вельо» и «кабокло», духи покойников, на

[1] Women power - сильная позиция женщины - лозунг движения за эмансипацию на Западе в 60-70-е гг. XX в. (*англ.*).

[2] От лат. votum - жертва, приношение по обету.

умбанде они главные герои. Что они делают здесь? Принимают почести, но в радении не участвуют, потому что во время кандомбле восстанавливается связь только с африканскими божествами, ориша; тем не менее и этих не забывают.

- А есть что-то общее в двух культах?

- Скажем так: для всех афро-бразильских религий в любом случае характерно, что во время ритуала участники впадают в транс и в их тело входит сверхъестественная сила. На кандомбле - ориша, в умбанде - духи усопших.

- Я забыла свою страну и свою расу, - сказала Ампаро. - Боже милостивый, немножко Европы и немножко исторического материализма - и у меня из головы вытеснилось все. А ведь об этом в свое время мне рассказывала бабушка...

- Немного исторического материализма? - усмехнулся Алье. - Мнится мне, я что-то об этом слышал... Как же, как же, апокалиптическое верование, открытое уроженцем Трира...

Я прижал к себе локоть Ампаро. - Но пасаран, любовь моя.

- Вот это да, - охнула она.

Алье, вероятно, расслышал наш полушепотный разговор. - Могущество синкретизма почти что неисповедимо, моя дорогая. Если вам больше нравится, я могу предложить политическую интерпретацию того же самого процесса. Законы девятнадцатого века возвратили рабам их свободу, но в стремлении искоренить следы былого позора были уничтожены любые, в том числе документальные свидетельства времен работорговли. Рабы становятся вольными, но у них нет прошлого. Исходя из этого, они стремятся восстановить хотя бы коллективное самосознание, поскольку родового и семейного они лишились. Этим и обусловлен возврат к корням. Таков их специфический способ противостоять, как выражается ваше юное поколение, давлению верхов.

- Но если вы только что сами говорили, что в дело замешаны эти европейские секты... - возразила Ампаро.

- Моя милая, чистота - роскошь, а рабам достается что дают. Но они мстят. И мстя, захватывают в плен больше белых, чем вы можете подумать. Изначальные африканские культы отличались всеми слабостями, свойственными религиям, были привязаны к месту, к этносу, не имели будущего. Но соприкоснувшись с мифами колонизаторов, они сумели воспроизвести античное чудо: вдохнули новую жизнь в мистерийные культы второго и третьего веков нашей эры, возникшие в Средиземноморском регионе из религии одряхлевающего Рима и из тех древних заквасок, которые бродили в Персии, Египте, доиудейской Палестине... Во времена поздней Империи в Африку попадают огромные заряды средиземноморской религиозности, и Африка их аккумулирует, накапливает, конденсирует. Европу загубило христианство, настоянное на «государственном интересе», в то время как Африка принимала в себя сокровища знания и тихо копила их с древнейших пор, те самые сокровища, которыми во времена египтян она поделилась с греками, а те бессмысленно промотали свое богатство....

28

Есть тело, которое объемлет весь единый мир, и представляй его в круговой форме, ибо это есть форма Всего... Вообрази теперь, что в круге этого тела пребывают 36 деканов, в центре между кругом всеобщим и кругом солнопутья, разделяя эти два круга и как бы ограничивая зодиак, увлекаемые вдоль зодиака с планетами... Смена царей, рост городов, голод, чума, отливы морей, земной трус, ничто из этого не бывает помимо влияния деканов....

Герметический корпус.
Corpus Hermeticum, Stobaeus, excerptum VI

- Да что это за сокровища такие?

- Вы представляете себе, как грандиозна была эпоха второго - третьего веков после пришествия Христова? Не роскошами империи на излете ее владычества, а тем, что попутно расцветало в средиземноморском бассейне. В

Риме преторианцы потрошили императоров, а в Средиземноморье звенела слава Апулея, вершились мистерии Изиды, наблюдался великий возврат духовности - неоплатонизм, гностицизм... Благословенные времена, когда христиане еще не захватили власть в свои руки и не начали посылать на смерть еретиков. О дивная эпоха, царствование Нуса[1], поэзия экстаза, присутствие явлений, эманаций, даймонов и ангельских когорт. Это знание диффузное, несвязное, древнее, как древен мир, оно восходит ко временам ранее Пифагора, к брахманам Индии, к евреям, к волхвам, к гимнософистам и даже к варварам самого крайнего севера, к друидам Галлий и Британских островов. В свое время греки называли этих пришельцев варварами, потому что те бормотали бур-бур, вар-вар, не умели изъясниться, их наречия для изнеженного уха звучали как песий лай. А в ту эпоху, о которой сейчас речь, наоборот, считалось, что варвары гораздо более сведущи, чем эллины, именно потому, что их языки скрытны. Вы думаете, все, кто будет плясать сегодня, знают тайный смысл всех песен и магических имен? К счастию, нет, каждое непонятное слово для них - упражнение для дыхания, мистические вокализы. О, эпоха Антонинов... Мир был полон поразительных совпадений и тончайших подобий, следовало проницать их, проницаться ими, обращаться ко снам, оракулам, волшбе, что позволяло воздействовать на природу и на ее силы, подвигая подобное подобным. Мудрость неуловима, летуча, неподвластна ни одной мере. Вот почему в ту эпоху бог-победитель это Гермес, изобретатель любых уловок, бог перекрестков и воров, одушевитель писательства, искусства уклончивого и гибкого, покровитель навигации, уводящий вдаль за все границы, туда, где все смешалось на горизонте, бог подъемных лебедок, помогающих отрывать камни от почвы, и оружия, умеющего претворять жизнь в смерть, бог водяных насосов, вздымающих в воздух жидкую стихию, бог философии, которая обманывает и манит... Знаете, где живет Гермес в наше время? Да тут, за дверью, его называют Эшу, он у богов на посылках, посредник, коммерсант, не ведающий различий между злом и добром.

Взгляд его стал лукавым, почти вызывающим./.../- Моя милая, только что вы посмотрели на меня с мыслью: он из «бывших». Но кто на самом деле - вы или я - живет в прошлом? Вы, желающая подарить своей стране все ужасы трудящегося, индустриального века, или я, желающий, чтобы наша бедная Европа снова переняла естественность и веру у детей рабов?/.../ Но вот к нам идет мать святого, иалориша.

Встреча с аббатисой здешнего террейро состоялась в спокойной, сердечной, народной и в то же время интеллигентной обстановке. Это была огромная негритянка с эмалевыми зубами. На первый взгляд - торговка, а поговорив с ней немного, вы начинаете понимать, почему именно такие бабы занимают главенствующее положение в культурной жизни Салвадора.

- К примеру, ориша - это существа или силы? - спросил я ее. Мать святого ответила, что конечно же, это силы: вода, ветер, листья, радуга. Но разве помешаешь простонародью видеть в них своеобразные отображения воинов, женщин, святых католической церкви? Вот вы, сказала она, не почитаете ли космическую энергию в обличии девственницы? Самое важное - поклоняться неким силам. Форма же представлений в конкретных случаях соответствует уровню восприятия каждого.

Потом она вывела нас в сад за павильоном, чтобы осмотреть часовни до начала священнодействия. В саду нам показали дома ориша. Команда негритяночек в баиянских костюмах суетилась там в пылу последних приготовлений.

Дома ориша были разбросаны по саду в беспорядке, как капеллы на святой горе, и на каждом было вывешено изображение соответствующего святого. Внутри каждой хижины, если заглянуть, выделялись резкие, яркие цвета венков, статуй, свежеприготовленных лакомств, поднесенных богам. Белый для Ошала, голубой и розовый для Иеманжи, красный и белый для Шанго, желтый и золотой для Огуна... Посвященные становились на колени, целовали порог, осеняли себя прикосновением ко лбу и за ухом.

[1] Мысль, разум, дух - одно из понятий древнегреческой философии.

- Все же, думал я, Иеманжа - это то же, что Пречистая Дева Непорочного Зачатия, или нет? Шанго - Святой Иероним?

- Не задавайте чересчур трудных вопросов, - предостерег меня Алье. - В случае умбанды ответить было бы еще сложнее. В родословную Ошала входят святой Антоний и святые Козьма и Дамиан. Иеманжа включает в себя сирен, ундин, кабокло как морских, так и речных, поверия о духе моряков, о путеводных звездах. В восточную линию входят инду, врачи, ученые, арабы и марокканцы, японцы, китайцы, монголы, египтяне, ацтеки, инка, жители Карибского региона, римляне. Ошосси объемлет солнце, луну, кабокло водопадов и кабокло негров. В линии Огуна преобладают Огун Бейра-Мар, Ромпе-Мато, Иара, Меже, Наруээ .. В общем, в разных случаях по-разному.

- Вот это да, - снова выдохнула Ампаро./.../

29

В силу того простого обстоятельства, что они меняют и укрывают свои имена, и лгут о своем возрасте, и таково их желание, что они приходят неузнанными, - ни один логик не может опровергнуть, что необходимо следует, что они действительно существуют.

Генрих Нейгауз, *Благочестивое и наипоследнейшее предостережение о членах Братства Розы и Креста, именно: существуют ли они? каковы они? и что за имена они себе приписывают*

Heinrich Neuhaus, *Pia ed ultimissima admonestatio de Fratribus Roseae-Crucis, nimirum: an sint? quales sint? unde nomen illud sibi asciverint*, Danzig, Schmidlin, 1618 - ed. fr. 1623, p. 5

Говорил Диоталлеви, что Хесед - это сефира благодати и любови, белый пламень, ветерок с юга. Позавчера в перископе мне думалось, что последние дни, проведенные в Баие, когда я был с Ампаро, протекали именно под этим знаком.

Я вспоминал - сколько же вещей вспоминается одновременно тому, кто ждет, зажатый в тесноте, в темном месте, час за часом, - один из тех последних золотых вечеров. Ноги у нас гудели от нескончаемых баиянских маршрутов, и мы улеглись рано, но не спали. Ампаро угнездилась в подушках, свернувшись клубком, и притворялась, будто читает один из моих учебников по умбанде, который находился у нее где-то между пяток. Но я мешал ей многими способами, а кроме того, в частности, громко делился впечатлениями о моих розенкрейцерах, так как именно это сочинение я наконец вознамерился изучить. Вечер был чудесен, но, как выразился бы Бельбо в своих упражнениях по чистописанию, «не чувствовалось дуновения ветерка». Гостиница у нас была первоклассная, под окном шелестело море, а в полурастворенном предбанничке возвышалась огромная корзина тропических фруктов, которые мы утром притащили с рынка.

- Не спи, а слушай. В 1614 году в Германии выходит анонимное сочинение «Allgemeine und general Reformation», или же «Всеохватная и всеобщая Реформа всего целого мира, совокупно со Славою Братства - Fama Fraternitatis - Глубокоуважаемого Братства Розенкрейцеров, обращенное ко всем ученым и к правителям Европы, купно с краткой отповедью Господина Хазельмайера, который за сие деяние был ввергнут иезуитами в узилище и прикован железами на галере. Ныне выдано в печати и для каждого искреннего сердца отверзнуто. Выдано в Касселе Вильгельмом Весселем».

- Длинноватенькое название у кессельвесселя.

- В семнадцатом веке носили длинное. Заказывали Лине Вертмюллер... Кессельвессель - сатирическое сочинение вроде сказочки о всемирном переустройстве человечества и списано, кажется, с «Парнасских ведомостей» Траяно Боккалини. Однако туда приплетен еще небольшой трактатик на дюжину страниц - эта самая «Слава Братства», которую на следующий год перепубликовали отдельным изданием, и присовокупили другой манифест, этот уже по латыни, «Confessio» - «Исповедание Братства Розы и Креста, всем эрудитам Европы». /.../ А знаешь, что эти послания розенкрейцеров

призваны были просветить мир, алчущий истин?

- И просветили?

- То-то и штука, что истину было решено в манифесте не открывать. Пообещали и передумали. Потому что эта истина такая важная, такая важная, что открывать ее никак нельзя.

- Сволочи. И ты тоже.

- Нет, нет, я не виноват, перестань, щекотно! В общем, розенкрейцеров тогда было на белом свете множество, но тут же они решили разъехаться во все концы света и дали обет бесплатно лечить болящих, не носить одежд, по которым их могут опознать, прилаживаться к обычаям каждого государства, встречаться между собою ежегодно и оставаться в глубокой тайне сотню лет.

- Но извини, какой реформы им было надо, если ее как раз в то время проводили? Лютер-то зачем старался?

- Да нет, выходит, что розенкрейцеры - это еще до протестантства. Тут сказано в примечании, что из внимательного изучения «Fama» и «Confessio» очевидно...

- Кому очевидно?

- Говорят очевидно, значит должно быть и твоим очам видно. Не приставай. Эй! Прекрати немедленно! Идет серьезный разговор, понимаешь...

- Понимаешь, это ты не понимаешь...

- Я сейчас отползу, с тобой опасно... Очевидно, как было заявлено! что предтеча розенкрейцерства - Христиан, как ты уже догадалась, Розенкрейц! Который вряд ли существовал... родился в 1378 году и умер в 1484 в цветущем возрасте ста шести годов, и нетрудно догадаться, что секретное общество Розы и Креста немало способствовало проведению реформации, которая в 1615 праздновала столетний юбилей. Добавим к этому, что на персональном гербе Лютера мы находим как розу, так и крест.

- Простенько и со вкусом.

- А что ты хотела бы чтобы Лютер держал у себя на гербе - горящую жирафу или растаявшие часы[1]? Всякому дизайну свое время. Всяк шесток знай свой свер... Знаю, какой тебя шесток интересует... Слушай лучше. Около 1640 года розенкрейцеры решили отремонтировать свой дворец или как его, тайный замок. И вот они обнаружили плиту, в середине которой был забит большой-большой гвоздь. Дерни за гвоздик - плита вынулась, а за нею оказалась большая-большая дверь, а на двери было написано большими-большими буквами POST CXX ANNOS PATEBO[2].

Хоть я и был подготовлен письмом Бельбо, все же я подскочил. - Ого!

- Что с тобой?

- Тот же текст в тамплиерском завещании...Я тебе никогда не рассказывал один случай, с одним полковником...

- Ну так значит тамплиеры переписали у розенкрейцеров.

- Да тамплиеры были раньше...

- Значит, розенкрейцеры переписали у тамплиеров.

- Радость моя, без тебя я бы сел и заплакал.

- Радость моя, тебя сглазил этот Алье, ты тоже начал искать откровений.

- Ничего подобного, никаких откровений я не ищу.

- Ну и молодец, а то будь начеку - опиум для народов!

- Пуэбло унидо хамас сера венсидо[3]?

- Смейся. смейся. Лучше расскажи, что дальше писали эти идиоты.

- Эти идиоты, как нам объяснял Алье, стажировались у вас в Африке.

- На стажировке их обучали утрамбовывать в трюмы таких, как я.

- Скажи спасибо, что тебя вовремя утрамбовали и вывезли в Бразилию, а то жить бы тебе в Претории, бедная чернавочка. - После поцелуев я продолжал: - За большой-большой дверью обнаружилась гробница о семи углах и - кто б мог подумать - семи сторонах! великолепно освещенная искусственным солнцем. В середине был круглый алтарь весь разузоренный девизами и эмблемами, например NEQUAQUAM VACUUM...

---

1 Имеется ввиду картина Сальвадора Дали.

2 Явлюсь через 120 лет (*лат.*).

3 El pueblo unido jamás será vencido - Народ - будь един - и ты непобедим - лозунг левых манифестаций (*исп.*).

- Не-ква-ква? Кря-кря?

- Это латынь, глупая макака. Означает: пустоты не существует.

- Ну это еще слава богу. А я боялась...

- Можешь включить вентилятор, анимула вагула бландула[1]?

- Сейчас зима.

- Это у вас на обратном полушарии, дитя мое. Сейчас не может быть зима, сейчас июль. Очень тебя прошу, включи вентилятор, не потому что женщина должна обслуживать, а потому что он с твоей стороны. Мерси. Так вот, под алтарем находилось нетленное тело первооснователя. В руке оно держало «Книгу I», исполненную невыразимой премудрости. Жалко что миру эта книга не может быть открыта, добавляет манифест, а то бы такое было! такое было!

- Ой.

- Вот именно. В конце манифеста обещается некое сокровище - его еще предстоит обнаружить - и потрясающие откровения в области взаимоотношений между макро и микромиром. Не думайте только, что имеете дело с ничтожными алхимиками, которые только и способны - научить, как делать золото. Мы предлагаем вам по-настоящему стоящую вещь! Мы метим гораздо выше, во всех смыслах! Мы распространяем наш буклет «Fama» на пяти языках, не говоря уж о «Confessio» - в самом скором времени поступит в продажу! Ждем ответов и впечатлений от ученых и от неучей. Пишите и звоните нам по телефону, сообщайте о себе, а мы рассмотрим, подходит ли ваша кандидатура для участия в наших тайнах, которые пока что мы вам только приоткрыли! Sub umbra alarum tuarum Iehova.

- Это еще что?

- Под сению крил твоих, Господи. Заставка конца передачи. Переходим на прием. В общем, создается впечатление, что этим розенкрейцерам нейметься поделиться тем, что они открыли, и ищут они только достойного собеседника. Но пока что ни гу гу о том, что же это такое.

- Как на объявлениях, где под фотографией какого-нибудь типа подписано: пришлите десять долларов, и я научу вас, как стать миллионерами.

- Он, кстати, и действительно может научить. Делайте как он. А лучше как я...

- Слушай, надо бы почитать дальше. От тебя спасенья нет, можно подумать, ты меня до сих пор никогда не видел.

- Каждый раз с тобой как первый раз.

- Даже еще хуже. В первый раз я не доверяю посторонним мужчинам. И еще скажи, пожалуйста, ты что, решил в этом специализироваться? То тамплиеры, теперь розенкрейцеры..: Ты, скажем, Плеханова почему не читаешь?

- Я через сто двадцать лет поеду искать его гробницу. Если Сталин ее не закатал каким-нибудь бульдозером...

- Вот балда. Не читай минутку, я схожу в ванную.

30

Еще знаменитое побратимство Розы и Креста предупредило, что весь подлунный мир охвачен бредовыми провозвестиями. И действительно, как только появился этот призрак (хотя в "Fama" и в "Confessio" доказывается, что дело шло об обыкновеннейшей забаве для досужих умов) тут же он породил и надежду на всеохватную реформу, и породил явления частично смехотворные и абсурдные, а частично невероятные. И от этого честные и порядочные люди самых различных стран взялись потешаться и насмехаться над ними, дабы они открыто выступили бы в свою защиту, или чтоб убедиться, что те способны появляться перед названными побратимами... при помощи Зеркала ли Соломона, или иным оккультным способом.

Христоф фон Безольд (?), *Дополнение к ФомеКампанелле, в изд.: Об испанской монархии.*
Christoph von Besold (?), *Appendice a Tommaso Campanella, Von der Spanischen Monarchy*, 1623.

Дальше было еще интереснее, и к возвращению Ампаро я готов был вкратце изложить ей все, что происходило после публикации манифестов. /.../

[1] animula vagula blandula - душенька летучая чудная - из стихотворения императора Адриана (II в. н.э.) (*лат.*).

- В общем, все уверены, что розенкрейцеры существуют, все при этом готовы поклясться, что сами никогда их не видали, все наперебой пишут и печатают, как будто бы назначая встречу, ни у кого не хватает нахальства заявить: это я и есть. Некоторые говорят, что розенкрейцеров нет в природе, потому что они никогда не отвечают на призывы, а другие говорят, что они существуют именно для того, чтобы их призывали.

- А сами розенкрейцеры глухо молчат.

- Как в танке.

- Открой рот хоть ты. Увидишь зачем. Открой. Молодец. Вот тебе мамайя.

- Вкусно. Тем временем начинается тридцатилетняя война. Иоганн Валентин Андреаэ пишет сочинение «Turris Babel» - «Вавилонская башня» где обещает, что в срок до одного года Антихрист будет разбит наголову. В то же время какой-то Иреней Агност издает «Tintinnabulum sophorum»...

- Как здорово тинтиннабулум!

- То есть бубенчик мудрецов, и бубнит не поймешь что, но в ответ ему Кампанелла, что кстати тоже значит колокольчик, выступает с сочинением «Monarchia Spagnola»- «Об испанской монархии» - и утверждает, что вся история с розенкрейцерами - это забава для развращенных умов. А потом все. Между 1621 и 1623 годами все прекращается.

- Вообще?

- Вообще. Они устали. Как битлы. Но это касается только Германии. Потому что во Франции все только начинается. В точности как радиоактивное облако: розенкрейцеров передуло влево. В одно прекрасное утро 1623 года Париж проснулся - а на стенах развешаны плакаты розенкрейцеров: уважаемые граждане, розенкрейцеры вашего участка собирают подписи у населения по адресу... Другое свидетельство гласит, однако, что в манифестах говорится о тридцати шести невидимках, разосланных по всему миру делегациями по шесть, и что они обладают властью одарять всех адептов невидимостью. Опять тридцать шесть на шесть. Что за хрен.

- Ты о чем?

- О тамплиерском завещании.

- Люди без фантазии. Рассказывай, что было потом.

- Потом распространяется коллективное безумие, одни выступают в их защиту, другие хотели бы с ними познакомиться, третьи обвиняют их в дьявольщине, алхимии и всех ересях и что якобы Астарот замешан в дело и благодаря ему-де розенкрейцеры богаты, всемогущи и перемещаются по воздуху с одного места на другое. В общем, они становятся модой сезона.

- Очень правильно со стороны розенкрейцеров. Дебют в Париже - пропуск в мир высокой моды.

- Кажется, ты совершенно права, потому что послушай что дальше будет, мама дорогая, ну и времечко. Декарт, и никто другой, в предыдущие годы побывал в Германии и разыскивал их там. Но, говорит один его биограф, Декарт их там не нашел, потому что, как мы теперь понимаем, они не открывали своего обличья. Когда же Декарт воротился в Париж, несолоно хлебавши, после появления розенкрейцерских манифестов он понял, что все его считают розенкрейцером. Погоды стояли такие, что это выглядело не самой лучшей рекомендацией. Это не понравилось и его другу Мерсенну, который розенкрейцеров уже разносил в печати не раз и не другой, обзывая их ничтожествами, революционерами, волхвами, каббалистами и проводниками враждебных течений. Что же тогда делает Декарт? Он появляется везде где только может. Поскольку все его видят, считает он, все убедятся, что он не невидим, а следовательно, что он не розенкрейцер.

- Это и есть «метод»[1].

- Это и есть метод, но как выяснилось, метода мало. Все это привело к тому, что, если навстречу тебе выходил человек и говорил: добрый вечер, я розенкрейцер, это означало, что он не розенкрейцер. Уважающий себя розенкрейцер никогда так не скажет. Наоборот, он отрицает это как может.

---

[1] Намек на сочинение Декарта «Рассуждение о методе...» (1637).

- Но нельзя сделать вывод, что всякий отрицающий, что он розенкрейцер, им является, потому что вот я, например, отрицаю, что я розенкрейцерша. Но и действительно ею не являюсь.

- Однако подобное отрицание вызывает подозрение.

- Нет. Потому что - что должен делать порядочный розенкрейцер, когда он понимает, что люди не верят тем, кто заявляет, что они розенкрейцеры, и подозревают тех, кто утверждает, что они не розенкрейцеры? Он начинает говорить, что он розенкрейцер, чтобы сделать вид, что он не розен...

- Мать честная. Твое открытие означает, что все, кто говорит, что он розенкрейцер, на самом деле лгут, и, следовательно, они на самом деле розенкрейцеры! Если так, Ампаро, я отказываюсь идти у них на поводу. Поскольку у них везде шпионы, и в частности под этой нашей кроватью, пусть они понимают, что мы их понимаем. И пусть начнут говорить, что они не розенкрейцеры.

- Ты знаешь, мне стало страшно.

- Ничего не бойся, малютка, ведь с тобой я, а я очень глуп. Если они скажут, что не розенкрейцы, я и впрямь подумаю, что они розенкр... кры... и их развенчаю. Развенчанный розенкрыц совершенно безвреден, его можно выгнать в форточку газетой.

- А Алье? Он пытается убедить нас, что он на самом деле Сен-Жермен. Разумеется, это ему нужно, чтобы мы думали, что он не он. Так значит, он розенкрыц. Или нет?

- Слушай, Ампаро, мы будем спать. Или нет?

- Нет, теперь я хочу знать, чем кончилось.

- А ничем. Все куда-то делись. В тысяча шестьсот двадцать седьмом году выходит «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона и читатели решают, что он ее пишет о стране розенкрейцерства, даже если он ее ни разу не называет. Бедный Иоганн Валентин Андреаэ умирает, продолжая клясться то в том, что это был не он, то что если это и был он, то трепал языком просто так для смеху, однако дело сделано. Ободрившись тем, что их не существует, розенкрейцеры распространяются повсюду.

- Как Бог.

- О какая чудная идея. Посмотрим: Матфей, Лука, Марк и Иоанн - компания бездельников, собравшихся на тусовку, они устраивают соревнование, выдумывают главного героя, коротенько проговаривают сюжет - и вперед. Остальное зависит от способностей каждого. Потом четыре варианта разбираются всей командой на семинаре. Матфей довольно реалистичен, но пережимает линию мессианства. Марк - очень неплохо, но нестройно, Лука пишет лучше всех, невозможно не признать этого, у Иоанна перекос в философскую сторону... В общем, к семинару присоединяются и другие, берут почитать их курсовые работы, когда ребята понимают, к чему все это привело, уже слишком поздно, Павел уже съездил в Дамаск, Плиний начал свое расследование по поручению обеспокоенного императора, легион сочинителей апокрифов делают вид, что они тоже достаточно много знают... читатель-апокриф, мой брат и мой двойник[1]... Петр слишком много берет себе в голову и излишне серьезно относится к себе, Иоанн угрожает, что расскажет все, как было на самом деле, Петр и Павел подстраивают, чтоб его арестовали, заковали в цепи на острове Патмос, и у бедняжки начинаются галлюцинации, кузнечик садится на спинку кровати - уберите саранчу, заглушите эти трубы, откуда столько крови... Его начинают славить: пьянчуга, склеротик... Что если на самом деле все было именно так?

- Все было именно так. Читай «Манифест», а не манифесты.

- Ампаро, рассветает!

- Мы обалдели.

- Что-то куда-то там лезет заря розоперстая Эос...

- О как приятно. Иеманжа очень хочет, чтоб мы занялись именно этим...

---

[1] Искаженная цитата из Ш. Бодлера, «Вступление» к «Цветам зла». Исходный перев. Эллиса («Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник...»).

- ... и самым неоккультным способом...
- ...да возрадуется тинтиннабулум...
- ...куда ты, аталанта фугиенс?
- ...к туррис вавилонской башне...
- ... скорее к тайному тайных, золотому руну, оно бледно, розово как раковина в подводной глуби...
- ... тише... Silentium post clamores[1], - прошептала она.

31

Вероятно, что большинство предполагаемых розенкрейцеров, широко известных в качестве таковых, на самом деле является всего лишь розенкрейцерцами... И, более того, совершенно очевидно, что они не являются розенкрейцерами ни в какой степени, по простой той причине, что входят в эти объединения, что может показаться парадоксальным и на первый взгляд противоречивым, но тем не менее вполне умопостижимо....

Рене Генон, *Обозрение об инициации*
René Guénon, *Aperçu sur l'initiation*,
Paris, Editions Traditionnelles, 1981, XXXVIII, p. 241

Мы вернулись в Рио, я вернулся на работу. Однажды в иллюстрированном журнале я обнаружил, что, оказывается, в городе существует Старый и Принятый Орден Розенкрейцеров. Я предложил Ампаро сходить посмотреть, она неохотно согласилась.

Орден помещался на какой-то небольшой улице, наружу выходила витрина, уставленная хеопсами, нефертити и сфинксами.

Пленарное заседание как раз сегодня вечером. «Розенкрейцеры и умбанда». Выступает профессор Браманти, референдарий ордена в Европе, Тайный Кавалер Великого приората в регионах Родоса, Мальты и Фессалоник.

Мы решили войти. Обстановочка была та еще, все завешано тантрическими миниатюрами , изображающими змеюку Кундалини, ту самую, которую тамплиеры старались разбудить при помощи поцелуев в зад. К концу заседания я убедился, что в конечном счете не стоило пересекать Атлантический океан - все то же я вполне мог бы получить в миланской штаб-квартире «Пикатрикса»./.../

32

Valentiniani... nihil magis curant quam occultare quod praedicant: si tamen praedicant, qui occultant... Si bona fide quaeres, concreto vultu, suspenso supercilio - altum est - aiunt. Si subtiliter tentes, per ambiguitates bilingues communem fidem affirmant. Si scire te subostendas, negant quidquid agnoscunt... Habent artificium quo prius persuadeant, quam edoceant.

Tertullian, *Adversus Valentinianos*[2]

Алье позвонил известить о том, что на следующий день нас будут ждать в павильоне умбанды, а пока что пригласил меня посетить одно место, где еще и сейчас делают настойку «батиду» именно так, какою ее помнят люди, не имеющие возраста. Это было в нескольких шагах от братства Кармен Миранды, и я оказался в сумрачном лесу, где прокопченные люди курили листья табака, жирные, как шматы сала, закрученные, как корабельные шварговы. Они разминали жгуты подушечками пальцев, покуда те не превращались в широкие прозрачные пластины, а потом заворачивали в промасленную бумагу. Поджигать это дело приходилось каждую минуту, но зато можно было понять, что представлял собою табак до того, как он был открыт сэром Уолтером Рейли.

---

1 Молчание после кличей (*лат.*).

2 Валентиниане... не имеют большей заботы, нежели скрыть, что они проповедуют: егда же проповедуют, скрывают... Если же просят от них доброй воли, они с открытым лицом и с высоко поднятой бровью - «она велика» - отвечают. Ожидают ли от них тонких разъяснений, они двусмысленными речами доказывают то, что составляет всеобщее убеждение. Утверждаешь ли, что им ведомо нечто - всякое знание отрицают... Лукавство их таково, что они скорее убеждают, нежели учат.
Тертуллиан, «Против валентиниан» (*лат.*).

Я рассказал ему о давешней лекции.

- Теперь еще и розенкрейцеры? Ваша жажда познаний прямо-таки ненасытна, мой юный друг. Не склоняйте ваш слух к россказням глупцов. Все они ссылаются на неопрове ржимые документы, но никто и никогда их не видел. Этот Браманти мне известен. Он живет в Милане, когда, разумеется, не рыщет по свету, распространяя свою доктрину. Он безвреден, хотя до сих пор верит Кизеветтеру. Все розенкрейцерцы цитируют знаменитую страницу из «Химического театра». Однако если вы обратитесь непосредственно к оригиналу - а в моей скромной миланской библиотечке это издание имеется, - вы увидите, что цитаты там нет. /.../

- Прошу прощения за прямоту, но все-таки: розенкрейцеры существуют или нет?

- Что значит существовать?

- Скажите вы.

- Великое Белое Братство, зовите его розенкрейцерством, зовите духовным рыцарством (одним из частных воплощений которого являются тамплиеры), это когорта мудрецов; их мало, очень мало, избранных, проходящих через столько веков, через всю историю человеческого рода, и обороняющих твердыню вековечного знания. История развивается не случайно. Она есть творение Верховников Света, от которых ничто не укрыто. Разумеется, Верховники Света защищают себя завесой тайны. И поэтому ежели перед вами тот, кто утверждает, что он верховник, розенкрейцер или тамплиер, знайте, что это ложь. Таким образом, их отыскать невозможно.

- Но коли так, значит, их история продолжается бесконечно?

- Бесконечно. Такова премудрость этих Старейшин Мира.

- Но что они могут сообщить людям?

- Что имеется Тайна. В противном случае - для чего жить, если все именно таково, каким представляется?

- А что это за тайна?

- Она - то, чего религии откровения не умели высказать. Тайна - в другом месте.

33

Видения бывают белые, синие, белые с ярко-алым. В конце концов они смешиваются и все становятся светлыми, цвета пламени белой свечи, вы увидите искры, почувствуете, как мурашки побегут по телу, все это означает начало увлечения, которое охватывает тех, кто осуществляет Деяние.

Папюс, *Мартинес де Паскуалли.*
Papus, *Martines de Pasqually,* Paris, Chamuel, 1895, p. 92

Наступил ожидаемый вечер. Как было и в Сальвадоре, Алье заехал за нами. Шатер, в котором проводилось радение, называемое «жира», был практически в центре, если существует понятие центра применительно к городу, который языками простирается на много километров во все стороны по долинам, а с одной стороны стелется вдоль моря таким образом, что при обзоре сверху, при вечернем освещении, напоминает шевелюру, пораженную темным лишаем.

- Как вы знаете, сегодня вы увидите умбанду. Там в радеющих вселяются не ориша, а огуны, то есть духи тех, кто умер. И еще они во власти Эшу, африканского Гермеса, вы его видели в Баии, и подруги Эшу, Помбы Жира. Эшу - это божество йоруба, демон, склонный к издевательствам, насмешкам, однако глумливое божество существовало и в мифофольклоре американских индейцев.

- А как называются призраки мертвых?

- «Прето вельо» и «кабокло». Претос вельос - «старые жрецы» - мудрецы, старейшины африканцев, руководившие народом во время депортации, легендарные знаменитости - Рей Конго, Пай Агостиньо... Они сделались символами в последний, сравнительно умягченный период рабовладельчества, когда негр переставал быть скотиной, а превращался уже скорее в дедушку - дядюшку - друга дома. Кабоклос - это, наоборот, привидения индейцев, целомудренные силы, чистота первородной природы. При камлании в умбанде

африканские ориша остаются на втором плане, они теперь полностью ассимилировались с католическими святыми, а главную роль в этом культе играют кабокло и прето вельо. Именно они приводят людей в транс; медиум, так называемый «кавало», при танце внезапно ощущает, что в него вселился высший дух, и теряет контроль над собой. Потом он пляшет, покуда высший дух из него не выходит, после чего ему становится легко, прозрачно - он полностью очистился.

- Везет человеку, - сказала Ампаро.

- Действительно, везет, - откликнулся Алье. - Представьте себе, сподобиться непосредственного контакта с матерью землей. Ведь этой вере в свое время обрубили корни, выхватили ее, швырнули в огнедышащие горны городов, пережгли самую душу - но, как нас учит Шпенглер, меркантильный Запад в кризисную эпоху снова обращается за помощью к миру земли.

Между тем мы приехали. Капище выглядело обыкновенным цехом. Сюда тоже входили через жухлый садик, еще скромнее, чем тот, что в Баие, а перед дверью этого барака, который назывался «барракао», возвышалась статуэтка Эшу, окруженная корзинами подношений.

Перед самым входом Ампаро оттащила меня в сторонку. - С ними мне все понятно. Ты слышал, как тот носорог, читавший лекцию, напирал на эпоху ариев? Ну, а этот говорит о закате Европы, Блют унд Боден, земля и кровь, - это нацизм чистой марки!

- Все не так просто, любовь моя, мы на обратном континенте.

- Спасибо за объяснение. Великое Братство Белых! Дошли уже до того, что едите вашего бога.

- Едят католики, милая, это совсем другой разговор.

- Тот же самый разговор, ты что, не слышал? Пифагор, и Данте, и Дева Мария, и масоны. Все они против нас. Наше дело умбанда и сидеть тихо.

- От вас дождешься тихо. Пойдем, уже начинается. Это тоже культура, надо ее понять.

- По мне только та хороша культура, чтобы повесили последнего попа на кишках последнего розенкрейцера.

Алье поманил нас от входа. Снаружи здание было очень тускло, но зато внутри полыхали невероятные яростные краски. Зала была квадратной, посередине была приготовлена площадка для пляски кавало с алтарем в глубине, вся обнесенная решетчатой оградой, и прямо около ограды возвышался помост для барабанов и атабаке. Ритуальное пространство было совершенно пусто, а с внешней стороны решетки топталась разношерстная толпа - верующие и любопытствующие, белые и черные, выделялись группки медиумов с их ассистентами, «камбонос», одетыми в белые ткани, кто босиком, кто в кедах. Алтарь поражал своим видом. Там были претос вельос, кабоклос с разноцветным оперением, святые, походившие на марципановые куклы, если бы не их пантагрюэльские размеры, Святой Георгий в своей сверкающей кирасе, в мантии, крашеной багряницей, Святые Козьма и Дамиан, Мадонна, пронзенная мечами, и Христос бесстыдно гиперреалистического стиля, с раскинутыми руками, как Спаситель с горы Корковадо, только очень раскрашенный. Не видно было ориша, но их присутствие ощущалось в выражениях лиц бывших в зале, в сладком духе сахарного тростника и заготовленной пищи, в едковатом запахе пота множества людей, растомленных духотою и возбужденных близящейся жирой.

/.../ Лупили барабаны, ритмы «понтос» возносились в воздух, перенасыщенный дымом. Я держал Ампаро под руку и вдруг заметил, что ладони ее влажнеют, сотрясается все тело, губы полуоткрыты.

- Что-то мне неважно, - прошептала она. - Давай выйдем.

Алье увидел, что с Ампаро, и помог нам пробиться к выходу. В вечерней свежести ей стало лучше.

- Ничего, - сказала она, - что-то я не то съела. И жара, и этот запах...

- Нет, - возразил «отец святого», проводивший нас по залу. - У нее восприятие медиума, я сразу обратил внимание. Вы хорошо отвечаете на «понтос».

- Хватит! - выкрикнула Ампаро и добавила еще что-то на наречии мне незнакомом. Я увидел, как «пай де санто» побледнел, вернее, как обычно писали в приключенческих романах о людях с темной окраской кожи, «посерел». - Хватит с меня всего этого! Меня просто тошнит, я где-то отравилась... Ради бога, оставьте меня в покое, я немного подышу, возвращайтесь все обратно. Я побуду одна, я еще не инвалидка.

Мы отправились в шатер, но когда я вошел в помещение, после чистого воздуха, снова грохот, и чад, и этот пот, который уже напитал все поры и проникал в любую среду и в любое тело, и этот насыщенный воздух подействовали на меня как глоток алкоголя на человека, пьющего после долгой отвычки. Я как мог тер себе лоб рукою, и какой-то старик протянул мне агогон- позолоченный музыкальный инструмент, треугольную раму с колокольцами, по которой надо было бить палочкой. « Взойдите на помост, - сказал он, - и играйте, вам станет лучше».

Его совет полагался на какой-то гомеопатический принцип. Так и сталось: я бил по своему агогону, стараясь как мог подлаживаться к ритму тамбуринов, и постепенно превращался в неотъемлемую частицу происходящего, и включаясь в него, я подчинял его себе, избывал то, что меня распирало, выводил напряжение - подрыгивая руками и ногами, освобождался от внешнего давления - вызывая его на себя, подгоняя его, приветствуя. Несколько позже, ночью того же дня, мы вернулись к этому в разговоре с Алье - о различиях между тем, кто познает, и тем, кто претерпевает.

Один за другим медиумы впадали в состояние транса и камбонос подводили их к стульям, стоящим у ограды, усаживали, раскуривали для них сигары и трубки. Верующие, которые не умели познать состояние одержимости, к ним подбегали, спешили усесться у их изножья, или нашептывали им что-то в ухо, добивались каких-то советов, впитывали благотворные токи, поверяли им исповедные признанья, в общем, пытались причаститься. Кто-то даже убеждал себя и других, что транс нисходит и на него, на что камбонос отвечали сдержанным одобрением и отправляли людей обратно в ряды толпы, удовлетворенных и успокоенных.

На площадке плясунов металась целая толпа алкавших экстаза. Немецкая туристка, помешанная на умбанде, неестественно дергалась, просила у вышней силы забвенья, но все было бесполезно. В кого-то вселялся сам злобный бог Эшу, и они извивались с видом диким, угрожающим, коварным, скачками и толчками, как дергунчики.

И тогда я увидел Ампаро.

Теперь я знаю, что Хесед - сефира не только благодати и любви. Как напоминал Диоталлеви, это также и фаза экспансии божественного вещества, овладевающего всею бескрайней периферией. Это внимание живых людей к своим мертвым, но кем-то было не зря замечено, что в то же время и мертвые могут испытывать опасное внимание к живым.

Постукивая по агогону, я уже не следовал тому, что в это время происходило в зале, как делал прежде, когда старался сохранить что-то вроде самоконтроля и руководиться темпами музыки. Ампаро возвратилась в залу, должно быть, уже около десяти минут назад, и безусловно испытала то же самое ощущение, которое навалилось на меня, со свежа вошедшего. Но ей не сунули в ладони спасительный агогон, а может быть, она бы его и не захотела. Вызываемая глубинными голосами, она отбросила всякие попытки самозащиты.

Я видел, что она, как в воду, врезалась в самую гущу пляски и поплыла неподвижно, запрокинув окаменелое лицо, выставив твердо шею, а потом как бы вся изломалась и растворилась без оглядки в бешеной похотливой сарабанде. Руки скользили по телу, тело себя предлагало. « А Помба Жира, а Помба Жира! » - выкрикивала толпа, восхищенная чудом, потому что в этот вечер дьяволица до тех пор еще не приходила. Теперь дьяволица была с ними.

- О сеу манто э де велюдо,
ребордадо тодо эм оуро,
о сеу гарфо э де прата,
муйто гранде э сеу тезоро...
Помба Жира дас Альмас, вем тома шу шу...

Я не осмеливался вмешаться. Вероятно, мой металлический фаллос все усиленнее бился о раму, и я спаривался с моей самкой, или с тем хтоническим духом, который она воплощала.

Ею занялись камбонос, облачили в ритуальную одежду и поддерживали, покуда длился ее транс, скоротечный, но интенсивный. Потом они подвели ее к сиденью, всю покрытую капельками пота и дышавшую через силу. Она отказалась принимать верующих, которые ринулись к ней как к оракулу, а вместо этого заплакала.

Жира подходила к концу, и я спрыгнул с насеста и заторопился к ней, с нею рядом уже стоял Алье и легонько поглаживал ей виски.

- Что за стыд, - повторяла Ампаро. - Я в это не верю, я не хотела, как я могла?

- Бывает, бывает, - утешал ее Алье тихо и нежно.

- Но это ведь значит, что нет спасенья, - плакала Ампаро. - Я все еще рабыня. Убирайся к черту, - яростно обратилась она ко мне, - я грязная нищая негритянка, где мой хозяин, я ничего другого не заслужила!

- Бывало и у белокурых ахеян, - утешал ее Алье. - Такова человеческая природа...

Ампаро попросила проводить ее к туалету. Радение уже заканчивалось. Только немка посередине зала танцевала до сих пор, провожая завистливым взглядом Ампаро, познавшую транс. Но в движениях немки уже почти не чувствовалось никакой надежды.

Ампаро вернулась минут через десять, тем временем мы благодарили пай де санто и с ним прощались, он же не мог нарадоваться сногсшибательному успеху нашего первого знакомства со вселенною мертвых.

Алье вел машину в молчании, ночь была уже глубокой, у подъезда нашего дома он остановился. Ампаро сказала, что ей хотелось бы побыть сейчас одной. - Почему бы тебе не прогуляться, - обратилась она ко мне. - Вернешься, когда я буду спать, я приму таблетку. Извините меня оба. Я уже говорила раньше, что, должно быть, отравилась. Все эти бабы чем-то нехорошим отравились. Ненавижу свою страну. Спокойной ночи.

Понимая трудность моего положения, Алье предложил мне пойти посидеть в баре на пляже Копакабана, где кабаки не закрывались до утра.

Я молчал. Алье настойчиво предлагал мне попробовать изумительную батиду, потом все же затеялся разговор, прервавший тягостное молчание.

- Раса, или же, если хотите, культура, составляет область нашего подсознательного. С ней соседствует другая область, населенная архетипическими фигурами, которые едины для всех людей и во всех исторических эпохах. Сегодня вечером атмосфера и обстановка ослабили наши внутренние защиты - вы это испытали на собственном примере. Ампаро обнаружила, что ориша, которых она полагала уничтоженными в своем сердце, продолжали обитать в ее чреве. Не думайте, что я считаю это положительным фактом. Вы слышали, что я говорил с уважением о той сверхъестественной энергии, которая вибрирует вокруг всех нас, попадающих в эту страну. Но не думайте, что мне так уж симпатичны проявления одержимости. Инициация - не то же, что мистицизм. Отнюдь не одно и то же - быть причащенным и быть одержимым. Инициация есть интуитивное причащение тайнам, которые разум не в состоянии изведать, это головокружительный процесс, постепенное преображение как духа, так и тела, которое может привести к проявлению надмирных качеств и даже к достижению бессмертия, но это нечто внутреннее, это тайна. Она не выражается вовне, она стыдлива, и в особенности эта тайна замешена на ясности и остранении. Поэтому Верховники Мира - причащенные, но они не снисходят до мистицизма. Мистик для них - это раб, это место явления Богоподобного,

он есть то,через что есть возможность наблюдать проявления тайны. Причащенный воодушевляет одержимого, пользуется им, как можно пользоваться телефоном, чтобы осуществлялась связь на расстоянии, как химик пользуется лакмусовой бумажкой, чтоб убедиться, что в какой-то среде действует определенное вещество. Мистик полезен, потому что он лицедействует, выставляет себя напоказ. Инициаты же дают знать о себе только друг другу. Инициат контролирует те силы, которые действуют на мистика. В этом отношении не существует разницы между одержимостью кавалос и экстазом Святой Терезы Авильской или Святого Хуана де ла Крус. Мистицизм - выродившаяся форма контакта с божеством. Инициация - результат бесконечной аскезы разума и сердца. Мистицизм демократичен, если не демагогичен. Инициация аристократична.

- Умственна и бесплотна?

- В определенном смысле. Ваша Ампаро яростно обороняла свой ум, но только не от собственного тела. Атеисты уязвимее, чем мы.

Было очень поздно. Алье сказал, что скоро уезжает из Бразилии. Он оставил мне свой миланский адрес.

Я поднялся в квартиру и увидел, что Ампаро спит. Молча я растянулся с нею рядом и провел бессонную ночь с ощущением, что сбоку от меня на кровати спит незнакомое существо.

На следующее утро Ампаро кратко оповестила меня, что уезжает в Петрополис к подруге. Мы кое-как распрощались.

Она отбыла со своей тряпичной сумкой и с учебником политэкономии под мышкой.

Два месяца от нее не было вестей, а я ее не искал. Потом я получил от нее короткое письмишко, где ни о чем не говорилось. Только что ей нужно некоторое время, чтоб все обдумать. Я не ответил.

Я не чувствовал ничего, ни страсти, ни ревности, ни ностальгии. Внутри я был пуст, звонок, чист - как алюминиевая кастрюля.

Я пробыл в Бразилии еще один год, но уже как бы в предотъездном состоянии. Не встречался с тех пор ни с Алье, ни с друзьями Ампаро, проводил долгие часы на пляже, принимая солнечные ванны.

И запускал воздушных змеев. В Бразилии потрясающие воздушные змеи.

5
ГЕВУРА

34

Beydelus, Demeymes, Adulex, Metucgayn, Atine, Ffex, Uquizuz, Gadix, Sol, Veni cito cum tuis spiritibus.

Picatrix, Ms. Sloane 1305, 152, verso[1]

Я вернулся из Бразилии и не знал, кто я. Подходило тридцатилетие. В моем возрасте мой отец был отцом, знал, кто он и где ему жить.

Я очень долго пробыл далеко от страны, в ней произошли очень важные вещи, я же существовал в мире, набитом невероятностями, потому и итальянские новости читались в фантастическом свете. Покидая обратное полушарие, перед отъездом я раскошелился на авиакруиз над лесами Амазонии, при посадке в Форталесе на борт прибыли газеты, в каком-то местном издании на первой странице я увидел знакомую физиономию с подписью «Человек, убивший Моро». В свое время мы с ним выпили вместе немало белого у стойки славного Пилада.

Разумеется, по возвращении мне объяснили, что Моро он не убивал. Дай такому пистолет, он выстрелит себе в челюсть, чтобы проверить его исправность. Он просто находился в той квартире, куда ворвалась политическая

[1] Бейделус, Демеймес, Адулекс, Метукгайн, Атин, Ффекс, Уквизуз, Гадикс, Соль, Приди быстро со своими духами. Пикатрикс, рукоп. Слоан (*лат.*).

полиция и обнаружила три пистолета и взрывчатку под кроватью. Он в это время находился в великой ажитации на этой же кровати , ибо кровать была единственной обстановкой в квартире, которую в складчину снимала компания выходцев из шестьдесят восьмого года, и служила всем поочередно для утоления плотских желаний. Если бы единственным украшением стен не выступал плакат чилийской политической рок-группы «Инти Иллимани», можно было бы даже назвать эту квартиру гарсоньеркой. Один из квартиросъемщиков оказался связан с группой тоже политической - но уже не рок -, а террористской. Остальные ничего не знали, но оплачивали явочную квартиру, так что всех замели и посадили на год.

Насчет Италии на новом этапе, я понимал на редкость мало. Я уехал оттуда на самой грани огромных перемен, почти что с комплексом вины из-за того, что сбегаю, когда приходит наконец-то время посчитаться. До отъезда мне хватало двух или трех фраз, цитаты, тона речи, чтобы уяснить политическое лицо. Но по возвращении я уже не разбирался, кто за кого. Уже не говорили о революции, говорили о Желании, так называемые левые цитировали Ницше и Селина, правая пресса больше всего занималась революцией в третьем мире.

Я снова оказался в «Пиладе». Неразведанная зона. Бильярд оставался, картины тоже были те же, но не та была фауна. Я узнал, что бывшие завсегдатаи пооткрывали школы трансцендентальной медитации и макробиотические рестораны. Я спросил, открыта ли уже где-нибудь палатка умбанды. Ах, еще нет, значит, я, поскольку стажировался в стране, смогу получить эксклюзив?

Чтоб потрафить давнишней клиентуре, Пилад не выкинул флиппер старинной модели, к тому же эти флипперы начали до того походить на картины Лихтенштейна, что их уже приобретали антиквары. Но бок о бок с флипперо м теперь стояли новые машины с флуоресцентным экраном, где когортами проплывали бронированные игуаны, шли в атаку камикадзе из Сторонней Державы и лягушка сигала из пустого в порожнее, огрызаясь по-японски. Пилад теперь освещался синюшными сполохами, и не исключаю, что перед галактическими экранами имела место, совсем недавно, вербовка в Красные Бригады. Флиппер, конечно же, все забросили, потому что в него играть невозможно, если за ремнем или в кармане штанов у тебя засунут пистолет.

Это я начал понимать, проследив за направлением взгляда Бельбо, сфокусированного на Лоренце Пеллегрини. Тогда и появилось у меня смутное представление о том, что сумел Бельбо сформулировать гораздо более аналитично в одном из своих файлов. Лоренца не упомянута, однако несомненно, что говорится о ней: только она играла в эту игру так.

Имя файла: Флиппер

Во флиппер играют не только руками, но и лобком. Проблема состоит не в том, чтобы остановить шарик до того, как он закатится в лунку, и не в том даже, чтобы запулить его на середину поля сильным брыканием штырька, а в том, чтобы он взобрался на самую вершину игровой площадки, там где светящиеся мишени многочисленнее всего, и перепрыгивал бы с одной на другую, вращаясь беспорядочно и безумно, по велению собственной воли. А этого можно достичь не стрелянием по шару, а подачей целенаправленных вибраций на саму коробку поля, но только очень плавно, чтобы шарик не заподозрил недоброе и не затырился в каком-либо месте. Этого можно добиться только нажимая на коробку тазом, более того - подавая нужный импульс боками так, чтобы лоно не билось, а терлось о бортик, не доходя ни в коем случае до оргазма. И поэтому даже не утроба, а, притом что бедра колыхаются, согласно природе, ягодицы выдвигают вперед до упора твое тело, нежно-нежно; когда сила толчка достигает лона - толчок уже смягчился, доза должна быть гомеопатической - чем вы больше сотрясали колбочку с раствором, чем меньше вещества практически там оставалось в пропорции ко всей воде, которую вы помаленьку подливали в склянку, тем исцелительней и сильнее действие пойла. Вот так-то от твоего лона неуловимейшие токи передаются на корпус-коробку, и флиппер подчиняется не невротично, и шарик бежит, бежит про-

тив природы, против инерции и против гравитационной тяги, против закона динамики и хитрости выдумавшего конструктора, опьяняючись движущею силой - vis movendi -, ведет игру все это памятное, о, незапамятное время. Но потребен для этого дела только женский таз, без полых и пористых, пустотных членов, стиснутых между чреслами и машиной, никаких эректируемых тканей, одни только кожа, нервы, кости, обтянутые парочкой джинсов, и сублимированный фурор эротикус, сводящая с ума фригидность, безразличная готовность ответа на чувствительность партнера и воля к распалению его желания без растраты, перерасхода собственного; амазонка доводит до беспамятства флиппер и заранее смакует наслаждение той минуты, когда бросит его.

Думаю, что Бельбо влюбился в Лоренцу Пеллегрини в ту минуту, когда понял, что Лоренца способна ему предложить счастье, но не позволить его. И еще благодаря Лоренце в нем укоренилось понимание эротизма автоматического мира, машины как метафоры космического тела и механической игрушки как диалога с талисманом. Он уже тогда начинал одурманиваться Абулафией, и скорее всего, обдумывал знаменитый проект «Гермес». Вне всякого сомнения, он уже видел Маятник. Лоренца Пеллегрини, не знаю через какое там короткое замыкание, обещала ему такой Маятник.

Поначалу мне стоило больших усилий снова прижиться в «Пиладе». Шаг за шагом, и даже не каждый вечер, я в лесу посторонних мне лиц открывал те, знакомые, лица выживших, чуть запотевшие от моей опознавательной одышки: текстовик в рекламном агентстве, консультант по налоговым вопросам, торговец книгами в рассрочку - если раньше он пристраивал сочинения Че Гевары, ныне перешел на торговлю траволечением, буддизмом и астрологией. Я увидел: кто-то начинал шепелявить, в волосах появились частые серые пряди, но в руке зажат стаканчик виски, так и кажется, будто этому стакану лет десять, и из него выпивается только одна капелька в месяц, насасывая по глоточку в год.

- А ты чем занят, почему не показываешься у нас? - спросил один из них.

- А что значит нынче «*у нас*»?

Он посмотрел на меня, как будто я исчезал из страны на сто лет: - Отдел культуры горсовета.

Сколько смешного случилось без меня - обалдеть можно.

Я решил изобрести себе дело. Я не располагал ничем, кроме кучи отрывочных познаний, разнонаправленных, но которые мне удавалось увязать между собой как угодно, ценой нескольких часов в библиотеке. В мое время принято было иметь теорию, а я жил без теории, и я страдал. Теперь же было вполне достаточно располагать просто данными, и всем ужасно нравились сведения, по возможности менее актуальными. То же самое я увидел в университете, куда было сунулся, чтобы понять, найдется ли там для меня применение. В аудиториях было тихо, студенты скользили по коридорам, как тени, ксерокопировали друг у друга плохо составленные библиографии. Я мог бы составлять хорошие библиографии.

Однажды один дипломник, перепутав меня с доцентом (доценты с некоторых пор были в одном возрасте со студентами, вернее наоборот), спросил, что написал Лорд Чандос, которого изучали в спецкурсе по циклическим кризисам в мировом хозяйстве. Я просветил его, что лорд Чандос - не экономист, а персонаж Гофмансталя.

В тот же самый вечер я был в гостях у друзей и повстречал у них старого знакомца. Теперь он работал в издательстве. Он пошел работать к ним вслед за тем, как они прекратили печатать романы французских коллаборационистов и занялись албанской политической литературой. Вот, как видишь, пояснил он мне, политизированные издательства существуют, но теперь на дотациях государства. Лично они, впрочем, всегда рады одной-двум стоящим книгам по философии. Традиционного типа, уточнил он.

- Кстати, - сказал этот человек. - Ты как философ...

- За философа спасибо, но...

- Ладно ладно, я сейчас редактирую текст о кризисе марксизма и нашел там цитату из какого-то Ансельма Кентерберийского. Кто он? Нигде нету, даже в энциклопедическом словаре. - Я отвечал ему, что речь идет об Ансельме из Аосты, но у англичан он называется по-другому, потому что у них все не как у людей.

Все волшебно прояснилось в моей голове. Для меня отыскалась профессия. Я решил, что открою культурно-информационное агентство. Буду сыщиком от науки.

Вместо того чтобы совать нос в кабаки, бары и в бордели, я буду шнырять по книжным магазинам, библиотекам, по коридорам научных институтов. А потом возвращаться в свой офис и, задрав ноги на стол, потягивать виски из бумажного стакана, прикупив и то и другое в лавчонке на углу. Тут звонит некто и говорит: « Я перевожу одну книгу и напоролся на какого-то - или каких-то - Мотокаллемин. Прошу вас, займитесь этим».

Ты не знаешь, с чего начать, но неважно, просишь на расследование двое суток. Прежде всего - дряхлый университетский каталог. Потом ты предлагаешь сигарету парню из справочного отдела - намечается что-то вроде следа. Вечером ты приглашаешь в бар аспиранта по исламу. О йес! Берешь ему кружку пива, другую, потихоньку теряется бдительность, и он отдает информацию, необходимую до зарезу, просто за так, бесплатно! После чего набираешь номер клиента: « Значит так, мотокаллемины - в исламе богословы радикальных убеждений во времена, когда жил Авиценна, утверждавшие, что мир являет собою, как бы это выразиться, что-то вроде туманности случайностей, а загустевает он в конкретных формах только ради мгновенного и временного осуществления божественной воли. Стоит Господу отвлечься на полчаса, и весь мир развалится. Полная анархия атомов без всякой взаимосвязи. Этого хватит? Я проработал три дня, посчитайте сами».

Мне подфартило отыскать две комнаты с крошечной кухней в старом доме на периферии Милана, где до недавних пор была фабрика. В административном крыле все перестроили под квартиры и вывели входные двери в общий длинный коридор. Моя квартира находилась между агентством по продаже недвижимости и лабораторией набивальщика чучел (А. Салон - таксидермист). Все до чертиков походило на американский небоскреб начала тридцатых, еще бы застеклить верх двери и я бы был вылитый Марло. Во второй комнате я поставил диван-кровать, а в первой устроил контору. Построил два ряда полок и загрузил их атласами, энциклопедиями, каталогами, которые пополнял постепенно. В самом начале мне приходилось идти на компромиссы с совестью. Признаюсь, что не отвергал и написания дипломов для студентов. Это было нетрудно, поскольку я передирал с дипломов десятилетней давности. Вдобавок друзья издатели периодически подкидывали внутренние рецензии и книжки на иностранных языках для обзоров, разумеется - самые нудные и по самым низким расценкам.

Но я накапливал знания и умения и ничего не выбрасывал. Составлял конспекты на все. Я не вел тогда банк данных в компьютере (первые из них поступали в продажу как раз в эти годы, и Бельбо был пионером), у меня было ремесленное оборудование, но я создал нечто вроде банка памяти, состоящего из хрупких картонных карточек с перекрестными отсылками. Кант... туманность... Лаплас, Кант, Кенигсберг, семь мостов Кенигсберга... теоремы топологии... Больше всего это походило на ту игру, в которой надо добраться от сосиски до Платона за пять переходов, она называется «игра в ассоциации». Посмотрим. Сосиска- свинтус - щетина - кисть - маньеризм - идея - Платон. Это легко. Любая жвачная рукопись давала мне возможность заполнить двадцать карточек для будущей игры в пирамидку. Критерий был очень жесткий, я думаю, что этот же критерий применяется обычно спецслужбами: нет лучших или худших сведений, сведения нужны любые, а затем начинается поиск связей между ними. Связи существуют всегда, надо

только захотеть их найти.

Проработав примерно два года, я был вполне доволен собою. Во-первых, мне это нравилось. И вдобавок я повстречал Лию.

35

Чтоб всякий ведал, как я названа,
Я - Лия, и прекрасными руками
Плетя венок, я здесь брожу одна.
Чистилище XXVII, 100-102[1]

Лия. Сейчас я мучаюсь мыслью, что ее не увижу, но я мог бы ее вообще не встретить, и это бы было хуже. Если бы она была со мной, держала бы мою руку, в то время как я восстанавливаю этап за этапом своей погибели. Она ведь все предугадала. Но я не могу ее ввязывать в эту историю, ни ее, ни ребенка. Надеюсь, что они задержатся с переездом и вернутся, когда все уже будет кончено, как бы оно ни кончилось.

Это было 16 июля восемьдесят первого года. Милан уже почти опустел и в справочном зале библиотеки не было никого.

- Прошу прощения, но том 109 собиралась взять я.

- Почему же он тогда стоял тут?

- Потому что я отошла на минутку взять выписку.

- Это не причина.

Она уже улепетывала к столу со своей добычей. Я уселся напротив, надеясь рассмотреть ее лицо.

- И удается читать что-нибудь, кроме Брайля? - спросил я.

Она подняла голову, но все равно было неясно, лицо это или затылок.

- Что? - переспросила она. - А-а. Я все прекрасно вижу. - Но при этих словах она отодвинула челку, и глаза у нее были зеленые.

- Зеленые глаза, - сказал я.

- Да, а что, это плохо?

- Почему же плохо. Наоборот...

Так это начиналось. - Ешь, а то худой, как скелет, - сказала она за ужином. Пробило полночь, мы все еще находились в греческом ресторане около «Пилада», и свеча почти совершенно оплыла на горлышко бутылки, и мы рассказывали все. У нас была одинаковая профессия. Она редактировала статьи для энциклопедии.

Я торопился выговориться. В половине первого она отодвинула челку, чтобы лучше меня рассмотреть, и тут я выставил палец, как пистолет, изображая прямое попадание, и пропищал: - Пиф. Паф.

- Как интересно, - сказала она. - Я тоже.

Так мы стали плотию от единой плоти, и с того вечера меня начали именовать Пифом.

Мы не могли позволить себе новую квартиру, поэтому я ночевал у нее, а днем она приходила ко мне в контору или же отправлялась на охоту, и безусловно, она была ловчее меня, распутывая загадки, и знала, какие связи надо подмечать и делиться со мной.

- Есть у нас где-то фиго-овенький конспект на розенкрейцеров? - говорила она.

- Да, надо мне этим заняться, когда будет время. Это конспект бразильских записей.

- Так вот, поставь отсылку на Йейтса.

- Причем тут Йейтс?

- Притом, что я читаю вот здесь, что он входил в розенкрейцерское общество, которое называлось «Утренняя Звезда».

- Что бы я без тебя делал, подумать страшно.

Я снова начал посещать «Пилад», теперь это была для меня биржа, в «Пиладе» я находил заказчиков.

---

[1] Пер. М. Л. Лозинского

Однажды я там увидел Бельбо, он, кажется, тоже до того времени не часто рассиживался в «Пиладе» и вернулся только с тех пор, как узнал Лоренцу Пеллегрини. Все такой же, седины немного больше и немного похудевший, но не слишком.

Он отреагировал на меня сердечно (применительно к его буйному темпераменту). Несколько быстролетных фраз о старом времени, обоюдное умолчание о последней серии событий, в которых участвовали мы вдвоем, и об эпистолярном продолжении этой серии. Комиссар Де Анджелис больше не показывался. Дело сдали в архив или вроде того.

Я рассказал ему о своей работе, и он, кажется, заинтересовался.

- Честно говоря, мне тоже хотелось бы заниматься чем-то в этом роде, Сэм Спейд от культуры, двадцать долларов в день плюс командировочные.

- Но не приходят обольстительные и загадочные леди и никто не спрашивает о мальтийском соколе, - сказал я.

- Не теряйте надежды. Вам нравится эта работа?

- Не то чтобы нравится, - ответил я цитатой из него самого. - Это единственное, что я, может быть, хорошо умею.

- Good for you[1], - отвечал он.

Мы встречались еще не раз, я рассказывал ему о бразильских впечатлениях. Однако взгляд его при этом вечно как-то витал, более чем обычно. Когда в баре не было Лоренцы Пеллегрини, взгляд сгущался и повисал над входною дверью, а когда она была, он беспокойно перелетал по залу вслед за ее перемещениями. Как-то вечером перед самым закрытием он проговорил, как всегда отсутствуя глазами:

- Слушайте, нам, скорее всего, понадобится ваше сотрудничество, причем на длительное время. Вы могли бы работать на нас по полдня, скажем, несколько раз в неделю?

- Надо подумать. О чем идет речь?

- Крупная металлургическая фирма заказывает книгу о металлах. Иллюстрации должны преобладать над текстом. В общем, популярно, но серьезно. Вы понимаете, в каком жанре. Металлы в истории человечества, от железного века до сплавов, употребляемых в ракетостроении. Нам нужен кто-то для поисков в библиотеках и в архивах, для подбора иллюстративного материала, высококлассного: старые миниатюры, гравюры из альбомов прошлого века на разные темы, ну не знаю, литье, громоотводы.

- Ладно, я завтра зайду и поговорим.

Тут подошла Лоренца Пеллегрини. - Отвезешь меня домой?

- Почему сегодня я? - спросил Бельбо.

- Потому что ты мужчина всей моей жизни.

Он покраснел как мог покраснеть только он - и взгляд его был направлен в еще более странную, чем обычно, точку. Потом сказал ей: - Присутствовали свидетели. - И мне: - Я мужчина всей ее жизни. Лоренца Пеллегрини.

- Добрый вечер.

- Добрый вечер.

Он поднялся и прошептал ей что-то на ухо.

- С какой стати? - отвечала она. - Я попросила тебя отвезти меня на машине до дома.

- А, - сказал Бельбо. - Извините, Казобон, я работаю таксистом вот у этой дамы неизвестно чьей жизни.

- Балда, - ласково сказала она и поцеловала его в щеку.

---

[1] Тем лучше для вас (*англ.*).

36

Позвольте тем временем советовать грядущему, или же настоящему читателю, если он подвержен меланхолии. Пусть не ищет знаков или провозвестий в том, что сказано ниже, дабы не причинилось ему беспокойства, и не вышло более зла, нежели пользы, если он применит это к себе... как большинство меланхоликов.

Р. Бартон, *Анатомия меланхолии*, Вступление
R. Burton, *Anatomy of Melancholy*, Oxford, 1621, Introduzione

Было ясно, что Бельбо и Лоренца Пеллегрини связаны. Я только не знал, насколько тесно и насколько давно. Файлы Абулафии тоже не помогают реконструировать сюжет.

В частности, не датирован файл об ужине с доктором Вагнером. Знакомство с доктором, с одной стороны, существовало еще до моего отъезда в Бразилию, с другой - продолжалось после моего прихода в «Гарамон»; соприкасался с доктором и я, а значит, ужин с Вагнером мог иметь место как до, так и после того вечера в «Пиладе». Если до - представляю себе смущение Бельбо и его подавленное отчаяние.

Доктор Вагнер из Вены, с многолетней практикой в Париже, чем обусловливалось ударение в фамилии на последнем слоге, чем щеголяли его знакомцы, вот уже лет десять наезжал в Милан по приглашению двух революционных групп - реликтов шестьдесят восьмого года. Группы устраивали с ним дискуссии и, разумеется, каждая предлагала альтернативную радикалистскую трактовку его взглядов. Зачем и почему этот известный человек спонсоризировался у экстрапарламентариев, я никогда не мог понять. Теории Вагнера сами по себе не носили политической окраски, и захоти он, мог бы ездить по приглашениям университетов, клиник, академий. Наверное, дело в том, что условия революционеров были для него выгоднее остальных, а главными качествами доктора являлись эпикурейство и привычка к княжескому шику. Частные же организации платили щедрее, чем государственные, следовательно, доктор Вагнер мог приезжать в первом классе, останавливаться в лучшем отеле, а счета за лекции и семинары выписывать по тарифам психиатрических сеансов.

Каким образом, со своей стороны, революционные группы находили идеологическое вдохновение в теориях господина Вагнера - это другой разговор. Хотя в те годы психоанализ Вагнера развивался по линии настолько деконструктивистской, диагональной, либидинозной и некартезианской, что из него и впрямь могла браться теоретическая подпитка любой, в том числе революционной деятельности.

Правда, не было понятно, как переварит эти идеи рабочий класс; обе ревгруппы оказались на перепутье - выбирать рабочий класс или Вагнера, и выбрали Вагнера. Была проведена идеологическая поправка, согласно которой движителем новой революции выступал не рабочий класс, а интеллигенция.

- Чем интеллектуализировать пролетариат, легче опролетарить интеллигенцию, а зная тарифы профессора Вагнера, ждать придется недолго, - сказал мне на это Бельбо.

Вагнерианская революция была самой дорогостоящей в истории человечества.

В издательстве «Гарамон» по субсидии одного психологического института был переведен и издан сборник мелких статей профессора, узкоспециальных, но ценных для поклонников Вагнера именно в силу давности и редкости. Вагнер прибыл в Милан, чтоб провести презентацию, тогда-то и началось их общение с Бельбо.

Имя файла: Доктор Вагнер

Дьявольский д-р Вагнер
Серия двадцать шестая
Кто в это серое нахмуренное ут

Во время обсуждения я выступил с замечанием. Сатанический старец раздражился, но не выказал. Отвечал, наоборот, обольстительно.

Так Шарлюс витает над Жюпьеном[1], пчела над венчиком. Гений не выносит нелюбимости. Он должен обольстить нелюбящего, влюбить его. Сделано: я полюбил Вагнера.

Но, вероятно, Вагнер меня не простил, потому что в вечер развода нанес мне смертельный удар. Не сознавая, инстинктивно: не сознавая обольщал, не сознавая решил меня покарать. В контексте деонтологии[2] он психоанализировал меня бесплатно. Подсознательное кусает и своих надсмотрщиков.

Похоже на историю с маркизом Лантенаком в *Девяносто третьем.* Корабль вандейцев попадает в грозу у бретонского берега, внезапно орудие отскакивает от лафета, и в то время как корабль роет волны то носом, то кормой, пушка мечется обезумело от форштевня до вахтерштевня, сокрушая все на пути. Канонир корабля (увы, именно тот, чьей нерачительностью было вызвано опасное происшествие) с беспримерной храбростью, с цепью в руках кидается наперерез чудовищу, грозящему убить, одолевает его, связывает, возвращает в мирное русло, спасает корабль, экипаж, задание. Следует возвышенно-литургическое действо по сценарию ужасного Лантенака. Команду строят на квартердеке, отличившегося вызывают перед строем, командир награждает его высшей военной наградой, сняв орден с собственной шеи, обнимает, лобызает, а орава оглашает воздух бесчисленными ура.

После этого несгибаемый Лантенак провозглашает, что именно этот, не знающий страха, был виновником аварийной обстановки, и что он должен быть расстрелян.

О дивный Лантенак, о доблестный, справедливый, неподкупный! Так же поступил со мною доктор Вагнер, я горжусь его дружбой, он убил меня, одарив меня истиной

убил меня, объяснив мне, чего именно я желаю,
объяснил мне, чего я, желая, страшуся.

История начинается по кафе и барам. Потребность влюбиться.

Есть вещи, которые предчувствуются. Невозможно влюбиться вдруг. А в периоды, когда влюбление назревает, нужно очень внимательно глядеть под ноги, куда ступаешь, чтобы не влюбиться в совсем уж не то.

Почему во мне назревало влюбление именно в этот период? Наверное, от того, что я как раз бросил пить. Работа сердца связана с работой печени. Новая любовь дает чудный повод запить снова. Снова двинуться по барам и кафешкам.

Бар быстролетен, вороват. Бар вытекает из сладкого ожидания в течение целых суток, покуда не окунешься в полумрак кожаных полукресел, в шесть часов вечера там нет ни единого человека, омерзительные завсегдатаи сползутся к вечеру, когда будут играть музыку. Предпочитаю малоприличный американ-бар, пустынный в предвечернюю пору, официант подходит только после третьего зова с готовым новым мартини.

Мартини - залог всего. Не виски, а именно мартини. Субстанция белого цвета, поднимешь стакан и внутри увидишь оливку. И разность между лицезрением возлюбленной через мартини коктейль, налитый в треугольный бокал - он непростительно мал - и ее же лицезрением сквозь джин мартини on the rocks, который подают в широком стакане, и лик дробится кубиками льда, дробленый лик двоится, когда вы сдвигаете стаканы и прижимаетесь челом каждый к своему холодящему стеклу - годятся на это стаканы, а бокалы не годятся никак.

Так мимолетен бар. Потом жди дрожа следующего дня. Нет уверенности - шантажа.

Кто влюбляется по барам, не нуждается в совершенно собственной женщине. Пусть некто вас одалживает друг другу.

Фигура этого некто. Он дает ей огромную свободу, будучи вечно в отъезде. Подозрительно либерален. Я мог звонить тебе в двенадцать ночи, он был

[1] Персонажи книг Марселя Пруста
[2] Раздел этики, в котором рассматриваются проблемы долга и должного.

дома, а ты нет, он говорил, что тебя нету, более того, кстати к слову, вы не знаете случайно, где она может быть? Единственные моменты ревности. Но именно таким образом я отбивал Цецилию у саксофониста. Любить или только думать, что любишь, как вечный священнослужитель той стародавней мести.

С Сандрой все осложнилось. На этот раз она почувствовала, что у меня это серьезно, и отношения нашей совместной жизни сделались напряженными. Нам надо расстаться? Тогда расстанемся. Нет, подожди, обсудим. Нет, так продолжаться не может. В общем, проблема была в Сандре.

Когда встречаешься по барам, драма твоей страсти фокусируется не на том, с кем ты встречаешься, а на том, с кем расстаешься.

В то время имел место ужин с доктором Вагнером. На лекции в тот день им было дано, в ответ на провокационный вопрос, определение психоанализа: - La psychanalise? C'est qu'entre l'homme et la femme... chers amis... ça ne colle pas[1].

Речь шла об отношениях пары, о разводе как иллюзии закона. Захваченный собственными проблемами, я участвовал в дискуссии с жаром. Мы позволили себя втянуть в диалектическую чехарду, говорили сами, в то время как Вагнер молчал. Мы забыли, что перед нами сидит оракул. Вдруг с задумчивым видом он

вдруг с полуусnувшим видом он

вдруг с грустно-равнодушным видом он

вдруг как будто совсем некстати Вагнер вступил в разговор (я хочу в точности передать его слова, они врезались в мою память совершенно точно, в данном случае я безусловно не ошибаюсь): - За всю мою жизнь я ни разу не имел пациента, невротизованного собственным разводом. Причиной страдания всегда выступает развод Другого.

Доктор Вагнер даже в устной речи ставил заглавную Д в слове Другой. В любом случае я подскочил как будто уязвленный аспидом

виконт подскочил как будто уязвленный аспидом

ледяной пот жемчужными каплями выступил на его челе

барон наблюдал за виконтом сквозь ленивые колечки дыма тончайших русских сигарет

- Вы имеете в виду, - спросил я, - что депрессия охватывает человека не из-за его собственного развода, но из-за возможного или невозможного развода того третьего лица, которое ответственно за кризисное состояние той пары, членом которой этот человек выступает?

Вагнер посмотрел на меня с изумлением обывателя, впервые имеющего дело с умственным расстройством. И спросил, что я хочу этим сказать.

Действительно, что бы я ни хотел сказать, выразился я глупо. Тогда я попытался конкретизировать умозаключение. Я разложил на скатерти приборы. - Вот, это я, Нож, женатый на Ложке. Есть еще Вилочка, замужем за Ножиком, за другим, чем я, за Мекки Мессером. Так вот, я, Нож, думаю, что переживаю из-за того, что собираюсь оставить свою супружницу Ложку, и в то же время не желаю этого, в то время как я люблю Вилочку, но меня вполне устраивает, если бы она оставалась себе со своим Ножичком. Вы же, доктор Вагнер, говорите мне, что на самом деле я страдаю из-за того, что Вилочка не расстается с Ножичком. Это так?

Вагнер уведомил сидевшего с нами сотрапезника, что никогда не говорил ничего подобного.

- Как это не говорили? Вы же сказали, что никогда не видели, чтобы люди были невротизованы собственным разводом, а всегда разводом кого-то другого.

- Может быть, не помню, - отвечал доктор Вагнер скучливо.

- А если вы это говорили, имели ли вы в виду то, что имел в виду сейчас я?

---

[1] Психоанализ? он в том, что, мои дорогие друзья, между мужчиной и женщиной... дело не клеится (*франц.*).

Вагнер выдержал паузу в несколько минут.

Бывшие за столом замерли, не решаясь даже сглотнуть. Вагнер сделал знак, чтобы ему налили в бокал вина, внимательно посмотрел жидкость на свет и только потом заговорил.

- Если вы поняли в этом смысле, значит, вы хотели в этом смысле понять.

Потом он отвернулся в другую сторону, пожаловался, что ему жарко, помурлыкал оперную арию, дирижируя сухарем, как будто бы перед невидимым оркестром, зевнул, сосредоточился на сливочном торте, а потом, после нового припадка немоты, попросил препроводить его в гостиницу.

Все смотрели на меня так, как будто я испортил им вечерю, на которой могло было быть возглашено Окончательное Слово.

И действительно мне была возглашена Истина.

Я тебе позвонил. Ты была дома, с Другим. Я не спал всю ночь. Все стало ясно: я не мог переносить, чтобы ты была с ним. Сандра не имела отношения.

Последовали душераздирающие полгода. Я гнал тебя как дичь, преследовал, дышал в шею, требовал, чтобы прекратилось твое сожительство с Другим, внушал, что ты мне необходима вся, целиком, пытался убедить, что ты ненавидишь Другого. У вас с ним пошли ссоры, Другой становился требовательным, ревнивым, не уходил по вечерам, а когда уезжал, то звонил два раза в день и посередине ночи. Однажды он тебя ударил. Ты попросила у меня денег, тебе надо было бежать, я снял то немногое, что имелось в банке. Ты покинула супружеский кров, подалась в горы с какими-то друзьями, адреса не оставила. Другой в отчаянии звонил мне, спрашивал, знаю ли я, куда ты уехала, я не знал, а выглядело это будто я обманываю, потому что ему-то ты сказала, что бросаешь его ради меня.

По возвращении, сияющая, ты оповестила меня, что написала Другому прощальное письмо. В этот момент у меня промелькнула мысль, что придется что-то решать насчет нас с Сандрой, но ты не дала мне времени серьезно обеспокоиться. Ты сказала, что познакомилась с одним человеком, у него шрам через всю щеку и очень богемная квартира. И теперь ты будешь жить у него. - А меня ты не любишь? - Наоборот, ты мужчина всей моей жизни, но после всего, что имело место, мне необходимо прожить этот этап, не веди себя по-детски, постарайся понять, в конце концов я ради тебя оставила мужа, пусть время сделает свою работу.

- Как ради меня? Ты говоришь, что уходишь к другому!

- Ты интеллигентный человек, к тому же прогрессист, не веди себя как мафиозо. Скоро увидимся.

Я кругом обязан доктору Вагнеру.

37

Кто бы ни рассуждал о четырех вещах, лучше бы он не рождался, суть: что над, что под, что прежде и что после.
Талмуд, Хагига 2.1

Я объявился в «Гарамоне» как раз в тот день, когда принесли устанавливать Абулафию, и когда Бельбо и Диоталлеви устраивали знаменитое прение об именах Бога, а Гудрун подозрительным взором сверлила незнакомых мужчин, внедрявших что-то беспокойное в дебри ее любимых пыльных рукописей.

- Садитесь, Казобон, вот вам проекты и заявки по истории металлов. - Заведя меня к себе в кабинет, Бельбо выложил на стол рукопись, предметный указатель, наброски художественного оформления. От меня требовалось читать текст и подбирать иллюстрации. Я сказал, что в миланских библиотеках, судя по всему, можно найти подходящий материал.

- Этого недостаточно, - сказал Бельбо. - Вам придется поездить. Например, в музее науки в Мюнхене замечательная фотоколлекция. Потом, конечно, Париж, Консерваторий Науки и Техники. Мне бы самому хотелось туда съездить, да времени нет.

- Хороший музей?

- Тревожный музей. Триумф механицизма в готическом соборе... - Он поколебался, подровнял стопку бумаг на столе. Потом, как будто опасаясь, чтоб не прозвучала чересчур серьезно его откровенность: - Там Маятник.

- Какой маятник?

- Маятник Фуко.

Он рассказал мне о маятнике Фуко именно то, что я думал и видел недавно, в субботу, в Париже, а может быть, в Париже в субботу я понимал все и видел таким образом именно из-за того, что меня подготовил Бельбо. Но в первый раз, после его рассказа, я не выразил сильного энтузиазма, и Бельбо посмотрел на меня как на человека, который в Сикстинской капелле спрашивает: «И это все?»

- Дело, что ли, в атмосфере этой церкви - уверяю вас, вы ощутите сильнейшее чувство. Мысль о том, что все течет, но при этом у вас над головою - единственная стабильная точка универсума... В ком нет веры, тем это позволяет снова обрести Бога, не ставя под удар свое неверие, потому что Бога в данном случае можно назвать Нулевым Полюсом. Для людей моего поколения, сытых разочарованием по горло, это довольно заманчиво.

- Моему поколению пришлось разочаровываться не меньше вашего.

- Вот это мания величия. Да ведь вы-то разочаровывались только один сезон. Запели "Карманьолу", глядь, а вокруг сплошная Вандея. Скоро вам полегчает. С нами было другое. Сначала фашизм, хотя мы были в то время почти детьми, воспринимали его как сыщики-разбойники; тем не менее точка отсчета - судьбы храбрых - нами была от фашизма получена. Потом другая точка отсчета, Сопротивление, особенно для того, кто, как я, наблюдал его со стороны. Для нас Сопротивление стало такой же непреложностью, как путь злака, как коловращение времен года, как равноденствие... или солнцестояние, я всегда их путаю... Для одних существует Бог, для других рабочий класс, а для многих и то и другое. Как утешительно для интеллектуалов было знать, что существуют рабочие, красивые, здоровые, сильные и готовые перестроить мир. А потом - это, кстати, застали уже и вы - рабочие продолжали существовать, а рабочий класс не продолжал. Его, очевидно, убили в Венгрии. Появились вы. Для вас, наверное, все выглядело естественным и даже праздничным. Моему же возрасту казалось наоборот. Можете объяснять как вам угодно: сведение счетов, угрызение, раскаяние, регенерация. Мы потеряли время, между тем появились вы носители энтузиазма, храбрости, самокритичности. Тогда мы, тридцатипяти-сорокалетние, испытали прилив надежды, пусть унизительной, но надежды. Мы возмечтали обучиться у вас, только что пришедших. Даже ценой того, чтобы все начинать с нуля. Мы перестали носить галстуки, мы выбросили приличные плащи и купили куртки на барахолке, и кое-кто из нас уволился с работы, чтобы не прислуживать классу хозяев...

Он закурил сигарету и притворился, что притворяется взволнованным - это был его способ выбираться из патетических положений.

- ... в то время как вы сдали всё, сразу на всех фронтах. Мы, с нашими искупительными паломничествами на Ардеатинские братские могилы, отказались сочинять рекламные лозунги для кока-колы, потому что были антифашистами. Мы согласились на пожизненное побирушничество у Гарамона, потому что книги, как минимум, демократичны. А вы с тех пор и по сегодняшний день придумываете как бы отомстить буржуям, которых вам не удалось повесить. Вы публикуете для них кассеты и буклеты, превращаете их в кретинов, сплавляете им свой подержанный дзен-буддизм, свои хипповые мотоциклы, в придачу с техруководствами по их самостоятельному, ха-ха, техобслуживанию. Вы перепродали нам по антикварным ценам ваши цитатники Мао и на эти средства стали устраивать балы новой культуры. И не постыдились. Мы же стыдимся всю жизнь. Вы нас обманули, вы не были носителями очищения, вы были носителями юношеской прыщевой сыпи. Вы нас стыдили за то, что у нас не хватило духу стать подпольщиками в Боливии. А сами придумали стрелять в спину мирным соотечественникам, шедшим домой с работы. За десять лет до того нам приходилось лгать, чтобы вас не сажали в тюрь-

мы. А потом вы лгали в свою очередь - чтобы сажать в тюрьмы ваших же друзей. Вот почему мне так симпатична эта машина. Она глупа, сама не верит, от меня не просит веры, делает что я говорю, дурак я - дура и она... или он. Честное взаимоотношение.

- Я...

- Вы ни при чем, Казобон. Вы удрали на другое полушарие вместо того, чтобы швыряться камнями, вы защитили диплом, вы ни в кого не стреляли. И при всем при том, вообразите, сколько-то лет назад я ощущал шантаж и с вашей стороны. Поймите правильно, ничего личного. Поколенческие циклы. Когда же я увидел Маятник, в прошлом году, я осознал все.

- Все ?

- Почти все. Видите ли, Казобон, Маятник тоже лжепророк. Вы на него глядите, вы верите, будто бы он единственная стабильная на свете точка, но если вы отцепите его от купола Консерватория и перевесите в бордель, он не утратит своей силы. Есть и другие маятники, один в Нью-Йорке, во дворце ООН, еще один в Сан-Франциско в музее науки, и не знаю, сколько еще. Маятник Фуко неподвижен, земля вращается под маятником - в какой бы точке он ни был установлен. Каждая точка мира становится точкой отсчета, стоит только привесить к ней маятник Фуко.

- Бог повсеместно?

- В определенном смысле да. Поэтому Маятник так меня тревожит. Он мне сулит беспредельность, однако я ответственен за решение: где я ее размещу, эту беспредельность. Значит, недостаточно обожать Маятник там, где он находится, необходимо каждый раз брать на себя ответственность, искать для него истинное место. И все же...

- И все же?

- И все же - надеюсь, вы не воспринимаете все это серьезно? Впрочем, я зря беспокоюсь, таких, как я, всерьез не воспринимают... И все же, как было только что сказано, мне кажется, что в течение жизни мы привешиваем Маятник в великое множество мест, и никогда это не действует по-настоящему, а действует только в Консерватории... Может быть, в универсуме существуют места более лучшие и менее лучшие? Может быть, самое лучшее - потолок этой комнаты? Нет, никто не поверит. Необходима атмосфера. Не знаю. Может быть, мы ищем да ищем совершенное место, а оно рядом с нами, а мы его не видим, а чтоб его найти, надо во все это по-настоящему верить... Пойдемте к господину Гарамону.

- Повесим Маятник у него?

- О суетность. Идемте делать серьезное дело. Чтобы вам заплатили, надо, чтобы хозяин вас повидал, понюхал, пощупал и полюбил. Подойдите под руку хозяина. Она излечивает от чесотки[1].

38

Тайный Магистр, Магистр Совершенный, Магистр Любознательности, Распорядитель Строений, Избранный из Девяти, Кавалер Царского Ковчега Соломонова или Магистр Девятого ковчега, Великий Шотландец Священного Свода, Рыцарь Востока, или же Меча, Князь Иерусалимский, Рыцарь Востока и Запада, Князь-Кавалер Златорозового креста и Рыцарь Орла и Пеликана, Великий Прелат или Верховный Шотландец Небесного Иерусалима, Достопочтенный Пожизненный Великий Магистр Всех Лож, Рыцарь Прусский и Патриарх Ноева колена, Кавалер Королевской Секиры или Князь Ливана, Князь Кущей, Рыцарь Медного Змия, Князь Сочувствия или же Благодати, Великий Рачитель Храма, Рыцарь Солнца или Князь-Адепт, Рыцарь Св. Андрея Шотландского или Великий Магистр Света, Рыцарь Великоизбранный Кадош и Кавалер Белого и Черного Орла. Высшие посвящения Масонства Древнего и Принятого Шотландского Обряда

Мы двинулись по коридору, он оканчивался тремя ступеньками и дверью с рифленым стеклом. За дверью открывалась новая вселенная.

[1] В средневековье верили, будто прикосновение французского короля лечит от болезней..

Насколько темны, закопчены и пыльны были помещения у нас за плечами, настолько же пространство впереди походило на дипломатический зал аэровокзала. Приглушенная музыка, голубоватая окраска стен, уютная приемная великолепного дизайна, стены увешаны портретами господ депутатского вида, вручающих крылатые победы господам сенаторского вида. На журнальном столике небрежно брошены, как в приемной зубного врача, лакированные журналы «Литературная изысканность», «Поэтический Атанор», «Роза и Шип», «Италийский Парнас», «Верлибр»... Ни одного из них я никогда не видал до того, и теперь мне известна причина: эти журналы распространяются только среди клиентов «Мануция».

Сперва я подумал, что передо мною административная часть издательства «Гарамон», но довольно скоро я понял, что речь идет о совершенно другом издательстве. В прихожей «Гарамона» торчала маленькая грязноватая витринка с их последними публикациями, книжки были неказистые, с неразрезанными листами, с серенькой обложкой - что-то вроде французской университетской прессы, бумага такого сорта, который желтеет за несколько лет и создает впечатление, будто автор, при всей своей молодости, начал публиковаться бог знает когда. А здесь имелась большая красивая витрина с внутренним светом, в ней были выставлены книги издательского дома «Мануций», некоторые распахнуты - глядят наружу просторные, воздушные развороты. Белоснежная, легкая, дублированная прозрачным пластиком, очень элегантная серийная обложка, рисовая бумага, дивной четкости офсет.

Серии «Гарамона» назывались серьезно и специально, например «Гуманитарные исследования» или «Философия». Серии же «Мануция» носили изнеженные и поэтичные имена: «Цветник несбиранный» (поэзия), «Терра Инкогнита» (проза), «Час Олеандра» (для изданий типа «Записки больной девочки»), «Остров Пасхи» (по-моему - очеркистика), «Новая Атлантида» (последней новинкой этой серии выступало издание «Koenigsberg Redenta - Вновь обретенный Кенигсберг, пролегомены к любой грядущей метафизике, которая представлялась бы двойственной системой трансцендентности и наукой о феноменальном ноумене»). На всех переплетах была эмблема издательского дома - пеликан под пальмой с подписью «Владею тем, что дарую».

Бельбо был краток в своих пояснениях: господин Гарамон владеет двумя издательствами, вот и все. В дальнейшем мне стало ясно, что связь между «Гарамоном» и «Мануцием» составляет сугубо частный, конфиденциальный факт. Парадный вход «Мануция» был расположен по улице Маркиза Гуальди, и на улице Гуальди не было ничего похожего на зловонное кишение улицы Ренато Синчеро. Все наоборот: надраенные фасады, просторные тротуары, холлы с лифтами из алюминия. Никому не пришло бы в голову, что из квартиры в облезлом доме по улице Синчеро Ренато можно пройти, преодолев всего только три ступеньки между уровнями, в один из шикарных палаццо на улице Гуальди. Не знаю, что сделал господин Гарамон, чтобы получить разрешение. Кажется, за него хлопотал один автор - член отдела охраны памятников.

Нами занялась госпожа Грация, жакет и юбка подобраны в цвет стен, поступь матроны, шелковый платок от известного модельера. Со сдержанной улыбкой она препроводила нас в зал, украшенный глобусом.

Зал был не так уж велик, но походил на кабинет Муссолини в римском Дворце Венеции, около входа размещался огромный глобус, письменный стол красного дерева стоял у дальней стены, посетитель его видел как будто в перевернутый бинокль. Гарамон дал знак, чтобы мы приблизились, и меня сразу проняло почтением. Позднее, при появлении Де Губернатиса, Гарамон поднялся с места и собственной персоной поспешил ему навстречу; столь сердечное проявление еще раз подчеркнуло величие хозяина и великолепие обстановки, поскольку посетитель сперва дождался, как в балете, приближения Гарамона по зеркальному паркету зала, а затем и сам проделал тот же путь в обратном направлении об руку с гостеприимным Гарамоном, благодаря чему пространство кабинета волшебным образом удвоилось.

Гарамон усадил нас напротив, был решителен и сердечен. - Доктор Бельбо прекрасно отзывается о вас, доктор Казобон. Нам нужны квалифици-

рованные сотрудники. Разумеется, речь не идет о постоянной ставке, этого мы себе не можем позволить. Будет компенсирован в должном объеме ваш труд, скажу даже - ваша добросовестность, ибо наша профессия есть служение.

Он назвал сумму моего гонорара, рассчитанную из условных рабочих часов, по тем временам цифра мне показалась разумной.

- Превосходно, дорогой Казобон. - Научный титул мгновенно отпал с той секунды, как я был принят на жалованье. - Эта история металлов. Она должна быть великолепна, более того - прекрасна. Общедоступность, простота, и в то же время научный уровень. Пусть поражает воображение читателя, но на научном уровне. Приведу вам один пример. Я прочитал в начале рукописи описание одного шара, ну как его, Магдебургского, два полушария составили вместе и в середину накачали пневматическую пустоту. К полушариям припрягли по две пары норманнских лошадей, одну пару к одному, другую к другому, одна пара тянула в одну сторону, другая в другую, а два полушария не рассоединились. Так вот, к этому сводится научная информация. Но ваше дело выделить ее среди остальных, менее живописных. Как только вы ее выделили, вы должны мне найти ее изображение, фреску, картину, что-нибудь такое. А потом мы напечатаем потрясающий разворот в цветном офсете.

- Я знаю одну гравюру, - сказал я.

- Ну вот, видите? Молодец. Так и надо. На разворот ее, в четыре цвета.

- Гравюру можно только в один, - сказал я.

- Да? Ну тогда в один цвет. Точность есть точность. Все-таки дадим в два. Дадим золотой фон. Пускай читатель поразится. Должен возникать буквально эффект присутствия в тот день, в том месте, где они проводили эксперимент. Ясно? Научный уровень, реалистичность, эмоциональность. Вот наше девиз. Можно остаться на научном уровне и в то же время держать читателя за кишки. Есть ли что-либо более театральное, драматичное, скажу даже занимательное, нежели мадам Кюри, когда она заходит вечером к себе домой и видит в темноте флуоресцентный луч! боже! что это могло бы быть... Углеводород, голконда, флогистон или как там он называется, шут с ним, в общем, вуаля, Мария Кюри изобрела рентген-лучи. Оживляйте материал. Но ради бога, соблюдайте научную строгость.

- Но как связан рентген с металлами?

- А что, радий не металл?

- Радий - металл, - согласился я.

- Ну вот. Но не только радиация нас интересует. Весь мир знания каким-либо манером можно увязать с металлами. Как мы собирались назвать эту книгу, Бельбо?

- Солидно и спокойно. Металлы и материальная культура.

- Так и надо. Солидно и спокойно. Но должна там чувствоваться этакая изюминка, этакая хитринка, говорящая о многом... Посмотрим... Вот. «Всемирная история металлов». Там про китайцев есть?

- Про китайцев-то есть...

- Тогда всемирная. Мы не гонимся за шиком - это требование истины. А то еще лучше: "Невероятные приключения металлов".

Как раз в этот момент госпожа Грация объявила о приходе коммендатора Де Губернатиса. Господин Гарамон замялся, с сомнением поглядел на меня. Бельбо ободрительно кивнул, как будто подтверждая, что отныне мне можно доверять как своему. Гарамон провозгласил, что посетителя можно вводить, и сам вышел из-за стола, чтобы двинуться к нему навстречу. Посетителя ввели, он был в двубортном костюме, с розеткой в петлице, с авторучкой в кармане, со свернутой газетой в кармане пиджака и с папкой под мышкой.

- Дорогой коммендаторе, прошу вас садиться, мой друг Де Амброзиис много рассказывал мне о Вас. Достойнейший пример, вся жизнь без колебаний отдана государственной службе. И затаенная поэтическая жилка, я угадал, не правда ли? Покажите же, дайте же мне это сокровище, которое вы сжимаете в руках... Познакомьтесь, здесь присутствуют двое из моих генеральных директоров.

Он усадил гостя напротив книжного стола, заваленного рукописями, и

разгладил дрожащими от нетерпения пальцами первый лист врученного ему сочинения. - Вы можете не рассказывать мне ничего, я обо всем наслышан. Вы родом из Випитено, великого и славного города. Вся жизнь без колебаний отдана службе на таможне. И тайно от всех, день за днем, ночь за ночью, слагались эти страницы, осененные духом поэзии. Поэзия... Ею опалена была юность Сапфо, ею же взлелеяны гетевские седины... Древние греки называли «фармаком» как яды, так и лекарства. Разумеется, мы прочитаем его, это ваше создание, прочитаем и перечитаем, у нас в заводе как минимум три предварительные рецензии, одна внутренняя и две выполняемые нашими консультантами. Они выполняются анонимно, увы, иначе нельзя, дело идет о слишком известных в обществе людях. «Мануций» не публикует книг, пока не убедится в абсолютной их качественности. А качественность, вам это известно, конечно же, лучше чем мне, это нечто неощутимое, неуловимое, ощущаемое шестым чувством, зачастую книга бывает несвободна от несовершенств, от шероховатостей, Свево тоже писал плохо, могли бы сказать Вы, и были бы правы! Но господи боже мой, идея, ритм, стиль, в этом ошибиться невозможно! Я знаю, вы можете не говорить мне ничего, бросив один только взгляд на самое начало этих страниц, я уже почувствовал, что тут витает это самое нечто, однако я не хотел бы судить самовластно, невзирая на то, что зачастую - о, знали бы вы, насколько часто! - внутренние рецензии бывали не слишком хвалебными, но я стоял на своем, потому что невозможно решать судьбу автора, не звеня, так сказать, одной струною с ним, вот например, скажем, я открываю эту рукопись и взгляд мой касается строки «как осень, лебедь отощалый» - прекрасно, я не хочу знать, каково все остальное, мне достаточно этого образа, очень часто хватает только этого - экстаз, восхищение, а затем... Cela dit, мой дорогой друг, Бог свидетель, если бы удавалось делать то, чего мы хотим! Но, к сожалению, издательства - такие же промышленные предприятия, как и прочие. Более благородные, нежели прочие, и тем не менее промышленные. А известно ли вам, во сколько обходится в наше время одна только печать? А бумага? Откройте, посмотрите в сегодняшней газете, насколько поднялась на сегодняшнее утро учетная ставка на Уолл-стрит. Вы хотите сказать, что это не имеет к нам непосредственного отношения? Представьте себе, что имеет! И самое непосредственное! Вам известно, что теперь они облагают налогом даже складированную продукцию? Что если что-то не продается, они облагают налогом остатки? Я плачу даже за неуспех, оплачиваю голгофу каждого гения, непонятого филистерами. Вот эта папиросная бумага... с вашей стороны на редкость изысканно, позвольте заметить, это просто находка - отпечатать текст на столь тонкой и прозрачной бумаге, чувствуется настоящий поэт, бездарный нахал использовал бы высокосортную, чтобы пустить пыль в глаза и отлечь внимание души. Нет, перед нами совсем другой случай, это - настоящая поэзия, от сердца идущая, о, слова тяжелы как камни, они способны перевесить любую вещь в мире! О, эта папиросная бумага в конечном счете обойдется мне как банкнотная!

Тут зазвонил телефон. В дальнейшем я узнал, что на этом этапе господин Гарамон нажимает на подстольную пупочку и госпожа Грация зажигает у него немую линию.

- Дорогой Маэстро! Как? Изумительная новость! Настоящий праздник! Вашу новую книгу сочли событием сезона! Ну конечно, и наш издательский дом «Мануций» счастлив, польщен, скажу сильнее - рад иметь Вас в числе постоянных авторов! Вы видели, как отзываются газеты о Вашей последней эпической поэме. Это достойно Нобелевской премии. Как жаль, что вы опередили свое время. Мы с трудом распродали три тысячи экземпляров...

Коммендатор Де Губернатис побелел: три тысячи экземпляров в его представлении оставались недостижимым, не мечтанным даже рубежом.

- ...и не перекрыли стоимости производства. Приходите, загляните к нам, посмотрите, сколько народу работает у меня в редакции. В наше время, чтобы окупить книжку, требуется продавать не менее десяти тысяч экземпляров. К счастью, многие из наших книг продаются гораздо шире, однако существуют писатели, как бы это выразиться, инакого профиля. Бальзак был великий талант и продавал свои книги как пирожки, Пруст был не менее ве-

ликий талант, а печатался за собственный счет. Вы попадете в школьные хрестоматии, но не в станционные киоски. С Джойсом вышла та же самая история, он публиковался за собственный счет, как Пруст. Таких книжек, как ваша, я могу позволить себе одну-единственную за два или три года. Теперь мне потребуются новых три года... - последовала затяжная пауза. На лице Гарамона обозначилось горестное смущение.

- Как? За ваш собственный счет? Нет, нет, расход не так велик, цифру можно свести до минимума... Нет, дело в другом, в «Мануции» это не принято... Конечно, как Вы могли бы сказать, и Джойс с Прустом тоже... Понимаю, понимаю...

Еще одна выдержанная пауза. - Хорошо, давайте действительно поговорим. Я с вами был совершенно откровенен, вы полны нетерпения, давайте попробуем то, что называется совместным предприятием, джойнт венчер, как говорят американцы... Приходите к нам завтра, и мы ориентировочно подсчитаем смету... Мое почтение и мое восхищение.

Гарамон поднял на нас глаза, как будто выходя из глубокого сна, и провел по лицу ладонью, потом вздрогнул всем телом, вспомнив о присутствии посетителя. - Простите. Это был Писатель, настоящий Писатель, я думаю - великий. И что же? Именно поэтому... Как часто испытываешь стыд, занимаясь нашей профессией. Если бы не было так сильно призвание... Но вернемся к нашей беседе. Все уже сказано. Я отвечу вам в течение месяца. Рукопись оставьте у нас, она в надежных руках.

Коммендатор Де Губернатис вышел так и не произнеся ни слова. Он знал: он ступил одной ногою в кузню литературной славы.

39

Рыцарь Небесных Сфер, Князь Зодиака, Высочайший Герметичный Философ, Несравненный Коммендатор Светил, Великий Прелат Изиды, Князь Священного Холма, Философ Самофракийский, Титан Кавказский, Отрок Златолирный, Кавалер Истинного Феникса, Кавалер Сфинкса, Высочайший Мудрец Лабиринта, Князь Брахман, Мистический Надзиратель Святилища, Зодчий Таинственной Башни, Высочайший Князь Священной Завесы, Толмач Иероглифов, Орфический Доктор, Надзиратель Трех Очагов, Хранитель Невысказуемого Имени, Величайший Эдип Высших Секретов, Возлюбленный Пастырь в Оазисе Таин, Доктор Священного Огня, Рыцарь Сиятельного Угольника.
Посвящения Древнего и Первобытного Мемфисско-Мисраимского Обряда

«Мануций» было издательством для ПИССов.

ПИССом именовался на техническом наречии «Мануция»... но почему «именовался»? именуется, существует и сейчас, все продолжается там у них как ни в чем не бывало, это просто я перевожу рассказ в недостижимо отдаленное прошлое, потому что то, что случилось позавчера вечером, прочертило как будто разлом во времени; в нефе Сен-Мартен-де-Шан прервалась связь времен. А может быть, это оттого, что позавчера я сам внезапно состарился на десятилетия? Или же страх, что Эти Самые доберутся до меня, подсказывает мне такую интонацию, как будто я пишу историю империи периода упадка, историю распростертой в ванне, со вскрытой веной, выжидающей, когда она захлебнется в моей крови...

ПИСС значит Писатель, Издающийся на Собственный Счет. «Мануций» - одна из тех фабрик славы, которые в англоязычных странах называют «vanity press». Прекрасный товарооборот, никаких накладных расходов. Штат: Гарамон, госпожа Грация, бухгалтер в чуланчике в конце коридора с табличкой «замдиректора по хозяйственной части», пенсионер-инвалид Лучано на должности экспедитора, распоряжающийся обширным складом в полуподвальном этаже.

- Никогда я не мог уяснить, как умудряется Лучано паковать книги одной рукой, - говаривал Бельбо. - Видимо, пускает в ход зубы. Хотя, если подумать, пакует он не так уж много. В нормальных издательствах рассылают

товар для реализации, у нас отправляют только посылки авторам.«Мануций»читателями не интересуется. Самое важное, считает господин Гарамон, чтобы нас любили писатели. Без читателей прожить можно.

Бельбо восхищался господином Гарамоном. Гарамон в его глазах олицетворял силу, в которой ему, Бельбо, было отказано.

Система «Мануция» отличалась простотой. Немногочисленные рекламные объявления в провинциальных газетах, в специальных журналах, в городских литературных альманахах, в периодических изданиях, которым не суждено прожить больше трех выпусков. Объявления скромного формата, с фотографией автора и подписью «высочайший голос нашей поэзии» или «новая захватывающая повесть автора романа «Флориана и ее сестры» ».

- Таким образом расставляются силки, - продолжал Бельбо, - и ПИССы падают в них гроздьями, если, конечно, грозди могут попадать в силки, но так как неопрятная метафорика характерна для авторского коллектива «Мануция», она отчасти передалась и мне, так что прошу простить.

- Ну и?

- Ну и возьмем к примеру Де Губернатиса. Через месяц, дав пенсионеру хорошо повариться в собственном соку, поступит звонок от Гарамона с приглашением на ужин, где будут и другие авторы. Вечер состоится в арабском ресторане, для своих, без вывески; надо прямо звонить и говорить в домофон свою фамилию. Шикарная обстановка, рассеянный свет, экзотические мелодии. Гарамон здоровается за руку с метрдотелем, обращается на ты к официантам и возвращает в погреб бутылки, потому что год разлива его не устраивает, или же говорит: извини меня, дорогой, но разве это кускус, как готовят в Марракеше? Де Губернатиса знакомят с комиссаром Таблетти, все наземные службы аэропорта под его контролем, но главное в нем - что он изобретатель, апостол нового языка Косморанто, это язык мира во всем мире и сейчас он стоит на повестке дня в ЮНЕСКО. Потом - профессор Пилюлли, настоящая крепкая проза, лауреат премии Петруцеллис делла Кукуцца 1980-го года, светило медицинской науки. Сколько лет у вас преподавательского стажа, профессор? В те времена студенты действительно учились. А вот и наша утонченная поэтесса, Теодолинда Клистери Клизмони. Та самая, которой принадлежат «Целомудренные касания», вы, конечно, читали.

Бельбо признался мне, что долго не мог уяснить, почему женщины-ПИССицы подписываются двойной фамилией. Почему, господи боже, у нормальных литераторш, как правило, одна фамилия, а то и вообще нет ее, как у Колетт, а у ПИССессы всегда имя вроде Капитолина Облигацци Депозито? Дело, конечно, в том, что нормальный сочинитель пишет из интереса к своей работе, и ему не так уж важно, если прославится не он, а псевдоним, как например было с Нервалем; а для ПИССов и ПИССих важнее всего, чтобы их узнавали соседи, как по нынешнему району, так и в районе, где они жили раньше. Мужчине хорошо, у него всегда одно имя, а даме необходимо чтобы дошло как до тех, кто знавал ее в девицах, так и до знакомых через мужа. Поэтому она не может обойтись без двух фамилий.

- В общем, что вам сказать, ужины эти очень насыщенны в интеллектуальном смысле. У Де Губернатиса сложится впечатление, что он нахлебался коктейля из ЛСД. Он наслушается сплетен от соседей по столу, узнает смачный анекдот про великого писателя, известного импотента, да и, между нами, как писатель - не такого уж великого. Он вопьется влажным от волнения взором в новое издание Энциклопедии Знаменитых Итальянцев, которая по мановению Гарамона появится внезапно и сногсшибательно, для того чтобы показать комиссару, как выглядит статья о нем, вот и вы вошли в пантеон, дорогой коллега, как же, как же, это настолько соответствует вашим заслугам.

Бельбо показал и мне эту энциклопедию. - Час назад я читал вам мораль, теперь мне стыдно, потому что никто не чист. Энциклопедию пишем мы вдвоем с Диоталлеви. Но, клянусь вам, не ради постраничной оплаты. Это одно из самых смешных на свете занятий. Каждый год выходит новое переработанное издание. Статьи о литераторах расположены квадратно-гнездовым способом. Одна статья про существующего писателя, одна про ПИССа. Много времени, как правило, отнимает возня с алфавитом. Невыгодно терять прост-

ранство между двумя знаменитыми писателями. Приходится работать филигранно... вот например посмотрите на Л.

ЛАМПЕДУЗА, Джузеппе Томази ди (1896-1957). Сицилийский писатель. Долго не пользовался признанием и стал знаменитым лишь после своей смерти как автор романа «Леопард».

ЛАМПУСТРИ, Адеодато (1919 -). Писатель, воспитатель, боец (бронзовая медаль за восточноафриканскую кампанию), мыслитель, прозаик и поэт. Его фигура высится на фоне итальянской словесности текущего столетия. Дар Лампустри выявился с особой силой после 1959 года, когда был создан первый том всеобъемлющей трилогии «Братья Карамасси», в которой в неприкрыто реалистичной и в то же время подкупающе лиричной манере повествуется о нелегкой судьбе семьи рыбаков из Луканни. Это произведение, которому была заслуженно присвоена в 1960 году премия Петруцеллис делла Кукуцца, было продолжено созданными в последующие годы романами «Освобождение из тюрьмы» и «Пантера с глазами без ресниц», которые возможно, еще более выразительно, чем первое творение, подчеркивают эпический размах, искрометное воображение, лирическую струю, отличающие многогранное творчество этого одаренного художника. Ценный сотрудник министерства, Лампустри пользуется уважением среди коллег по работе как цельная личность, образцовый отец и муж, тончайший оратор.

- Де Губернатис, - продолжал Бельбо, - возжаждет оказаться в энциклопедии, даром что он всю жизнь говорил, что Энциклопедия Знаменитых Итальянцев - суета сует, что она захвачена сговорившимися критиками. Но всего важнее, что в этот вечер перед ним открывается перспектива войти в общество писателей, которые являются в то же время директорами государственных предприятий, банкирами, аристократами, юристами. Внезапно оказывается, что он может резко расширить и обогатить круг своих знакомств, и если ему понадобится обратиться по делу, теперь он будет знать, к кому. Господин Гарамон своей властью может вытащить Де Губернатиса из провинциального болота, возвысить его до неслыханных высот. Приблизительно к концу вечера Гарамон шепнет ему, чтобы тот зашел наутро к нему в издательство.

- И на следующий день он побежит.

- Можете не сомневаться. После бессонной ночи, исполненный мечты о славе Адеодато Лампустри.

- А потом?

- Потом, то есть на следующее утро, Гарамон начнет так: я не упоминал об этом вчера за ужином, чтобы не смущать остальных, но что за чудо вы написали! Не говорю уж о том, что внутренние рецензии полны восторгов, более того, положительны, да я и сам лично посвятил всю ночь, не отрываясь, чтению этих страниц. Книга уверенно идет на литературную премию. Великая, великая вещь. Потом Гарамон вернется к своему столу и хлопнет ладонью по рукописи, затрепанной, зачитанной до дыр по меньшей мере четырьмя энтузиастами рецензентами. Затрепывать рукописи входит в служебные обязанности госпожи Грации. И возведет на ПИССа растерянный взор: - Что будем делать?

- Как что будем делать? - переспросит Де Губернатис. А Гарамон ответит, что относительно ценности сочинения он не имеет никаких даже минимальных сомнений, но вещь безусловно опередила свое время, и в отношении количества экземпляров невозможно вообразить более двух тысяч, ну двух тысяч пяти, не более этого. С точки зрения Де Губернатиса, двух тысяч экземпляров вполне достаточно, чтобы покрыть всех знакомых ему людей, ПИСС не мыслит в планетарных категориях, вернее, его планета состоит из известных лиц, школьных товарищей, директоров банков, коллег, преподающих вместе с ним в одной и той же средней школе, из полковников на пенсии. Всех этих людей ПИСС намеревается втянуть в свой поэтический универсум, даже тех, кто этого не хотели бы, как зеленщик или участковый полицейский. Опасаясь больше всего, как бы Гарамон не подался на попятный, притом что уже все в доме, на работе, на главной площади городка извещены, что он передал рукопись крупнейшему издателю в Милане, Де Губернатис

лихорадочно подсчитывает в уме. Можно снять все с книжки, занять в кассе взаимопомощи, оформить ссуду в банке, продать те несколько облигаций, которые у него имеются, Париж в данном случае стоит мессы. Он решается заикнуться насчет участия в расходах. Гарамон реагирует взволнованно, в «Мануции» это не принято, а потом - ну допустим, вы меня убедили, в конце концов и Пруст и Джойс должны были склонять выи пред жестокой необходимостью, стоимость производства книги составит столько-то, мы для начала напечатаем две тысячи, но в контракте проставим как потолок десять тысяч. Имейте в виду, что двести экземпляров издательство дарит вам бесплатно, вы сможете преподнести их кому найдете нужным, еще двести мы разошлем по газетам, потому что это тот случай, когда стоит шарахнуть рекламную кампанию как для «Анжелики маркизы ангелов», а в торговлю отправим пока что тысячу шестьсот. В данном случае, как вы понимаете, невозможно говорить об авторском гонораре, но если книга пойдет, допечатаем тираж и вы получите двенадцать процентов с продажи.

Потом я видел этот типовой контракт, который подобный Де Губернатис, в поэтическом трансе, подписывает, разумеется, не читая. Замдиректора по финансам в эту минуту громко сетует, что господин Гарамон занизил производственные расходы. Десять страниц нонпарелью, сотни параграфов условий, копирайт на заграницу, права на использование образов, условия создания театральных- и киноверсий, условия исполнения в радиопередачах, оговорки относительно изданий алфавитом Брайля для слепых, ситуация в случае уступки сокращенного варианта в Ридерс Дайджест, параграф о создании журнального варианта, гарантии в случае судебного процесса по обвинению в диффамации, права автора на окончательное утверждение редакторской и корректорской правки, клаузула о передаче дела в арбитражный суд города Милана в случае невозможности полюбовного разрешения спора... Абсолютно вымотанный, плавая в рассеянном тумане грядущей славы, ПИСС добирается до последних закорючек контракта, где говорится, что максимальным уровнем тиража является десять тысяч, но что является минимумом, не говорится, а сказано, что выплачиваемая сумма не связана непосредственным образом с тиражом, который будет установлен в устном соглашении, а кроме этого - что издатель имеет право через год отослать нераспроданный тираж под нож, в случае если автор не пожелает выкупить экземпляры по стоимости половины цены обложки. Дата, подпись.

Рекламный запуск производится с сатрапическим размахом. Пресс-релиз на десять страниц, биография автора, критический разбор. Никакого подобия стыдливости, поскольку мы уверены, что в редакциях всех журналов и газет пресс-релиз немедленно выбросят в корзину. Печатается тираж: тысяча экземпляров в листах, из них триста пятьдесят переплетаются. Двести переплетенных экземпляров направляются автору, пятьдесят - в малоизвестные «фирменные» книжные лавки, пятьдесят в журналы провинции, в которой обитает автор, еще тридцать на всякий случай в газеты, потому что иногда бывает, что сообщениями о них затыкают дырки на полосах «Поступило в редакцию». Один экземпляр, как правило, передается в дар больнице или исправительному заведению, и понятно, с каким скрипом после этого там идет как лечение, так и перевоспитание.

Летом присуждается премия Петруцеллис делла Кукуцца, порождение Гарамона. Расходы на премию: полный пансион для членов жюри в течение двух дней, Ника Самофракийская из красного гранита. Поздравительные телеграммы от авторов издательства «Мануций».

Наконец настает время для момента истины, приблизительно через полтора года. Господин Гарамон пишет автору письмо: Мой любезный друг, я предвидел это, вы явились миру с пятидесятилетним опережением. Рецензии, как вы сами видели, суперхвалебные, премии, восхищение критики, все это вам известно, и не стоит повторяться. Однако продано, увы, совсем немного экземпляров, публика не подготовлена. Мы вынуждены освобождать свои склады в соответствии с клаузулой контракта (прилагается). Или под нож, или вы приобретаете остатки по половине цены обложки, вам предоставлено контрактом подобное право.

Де Губернатис теряет голову от горя, родственники его утешают, тебя просто не сумели понять, конечно, если бы ты был как все эти, если бы сунул кому следует взятку, тебя бы похвалили даже в «Коррьере делла сера», это все мафиози, надо принимать вещи как они есть. От дарственных экземпляров осталось только пять штук, а между тем они всегда могут понадобиться, сколько людей еще не охвачено, не допустим же мы, чтобы твоя книга пошла в макулатуру и из нее сделали туалетную бумагу, посмотрим, сколько мы сумеем наскрести, в любом случае это оправданная трата, жизнь дается нам только один раз, напиши, что забираешь пятьсот экземпляров, а что касается остальных, сик транзит глория мунди.

У «Мануция» лежат на складе 650 экземпляров в листах, господин Гарамон переплетает пятьсот и отправляет их наложенным платежом. Результат: автор авансом оплатил стоимость производства двух тысяч экземпляров, из которых издательство отпечатало тысячу и переплело 850, из которых 500 были оплачены автором вторично. Пять десятков авторов в год, и бюджет «Мануция» закрывается с хорошим активом.

И без угрызений совести: ведь это продается счастье.

42

Но знайте, что мы всегда согласны между собою, что бы мы ни говорили.

Спор философов.
Turba Philosophorum

После посещения профессора Браманти, когда тот вышел, Бельбо заметил, что ему не мешало бы вытащить пробку. Господин Гарамон не знал смысла выражения, и Бельбо потратил некоторое время на подыскание пристойных парафразов, однако успеха не имел.

- В любом случае, - сказал господин Гарамон, - ломаться нам незачем. Этот господин пяти слов не сказал, как я уже знал, что он нам не клиент. Он лично платить не собирается. Но совершенно другое дело те, на кого он ссылался, и писатели, и читатели. Этот Браманти возник как раз в такой период, когда я и без него уделял внимание некоторым размышлениям в данном русле. Вот, господа. - И театральным жестом он выложил из ящика три книги.

- Все эти сочинения вышли в последние годы и пользовались успехом. Первое из них по-английски и я его не читал, но автор - знаменитое имя. О чем же он пишет? Видите, подзаголовок: гностический роман. А теперь посмотрите на эту книгу. На первый взгляд, это детектив, бестселлер. О чем тут рассказывается? О какой-то гностической церкви недалеко от Турина. Вы знаете, наверное, кто такие эти гностики... - Он остановил нас движением руки: - Неважно, неважно, мне достаточно знать, что это что-то потустороннее... Да, да, я понимаю, что сознательно обобщаю какие-то вещи, но сейчас я рассуждаю не как вы, я рассуждаю как этот Браманти. В настоящий момент перед вами издатель, а не профессор гносеологии или как там она у вас называется. Что я вижу для себя интересного, многообещающего, зовущего, скажу даже, любопытного в рассуждениях Браманти? У него, кстати, удивительная способность собирать все в одну кучу... он не называл гностиков, но, согласитесь, вполне мог бы и назвать их наряду с геомантией, геровиталем и радамесом на меркурии[1]. Почему я останавливаюсь на этом? Потому что тут у меня имеется еще одна книга, на этот раз книга знаменитой журналистки, которая рассказывает о невероятных вещах, происходящих в Турине. Еще раз повторяю, в Турине, в центре автомобилестроения! Ведовство, черные мессы, заклинания бесов, и всем этим занимаются состоятельные люди, не кликуши полудикие с дальнего юга. Казобон, Бельбо рассказывал мне, что вы родом из Бразилии и что там вы участвовали в сатанических обрядах местных дикарей....

[1] *Геомантия* - гадание по земной поверхности; *геровиталь* - лекарство от старения, *Радамес* - собственное имя египетских фараонов; *меркурий* - ртуть (*лат.*).

Хорошо, потом вы меня поправите, но это неважно. Бразилия среди нас, господа! Я лично посетил несколько дней назад книжный магазин, как его, не имеет значения, в общем, книжную лавку, где шесть-семь лет тому назад торговали текстами анархистов, революционеров, тупамаров, террористов, скажу даже - марксистов. Ну и что же? Какой у них теперь уклон? Торгуют теми изданиями, о которых говорил тут Браманти. Согласен, сейчас вообще время большой путаницы, если вы пойдете в католический книжный магазин, где раньше продавали только катехизис, теперь вы там найдете и переосмысление учения Лютера, но все-таки они не предлагают вам книжек, в которых говорится, что религия сплошное вранье. А в лавках, которые я имею в виду, все смешано, и за и против, лишь бы дело касалось предметов, как бы это сказать...

- ...герметичных, - подсказал Диоталлеви.

- Вот именно. Это правильное слово. Я у них видел чуть ли не десять книжек о Гермесе. Так что мы можем начинать разговор о «Проекте Гермес». Эта новая ветвь...

- ...золотая ветвь, - сказал Бельбо.

- Вот именно. - Гарамон явно не уловил намек на книгу Фрэзера. - Даже золотая жила. Я почувствовал одно - эти люди съедят что угодно, лишь бы было герметично, вот и Диоталлеви соглашается со мною. То есть лишь бы было наперекор тому, что сказано в школьных учебниках. Я думаю даже, что это наш культурный долг. Я не занимаюсь исключительно благотворительностью, но в наши смутные времена предложить людям опору, веру, выход в сверхъестественное... Учитывая, что «Гарамону» присуща научная ориентация...

Бельбо мгновенно напрягся. - Я думал, что речь идет о «Мануции».

- И о том и о другом. Послушайте меня. Я покопался в том книжном магазине, а потом пошел в другой, на этот раз в серьезный, и там имелся великолепный стеллаж, посвященный оккультизму. По этим вопросам существуют как исследования на университетском уровне, так и книжонки, состряпанные людишками вроде Браманти. Теперь учтем следующее. Этот Браманти никогда в глаза не видел университетских авторов, но он их читает, и читает таким образом, как будто бы они - такие же, как он. Это тип людей, которые что бы ни говорилось, полагают, что речь идет о них, как в том анекдоте про кота, который, когда хозяева ругались по поводу развода, думал, что они не могут решить, какую требуху дать ему на ужин. Вы и сами видели это, Бельбо, стоило вам только заикнуться об этой тамплиерской истории, как он тотчас же: окей, сюда же и тамплиеров, в ту же кучу что каббалу, спортлото и гаданье на кофейной гуще. Эти люди всеядны. Абсолютно всеядны. Вы же видели лицо этого Браманти: грызун. В потенциале - огромная публика, состоящая из двух категорий, я их так прямо и вижу, как они маршируют колоннами, имя им легион. Во-первых, те, кто сочиняет эти книги, и тут наготове «Мануций» с распростертыми объятиями. Их приманить ничего не стоит, достаточно учредить престижную серию, с каким-нибудь таким названием вроде...

- Скрижаль измарагда, - подсказал Диоталлеви.

- Как-как? Нет, слишком трудно. Мне, например, это название не говорит ничего. Нужно что-то такое, что бы напоминало о чем-то...

- Изида без покрывал, - сказал я.

- Изида без покрывал! Прекрасно звучит, молодец Казобон, здесь у нас и Тутанхамон, и скарабеи, и пирамиды. Изида без покрывал, с приятной умеренно игривой эмблемой, но не слишком. Решено. Идемте дальше. Есть потом вторая категория: те, кто покупает. На этот счет, дорогие друзья, у вас, конечно же, имеется мнение, что «Мануций» в покупателях не заинтересован. А почему, собственно, мы так в этом уверены? А вот на сей раз мы попробуем продавать «Мануция», господа, мы совершим качественный скачок! И наконец, остаются еще исследования подлинно научного характера, и здесь настает очередь «Гарамона». Наряду с историческими монографиями и с университетскими сериями, мы найдем серьезного консультанта и станем публиковать по три-четыре книги в год, в серьезной, строго выдержанной подбор-

ке, с названием однозначным, но никак не фигуральным...

- Hermetica, - подсказал Диоталлеви.

- Прекрасно. Классично, благородно. Вы спрашиваете меня, зачем расходовать деньги в «Гарамоне», если можно их зарабатывать в «Мануции». Но ведь серьезная серия вызывает уважение и притягивает понимающих людей, а они многое могут подсказать, могут указать направление, а если туда же потянутся и прочие, подобные Браманти, они будут нами отсортированы и переправлены в «Мануций». Мне кажется идея абсолютно великолепной, дадим ей кодовое название «Проект Гермес», операция чистейшая, доходная, укрепляющая идеальную взаимосвязь между двумя издательствами. За работу, господа. Посещайте библиотеки, составляйте библиографии, запрашивайте каталоги, посмотрите, что выпускается за границей... И еще. Кто знает сколько людей маячило прямо перед вашим носом, предлагало вам настоящие сокровища, в своем роде, разумеется, а вы их выпроводили ни с чем... Так что имейте в виду на будущее. Кстати, Казобон, в истории металлов, прошу вас, отыщите место для некоторого количества алхимии. Золото - металл, надеюсь, вы не станете спорить. Комментарии потом, вы знаете, что я открыт для дружеской критики, для конструктивных отзывов, замечаний, как бывает между культурными людьми. Проект вступает в силу с настоящей минуты. Госпожа Грация, введите этого господина, который ожидает в прихожей чуть ли не два часа, мыслимо ли так обращаться с Авторами! - провозгласил он, распахивая дверь, громовым голосом, чтобы было слышно в зале ожидания.

45

Из этого вытекает невероятное предположение: египтянам было известно электричество?.

Петер Колозимо, *Земля без времени*
Peter Kolosimo, *Terra senza tempo*, Milano, Sugar, 1964, p. 111

- Я нашел один текст о погибших цивилизациях и загадочных странах, - докладывал Бельбо, перекопав десятки новопоступивших ПИССовских рукописей. - Выходит, что в Начале... до сотворения мира... был континент Му, где-то около Австралии, и оттуда ответвились крупнейшие мигрирующие течения. Одно пошло в направлении острова Авалон, другое на Кавказ, еще одно к истокам Инда, потом возникли кельты, основатели египетской цивилизации и наконец Атлантида...

- Какое старье. Этих господ, пишущих книги о континенте Му, можно набирать по лукошку в день, - сказал я.

- Да, но тут один нетипичный, он, кажется, готов платить. А кроме того, там есть прелестная главка относительно греческих экспедиций на Юкатан, рассказывается о барельефе воина в Чечен-Ица, который как два капли воды похож на римского легионера.

- Поскольку шлемы бывают либо с перьями либо с гривами, третьего не дано, - сказал Диоталлеви. - Шлем не считается доказательством.

- У него считается. Кроме того, он обнаруживает обожание змей во всех цивилизациях и проходит к выводу, что цивилизации имеют общее происхождение.

- Все обожали змея, я согласен, - подтвердил Диоталлеви. - Только у нас его ненавидели. В Избранном народе.

- Ненавидели змея, обожали тельца.

- В минуту слабости. Я бы этого типа гнал в шею. Даже если он платит. Кельтизм и арианство, Кали-Юга, закат Европы и духовность СС. Пусть я параноик, но он, мне кажется, фашист.

- Для Гарамона это не является противопоказанием.

- Да, но есть предел всему. Я тут тоже листал рукопись о гномах, ундинах, саламандрах, эльфах, сильфидах, феях... Снова притягивают за уши ко всему «арийскую духовность». Их послушать, так эсэсовцы родились от семи гномов.

- Не от семи гномов, так от Нибелунгов.

- Нет, тут не Нибелунги. Эти гномы, о которых рассказывает автор, на-

зываются Малый ирландский народец. Причем плохие были только феи, малышата хорошие, хотя и проказливые.

- Отложи ее, ради бога. У вас, Казобон, какой улов?

- Маловато. Только рукопись о Христофоре Колумбе. Произведя анализ колумбовой подписи, в ней находят, представьте себе, указание на пирамиды. Целью жизни Колумба было восстановить Храм Соломона в Иерусалиме, поскольку сам он был гроссмейстером тамплиеров в изгнании. А так как отлично известно, что по происхождению Колумб португальский еврей и следовательно, изощренный каббалист, он прибегал... мм... к талисманическим заклинаниям... так там сказано!, чтобы успокаивать бури и излечивать цингу. Рукописи по каббале я не трогал, потому что безусловно их все посмотрел Диоталлеви.

- И нашел повсюду перевранные еврейские буквы, ксерокопированные из гадальных книжонок.

- Понятно. Но мы все-таки должны учитывать, что мы отбираем книги для «Изиды без покрывал», а не для филологической серии. Может быть, нашим «одержимцам»... предлагаю этот термин для одержимых оккультными идеями... нашим одержимцам больше понравятся перевранные еврейские буквы, чем настоящие. Надо уважать чужие вкусы. Я вот что не знаю что делать с сочинениями по теме масонства. Господин Гарамон мне наказал в этом смысле рисковать как можно меньше, он не желает ввязываться в мелкие дрязги между различными их подвидами. Но все же у меня нет сил отказаться от исследования о масонской символике в Лурдском гроте. А это тоже жалко выбрасывать, прелестная работа насчет участия некоего джентльмена, предположительно графа Сен-Жермена, приятеля Франклина и Лафайета, в дизайне флага США. Только к сожалению, при том что превосходно объяснена символика звездочек, автор пасует, когда дело доходит до полосок.

- Граф Сен-Жермен! - сказал тут я. - Вишь ты!

- А что, это и ваш приятель? - заинтересовались мои собеседники.

- Ну да. Но вы мне не поверите, так что не будем об этом. Далее. Тут у меня чудовищный талмуд на четыре сотни страниц, изобличающий грехи современной науки: атом, жидомасонские козни, заблуждение Эйнштейна и мистическая тайна энергии, ошибки Галилея и нематериальная природа света и солнца.

- Кстати о науке, - подхватил Диоталлеви. - Я тоже тут припас очаровательное обозрение фортианской науки.

- Какой-какой?

- Это наука Чарльза Гоя Форта, который насобирал здоровенную коллекцию необъяснимых явлений. Дождь из лягушек в Бирмингеме. Отпечатки сказочного животного в Девоне. Таинственные лестницы и отпечатки присосков на хребтах некоторых гор. Нерегулярность прецессии равноденствий. Надписи на метеоритах, черный снег, кровавые грозы, крылатые существа на высоте восьми тысяч метров в небе над Палермо, светящиеся колеса в море, остовы гигантов, гигантский листопад во Франции, выпадение каких-то живых существ на Суматре, и, конечно, окаменелые отпечатки в храмах Мачу-Пикчу и на других вершинах южноамериканских гор, которыми доказывается факт приземления сверхмощных космических кораблей в доисторическую эпоху. Так что мы не одиноки во вселенной.

- Неплохо, - согласился Бельбо. - Что мне лично не дает покоя - это вон те пятьсот страниц на тему о пирамидах. Ведь вы не знали до сих пор, что пирамида Хеопса располагается аккурат на тридцатой параллели, которая из всех параллелей перерезает наибольшее количество суши? Что геометрические пропорции пирамиды Хеопса равны пропорциям памятника Педра Пунтада в Амазонии. И кстати об Амазонии, в Египте обнаружено два пернатых змея, один на троне Тутанхамона, другой - на пирамиде в Сахаре, и это наводит на мысль о Кетцалькоатле?

- Какое имеет отношение Кецалькоатль к Амазонии, если он бог мексиканского пантеона? - сказал я.

- Да? Извините, отклонился от темы. С другой стороны, как иначе объяснить тот факт, что статуи с острова Пасхи являются мегалитами, равно как и

кельтские статуи? Один из полинезийских богов именовался Я, и это, ясное дело, отсылает нас к Йоду у евреев, а также к древневенгерскому Ио-в', громадному и доброму богу. Старинная мексиканская рукопись изображает Землю в виде квадрата, окруженного морем, а в центре Земли установлена пирамида, на основании которой нанесена надпись Ацтлан, что напоминает нам как атлас, так и Атланта, а вместе с тем Атлантиду. Почему на обоих берегах Атлантического океана выстроены пирамиды?

- Потому что пирамиду легче построить, нежели сферу. Потому что ветер надувает дюны в форме пирамид, а не в форме Парфенона.

- Ненавижу этот ваш просвещенческий дух, - отозвался Диоталлеви.

- Я продолжу, если вы не возражаете. Культ бога Ра не встречается в древнеегипетской религии в период до Нового царства, а следовательно, этот культ наследуется прямиком от кельтов. Подумайте о Св. Николае, который превратился в Санта-Клауса и возит новогодние подарки на санках. А теперь узнайте, что в доисторическом Египте колесницу солнца рисовали в виде саней! Поскольку в Египте снега нету, эти сани безусловно имеют нордическое происхождение...

Я не отступался: - До изобретения колеса сани использовали всюду, особенно на песке!

- Не перебивайте. В книге говорится, что первичная цель состоит в выявлении аналогий, а уж вторичная - в поиске объяснений. А потом говорится, что найденные объяснения по определению являются научными. Древние египтяне пользовались электричеством, иначе они не могли бы достичь того, чего они достигли. Один немецкий инженер, строивший канализацию в Багдаде, нашел вполне еще годные электробатарейки, восходившие к Сасанидам. В раскопках Вавилона были обнаружены аккумуляторы, сработанные четыре тысячи лет назад. И наконец, ковчег Завета (где экспонировались скрижали завета, жезл Аарона и баночка с манной небесной) представлял собой что-то вроде сейфа с электрозащитой, способного давать разряды порядка пятисот вольт.

- Я это уже видел в одном фильме.

- Ну и что? Вы думаете, откуда черпают свои идеи сценаристы? Ковчег был из дерева акации и обшит золотыми пластинами снаружи и изнутри. Тот же самый принцип, что у электрических конденсаторов: два проводящих слоя, разделенные слоем изолятора. Кроме этого, ковчег был окружен гирляндой тоже из золота. Все это размещалось в сухой местности, где магнитное поле могло достигать 500-600 вольт на вертикальный метр. Еще говорится, что Порсенна прибег к помощи электричества, чтобы очистить вверенное ему царство от присутствия отвратительного зверя по имени Вольт.

- А, вот почему Алессандро Вольта выбрал себе такой экзотический псевдоним. До этого он называл себя просто Шчмрзлин Краснапольский.

- Ничего смешного не вижу. Не знаю, понимаете ли вы, что кроме этих рукописей, у меня тут еще охапка писем, в которых предлагаются невероятные исследования о взаимосвязях Иоанны д'Арк с сивиллиными книгами[1], талмудического демона Лилит с Великой матерью-гермафродитом, генетического кода с марсианской письменностью, тайного разума растений с космическим возрождением и с психоанализом, Маркса с Ницше в контексте новейшей ангелологии, Золотого числа со скальным городом Матерой, Канта с оккультизмом... а также объяснения элевксинских мистерий через джаз, Калиостро через атомную энергию, гомосексуализма через гнозис, Голема через классовую борьбу. А на закуску восьмитомное сочинение о Граале и Святом Сердце.

- А каков главный тезис? что Грааль - аллегория Святого Сердца или что Святое Сердце - аллегория Грааля?

- Улавливаю эту дистинкцию и восхищаюсь вашей тонкостью, но должен ответить, что для сочинителя, по-моему, равны оба варианта. В общем, на данной стадии я совершенно не знаю, что делать. Надо будет спросить

---

[1] Девять книг предсказаний пропицательницы Сивиллы куманской, записанных на пальмовых листьях.

мнение господина Гарамона.

Мы пошли к Гарамону за мнением. Он ответил, что в принципе не следовало бы отбрасывать никого и надо бы иметь в виду всех.

- Но большинство повторяет те книжонки, которые продаются в киосках на вокзалах, - сказал я. - Все эти авторы, как в рукописных так и в напечатанных работах, сдувают друг у друга, каждый опирается на чье-то утверждение и все вместе опираются на коронную цитату из Ямвлиха[1] или кого-нибудь в этом роде.

- Ну и что? - ответил на это Гарамон. - Вы хотите продавать читателям что-либо, о чем они никогда не слыхали? Для нас жизненно важно, чтобы книги этой серии говорили точно то же, что уже высказано другими. Это и будет подтверждать, что высказывания верны. Боже упаси от оригинальности.

- Ладно, - сказал Диоталлеви. - Однако необходимо понимать, что действительно является общим местом, а что нет. Нам нужен консультант.

- Какого рода?

- Я не знаю. Не такой одержимый, как все они, но при этом - знаток в данной области. Вдобавок, он должен был бы подсказывать нам кое-что и для Hermetica. Какой-нибудь серьезный специалист по возрожденческому герметизму.

- Великолепно, - сказал Бельбо. - Как только ты подсунешь ему Святое Сердце и Грааль, он плюнет тебе в рожу и убежит.

- Не обязательно.

- Я, наверное, знаю такого человека, - сказал я. - Он безусловно эрудирован, принимает подобные вещи достаточно серьезно, но с изяществом, я бы даже сказал, с иронией. Мы познакомились с ним в Бразилии, но сейчас, я думаю, он находится в Милане. Где-то у меня имелся его телефон.

- Поговорите с ним, - сказал Гарамон. - Только поосторожнее, все зависит от цены. И попробуйте заодно подключить его к невероятным приключениям металлов.

Алье, похоже, обрадовался моему звонку. Он поинтересовался здоровьем прелестной Ампаро, я смущенно дал ему понять, что в этом отношении все в прошлом, он извинился и мило пошутил насчет свежести и молодости, которым свойственно открывать все новые и новые главы биографии. Я бегло рассказал ему о проекте нашего издательства. Он как будто заинтересовался, сказал, что был бы рад увидеться с нами, и мы назначили встречу у него дома.

Со дня рождения «Проекта Гермес» и до той минуты я безмятежно развлекался по поводу доброй половины мира. Пробил час, и Они начали составлять на меня счет. Я тоже был пчелой, и я кружил над цветком, да только не замечал этого.

46

В течение дня ты приблизишься к жабе многократно и произнесешь слова поклонения. И попросишь ее осуществить чудеса, которых жаждешь... Тем временем вырежешь крест, на котором принесешь ее в жертву.

Ритуал Алейстера Кроули

Алье обитал около площади Суза: маленькая тихая улица, особнячок конца прошлого века с растительным декором. Нам открыл пожилой дворецкий в полосатой ливрее, провел в небольшую приемную и просил ждать господина графа.

- Так он граф, - прошептал Бельбо.

- Да, а что, я не сказал? Воскресший граф Сен-Жермен.

- Он не может быть воскресшим, так как никогда не умирал, - вмешался Диоталлеви. - Ведь он же Агасфер, то есть Вечный жид?

- Да, по многим источникам граф Сен-Жермен, это также и Агасфер.

- Видите?

Вошел Алье, безупречный как обычно. Он пожал нам руки и извинился: докучливое дело, совершенно непредвиденное, задерживало его еще минут

[1] Древнеримский философ-неоплатоник III-IV в.н.э.

на десять в кабинете. Он распорядился подать нам кофе и попросил быть как дома. И вышел, отогнув тяжеленную кожаную портьеру. Стены не существовало, и до нас донеслись обрывки взволнованной беседы из-за занавеса. Сначала мы подчеркнуто громко переговаривались, чтобы заглушить разговор из той комнаты, но Бельбо заметил, что так мы, вероятно, мешаем. Тогда мы примолкли, и донесся обрывок запортьерной речи, пробудивший в нас живейшее любопытство. Диоталлеви встал с места, заинтересовавшись старинной гравюрой, висевшей прямо около занавески. На гравюре была изображена пещера в горном склоне, куда спускались по семи ступенькам паломники. Через несколько секунд вся наша троица увлеченно изучала рисунок.

Слышанный нами голос несомненно принадлежал Браманти и говорил он следующее: - Ну, в общем, я никому на квартиру бесов не насылал!

Тут, кстати, стало очевидно, что Браманти был вылитый тапир не только лицом, но и голосом.

Другой голос принадлежал человеку незнакомому, с сильнейшим французским акцентом. Резкий, истеричный тон. Иногда в их перебранку вплеталось журчание Алье, мягкое и примирительное.

- Господа, господа, - говорил Алье. - Раз вы прибегли ко мне как к судье, чем я польщен, разумеется, - выслушайте же меня. Позвольте прежде всего заметить, что вы, драгоценный Пьер, проявили по меньшей мере неосмотрительность, написав подобное письмо...

- Эта афера проста, мой граф, - отвечал француз, - этот господин Браманти пишет артикль, статью в журнал, у которого большой престиж, и мы находим там иронию о таких люсифэрьянах, которые претендуют манипулировать с гостиями, но не видят в них трансцедентальную субстанцию, желают из них достать себе серебро и тра-ля-ля и ту-ру-ру в подобном жанре. Прекрасно, но сейчас все знают, что единственная Церковь Люсифэра, которая признается, это та, в которой я, если мне позволите, Тавроболиаст, то есть Быкобоец, и также Психопомп, и известно, что в моей церкви не имеется вульгарного сатанизма и сумбура с гостиями, а это стиль каноника Докра из Сен-Сюльпис. Я в письме отвечал, что мы не сатанисты старого типа, какие обожают Великого Заведующего Злом, Grand Tenancier du Mal, и что мы не имеем резона обезьянничать от римской церкви, со всеми теми атрибутами и как они называются, те финтифлюшки. Мы скорее палладиане, но это же знает весь мир! И для нас Люсифэр - се принсип добра, скорее сказать Адонай - се принсип зла, потому что сей мир креатура Адоная, а Люсифэр его оппонировал...

- Хорошо, - выкрикивал Браманти в возбуждении. - Даже если я повел себя легкомысленно, вы меня облыжно обвинили в чародействе!

- Но посмотрите же! Но это же была моя метафора! Но вы, напротив, в ответ сделали маневр, послали на меня порчу!

- Да что за чушь, делать нам нечего больше, что ли! Ни я, ни мои собратья колдовством не занимаемся! Наша специальность - Догма и Ритуал Высокой Магии, а не дурацкая ворожба!/.../

- Вот как! Тогда расскажите же, что происходило в Лионе в эти две недели! Заброшенная капелла, гостия с тетраграмматоном, и там ваш дорогой друг аббат Бутру, на нем красная роба, у него опрокинутый крест, и там же мадам Олкотт, она его персональная медиум, чтоб не сказать вам хуже, и у ней возникает трезубец на лбу, и пустые бокалы наполняются кровью, и аббат плюет адептам в рот. Все это справедливо, не так ли?

- Вы слишком начитались Гюисманса, дорогуша! - заржал Браманти. - Это было культурное мероприятие, историческая реконструкция, как те что организуют в школе Уикка и в друидических коллежах!

- О да! Венесьянский карнавал!

Дальше послышался какой-то грохот, как будто Браманти кинулся крушить противника, а Алье его оттаскивал. - Вы это видите, вы это видите, - пронзительно вопил француз, - но будьте внимательны, Браманти, спросите вашего дорогого Бутру, что ему произошло! Вы этого еще не знаете, но он в госпитале, спросите, кто ему разбил физиономию! Я не практикую такое ваше вредительство, но я немножко о нем понимаю тоже, и когда я видел, что в

моем апартаменте дьяволетты, я сделал на паркете круг для протекции, а так как я в это не верю, но ваши дьяволетты да, я взял кармелитанский капюшон, и я сделал ему реприманд, обратную порчу, о да. У вашего аббата произошел неприятный момент!

- Вот, вот! - неистовствовал Браманти. - Видите теперь, что колдую не я, а он?

- Господа, ныне довольно. - Голос Алье прозвучал вежливо, но твердо. - Будьте добры выслушать меня. Вы знаете, до чего высоко я ценю, в познавательном плане, подобные обращения к устаревшим ритуалам. Я уважительно отношусь к люциферианской церкви и к религии Сатаны независимо от демонологических частностей. Как вы знаете, я настроен несколько скептически в этом отношении, но в конце концов все мы принадлежим к одному и тому же духовному рыцарству, что в свою очередь требует от нас минимальной солидарности. И кроме того, господа, можно ли припутывать Князя Тьмы к мелким персональным дрязгам! Что за мальчишество! Бросьте, все это россказни оккультистов. Вы ведете себя как обыкновенные франкмасоны. Бутру отстал от нас, будем откровенны, и хорошо бы вы, милый Браманти, посоветовали Бутру перепродать какому-нибудь старьевщику всю его бутафорию, она подойдет для постановки оперы Гуно...

- А, а, ловко сказано, - подхихикивал француз, - антураж как в оперетт...

- Не будем придавать значения мелочам. Состоялась дискуссия по вопросам, которые принято называть литургическими формальностями, и заполыхали страсти... Не будем же материализовать духов! Поймите только, друг мой Пьер, что мы ни в малой степени не ставим под сомнение возможность потусторонних явлений в вашем доме, это одна из самых естественных в мире вещей, но при минимальном здравом смысле многое можно объяснить полтергейстами.

- Ну, это не исключено, - отозвался Браманти, - так как астральная конъюнктура в настоящий период...

- Ну вот именно! Теперь пожмите друг другу руки, обнимитесь по-братски!

Зашелестели взаимные извинения. - Да вы и сами знаете, - говорил Браманти, - что иногда чтобы связаться с теми, кто действительно ищет посвящения, необходимо прибегать к фольклору. Даже торгаши из «Великого Востока», которые ни во что не верят, прибегают к определенному ритуалу.

- О да, натурально, ритуал...

- И будем помнить, что сейчас не времена Кроули, ладно? - подвел итог Алье. - Простите, я должен вас покинуть, у меня гости.

Мы спешно возвратились на диван и встретили Алье в непринужденных и свободных позах.

47

Итак, высочайшее наше усилье было в том, чтоб найти порядок для этих семи мер, надежный, достаточный, достой - ный, и который держал бы постоянно чувства пробужденными и память потрясенной... Подобная высочайшая и не - сравненная расстановка не только имеет целью сохранить для нас доверенные вещи, слова и умения... но она еще сообщает истинное познание....

Юлий Камилл Дельминий, *Идея театра.* Вступление
Giulio Camillo Delminio, *L'idea del Theatro,*
Firenze, Torrentino, 1550, Introduzione

/.../В кабинете Алье потолок был выгнут сводом, который по прихоти хитроумного декоратора как бы опирался на четыре красно-коричневые колонны с позолоченными капителями, но к этому визуальному эффекту прибавлялись многочисленные обманы, trompe-l'oeil в росписи, покрывавшей потолок, провисавший, как шатер, под их тяжестью, благодаря чему вся зала преисполнялась мрачного величия и напоминала гробовую капеллу, в которой неощутимая кощунственность сочеталась с чувственной меланхолией.

- Вот мой театрик, - сказал Алье, - в духе фантазий Возрождения, в те времена был развит вкус к наглядным энциклопедиям, рисованным пересказам мира. Более даже чем обиталище, это машина воспоминаний. Нет ни одного изображения из наблюдаемых тут вами, которое бы, должным образом сопоставленное с другими, не открывало бы и не объясняло бы какой-либо из мировых загадок. Процессия фигур, которую вы видите над собою, воспроизводит фреску Мантуанского герцогского дворца, и на ней запечатлены тридцать шесть деканов, властелинов мира. Я же из чувства верности, из уважения к традиции, найдя тут эту изумительную панораму мира, унаследованную мною неведомо от кого, решил расположить в витринах вдоль стен и несколько скромных реликвий, соотносящихся с картинами потолка и связанных с четырьмя основными стихиями универсума: воздухам, водой, землей, огнем; к огню относится эта прелестная саламандра, шедевр одного моего друга-мумификатора. Обратите внимание, в частности, на очаровательную миниатюрную модель эолипилы Герона, увы, довольно позднего производства. Содержащийся в сфере воздух, когда поджигают спирт в этой миниатюрной горелке, которая находится под сферой и обнимает ее, как раковина, нагревается, выходит из боковых клювиков, и сфера начинает вращаться. Магический инструмент, который использовали еще египетские жрецы в их святилищах, как явствует из многих знаменитых описаний. Они использовали подобные устройства для симуляции чудес, и толпы поклонялись чуду. Но истинное чудо состояло в знании золотой пропорции, на коей основывается секретная, хоть и несложная механика, пропорция слияния стихий - воздуха и огня. Вот истинное знание, свойственное предшественникам нашим, известное ученым-алхимикам и скрытое от строителей циклотронов. Мне же стоит обратить взоры к моему театрику памяти, который - дитя многих иных более обширных театров, очаровывавших великие умы прошлого, - и я знаю. Знаю больше так называемых знатоков. Знаю, что внизу, то же и наверху. А больше знать нечего.

Он угостил нас кубинскими сигарами странной формы, гнутыми, наморщенными, толстыми и жирными. Мы отреагировали восторженно, Диоталлеви отошел к стеллажам.

- О, моя минимум-библиотека, - сказал Алье. - Как видите, в ней не более двух сотен томов, в моем родовом имении собрание более обширное. Но рискну утверждать, что все они отличаются редкостью и ценностью, и расставлены, конечно же, не в случайном порядке, последовательность трактуемых предметов - та же, которая объединяет как фрески в этом зале, так и экспонаты коллекции.

Диоталлеви робко дотронулся до корешков. - Пожалуйста, прошу вас, - ободряюще улыбнулся Алье. - Это «Эдип Египетский» Афанасия Кирхера. Как вам известно, он первый после Гораполлона пытался интерпретировать иероглифы. Обворожительный человек, мечталось бы мне, чтоб моя кунсткамера хоть отдаленно походила на собранную им коллекцию чудес, которая ныне считается утерянной, потому что те, кто не умеют искать, те не находят... Изысканнейший из собеседников. Каким гордым он выглядел в день, когда обнаружил, что этот иероглиф означает «чудеса божественного Озириса вызываются сакральными церемониями и вереницей гениев». Потом пришел прощелыга Шамполион, отвратительный тип, поверьте, движимый инфантильным тщеславием, и настойчиво утверждал, что этот рисунок означает имя фараона - и больше ничего. С какой изобретательностью Новое время старается опоганить сакральные символы! Книга это, впрочем, не очень дорогая, ее цена ниже цены «Мерседеса». Поглядите лучше вот на эту, перед вами первоиздание 1595 года «Амфитеатра вечного познания» Хунрата. Считается, что в мире сохранилось два экземпляра. Перед вами третий. А это - первая публикация «Священной теллурической теории» Бернета. Вечерами, когда я рассматриваю иллюстрации в этой книге, меня охватывает мистическая клаустрофобия. Глуби нашего глобуса... Неожиданно, не правда ли? Вижу, что доктор Диоталлеви очарован еврейскими надписями в «Трактате о шифрах» Виженера. Тогда взгляните: первое издание «Каббалы без одежд» Кнорра Христиана фон Розенрота. Господа, полагаю, помнят, что эта книга впос-

ледствии была переведена на английский, неполно и неточно, в самом начале нашего века этим ничтожным МакГрегором Матерсом... Разумеется, господам кое-что известно о некоей скандальной секте, пользовавшейся немалым успехом у британских эстетов, о «Золотой зарей» Эта банда фальсификаторов масонских бумаг не могла оставить по себе здоровое наследство, и действительно ее преемники дегенеративны, будь то «Утренняя звезда» или сатанинские церкви Алейстера Кроули, который заклинал демонов с единственной целью добиться благоволения некоторых господ, подверженных «английскому пороку», vice anglais... Знали бы вы, дорогие мои друзья, как много людей, мягко выражаясь, сомнительных приходится встречать тому, кто посвящает себя подобным штудиям. Вы тоже почувствуете это, когда начнете публиковать связанные с этим материалы.

Бельбо воспользовался последней фразой, чтобы перевести разговор. "Гарамон" собирается, сказал он, выпускать несколько книжек в год на эзотерические темы.

- Ах, эзотерические... - улыбнулся Алье, а Бельбо покраснел.

- Ну, так сказать... герметические?

- Ах, герметические... - продолжал улыбаться Алье.

Ну, хорошо, - сказал Бельбо. Я употребляю неправильные слова, но вы, конечно, поняли, какого типа книги.

- Ах, - с новой улыбкой отвечал Алье, - не существует типа. Существует знание. Вот что вы собираетесь сделать: открыть издательское пространство подлинному, не извращенному знанию. Для вас, вероятно, это только одно из рабочих направлений, но если мне суждено прикоснуться к этому, для меня это станет походом за истиной, поиском Грааля, queste du Graal.

Бельбо заговорил о том, что подобно тому как заброшенные рыболовом сети вытаскивают на берег пустые раковины и пластиковые мешки, в "Гарамон" безусловно поступят предложения сомнительной серьезности, и издательство ищет серьезного рецензента, который сможет отличить овец от козлищ, сигнализируя, в частности, обо всем, что среди брака не лишено интереса, ибо имеется дружественное издательство, которое было бы вполне в состоянии приютить у себя сочинения не столь высокого уровня... Разумеется, затраченные усилия будут надлежащим образом компенсированы.

- Я, благодарение небу, отношусь к так называемым состоятельным людям. Более того: к состоятельным, любознательным и довольно умеренным. Мне достаточно, если в результате долгих бдений раз от разу удается найти экземпляр книги Хунрата или еще одну такую милейшую набальзамированную саламандру, или же зуб нарвала, который лично я постеснялся бы держать в коллекции, но который даже в Венской сокровищнице выставлен с табличкой «рог единорога». Мне удастся заработать на быстрой и нетрудной перепродаже больше, чем вы бы могли заплатить мне за десять лет консультирования. Я согласен просматривать ваши рукописи запросто. Я убежден, что даже в самом жалком сочинении мне попадется зерно, если не истины, то хотя бы занимательной неправды, а крайности очень часто перекликаются. Мне наскучат только самые очевидные банальности, и эта моя скука должна быть вами вознаграждена. В зависимости от испытанной мною скуки, в конце года я предоставлю вам краткий счет, в пределах оплаты чисто символической. Если же вам она покажется высокой, вы пошлете мне вместо этого ящик коллекционных вин.

Бельбо был изумлен. Он привык иметь дело со склочными и изголодавшимися консультантами. Он открыл портфель и вытащил объемистую рукопись.

- Боюсь, что ваши представления чересчур оптимистичны. Видите, к примеру, вот это? Остальные такие же.

Алье взял в руки рукопись. - Тайный язык пирамид... Посмотрим оглавление... Пирамидион... так. Смерть лорда Карнавона... Свидетельство Геродота. - И вернул рукопись Бельбо. - Вы сами ее читали?

- Я кратко ознакомился на днях, - сказал Бельбо.

- Тогда вы сможете проверить, правилен ли мой пересказ. - И Алье уселся за столом, погрузил руку в карман жилета, вынул оттуда табакерку,

виденную мною в Бразилии, повертел ее тонкими длинными пальцами, которые до тех пор все гладили переплеты старинных книг, возвел глаза к потолочной росписи, и, как мне показалось, задекламировал текст, выученный наизусть.

- Сочинитель этой книги, наверное, вспоминает, что Пьяцци Смит открыл сакральные и эзотерические меры пирамид в 1864 году. Позвольте мне называть цифры без дробей, потому что в моем возрасте, увы, память начинает играть скверные шутки... Примечательно, что в основании пирамид заложен квадрат, сторона которого составляет 232 метра. При завершении строительства высота составляла 148 метров. Если вы переведете эти величины в египетские священные локти, получите длину основания в 366 локтей, что соответствует количеству дней в високосном году. По Пьяцци Смиту, высота пирамиды, помноженная на десять в девятой степени, равняется расстоянию от Земли до Солнца: 148 миллионов километров. Приближение неплохое, учитывая время, когда рождалась эта теория, поскольку в современной науке это расстояние принимается за 149 с половиной миллионов километров, к тому же не доказано, насколько точно нынешнее измерение. Ширина основания, разделенная на ширину одного из камней, составляет 365. Периметр основания равен 931 метрам. Разделите на удвоенную высоту пирамиды, и вы получите 3,14 - число π. Прелестно, не правда ли?

Бельбо улыбался, ошарашенный. - Невероятно! Как же вам удалось...

- Не перебивай доктора Алье, Якопо, - взволнованно сказал Диоталлеви.

Алье поблагодарил его вежливой улыбкой. Говоря, он перебегал взором по рисунку потолка, и движение его глаз не казалось ни бездельным, ни случайным. Нет, его глаза как будто обращались кверху за подсказкой, как будто в сочетании рисунков содержалось то, что он пытался выдать за добытое из глубин своей памяти.

(*Продолжение следует*)

ДЖОН АПДАЙК
Игра с динамитом

РАССКАЗ
Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН

Фэншоу, например, никак не ожидал, что среди прочих черт вновь обретаемого детства в старости возвратится изменчивость вещей — скажем, склонность стула на краю поля зрения обернуться живым существом на тонких ножках или в темной комнате четкое ощущение какого-то недоброго множественного присутствия. Встречные фары плыли по лобовому стеклу, точно вишневый цвет по черной воде, а Фэншоу понятия не имел, означают ли они четыре мотоцикла или два грузовика, и очертя голову ехал вперед, готовый каждую минуту врезаться в невидимое препятствие.

У него ушло больше пятидесяти лет, чтобы усвоить физические законы вместо детской боязливой веры в то, что на свете, как во сне, возможно все, изжить иррациональные страхи и притерпеться к прямолинейности вселенной без сверхъестественного. Но когда неотвратимая логика распада стала ощутимее сжимать его тело в своих цепких тисках, физические законы оказались не так уж и обязательны; раньше годились, а теперь надоели. Очень может быть, что предмет и вправду способен двигаться быстрее скорости света и что у каждого из нас есть бессмертная душа. Ну и что с того? Газетные заголовки со всеми их кампаниями и эпидемиями больше его как бы не касались, и новые фильмы тоже, и спецвыпуски теленовостей, и скачки, и рекламные клипы — все это теперь обращено не к нему, а к тем, кто моложе и азартнее, для кого мир все еще весом. Живя в непосредственном соседстве со смертью, Фэншоу научился лихому солдатскому безразличию: если он бреется, а ванна где-то за спиной вдруг превратилась в белого медведя и сейчас его схватит, — это еще не конец света. И даже конец света, как ни странно это звучит, тоже был бы не конец света.

Жена моложе и подвижнее его. Часто она нетерпеливо обгоняет его на лестнице. Однажды воскресным вечером, когда они сходили вниз, торопясь открыть двери гостям, он вдруг ощутил, как она проскользнула сбоку от него, будто потянуло сквозняком, и в следующую секунду, странно уменьшившись, оказалась несколькими ступенями ниже его. Он позвал ее и хотел было дотянуться и помешать ее дальнейшему падению, а она попыталась схватиться за перила, но промахнулась и, пересчитав коленями застланные ковром ступени, так и съехала вниз к ногам изумленных гостей, которые вошли, открыв себе дверь сами.

— Ничего, все в порядке, — успокоил их Фэншоу, сходя к ним неспешно, ибо знал, наблюдая за ее удивительным падением, что на ее пути не встретилось никаких костоломных препятствий.

И действительно, она бодро встала, как та знаменитая всегда падающая на ноги кошка, с виду по-молодому смутившись своей неловкостью, но в глубине души, он-то знал, довольная, что сумела сразу найти чем занять гостей. Среди них был молодой врач, они устроили ее на диване, приложили мешочки со льдом к ушибам и ссадинам и предприняли словесное расследование, придя в конце концов к выводу, что она зацепилась каблуком за подол длинного, по новой моде, платья. Подол действительно с одного края оказался слегка отпорот, тем самым как будто бы подтверждался их вывод и рассеивалась всякая таинственность.

Однако позже, с кряхтением укладываясь рядом с Фэншоу в кровать, жена ему сказала:

— Видишь, как я хорошо поступила, не проговорилась, что это ты меня пихнул.

— Я к тебе и не прикоснулся, — возразил Фэншоу, хотя не очень горячо, потому что сам не был в этом убежден. Запомнил только, как она вдруг очутилась на уходящих вниз ступенях, странно уменьшенная линейной перспективой, и еще, в яркой вспышке памяти, как он тянется, чтобы ее удержать, но почему-то не может, будто во

© 1992 by John Updike

сне. Она винила его за то, что он не поймал ее, не сделал невозможного, и это она считала равносильным толчку. Его жена на склоне их лет сделалась страстной феминисткой, а ему назначила роль мужчины-убийцы, с которым она оказалась связана в этом мире убийц-мужчин. Силы, когда-то сведшие их, она теперь считала орудием всемирного мужского комплота. Ну пусть не пихнул в буквальном смысле слова, но это он поселил ее в доме с такой большой лестницей и он же, в сговоре с мужчинами-модельерами, заставил ее надеть такое опасно длинное платье и туфли на таких высоких каблуках — а это уже все равно что прямо пихнуть. Фэншоу старался восстановить памяти свои ощущения при виде ее низвергающегося неуловимого тела, но помнил только холодный укол чего-то похожего на вежливое недоумение, тонущее в тонком, как писк, гудении неотступной печали, подобном космическому радиационному фону. И еще помнил вид на заснеженные городские крыши под высоким куполом совершенно пустого голубого неба.

Жена смягчилась, увидев, что он готов покорно принять ее версию.

— Миленький, ты меня не пихнул, — уступила она, — но ведь мог бы поймать, разве нет?

— Не успел, — ответил он, не вполне убежденный собственным самооправданием. По мере того как утрачивали реальность физические законы, у него постепенно пропадало сознание своей правоты. В тот вечер среди гостей была дочь жены от прежнего, почти мифического брака. Фэншоу с трудом различал детей жены и своих родных детей от предыдущего брака и путал родственников и свойственников. С этими молодыми загорелыми, энергичными, самоуверенными, ладными людьми — вполне рекламными образчиками «сегодняшнего поколения», — якобы связанными с ним родством, он был всегда вежлив, и их благовоспитанные знаки внимания ему льстили, но втайне он не верил в эту связь между ними и собой. Его родная мать несколько лет назад двое суток пролежала мертвая под лестницей, ведущей в подвал дома, где жила с его согласия одна, дряхлая и выжившая из ума. Преступный сын и отец, он, естественно, может быть и мужем-убийцей. Ясно, что в сознании его жены этот эпизод так и запечатлелся, будто он столкнул ее с лестницы, — почему бы и ему не запомнить его в таком же виде ради супружеского согласия?

В Зоологическом уголке Центрального парка изжелта-белые полярные медведи невесомо парят в холодной воде за стеклом, вода голубовато-зеленая, цвета коробки ментоловых сигарет (последний сорт, который курил Фэншоу, он считал мятный вкус целебным), и если завтра утром, когда он будет бриться, один такой мокрый медведь всплывет со дна ванны, убийственный удар его когтистой лапы будет легок, как облачко цветочной пыльцы.

Раньше все было более материальным. В среднем возрасте, как ему теперь помнится, мы куем свою судьбу из тел еще раскаленных и плавких. Однажды он повез своих детей кататься на коньках по льду замерзшей реки — извилистое русло чудесным образом преобразилось в твердую дорогу и сипло повизгивало под стальными ножами. Фэншоу стоял и разговаривал с матерью другой ватаги ребятишек, как вдруг его шестилетний сын молча, беззвучно упал к его ногам, просто ушел вниз из его поля зрения, пока он смотрел на румяные щеки, и сияющие глаза, и на белоснежную игривую улыбку Лорны Кремер. В трещинки их разговора просочилось тихое бульканье, малыш на снегу захныкал, и когда Фэншоу велел ему прекратить нытье и встать, глухой ответ «не могу» прозвучал словно бы из-подо льда.

Выяснилось, что у ребенка сломана нога. Он стоял рядом с отцом и жаловался, что замерз, и вдруг потерял равновесие, а конек попал в трещину, и при падении у мальчика хрустнула берцовая кость. Как хрупки и тонки наши растущие косточки! Когда своя жена, и та, другая женщина, и все столпившиеся вокруг дети разъяснили Фэншоу ситуацию, он поднял мальчика и, держа на руках, взобрался с ним на крутой и заснеженный берег, испытывая, помнится, чудесное чувство полноты жизни: идиллический воскресный день, внезапно упавшая поперек него тень беды, энергичный, заботливый спаситель, жмущий на газ по дороге в клинику, в отделении неотложной помощи что-то записывают, наконец появляется хирург-ортопед, бодрый, румяный, в теплой куртке с меховым капюшоном и в дутых сапогах, ребенку накладывают гипс в виде теплых мокрых лент, слезы высыхают, и теперь, даст Бог, все скоро заживет. Через детей мы соприкасаемся с трагедией, с великой тьмой, которая льнет снаружи к нашим окнам, в их бедах — наша значительность, их хрупкие жизни соскальзывают к опасному краю, за пределы узкой тропы, по которой мы научились ступать.

— Этого бы не произошло, разумеется, — сказала его первая жена, — если бы ты обращал внимание на ребенка, а не на Лорну.

— При чем тут Лорна? Она первая сообразила, что дурачок не придуривается.

— Лорна очень даже при чем, и ты это прекрасно знаешь.

— Паранойя какая-то, — сказал он ей. — Паранойя эпохи Никсона.

— Я привыкла к тому, что ты причиняешь страдания мне, но чтобы по твоей милости страдали дети, этого я не допущу, Джеф.

— Ну вот. Настоящий сумасшедший дом.

— Думаешь, я не понимаю, почему ты потащил нас всех кататься на реку, когда у Тимми и Роз вообще даже ботинок подходящих нет? Это так на тебя не похоже, ты же больше всего любишь в воскресенье валяться и читать «Таймс», и жаловаться на похмелье, и смотреть гольф по телевизору. Тебе надо было увидеться с ней. С ней или с кем-нибудь еще из их компании. Тебе уже мало встречаться по субботам? Вот и иди к ним жить, к кому-нибудь! А меня избавь. Давай уходи! Убирайся!

Она это говорила не всерьез, но дух захватывало смотреть, как она воодушевлена, как кипит яростью, глаза мечут молнии, ладони вырубают из воздуха огромные обреченные области. В том возрасте, как теперь понимал Фэншоу, мы сотворяем себя, грубых и гибких, строим и рушим домашние очаги, весь мир в наших руках. Мы играем с динамитом. Вокруг них с женой, стоящих по колено в детях, со всех сторон взлетали на воздух дома. На руинах плодились консультанты по семье и браку, детские психиатры, адвокаты, торговцы недвижимостью. Теперь-то, в старости, на твой счет может поживиться разве что гробовщик, да еще местный священник проведет часок за выполнением приятного долга. Когда от Фэншоу отстали страховые агенты и кинопродюсеры исключили его категорию зрителей из своих социологических сводок, армии физических законов, нужные тут и там по всему свету, чтобы взрывать динамит в чувствительных точках, тоже ушли, оставив его блуждать в сумерках отсутствующих причин и следствий.

В начале августа две пичуги вздумали вить гнездо у них на веранде. Лесные славки, если его не обманывали глаза и потрепанный старый определитель птиц. Видно, что-то испортилось в их биологических часах. Время для гнездования давно прошло, но птицы, упрямые, как дети, раз взявшись, не отступались и, издавая звонкие трели, приносили и складывали веточки и травинки под капителями колонн, поддерживающих крышу. Постройки сносило ветром, или это энергичная миссис Фэншоу сбивала их шваброй. Она была не такая сентиментальная, как он. На своей чистой белой веранде она не намерена была терпеть беспорядка, и чтобы чистые белые плиты пола у нее заляпало птичьим пометом — нет уж! Но славки прилетали опять и опять, как дети, пристающие к родителям, чтобы их сводили в луна-парк или купили им разрекламированную сласть, до тех пор, пока мир взрослых не сдастся и они не добьются своего. Крайняя колонна, у самой стены, была более или менее защищена от ветра; сооружение из веточек и травинок за ее капителью росло, и однажды на супругов Фэншоу, возвратившихся из города с покупками, с этой неустойчивой высоты надменно воззрилась черным глазом серая головка самочки. Трели прекратились. Самец исчез. А еще через две недели они хватились, что и самочка тоже исчезла. Пропала, даже не пискнув «прощай». Все время, пока она сидела на гнезде, ее остренький профиль излучал негодование.

Фэншоу вытащил приставную лестницу и снял пустое шершавое гнездышко. Наружный край его был старательно заделан отвердевшим пометом, изнутри круглая полость выжидательно вылощена до совершенной гладкости. Напрасное гнездо. О чем они думали, эти птицы? Первым поползновением Фэншоу было сохранить его — мать всегда хранила птичьи гнезда, они у нее лежали за стеклом на книжных полках или на верху пианино, — но жена просто подставила пластиковый мешок для мусора, как будто это не безобидная птичья постройка, а рассадник микробов. Гнезда нельзя бросать в мусорные мешки, подумал Фэншоу, однако же бросил. Мы с ней сообщники, мелькнула у него бессмысленная мысль, а жена нетерпеливо поглядывала на него снизу вверх блестящими глазами, пока он боролся со своими сентиментальными предрассудками.

Когда ему исполнилось пять, кажется, лет, во время праздничного чаепития с тарелочки, стоящей перед ним, вдруг исчез кусок именинного пирога и секунду спустя объявился у него на сдвинутых под столом коленках. Он к торту даже не прикасался, так что это было чудо, явленное при свечах под гомон детских голосов. Ему на всю жизнь запомнился тот кусок торта, лежащий на бархатных штанишках и выглядывающий из-под перевернутой гофрированной бумажки, — это был его любимый шоколадный торт, облитый сладкой глазурью, такой ему делала только мама, самым вкусным был край, где шоколадные прослойки встречались с наружной обливкой и зубы вязли в густой шоколадной массе. Другой раз, через несколько лет, лежа с температурой в постели, он видел, как черная палка в чуть наклонном положении скака-

ла по полу за краем кровати, похоже на кадры из диснеевской «Фантазии». В те годы вещественный слой мира натянулся и истончился до дыр. В четвертом классе у него из кармана исчезли новые очки в овальном футляре с защелкивающимся железным замочком, а неделю спустя, когда он, срезав угол, шагал по заросшему травой пустырю и думал об очках и о том, сколько придется трудиться отцу, чтобы купить ему новые, посмотрел под ноги, а там лежит его футляр, словно овальное яйцо во влажной спутанной траве. Сами очки внутри запотели, как будто их надевало взволнованное близорукое привидение. Вероятно, это было не такое удивительное чудо, как тогда с куском торта, но все же то обстоятельство, что он как раз *о них подумал*, делало историю с очками совершенно поразительной. Может быть, все-таки наше сознание как-то тайно управляет атомами? На всякий случай Фэншоу так до конца и не оставил детской привычки молиться. Хотя на самом деле, глядя на склеенную модель аэроплана, непонятно отчего распавшуюся за ночь, или поднимаясь навстречу выпученной тени, колышущейся на лестничной площадке, как-то с трудом думалось о Боге и Иисусе; больше похоже было, что находишься среди озорных бесов, в мире сверхъестественности, не более возвышенной по своим целям, чем мультфильмы Диснея.

Теперь эта забавная, вприпрыжку, легкость возвратилась. Фэншоу оказывался в комнате, куда совершенно неведомо как попал — словно разорвали и склеили кинопленку. Лежа в постели, он слышал сквозь толщу подушки, как весь дом сотрясают шаги, которые сразу же смолкали, стоило приподнять голову. Возможно, это было его сердцебиение.

В почтенном районе, где Фэншоу теперь живет, все более или менее стары. Он на протяжении долгого времени наблюдал, как сдает, дряхлеет его сосед справа, одинокий вдовец, — день ото дня все больше волочит ноги, двор запущен, дом облез, но так это исподволь, так плавно, понемногу, что заметить происходящие перемены можно было бы разве что при замедленной киносъемке. Иногда они перекидывались фразой-другой через забор; Фэншоу раза два вызывался зайти обрезать у него кусты, но сосед отвечал: «Да нет, спасибо, я уж сам как-нибудь, когда буду получше себя чувствовать». Мы смотрим прямо перед собой и видим где подъемы, где провалы, но линейное уменьшение, очевидное для стороннего взгляда, нам не заметно.

Потом как-то субботним утром у тротуара перед домом соседа появилась пожарная машина, хотя дыма не было. Один пожарник спеша прошел по дорожке в дом и не показывался так долго, что Фэншоу устал подглядывать. По прошествии часа пожарная машина все еще там стояла и мощный мотор продолжал работать вхолостую, но подъехал маленький спортивный автомобиль иностранной марки, и модная молодая дама — все относительно, ей было, наверно, лет сорок — торопливо выбралась из низкого нутра, мелькнули длинные стройные ноги, и зацокали по плитам каблуки. Это была дочь соседа, она потом рассказала Фэншоу на поминках, что отца нашла мертвым женщина, которая у него убиралась, — он сидел в своем излюбленном кресле, выбритый, в пиджаке и галстуке, словно в ожидании гостя. Значит, вот что такое смерть, подумал Фэншоу: в субботу утром дергающаяся кинокомедия необычных приездов и отъездов, а через день-другой похороны и табличка «Продается» на доме.

— Спасибо вам, что были папе таким хорошим соседом, — сказала дочь. — Он часто про вас рассказывал.

— Что вы, — возразил Фэншоу. — Я ничего для него не сделал.

Зачем покойнику понадобилась эта добрая ложь? Почему убиравшая у него женщина вызвала пожарных, а не полицию? Почему пожарник не выключил мотор и целый час переводил ископаемое топливо, отравляя воздух окисью углерода за счет налогоплательщиков? Фэншоу не стал спрашивать.

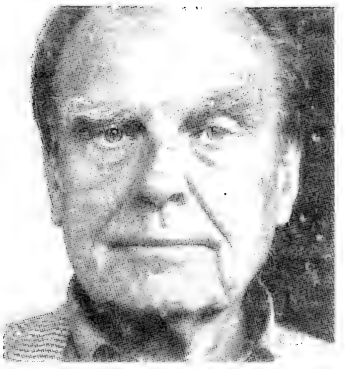
Проделывая простые бытовые действия — бреясь, одеваясь, отвечая на вопросы, справляясь с разными мелкими происшествиями, — Фэншоу часто чувствовал теперь, что играет роль в спектакле, который вот-вот должен сойти со сцены, и одновременно понемножку учит слова из следующей пьесы. Похоже, что это театр единственного спектакля. Вспоминая, как один раз смерть оказалась рядом, такая явственная, в полный рост, и даже с запахом, вроде запаха мела, если стоишь в классе у доски, он испытывал как бы снисходительное недоумение. В какой момент он перестал ее бояться? Или, вернее, научился принимать? Это мгновение хранится у него в памяти, отчетливое, как полосатый шлагбаум поперек шоссе на погранично-пропускном пункте. Это было, когда он первый раз лежал в постели с Лорной Кремер.

Какими чернильно-черными казались ее глаза среди снежной белизны простынь! Снаружи тоже лежал снег, он укутал весь мир слепящим сиянием. Талая вода журчала в алюминиевых водосточных трубах. До этого были прохлада, жесткость свежих простынь, близость, никогда прежде не испытанная, ледяные, пугливые кончики паль-

цев. Он снял с нее черный кружевной лифчик — ее спина изогнулась, чтобы он мог достать застежки, — почти даже против воли, зная наперед, что сейчас полыхнет белое сияние и затмит все бывшее прежде в его жизни. Она улыбалась, подбадривая, робея. Они были сообщники. Зубы у нее оказались на поверку не такие уж идеальные, клыки чуть выступали, затеняя соседние резцы. Зрачки на неумолимом свету сузились до карандашной точки. Он никогда ничего не видел так ясно, как сейчас ее, весь тонкий механизм ее существа, мягкую мышечную ткань губ, волосы, протянутые к минным взрывателям. Он вылез из постели, чтобы приспустить шторы, вид ее был слишком, до боли, ослепителен.

За окном внизу, под птичьей кормушкой, склевывая рассыпанные семена и оставляя сеточку следов, прыгала по снегу буроватая птица, самка кардинала. А вдали, под опрокинутой чашей голубого света раскинулся целый ни в чем не повинный город крыш, дымов, припорошенных снегом деревьев. Фэншоу, зажмурившись, опустил шторы на это сияние и в благодатном сумраке вернулся туда, где неподвижно, как деревянная, лежала Лорна. Он слышал бег крови у себя в голове, жизнь переполняла его. Секс или смерть, выбирай себе отраву по вкусу. Это было бесконечно давно. Она до сих пор моложе и подвижнее его, хотя все относительно. Он не завидует тем двоим из бесконечно давнего прошлого, на чьи плечи мир взвалил такой тяжелый груз последствий. Они были прекрасны и печальны в краткий миг своего торжества, подобно титанам, этим переходным фигурам от хаоса к более заоблачному жилищу богов.

■



НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
1980г.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

Ода птенцу

Перевод с польского С. МОРЕЙНО

По нашей земле

I

Проходя людным городом
(говорит Уолт Уитмен в переводе Альфреда Тома),
проходя людным городом,
скажем, пристанью Сан-Франциско, считая чаек,
думал, что должно между мужчинами, детьми и женщинами
быть что-то, не счастье и не несчастье.

II

Захотел бы выяснить, чем мир является для меня,
взял бы хомяка, крота или ежика,
посадил бы вечером на кресло в театре
и, прижав ухо к сопливой мордочке,
слушал, что шипит о свете прожекторов,
звуках музыки и балетных па.

III

Проснувшись затемно, увидел серое озеро
и двух удильщиков в кашлявшей глухо моторке.
Позднее меня разбудило бьющее в зрачок солнце,
легшее на перевал со стороны Невады.
Во сне между толчками век прочувствовал столько
и так сильно, что понял заминку времени,
когда то, что было всегда, перестало быть.
Надеюсь, как-нибудь мне это зачтется:
тоска и вечная жажда хотя бы одну жизнь
схватить под непонятным, чужим углом.
Ветерок стал морщить разноцветную воду.
Пришло забвение. В горах горел снег.

IV

Девушки с лебедиными шеями возвращаются с корта.
Водяная пыль дрожит над газонами.
Дрозд подскакивает почти вплотную и каменеет.
Переливаются стволы эвкалиптов.

Прохлада под сенью свежей дубовой листвы.
Вот, собственно, что стоит воспеть: день.

Но по другую сторону ярится первозданная мощь,
черти, глумясь над верящими в свое первородство,
расшвыривают груды кровавого мяса,
славят материю без замысла и конца
и начало агонии,
в которой вывертом влечения к себе
предстанет все, что любили.

V

А ну как Паскаль не обрел блаженства?
Ну как те слабые ручки, сжавшие крестик, —
его, невинного, как мертвая ласточка
на дороге, под натиском ядовито-зеленых мух?

А ну как все они со сложенными ладошками,
миллионы их, миллиарды их, канут в бездну,
поглотившую свет?
Не желаю верить. Войду короной.
Разум людей могуч, уста речисты
и зов так силен, что им откроется Рай.

VI

Иному дай пару булыжников
да съедобных кореньев — сотворит мир.

VII

Каморка твоя, Паулина, под лестницей, окошком в сад,
где, давя жирных гусениц около хлева,
большим пальцем ноги мучу навозную жижу,
в другом окошке колодец (люблю, отпустив ведро,
распугивать зажившихся там лягушек).
Герань, Паулина, столбняк холодной земли,
узкое ложе с тремя подушками,
ветвь пальмы, роза и образок
перед железным распятьем.
Давно умерла Паулина, но не ушла.
Не только из моего бытия, почему-то уверен.

И над жестким лицом литовской батрачки
жужжит веретено колибри, а плоские мужские ступни
окропляет сапфир, в котором дельфины,
показывая хребты,
играют.

VIII

Кроличий ус и пуховые шейки
черно-желтых пичужек, труба лисицы,
мелькнувшая в зарослях, одинаково распалят
раба и хозяина. И первые такты
музыки на лужайке. Бубен, дудочка,
аккордеон или с быстрого диска
голосами джиннов блеющий джаз.
Уносится к тучам доска, а у тех, что внизу,
спирает дыхание от черноты под юбкой.
Кто не мечтал о замках маркиза де Сада?
Сами собой закатываются рукава,
и за дело: вспарывать шпорой
девственниц, о-о-о построенных в ряд,
или же голых монашек в ажурных чулках
учить хлестаться бичом, жуя полотенце.

IX

Кабеза, если кто и постиг цивилизацию, это ты.
Как тебя угораздило, кастильский бухгалтер,
оказаться там, где ни цифры,
ни проблеска, ни закорючки пера, вымоченного в чернилах,
лишь брошенная прибоем на берег лодка,
чудные танцы под взглядами оцепенелых индейцев,
их неожиданный плач между небом и морем,
жалоба: о, даже боги несчастны.
Семь лет ты был прорицающим богом,
белокожий, брадатый, битый, если не удавался трюк,
семилетний бросок от залива Мехико до Калифорнии,
ху-ху-ху племен, горячий терновник суши.
А нынче? Кто я, запонки на манжетах
не мои; стол со львами не мой, кальян доньи Клары,
ее атласный лиф под камзолом — не-а.
На четвереньки! Ползком!
Боевыми красками вымазать члены.
Грызть землю. Вха вха, ху ху.

Дифирамб

Многое видели на земле а малахитовых гор на заходе
солнца нельзя не встретить песней и поклоном

Тот же весенний танец манит когда над осыпью базальтовых скал стаи птиц ныряют в ясные воды залива

И выдра морская гребет перепончатой лапой купаясь
в пене возле Пойнт Лобос.

А в сумерках затлеют угли азалии со дна мглистых
ущелий.

Ничто не пришлось принять ни с чем не пришлось
проститься, незыблемый, совершенный, нерукотворный
свет.

Стерлась память о том, что стало бы нашим по праву

Мотивчик губной гармоники из страшно далеких лет,
а может тропа что вела спаянных поцелуем.

Спящий на прялках лен, зерно и яблоко в сотах,
легкий доспех на груди кузины Антольки.

Стрекот пулеметов на равнине изрытой противогаубичными рвами под ветхою кисеей пасмурного рассвета.

Кто решится, кто скажет «мой» о напрасном, напрасном, давно загаданном сне?

В блеске тинторетговых мантий идут наши мертвые,
озираются и молча делают знак.

Дружество в латах засело за шахматы бросив под ноги великолепные шлемы

А любовная мощь, живое золото крови, развеет по
ветру наше пустое имя.

Ода птенцу

О нетривиальный.
О неопытный.
Прячущий за спиной оперенные длани.
Вскормленный в прыжках изумрудного ящера
Кибернетической цангой,
Гребущей все, чего ни коснется.

О неведомый.
О превосходящий
Зияние ландышей и глаз богомола в траве,
Выгоревшей от обращения ядовито-зеленых солнц,
Ночь в муравьиных склепах с парой светил
И галактику тела трутня,
Равную нашей вселенной.

Вне радости, вместо радости
Ты раскачиваешься в гамаке над морями озона,
Дворцами на дне и пагодами из листьев,
Посадочными террасами в лагуне тени.
Зовут — спохватываешься, и я предвкушаю миг,
Когда стопа ослабит жим, распрямятся крылья.
Колышется насиженная тобой ветвь, ты на хрустальном шкоте
Проносишь горячие часики сердца.

О единственный, безразличный
К звукам пта, птерон, фгл, брд.
Вне имени, вместо имени,
Недосягаемый лёт в куске янтаря.
И каждый взмах как ответ на вопрос, что разлучает
Вещи, коим что денно даю имена,
С сущностью моей лепестковой,
Хоть и причастной зениту.

Со мной навечно твой полураскрытый клюв,
Чья изнанка столь явственна и нежна,
Что волосы на шее ерошит дрожь
Кровного родства и экстаза.
Тогда ложусь после обеда в тени,
Вижу рты, склонившиеся к латунной мышце,
И с трепетом касаюсь обнаженной руки
Под сенью колокола и оливы.

Напутствие

На месте юных поэтов
(месте высоком, как бы ни брюзжал современник)
я остерегся бы думать, что жизнь наша — сон безумца,
бессмыслица, воплощенные шум и ярость.

Что правда, то правда — я не видел торжества справедливости.
Уста младенцев молчат: ничего такого.
И коронованный шут со стаканом в руке,
визжащий, что он на короткой ноге со Всевышним,
поскольку стольких-то ослепил, оскопил, забил,
подчас умиляет слушателей: экая душка!

Господь не умножит доброму стад и верблюдов,
равно как ничем не воздаст за кривду и душегубство.

Давно не наведывался к нам в палестины, и уж позабыли
про вспыхнувший куст и сердце сына еврейки,
готовое терпеть за всех, что были и будут.

Не знаю, ожидает ли Ананкэ своего часа —
окоротить спесь и зарвавшийся разум.

Люди зарубят пусть себе на носу,
что живут лишь милостью сильных.
Так что давай пить кофе, ловить стрекоз,
а любящему Речь Посполиту отрежут руки.

А ведь Земле положены какие-то стройность и нежность.
Я не беру узаконенные дива природы,
барочные реквизиты. Луну, пузатые облака
(хотя, конечно, черемухи пахнут так нежно-сладко!)
Я бы советовал держаться от природы подальше;
от сумрачного упрямства бесконечной вселенной,
бесконечного времени, от ядовитых слизней
в огороде на грядках, полками на марше.

Так много смерти, и поэтому нежность
к юбочкам на ветру, девичьим косичкам,
бумажным корабликам, чье плаванье мельче, чем наше...

■

МИЛОРАД ПАВИЧ

Вечность и еще один день

Меню для театрального ужина

Перевод с сербского Н. ВАГАПОВОЙ и Л. САВЕЛЬЕВОЙ

Проза Милорада Павича и гипертекст

«... В чтении гиперлитературы есть нечто сновидческое: возникает странное пространство, некое гиперместо, более схожее с внутренним пространством, нежели с внешним, пространство, не принадлежащее координатам, но бесконечности воображения».

Роберт Кувер

Тому, кто знаком с пособиями по текстовым процессорам, нетрудно вообразить, что они могли бы послужить ключом или руководством к книгам Милорада Павича. Совокупность его книг внесла в литературу определенную систему, соответствующую базовой системе не только текстовых процессоров, но и вообще вычислительных устройств. Это случилось, разумеется, независимо от намерений автора, без какого-либо умысла с его стороны.

Конечно, не только появление гиперлитературы (примерно 1990 г.) впервые обнаружило связь творчества Милорада Павича с миром компьютеров.

В рецензии Патриции Серкс «Книга XXI века» на его роман «Хазарский словарь» отмечалось: «Это — своего рода «Илиада», нечто вроде компьютерной «Одиссеи», книга открытая, книга интегрального содержания»(«24 Heures» 31.VIII.1988).

... В 1987 г., в моей статье о сборнике рассказов Павича «Железный занавес», я высказала суждение, показавшееся мне тогда настолько еретическим, что я перенесла его в примечания: «Структуру рассказов Павича можно условно сравнить с компьютерной видеоигрой. Их пространство представляется настолько неограниченным, что создает впечатление бесконечности.

Перемещения с одного уровня на другой, вверх — вниз, вправо — влево позволяют отгадывать загадки, получать сведения и в результате сложить мозаику в единое целое. А это подвластно только мастерам игр».

По-моему, из всего этого ясно, что глобальная связь прозы Павича с литературой гипертекстов ясна и неоспорима.

Коснемся вкратце некоторых характерных черт гипертекста в его прозе и проследим возможности их превращения в гиперлитературу...

Особенно интересно проследить системы сложения рассказов Павича в циклы, ибо эти системы представляют шаг на пути к его романам. Достаточно вспомнить сборник «Русская борзая», в послесловии к которому автор наконец решается сказать, что связь между двумя рассказами такова, что «на вопрос, поставленный в одном рассказе, можно найти ответ в другом; если же их прочитать вместе, то они составят третий рассказ...»; добавлю от себя — рассказ, действие которого развивается в промежуточном пространстве.

Вот так мы подошли к романам «Хазарский словарь», «Пейзаж, нарисованный чаем» и «Внутренняя сторона ветра», каждый из которых, хотя каждый по-своему, может рассматриваться как сборник рассказов, объединенных в некие циклы.

Связи между звеньями этой цепи настолько разнообразнее и богаче обычных предпосылок для механического соединения, используемых в литературе гипертекста (по край-

---

Статья Ясмины Михайлович и первая часть пьесы М.Павича даются в переводе Н.Вагаповой, вторая и третья части — в переводе Л.Савельевой.

чей мере, предпосылок, до сих пор сформулированных), что перед вами встает вопрос: к чему вообще гиперлитература, если вне компьютерной среды уже созданы произведения, ее превосходящие, во всяком случае, с точки зрения содержания и значений? Ответ, вероятно, в том, что все особенности, например, «Хазарского словаря», «Пейзажа, нарисованного чаем» и «Внутренней стороны ветра» ярче проявляются именно в этой (компьютерной) среде. Очевидно, что структура этих романов (соответственно роман-лексикон, роман-кроссворд, роман-клепсидра), как, впрочем, и структура рассказов Павича, уже подтачивала технологию печатной книги, требуя новой жизненной среды, где она могла бы родиться заново и воплотиться в некой новой форме.

Как могла бы выглядеть возможная гипертекстовая версия «Хазарского словаря»? Разумеется, сначала надо было бы сделать для этого романа (как и для любого другого произведения) специальный софтвер (программное обеспечение) с использованием всех четырех существующих систем: Guide, Hyper Card, Story Space, Expended Books — и добавлением новых систем, которых требует эта книга...

Важно то, что перенесение такой книги, как «Хазарский словарь» в новую среду предоставляет бо́льшие возможности прочитать почти все ее слои, чем простое чтение, и в то же время не препятствует процессу поисков связи между отдельными элементами, уже начавшемуся в сознании читателя. Одни ключевые сюжеты можно преподнести визуально, в виде кинофильма или мультипликации, другие — с помощью звука (почему бы не послушать, например, музыку, исполняемую компьютерной клавишей?). Творческая активность читателя, таким образом, может проявляться в разных направлениях, а использование разнообразных масс-медиа позволяет подключить к восприятию многие органы чувств.

Схема и метод перенесения в компьютерную среду «Пейзажа, нарисованного чаем» даны уже в самом начале этого «романа для любителей кроссвордов» в виде указаний автора «Как читать этот роман по горизонтали» и «Как читать этот роман по вертикали». Я полагаю, что это произведение легче всего перенести в гипертекст именно потому, что приведенные выше «указания» автора помогают выделить блоки: по темам, по образам, по событиям, по любовным историям и т.д. Здесь читатель смог бы не только различным образом распределить сегменты текста и установить между ними новые связи, но и повлиять на судьбу персонажей, изменяя, как в книге, начало или конец романа.

Самым сложным оказалось бы проведение подобной операции с романом «Внутренняя сторона ветра», потому что связи, соприкосновения между историей Геро и историей Леандра столь зыбки, что потребуют чересчур усложненного компьютерного обеспечения, причем даже в этом случае немалое число их останется витать где-то в воздухе, что, несомненно, свидетельствует о достоинствах этого произведения. Я помню, что, анализируя этот роман, я испытала немало трудностей: мне долго не удавалось поймать какую-то нить в истории Леандра, потом найти ее, да еще в измененном виде, в истории Геро, а затем соединить их воедино. Паутина этих нитей настолько разрасталась, что в один прекрасный день мне захотелось получить список слов-символов, или имен, или же еще каких-либо знаков, которые можно было бы проследить параллельно в обеих частях. Но для этого, безусловно, потребовался бы компьютер с его экраном. С другой стороны, именно «Внутренняя сторона ветра» наглядно демонстрирует метод объединения сюжетов Павича в систему циклов и указывает на вероятность появления гипертекстовых вариантов в других его сборниках рассказов.

Пьесу «Вечность и еще один день», наверное, можно назвать гиперпьесой (гиперплей). Она являет собой настоящий гипертекст, и, в отличие от романов Павича, ее нельзя адекватным образом представить в книге. Но она сохраняет свойства гипертекста при переносе в сферу театра, где она станет симультанным представлением в реальном пространстве разных театров, а не в моделируемом компьютерном пространстве.

Таким образом, структура пьесы позволяет зрителю воспринимать один и тот же «основной текст» всегда по-разному в соответствии с теми значениями, которые придают ему подвижные завязки и концовки.

ЯСМИНА МИХАЙЛОВИЧ

От автора

Андре Клавель в швейцарской газете «Журналь де Женев» сравнил мою книгу «Хазарский словарь» с рестораном, где каждый посетитель составляет меню по своему вкусу. Это остроумное замечание можно отнести ко всему, что я делаю. Написав за последние десять лет три романа, я решил обратиться теперь к театру. Инсценируя фрагменты моей прозы или усиливая драматическое начало, я стремился предоставить в них режиссерам и театрам максимальную независимость от драматурга и повысить степень их участия в создании текста для театра.

© Милорад Павич, 1993

Мою пьесу и вправду можно сравнить с ресторанным меню. Подобно тому как в меню сначала идут несколько видов закусок, затем одно или несколько основных блюд, а в завершение следует широкий выбор десертов, причем порядок появления кушаний на столе определяется посетителем, пьеса «Вечность и еще один день» предлагает вниманию постановщика своего рода «театральное меню».

Вышеизложенные намерения автора и определяют «менюобразную» структуру драмы: 3+1+3 (три взаимозаменяемых «закуски», одно «основное блюдо» и три взаимозаменяемых «десерта» в конце). Зритель, режиссер или директор театра могут выбрать любую из трех вводных частей пьесы в качестве завязки театрального представления и любой из трех завершающих фрагментов для развязки. При этом категорически запрещается включать в один и тот же вариант меню несколько закусок или несколько десертных блюд.

Таким образом, любовный роман Петкутина и Калины в одном театре и по воле одного режиссера завершится хэппи-эндом, в другом театре и по выбору другого постановщика закончится трагически, а в третьем интерпретатор выберет еще один возможный вариант и по-своему его истолкует.

Если принять во внимание все возможности, то из любовной истории о Петкутине и Калине выйдет девять комбинаций, различных по тексту и по режиссуре. Естественно, что любая из этих девяти версий включает необходимый для каждого спектакля минимум зрительских впечатлений — завязку, интригу и развязку, иначе говоря, является вполне классической пьесой, к каким мы привыкли. Новое состоит в том, что, просмотрев этот минимум, можно идти дальше. Чем больше вариантов увидит зритель, тем полнее будет его представление об истории любви Петкутина и Калины, ибо все три вводные части связаны между собой, как связаны и три варианта финала драмы «Вечность и еще один день».

В заключение добавим, что зритель имеет полное право выбрать понравившийся ему вариант пьесы, а театр, если угодно, может объединиться с другими театрами в одном спектакле. Существуют и другие возможности, например обмен гастролями, если разные версии исполняются в различных городах. Или театр, не выезжая из родного города, может пригласить, например, трех режиссеров, чтобы вечер за вечером предлагать вниманию зрителей новые варианты текста и спектакля. Существует, наконец, возможность провести «фестиваль одной пьесы», на котором девять театров покажут в исполнении девяти актерских трупп все девять версий текста драмы «Вечность и еще один день».

Антракт, как и полагается на порядочном обеде, должен быть перед десертом.

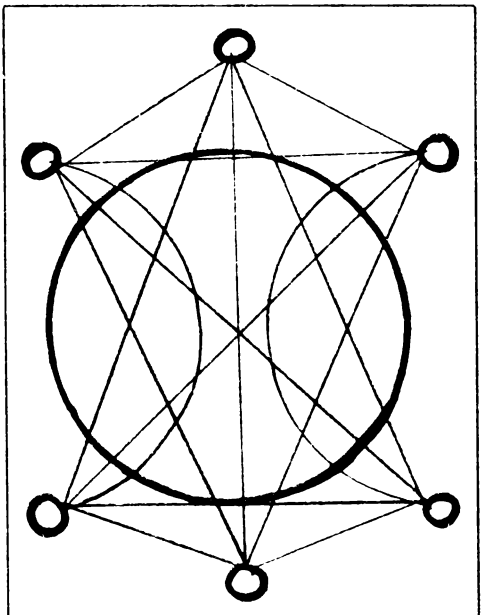


Схема пьесы или фильма «Вечность и еще один день»

Ясмине

МЕНЮ ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНОГО УЖИНА

Закуски

Бабочки в сухарях под соусом тартар
Зачем мы здесь?
Соль с оленьего рога

Основное блюдо

Петкутин и Калина

Десерт

Все хорошо, что хорошо кончается
Печальный конец тоже делу венец
«Настало после смерти пробужденье... »

Закуски

БАБОЧКИ В СУХАРЯХ ПОД СОУСОМ ТАРТАР

Действующие лица:

1-я сестра — красивая молодая девушка
2-я сестра — красивая молодая девушка
Молодой человек
Гости
Хозяйка

Время действия — наши дни.

Вечеринка в частном доме.

Гости выпивают и закусывают, кто стоя, **а-ля** фуршет, кто присев в просторной гостиной. Общий гомон. **Хозяйка**, заметив одиноко скучающего в стороне **молодого человека**, заговаривает с ним и предлагает присесть на один из тех старинных диванчиков, что умеют на своих шести ножках потихоньку передвигаться по комнате. Соседками **молодого человека** по диванчику оказываются **две сестры**, молодые красивые девушки. **Первая сестра**, не мигая, смотрит на молодого человека, и взгляд ее, вначале горячий, постепенно становится холодным.

1-я сестра. Не хотите ли послушать любопытный сюжет?

Молодой человек. Что ж, я не прочь. Не любо — не слушай, а врать не мешай. В одно ухо влетит, в другое вылетит.

1-я сестра. Было это давно и неправда, а случилось в театре.

Молодой человек. Ах, в театре... Влетело быстро, вылетело еще быстрее. С театром у меня, как говорят, отношения не сложились. Что дальше?

1-я сестра. Собрались мы с сестрой однажды в оперу. Тогда еще было принято в хорошую погоду проводить антракт на свежем воздухе. Публика гуляла по площади перед театром, а потом возвращалась досматривать спектакль. Капельдинеры пропускали в зал по надорванным билетам.

Молодой человек. Как же, помню. Своя рука — владыка! Что хочу, то и ворочу.

1-я сестра. У нас было три билета: для нас с сестрой и один лишний. Мама уговорила нас сводить в театр молодого человека из провинции, дальнего родственника. Мы его до тех пор в глаза не видели.

Молодой человек (*начиная скучать*). Ну, понятно, мамы, они все такие.

1-я сестра. Однако родственник у театра не появился по причинам, известным ему лучше, чем нам.

Молодой человек. Да, загулял ветерок в голове у вашего родственничка.

1-я сестра. Мы решили отдать кому-нибудь лишний билет. Перед входом, в самой толпе, спокойно стоял какой-то юный джентльмен. Запрокинув голову, он пил пиво прямо из банки. Мы предложили ему билет. «Сидеть будете во втором ряду партера», — сказала сестра. Подумав, что билет продается — а ему это было явно не по карману, — парень ответил довольно-таки нагло: «Сидеть необязательно, я и стоя могу».

Молодой человек. Ну, нахал! Да и вы хороши. Зачем было навязываться?

1-я сестра. Поняв, что мы отдаем билет бесплатно, он соизволил проследовать за нами в зрительный зал, не выпуская из рук банку с пивом. Когда мы пошли прогуляться перед театром после первого действия, он тоже вышел, на ходу допивая пиво. Однако к началу второго действия наш знакомец не появился.

Молодой человек. Вот так номер, чтоб я помер!

1-я сестра. Рядом с нами уселась какая-то старая дама с допотопной прической. Наш приятель, оказывается, совершил хитроумную сделку. Получив от нас даровой билет, он продал его старушке, а на вырученные деньги купил еще банку пива.

Молодой человек. Ну и ну! Так я и думал, судя по началу. Такому палец в рот не клади, откусит. Одну треть оперы, значит, прослушал, а две трети продал бабуле.

1-я сестра. А вот и нет. В третьем действии на месте нашего бизнесмена сидела незнакомая девочка.

Молодой человек. Комар его забодай! И третье действие толкнул. Деловой, однако! Прямо как в пословице: не пустуют ясли у вола-трудяги.

1-я сестра. Вот именно. Уходя из театра, мы видели, как он допивает уже третью банку. Наш подарок этот тип окупил с лихвой... Ну, каков сюжет?

Молодой человек. Классная байка. Сделка века! Спасибо, позабавила ты меня!

1-я сестра. Это тебе спасибо, что так случилось.

Молодой человек. Не понял. Если честно, скользнул твой рассказ по ушам, как вода по желобу.

1-я сестра. Неужто не узнал себя?

Молодой человек. Н-нет. Забрезжило что-то и пропало...

1-я сестра. Да ведь это ты наш билет два раза продал!

Молодой человек. Провалиться мне на этом месте! Девушка, ты меня с кем-то путаешь.

1-я сестра. Сестра не даст соврать. Она сама тебе билет отдала, своими руками.

Молодой человек. Ну и где она сейчас, твоя сестра?

1-я сестра. Рядом сидит. Мы сейчас так и сидим по обе стороны от тебя, как тогда в опере.

Молодой человек (*про себя*). Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! (*Обращаясь ко второй сестре.*) Такова сила дурного впечатления. Если вы перед кем-нибудь покажетесь в невыгодном свете, то потом никогда и ни за что не узнаете этого человека, даже свою встречу с ним предадите забвению со скоростью ловкой кражи... Готов поклясться, я вас никогда в глаза не видел.

2-я сестра. Видел ты меня, голубчик, очень даже прекрасно видел. Мы с тобой познакомились давным-давно, задолго до того случая в опере. Было это в доме моей матери, другими словами, в гостях у твоей тетки. Мне было семь лет, в руках у меня была кукла.

Молодой человек. Ну вот, час от часу не легче... Что же я тогда натворил?

2-я сестра. Ты меня спросил, как это мне удалось в семь лет родить ребенка.

Молодой человек (*отчаянно пытаясь выйти сухим из воды*). Да, тут не обошлось без старика Фрейда... Знаете, каждый из нас похож на луковицу: под каждым слоем оказывается следующий; вы его снимаете и ожидаете увидеть бог знает что. Когда же добираетесь до конца, убеждаетесь, что в сердцевине ничего нет. Совсем ничего.

2-я сестра. Ничего? Вы говорите, ничего. Лук и вода. А слезы? Как же пролитые слезы? О них-то вы и забыли!

Молодой человек (*стараясь сделать безошибочный шаг и привести дело к решительному концу*). М-да... А что было с тем вашим родственником — или кем он вам доводится? Ну, с тем, который в театр не явился?

2-я сестра. Явился он, явился, еще как явился.

Молодой человек. Неужели? И что же с ним произошло?

2-я сестра. Как — что произошло? Это ты и был, только мы тогда этого не знали.

Молодой человек обескураженно молчит.

Молчишь?! Хоть бы выругался, что ли.

Молодой человек. Ах ты, мать честная, курица лесная!

2-я сестра. Наша мать, если хочешь знать, до сих пор еще хоть куда!

1-я сестра. Что, голубчик, разыграли мы тебя, как в театре! А кстати, почему ты театр не любишь?

Молодой человек. Не люблю... А за что его любить? Ни одному слову, со сцены сказанному, не верю. Язык без костей, все перемелет. Хочешь знать, что такое театр? Это первая в мире коммуна. Та же фаланга, крепко повязанная мафия... Такому индивидуалисту, как я, одинокому волку, что в любой компании торчит, как гвоздь в лепешке, там делать нечего. В театре от тебя все время ждут охов да ахов, взлетов мысли и чувства. То влюбляйся в какую-то красотку из трагедии. То подвиг силы беспримерной свершай. А собственно, зачем его свершать? Отчего бы, наоборот, этой дуре в меня не влюбиться. Чем я плох? Нет, театра мне и задаром не надо. А вот поесть я люблю. Обожаю блюда с красивыми названиями. И чтоб меню с шелковой закладкой, переплет с золотым обрезом, словно подарочное издание нашего классика Негоша или там «Ромео и Джульетты»... Откроешь карточку — и вот тебе сюрприз: «Бабочки в сухарях под соусом тартар», «Слоеный пирог с начинкой из диких улиток» и так далее... Вот если бы в театре можно было выбирать спектакль, как в меню, это бы мне подошло. Что выберешь, то и посмотришь. Представь-ка себе театральный ужин и меню для театральных гурманов. Заказываешь какую хочешь закуску, то есть завязку действия. Устроишься в кресле поудоб-

нее и выберешь в карточке, то есть в программке: хочешь — пирог, хочешь — фрукты, а хочешь — сыр. Представь себе трагическое меню или трагедию в форме обеденной карточки. Согласно волшебной формуле 3+1+3... Лучше не придумаешь. «Засахаренные фиалки»! Не знаешь, что берешь в рот, а распробуешь — и во рту у тебя начнет медленно таять вечность... Идешь в театр смотреть пьесу про любовь. В одном театре — хэппи-энд, все хорошо кончается... Хороший конец только дурачкам нравится, умный ничего хорошего не ждет. В другом театре, глядишь, та же сказка про любовь, но кончается ужас как печально и для героев, и для нас. Поневоле загрустишь, ведь после смерти не надышишься!.. В третьем театре любовный ужин тебе подают с третьей закуской, то бишь завязкой, с третьим финалом на десерт. Приятно, черт подери, хоть разговорами сыт не будешь. (*Вдруг переходя на хороший английский язык.*) You can trust me. I know everything concerning Elisabethan theater, Ingmar Bergman and Peter Brook's productions[1]! Счастья вам, радости и здоровья! Приятного театрального аппетита.

ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ?

Действующие лица:

Мокадаса аль Сафер — священнослужитель хазарского храма
Послушница
Послушник
Послушники

Время действия — VIII век н.э.
Место действия — колоннада перед хазарским храмом. В центре, на полу, огромный сине-золотой хазарский глиняный кувшин.

Между колоннами слоняется **послушник** в поисках **послушницы**, которая спряталась за одной из колонн. Оба очень молоды, почти дети, поэтому все, что они делают и говорят, похоже на игру.

Послушница (*внезапно выглянув из-за колонны и напугав послушника*).
Если хочешь со мной переспать, двадцать тысяч плати;
Если не хочешь, вдвое больше плати;
Нам не дано выбирать, что вырастет на голове:
Волосы или трава, как не дано
Выбирать, что хлынет — дождь или слезы.
Если хочешь со мной переспать, двадцать тысяч плати;
Если не хочешь, плати двое больше.

Послушник. Я готов заплатить двадцать тысяч.

Послушница. Да это только в песне так поется.

Послушник. А не в песне что?

Послушница. Давай так: я буду задавать вопросы, а ты — отвечать? Если ответишь, что-то получишь, а не ответишь — не получишь.

Послушник. А что?

Послушница. Отвечай, узнаешь.

Послушник. Спрашивай.

Послушница. Зачем мы здесь?

Послушник. Где? На сцене?

Послушница. Да нет. Зачем и откуда вообще люди здесь, на Земле, во времени? Ты говорил, что тебе снятся густые сны. Ну, отвечай.

Послушник. Не знаю. Это вопрос для учителя, а не для ученика.

Послушница. Вот и мне так кажется. Значит, не можешь сказать, зачем мы здесь? А что можешь?

[1] Можете довериться моему вкусу. Я знаю о театре все, начиная со спектаклей елизаветинской поры и кончая постановками Ингмара Бергмана и Питера Брука (*англ.*).

Послушник. Мне сказали ужасную вещь.
Послушница. Какую?
Послушник. Ты знаешь, каким молитвам предается наш учитель?
Послушница. Каким?
Послушник. Он уже успел лишить невинности не одну сотню девушек и здесь, у нас, и в других храмах.
Послушница. Подумаешь, новость! Он и меня лишил.
Послушник *(молчит в замешательстве. После паузы).* Ах да, вот еще новость. Учитель приобрел новый сосуд.
Послушница. Потрясающе. Как ты догадался?
Послушник *(пристыженный, так как кувшин стоит у него перед носом).* Значит, кто-то из нас получит от учителя подарок. Интересно, кто этот счастливчик? Кто-нибудь из отличников?
Послушница. А кто отличник?
Послушник. Уж конечно, не я.
Послушница. Спорим, что кувшин достанется тебе.
Послушник. Почему? Ведь всем известно, что я не отличник.
Послушница. Именно поэтому. Отличники быстро уходят из школы. А отстающие торчат здесь, пока все не усвоят. С тобой учителю еще придется пуд соли съесть.

Мокадаса с группой послушников выходит из храма.

Мокадаса *(садится вместе с послушниками под навесом, на котором изображен небесный свод со звездами).* Сегодня я вам поведаю нечто о моли. *(Обращаясь к послушнику.)* Видишь моль? Вон там высоко, у самой стены. Ее можно различить только потому, что она летает. Если допустить, что этот навес — небо, то можно подумать, что это птица под сводом небесным.
Послушник. Моль, наверно, так и полагает, и только нам известно, что это не так. Но ей неизвестно, что мы это знаем. Она вообще не ведает о нашем существовании. Она знает о существовании нашей одежды, которая составляет ее пищу.
Мокадаса. Да, приблизительно так. Но перейдем к делу. Можешь ли ты этой моли что-нибудь объяснить, неважно что, но так, чтобы она тебя поняла, а ты был бы уверен, что она это уразумела?
Послушник. Я не уверен, что смогу. А ты, Учитель?
Мокадаса. Могу. И кто угодно может. *(Привстав и всплеснув руками, убивает моль и показывает на ладони то, что от нее осталось.)* Думаешь, моль не поняла, что я хотел ей сказать?
Послушник. Но таким образом ты можешь доказать свое существование и свече, которую гасишь двумя пальцами.
Мокадаса. Естественно, если только свеча способна умереть. Но представь себе, что существует Некто, знающий о нас ровно столько, сколько мы знаем о моли. Некто, для кого наше небо — не более чем этот навес. Кто не может к нам приблизиться и дать знать о своем существовании иначе, как только убивая нас. Некто, чьей одеждой мы питаемся, кто несет в своем теле нашу смерть — единственное средство общения с нами. Убивая нас, этот Неведомый дает о себе знать. Когда кто-то из нас умирает, это значит, что Неведомый хотел нам передать нечто важное. Любая смерть есть, в сущности, слово. Все наши смерти, вместе взятые, составляют великое неразгаданное послание... Но вернемся к свече, о которой ты упомянул.

Все послушники одновременно открывают небольшие глиняные сосуды, которые держат в руках, и становятся видны огоньки горящих свечей. Мокадаса торжественно преподносит послушнику огромный хазарский сосуд, стоявший на полу. Послушник с восторгом разглядывает сосуд.

Послушник. Теперь я знаю, где хранить свои вещи. *(Начинает, подобно фокуснику, доставать из сумки свои вещи и, показав их присутствующим, опускает по одной в сосуд.)* Вот яйцо — знак прожитого дня... Колокольчик — призыв переменить душу... Красный плащ — знак смерти... Золотое овечье руно — знак путешествия к звездам... Две шапочки, синяя и желтая, — знак тела, в котором нет души...
Мокадаса. Прекрасно. А теперь достань свои вещи из сосуда.

Послушник переворачивает кувшин, но из него ничего не выпадает. Он начинает шарить рукой внутри кувшина, но ничего не находит.

Послушник. Он проглотил мои вещи. Учитель, объясни, что означает такой сосуд?

Мокадаса. Прислушайтесь. (*Поднимает камешек и опускает его в кувшин. Считает до двадцати. Слышится плеск, точно камень упал в воду.*) Я мог бы тебе объяснить, что означает твой сосуд, но подумай, стоит ли это делать.

Послушник. Что ты имел в виду, Учитель? Разве знание может быть во вред?

Мокадаса. Конечно. Разве легко, например, узнать сразу три вещи?

Послушница. Как это, сразу три?

Мокадаса. У тебя есть любовник, и ты вдруг узнаешь, что он тебе изменяет. Это значит — узнать одну вещь. Иметь любовника и открыть, что он тебе изменяет с твоей сестрой, — значит, узнать две вещи. А вот иметь любовника и открыть, что он тебе изменяет с твоим братом, — значит, узнать сразу три вещи.

Послушник. А что же все-таки с моим сосудом?

Мокадаса. Как только я тебе скажу, что такое твой сосуд, он утратит свою ценность. Ибо не успею я это произнести, он уже не будет всем прочим, чем и не является, но представляется сейчас.

Послушник. Да, это так.

Мокадаса. Значит, ты согласен.

Берет палку и вдребезги разбивает кувшин. Вспыхивает красное пламя, но не возникает ни одной из положенных в кувшин вещей послушника.

Послушник. О Учитель, ради чего ты нанес такой ущерб?

Мокадаса. Об ущербе мы говорили бы, если бы я тебе поведал, для чего служит сосуд, а потом разбил его. А сейчас, поскольку ты не знаешь его предназначения, ущерба никакого нет, и сосуд тебе и впредь будет служить, словно не разбивался.

Все уходят, кроме послушника и послушницы. Они остаются у осколков кувшина. Послушник подавлен и задумчив.

Послушница. Для чего он служил? И может ли служить по-прежнему?

Послушник. Скажи мне, по крайней мере, что я потерял, когда не смог сообразить ответа на твой вопрос «Зачем мы здесь?».

Послушница. А вот что. (*Показывает ему позолоченный ключ.*)

Послушник. Что это?

Послушница. Ключ от моей опочивальни. (*Неожиданно швыряет ключ через ограду, он падает в сад.*) Пойдем, душа моя, дверь не заперта.

СОЛЬ С ОЛЕНЬЕГО РОГА

Действующие лица:

София — хозяйка
Душа— молодая красивая девушка, гостья Софии
Тело — Петкутин в расцвете мужской красоты, гость Софии

Место действия — дворец Софии где-нибудь не на Земле.

Накрытый со всевозможной роскошью стол. Сквозь стеклянную двустворчатую дверь справа виден сад, полный созревших яблок. Зрителю должно быть ясно с первого взгляда, что главный герой этой пьесы — Тело — Петкутин. При этом Душу ни в коем случае не должна играть актриса, исполняющая роль Калины. В столовую дворца Софии входят **Душа** и **Тело**. **София** встречает их.

Душа. Вот каков дом, построенный Мудрейшей. Прекрасный дом, госпожа София.

София. Позвольте вас познакомить друг с другом. Милая Душа, это — ваше Тело. Его зовут Петкутин. (*Обращаясь к Петкутину.*) Милый юноша, это — ваша Душа. Можете с ней ссориться или миловаться, как пожелаете. Но имейте в

виду, никому не дано быть мудрым и красивым все семь дней в неделю... Садитесь и чувствуйте себя как дома.

Усаживаются за стол.

Тело. Приятного аппетита.
Душа *(с улыбкой).* Что это мы вкушаем?
София. Приятно слышать ваш вопрос. Лучший комплимент моему повару. Этот суп готовится в глиняном сосуде, сделанном в форме тамбурина. Пока суп варился, сосуд встряхивали над огнем, и ни одна крупинка не осела на дно.
Тело. Поэтому он такой вкусный.
София (*принимается за давно продуманную игру: вместо разговора, читает надписи на ручках вилок и ножей или на донышках тарелок.*) «Ангел мой ненаглядный, неужели ты меня навсегда оставил?»

Гости не понимают ее уловок. Тело смущается, а Душа начинает ревновать.

Тело. Что это за соус?
София. Этот соус у меня подается горячим и почти совершенно сухим. Он приправлен солью с оленьего рога... Хочу обратить ваше внимание на одну деталь. За моим столом принято, как только гости вкусят соли с оленьего рога, вести разговор совершенно особым, заранее продуманным образом. Кто отгадает, как надо вести беседу за этим столом, не рад будет, что догадался. А кто не отгадает, все равно не обрадуется. Ну-ка, попробуйте.
Душа *(она ревнует и потому стремится вести разговор в нужном ей направлении. Тело Петкутина ей нравится, а в Софии она видит соперницу. Обращаясь к Телу).* Неужели ты меня не помнишь? Разве ты меня не любил?
Тело. Да. Но я не могу тебя вспомнить.
Душа. Я — твоя мать, но только в пятнадцать лет, за пять лет до твоего рождения.
София. Моя гостья не шутит. Ведь всякая душа — мать своего тела. И она, как все матери, ревнует вас, мальчик мой.
Тело. Все, что касается моей матери, моей души, теперь понятно. Однако я хотел бы узнать и о своем отце. Каждый вечер, вдохнув первую капельку темноты, я секунд на десять превращаюсь в своего отца. Дано ли мне узнать, кем я становлюсь на десять секунд ежевечерне? Так кем же будет мой отец?
София. Вы хотите знать, дитя мое, чья теперь очередь быть вашим отцом? Для начала я скажу, кто вам отцом не будет. Так вот, идеал многих женщин — красавец офицер, чья доблесть в том, чтобы на полном скаку помочиться прямо с коня, вашим отцом не станет. Хотя это было бы совсем недурно. На этот раз вас сделает некто с густой волнистой шевелюрой. Его история не дольше одного хлопка бича. Он будет хромоног, звать его будут Аврам Бранкович. Он осужден проехать сотни верст на верблюдах и на лошадях, стремясь к неизбежной ошибке. Не пугайтесь, вы не станете этой ошибкой, но лишь полустанком на пути к ней... (*Читает надпись на ложке.*) «Потому я вам советую утехи ради прийти в мою комнату и провести со мной ночь».
Тело (*подхватывая игру, переворачивает свою вилку и читает реплику на ее обратной стороне*). «Как, накануне Страстной Пятницы?!..»

София и Тело хохочут. Ничего не понимающая Душа сердито молчит.

София. Мой гость наконец угадал, как принято разговаривать у меня за столом. И он об этом пожалеет, как я говорила. А вы, дорогая гостья?
Тело *(читает следующую реплику, обращаясь к Душе укоризненным тоном).* «Неужели вы меня оставите на произвол судьбы, не дожидаясь наступления яркой темноты?»
Душа (*Телу, рассерженно*). Знаешь, дитя мое, после беседы с тобой хочется хорошенько умыться... Изумительная у вас рыба, госпожа София.
София. В эту рыбу была зашита открытая бутылка красного вина, которое постепенно испарилось и пропитало ее... Ну что ж, Душа моя, вы так и не отгадали загадку. И, как уже было сказано, вы об этом пожалеете. Ну-ка, читайте.
Душа (*с удивлением читает реплику на лезвии ножа*). «Я полагаю, любовь моя, что это был бы низкий, нехороший поступок».
Тело (*словно бы в ответ, читает с лезвия своего ножа*). «Я ждал вас, ибо был

уверен, что вы недолго будете бороться с предрассудками, а с угрызениями совести и того меньше».

Все трое хохочут.

София (*вставая из-за стола*). У меня за столом не беседуют, но читают надписи на вилках, ложках, ножах или на донышках тарелок. Теперь вы оба можете идти, и оба пожалеете о том, что были здесь. Ваше дело — не вкушать мою трапезу, а караулить яблоки. Прочь из моего дома! Тебя, Душа моя, я прогоняю за то, что не отгадала мою загадку. А тебя, красавчик, за то, что угадал мою тайну.

Гости уходят в смущении. Затемнение. Затем рассвет. Душа и Тело в саду, полунагие.

Тело. Мы оказались между смертью и жизнью, между адом и раем.

Душа. Второй день мы стережем сад, а во рту маковой росинки не было. Набери мне яблок.

Тело. Разве ты не замечаешь? Я ведь ослеп и не смогу нарвать яблок. Это и есть наказание, о котором говорила госпожа София.

Душа. Да, теперь я знаю. Знаю, почему госпожа София нас поставила стеречь свои яблоки.

Тело. А разве ты не можешь нарвать яблок?

Душа. «После беседы с тобой, дитя мое, хочется хорошенько умыться!..» Как ты полагаешь, с какой радости я бы стала здесь стеречь с тобой яблоки? Ведь я наказана не менее жестоко. Если ты потерял зрение, то я утратила способность передвигаться. Такова наша судьба, судьба души и тела.

Тело. «Ангел мой ненаглядный, неужели ты меня навсегда оставил?..» Знаешь что? Я голоден как волк. Ну-ка, садись мне на плечи и смотри за двоих, а я буду передвигаться за двоих. Рви яблоки!

Душа взбирается на плечи Тела, рвет яблоки и дает Телу. Петкутин жадно грызет яблоки. Появляется **С о ф и я**.

София. «Я ждала вас, ибо была уверена, что вы недолго будете бороться с предрассудками, а с угрызениями совести и того меньше». (*Душе.*) Воруете то, что вам велено охранять! Тебя, Душа, я обрекаю вечно побивать каменьями свое Тело. Пусть забудет все, что знало до сих пор. Что видит, не увидит, что слышит, не услышит, что знает, не узнает! Боль от ударов почувствует не сейчас, а через двести лет. (*Обнимает Душу, потом резко отталкивает ее.*) Вон из моего сада!

Душа подбирает с земли камень.

Тело. «Я полагаю, любовь моя, что это был бы низкий, нехороший поступок».

Душа бросает камень на землю.

София (*Телу*). Тебя же, красавчик, я обрекаю на изгнание и на разлуку с твоей Душой. Ты прозреешь и пойдешь по свету искать свою вторую душу. Но смотри, будь осторожен. Бог все видит. Первый удар колокола перенесет тебя в Индию. Второй — в Лейпциг. Третий удар колокола вернет тебе имя, которое ты забудешь, уйдя из этого сада. Ты будешь вспоминать, как тебя зовут, и первый же человек, которого ты встретишь, скажет тебе твое имя. (*Обняв Тело, резко отталкивает его от себя.*)

Тело. А сколько это будет продолжаться?

София. Вечность и еще один день... А теперь идите.

Душа и Тело уходят из сада.

Тело. Теперь действительно всему конец.

Душа. Разве ты меня не любил?

Тело. Любил. Но я не могу тебя вспомнить.

Душа. Если действительно всему конец, давай любить друг друга в последний раз. Возьми меня на руки и войди в меня, а я буду смотреть на дорогу, что

останется за нами.

Тело. «Как? Накануне Страстной Пятницы?!»

Оба хохочут. Затем она застывает в любовном объятии у него на руках, скрестив ноги за его спиной... Наконец они разжимают объятия.

Нам больше не дано быть вместе. Даже пока мы так близки, ты смотришь в ту сторону, куда я идти не могу, разве только повернув назад, а я иду в ту сторону, куда ты посмотреть не можешь, разве только повернув назад. Душа моя, я устал. Отпусти мое тело и дай ему отдых. Иди искать другое тело, которое будет тебя носить на руках. Расстанемся, как расстаются все прочие, как только закончится *сказка о душе и теле.*

Душа (*снова поднимая с земли брошенный было камень*). Я ждала этого и вот дождалась, «ибо я знала, что ты недолго будешь бороться с предрассудками, а с угрызениями совести и того меньше».

Тело. Неужели ты и вправду меня ударишь?

Душа. Ты слышал, что нам предназначено. Кроме того, я полюбила твое тело и хочу, чтобы на нем была моя отметина. Ты же слышал, больно будет только тогда, когда ты найдешь другую душу. Ты почувствуешь боль и вспомнишь меня.

Тело. Я тебя уже вспоминаю... Представь себе лису, которая сначала крадется к овечьему источнику, а потом спускается к реке, собирая по дороге зубами шерсть, что овцы оставили на кустах. Вот она осторожно ступает в воду сначала левой, потом правой лапой, не выпуская из зубов собранной шерсти. Лиса все глубже погружается в воду, вот она поплыла, и ее блохам ничего не остается, как перепрыгнуть на шерсть, что у нее в зубах. Тут лиса разжимает зубы и возвращается на берег, полностью избавившись от блох, то есть от зуда и боли. Ты, Душа человеческая, всем зверям зверь. Подобно хитрой лисе, ты отбрасываешь прочь свои грехи, от них ведь только хлопоты и боль. И от меня, от Тела своего, избавилась, как от клока блошливой шерсти.

Душа ударяет Тело камнем в висок. Одновременно слышатся один за другим три удара колокола. Вспыхивает яркий голубой огонь. С первым же ударом колокола Петкутин исчезает в синем пламени.

Основное блюдо

ПЕТКУТИН И КАЛИНА

Действующие лица:

Сто двадцать мертвых душ (их голоса и тени)
Калина — девушка пятнадцати лет с красивыми пышными волосами
Ее мать
Ее тетка Анастасия
Аврам Браикович из рода графа Джордже Бранковича. Заметно хромает
Госпожа Бранкович — его супруга
Вид — их сын
Петкутин
Аверкие Скила — мастер сабельного боя
Папас Элеазар — друг покойного отца Калины
Австрийский лейтенант — контрразведчик
Два мальчика

Действие происходит в XVII веке в городе на Дунае, а также в расположенном неподалеку от него античном театре и в Царьграде.

КАРТИНА 1-я

В доме Калины.

Калина (*играет на инструменте, похожем на современную виолончель, в то время*

он назывался viola da gamba. Неожиданно прерывает игру, обнимает инструмент, сжимает его коленями, как куклу или любовника, и шепчет ему). Любимый мой, любимый мой. Как бы я хотела, ах, как бы я хотела. *(Целует инструмент.)* Знаешь, что бы я хотела? Свадьбу. Мы полюбили друг друга. Ты мой избранник, ты красив, у тебя трехдневная борода, выросшая в дни и ночи любви, она щекочет меня. Мы едим одной вилкой попеременно, и я пью вино из твоего рта. Ты ласкаешь и обнимаешь меня так, что душа скрипит в моем теле, и я схожу с ума и заставляю тебя мочиться в меня, нет, все это невозможно высказать. А по весне, как это принято, нас провожают в поездку. Куда у нас обычно ездят молодожены, знает каждый. К древним развалинам, где прекрасные каменные скамьи и греческий мрак, намного более густой, чем любая темнота. Потому что, чем больше свечей погасишь, тем гуще мрак.

Входят **мать и тетка Анастасия.**

Анастасия. Смотри-ка, как изменилась Калина! Иди я тебя приласкаю!

Калина не подходит.

Как поживаешь, Калина? Как себя чувствуешь?

Калина, заблеяв как ягненок, убегает.

Мать. Эх, спрашиваешь, как она себя чувствует? Все грустит. Никак не утешится после отцовой смерти. Не может забыть, что ты ей ни говори. Умирая, отец сказал ей, что будущее — не вода, и тут же преставился, а уж она по нему слезы просто ручьем льет, на кладбище муравьи вдоль этих ручьев до самого ее лица поднялись.

Анастасия. Она тоскует не только по отцу. Тоскует и по жениху. Пора ей жить своим домом. Вот в Царьграде есть один большой господин, он из наших мест, у него сыновья, можно о них подумать. В его карман наяву попадает столько денег, сколько не снилось всем грекам от Кавалы до Земуна. Младший его сын, к сожалению, не подходит. Я только оттуда, сама видела. Хотя, может, он еще выправится.

Мать. Говори, говори, Анастасия.

Анастасия. Ужасно. Лежит он, этот младший, в Царьграде, за расписной печью, построенной в виде церкви, и мучается. Говорят, дьявол на него помочился, с тех пор он вскакивает среди ночи, убегает из дома и до утра метет метлой улицы по всему городу. Его колдунья сосет, кусает за пятки, и у него из груди течет мужское молоко...

Мать. Сохрани и спаси нас, Господи! И его ты предлагаешь в женихи?

Анастасия. Да нет, он не годится. Но вот старший сын, Гргур, другое дело. Тот давно уже сунул ногу в стремя и взмахнул саблей, закаленной в огне горящего верблюжьего навоза. Этот — золото высшей пробы.

Мать. А-а, знаю, о ком ты говоришь, Анастасия. Да за этим Гргуром не успевают стирать окровавленную одежду.

Анастасия. Но отец Гргура из семьи графа. Что ни говори, а господин Аврам, его отец, большой человек, и чуб у него толстый, как конский хвост.

Мать. Вот этого-то чуба я больше всего и боюсь. Кто он такой, этот господин Аврам? Хоть кто-нибудь это знает? Что он за человек? Как я отдам мою девочку в незнакомый дом? Про них шушукаются от Кавалы до Земуна. И шушукаются, видно, не зря.

Анастасия. Тогда подожди. Не отдавай ее за кого попало. А я тем временем разнюхаю. Только смотри! Калина-то знаешь как размечталась! У тебя мало времени.

КАРТИНА 2-я

Улица с провинциальными особняками в стиле барокко. Придунайский город.

1-й мальчик. Поиграем?

2-й мальчик. Во что?

1-й мальчик. Давай штанами меняться!
2-й мальчик. Давай!

Меняются штанами, точнее огромными белыми шароварами с широченными штанинами.

1-й мальчик. Ну, теперь говори, что ты видишь в моих штанах?
2-й мальчик. Я вижу Царьград.
1-й мальчик. Врешь. Я не видел.
2-й мальчик. А вот я вижу.
1-й мальчик. И что же ты видишь в Царьграде?
2-й мальчик. Вижу господина Аврама Бранковича, как он хромает по улице. *(Передразнивает его, оба смеются.)*
1-й мальчик. Я тоже видел господина Аврама Бранковича, только на самом деле!
2-й мальчик. Ты его правда видел?
1-й мальчик. Конечно. Отец брал меня с собой в Джулу, там я его и видел.
2-й мальчик. И какой он? Действительно может съесть ночь, как о нем рассказывают?
1-й мальчик. Да нет, он еще страшнее. Точно тебе говорю.
2-й мальчик. Как это страшнее?
1-й мальчик. Когда он проходит мимо стада овец или буйволов, скотина начинает шагать на месте.

КАРТИНА 3-я

Царьград. Дом Бранковича. В доме за печкой, сложенной, как маленькая церковь, лежит **Вид**, он стонет. В углу огромная деревянная обезьяна с длинным членом. **Аврам и Аверкие Скила** готовятся к обычным упражнениям на саблях. Кир Аврам снимает с украшенного бесчисленным количеством бубенчиков и стоящего, как стол, посреди комнаты верблюжьего седла длинную уздечку. Один ее конец бросает Аверкие, другой держит в левой руке. Гаснет свет, гореть остается лишь лампада перед иконой. Оба медленно наматывают уздечку себе на руку, постепенно сближаясь, и неожиданно набрасываются друг на друга с саблями. Аврам заметно хромает. При появлении **госпожи Бранкович** они прекращают упражнения, Аверкие зажигает свет и уходит, а кир Аврам, не обращая на женщину внимания, подходит к седлу и начинает писать на нем, как будто это стол; в седле даже укреплен письменный прибор.

Аврам (*кнутом убивает у себя на спине мух*). Сейчас мне нужно побыть одному.
Госпожа Бранкович (*видная, красивая женщина*). Опять хочешь заснуть и увидеть во сне свою сестру? Увидеть ту, которая позволяет тебе собирать с нее груди, как персики с дерева? Посмотри на себя, от этих снов у тебя вся постель мокрая, а сам ты совершенно высох. Кончишь так же, как и наш сын, который лежит за печью!

Уходит. Входит **Анастасия**.

Аврам. Принесла?
Анастасия *(вынимает нож и бутылку розового винного уксуса).* Все здесь. Разбудим его. *(Подходит к постели за печкой и, напевая, будит сына Аврама, Вида.)*
Вид *(просыпается).* Услышана будет молитва того, кто семенем пророс из горькой души!
Анастасия *(обнимает его с известной долей чувственности).* Слушай меня как следует, милый мой! Возьми этот нож. В полночь полей его уксусом из этой бутылки. Когда колдунья придет сосать тебя, пообещай ей дать соли взаймы, если она вернется за ней утром. От такого она не сможет отказаться. А когда она согласится, этой же ночью, когда она будет ползать по тебе и сосать тебя, воткни ей в руку нож, смоченный в уксусе. Вот и все. А теперь спи.

Анастасия и Бранкович уходят. Бьет полночь. Вид поливает нож уксусом и притворяется спящим. Входит **колдунья**, закутанная так, что ее трудно рассмотреть, за ней, с лучиной в руке, **Анастасия**. Колдунья — а это на самом деле госпожа Бранкович, которую невозможно узнать, — смотрит на спящего юношу, и косы у нее на голове приподнимаются, как кобры. Она бросается на грудь юноше, разрывает на нем рубашку и начинает неистово сосать его, он не защищается.

Вид. Приходи утром, я дам тебе взаймы соли!

Колдунья. Приду, сладкий мой, приду, твое молоко как мед медовое, приду, любимый мой, подсолить молоко.

В этот момент Вид ножом, смоченным в уксусе, наносит ей удар в руку; колдунья вскрикивает, Анастасия гасит лучину, и обе выбегают вон.

КАРТИНА 4-я

Входит **Бранкович**. Вид садится в постели за печкой-церковью. Утро. Слышен стук в дверь. Бранкович открывает, на пороге стоит **госпожа Бранкович** во всей своей красоте, но бледная как мел.

Госпожа Бранкович. Я пришла взять взаймы немного соли.

Бранкович протягивает ей соль, а другой рукой хватает ее за руку, видит на ней рану от удара ножом и лижет ее.

Бранкович *(обращается к Виду за печку).* Твоя мать пришла взять взаймы соли. А рана ее кислая.

Вид вскакивает. Госпожа Бранкович выбегает, унося с собой соль.

Сыновей не следует делать с женами. Их нужно создавать так, чтобы у них не было матери. И чтобы им не нужно было долго расти. Они должны быть сразу готовы к свадьбе!.. Впрочем, это можно попробовать.

КАРТИНА 5-я

Кабинет **австрийского лейтенанта**, который говорит по-сербски с немецким акцентом. **Анастасия** сидит перед ним, развалившись на канапе.

Анастасия. Вот так в Царьграде госпожа София Бранкович была ранена ножом. Ее сын ранил, господин лейтенант! Собственный сын!

Лейтенант. Это вы говорите, а нас интересует кое-что другое. Но в любом случае благодарю вас за интересное сообщение. *(Достает из стола кошелек с монетами, долго перебирает их и наконец протягивает ей серебряную. Она придвигается к нему грудью в платье с глубоким декольте, и он, несколько удивленный, опускает туда монету. Она хихикает от щекотки. Заметно, что он довольно женственен.)*

Анастасия. А теперь мне нужно кое-что от вас, господин лейтенант. И вы получите от меня за это серебряную монету. *(Придвигается к нему своим декольте, и он вынимает оттуда двумя пальцами ту же самую серебряную монету.)*

Лейтенант. Вы удивляете меня, gnädiges Fräulein[1]. Что бы вы хотели узнать? *(Сует серебряную монету в карман.)*

Анастасия. Мы хотим выдать замуж в дом Бранковича прекрасную девушку из нашей семьи.

Лейтенант. Прекрасно, я желаю счастья юной Fräulein ... Калина? Nicht wahr?[2] Ее, мне кажется, зовут Калина?

Анастасия. Вам все известно, господин лейтенант, и я прошу вас, расскажите, что можете, о том, кто такой кир Бранкович. Кто он такой на самом деле? Или, еще лучше, что он из себя представляет? Чем занимается отец жениха?

Лейтенант *(торжественным тоном и с сильным акцентом и ошибками декламирует сербскую народную песню, явно гордясь тем, что знает ее наизусть).*

Вот как люди говорят,
Старый князь во храм идет - -

[1] **Сударыня** (*нем.*).
[2] **Не правда ли?** (*нем.*).

Борода что серебро.
А из храма-то идет —
Душа — чисто золото...

Анастасия. Я не об этом вас спрашивала, господин лейтенант. Это мне любой нищий возле церкви расскажет. Скажите, чем на самом деле занимается кир Аврам?

Лейтенант. Это не ваше дело, это дело венского двора. Я вам могу сказать только то же, что говорит о кире Авраме народ. Это я вам со спокойной совестью могу сказать. Но возможно, вы это и сами знаете? Он меняет жен, но всегда хранит верность одной любовнице.

Анастасия. Господин лейтенант, о любовнице кира Аврама я знаю больше, чем вы. Давайте перейдем к делу.

Лейтенант *(нагнувшись к ней, доверительно рассказывает).* Кир Аврам человек не простой! Еще в молодости он как-то сорок дней не умывался, потом наступил чёрту в ужин и стал тем, кем он стал. Он колдун!

Анастасия *(вздрагивает от неожиданности).* Колдун! Вот, значит, кто такой кир Аврам! Тело спит, а дух парит, как стая голубей, гонит облака, приносит и уносит град! А на каждом плече по плети волос...

Лейтенант. Это мне неизвестно, но я знаю, что он принадлежит к колдунам второго ордена и что в небесном бою победил Мустай бег Сабляка из третьего ордена колдунов. При этом был ранен в ногу, и ему пришлось добыть себе вороного коня, султана всех коней, который ржет во сне и тоже слывет колдуном. В небесных сражениях он охраняет наш скот, молоко и хлеба, проносясь над ними верхом на душе своего коня, превращенной в соломинку... Говорят также, что в Царьграде он исповедовался и признался, что он колдун.

Анастасия. И после этого перестал быть колдуном?

Лейтенант. Совершенно верно.

Анастасия. А кто же он теперь?

Лейтенант. Сейчас его стерегут, как бы он во сне не повернулся головой туда, где ноги, потому что тогда он уже никогда не проснется.

Анастасия *(весело).* Значит, так обстоят дела с киром Аврамом! Он из тех, кого хоронят лицом вниз. Но как бы то ни было, это не так страшно, как я думала. И, наверное, не передается по наследству. *(Быстро уходит.)*

Лейтенант *(смотрит ей вслед).* Баба без жопы, что село без церкви.

КАРТИНА 6-я

Царьград. **Бранкович** в своей рабочей комнате. Его со всех сторон окружают книги и винтовые лесенки, ведущие к верхним полкам библиотеки. Он лепит из глины маленькую фигурку человека, прыскает на нее водой изо рта, чтобы она не засохла. Вдруг Бранкович прерывает работу и берет старую толстую книгу. Листает ее и, найдя нужное место, читает. Перед ним стоит роскошный горшок, синий с золотом.

Бранкович. «Если во время работы из горшка вырвется красный огонь, опыт не удался. Если же полыхнет синий огонь, это знак того, что опыт оказался успешным...» *(Закрывает книгу, кладет глиняную фигурку в горшок и произносит сороковой[1] псалом, чтобы вдохнуть в нее жизнь.)* «Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои...»

Из часовни, пристроенной к библиотеке, раздается три удара колокола. Аврам палкой разбивает горшок вдребезги. При этом вспыхивает синий огонь. Появляется сделанный из глины **Петкутин**. Он стремительно увеличивается в размерах и, превращаясь в волшебно красивого молодого человека, говорит как во сне.

Петкутин. С первым ударом колокола я был в Индии. Со вторым — в Лейпциге, а с третьим снова вошел в свое тело. *(Во весь рост становится перед Авраамом, который заплетает ему чуб и втыкает в него ложку из боярышника.)* Как меня зовут?

[1] По русской православной традиции это псалом 39 (*прим. ред.*).

Бранкович. Зовут тебя Петкутин. (*Одевает Петкутина в роскошные одежды.*) Ты должен жить быстро, каждый день проживать все четыре времени года, потому что тебе надо догнать своих ровесников. От этого у тебя появятся мозоли на мыслях, мышцы памяти напрягутся до предела, но ты должен быстро стать настоящим молодым благородным господином. (*Целует его в лоб, отталкивает от себя, чтобы посмотреть, как он выглядит. Петкутин уже полностью одет и в роскошном наряде стиля барокко, с широкими рукавами, выглядит великолепно.*) А мы тебе и жену найдем.

Петкутин. Что такое жена?

Аврам. Слишком много вопросов... Возьми эту книгу. Это написал Пифагор. А вторая книга, которую я читал в то время, пока вызывал тебя из небытия, — это Библия. Возьми обе и читай, одним глазом — одну, вторым — другую. И когда ты найдешь у Пифагора места, которые он взял из Библии, узнаешь, что такое жена.

Петкутин раскрывает обе книги и читает их одновременно, а Бранкович надевает себе на шею петлю и входит в часовню, которая видна в глубине соседней комнаты, освещенная большим количеством свечей. Молится.

КАРТИНА 7-я

Дом Калины.

Анастасия (*входя в дом и обращаясь к матери Калины*). Есть много новостей — и хороших, и плохих. Как соль и перец! Сначала плохие или сперва хорошие?

Мать. Сначала перец.

Анастасия. Младший сын кира Аврама Бранковича, Вид, преставился на день Святого Кирияка в этом году. Его уже похоронили. Второй сын, тот, что привык махать саблей, опять отправился на войну. И опять в Царьград присылают его окровавленную одежду.

Мать. А теперь хорошие новости.

Анастасия. Кир Аврам позавчера прибыл в наш город. С ним вместе и третий сын, может быть приемный, никто не знает, откуда он взялся. Но молодой человек как раз годится в женихи. Красивый и ученый. Подписывается так быстро, будто ловит муху. И благородный: рукава у него такие, что в них могут птицы летать. До сих пор кир Аврам скрывал его, а теперь ищет ему невесту. Поэтому они сюда и приехали. И он, и молодой человек.

Мать. Как его зовут?

Калина (*до этого момента она молчала*). Его зовут Петкутин, и я его уже видела.

Мать. Господь с тобой, да где ж ты его видела?

Калина. У нас в саду. Он очень красивый и ждет там, чтобы мы его приняли. Его привела тетя Анастасия.

Петкутин стучит металлическим кольцом в дверь и входит. Он в сверкающей одежде, с двумя шапками, желтой и синей, одна из которых у него на голове, а другая заткнута за пояс. Петкутин и Калина стоят друг перед другом как заколдованные. Петкутин чихает.

Мать. Будьте здоровы!

Петкутин (*низко кланяется*). В вашем саду, госпожа, у меня началась сенная лихорадка, слишком сильно пахнут ваши цветы. Я к такому не привык.

Калина (*подает ему с полки небольшой горшочек с медом*). Возьмите немного меда и намажьте нос. Это помогает. (*Сама мажет ему изнутри ноздри.*) Вот так! Сейчас вам лучше, господин?

Анастасия и мать стоят пораженные.

Петкутин. Гораздо лучше. (*Опять чихает.*)

КАРТИНА 8-я

Мать и папас Элеазар в доме папаса Элеазара.

Мать. Заклинаю вас, папас Элеазар, вы были другом моего покойного мужа, вы все знаете, вы можете дать мне совет вместо него. Помогите!

Элеазар. Советы вредны как тем, кто их дает, так и тем, кому они даются.

Мать. Ради близких отношений между нашими семьями помогите мне! К нашей Калине сватаются.

Элеазар. Кто?

Мать. Третий сын кира Аврама Бранковича.

Элеазар (*немного помолчав*). Петкутин?

Мать. Петкутин. Но в этом есть что-то, что от нас скрывают. Какая-то страшная тайна. И я не могу разгадать, в чем дело.

Элеазар. Не стоит слишком тревожиться, госпожа, тайны, как и мы, тоже стареют... Но вам я скажу. У Петкутина нет матери. Кир Аврам сделал его из глины и вдохнул в него жизнь, прочитав над ним сороковой псалом.

Мать. Какой ужас! И что же это за существо?

Элеазар. Кир Аврам постарался, чтобы Петкутин во всем был подобен человеку. Он вдохнул в него многие знания, разные достоинства и красоту. Но для того, чтобы все было как у живых, отец вдохнул Петкутину в грудь и забвение рождения, так что сейчас Петкутин уже не помнит, кто он такой, не знает, что сделан из глины и что у него нет матери. Вдохнул он в него и болезнь, которая приведет его к смерти, как это бывает и с нами, опять же для того, чтобы все у него было как у нас, живых. У Петкутина эта болезнь выглядит неопасной и легкой.

Мать. Ради всех святых, что же это?

Элеазар. Сенная лихорадка.

Мать. Вот почему он чихает, когда рядом цветы! Но зачем все это, папас Элеазар, скажите мне, заклинаю вас! Что все это значит?

Элеазар. Это генная инженерия.

Мать. Как вы сказали?!

Элеазар. Это постижение великой тайны, приближение к заветной цели. Теперь мы уже знаем, из чего человек сделан, но нам неизвестны детали, поэтому мы не можем сложить мозаику жизни. Мы хотим узнать, из чего сделана живая клетка, а потом искусственным образом воссоздать ее. Пока что мы исследовали лишь верх того айсберга, который называется жизнью. Большие надежды мы возлагаем на изучение наследственного шифра и прочтение кода жизни.

Мать. Папас Элеазар, я ничего не понимаю! О чем это вы говорите?

Элеазар. О секвенцировании генома человека. До сих пор это не удалось никому, кроме Бога. Если окажется, что опыт кира Аврама с Петкутином был успешным, мы будем знать, что структура генома человека это 3+1+3!

Мать. Да раз у нас уже есть жизнь, данная Богом, к чему нам эта другая жизнь, без матери? Чему это служит?

Элеазар. Тогда можно будет создать модели идеальной жизни для разных человеческих болезней, можно будет лечить генами. Любой ген можно будет пересадить в любое растение или животное, даже в воду, и создать все что угодно.

Мать. А что же угодно?

Элеазар. Мы хотели бы преодолеть многие заблуждения, изменить моральные понятия, взгляд на жизнь. Нам придется осознать, что во Вселенной мы одни, и этим мы можем воспользоваться себе во благо или во вред. Нам придется договориться о том, каким путем человечество пойдет дальше. Вероятно, мы приблизимся к пониманию жизни вообще, в универсуме... Иначе говоря, мы ищем прачеловека, Адама, душа и тело которого огромны, как континент, как целая держава, составленная из всех снов, снившихся людям, начиная от первых мужчины и женщины и до сегодняшнего дня. Через него мы надеемся вернуть себе то положение, которое мы занимали до грехопадения и изгнания из Рая, когда Адам еще поднимался по лестнице небесных сил.

Мать (*пригорюнившись*). Знаю, читала «Хазарский словарь». А мне-то что делать с моим ребенком?

Элеазар. Мы никогда не решаем, что будет с нашими детьми.

КАРТИНА 9-я

Мост, на мосту скамейка, под мостом качели. Все залито лунным светом, на небе сияет прекрасный месяц.

Калина (*прибегает, запыхавшись, и целует Петкутина, который ждет ее*). Мать задержала. Пришлось ждать, когда она уйдет. Сейчас она у старого друга моего отца, папаса Элеазара, я воспользовалась этим и улизнула. Но мне надо вернуться, пока она не пришла. Ты долго ждал?

Петкутин. Где-то далеко, на берегах южного моря, где звезды особенно далеки от своего отражения, путешественники с одного корабля съели огромную черепаху. Через пятьсот лет на том же берегу ее панцирь нашел моряк и спрятался в нем на ночь. Утром, выспавшийся и веселый, он просунул в отверстия панциря руки, ноги и голову и, играя сам с собой, погрузился в море. Спустя половину тысячелетия панцирь черепахи опять отзывался на удары сердца и опять мог плавать. Так и твое сердце отзывается во мне.

Калина. Не говори так. Меня в дрожь бросает от этих слов.

Петкутин закутывает Калину в свой плащ, подбитый мехом.

Откуда берется любовь, Петкутин? Откуда берется это сильнейшее чувство, радость и скрытая сила, что переливается из меня в тебя и из тебя в меня? Откуда все это берется в жизни человека?

Петкутин. Человек живет во времени. Но иногда в его жизнь вторгается вечность и прерывает бег времени. И человек называет это свершением или зачатием, это те моменты, когда человек служит вечности.

Калина. Но эта вечность постоянно меняется. Посмотри на нас, это началось так мягко и нежно, а теперь становится все сильнее и безумнее...

Петкутин. Потом достигает высшей точки и постепенно удаляется от нас, потому что вечность опять исторгает нас в наше бедное время. Это похоже на изгнание из Рая.

Любовная сцена. Калина садится на качели, Петкутин подходит к ней и начинает медленно раскачивать качели; ее ноги видны по обе стороны его фигуры. Достигнув высшей точки, он снимает ее с качелей и носит, все еще совокупленный с ней, как в ослеплении. В этот момент серп месяца проходит под мостом. Успокоившись, садятся на скамейку. Они действительно похожи на изгнанных из Рая.

На этих качелях ты настолько хотела, чтобы я был кем-то другим, что этим желанием даже превратила меня в кого-то другого в тот миг, когда я источал семя и не мог защищаться. Эти несколько мгновений я правда был кем-то другим. Скажи мне, кем я был?

Калина. Ты был человеком.

Петкутин. Как это отвратительно — быть кем-то другим. А ты в это время была не другой, а той, которую я люблю и которая любит меня. Напротив, ты была самой собой. (*Чешет колено.*)

Калина. Как бы ты хотел, чтобы мы себя чувствовали после изгнания из Рая? После страстных объятий ты чешешься! Неужели не можешь потерпеть?

Петкутин (*смущенно*). Нет, и колено у меня часто чешется.

Калина. Надеюсь, ты знаешь, что значит, когда чешется колено?

Петкутин. Понятия не имею.

Калина. Это потому, что ты мало читаешь.

Петкутин. Что́ я мало читаю?

Калина. То, что твои ногти вьщарапывают на колене, когда ты его чешешь. Через этот зуд тебе подает знаки твоя смерть. Когда ты чешешься, ты как будто вступаешь в переписку со смертью.

Петкутин чихает, и у него сразу же начинает чесаться колено. Чешется.

Вот видишь, твоя смерть ревнует даже к твоему насморку! Поглядим-ка. (*Заворачивает край кафтана Петкутина и читает медленно, по слогам, что записано его ногтями на колене.*) «Un bonheur formidable (egalement comme male fortune) nous font vieillir avant la date». Смотри-ка, она тебе по-французски пишет! Здесь написано: «От огромного счастья, так же как и несчастья, мы слишком рано стареем!»

Петкутин. Вот, она открыла нам одну из тайн.

Калина. Черта с два она нам открыла тайну! Все это я сама выдумала, чтобы тебя утешить.

Петкутин (*прикрывает колено кафтаном*). Зато я тебе сейчас открою одну настоящую тайну. Одну страшную тайну, которая не выдумана, как твоя.

Калина. А чья это тайна?

Петкутин. Моя. Моя и моего отца. Если он мне отец.

Калина. Ты не откроешь мне тайны. Страшной тайны о себе и о своем отце.

Петкутин. Разве ты не хочешь ее узнать? Почему?

Калина. Потому что эту страшную тайну о себе ты не знаешь. Никто не знает страшной тайны о себе и не может открыть ее другому.

Петкутин. Но я о ней догадываюсь.

Калина. Конечно, догадываешься, но знать ты ее не знаешь. Ты не можешь знать о себе даже то, что я о тебе знаю. Например, я вижу, как у тебя время от времени изменяется цвет волос, но ты сам этого не замечаешь. Это вижу я, но не ты. Впрочем, и я могла бы кое-что рассказать тебе о себе. Могла бы, к примеру, рассказать следующее: «Мой дом — тишина, моя пища — молчание. Я сижу в своем имени, как гребец в лодке. Не могу заснуть, так тебя ненавижу. Потому что у меня есть смерть, а у тебя ее нет!» ...Но я молчу и ничего тебе не говорю... Потому что я люблю и буду любить тебя вечность и еще один день.

Петкутин. Тогда я расскажу тебе кое-что другое, не тайну. Мы с моим отцом придем к тебе свататься.

КАРТИНА 10-я

Дом Калины. **Калина** одна. Она играет на своем инструменте viola da gamba. Резко обрывая музыку, обнимает инструмент и сжимает его коленями.

Калина. Милый мой, милый мой! Как бы я хотела, как бы я сильно хотела... Хотела бы я или не хотела? Хочу я тебя или не хочу? На что я тебе? На что ты мне? (*Берет губную помаду и красит отверстия ушных раковин.*)

Лейтенант (*заглядывает в дверь, потом заходит в комнату, напевая с немецким акцентом*).

Как за лесом за зеленым
Добры кони разыгрались,
В путь-дорогу снаряжались.
Удила все разорвали,
Златы седла поломали,
За Калиной поскакали...

(*Кланяется Калине и вдруг замирает как вкопанный.*) Что это? Ну и запахи у вас по дому разгуливают! Плохой знак! Как же так, барышня, хлопнуть ушами и согласиться на все, что предлагают?

В комнату входят сначала **хозяйки, мать и Анастасия**, которые снаружи дожидались сватов, а за ними празднично разодетые **Аврам Бранкович** и **Петкутин**. Все садятся.

Какой прекрасный случай! Какие дивные гости! Служилому человеку большая честь — оказаться в таком доме с такими людьми... Но суп разливает повар, а счастьем наделяет Бог... (*Внезапно замолкает на полуслове, заметив, что все присутствующие держатся как-то необычно. Повисает странное молчание.*)

Мать (*хочет разрядить напряженность*). Будто ангел пролетел — все замолчали.

Анастасия (*резко прерывает молчание и начинает говорить решительным тоном*). Калина, это последняя возможность сказать обо всем вслух. Не выходи за сына кира Аврама! С ним дело нечисто. Он заколдован. И он не человеческого рода. В понедельник вечером он берет из будущего не следующий день, а тот, который ему больше понравится, и использует его вместо вторника. Когда приходит черед этого использованного дня, он на его месте употребляет пропущенный вторник и таким образом сводит концы с концами. Но имей в виду, при этом швы между днями не всегда плотно прилегают, во времени образуются страшные раны, и они могут поглотить человека живьем... И первую они поглотят тебя!

Калина. Петкутин, это правда?

Петкутин. Впервые такое слышу.

Калина. А раз так, то теперь я вам кое-что скажу, тетя Анастасия. В некотором смысле то, что вы сказали, справедливо. Причем по отношению ко всем нам. Наши дни возникают таким образом, что наш первый день подобен яйцу, из которого вылупится цыпленок, он вынашивает, питает и, наконец, производит на свет тридцатый день нашей жизни. Второй день нашей жизни зачинает и вынашивает следующий, тридцать первый день, и так далее, до тех пор, пока из одного яйца не вылупится мертвый цыпленок...

Анастасия. Оставь свои сказки, Калина, я говорю о твоей судьбе, о твоем будущем, а ты меня спрашиваешь, какой сегодня день.

Калина. Тетя Анастасия, какой сегодня день в Стара Пазове?

Анастасия. Четверг, и это значит, что в Нова Пазове сегодня пятница, базарный день. Можно и так разговаривать, но ты погляди, вот стоит человек, который к тебе сватается, и речь идет о тебе и о нем.

Калина. Я знаю, тетя Анастасия, что вы любите сосать молоденьких мальчиков. И за кого вы боитесь — за меня или за Петкутина?

Мать. Калина, заклинаю тебя, хватит шутить! Папас Элеазар, старый друг твоего отца, рассказал мне все. Петкутин сделан из глины! Он вовсе не живое существо, как все мы!

Петкутин. Отец, это правда?

Аврам. Правда — это всего лишь трюк.

Мать. А где тогда его мать? Что это за человек, у которого нет матери?

Калина. Не бойся, матушка, у меня есть мать для двоих. Не бойся, скорее я причиню зло Петкутину, чем он мне.

Мать. Дочка, смотри, ты играешь своей жизнью. И жизнью твоих детей. Что у вас будут за дети?

Калина. Ты тоже не знала, что у тебя будет за дочь. И поэтому послушайте, что я скажу, слушайте и вы, тетя Анастасия. Слушайте меня. Кир Аврам так хорошо сделал Петкутина из глины, что обманул всех.

Петкутин вскрикивает, лейтенант хватается за оружие и медленно приближается к Петкутину, сжимая в руке саблю.

Вы только вспомните, ведь вы принимали здесь Петкутина как ближайшего родственника, в этом самом доме! Он и меня обманул. Я влюбилась в него. Безумно. Я и сейчас влюблена в него, кем бы или чем бы он ни был. Так что он обманул живых.

Лейтенант приближается к Петкутину почти вплотную, но вместо того, чтобы предпринять что-нибудь боевое, обнюхивает его и, влюбленно глядя на него, мечтательно произносит.

Лейтенант. Людей легко обмануть... (*Очнувшись от мечтательности.*) Люди легковерны.

Калина. Да, люди легковерны, и киру Аврамy кажется недостаточным проверить Петкутина на живых людях. Он хочет проверить его еще раз. Хочет неопровержимо установить, действительно ли плод его трудов, его сын или не знаю как его назвать, короче говоря, Петкутин настолько похож на человеческое существо, что может обмануть и мертвых.

Мать. Теперь я понимаю, Калина, почему ты внушала мне страх еще тогда, когда кормила тебя грудью! После беседы с тобой, девочка моя, хочется хорошенько умыться. Как это ты себе представляешь, оборони Господь, «обмануть мертвых»? С каких это пор мертвых можно обманывать?

Калина. Когда мы после свадьбы поедем туда, куда обычно у нас все ездят, — в древний театр с каменными скамьями, у Петкутина будет возможность встретиться с мертвыми. И только тогда станет ясно, вполне ли удался опыт кира Аврама Бранковича с Петкутином. И только тогда я узнаю, действительно ли мой муж такой же, как и все остальные человеческие существа. Человек мой муж или нет.

Петкутин. Отец, о чем это Калина говорит?

Аврам. Откуда ты все это знаешь, дочка?

Калина. Любовь видит все. И все знает.

Мать. Надеюсь, ты не поедешь туда вместе с ним? Подумай только о том, как мало ты прожила, подумай о том, что все будет кончено. Если там с тобой что-то случится, ты погибла навсегда. От тебя только душа останется. А Петкутина отец может когда угодно снова вылепить из глины!

Аврам. Разумеется, могу. Это может каждый, кто умеет. Но не умеет каждый, кто может.

Мать. Вот видишь, Калина!

Калина. Мама, ты знаешь, что будущее — не вода.

Бранкович (*Калине*). Станешь ли ты, дочка, моей снохой?

Калина. Я стану самой большой ошибкой вашей жизни, кир Аврам.

Мать. Петкутин, заклинаю вас, скажите что-нибудь, вы все знаете, все вам ясно, неужели вы хотите погубить Калину? Неужели вы не можете пожалеть ее и избавить от этого страшного дня? Есть ли у вас душа?

Анастасия. Нету!

Петкутин (*берет Калину за руку и обращается к ней*). Под небесным экватором растет огромный ядовитый гриб, а на его шляпке прекрасные на вкус маленькие съедобные грибы, которые превращают его отравленную кровь в настоящее лакомство. Живущие в этих краях олени подкрепляют свою мужскую силу тем, что время от времени едят эти грибы, растущие на шляпке. Тот, кто увлечется и вгрызется зубами слишком глубоко, может откусить вместе с грибом ядовитый кусок шляпки и умереть, отравившись. Каждый вечер, целуя тебя, я думаю: не будет ничего странного, если однажды я вгрызусь слишком глубоко...

Лейтенант (*обрадованно*).

Погляди-ка, молодец,
Мил ты здесь или не мил,
Ну, а коли ты не мил,
На коня — и след простыл...

Итак, уважаемые дамы, меня призывают мои обязанности. Состоится ли обручение?

Петкутин. Это решит Калина.

Калина медленно поднимает юбку, обнажая ногу, снимает туфлю и протягивает Петкутину свою ступню. Он достает из-за обшлага рукава крупный сверкающий перстень. Этот перстень Петкутин надевает Калине на палец ноги, и таким образом совершается обручение. Мать Калины вскрикивает.

КАРТИНА 11-я

Свадьба Петкутина и Калины представлена балетной сценой или пантомимой. Все происходит точно по правилам и обычаям сербов, которые до сих пор соблюдают в народе. Смотри также «Словарь» Вука Стефановича Караджича и этнографические словари.

КАРТИНА 12-я

Полуразрушенный античный театр, заросший травой и кустами. На сиденьях все еще видны выбитые на них имена давних зрителей. Входят **Петкутин** и **Калина**. Акустика усилена.

Калина . Ужасно хочу есть. Приготовим что-нибудь?

Петкутин. Здесь для костра ничего нет, кроме буйволовых лепешек. (*Собирает сухие лепешки в кучку.*)

Калина. Грибы будут вонять.

Петкутин. Не будут, нужно просто посолить костер (*вынимает из кармана соль и солит костер*), а грибы мы промоем в вине (*моет грибы*).

Калина (*пока Петкутин занят костром и жаркой грибов и кровяных колбасок, пока он сидит на одном из каменных сидений и присматривает за приготовлением еды, выходит на середину сцены и говорит торжественным голосом).* Заснув вечером, мы превращаемся в актеров и всегда переходим на другую сцену, чтобы сыграть свою роль. А днем? Днем, наяву, мы ее разучиваем. Иногда случается так, что мы не сумели ее выучить, и тогда нам не следует появляться на сцене и прятаться за другими актерами, которые лучше нас знают свой текст и свои жесты... А ты, ты приходишь в зрительный зал для того, чтобы смотреть наше представление, а не для того, чтобы в нем играть. Пусть твой взгляд остановится на мне в тот раз, когда я буду хорошо готова к своей роли, потому что никто не бывает и мудрым, и красивым все семь дней в неделю.

Петкутин чихает, и все сто двадцать мест древнего амфитеатра отзываются ему стодвадцатиголосым эхом.

(*Аплодирует.*) Браво!

Оба смеются и обнимаются. Он целует ее, и сто двадцать мертвых зрителей целуются тоже, и эхо этих поцелуев звучит громче, чем звук их поцелуя.

Петкутин (*оглядывается по сторонам*). С ними шутки плохи. Следят за каждым нашим движением. Я здесь чувствую себя очень одиноким, как будто я трава, или зверь, или просто вода; люди меня пугают. И живые, и мертвые. Только ты, Калина, связываешь меня с человеческим родом. Неужели растения, животные и воды не заслуживают лучшей судьбы на Земле, чем та, которую готовите им вы, люди? Они вас боятся так же, как и я. Как бы мне хотелось посмотреть на этой сцене рождественское представление, помнишь, оно называется «Вертеп». Ты ведь знаешь его, там еще есть ягненок, яблоко и река?

Калина ставит готовую еду на большой четырехугольный плоский камень в центре сцены, а Петкутин читает вслух имена зрителей, выбитые на каменных сиденьях.

Caius Veronius Aet... Sextus Clodius Cai filius... Publila... tribu... Sorto Servilio... Veturio Aeia...

Калина. Не призывай мертвых! Не призывай их, придут! Их жажде две тысячи лет! Тсс!

Все мертвые в зрительном зале отзываются эхом: «Тсс!»

Они жаждут нашей теплой крови. Лучше ты им что-нибудь подари. Подай им денег, чтобы от них откупиться и задобрить их.

Петкутин высыпает из-за обшлага рукава на каменный стол пять мелких монеток.

Петкутин (*считает монеты*). Одна, две, три, четыре, пять!.. Сейчас порежу, и можно приступать к еде.

Петкутин достает из ножен нож и в тот момент, когда он хочет отрезать кусок, чихает и нечаянно задевает лезвием ножа свой палец. Его кровь попадает в огонь, раздается шипение.

Калина (*вскрикивает*). Ты порезался!

В этот момент сто двадцать мертвых душ с визгом и урчанием обрушиваются на них из зрительного зала. Петкутин хватается за меч, чтобы защитить Калину, но они быстры, как боль, и разрывают Калину прямо у него на глазах, раздирая на куски ее тело до тех пор, пока ее крики не становятся такими же, как крики окружающих их мертвецов, и тогда она сама присоединяется к пожиранию оставшихся кусков собственного тела. После этого наступает тишина. Петкутин, совершенно растерянный, блуждает по сцене. Проходит довольно много времени, пока кто-то невидимый не поднимает красный плащ Калины с земли и не накидывает его себе на плечи. Пустой плащ подходит к Петкутину и окликает его голосом Калины.

Тень Калины. Подойди ко мне!

Петкутин (*обрадованный, что узнал ее голос, обнимает ее, но на дне голоса не видит ничего, кроме пурпурной подкладки плаща*). Мне кажется, что тысячу лет назад здесь произошло ужасное несчастье. Кого-то здесь разорвали на куски и сожрали, и кровь все еще видна на земле. Я не знаю, правда ли, что это было, а если было, то когда? И кого съели? Меня или тебя?

Тень Калины (*невидимая в красном плаще*). Не бойся! С тобой ничего не случилось, растерзали не тебя. И было это совсем недавно, а не тысячу лет назад.

Петкутин. Но я тебя не вижу, Калина, кто же из нас двоих мертв?

Тень Калины. Ты не видишь меня, юноша, потому что живые не могут видеть мертвых. Ты можешь лишь слышать мой голос. А я не знаю, кто ты такой, и не могу тебя узнать, пока не попробую каплю твоей крови. Но я тебя вижу, успокойся, я прекрасно тебя вижу. И знаю, что ты жив.

Петкутин. Калина, это же я, твой муж, твой Петкутин, который тебя любит, неужели ты меня не узнаешь? Совсем недавно, если это действительно было совсем недавно, ты целовала меня.

Тень Калины. Какая разница, совсем недавно или тысячу лет назад, теперь, когда все так, как оно сейчас?

В ответ на эти слова Петкутин вытаскивает нож, подносит палец к тому месту, где, как он думает, находятся невидимые губы его жены, и сильным движением делает на пальце надрез. Кровь бьет струей, но она не успевает пролиться на камень, разогретый солнцем, потому что Калина перехватывает ее губами. Узнав Петкутина, она вскрикивает.

Это ты, любовь моя, Петкутин! *(Разрывает Петкутина на куски, как падаль, жадно слизывая его кровь, а из зрительного зала к ним устремляются тени мертвых.)*

Десерт

ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

Действующие лица:

Продавец
Мальчик
Курица
Петкутин
Калина

Действие происходит в начале XX века. Идиллическая улица, газовый фонарь, падает снег. Крохотные магазинчики, в которых зажигают свет. В одном из окон вместо занавесок длинные женские кружевные панталоны. В углу сцены видно внутреннее помещение магазина музыкальных инструментов. За столом сидят **продавец и мальчик**. Мальчик медленно читает вслух Библию, которая лежит на столе перед ним. В углу, на шапке, сидит курица, она готовится снести яйцо. Все выглядит очень слащаво, это почти кич. Появляется **Петкутин** в костюме начала XX века, но у него два берета, синий на голове, желтый заткнут за пояс.

Мальчик *(читает по Библии)*. «Двадцать. Еще сказал: чему уподоблю Царствие Божие? Двадцать один. Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Двадцать два...»[1]

Продавец *(с венгерским акцентом)*. Хорошо, хватит. Теперь почитай из псалмов. Помнишь, где ты остановился в прошлый раз?

Мальчик *(перелистывает Библию, находит и читает сороковой псалом)*. «Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота; и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои...»

При этих словах снаружи слышатся три удара церковного колокола.

Петкутин *(постучав, входит в магазин)*. С первым ударом я был в Индии, со вторым — в Лейпциге, а с третьим снова вошел в свое тело... (*Обращается к продавцу и мальчику.*) Добрый вечер!

Мальчик. Добрый вечер. (*Во все глаза смотрит на Петкутина.*)

Продавец. Вы не ошиблись дверью? Вход к меховщику рядом. Все время путают. Сюда уже семь дней никто не заходил, кроме как по ошибке.

Петкутин. Не найдется ли у вас маленькой виолончели для молоденькой барышни?.. Но только если это не очень дорого.

Продавец (*не обращая внимания на Петкутина, уводит мальчика за перегородку. Курица в этот момент встает в шапке и кудахчет, давая понять, что снесла яйцо. Продавец осторожно берет из шапки яйцо, что-то записывает на нем и прячет его в ящик комода*). На что вам виолончель? У вас есть граммофоны и радио. А виолончель, да знаете ли вы, что такое виолончель? Отсюда и до Дуная все вспахать, засеять и сжать, и так каждый год. Вот сколько нужно обрабатывать маленькую виолончель этим орудием. (*Показывает ему смычок, засунутый за пояс, как сабля.*) Кому это нужно? Купите что-нибудь другое, купите ей велосипед или собаку... Ступайте, сударь, поищите другого

[1] Евангелие от Луки, 13, 20—21.

счастья для вашей девочки. Это счастье для нее было бы слишком трудным. Да и запоздалым... Сколько ей лет? (*Исчезает за занавеской, чтобы переодеться для выхода из дома.*)

Петкутин *(смущенно)*. Пятнадцать.

Продавец (*вздрагивает, услышав эту цифру. Выходит и выбирает одну виолончель*). Возьмите эту. Дерево старее нас с вами, вместе взятых. И лак хороший... Впрочем, послушайте! (*Проводит пальцем по струнам.*) Слышите? В каждой струне звук всех остальных. Но для того, чтобы это услышать, нужно одновременно слушать четыре разные вещи, а мы для этого слишком ленивы... Слышите? Или не слышите?.. Четыреста пятьдесят тысяч...

Петкутин *(радостно)*. Беру!

Продавец. Как это — берете? Э-э, сударь, разве так покупают музыкальный инструмент? Неужели вы не испробуете?

Петкутин ищет взглядом что-нибудь, кроме шапки, на что можно сесть.

Не знаете, как без стула? Утка на воде сидит, а вы и на суше не найдете, куда присесть? Не знаете? (*Выдвигает один из ящиков и садится на его угол.*) Вот так! (*Встает и протягивает Петкутину инструмент.*)

Петкутин берет его, садится на угол ящика и прекрасно исполняет отрывок из де Фальи.

Завернуть?

Петкутин. Да. *(Берется за бумажник.)*

Продавец. Прошу, пятьсот тысяч.

Петкутин *(остолбенев)*. Вы же сказали четыреста пятьдесят?

Продавец. Я именно так и сказал. Но это за виолончель. Остальное — за смычок. Или вы смычок не берете? Смычок вам не нужен? А я думал, музыки без смычка не бывает... (*Вытаскивает смычок из свертка с инструментом и возвращает его в витрину.*)

Петкутин (*как бы очнувшись от сна*). Я просто забыл о смычке. И у меня нет денег на смычок. А виолончель без смычка... Сами понимаете...

Продавец *(надевая сюртук)*. Сударь, у меня нет времени ждать, пока вы заработаете на смычок. Тем более что вам это не удалось до сих пор. Лучше подождите вы, а не я. (*Открывает входную дверь, останавливается.*) Но мы можем договориться. Возьмете смычок в рассрочку?

Петкутин. Вы шутите? *(Хочет выйти из магазина.)*

Продавец. Нет, не шучу. Я вам предлагаю серьезную сделку. Можете не соглашаться, но сначала выслушайте!

Петкутин. Послушаем.

Продавец. Вместе со смычком вы покупаете у меня яйцо...

Петкутин. Яйцо?

Продавец. Да, вы только что видели яйцо, которое снесла моя курица. О нем я и говорю. (*Достает из ящика яйцо.*) Вы даете мне за него столько же, сколько и за смычок, срок выплаты два года.

Петкутин. Как вы сказали? Может быть, ваша курица несет золотые яйца?

Продавец. Моя курица не несет золотых яиц, но она несет кое-что такое, что ни вы, сударь мой, ни я снести не можем. Каждое утро она сносит то пятницу, то вторник. Вот это, сегодняшнее яйцо содержит в себе вместо желтка четверг. В завтрашнем будет заключена среда. Из него вместо цыпленка вылупится один день жизни его хозяина.

Петкутин. Какая жизнь!

Продавец. Так что яйца содержат в себе не золото, а время. И я совсем недорого прошу. В этом яйце, сударь, содержится один день вашей жизни. Он заключен там, как цыпленок, и только от вас зависит, вылупится он или нет.

Петкутин. Даже если бы я и поверил вашему рассказу, к чему мне покупать день, который и без того принадлежит мне?

Продавец. Неужели, сударь, вы не умеете думать? Я вижу, вы не умеете думать! Вы что, ушами думаете? Да ведь все наши проблемы на этом свете происходят оттого, что мы не можем перескочить через самые плохие дни. В этом все дело! Имея в кармане мое яйцо, вы застрахованы от любой неприятности. Когда вы почувствуете, что наступает черный день, вы просто-напросто разобьете яйцо и избежите всех бед. Правда, под конец у вас останется мень-

ше одним днем жизни, но зато вы сможете сделать из плохого дня отличную яичницу.

Петкутин. Но если ваше яйцо действительно обладает такой ценностью, почему вы не оставите его себе?

Продавец. Вы шутите? Как вы думаете, сколько у меня уже набралось яиц от этой курицы? Как вы думаете, сколько дней своей жизни может разбить человек, чтобы быть счастливым? Тысячу? Две тысячи? Пять тысяч? У меня сколько угодно яиц, но не дней. Кроме того, как и у любых других яиц, у этих тоже есть срок годности. Через некоторое время они станут тухлыми и ни на что не годными. Поэтому, сударь мой, я и стараюсь продать их, пока не кончился срок. А вам-то что думать? Пишите расписку, и дело в шляпе! *(Корябает что-то на клочке бумаги.)*

Петкутин. Знаете что, лично мне ваше яйцо не нужно. Но скажите, оно может избавить целый народ от самого черного дня?

Продавец. Разумеется, может, просто нужно разбить яйцо с тупого конца. Но в таком случае вы теряете возможность сами воспользоваться им. (*Протягивает Петкутину записку, тот подписывает на колене. Продавец упаковывает виолончель вместе со смычком, заворачивает яйцо, и оба выходят на заснеженную улицу. Выходя, продавец еще раз задерживает Петкутина, попросив его придержать дверь, пока он ее закрывает на замок. Потом, не говоря ни слова, направляется в свою сторону и только на углу оборачивается и добавляет.*) Имейте в виду, дата, написанная карандашом на яйце, — срок годности!

Петкутин. Это совсем не важно. День, который я хочу изъять, вообще не из будущего. Он в прошлом. Причем очень давнем. Надеюсь, ваше яйцо, которое я купил в рассрочку, действует и назад, в прошлое?

Продавец (*заинтересованный, возвращается*). Об этом меня не спрашивал еще ни один покупатель. Вы что, хотите стереть и изъять тем самым из времени какой-то плохой день своего прошлого?

Петкутин. Да, я имел в виду именно это. Был у меня один такой день, от которого я хотел бы избавиться.

Продавец. Интересно... Конечно, с помощью яйца можно и это сделать, но люди обычно больше боятся будущего, чем прошлого.

Петкутин. Вот видите, а я наоборот. Если бы можно было убрать из прошлого тот день, то одна особа, которую я очень любил и люблю до сих пор, осталась бы жива. Та самая, для которой я купил виолончель.

Продавец. Нам, кажется, по пути. (*Делает несколько шагов вместе с Петкутином.*) Может быть, вы расскажете мне об этих занимательных событиях, которые вам так хочется вычеркнуть из своей биографии? Вы говорите, это было очень давно?

Петкутин. Да. Если хотите точно, то 17 апреля 1688 года, посреди развалин античного театра, недалеко от Дуная... (*Продавец в страхе убегает. Петкутин остается один на заснеженной улице, под фонарем, о который он разбивает яйцо.*) Ах, Боже мой, голова! Моя голова! Как болит! Просто раскалывается! (*Падает в снег. В тот же момент из тьмы появляется красный плащ Калины, тот самый, который был на ней в XVII веке в античном театре. Плащ нерешительно стоит в темноте перед Петкутином. Петкутин медленно поднимает голову и узнает Калину.*) Калина, это я, твой муж, Петкутин! Неужели ты меня не узнаешь? (*Протягивает ей упакованный в бумагу инструмент.*)

Калина. Это ты, любовь моя! Петкутин!

Бросаются друг другу в объятия.

Петкутин. Душа моя, душа моя! Наконец-то я тебя нашел. Останемся вместе вечность и еще один день.

Калина. Как, накануне Страстной Пятницы?

Оба заливаются смехом. Калина вскакивает на Петкутина, лицом к его лицу, по обе стороны его фигуры видны ее ноги, в любовной игре он носит ее по сцене.

ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ ТОЖЕ ДЕЛУ ВЕНЕЦ

Действующие лица:

Калина (сначала как тень, а потом ожившая)
Кир Аврам Бранкович
1-й каменотес
2-й каменотес
Паша́
Масуди
Коэн (спит в шатре)

Действие происходит в развалинах античного театра недалеко от Дуная. На первом плане два надгробия — Калины и Петкутина. **Два каменотеса** при свете фонаря выбивают на надгробьях имена.

1-й каменотес. Ты остался мне должен одну букву. Причем женскую! Сейчас мог бы подсобить мне и вернуть долг.
2-й каменотес. Идет. Женские буквы я люблю больше, чем мужские. Да я, брат, и вообще женщин люблю. Умирать буду, и то больше всего мне жаль будет, что не каждый день бабу тискал. *(Подходит к надгробью Калины.)* Что за буква, дава́й, пора и кончать.
1-й каменотес. Буква «А» в конце имени Калина.

Работают.
Появляется **тень Калины** в красном плаще.

Калина.
Настало после смерти пробужденье,
Мы сбросили движенья, как одежды.
Из жизни выйдя, как из чащи, с удивленьем
Увидели места, знакомые нам прежде.
Мы мясом молодым их время угощали,
Нас после пиршества в темницу посадили,
Собакам будущего кости завещали
И новый ход часов себе открыли.
Не слышим мы теперь ни шорохи, ни толки,
Хотя растут, качаясь, из травы
Наших ушей зеленые метелки.

1-й каменотес. Вон какая-то женщина. Что-то бормочет. В такое-то время, видно тут дело нечисто. Что ей делать одной среди могил?
2-й каменотес. Я женской породы не боюсь. Эта-то, одно место открыла, другое не прикрыла.
Калина *(в стиле XX века).* Привет, ребята!
1-й каменотес. Доброго здоровья, госпожа.
Калина. Кто это тут лежит?
1-й каменотес. Госпожа Калина. А лежит она или стоит, это вам, госпожа, виднее, чем нам, убогим.
2-й каменотес. Говорят, она была молодой и красивой. Как зеленый луг. Такая, что если бы даже под бабу попала, и то бы понесла, а про нашего брата я и не говорю, у нас с этим делом быстро.
Калина. А что ж она померла, такая молодая да красивая?
2-й каменотес. Ее на глазах жениха разорвали на куски мертвецы. Только так ей и надо, нечего ночью по театрам таскаться. И ты такая. Если мужика ищешь, считай, что нашла! *(Подходит к Калине.)*

Калина вдруг начинает петь «Yesterday» Beatles. Каменотесы убегают со всех ног. Из темноты появляется кир Аврам Бранкович.

Аврам. Ты звала меня?
Калина. Конечно. Я самая большая ошибка твоей жизни.
Аврам. Хочешь мне отомстить? *(Заметно, что он напуган.)*
Калина. Нет, хочу предложить тебе небольшую торговую сделку. Хочу продать тебе свою смерть.
Аврам *(переборов страх.)* Зачем мне это нужно?

Калина. Мою смерть ты знаешь, а свою — нет. Давай поменяемся? Твоя может оказаться хуже моей.

Аврам. А может и лучше.

Калина. Лучше не может. Я уже знаю, как ты умрешь, и ты хорошо знаешь, что я это знаю. Так что, согласен или нет?

Аврам. Я хочу знать, как я умру и когда, но не хочу покупать твою смерть. Мне и моя хороша. Какая будет, такая и будет, другой не надо.

Калина. Хорошо. Иди за мной.

Подходят к шатру, который стоит в темноте перед театром.

Сейчас услышишь, как ты умрешь. Это будет в 1689 году, во время битвы при Кладове, где австрийцы и сербы сражаются против турок.

Калина откидывает завесу на входе в шатер, видна его внутренняя часть, просторная, застеленная толстыми коврами. На ковре спит **Коэн. Масуди и паша** разговаривают, сидя на подушках.

Тебе знаком кто-нибудь из них?

Аврам. Я знаю младшего. Это мой слуга, Масуди.

Калина делает знак Бранковичу, чтобы он молчал. Те, что в шатре, начинают разговор.

Паша. Говорят, ты читаешь сны?

Масуди. Да. Я могу охотиться на чужие сны, как ты на зайцев.

Паша. Видишь того, кто спит здесь? Это мой конюх, он болен сонной болезнью и уже никогда не проснется. Можешь ли ты прочитать, что он видит во сне?

Масуди. Разумеется, могу. Меня уже убивали в чужих снах. Он видит во сне человека по имени Аврам Бранкович. А так как в настоящий момент этот Бранкович умирает, человек, лежащий здесь, видит во сне его смерть.

Паша. Значит, он может, видя во сне умирающего Бранковича, пережить смерть и остаться живым?

Масуди. Да, но не может проснуться и рассказать нам об этом.

Паша. Но зато ты, наверное, можешь видеть, как он видит во сне смерть Бранковича?

Масуди. Могу, и я немедленно отчитаюсь перед тобой в том, как умирает человек и что он при этом чувствует. *(Подходит к спящему Коэну и пристально смотрит на него.)* Странно. Очень странно. Бранкович стоит не на земле.

Паша. А где же он?

Масуди. На каком-то высоком столбе.

Паша. И что он делает?

Масуди. Три турка целятся в него из луков. Ему обещано, что, если он не умрет после пятой стрелы, ему подарят жизнь. Они в него стреляют, а он считает. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Вот он упал со столба и перестал считать. Падая, он столкнулся с чем-то твердым, неподвижным и огромным. Но это не земля, это смерть. Но в той же самой смерти, между уколами стрел, он умирает еще одной, какой-то незрелой, детской смертью. Бранкович лежит за какой-то печкой, сложенной в виде небольшой разукрашенной церкви, и мочится. После того как из него выльется все его прошлое, он будет мертв. Смотри-ка, теперь он умирает еще и третьей смертью. Эта смерть Бранковича едва различима. Он как будто стоит сотни лет между двумя первыми и этой третьей смертью. А вот у него выпали сразу все волосы, как будто кто-то сбил шапку с уже мертвой головы... А сейчас сон твоего конюха пуст, как русло пересохшей реки.

Калина *(опускает завесу над входом в шатер)*. Не хочешь ли теперь купить мою смерть вместо своей?

Аврам. Нет. То, что я видел, не мои смерти. Это смерти моих детей.

Калина. Конечно. Каждый человек умирает смертью своих детей. Но претерпевает их сам, так же как и его дети должны будут претерпеть смерть своих потомков... Давай все-таки договоримся. Три твои смерти, чьими бы они ни были, я возьму на себя. Я умру снова, на этот раз вместо тебя. Ты своих трех смертей и не почувствуешь, их почувствую я.

Аврам. Чего же ты требуешь взамен?

Калина. Дай мне один день своей жизни в обмен на три смерти.

Аврам. Хорошо. А на что тебе один день жизни?

Калина. Я хочу еще раз переспать с одним человеком, которого я любила. Я хочу любить его вечность и еще один день.

Аврам. Не думаю, что ты в выигрыше, Калина. Я знаю, что ты хочешь сейчас сделать и с кем хочешь встретиться. Тебе нужен Петкутин! Но прежде чем ты возьмешь себе три мои смерти, подумай о том, что этой встречи может и не получиться.

Калина. Пусть тебя не заботят мои заботы.

Аврам. На прощанье я открою тебе еще кое-что. Если на пути к Петкутину, а ведь ты ищешь его, вспыхнет синий огонь, ты его найдешь, но если полыхнет огонь красный, ты навсегда разойдешься с тем, кого любишь и ищешь по всем жизням и смертям. *(Протягивает руку к Калине и дотрагивается до ее большого пальца своим большим пальцем.)* Вот тебе твой день!

В Калининой половине античного театра стремительно рассветает, рождается солнце, Калина преображается из тени в красавицу, ее лицо снова приобретает краски, тело предстает обнаженным во всей молодой красоте и блеске, а на половине Бранковича по-прежнему ночь с луной и звездами. Особенно бросаются в глаза роскошные волосы Калины, длинные и волнистые, такие же, как были у нее при жизни. Бранкович удрученно уходит в ночь.

Калина *(выносит на середину своего дня хазарский горшок, синий с золотом. Приносит воду и начинает из глины месить Петкутина. Кладет глину в горшок и шепчет сороковой псалом)*. «Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота; и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои...»

Раздаются три удара колокола с ближайшей церкви. Калина палкой разбивает горшок, из него вырывается красный огонь, и на дне его не показывается Петкутин. Горшок пуст. Калина в отчаянии падает на землю и рыдает.

«Ах, добрый мой ангел, неужели ты меня навсегда оставил?» *(Ее день угасает, она встает и смотрит на солнце. После того как оно заходит, Калина три раза вскрикивает, и волосы спадают с ее головы, как шапка. Она снова превращается в такую же тень, какой и была.)*

«НАСТАЛО ПОСЛЕ СМЕРТИ ПРОБУЖДЕНЬЕ...»

Действующие лица:

Петкутин
1-й каменотес
2-й каменотес
Актер (позже играет Яблоко)
Актриса (на самом деле это мужчина, позже играет Богородицу)
Река Иордан (актер)
Златорунный баран (актер, у него на плечах золотое руно).

Действие происходит в развалинах античного театра недалеко от Дуная в XVII веке.

Два каменотеса выбивают на надгробиях имена Петкутина и Калины, они работают при свете двух маленьких фонарей. Работа затянулась допоздна. Надгробия находятся перед развалинами античного театра, на заднем плане видны скамьи для зрителей.

1-й каменотес. Длинное у тебя имя? Успеешь до ночи?

2-й каменотес. Не такое уж длинное. Калина.

1-й каменотес. Ясное дело, у тебя от рук всегда бабой пахнет.

2-й каменотес. Говорят, ее мертвецы на куски разорвали...

1-й каменотес. Да нет, они старше. Вначале была смерть. Древняя, древняя смерть, более старая, чем человек и рожденье до рожденья...

2-й каменотес. А у тебя сегодня длинное имя?
1-й каменотес. Мужское. А мужские имена труднее. Петкутин.
2-й каменотес. Что с твоим случилось?
1-й каменотес. Разное про него говорят.
2-й каменотес. А-а, он из тех, кто в дом не через дверь входит? А что же говорят-то?
1-й каменотес. Говорят, он не человек.
2-й каменотес. Исключено.
1-й каменотес. Почему исключено?
2-й каменотес. Потому что умереть может только тот, кто жив. Никто, кто неживой, умереть не может. Это невозможно.
1-й каменотес. А хочешь убедиться в том, что Петкутин не был человеком?
2-й каменотес. Не откажусь. А как?
1-й каменотес. Очень просто. Загляни в его могилу.
2-й каменотес. В могилу? Там черти свадьбу играют.
1-й каменотес. Его там нет. Могила Петкутина пуста. Как рот без вина.
2-й каменотес. Оборони, Господь! Да что же бывает с такими? Куда они деваются? Не может человеку достаться ни двух сокровищ, ни двух жизней.
1-й каменотес. Поэтому я тебе и говорю, что Петкутин не человек. Одно только тело без души. Говорят, что такие всегда снова возвращаются в мир живых. Стоит колоколу на церкви пробить три раза. Они блуждают в окрестностях и ищут душу своему телу.

Оба испуганно озираются.

2-й каменотес. Я закончил и теперь уж пойду. Ты не успеешь. У тебя на две буквы больше.
1-й каменотес. Знаешь что, давай поделим их пополам. Сделай за меня одну букву, а я тебе ее в другой раз верну.
2-й каменотес. Значит, букву в долг?
1-й каменотес. В долг.
2-й каменотес. Но только, чур, женскую букву, а не мужскую. Я больше люблю выбивать женские имена.
1-й каменотес. Идет. Получай женскую букву. Давай-ка за дело. Но ты поостерегись! Из-за красоток многие погорели.

Оба работают над одним надгробием, надгробием Петкутина. Появляются **актеры**, они несут шатер и реквизит для рождественского представления. Еще до их выхода по небу начинают двигаться две блестящие звезды, которые они держат за нитки, как воздушных змеев. Каменотесы застывают в изумлении.

Актер. Найдутся ли здесь зрители для нашего представления? Мы актеры, и мы только что сюда прибыли. Завтра мы отправляемся дальше.
2-й каменотес. Счастливого вам пути!
Актер. А есть ли здесь еще кто, кроме вас?
2-й каменотес. Не считая этих двух покойных, никого. Может, они вам закажут представление? *(Щиплет актрису за грудь, засунув руку под ее блузку, и, удивленный, вытаскивает оттуда яблоко. Откусывает кусок яблока.)*
Актриса.
Не все золото, что блестит.
Не все счастье, что манит!
Актер. Кто бы ни заказал, если он заплатит, может быть уверен, что сыграем мы превосходно.
1-й каменотес. А кому нужна ваша игра? Я, например, служу мертвецам и за их счет живу. А вы?
Актриса. Мы живем за счет мертвых писателей и живых зрителей. Таких, как ты, которые быстры на плевки и медленны на похвалы.
Актер. У человека договор с Богом. От Него он получает только сорок частей своей жизни и может ими пользоваться, остальные шестьдесят уходят неиспользованными обратно к Богу. А мы, актеры, лицедеи и скоморохи, можем представить перед тобой те самые неиспользованные шестьдесят частей твоей жизни.
1-й каменотес. Мы уже кончаем. Осталось собрать инструменты, прочитать псалом — и в путь-дорогу, а вы тут читайте свое кому хотите. *(Собирает инструменты.)*

Актер. Ну нет, так не пойдет! Вы должны заплатить за представление и посмотреть его, а не то познакомитесь с моей палкой!

Оба каменотеса *(в страхе падают на колени и начинают читать псалом).* «Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота; и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои...»

С ближайшей церкви раздаются три удара колокола, и в античный театр входит Петкутин. Каменотесы и актеры смотрят на него, оцепенев от изумления.

Петкутин.

Настало после смерти пробужденье,
Мы сбросили движенья, как одежды.
Из жизни выйдя, как из чащи, с удивленьем
Увидели места, знакомые нам прежде.
Мы мясом молодым их время угощали...

(Чихает. Актерам.) Вы уже здесь?

Актер. Мы-то здесь, а вот ты откуда взялся?

Петкутин. Когда колокол прозвонил в первый раз, я был в Индии, при втором ударе — в Лейпциге, а с третьим ударом вошел в свое тело.

Актер. Осади, приятель! Кто здесь дает представление, ты или мы?

Петкутин (*подходит к Калининой могиле*). «Я думаю, любовь моя, что это был низкий, нехороший поступок!» (*Подходит к камню в центре театра, где он оставлял деньги до того, как был растерзан. Собирает монеты.*) Я нанимаю вас и заплачу́, как и положено. Вы можете сыграть представление, которое называется «Вертеп»?

Актер. Ну, это другой разговор. Правда, вы выбрали странное место и время. «Вертеп» играют на Рождество, сейчас не время, но мы актеры, а раз так, то нам деваться некуда.

Петкутин (*дает актерам деньги*). Один, два, три, четыре, пять марьяшей!

Актриса. Что это с вами, вы такой бледный?

Петкутин. Неужели вы не слышали? У нас умер один из членов семьи.

Актриса. Нет, не слышали. А кто у вас умер?

Петкутин. Как это кто? Вы что, не видите? Я. Уже и сорок дней прошло. А ведь я только-только женился.

Актриса. И у меня была жена... В ее душе — весна, в моей — осень, и одна и та же птица пролетала через обе души... Она вас очень любила?

Петкутин. Да. Но дело не в этом.

Актриса. А в чем же дело?

Петкутин. Она разорвала меня на куски и сожрала. Она, Калина, была единственным человеческим существом, которое я любил.

Актриса. И не то бывает, говорят венгры... А почему? Может быть, вы были слишком сладким?

Петкутин. Это было своего рода пари. Пари о том, человек я или не человек. Человеческое существо или нет.

Актер (*с опаской*). И что же — да или нет?

Петкутин. Похоже было, что человек, хотя и не человек. Вот, я здесь, а там моя могила. Меня зовут Петкутин. Я тот самый, с надгробия.

Актер и каменотесы, крестясь, отступают от Петкутина с суеверным страхом. Сбиваются поближе друг к другу.

Не бойтесь, я вам ничем не опасен.

Актриса. Да? Кто же тогда опасен?

Петкутин. Такие же, как вы сами. Все человеческие существа, живые и мертвые. Они сожрут вас, так же как сожрали меня! Заразят и уничтожат, как заразили и уничтожили меня!

Актриса. Как это?

Петкутин. Вы что, не играли «Вертеп»?

Актер. Играли.

Петкутин. А разве это не то представление, с двумя звездами, где новорожденному Христу вместо людей поклоняются дерево, вода и зверь?

Актер. То.

Петкутин. Ну так начинайте! (*Широким взмахом руки делает им знак начинать.*)

На небе появляются две звезды, они движутся по небу до середины сцены, где поставлен шатер. В шатре сидит **Богородица**, а в яслях новорожденный **Христос**. К яслям подходят **Златорунный баран** (актер в накинутом на тело куске материи), актер со стеклянным прозрачным сосудом с водой, то есть **река Иордан**, и актриса вся в листьях, с двумя яблоками на груди, символизирующими два первых плода.

Богородица.

Построю церковь звездную,
Поставлю двери лунные,
Иконы, взглядом писаны,
А служба в снах привиделась.
Верхом приеду в церковь я,
Копьем открою дверь с коня...

Река Иордан (*поднимает книгу*). Это Ветхий Завет, будущая кровь Христова. Кровь того, кто лежит, новорожденный, в яслях. У него есть на небе Отец, но нет Матери.

Яблоко (*поднимает вторую книгу*). Это Новый Завет, будущее тело Христово. Тело того, кто лежит, новорожденный, в яслях. Здесь, на Земле, у него есть Мать, но нет Отца.

Баран. Он искупит все будущие и прошлые грехи человека, искупит и его первородный грех!

Петкутин (*вмешивается в представление*). Но это не значит, что он и меня спасет! Не спасет он и тебя, вода, и тебя, дерево, и тебя, животина!

Баран. Что ты имеешь в виду?

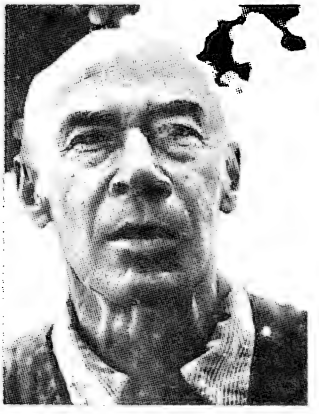
Петкутин. Мы не человечьей породы, на нас нет первородного греха, мы не были изгнаны из Рая. Христос воплотился не в яблоню, и не в воду, и не в золотое руно. Его вселенская задача искупления не для нас, потому что мы не значимся в книге грехов и должны жить своей собственной жизнью. Почему мы должны страдать за чужие грехи? Что мы здесь делаем?

1-й каменотес. Обожди, приятель! И я тоже, хоть я и человек, задаю себе вопрос: что мы здесь делаем? Ты только посмотри — человек тратит огромное количество хлеба, штанов, чулок и ненависти. И этого ему всегда не хватает. А всего остального — мудрости, красоты, — их на свете гораздо больше, чем мы можем потратить. Вот ты, который не человек, у которого на Земле есть отец, но нет матери, скажи нам, кто мы, люди, и зачем мы здесь?

Петкутин. Вы здесь потому, что в этой части Вселенной время научилось останавливаться. Если вы поймете, что Вечность исходит от Бога, а время — от Сатаны, вам станет ясно, что в определенном месте есть «золотое сечение» Вечности и времени. Здесь время на мгновение замирает, чтобы получить благословение Вечности, это и есть ваш «настоящий момент». Вы, люди, находитесь здесь, на Земле, потому, что в этой части Вселенной время останавливается и тем самым делает возможной вашу жизнь. Но существует и загрязненное время, которому не удается пересечься с Вечностью, и оно лишено благословения и остановки, лишено вашего настоящего и потому бесплодно, пусто. В такой части Вселенной не может выжить никто. После того как вы преступно изгадили Землю, заразили растения, воды и зверей, вы хотите отправиться дальше, хотите изгадить и звезды. Мы прощаемся с вами. Мы пойдем за своей звездой, а не за вашей. Мы найдем свою новую душу. И будем любить ее вечность. И еще один день. Прощайте, люди!

Петкутин берет у актеров сосуд с водой, яблоки, накидывает на плечи золотое руно и поднимается вслед за второй звездой, которая отделяется от Земли, и она, сверкая все ярче, уносит его в бесконечные дали Вселенной.

■



ГЕНРИ МИЛЛЕР

Дьеп — Ньюхейвен

РАССКАЗ

Перевод с английского А. ЛИВЕРГАНТА

Все началось с того, что мне захотелось — пусть недолго — опять пожить в англоязычной среде. Я ничего не имел против французов; наоборот, я наконец-то немного обжился в Клиши, и все было бы отлично, если бы у нас с женой не испортились отношения. Она жила на Монпарнасе, а я — у своего друга Фреда, который снял квартиру в Клиши, недалеко от Порт. С женой мы решили разъехаться: она собиралась вернуться в Америку, как только получит деньги на дорогу.

Так и договорились. Я уже с ней попрощался и полагал, что все кончено. Но както раз, когда я зашел в магазин по соседству, его владелица, благообразная старушка, сообщила мне, что здесь только что побывала моя жена с каким-то молодым человеком и что они купили уйму всякой еды, которую просили записать на мой счет. Старушка была смущена и даже взволнована, но я ее успокоил. Ничего страшного, сказал я ей. И действительно, ничего страшного в ее рассказе не было; я знал, что жена — без денег, а ведь даже жены не могут питаться одним воздухом. Что же касается молодого человека, который ее сопровождал, то и тут я тоже не видел ничего страшного: это был педик, который ее пожалел и вроде бы на время приютил. Собственно говоря, во всей этой истории настораживало только одно: моя супруга, оказывается, до сих пор в Париже и, судя по всему, уезжать особенно не торопится.

Прошло еще несколько дней, и как-то вечером она заявилась к нам на ужин. Что ж, почему бы и нет? Мы ведь всегда могли наскрести немного еды, а вот на Монпарнасе, в богемной среде, принято было ходить в рестораны, где цены здорово «кусались». После ужина жена закатила истерику: стала говорить, что с того дня, как мы расстались, у нее расстройство желудка и что виноват в этом я, что я пытался ее отравить. Я пошел проводить ее до метро и промолчал всю дорогу: я был так зол, что не мог произнести ни слова. Злилась и жена, злилась потому, что я не ввязался с ней в спор. Нет, это последняя капля, думал я, возвращаясь домой, больше уж она не придет. Я ее отравил! Прекрасно, если она так считает — пускай! Это решает дело.

Но через несколько дней я получаю от нее письмо, в котором она просит дать ей немного денег — расплатиться за жилье. Из письма следовало, что жила она ни у какого не у педика, а в дешевой гостинице на задворках вокзала Монпарнас. Дать ей денег сразу я не мог, у меня их у самого не было, — и пойти в гостиницу и оплатить счет я собрался только через несколько дней. Пока я тащился к ней, на мое имя пришло pneumatique[1], где говорилось, что, если в ближайшее время она не заплатит, ее попросту выбросят на улицу. Будь у меня хоть немного денег, я не подверг бы ее такому унижению, но, на беду, денег у меня тогда не было вовсе. Жена, однако, мне не поверила. Даже если это и так, заявила она, я мог бы, по крайней мере, занять для нее. Тут она была права. Но я никогда не умел занимать крупную сумму; всю жизнь я брал в долг по мелочи — и был ужасно благодарен, когда получал то немногое, что просил. Об этом она, по всей вероятности, забыла. И неудивительно — ведь она злилась, гордость ее была уязвлена. Справедливости ради добавлю, что, окажись в ее положении я, деньги были бы найдены: она всегда умела раздобыть денег, когда дело касалось меня, этого нельзя не признать.

Вся эта история сидела у меня в печенках. Я чувствовал себя последней свиньей. И чем гаже я себя чувствовал, тем на меньшее был способен. Я даже предложил, чтобы она переехала к нам, пока не придут деньги на билет. Но об этом она, естественно,

---

[1] Пневматическое письмо (*франц.*). (*Здесь и далее — прим.перев.*)

не хотела и слышать. А впрочем, что тут естественного? Я был так смущен, унижен и неуверен в себе, что не понимал уже, что естественно, а что нет. Деньги. Деньги. Всю жизнь все упирается в деньги. Так было и так будет.

После того как я долгое время вертелся как уж на сковородке, меня вдруг посетила гениальная идея. Самый простой способ решить проблему — это махнуть на нее рукой. Уж не знаю, почему эта мысль пришла мне в голову, но я вдруг решил поехать в Лондон. Если бы мне предложили замок в Турене, я бы сказал «нет». Почему-то я остановил свой выбор именно на Лондоне. Возможно, потому, что жене никогда бы не пришло в голову искать меня там. Она знала, что город этот я ненавижу. Однако в действительности, как я и сам вскоре понял, решение ехать в Лондон вызвано было прежде всего тем, что мне хотелось пожить в англоязычной среде. Мне хотелось слышать английскую речь двадцать четыре часа в сутки, английскую — и никакую другую. В моем шатком положении это было все равно что припасть к груди Господа. Для меня говорить по-английски самому и слушать английскую речь было, попросту говоря, огромным облегчением, ведь известное дело: когда у вас неприятности, говорить на иностранном языке или даже слушать иностранную речь (не зажимать же уши!) — это пытка, причем самая изощренная. Я абсолютно ничего не имел против французов, а также против их языка. До тех пор пока не появилась жена, я жил как в раю. И вдруг все пошло прахом. Я поймал себя на том, что все время недоволен французами, и в особенности их языком, чего раньше, будучи в здравом уме, я никогда бы себе не позволил. Я понимал: виноваты не французы, а я сам, но от этого мне легче не становилось. Итак, решено — Лондон. Немного проветрюсь, а когда вернусь, жены, надо надеяться, здесь уже не будет. А это — главное.

Я раздобыл денег на визу и на обратный билет. Визу я приобрел годовую, чтобы, если мнение мое об англичанах изменится, поехать в Англию во второй или в третий раз. Приближалось Рождество, и я начал думать, что Лондон, должно быть, очень неплохо смотрится в праздники. Как знать, может, мне откроется совсем другой Лондон, не тот, который я знал, Лондон Диккенса, о котором всегда мечтают туристы. В кармане у меня лежали виза и билет, а также вполне достаточно денег, чтобы прожить в Лондоне десять дней. Словом, предстоящее путешествие рисовалось мне в самых радужных тонах.

В Клиши я вернулся только вечером и, войдя на кухню, обнаружил, что Фреду помогает накрывать на стол моя жена. Они смеялись и шутили. Я знал, что Фред ни под каким видом не скажет ей о моей предстоящей поездке, а потому сел за стол и тоже стал смеяться и шутить. Угощение, надо сказать, получилось на славу, и все было бы отлично, если бы Фреду не пришлось после ужина идти в газету. Меня-то уволили уже несколько недель назад, а он еще работал, хотя и ждал той же участи со дня на день. Уволили меня потому, что, даже будучи американцем, работать корректором в американской газете я права не имел. Французы придерживались того мнения, что эту работу с тем же успехом может выполнять и француз, если он знает английский язык. Подобная предвзятость действовала мне на нервы, и, возможно, именно поэтому последние несколько недель я был на французов зол. Как бы то ни было, судьба моя была решена: я опять стал свободным человеком и вдобавок собирался в Лондон, где буду говорить по-английски целыми днями, а если захочу — и ночами. Мало того: очень скоро должна была выйти моя книжка, а от этого зависело многое. Короче говоря, жизнь представлялась мне теперь совсем не такой плохой, как еще несколько дней назад. Размышляя о том, как все удачно складывается, я утратил бдительность и, преисполнившись энтузиазма, выбежал за бутылкой шартреза, который жена любила больше всего на свете. Это оказалось роковой ошибкой. От шартреза она сначала размякла, потом впала в истерику, а потом пустилась читать мне мораль. Мы сидели за столом и вспоминали многое из того, что следовало бы забыть раз и навсегда. В результате мне стало ее так жалко, а за себя так стыдно, что я выболтал абсолютно все — и про поездку в Лондон, и про то, что взял на эту поездку в долг, и так далее, и так далее. В подтверждение своих слов я выложил на стол документы и деньги: они, дескать, теперь твои — фунты и шиллинги, новенькие английские денежки. Я сказал, что мне очень стыдно, и что на поездку мне теперь наплевать, и завтра я попробую сдать билет, а вырученная сумма тоже достанется ей.

И тут вновь я не могу не отдать жене должное. Она и в самом деле не хотела брать деньги. Ей это было неприятно, я это видел, но в конце концов она неохотно взяла их и сунула себе в сумочку. Уходя, она ее забыла, и я был вынужден бежать за ней по лестнице. Взяв сумочку, она опять попрощалась, и на этот раз я почувствовал, что расстаемся мы действительно навсегда. Попрощавшись, она молча стояла на ступеньках и смотрела на меня с какой-то странной, грустной улыбкой. Сделай я в тот момент хоть одно едва заметное движение — и она бы, уверен, выбросила деньги в

окно, кинулась ко мне в объятия и осталась со мной до конца дней. Я смерил ее долгим взглядом, медленно вернулся к двери и закрыл ее за собой. Потом подошел к кухонному столу, несколько минут просидел, глядя на пустые бокалы, после чего не выдержал и разрыдался как дитя.

С работы Фред вернулся только часа в три ночи. Он сразу же понял, что что-то произошло. Я рассказал ему все как было, после чего мы сели за стол, поели, а поев, стали пить: выпили хорошего алжирского вина, потом — шартреза, а потом — немного коньяка. По мнению Фреда, вышло все по-идиотски, мне не надо было отдавать ей всех денег. Я с ним согласился, но собой остался доволен.

— А как же Лондон? Ты хочешь сказать, что в Лондон не едешь? — спрашивает он.

— Нет, не еду, — отвечаю. — Я с этой мыслью расстался. Кроме того, я все равно не мог бы сейчас поехать, даже если б хотел. Откуда мне взять денег?

Но Фред вовсе не считал, что отсутствие денег является сколько-нибудь серьезным препятствием. Он сказал, что может взять взаймы пару сотен франков в газете, а когда будет зарплата (а будет она через несколько дней), он вышлет мне еще. За разговорами и — естественно — выпивкой мы засиделись до рассвета, и когда я наконец улегся в постель, то услышал звон вестминстерских колоколов, а также колокольцев и ржавых бубенчиков. Я увидел старый грязный Лондон, укутанный в красивое снежное покрывало, увидел лондонцев, что, ласково улыбаясь, говорили мне: «Счастливого Рождества!» — и не как-нибудь, а по-английски.

Ла-Манш мы пересекли ночью. Погода была ужасная, и пассажиры сидели в каюткомпании, дрожа от холода. У меня с собой было сто франков одной банкнотой и немного мелочи — и это все. С Фредом мы договорились: я даю ему телеграмму, как только нахожу подходящую гостиницу, и он высылает мне еще денег. Я сидел за длинным столом, слушал разговоры пассажиров и думал только о том, как бы растянуть эти сто франков: то, что Фред сможет быстро достать денег, вызывало у меня большие сомнения. В долетавших до меня обрывках фраз тоже все время звучало слово «деньги». Деньги. Деньги. Одно и то же — везде и всюду. Кажется, Англия именно в этот день заплатила, хоть и не по собственной воле, долг Америке. «Она сдержала свое слово», — говорили сидевшие за столом. Англия всегда держит слово. И опять, и опять, все о том же — пока я не ощутил сильное желание придушить этих англичан за их проклятую честность.

Стофранковую банкноту я собирался разменять только в самом крайнем случае, но когда начался этот идиотский разговор про Англию, которая всегда держит слово, когда всем стало ясно, что я американец, я так разнервничался, что заказал кружку пива и сандвич с ветчиной. В результате мне пришлось вступить в контакт со стюардом, которому захотелось узнать, что я думаю по поводу выплаченного долга. По его лицу видно было, что наше поведение по отношению к Англии иначе как преступлением не назовешь. Я разозлился: если я родился в Америке, это еще не значит, что я отвечаю за американскую политику. Поэтому я сказал стюарду, что мне про выплату долгов ничего не известно, что это не мое дело и мне совершенно безразлично, расплатилась Англия со своими долгами или не расплатилась. От моего ответа стюард остался не в восторге. Каждый человек, заметил он, должен интересоваться делами своей страны, даже если страна его не права. На это я возразил, что мне наплевать на Америку и американцев. Сказал, что во мне нет ни капли патриотизма. Тут я обратил внимание, что какой-то мужчина, который прогуливался по салону, остановился и прислушался. У меня возникло ощущение, что это шпион или сыщик, я замолчал и повернулся к сидевшему рядом молодому человеку, который, как и я, заказал кружку пива и сандвич.

Молодой человек слушал меня с интересом. Он полюбопытствовал, откуда я и что собираюсь делать в Англии. Я ответил, что еду немного развеяться, и поинтересовался, не знает ли он какой-нибудь гостиницы подешевле. Молодой человек сказал, что довольно давно уже не был в Англии, да и Лондон знает неважно. Последние несколько лет он живет в Австралии, пояснил он. Тут к столу опять подошел стюард, и молодой человек спросил у него, не знает ли он какой-нибудь дешевой, но приличной гостиницы в Лондоне. Стюард подозвал официанта и задал ему тот же вопрос, и, как раз когда он обращался к официанту с этим вопросом, мужчина, похожий на шпиона, вновь подошел ближе и прислушался. По тому, с какой серьезностью обсуждалась эта тема, я сразу же понял, что совершил ошибку. Стюардам и официантам таких вопросов задавать не следует. Я ощутил на себе их подозрительный взгляд: казалось, они просвечивают мой бумажник рентгеновскими лучами. Я залпом осушил кружку пива и, словно желая доказать, что деньги для меня не проблема, заказал вторую кружку, а затем, повернувшись к сидевшему рядом молодому человеку, спросил, не угостить ли мне пивом и его. Когда стюард принес пиво, мы уже с головой

погрузились в австралийскую экзотику. Он завел было разговор о гостинице, но я перебил его, заявив, что меня этот вопрос больше не интересует. «Это было праздное любопытство», — пояснил я. Стюард смутился; несколько секунд он молча стоял, не зная, что сказать, а затем, словно бы движимый дружеским участием, стал бубнить, что, если б я только согласился, он был бы счастлив предоставить мне ночлег у себя, в Ньюхейвене. Горячо поблагодарив его, я сказал, что не стоит беспокоиться, что я все равно собирался сразу же ехать в Лондон. «Не берите в голову», — добавил я и тут же сообразил, что опять совершил ошибку, ибо, сам того не желая, дал понять, что вопрос этот «взять в голову» стоит.

До прибытия оставалось еще немного времени, и мы с молодым англичанином разговорились — он рассказал мне про Австралию немало интересного. Сказал, что работает овцеводом и что они кастрируют по многу тысяч баранов в день. Работать приходится быстро, так быстро, что лучше всего хватать бараньи яйца зубами, а потом отрезать их ножом и выплевывать. Англичанин пытался прикинуть, сколько тысяч пар яиц он откусил в результате этой несложной операции. И, подсчитывая в уме количество отрезанных яиц, он вытер губы тыльной стороной ладони.

— У вас, наверное, был странный привкус во рту, — сказал я, тоже — чисто машинально — вытирая губы.

— Ничего особенного, — спокойно ответил он. — Со временем ко всему привыкаешь. Нет, на вкус они были недурны, совсем недурны... Не так это страшно, как может показаться. И все же, когда я уезжал из своего уютного английского дома, мне и в голову не могло прийти, что я буду зарабатывать себе на пропитание таким способом. Человек может делать почти все — если жизнь заставит.

Я думал о том же. Мне вспомнилось то время, когда я сжигал сушняк в апельсиновой роще в Чула-Висте. По десять часов в день бегаешь под палящим солнцем от одного костра к другому, и мухи кусаются как сумасшедшие. А все зачем? Затем, чтобы доказать самому себе, что ты — мужчина, что способен взять жизнь за глотку. Работал я и могильщиком, и такое было: хотелось доказать, что я не боюсь никакой работы. Могильщик! Под мышкой — том Ницше, а на губах — строки из последней части «Фауста». Да, как говорит стюард: «Англичане никогда не станут обманывать». Пароход останавливается. Еще один глоток пива, чтобы во рту не оставалось привкуса бараньих яиц, и скромное вознаграждение официанту — пусть знает: американцы тоже иногда платят свои долги. Я не заметил, как все мои знакомые куда-то подевались, я стою один, а передо мной — грузный англичанин в клетчатой кепке и в длинном мешковатом пальто. В любой другой стране такая кепка выглядела бы нелепо, но коль скоро он прибыл к себе на родину, одеваться он может как ему вздумается; он даже вызывает у меня восхищение: большой, независимый. Мне начинает казаться, что не такие уж они, англичане, плохие.

На палубе темно, моросит дождь. В последний мой приезд в Англию, когда пароход подымался по Темзе, было тоже темно, тоже моросил дождь, лица были пепельно-серые, мундиры черные, а дома мрачные, покрытые сажей. Помню, как каждое утро на Хай-Холборн-стрит мне попадались самые респектабельные — и самые жалкие, покореженные жизнью нищие, которых только мог создать Господь Бог. Серые, с водянистыми лицами, в котелках и во фраках, они отличались той нелепой респектабельностью, которую способны напустить на себя только одни англичане. Да и язык их сейчас почему-то действует мне на нервы: приторный, угодливый, лебезящий. В манере говорить отчетливо проступают классовые различия. Например, мужчина в клетчатой кепке и в мешковатом пальто внезапно превращается в надутого осла: кажется, и с носильщиком он разговаривает на каком-то тарабарском наречии. Я все время слышу слово «сэр». Вы разрешите, *сэр*? Куда прикажете, *сэр*? Да, *сэр*. Нет, *сэр*. От всех этих «да, сэр», «нет, сэр» оторопь берет. «Позвольте мне взять вас за сэр, сэр», — бормочу я про себя.

Пограничный контроль. Стою в очереди. Богатые ублюдки, как всегда, лезут вперед. Еле двигаемся. У тех, кто прошел, багаж досматривают на набережной. Снуют груженые, точно ишаки, носильщики. Впереди теперь только двое. У меня в руках паспорт, билет на поезд и багажная квитанция. Наконец я стою прямо перед ним и протягиваю ему свой паспорт. Он заглядывает в лежащий рядом большой белый лист бумаги, находит там мое имя и вычеркивает его.

— Как долго вы намереваетесь пробыть в Англии, мистер Миллер? — спрашивает он, держа мой паспорт в руке с таким видом, словно хочет его вернуть.

— Недели две, — отвечаю.

— Вы едете в Лондон, не так ли?

— Да.

— В какой гостинице вы думаете остановиться, мистер Миллер?

Этот вопрос не может не вызвать у меня улыбку.

— Пока не знаю, — отвечаю я, по-прежнему улыбаясь.

— У вас есть друзья в Лондоне, мистер Миллер?

— Нет.

— А что вы собираетесь делать в Лондоне, простите за нескромный вопрос?

— Что делать? Немного развеяться. — Улыбка все еще играет у меня на губах.

— Я полагаю, денег на пребывание в Англии вам хватит?

— Хочется надеяться, — говорю я с прежней беззаботностью и неизменной улыбкой. А про себя думаю: когда задают такие вопросы, блефовать — одно удовольствие.

— Не могли бы вы предъявить мне ваши деньги, мистер Миллер?

— Ради Бога. — Я лезу в карман и извлекаю оттуда все, что осталось от стофранковой купюры. Стоящие рядом смеются. Пытаюсь засмеяться и я — без особого успеха. Что же до моего «следователя», то он глубокомысленно хмыкает, смотрит мне прямо в глаза и, вложив в свои слова весь имеющийся в наличии сарказм, изрекает:

— И вы полагали, что этой суммы вам хватит надолго, мистер Миллер?

К каждой фразе этот сукин сын почему-то прибавляет «мистер Миллер». Мне он постепенно перестает нравиться. К тому же мне становится немного не по себе.

— Послушайте, — говорю я со всей любезностью и беззаботностью, на какую только способен, — на эту сумму я здесь жить не собираюсь. Как только сниму номер в гостинице, дам телеграмму, чтобы мне выслали еще денег. Из Парижа я уезжал впопыхах и...

Он меня перебивает. Ему хотелось бы, чтобы я, если можно, назвал ему свой парижский банк.

— У меня нет счета в банке, — неохотно отвечаю я и сразу же понимаю, что сказал не то. Вокруг сгущается атмосфера враждебности. Пассажиры, державшие свои чемоданы в руках, теперь опускают их на пол, словно заранее зная, что очередь до них дойдет не скоро. Мой паспорт, который раньше лежал у чиновника иммиграционной службы на ладони точно крошечное Священное Писание, теперь кладется на стойку и придерживается растопыренными пальцами, как отягчающая улика.

— Кто же в таком случае должен был выслать вам денег, мистер Миллер? — спрашивает он еще более елейным голоском.

— Как кто? Мой парижский друг, человек, с которым мы живем вместе в Париже.

— А у него есть счет в банке?

— Нет, но у него есть работа. Он работает в «Чикаго трибюн».

— И вы предполагаете, что он пришлет вам деньги на отпуск?

— Я не предполагаю, я *знаю*, — ядовито отвечаю я. — Я вовсе не пытаюсь пудрить вам мозги. Я же сказал, что уезжал впопыхах. Перед отъездом мы с ним договорились, что он пришлет мне деньги, как только я приеду в Лондон. Тем более что это — *мои* деньги, а не его.

— Вы хотите сказать, мистер Миллер, что оставили деньги у друга, вместо того чтобы положить их в банк?

— Господи, — воскликнул я, начиная терять терпение, — не такие уж это большие деньги, черт побери! И вообще, я не совсем понимаю, что происходит. Если вы мне не верите, я останусь здесь и буду ждать, пока вы дадите телеграмму в Париж и сами во всем убедитесь.

— Одну минуточку, мистер Миллер. Вы говорите, что вы с вашим другом живете вместе... вы живете в гостинице или в квартире?

— В квартире.

— А квартира ваша?

— Нет, его. То есть принадлежит-то она нам обоим, но записана на его имя, потому что он француз, а это проще.

— И у него хранятся ваши деньги?

— Нет, обычно нет. Понимаете, перед моим отъездом сложилась довольно сложная ситуация. Я...

— Одну минуту, мистер Миллер. — И он жестом отодвигает меня немного в сторону, подзывает одного из своих помощников и передает ему мой паспорт. Тот берет паспорт и идет куда-то за перегородку, а я стою и смотрю, как двигается очередь.

— Вы можете пока пройти таможенный досмотр, — слышу я словно издалека его голос. Я иду под навес и открываю чемодан. Поезд ждет пассажиров. Он похож на упряжку эскимосских собак, которые от нетерпения рвут постромки. Паровоз отдувается и пыхтит. Пройдя досмотр, я возвращаюсь и снова занимаю место напротив своего собеседника. Последние несколько пассажиров проходят паспортный контроль.

Из-за перегородки с моим паспортом в руках появляется высокий худой джентльмен. В том, что я злоумышленник, у него нет никаких сомнений.

— Вы — американский подданный, мистер Миллер?

— Разумеется, — отвечаю я. От этого долговязого типа пощады ждать не приходится. У него начисто отсутствует чувство юмора.

— Сколько времени вы прожили во Франции?

— Два или три года, по-моему. Вот же, здесь проставлена дата... А в чем дело? Какое это имеет отношение к моей поездке?

— Вы планировали провести в Англии несколько месяцев, не так ли?

— Нет, неделю, самое большее — десять дней. Но теперь...

— Стало быть, вы приобрели годовую визу, чтобы приехать всего на неделю?

— Но ведь я приобрел и обратный билет, если уж на то пошло.

— Билет можно всегда выбросить, — говорит он, злобно скривив рот.

— Какой же идиот станет выбрасывать свой билет?! Что-то я вас не понимаю. Да и вообще, послушайте, мне все это надоело. Я переночую в Ньюхейвене и следующим же пароходом уплыву обратно. Мне расхотелось проводить отпуск в Англии.

— Не торопитесь, мистер Миллер. Давайте сначала как следует во всем разберемся.

И тут раздается свисток паровоза. Все пассажиры на местах, и поезд трогается. А я думаю о своем чемодане, который прошел таможенный досмотр и тоже отправился в Лондон. В нем почти все мои рукописи, а также пишущая машинка. «Хорошенькое дело», — бормочу я. А все из-за этих жалких франков, которые я спустил на пароходе.

К нам присоединяется маленький круглолицый человек с непроницаемой физиономией. От беседы со мной он явно рассчитывает получить немалое удовольствие.

Услышав, что поезд отходит от станции, я сдался на милость иммиграционной службы. «Один раз они меня уже трахнули, — рассуждаю я. — Посмотрим, когда трахнут снова». Первым делом, однако, я потребовал назад свой паспорт. Если они хотят помучить меня еще — пускай мучают, я не против: ночью делать все равно нечего, а до Ньюхейвена мне еще предстоит немало интересного.

К моему удивлению, долговязый отказался возвращать мне паспорт. Я пришел в бешенство и осведомился, есть ли здесь американское консульство.

— Послушайте, — сказал я, — можете думать обо мне что угодно, но паспорт принадлежит мне, и я хочу получить его обратно.

— Вы напрасно так нервничаете, мистер Миллер. Без паспорта вы отсюда не уедете. Но сначала мне хотелось бы задать вам несколько вопросов... Я вижу, что вы женаты. Скажите, ваша супруга живет с вами — и с вашим другом? Или в Америке?

— Не вполне понимаю, почему, собственно, это вас интересует, — сказал я. — Но раз уж вы затронули эту тему, могу рассказать, как обстоит дело. С собой у меня так мало денег потому, что сумму, отложенную на Лондон, я отдал перед отъездом жене. Мы с ней разошлись, и она через несколько дней возвращается в Америку. Я дал ей денег, поскольку она осталась без средств к существованию.

— И сколько же вы ей дали, если не секрет?

— Черт возьми, вы задаете так много вопросов, которые задавать не имеете права, что могу ответить и на этот. Если хотите знать, я дал ей около шестидесяти фунтов. Погодите, возможно, у меня сохранилась даже обменная квитанция... — и я сунул руку во внутренний карман, делая вид, что собираюсь достать бумажник.

— Не кажется ли вам, что вы поступили довольно опрометчиво, отдав вашей супруге все деньги и отправившись в Англию ни с чем, почти ни с чем?

Я злобно улыбнулся:

— Дорогой мой, я уже давно пытаюсь объяснить вам, что не имел в виду въехать в Англию нищим. Если бы вы дали мне возможность попасть в Лондон и послать телеграмму другу, все было бы в порядке. Думаю, впрочем, что говорить вам это — пустая трата времени, но постарайтесь понять меня. *Я — писатель.* Я живу сердцем, а не умом. У меня нет банковского счета, и я не планирую своих дел на годы вперед. Когда я хочу что-то сделать, я это делаю. Вам почему-то кажется, что я еду в Англию, чтобы... откровенно говоря, я не знаю даже, что взбрело вам в голову. Я же хотел поехать в Англию, чтобы — не верите? — услышать английскую речь. А отчасти, чтобы скрыться от жены. Это вам понятно?

— Допустим, — говорит долговязый. — Вы хотите убежать от жены, а заботиться о ней, по-вашему, должно государство? Откуда вы знаете, что она не последует за вами в Англию? И как вы, спрашивается, будете ее в Англии содержать, раз сами остались без гроша за душой?

Я испытал такое ощущение, будто бьюсь головой о стену. Какой смысл было повторять одно и то же тысячу раз?

— Послушайте, — сказал я, — лично мне совершенно все равно, что с ней про-

изойдет. Если она окажется на попечении у государства — это ее дело, а не мое.

— Вы говорите, что работаете в «Чикаго трибюн»?

— Ничего подобного я не говорил. Я сказал, что мой друг, который должен прислать мне деньги, работает в «Чикаго трибюн».

— Вы сами, стало быть, никогда не работали в этой газете?

— Почему же? Раньше работал, а теперь — нет. Пару месяцев назад меня уволили.

Долговязый моментально ухватился за эти слова.

— Ага, значит, вы все-таки работали в парижской газете?

— А я разве это отрицаю? С какой стати вы меня об этом спрашиваете?

— Мистер Миллер, позвольте мне взглянуть на ваше carte d'identité[1] ... Раз вы живете в Париже, должно же у вас быть carte d'identité.

Я выудил документ из кармана. Оба внимательнейшим образом изучили его.

— У вас виза без права на работу — а вы работали корректором в «Чикаго трибюн». Как прикажете понимать это, мистер Миллер?

— Боюсь, что этого вам я объяснить не смогу. Ведь вам бессмысленно объяснять, что я — американский подданный и что «Чикаго трибюн» — американская газета, поэтому...

— Простите, а почему вас уволили из газеты, можно узнать?

— Как раз к этому я и веду. Видите ли, французские бюрократы придерживаются той же точки зрения, что и вы. Впрочем, возможно, я бы и остался в газете, если б ко всему прочему не был еще и плохим корректором. Если хотите знать, в основном меня именно поэтому и выгнали.

— Такое впечатление, что вы этим гордитесь.

— Совершенно верно. По-моему, это признак ума.

— Что же получается? Лишившись работы в «Чикаго трибюн», вы сочли возможным прокатиться в Англию. При этом вы запаслись визой на год и обратным билетом.

— Да, и еще я хотел услышать английскую речь и скрыться от жены.

Тут в разговор вступил маленький, круглолицый. Долговязый явно исчерпал свои возможности.

— Вы писатель, мистер Миллер?

— Да.

— Пишете романы и рассказы?

— Да.

— Печатаетесь в американских журналах?

— Да.

— В каких? Не могли бы вы назвать хотя бы несколько?

— Пожалуйста. «Американ меркьюри», «Харперс», «Атлантик мансли», «Скрибнерс», «Вирджиния куотерли», «Йейл ревью»...

— Одну минуточку. — Он отошел к стойке и, нагнувшись, вытащил большой толстый справочник. — «Американ меркьюри»... «Американ меркьюри»... — бормотал он себе под нос, листая страницы. — Генри Миллер... Генри Миллер... Генри Миллер... Когда это было, в этом году или в прошлом, мистер Миллер?

— В «Меркьюри»? Может, и три года назад, — мягко сказал я.

По-видимому, в его справочнике сведений трехлетней давности не содержалось. Не мог бы я назвать ему журнал, для которого писал последние год-два? Нет, ответил я, не мог бы: последние год-два я работал над книгой.

— А эта книга напечатана? Как зовут американского издателя?

Я сказал, что книгу выпустил англичанин.

— И как же называется издательство?

— «Обелиск-пресс».

Круглолицый почесал в затылке:

— *Английский* издатель, говорите?

Что-то он не мог припомнить такое английское издательство. Он окликнул своего коллегу, который скрылся за перегородку с моим паспортом.

— Ты когда-нибудь слышал про «Обелиск-пресс»? — крикнул он.

Тут я решил, что самое время сообщить ему, что мой английский издатель находится в Париже. Эта информация повергла его в ужас. Английский издатель — в Париже?! Такого просто быть не могло. Ладно, допустим, и как же назывались мои книги?

— Книга только одна, — сказал я. — Называется «Тропик Рака».

На это он отреагировал очень болезненно, мне показалось даже, что его сейчас хватит

[1] Удостоверение личности (*франц.*).

родимчик. Наконец он кое-как справился с собой и сладеньким голоском спросил:

— Полно, мистер Миллер, не хотите же вы сказать, что пишете *медицинские* книги?

На этот раз застыл от изумления я. Долговязый и круглолицый молча сверлили меня глазами.

— «Тропик Рака», — медленно и серьезно проговорил я, — не медицинская книга.

— А какая же? — переспросили они почти в один голос.

— Название этой книги, — объяснил я, — чисто символическое. Тропиком Рака в учебниках географии называют климатический пояс над экватором. Климатический пояс под экватором называется тропиком Козерога или Южным тропиком. Моя книга, разумеется, ничего общего с климатическими поясами не имеет — в ней речь идет о климате духовном. Слово «рак» всегда интересовало меня — это же вдобавок и один из знаков зодиака. В китайской символике знак этот очень важен, ведь рак — это единственное живое существо, которое с одинаковой легкостью передвигается вперед, назад и вбок. В моей книге, конечно же, все сложнее. Это роман, а вернее, автобиография. Если бы здесь был мой чемодан, я бы показал вам рукопись. Думаю, вам было бы интересно. Кстати, в Париже эта книга была издана потому, что для Англии и Америки она слишком непристойна. В ней, простите за выражение, слишком многие стоят в позе рака...

На этом дискуссия закончилась. Долговязый застегнул портфель, надел шляпу и пальто и стал нетерпеливо ждать круглолицего. Я снова попросил вернуть мне паспорт. Долговязый ушел за перегородку и принес мне его. Я открыл паспорт и увидел, что виза крест-накрест перечеркнута большим черным X. Это привело меня в бешенство: казалось, они перечеркнули мое доброе имя.

— И где же в этом райском уголке можно переночевать? — поинтересовался я.

— Об этом позаботится констебль, — ответил долговязый, криво улыбнувшись и отворачиваясь от меня. И тут я увидел, что ко мне, отделившись от стены, направляется огромного роста мужчина, весь в черном, с мертвенно-бледным лицом под черным шлемом.

— Как это понимать? — вскричал я. — Я что же, арестован?

— Ну, это слишком сильно сказано, мистер Миллер. Констебль устроит вас на ночь, а наутро посадит на обратный пароход в Дьеп. — И он опять двинулся к выходу.

— О'кей, — сказал я. — Но вы меня еще увидите — может даже, на следующей неделе.

Констебль подошел ко мне и взял меня за локоть. Я побледнел от гнева, но сжимавшая локоть рука была столь внушительна, что спорить было бесполезно. Это была рука смерти.

По дороге я очень доходчиво объяснил констеблю, что мой чемодан отправлен в Лондон и что в нем моя рукопись и другие вещи.

— Не беспокойтесь, мистер Миллер, — проговорил констебль тихим, уверенным голосом. — Сюда, пожалуйста, — добавил он, и мы направились на почту. Я дал ему всю необходимую информацию, и он своим тихим, спокойным голосом заверил меня, что утром, рано утром я получу обратно все свои вещи в целости и сохранности. По его тону можно было заключить, что это человек слова. Я почему-то сразу же проникся к нему уважением. И тем не менее мне хотелось, чтобы он отпустил мою руку. Я же не преступник, черт побери, и потом, даже если б я хотел дать деру, куда мне бежать? Не в море же прыгать? Однако спорить с ним было, как уже говорилось, совершенно бесполезно. Он принадлежал к числу людей, которые неукоснительно выполняют приказ, и достаточно было посмотреть на него, чтобы понять — обучен он, как сторожевой пес. Констебль мягко, но решительно вел меня в «места лишения свободы». Чтобы попасть в камеру, нам пришлось пройти целую анфиладу пустых, угрюмых комнат и коридоров, и каждый раз, когда мы открывали следующую дверь, он останавливался, доставал связку ключей и тщательно запирал предыдущую. Это производило впечатление. Что-то в этом было даже увлекательное, смешное и жуткое одновременно. Один только Бог знает, что бы он сделал, будь я действительно опасным преступником. Думаю, он бы первым делом надел на меня наручники. Наконец мы добрались до камеры, представлявшей собой большую, мрачную, плохо освещенную комнату. Насколько я мог разглядеть, здесь не было ни души, только несколько длинных пустых скамеек.

— Вот здесь и заночуем, — сказал констебль тем же тихим, ровным голосом. Было в этом голосе даже что-то нежное. Мне он начинал нравиться. — Вон там умывальник, — добавил он, указывая на дверь у меня за спиной.

— Без мытья я обойдусь, — сказал я. — А вот справить нужду не помешало бы.

— Это здесь, — сказал констебль и, открыв дверь в нужник, включил свет.

Я вошел, спустил штаны и сел на унитаз. Когда же через минуту я поднял глаза,

то, к своему изумлению, обнаружил, что констебль сидит на табуретке перед самой дверью. Я бы не сказал, что он наблюдал за мной, но одним глазком, как говорится, посматривал. У меня моментально парализовало кишечник. «Это уж слишком!» — возмутился я и решил, что надо будет об этом написать.

Застегивая штаны, я выразил констеблю свое недоумение, однако тот воспринял сказанное вполне добродушно и объяснил, что это входит в его обязанности.

— Я обязан не спускать с вас глаз, пока не передам из рук в руки капитану, — сказал он. — Таков приказ.

— А что, бывает — убегают? — поинтересовался я.

— Не очень часто. Но сейчас, знаете ли, дела обстоят неважно и многие пытаются проникнуть в Англию всеми правдами и неправдами. Приезжают к нам работу искать.

— Понятно, — сказал я. — Черт-те что творится.

Я шагал взад-вперед по большой темной комнате. Неожиданно меня стала пробирать дрожь. Я подошел к широкой скамье, где лежало мое пальто, и накинул его себе на плечи.

— Хотите, я затоплю камин, сэр? — вдруг спросил констебль.

Его неожиданный вопрос пришелся как нельзя более кстати, и я сказал:

— Не знаю даже. А как вы? Вы тоже были бы не прочь погреться у огня?

— Не в том дело, сэр, — сказал он. — Вы ведь имеете право на камин.

— Черт с ним, с моим правом! Весь вопрос в том, не лень ли вам с этим возиться. Хотите, помогу?

— Нет, сэр, в мои обязанности входит разжечь огонь, если вам холодно. У меня ведь только и дела, что ухаживать за вами.

— Что ж, в таком случае давайте разведем огонь, — сдался я, сел на скамейку и стал смотреть, как он разжигает камин. «Надо же. Стало быть, по закону я имею право на камин. Нарочно не придумаешь».

Когда огонь разгорелся, констебль предложил мне полежать на лавке. Он даже где-то раздобыл подушку и одеяло. Я лежал, смотрел на огонь и размышлял о том, как странно все-таки устроен мир. С одной стороны, тебя тащат на аркане, а с другой — возятся как с ребенком. И все, так сказать, в одной книге: как дебет и кредит в бухгалтерском гроссбухе. Правительство — это невидимый бухгалтер, который делает записи, а констебль выступает в скромной роли промокательной бумаги. Если же по случайности ты получишь коленом под зад или тебе вышибут парочку зубов, то это — бесплатно, в гроссбухе такие услуги не фиксируются.

Констебль сидел на табуретке у камина и читал вечернюю газету. Он сказал, что посидит и немного почитает, пока я не усну. Сказал по-свойски, без всякой злобы или иронии. Как же он все-таки не похож на тех двух ублюдков! Совсем другой человек!

Некоторое время я молча смотрел, как он читает газету, а потом заговорил с ним как человек с человеком. Как будто он — не констебль, а я — не заключенный. Он был, безусловно, неглуп и не лишен проницательности. Мне он чем-то напоминал борзую — во всяком случае, что-то породистое, с благородной кровью. Тогда как те двое — они ведь тоже выполняли свой служебный долг — были форменными садистами, подлыми, жалкими лизоблюдами, что изо всех сил пытаются выслужиться. Если бы констебль по долгу службы убил человека, его можно было бы оправдать. Но те два подонка! Тьфу! И я с отвращением плюнул в камин.

Я поинтересовался, читал ли констебль когда-нибудь серьезную литературу. К моему удивлению, выяснилось, что читал: и Шоу, и Беллока, и Честертона, и кое-что Сомерсета Моэма. «Бремя страстей человеческих» он назвал великой книгой. Я был того же мнения, и это тоже мысленно записал ему в «плюс».

— А вы, значит, тоже писатель? — очень мягко, по-моему, даже не без робости спросил он.

— Что-то вроде того, — скромно сказал я. А затем импульсивно, сбивчиво, заикаясь, принялся пересказывать ему «Тропик Рака». Я рассказывал про улицы и кафе. Про то, как я все это пытался описать в книге, и про то, что не знаю, удалось это мне или нет. — Но это *гуманная* книга, — сказал я, вставая со скамьи и подсаживаясь к нему. — И я хочу сказать вам одну вещь, констебль. Вы тоже производите на меня впечатление очень гуманного человека. Я с удовольствием провел этот вечер с вами и хочу, чтобы вы знали: вы вызываете у меня уважение и восхищение. И, если вы не сочтете это с моей стороны нескромным, мне бы хотелось, когда я вернусь в Париж, прислать вам свою книгу.

Констебль вписал в мою записную книжку свое имя и адрес и сказал, что прочтет книгу с большим интересом.

— Вы очень интересный человек, — сказал он, — и мне жаль, что нам пришлось встретиться при таких обстоятельствах.

— Ладно, не будем об этом, — сказал я. — А сейчас, может, нам с вами имеет смысл немного поспать, а?

— Отчего ж, можно, вы устраивайтесь вон на той лавке. А я сидя подремлю. Кстати, — добавил он, — заказать вам утром завтрак?

«Какой же он все-таки отличный парень, — похвалил я его в душе. — Свет не без добрых людей!» И с этой мыслью я закрыл глаза и задремал.

Утром констебль доставил меня на пароход и передал капитану. На борту не было еще ни одного пассажира. Я помахал на прощание констеблю, а затем поднялся на нос корабля и стал смотреть на Англию. Утро было тихое, спокойное, небо над головой — ясное, кружили чайки. Каждый раз, когда я смотрю на Англию с моря, меня поражает ее безмятежный, какой-то убаюкивающий ландшафт. Английская земля так незаметно сливается с морем, что это даже трогательно. Все кажется таким тихим, таким цивилизованным. Я стоял и смотрел на Ньюхейвен со слезами на глазах: интересно, где живет стюард, встал ли, завтракает или возится у себя в саду? В Англии каждый *обязан* иметь свой сад: так должно быть, это сразу чувствуется. Да, трудно было представить себе утро безмятежнее, а Англию прелестнее, привлекательнее, чем в это мгновение. И я опять подумал о констебле, о том, как он вписывается в этот пейзаж. Я хочу, чтобы он знал: я очень сожалею о том, что ему, человеку совестливому, впечатлительному, пришлось присутствовать при том, как я испражняюсь. Если бы только я мог вообразить, что он будет сидеть под дверью нужника и за мной присматривать, я бы обязательно дотерпел до парохода. Я хочу, чтобы он знал все это. Что же касается тех двух подонков, то их я хочу предупредить: если нам когда-нибудь доведется встретиться снова, я плюну им в глаза. И пусть проклятие Иова будет лежать на них до конца дней. Пусть умрут они в муках, на чужбине.

Это было самое прекрасное утро, какое мне только приходилось лицезреть. Крошечный городок примостился в белых меловых скалах. Здесь кончается земля, здесь цивилизация незаметно опускается в море. Я долгое время стоял так, погруженный в грезы, пока на меня не снизошел глубокий покой. В такие моменты начинает казаться: что бы ни происходило — все к лучшему. Мне вспомнился наш, американский Нью-Хейвен (штат Коннектикут), куда я отправился как-то раз навестить в тюрьме своего приятеля. Когда-то он работал у меня посыльным, и мы подружились. И вот однажды в порыве ревности он выстрелил сначала в жену, а потом в себя. По счастью, оба остались живы. После того как его перевели из больницы в тюрьму, я приехал его навестить, и мы долго беседовали через металлическую решетку. Выйдя из здания тюрьмы, я вдруг заметил, как замечательно на улице, и, не долго думая, отправился на ближайший пляж и выкупался. Более странного дня на берегу я не припомню. Нырнув в воду, я испытал такое чувство, будто расстаюсь с землей навсегда. Но тонуть я вовсе не собирался, хотя, если б знал, что утону, нисколько бы не расстроился. Ужасно хотелось почему-то нырнуть так глубоко, чтобы никогда не возвращаться на землю, оставив позади всю ту кучу дерьма, которую мы называем словом «цивилизация». Как бы то ни было, вынырнув, я посмотрел на мир новыми глазами. Все было не так, как раньше. Люди казались какими-то обособленными, отрезанными друг от друга; сидевшие на пляже похожи были на греющихся на солнце тюленей. Казалось, все они лишены какой бы то ни было значимости. Они были частью пейзажа — такой же, как скалы, или деревья, или коровы на лугу. Каким образом они приобрели такое огромное значение на этой земле, оставалось для меня тайной. Я видел их ясно и отчетливо, как неодушевленные предметы, как животных или растения. В тот день я почувствовал, что способен совершить самое подлое преступление с чистой совестью. Преступление без всякой причины. Да, именно этого мне хотелось больше всего: убить какое-то невинное существо без всякой причины.

Но как только пароход взял курс на Дьеп, мысли мои приняли совершенно иное направление. Я впервые выезжал за пределы Франции и вот теперь возвращаюсь опозоренный, с черным крестом на визе. Что подумают французы? Может, они тоже устроят мне перекрестный допрос? Что я делаю во Франции? На что живу? Не отнимаю ли у французских рабочих кусок хлеба? Не окажусь ли на попечении у государства?

И тут я вдруг запаниковал. А что, если они не дадут мне вернуться в Париж? Пересадят на другой пароход и отправят обратно в Америку? Я ужасно перепугался. В Америку! Отвезут в Нью-Йорк и вывалят там, как мешок гнилых яблок! Пусть только попробуют — я выброшусь за борт. О возвращении в Америку не могло быть и речи. Мне хотелось обратно в Париж. Только бы вернуться в Париж — и я никогда больше не буду сетовать на судьбу. Пусть даже мне предстоит нищенствовать всю оставшуюся жизнь. Лучше быть нищим в Париже, чем миллионером в Нью-Йорке!

Я стал сочинять великолепную речь по-французски, с которой собирался обратиться к чиновникам иммиграционной службы. Речь получилась столь изысканной,

столь прочувствованной, что обратная дорога прошла как сон. Я пытался было проспрягать какой-то глагол в сослагательном наклонении, когда неожиданно на горизонте показалась земля, и пассажиры припали к поручням. «Начинается, — подумал я. — Ну, теперь держись, ныряй в сослагательное наклонение — а там уж как получится!»

Я чисто инстинктивно держался в стороне от остальных пассажиров, словно боясь их заразить. Я не знал, что́ меня ожидает на берегу: то ли agent[1], то ли, едва я ступлю на трап, кто-то вцепится в меня железной хваткой. На деле все оказалось гораздо проще. Как только пароход остановился у причала, капитан, точно так же, как накануне констебль, подошел и, крепко взяв меня за локоть, подвел к поручням, чтобы меня могли рассмотреть стоявшие на берегу. Увидев на набережной человека, которого он искал глазами, капитан поднял левую руку, ткнув указательным пальцем сначала в небо, а затем в меня. С тем же успехом он мог начать считать: «Один! Капуста — один кочан! Крупный рогатый скот — одна голова!» Я скорее был изумлен, чем обижен. В этом его жесте было столько логики, что не имело никакого смысла спорить. В конце концов, я находился на пароходе, пароход подплыл к берегу, меня поджидали — так зачем же посылать каблограмму или звонить по телефону, когда достаточно поднять руку и ткнуть в меня пальцем? Что может быть проще и дешевле?

Когда я увидел, кто ждет меня на берегу, сердце мое ушло в пятки. Это был здоровенный детина с черными усами величиной с велосипедный руль и в огромной, надвинутой на толстые, аппетитные уши шляпе. Даже на расстоянии руки его были похожи на гигантские окорока. Он тоже был одет в черное. Все оборачивалось против меня.

Спускаясь по трапу, я лихорадочно пытался припомнить речь, которую репетировал еще несколько минут назад. В голове не осталось ни единого связного предложения. То, что я бубнил себе под нос, сводилось к следующему: «Oui, monsieur, je suis un Américain — mais je ne suis pas un mendiant. Je vous jure, monsieur, je ne suis pas un mendiant»[2].

— Votre passeport, s'il vous plaît![3]

— Oui, monsieur![4]

Я знал, что вынужден буду многократно повторять «Oui, monsieur», и каждый раз, когда я произносил эти слова, мне хотелось убить себя. Но что было делать? Первое, что вколачивают вам в голову, когда вы приезжаете во Францию: «*Oui, monsieur! Non, monsieur!*[5]» Сначала чувствуешь себя тараканом, но потом привыкаешь и произносишь это бессознательно, и если ваш собеседник не повторяет эти слова без конца, вы ставите это ему на вид. Поэтому, когда у вас неприятности, первое, что приходит на ум: «Oui, monsieur!» — блеете вы,точно старый козел.

Правда, в данном случае мне пришлось произнести этот своеобразный пароль всего пару раз, ибо усатый, как и констебль, был немногословен. Как выяснилось, задача его сводилась к тому, чтобы препроводить меня к другому чиновнику, который тоже потребовал мой паспорт и carte d'identité. Здесь меня вежливо попросили сесть. Я сделал это с огромным облегчением и в то же время, провожая глазами усатого, попытался припомнить, где я мог его видеть.

От вчерашнего допроса с пристрастием сегодняшний отличался прежде всего *уважением к личности.* Думаю, что, даже если б усатый отправил меня на пароходе в Америку, я бы не проклинал судьбу. Он прежде всего держался очень корректно: ни разу не сказал ничего язвительного, грубого, ничего подлого, бесчестного или мстительного. Он говорил на языке своего народа, и в этом языке чувствовалась упорядоченность, внутренняя упорядоченность — следствие большого жизненного опыта. Эта определенность, ясность тем более бросались в глаза на фоне хаотичности его движений. Его окружал почти что непростительный беспорядок. Почти что — ибо вызван этот беспорядок был все-таки чисто человеческими слабостями, человеческими недочетами. Это был беспорядок, в котором вы чувствовали себя как дома, чисто французский беспорядок. Задав мне несколько абсолютно формальных вопросов, он оставил меня в покое. Да, я по-прежнему не представлял себе, как сложится моя дальнейшая судьба, зато одно я знал твердо: каким бы ни было его решение, оно не будет пристрастным, недоброжелательным. Я молча сидел и смотрел, как он работает. Все у него выходило кое-как, ему не подчинялись ни ручка, ни промокательная бумага, ни чернила, ни линейка. Создавалось впечатление, что он только что открыл свою

[1] Сокр. от agent de Sûreté — агент сыскной полиции (*франц.*).
[2] Да, месье, я американец, но я не нищий. Клянусь, месье, я не нищий (*франц.*).
[3] Ваш паспорт, пожалуйста! (*франц.*)
[4] Да, месье (*франц.*).
[5] Да, месье! Нет, месье! (*франц.*)

контору и я был его первым клиентом. При этом чувствовалось, что раньше он занимался совсем другими делами, тысячью других дел, а потому его не особенно волновало, если поначалу не все получается, как хотелось бы. Главное, как он себе уже уяснил, было тщательно все записать в соответствующие книги. А также наклеить марки и поставить печати, которые должны были придать делу законный, общепринятый характер. *Кто я такой? Что я сделал?* Ça ne me regarde pas!»[1] — казалось, говорил он сам себе. «Где вы родились? Где живете в Париже? Когда приехали во Францию?» Получив ответы на эти три вопроса, он состряпал на меня великолепное маленькое досье, к которому со временем будут приложены его подпись с непременным росчерком, а также почтовые марки и необходимая печать. В этом и состояли его обязанности, в них он знал толк.

Надо сказать, что обязанности отняли у него не так уж мало времени. Но время теперь работало на меня. Если б понадобилось, я просидел бы напротив него, незаметно за ним наблюдая, хоть целые сутки. Я понимал, что трудится он в моих интересах и в интересах французского народа и что наши интересы совпадают, ведь оба мы, безусловно, умны и предусмотрительны, а потому доставлять друг другу неприятности не станем. Мне кажется, он был из тех людей, кого французы называют quelconque[2]; это не совсем то же самое, что «никто» по-английски, ибо мистер Кто угодно или Всякий во Франции весьма существенно отличается от мистера Никто в Америке или в Англии. Во Франции quelconque — это не никто. Да, это заурядный человек, но со своей историей, обычаями и родословной, что делает его более значимым, чем так называемые «кто попало» в других странах. Как и этот терпеливый «маленький человек», трудившийся в поте лица над моим досье, люди эти часто плохо одеваются; у них довольно потрепанный вид, а иногда, надо прямо сказать, они вдобавок и не слишком чистоплотны. Зато они не лезут в чужие дела, а это — огромный плюс.

Как уже говорилось, ему понадобилось немало времени, чтобы переписать все сведения обо мне из одного гроссбуха в другой. Между делом приходилось еще вставлять копирку, выписывать квитанции, подклеивать ярлычки и так далее. Кроме того, надо еще было поточить карандаш, вставить в ручку другое перо, найти ножницы (после долгих поисков они были найдены в корзине для мусора), поменять чернила в чернильнице, отыскать чистую промокательную бумагу — дел хватало. В довершение всего буквально в последнюю минуту выяснилось, что просрочена моя французская виза, и он, как человек воспитанный, лишь *намекнул* на то, что было бы недурно визу продлить — если я собираюсь вновь выехать за пределы Франции. За этот совет я был ему крайне признателен, хотя про себя и подумал, что пройдет немало времени, прежде чем я вновь рискну покинуть Францию. Свое согласие на продление визы я дал скорее из вежливости, принимая во внимание те героические усилия, которые он ради меня предпринял.

Когда все наконец было приведено в порядок и мой паспорт и carte d'identité снова лежали у меня в кармане, я робко предложил ему выпить по бокалу вина в баре напротив. Предложение было принято, и мы не торопясь направились в бистро на привокзальной площади. Он спросил, нравится ли мне жить в Париже.

— Повеселей будет, чем в этой дыре, а? — хмыкнул он.

Времени на разговоры у нас оставалось мало — поезд отходил через несколько минут. Признаться, я думал, что напоследок он спросит: «Как же вас угораздило попасть в такую историю?» — но нет, этой темы он так и не коснулся.

Мы вернулись на набережную и, когда засвистел свисток, крепко пожали друг другу руки, и он пожелал мне bon voyage[3]. Я уже занял свое место, а он все еще стоял на перроне. Он помахал мне рукой и еще раз повторил: «Au revoir, monsieur Miller, et bon voyage!»[4] На этот раз «monsieur Miller» прозвучало вполне естественно. Настолько естественно, что я даже прослезился. Да, я точно помню: поезд трогается, а у меня по щекам катятся две большие слезы и падают мне на ладони. Я опять был в безопасности, опять среди людей. «Bon voyage» непрерывно звучало у меня в ушах. Bon voyage! Bon voyage!

Над Пикардией моросил дождик, от которого соломенные крыши почернели, а трава сделалась еще зеленее. Время от времени на горизонте мелькала полоска океана, но ее тут же заслоняли песчаные дюны, а потом — фермы, луга, ручьи.

Внезапно я испытал такое немыслимое счастье, что хотелось вскочить, начать кричать, петь. В голове звучало: «Bon voyage». Какая чудная фраза! Всю жизнь мы болтаемся туда-сюда, бормоча себе под нос эти два французских слова, но отдаем ли

[1] Это меня не касается! (*франц.*)
[2] Любой, всякий, ничем не отличающийся от других (*франц.*).
[3] Счастливого пути (*франц.*).
[4] До свидания, месье Миллер, и счастливого пути! (*франц.*).

мы себе отчет в том, что такое на самом деле bon voyage? Понимаем ли, что, даже идя в бистро или в магазин на углу, мы совершаем путешествие, а по-французски — вояж, из которого можем никогда не вернуться? Если б мы чувствовали, что всякий раз, когда выходим из дома, мы пускаемся в путешествие, изменилась бы от этого хоть немного наша жизнь? Пока мы отправляемся в путешествие на другую сторону улицы или в Дьеп, или в Ньюхейвен, или куда-нибудь еще — Земля ведь тоже отправляется в путешествие, и цель этого путешествия не известна никому, даже астрономам. Все мы, идем ли от дома до перекрестка или едем в Китай, — путешествуем вместе с нашей матерью-Землей. Земля же двигается вместе с Солнцем, а с ним — и все остальные планеты: Марс, Меркурий, Венера, Нептун, Юпитер, Сатурн, Уран. Приходит в движение весь небосвод, и если прислушаться, то можно услышать: «Bon voyage!», «Bon voyage!» И если вы затаите дыхание и не будете задавать слишком много глупых вопросов, то поймете, что словосочетание «отправиться в путешествие» ничего не значит, ведь в жизни нет ничего, кроме путешествия, путешествия в путешествии, и что смерть — это не последний путь, а начало нового пути, и никто не знает, куда ведет этот путь и откуда, но все равно — bon voyage! Я хотел встать и пропеть эти два слова в до-миноре. Вся вселенная представилась мне вдруг целой сетью дорог, далеких и невидимых планетарных путей, и в этом беспрестанном туманном скольжении взад-вперед, в призрачных дорогах из одного мира в другой я увидел, как все живое и неживое машет друг другу, желает счастливого пути: тараканы —тараканам, звезды — звездам, человек — человеку и Бог — Богу. Всем занять свои места, путешествие в никуда начинается, и всем — bon voyage. Все во вселенной, от начала и до конца, являет собой необъятное, молчаливое и непрестанное движение. Неподвижно стоять, когда вокруг тебя совершается хаотическое движение, двигаться вместе с землей, как бы она ни уходила из-под ног, присоединиться к тараканам, звездам, богам и людям — это и есть путешествие! И где-то там, в безвоздушном пространстве, где мы непрерывно движемся, где оставляем наши невидимые следы, — возможно ли? — я слышу тоненькое, язвительное эхо, вкрадчивый голосок, что с недоверием спрашивает по-английски: «Полно, мистер Миллер, не хотите же вы сказать, что пишете *медицинские* книги?» Да, клянусь Богом, теперь я могу сказать это с чистой совестью. Да, мистер Никто из Ньюхейвена, да, я пишу и медицинские книги тоже, великолепные медицинские книги, что лечат все болезни времени и пространства. Вот и сейчас, в эту самую минуту, я описываю то, что является величайшим слабительным для человеческой совести: *чувство дороги!..*

■

ЭМИЛЬ АЖАР
Голубчик

РОМАН
Перевод с французского Н. МАВЛЕВИЧ

...Совет Национальной ассоциации врачей вновь высказывается против легализации искусственного прерывания беременности и считает, что, если подобный закон все же будет принят, исполнение соответствующих «функций» должно производиться «специальными кадрами» и в «специально отведенных заведениях — АБОРТАРИЯХ».

Из газет от 8 апреля 1973 г.

Начну без проволочек, сразу — к делу. Специалист по удавам из зоопарка так мне и сказал:

— С полной ответственностью советую вам, Кузен, дерзайте! Изложите на бумаге все без утайки — нет ничего драгоценнее личного опыта и непосредственных наблюдений. А главное, никакой беллетристики, тема сама за себя говорит.

Следует также напомнить, что значительная часть Африки франкоязычна и именно из этой части, согласно авторитетным данным, происходят удавы интересующей нас породы, то есть питоны. В связи с этим прошу извинить меня за некоторые обмолвки и перекосы, петли и загибы, метания с пятого на тридесятое, прорехи, огрехи, аномалии, нелогизмы, а также стихийные мутации и миграции в стиле, лексике и грамматике. Меня воодушевляет некая Надежда, я ищу отдушину для крика души и потому не могу удовольствоваться расхожими, избитыми словами и оборотами, которые ходят, да не находят, бьются, да не добиваются. Проблема удавов, особенно в условиях Большого Парижа, требует пересмотра привычных представлений, и я хотел бы найти для моего труда не такой разболтанный и затрепанный язык, как языки средних обывателей. Но та же надежда не велит мне окончательно отметать словарный запас, как бы он себя ни скомпрометировал.

Я высказал эти соображения сотруднику зоопарка, и он поддержал меня:

— Совершенно верно. Именно поэтому я считаю, что, во-первых, ваш труд об удавах, подкрепленный практическим опытом, будет чрезвычайно поучителен, а во-вторых, вы непременно должны упомянуть в нем Жана Мулена и Пьера Броссолета[1], поскольку они не имеют ровно никакого отношения к зоологии. Тем больше оснований привлечь их: для разнообразия, для удобства, как вехи, как рычаги. Словом, взял быка за рога — не говори, что кишка тонка!

Я ничего не понял и восхитился. Непонятное всегда приводит меня в восхищение: как знать, не таится ли в нем что-нибудь полезное. Подход чисто рациональный.

Стало быть, приступаю к делу Дрейфуса — говорю это для солидности и в порядке расширения кругозора франкоязычной аудитории. Однако же это имеет и прямое отношение к делу, к которому я приступаю, ибо в силу нелепого предрассудка удавов тоже не любят.

Начнем с естества, с того пункта, в котором природа особо неумолима, то есть с режима питания. Как видите, я не замалчиваю самого неприятного: да, удавы пожирают добычу не просто свежей, а живой, и только живой. Ничего не поделаешь.

Голубчика я привез из туристической поездки по Африке — об этом позже — и первым делом поспешил в Музей естественной истории. Полюбил я его с первого

[1] Жан Мулен (1899 — 1943) и Пьер Броссолет (1902 — 1944) — герои французского Сопротивления. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

© Mercure de France, 1974

Роман Эмиля Ажара «Голубчик» будет выпущен отдельной книгой Издательской группой «Инженерной газеты».

взгляда: увидел на руках у негра перед нашей гостиницей и сразу ощутил прилив нежности, а потом как бы даже ответный ток. Однако о предписанном ему, помимо его и моей воли, образе жизни я тогда ничего еще не знал. Но считал своим долгом обеспечить необходимые условия. Ветеринар с характерным южным акцентом сказал мне:

— В неволе они питаются исключительно живой пищей. Подойдут мышки, морские свинки, а изредка неплохо бы подкинуть и кролика.

И добавил с добродушной улыбкой:

— Они их, знаете ли, глотают, глотают живьем. Мышь застынет перед питоном, а он разинет пасть и... — интереснейшее зрелище. Вот увидите.

Я похолодел. Вот так по возвращении в Большой Париж я столкнулся с проблемой естества, с которой, разумеется, больно сталкивался и раньше, но которой никогда не придавал серьезного значения. Первый шаг я осилил: купил белую мышь; но не успел вынуть ее дома из коробки, как она преобразилась. Пощекотала мне ладонь усиками — и моментально стала личностью. Я живу один, а тут вдруг она... Блондина — так я назвал мышку, это как раз по ее личности. Короче говоря, пока я глядел на малютку в ладошке, она быстренько перешагнула порог сердца и расположилась там по-хозяйски — заняла всю жилплощадь. У нее были прозрачные розовые ушки и свеженькая мордочка — на одинокого мужчину такие вещи действуют безотказно, постольку поскольку в них проглядывают женственность и ласка. А ведь известно: то, чего нам не хватает, разрастается в наших глазах и вытесняет все остальное. Я выбирал мышку побелее и получше, чтобы скормить Голубчику, но у меня не хватило мужества. Скажу не хвастаясь: я слаб. Да тут и нет моей заслуги — это врожденное. Порой такая одолеет слабость, что думаю: не может быть, наверно, вышло недоразумение; но что под этим разумею, не знаю, право, сам — пусть разбирается читатель, а мне слабо́.

Блондина вплотную занялась моей персоной: вскарабкалась на плечо, потыкалась в шею, пощекотала усиками в ухе, и эти милые пустяки сразу нас сблизили.

Но удав-то, удав мог сдохнуть с голоду. Я купил морскую свинку — говорят, они родом из Индии, а там как-никак перенаселение, — однако и этот зверек ухитрился быстренько влезть мне в душу. Просто поразительно, до чего неприкаянными чувствуют себя животные в парижской двухкомнатной квартире и как нуждаются в любимом существе. Я не мог бросить их в пасть голодного удава только потому, что таковы законы природы.

И не знал, что делать, Голубчик нуждался в пище хотя бы раз в неделю и доверил эту заботу мне. Прошло уже двадцать дней, как я взял его под свою опеку, и он выказывал мне нежнейшую привязанность, обвивая меня от пояса и до плеч, раскачивая перед моим лицом свою прелестную зеленую головку и неотрывно глядя мне в глаза, будто в жизни ничего подобного не видел. Исстрадавшись вконец, я решил посоветоваться с отцом Жозефом, священником нашего прихода из церкви на улице Ванв.

***

Я всегда обращался за советом к нашему кюре. И его это очень трогало, он понимал: я жду помощи от него, отца Жозефа, а не от Господа Бога. Священники к таким вещам весьма чувствительны. И я их понимаю: будь я кюре, мне тоже было бы обидно, что меня привечают не ради меня самого. Чувство, знакомое мужьям, которых наперебой зовут в гости ради красавицы жены.

Наши доверительные встречи с отцом Жозефом происходили в «Рамзесе», табачной лавке на углу.

Однажды я случайно услышал слова моего начальника: «У него душа пустует» — и две недели не мог прийти в себя. Может, он говорил не обо мне, но судя по тому, как уязвило меня это замечание, оно в меня и метило, вот почему никогда не следует злословить об отсутствующих. Отсутствовать целиком и полностью невозможно — человеку все равно будет больно, и с этим надо считаться. Это я так, между прочим, просто некоторые выражения, вроде «убивать время», меня угнетают. «Душа пустует» — тоже мне... Я не стал пускаться в объяснения, а достал фотографию Голубчика, которую всегда ношу в бумажнике вместе с паспортом, страховкой и справками на все случаи жизни, и показал начальнику — мол, вот кто живет в моей душе, ничего она не пустует!

— Знаю-знаю, — сказал он, — наслышан. Но позвольте спросить, Кузен, почему вы завели удава, а не какое-нибудь другое, более привязчивое животное?

— Удавы страшно привязчивы. Это у них в крови. Могут так привязаться, что и не развяжешь, — двойным узлом.

— Только поэтому?

Я убрал фотографию в бумажник.

— Его никто не любил.

Начальник странно покосился на меня.

— Сколько вам лет, Кузен?

— Тридцать семь.

Видно, впервые в нем проснулся интерес к удавам.

— И вы живете один?

Тут я насторожился. У нас поговаривают, будто всех служащих собираются регулярно тестировать на предмет выявления дефектов и сдвигов. В целях охраны среды. Может, это оно и есть?

Я похолодел. Поди знай, как расцениваются удавы в психологических тестах. Может, считаются дурным симптомом. Например, означают недовольство служебным положением. Мне представилась запись в личном деле: «Холост, живет с удавом».

— Я решил построить семью, — сказал я, имея в виду скорую женитьбу, но начальник отнес мои слова к удаву. Взгляд его становился все пристальнее. — Это только пока. А вообще я скоро женюсь.

Я сказал правду. Действительно, я собираюсь жениться. На мадемуазель Дрейфус. Она ходит в «мини» и работает на том же этаже, что и я.

— Поздравляю. Но не всякая жена уживется с удавом, — сказал начальник и вышел, не дав мне возможности возразить.

Я и без него знаю, что мало кто из современных женщин согласится жить бок о бок с удавом длиной в два метра двадцать сантиметров, который больше всего на свете любит обвивать человека с головы до ног. Но дело в том, что мадемуазель Дрейфус сама негритянка. И несомненно, гордится своим происхождением, корнями и природным окружением. Она из Французской Гвианы, о чем свидетельствует ее имя: тамошние уроженцы часто присваивают имя Дрейфус в память о местной знаменитости и для привлечения туристов. Невинно осужденный капитан оттрубил там почем зря пять лет, прежде чем его невиновность воссияла на весь мир. Я прочитал о Гвиане все, что только можно разыскать при большой любви, и узнал, что эту фамилию приняли пятьдесят две черные семьи из соображений патриотизма и расизма в армии в 1905 году. А так кто их заденет? Когда однажды некий Жан-Мари Дрейфус был осужден за кражу, это едва не повлекло за собой революцию: посягнули на национальную святыню! В общем, я завел африканского питона без всякого умысла, а не в оправдание и объяснение того, почему я живу один, почему у меня нет женщины и друзей среди себе подобных. Между прочим, начальник сам не женат, и у него нет даже удава. Собственно, предложения я еще не делал, и хотя дело только за удобным случаем, а он может представиться нам с мадемуазель Дрейфус в любой момент, правда и то, что удавы, как правило, внушают брезгливость, отвращение, ужас. Требуется — я сознаю это и не впадаю в отчаяние, — требуется, говорю я, некое избирательное сродство, общие культурные корни, чтобы молодая женщина согласилась терпеть столь весомое доказательство любви. Именно на это я и уповаю. Возможно, я выражаюсь несколько туманно, но в Большом Париже насчитывается десять миллионов жителей, не считая приезжих, так что, даже решившись обнародовать крик души, приходится соблюдать осторожность и о главном умалчивать. Кстати, Жан Мулен и Пьер Броссолет потому и были схвачены, что выдали себя, пойдя на контакт с посторонними.

Или вот еще из той же оперы: как-то раз в метро на станции «Ванвские ворота» я сел в пустой вагон, только один пассажир сидел в уголке. Я сразу увидел, что, кроме него, в вагоне никого нет, и, естественно, сел рядом. Мы сидели и молчали, томясь от неловкости. Вокруг полно свободных мест, а мы — бок о бок, щекотливая ситуация. Я чувствовал, что еще немного — и мы оба пересядем, но крепился, потому что понимал: вот оно, самое кошмарное. Я говорю «оно» для ясности. И тогда мой сосед, желая разрядить обстановку, поступил очень просто и мудро: вынул из бумажника пачку фотографий и стал показывать мне одну за другой, как будто знакомил друга с семейным альбомом.

— Вот эту корову я купил на прошлой неделе. Джерсейской породы. А эта свинья тянет триста кило. Как они вам?

— Просто загляденье, — ответил я растроганно и подумал обо всех, кто ищет и не находит друг друга. — Вы фермер?

— Нет, это я так, — ответил он. — Просто люблю природу.

К счастью, мне было пора выходить, а то мы уже так далеко зашли во взаимной откровенности, что дальнейшее продвижение было бы затруднительно по причине внутренних барьеров.

Уточню для ясности: я вовсе не отступаю от темы — как пошел, так и иду в «Рамзес» советоваться с аббатом Жозефом, но в соответствии с предметом исследования

следую удавьей манере передвижения. Удавы ползают не по прямой, а петлями, бросками, извивами, спиралями, свиваясь и развиваясь, образуя кольца и узлы, стало быть, то же должен прилежно проделывать и я. Чтобы Голубчик чувствовал себя как дома.

Любопытное совпадение: когда я приступил к этим запискам, Голубчик, первый раз на моих глазах, приступил к линьке. Он вылез из кожи вон, но все равно остался самим собой, хотя и при роскошной новой шкуре. Ничего прекраснее этого преображения мне не случалось видеть. Все время, пока он линял, я сидел рядом и курил трубку. А на стенке над нами висели себе Жан Мулен и Пьер Броссолет, о которых я сам, без понукания, уже вскользь упоминал.

***

Однако, как пишет в своей монографии доктор Трене, «питона надлежит не только любить, но и кормить». И вот я пошел посовещаться с аббатом Жозефом по поводу живой пищи для моего питомца. Мы долго беседовали за бутылочкой пива в «Рамзесе». У меня-то с питанием нет проблем: пью вино и пиво, ем овощи и крупы и только иногда немножко мяса.

— Я не в состоянии кормить удава живыми мышами, — сказал я аббату. — Это негуманно. А он не в состоянии есть ничего другого. Вы когда-нибудь видели мышку, отданную на съедение удаву? Это ужасно. Природа дурно устроена, отец мой.

— Не вам судить, — строго одернул меня аббат Жозеф.

Конечно, не мог же он допустить критику в адрес своего Голубчика.

— Вообще говоря, месье Кузен, лучше бы вы побольше заботились о людях. Где это видано — прилепляться душой к рептилии.

Я не собирался ни корчить оригинала, ни пускаться в зоологическую дискуссию о сравнительных достоинствах людей и рептилий. Мне нужно было просто-напросто решить насущный вопрос о пропитании Голубчика.

— Этот удав привязался ко мне, — сказал я. — А я живу хотя вполне пристойно, но одиноко. Теперь же я знаю: дома меня ждут, и вы не представляете, как много это для меня значит. Вы знаете, я занимаюсь статистикой, целый день оперирую миллиардами, но кончается рабочий день — и я резко сокращаюсь до единицы. А тут приходишь домой и видишь: у тебя на кровати свернулось клубком существо, которое целиком от тебя зависит, не может без тебя жить, для которого ты все.

Кюре поглядывал на меня исподлобья. Трубка в зубах придавала ему воинственный вид.

— Если бы, вместо того чтобы обниматься с удавом, вы возлюбили Господа, то не знали бы никаких хлопот. Хотя бы потому, что Он не пожирает крыс, мышей и морских свинок. Поверьте, это куда чистоплотнее.

— Бог тут ни при чем, отец мой. Я хочу иметь кого-то, кто принадлежит только мне, а не всем и каждому.

— Так вот именно...

Но дальше я не слушал. Сидел себе тихо-скромно, шляпа, желтая «бабочка» в синий горошек, пальто и шарф, пиджак и брюки — все как положено и все ради приличия и конспирации. В таком мегаполисе, как Париж, насчитывающем не менее десяти миллионов жителей, следует выглядеть как положено и поступать среднестатистически, дабы не вызывать скопления народа. Но с моим Голубчиком я чувствую себя особенным, избранным, обласканным. Не знаю, как другие, не у всех же погибли отец с матерью. Когда удав обовьет тебя, крепко сожмет талию и плечи, положит голову на шею — закроешь глаза и млеешь от удовольствия, что тебя так любят и голубят. Конец всего, предел мечтаний! Лично мне всегда не хватало рук. Пара собственных рук ничего не дает. Сверх этого нужна еще пара. И право, эта нехватка не менее серьезна, чем нехватка витаминов.

Я пропускал разглагольствования отца Жозефа мимо ушей, а он, кажется, достиг кульминации. Выходило, что нехватки божества можно не опасаться. Его у нас, сдается, больше, чем у арабов нефти, — черпай горстями, не убудет. Впрочем, я не вникал, улыбался про себя и думал о мадемуазель Дрейфус. Вспоминал, как однажды утром зашел в бухгалтерию и услышал:

— А я вас видела в воскресенье на Елисейских полях.

Прямота, чтобы не сказать дерзость, такого признания потрясла меня. А для мадемуазель Дрейфус это особенно смело, постольку поскольку, как я уже с полным равноправным уважением говорил, она негритянка, а для черной нарушить вот так открыто установленные дистанции — не шутка. Она очень красивая, в кожаных сапожках выше колена, но согласится ли она жить в обществе удава — потому что о том, чтобы выставить Голубчика, не может быть и речи — вот вопрос. Я решил действовать медленно и постепенно. Пусть девушка приглядится ко мне: какой я

есть, какой у меня характер, как я привык жить. Поэтому я не сразу ответил на ее инициативу: надо сначала убедиться, что она действительно знает меня, понимает, с кем имеет дело.

***

Мадемуазель Дрейфус — это еще в будущем, а пока что я посадил Блондину в коробку с дырками, чтобы не задохнулась, и спрятал в верхний ящик шкафа — там ее не достать. Продовольственный вопрос играет в жизни огромную роль, и требуется постоянная бдительность, чтобы не допустить предопределенных самой природой жертв. Удавы хоть и толстокожи, но весьма чутки, у них исключительно развита интуиция, и не раз вечерами я заставал Голубчика посреди комнаты тянущимся длинной спиралью — выше и выше — к верхнему ящику. Не в силах достичь желаемого, он, как все смертные, довольствовался одним стремлением. А как он хорош, когда стоит вот так возле шкафа, вытянув голову: брюхо серо-зеленоватое с бежевым отливом, спина поблескивает, как сумочка аристократки, глубокие стеклянистые глаза прикованы к вожделенному месту. Смотрит, смотрит и чуть раскачивается, словно живая пружина, — завораживает, а головкой подергивает направо-налево — ждет. Так английский колонизатор-первопроходец в пробковом шлеме озирает из-под ладони пороги озера Виктория, лелея планы покорения новых земель, — когда я был маленький, я много читал про это.

Я показал ветеринару зоопарка темное пятнышко, каприз природы, которым Голубчик отмечен в левой нижней части живота, и тот в шутку сказал, что это придало бы ему особую ценность, будь он почтовой маркой. Оказывается, такое пятно — большая редкость, а это всегда ценится. Марки с опечатками потому и дороги, что вероятность оплошности предельно мала, близка к нулю, постольку поскольку все выверено и отлажено во избежание ошибок, связанных с человеческим несовершенством. Если я употребляю выражения вроде «человеческое несовершенство» или «предел мечтаний», то с большой осторожностью, стараясь не возбуждать ложных надежд и не причинять болезненных разочарований. Здесь нет снобизма: я говорю о «человеческом несовершенстве» применительно к самому низкому демографическому уровню — так я о себе понимаю — и к таким простым вещам, как рождение и перерождение.

Впрочем, не стоит обольщаться, случайное пятнышко в левой нижней части живота еще ничего не значит. Ждать опечатки, которая придаст исключительность и неожиданную ценность обычной порции спермы, может только безумный филателист, это все равно что ждать пришельцев с летающих тарелок. Скорее налицо тотальное обесценивание священного права на жизнь мочеполовым путем.

Раза два я заставал Голубчика в той же пружинистой позе у стены, пристально глядящим на портреты Жана Мулена и Пьера Броссолета то ли с безнадежным прицелом, то ли просто по привычке смотреть вверх.

И все же, признаюсь, как я себя ни урезонивал, появление пятнышка меня разволновало. Конечно, одна ласточка не делает весны, но за ней, как правило, появляется вторая. И как раз в это время один мой сослуживец, Браверман, человек, весьма и весьма прилично одетый, показал мне статью в американском журнале. Я не знаю английского, будучи по этнической и культурной принадлежности франкоязычником, чем и горжусь, учитывая вклад Франции в прошлое и настоящее человечества. Но Браверман перевел мне сообщение о том, что в саду одной домохозяйки из Техаса на земле (заметьте: прямо на земле, это важно по понятным причинам!) обнаружено большое *пятно* — курсив мой — органического происхождения, большое и *растущее* — курсив опять мой, — повторяю, дабы у читателей не возникло мысли о вмешательстве сверхъестественных или внеземных сил, — итак, обнаружено *большое пятно органического происхождения, интенсивно разрастающееся.*

Оно было коричневое — а у Голубчика темно-серое, однако терпение: в природе все протекает медленно, но верно, по ей одной известным законам, — и внутри представляло собой красноватую массу и росло прямо на глазах. Все попытки устранить его с почвы не увенчались успехом. Чтобы не прослыть лжепророком, даю точную ссылку: газета «Геральд трибюн» от 31 мая 1973 года, она продается в Париже, постольку поскольку у нас интеграция; сообщение агентства «Ассошиэйтед пресс», имя домохозяйки — миссис Мэри Харрис. Названия поселка в Техасе, где имело место указанное явление, не привожу, чтобы не придавать ему узколокального значения. Так же холодно и трезво добавлю: я не сумасшедший, и мне отлично известно, что Иисус Христос не являлся первоначально в виде пятна, будь то на земле в саду или в левой нижней части живота, и что состояние трепетного ожидания сопровождает период скрытого и внутриутробного развития. И вообще, мною движет сугубо научное

намерение дать демографическое описание жизни удава в условиях Парижа и связанные с ним проблемы. Это вещь посерьезнее, чем стихийная иммиграция.

В газете английским языком было сказано, что таинственное губчато-пористое пятно вопреки стараниям миссис Мэри Харрис не желало ни смыться, ни угомониться и что никто не знает, откуда взялся этот новый живой организм.

Вернее всего, Браверман, который терпеть меня не может, хотя из принципа скрывает это под видом предельно услужливого равнодушия, перевел мне статью с целью предельно унизить и оскорбить меня, сообщив о пришествии в мир еще одного губчато-пористого, красноватого внутри организма, не поддающегося определению. Если это так, то его ядовитая стрела прошла мимо цели. Этот неизвестный, ни на что не похожий организм, несомненно, являл собой опечатку, ошибку, вкравшуюся в слаженный механизм, посягательство на законы природы, и, поняв это, я только укрепился в Надежде, утвердился в стремлении. Что бы там ни думал Браверман, это не просто бородавка, хотя и бородавки заслуживают внимания.

Никто не может сказать, что это такое, техасские ученые признали свое *полное неведение*. Значит, есть нечто, открывающее новые горизонты, и это нечто — *неведение*. Голубчик становился еще весомее в моих глазах: ему придавали вес возможности, которые открывало мое неведение; и я трепетал перед этими непостижимыми возможностями. Это и есть Надежда: тревога, трепет, предвосхищение запредельного, страх и испарина. Потому и боишься, что надеешься. Одно от другого неотделимо.

Дождавшись, пока Браверман уйдет, я кинулся в туалет и осмотрел себя с ног до головы. Большинству людей такое вот пятно внушило бы страх, люди вообще боятся всего нового, непривычного, неизвестного. Но меня-то, после всего, что я натерпелся, вы же понимаете, так просто не испугаешь. Не стану расписывать, каково держать в парижской квартире удава в два с лишним метра и одновременно укрывать Жана Мулена и Пьера Броссолета, но, поверьте, это чертовски трудно.

На другой день та же газета сообщила, что в техасском феномене нет ничего невероятного и что это просто-напросто прорастает гриб.

Однако я привел этот случай в доказательство того, что по натуре я оптимист и потому не считаю себя чем-то завершенным, а неустанно жду и всегда готов к возможному чуду.

Возвращаясь к главной теме, во избежание недоразумений и в завершение этой петли, прибавлю, что озеро Виктория находится на территории нынешней Танзании.

***

Покончив с проблемой приема пищи, которая, как я незамедлительно расскажу, была разрешена с помощью религии, возвращаюсь к описанию моих привычек и образа жизни. Так вот, мне случается прибегать к услугам проституток — прошу заметить, я употребляю это слово в самом высоком смысле, с полным уважением и благодарностью за внимание к моей персоне и за пару рук, которых мне так не хватает. Обнимет, например, меня Марлиз, заглянет в глаза и скажет:

— Ах ты мой малышонок...

Мне приятно. Приятно, когда меня называют «мышонком»... то есть «малышонком». Я лучше чувствую себя.

— Ты так смотришь... — говорит она. — Не то что другие... Только не туда. Давай-ка я тебе помою зад.

Вот вопрос весьма интимного и деликатного свойства, который я вынужден затронуть по ходу своего исследования. Говорят, раньше такого не было. У хозяйки табачной лавки на улице Виаль имеется на этот счет свое объяснение.

— Видите ли, тут дело в розочке, — говорит она. — Эта штука по форме и по цвету похожа на розовый бутон, вот и придумали так поэтично: розочка. В мое время до этих штук мало кто был охоч, но уровень жизни поднялся, изобилие, кредит и все такое прочее. Больше благ на душу, все доступно. Короче, виноват уровень. Все совершенствуется, в том числе гигиена. Что было роскошью для избранных, стало в порядке вещей и общедоступно. Народ стал грамотный. С другой стороны, все упрощается, все в темпе и по-деловому. В мое время девушка тактично намекала: «Тебя помыть или ты сам?», делалось это над раковиной, стоя; она намыливала клиенту член и одновременно взбадривала его. А чтобы мыть принудительно — такого не водилось, разве что в виде особой услуги. Теперь же гигиена прежде всего, как же — все грамотные, на все есть законы. Вас в обязательном порядке усаживают на биде и мылят зад, а все потому, что поднялся уровень жизни и блага доступны всем. Можете проверить: это началось лет пятнадцать-двадцать назад, когда наступило изобилие и всеобщее распределение. Раньше шлюха не намыливала зад всем подряд. Только в особых случаях, для любителей, кто разбирается. А нынче все во всем разбираются.

каждому подавай высший класс — реклама постаралась. Реклама — двигатель торговли. И что прежде считалось роскошью, вроде этих розочек, стало первейшей необходимостью. Девушки знают: клиент запросит розочку, он в своем праве и в курсе прейскуранта.

Может, оно и так, но я все равно не могу привыкнуть — тут у меня свои проблемы. Я не требую, чтоб со мной обходились не как со всеми, наоборот, но, когда Клер, Ифигения или Лоретта сажают меня на биде и намыливают мне зад, я чувствую себя страшно ущемленным, обесцененным, обезличенным, ведь я пришел не затем, а потому что мне не хватает женского тепла. И вот у меня все чаще возникает искушение устранить удава и обзавестись подругой, чтобы это тепло было неподдельным и постоянным. Но чем дальше, тем труднее решиться: мой комплекс обостряется, единственное же спасение — знать, что я нужен моему Голубчику. Он чуткий и чуть что наматывается на меня во всю длину и во всю мощь, а мне мало его двух метров и двадцати сантиметров, хочется еще и еще. Так всегда: нежность, она вас пронзает, оттесняет все прочее, но не насыщает, в том-то и закавыка.

Иногда Голубчик свивается в такие узлы, что не может развязаться, так что, имея в виду колумбово яйцо и гордиев узел, можно подумать, будто он задумал самоубийство. Это легко пояснить на примере обыкновенного ботинка, эффект тот же: тянешь, тянешь за шнурок и только сильнее затягиваешь узел. Жизнь полна примеров — широкий выбор. Например, простейшая деликатность мешает мне, молодецки поигрывая плечами и расправляя рубаху за поясом, подступить к мадемуазель Дрейфус да и предложить ей прямо в лоб выйти вместе из лифта, то есть мешает схватиться этак по-мужски за шнурки и потянуть на свой страх и риск, а там неизвестно, что будет и не получится ли только дополнительный узел. Нет, деликатность, простейшая деликатность мешает мне объясниться с мадемуазель Дрейфус открытым текстом, вдруг она будет задета в сознании равноправия, подумает, что я расист и пристаю к ней, потому что она черная и «нечего нос воротить», пользуясь нашим общим неказистым положением и происхождением.

Конечно, можно так потянуть за шнурок, что все узлы р-раз — и развяжутся, как в мае шестьдесят восьмого[1], но лично я в мае шестьдесят восьмого от страха безвылазно сидел дома, даже на работу не ходил, а ну как выйдешь, а тебя схватят и разорвут на кусочки, как показывают фокусники, — эффектный номер! — только у фокусников после номера шнурок опять оказывается целым и невредимым.

Если вдруг какое-нибудь тестирование, на предмет продвижения по службе, эффективного использования рабсилы и т.п., в последний раз терпеливо повторяю: я ни в коей мере не отклоняюсь от главной линии своего исследования, постольку поскольку как начал, так и продолжаю обсуждать с отцом Жозефом проблему «яств земных»[2] для Голубчика.

Удовлетворение естества в самом деле вещь чрезвычайно благотворная и успокоительная. Однажды я намеренно провел такой опыт. Сам себя обнял и сжал. Обхватил себя руками и крепко стиснул, чтобы проверить, каков эмоциональный эффект. Напрягся что есть силы, аж зажмурился. Получилось недурно, но с Голубчиком не сравнить. Если вы испытываете настоятельную потребность в крепком объятии для заполнения грудной, брюшной и прочих внутренних полостей путем их сжатия и острую нехватку пары рук, питон в два метра двадцать сантиметров — идеальное средство. Голубчик может держать меня часами, только оторвет иной раз свою голову от ямочки на ключице, отведет в сторону, заглянет мне в лицо и смотрит, смотрит прямо в глаза, широко разинув пасть. В нем говорит природа. Так что из всех насущных нужд потребность в пище — самая первейшая. И задачей данного зоологического исследования является выработка разумных рекомендаций по некоторым вопросам такого рода.

***

Это было утром, когда Голубчики больше обычного томятся безысходным избытком любви и нежности. Я встал посреди комнаты и плотно обхватил себя руками. Вдруг сзади что-то загремело. Это явилась мадам Бельмесс с ведром и тряпкой — у нее свой ключ. Мадам Бельмесс — в просторечье Нибельмесс — наша консьержка, она же приходит делать уборку. Вошла и оторопела, уставившись на меня. Из уважения к ее привычкам, непривычкам, а также неведению я тотчас расцепил руки.

— Обалдеть! — сказала она как истая француженка. — Ну, прямо умрешь!

— В чем дело?

— Это сколько ж вы так стоите посреди комнаты в пижаме в обнимку сам с

[1] Имеется в виду движение молодежи в Париже в мае 1968 г.

[2] «Яства земные» — название книги Андре Жида.

собой?

Я пожал плечами. Разве объяснишь ей, что я эмоционально заряжаюсь перед дневным погружением в среду? Многие и слыхом не слыхивали об эмоциях и никаких от этого неудобств не испытывают.

— Сколько надо, столько и стою. Занимаюсь йогой.

—Йо?..

—...гой! Занимаюсь йогой. А это называется самообхват.

— Само... что?

— Самообхват. Я не сам придумал, можете проверить по словарю. Упражнение для приобщения к кому-либо или чему-либо. Проще говоря, эмоциональная зарядка. Самообхват.

— Чего-чего?

— Последняя позиция в йоге, ее принимают, когда все остальные уже приняты. Да вон про это и плакаты везде развешаны: «Первая помощь проживающим в Большом Париже». Спросите любого спасателя. Это что-то вроде искусственного дыхания.

— И зачем оно?

— Помогает усвоению жизни.

— А-а...

— Да, такая, понимаете, подпитка.

Приходится перед ней распинаться, щадить ее нервы — из-за Голубчика. Не каждый согласится убирать квартиру, где на свободе проживает удав. Удавы считаются чем-то предосудительным. А кому нравится отвечать за чужие грехи?

Перед мадам Нибельмесс у меня была прислуга-португалка — в Испании уровень жизни подскочил, а в Португалии еще не успел. Когда она должна была прийти в первый раз, я нарочно остался дома, чтобы она не испугалась и привыкла к Голубчику. И вот она приходит, а Голубчик, как назло, куда-то пропал. Он вообще обожает забираться в самые неподходящие места. Я все обыскал — нету. Меня заколотило: тревога, паника, думаю, не иначе что-то стряслось. Но беспокойство оказалось недолгим. У меня около стола стоит корзинка для любовных писем. Написал и сразу туда. И вот, пока я искал удава под кроватью, португалка как заорет благим матом. Оборачиваюсь: вот он, мой Голубчик, в корзинке для бумаг, вытянулся во весь рост и, мило покачиваясь, смотрит на бедную женщину.

Вы представить себе не можете, что тут началось. Португалка задрожала всем телом и рухнула на пол как подкошенная, а когда я брызнул на нее минеральной водой, стала корчиться, вопить и закатывать глаза; я уж подумал, сейчас умрет, а я так ничего и не успею объяснить. Но она пришла в себя и побежала прямехонько в полицию, где заявила, что я садист и эксгибиционист. Пришлось два часа проторчать в участке. Португалка по-французски двух слов связать не могла — стихийная эмиграция — дело такое, — знай только кричит: «Месье — садиста, месье — эксгибициониста»! — а когда я стал объяснять полицейским, что я всего-навсего показал ей своего Голубчика и вообще затем ее и позвал, чтобы она к нему привыкла, они так и грохнули — хи-хи! да ха-ха! — галльский дух — дело такое, так что я уж и слова не мог вставить. На их гогот вышел комиссар, решивший, что начался, как пишут в газетах, разгул полицейского насилия. Иностранная рабсила выкрикивала свое «садиста, эксгибициониста», а я принялся втолковывать теперь комиссару, как было дело: я пригласил эту особу, чтобы приучить ее к виду моего Голубчика, а он вдруг возьми и совершенно непредумышленно с моей стороны поднимись, а поскольку он длиной в два с лишним метра, она испугалась. И что же? Комиссар тоже давай давиться от смеха и прыскать, а полицейские, те и вовсе скорчились.

Я обозлился:

— Не верите, так я могу хоть сейчас вам его продемонстрировать.

Комиссар сразу посерьезнел и довел до моего сведения, что подобная выходка может мне дорого обойтись. Это оскорбление нравственности ее блюстителей при исполнении ими служебных обязанностей. Блюстители тоже перестали смеяться и уставились на меня. Среди них был даже один негр — как раз он-то не смеялся. Мне всегда странно видеть негра во франкоязычной форме — из-за мадемуазель Дрейфус, моей мечты, с ее мягким говором колониальных островов. Но я не дрогнул, достал из бумажника стопку, как говорят мои сослуживцы, «семейных фотографий» и вытащил первую попавшуюся: Голубчик расположился у меня на плечах и прижался головой к моей щеке — это мой любимый снимок, — вот уж действительно предел мечтаний и содружество миров.

На других снимках Голубчик у меня на кровати, на полу рядом с тапочками, на кресле — я всем показываю, не из хвастовства, а просто чтобы заинтересовать.

— Смотрите, — сказал я. — Понимаете теперь, что это недоразумение. Речь не обо мне, а о самом настоящем удаве. А эта дама, хоть она и иностранка, но должна

бы отличать, где удав, а где человек. Тем более что в моем Голубчике два метра двадцать сантиметров.

— В каком Голубчике? — переспросил комиссар.

— Так зовут моего удава.

Полицейские снова заржали, а я рассвирепел не на шутку, до испарины.

Я жутко боюсь полиции — из-за Жана Мулена и Пьера Броссолета. Может, и удава-то завел отчасти для маскировки, чтобы отвлечь от них внимание. Любой запал быстро догорает. Если я почему-либо попаду под подозрение и ко мне придут с обыском, то сразу наткнутся на двухметрового удава, который бросается-таки в глаза в двухкомнатной квартирке, и не станут искать ничего другого, тем более что в наше время о Жане Мулене с Пьером Броссолетом и думать забыли. Говорю об этом из соображений конспирации, необходимой в городе с десятимиллионным населением.

Это не считая зародышей, а я к тому же всецело разделяю мнение Ассоциации врачей о том, что жизнь начинается еще до рождения, и в этом смысле надо понимать эпиграф, позаимствованный из заявления, с которым я солидарен.

Комиссар предъявил фотографии стихийной эмигрантке, и она вынуждена была признать, что видела именно этого, а не какого-то иного Голубчика.

— А вам известно, что на содержание удава требуется особое разрешение? — спросил меня комиссар отеческим тоном.

Тут уж я сам чуть не рассмеялся. Что-что, а документы у меня в ажуре. Ни одной фальшивки, как бывало при немцах. Все подлинные, как при французах. Комиссар был удовлетворен. Нет ничего отраднее для сердца полицейского, чем исправные документы. И это естественно.

— Позвольте спросить вас чисто по-человечески, — сказал он, — почему вы завели удава, а не другое животное, более, знаете, такое?..

— Более какое?

— Ну, более близкое к человеку. Собаку там, хорошенькую птичку вроде канарейки...

— По-вашему, канарейка ближе к человеку?

— Я имею в виду привычных домашних животных. Удавы, согласитесь, как-то не располагают к общению.

— Такие вещи не зависят от нашего выбора, господин комиссар. Они предопределены греховным, то есть, я хотел сказать, духовным сродством. В физике это, кажется, называется спаренными атомами.

— Вы хотите сказать...

— Да. Встреча — дело случая, а он не в нашей власти. Я не из тех, кто помещает объявления в газете: «Ищу встречи с девушкой из хорошей семьи, 167 см, светлой шатенкой с голубыми глазами и вздернутым носиком, любящей Девятую симфонию Баха».

— Девятая симфония у Бетховена, — заметил комиссар.

— Знаю, но это уже старо... Ищи не ищи встречи, а решает все случай. Чаще всего мужчина и женщина, предназначенные друг для друга, не встречаются, и ничего не попишешь, это судьба.

— Я что-то не понял.

— Загляните в словарь. *Фатум фактотум*. От судьбы не уйдешь. Уж это я по себе знаю. Я, можно сказать, ходячая греческая трагедия. Иной раз даже подумываю, нет ли у меня в роду греков. А ведь кто-то с кем-то постоянно встречается, взять хотя бы школьные задачки, но от этих ничейных встреч никакого толку, зря только дети мучаются. Недаром говорят: школьная программа устарела, пора менять.

Комиссар, кажется, потерял нить.

— Что-то я не могу уследить за вашей мыслью, — сказал он. — Очень уж круто завираете... я хотел сказать, забираете на виражах.

— А как же! — ответил я. — На то она и мысль, чтоб делать виражи, витки и петли. Главное — не отрываться от темы, таково первое правило любого упорядоченного мыслительного движения. «Греческая трагедия» — это одно, а, например, «греческая демократия» — совсем другое.

— Не понимаю, при чем тут политика, — сказал комиссар.

— Абсолютно ни при чем. Именно это я и сказал нашему уборщику.

— Вот как?

— Да. Он пытался затащить меня на какую-то «демонстрацию». Говорю в кавычках, потому что цитирую. Сам я такими делами не занимаюсь. Это все равно что линька: лезешь из кожи вон, а в результате одна видимость перемен. Опять же — судьба, то бишь Греция.

Комиссар снова ничего не понял, но как-то уже попривык.

— Так вы точно не занимаетесь политикой?

— Точно. Уж в своей-то теме я разбираюсь, будьте уверены. Удав — нечто вполне завершенное. Удав линяет, но не меняется. Так уж запрограммировано. Меняет

одну кожу на другую такую же, только посвежее, вот и все. Будь в них заложен другой код, другая программа — тогда да, а еще бы лучше, если бы кто-то совсем другой запрограммировал что-то совсем другое, небывалое. Нечто подобное наметилось было в Техасе, вы, может, читали в газетах про пятно. Это было ни на что не похоже, и у меня зародилась Надежда, но вскоре угасла. Если бы неведомо кто запрограммировал неведомо что неведомо где — лишь бы где-нибудь подальше, принимая во внимание «среду» или, как это по-военному говорится, «окружение», — может, тогда и получилось бы что-нибудь толковое. Но надо, чтобы было заинтересованное лицо. А удавы программировались без всякого интереса — тяп-ляп. Поэтому я ни на какую демонстрацию не пошел. Не подумайте, что я перед вами оправдываюсь как перед блюстителем. Их там должно было собраться сто тысяч, от Бастилии до Стены коммунаров, такая традиция, привычка и установка: колонна длиной в три километра от головы до хвоста, ну а мне больше подходит длина в два метра двадцать сантиметров, у меня это называется «один Голубчик» — два двадцать, от силы два двадцать два. При желании он может растянуться еще на парочку сантиметров.

— Как его зовут, этого вашего уборщика?

— Не знаю. Мы мало знакомы. Но я ему так и сказал: хоть три километра, хоть два с лишним метра — размер тут ни при чем, удав есть удав, закон есть закон...

— Вы рассуждаете весьма здраво, — сказал закон, то есть комиссар. — Если бы все думали так же, был бы полный порядок. Но нынешняя молодежь слишком поверхностна.

— Потому что ходит по улицам.

— Не понял...

— Ну, они все выходят на улицы, а улицы поверхностны. Надо уходить внутрь, зарываться вглубь, таиться во мраке, как Жан Мулен и Пьер Бросколет.

— Кто-кто?

— ...а этот малый разозлился. Обозвал меня жертвой...

— Так как же зовут этого вашего уборщика?

— ...сказал, что мой удав — религиозный дурман, что я должен вылезти из своей дыры и развернуться во всю ширь, во всю длину. Нет, про длину, пожалуй, не говорил, длина его не волнует...

— Он, по крайней мере, француз?

— ...даже польстил мне — назвал отклонением от природы. Я-то понял, что он хочет сделать мне приятное.

— Хорошо бы вы время от времени заходили ко мне, месье Кузен, с вами узнаешь столько нового. Только постарайтесь записывать имена и адреса. Всегда полезно заводить друзей.

— Я еще сказал ему, что человеческое несовершенство не исправишь с оружием в руках.

— Постойте, постойте. Он что же, разговаривал с вами с оружием в руках?

— Да нет! Наоборот, он всех голыми руками норовит. Это я сказал — «с оружием в руках», так уж говорится. Фигура речи, добрая старая франкоязычная фигура. Но у удава своя фигура, какие же у него руки!

— Так это вы ему пригрозили? А он что?

— Взорвался. Обозвал меня эмбрионом, который боится родиться на свет. Вот тогда-то я от него и услышал про аборты и про заявление профессора Лорта-Жакоба, ну, знаете, из Ассоциации врачей.

— Кого-кого?

— Великого сына Франции, ныне, увы, покойного, который тут совершенно ни при чем. Я ему и говорю: «Ладно, а что вы сделали, чтобы помочь мне родиться?»

— Профессору Лорта-Жакобу? Но он же не акушер! Он знаменитый хирург! Светило!

— О хирургии и речь. Мальчишка-уборщик так и сказал мне в тот раз в коридоре на десятом этаже: «Рождение — это активное действие». Операция. Возможно, кесарево сечение. Поиск выхода. А если выхода нет, надо его проделать. Понимаете?

— Разумеется, понимаю. Не понимал бы, месье Кузен, так меня бы не назначили комиссаром XV округа. Здесь ведь полно студентов. Чтобы справляться с работой, надо находить с ними общий язык.

— Ну вот, когда я отказался растянуться на три километра, от Бастилии до Стены коммунаров, с песнями, он прямо взорвался. Назвал отклонением от природы... Сказал, что я боюсь родиться на свет, не живу, а только делаю вид, и вообще не человек, а животное, в чем я, в общем-то, не вижу ничего оскорбительного. И ушел. А я ему тогда сказал, что я действительно отклонение, как любое существо, находящееся в переходном состоянии, и этим горжусь, что жить — значит дерзать, а дерзание — всегда против природы, взять хоть первых христиан, и видал я эту природу, извиняюсь, в одном месте. Мне, говорю, не хватает любви и ласки, и пошел ты на фиг.

— Правильно. Молодец. Все это впрямую относится к полиции.

— Не в обиду вам будь сказано, господин комиссар, но это не вас я называл отклонением от природы. Вы приняли мои слова как комплимент на свой счет, а я просто накручивал узлы и петли, приводя ход мысли в соответствие с избранной темой. Полиция, напротив, явление самое природное, закономерное и органичное.

— Благодарю за лестное мнение, месье Кузен.

— Не за что. Вы спросили, почему я завел удава, вот я и отвечаю. Я принял это благое для себя решение во время турпоездки в Африку вместе со своей будущей невестой, мадемуазель Дрейфус, там родина ее предков. Меня поразил тропический лес. Влажность, испарения, миазмы... словом, питомник цивилизации. Заглянешь — многое проясняется. Кишение, деление, размножение... Забавная штука — природа, особенно как подумаешь о Жане Мулене и Пьере Броссолете...

— Ну-ка, ну-ка, повторите имена.

— Да нет, это я так. Можете не трудиться — с ними уже разобрались.

— Если я правильно понял, вы завели удава, окунувшись в дикую природу?

— Дело в том, что я подвержен комплексу. Приступам страха. Мне кажется, что из меня никогда уже никого не получится. Что мой предел желаний нефранкоязычен. Декарт или кто-то еще из великих сказал по этому поводу нечто замечательное — точно знаю, что сказал, только не знаю точно что. Так или иначе, но я отважился посмотреть правде в глаза, надеясь пересилить страх. Тревожный комплекс, комиссар, — мое больное место.

— У нас вы в безопасности. Под защитой полиции.

— Так вот, когда я увидел удава около гостиницы в Абиджане, то сразу понял: мы созданы друг для друга. Он так туго свернулся, что я вмиг догадался: ему страшно, и он хочет уйти в себя, спрятаться, исчезнуть. Видели бы вы, как брезгливо скорчились все дамы нашей группы при виде бедного животного. Кроме, конечно, мадемуазель Дрейфус. А недавно она обратила на меня внимание на Елисейских полях. И на другой день очень деликатно дала мне это понять. «Я, говорит, вас видела в воскресенье на Елисейских полях». Короче, я взял удава, даже цену не спросил. В тот же вечер в номере он забрался ко мне под одеяло и приголубил, вот почему я назвал его Голубчиком. А мадемуазель Дрейфус из Гвианы, и ее так зовут из франкоязычных соображений, постольку поскольку там очень чтят облыжного капитана Дрейфуса — который на самом деле ничего не сделал — за все, что он сделал для страны.

Я бы охотно продолжил беседу, и в конце концов мы бы, возможно, подружились. Не зря же между нами росло взаимное непонимание — залог того, что у людей много общего. Но комиссар заметно утомился и смотрел на меня почти с ужасом, это сближало нас еще больше, поскольку и я его жутко боялся. Однако он нашел в себе силы проявить еще немного внимания и спросил:

— А налог за автомобиль у вас уплачен?

Этот налог я аккуратно плачу каждый год для поддержания духа, чтобы чувствовать, что могу вот-вот купить автомобиль. Так я и сказал комиссару и прибавил:

— Давайте как-нибудь в выходной сходим вместе в Лувр, хотите?

Он испугался еще больше. Я его заворожил, это ясно. Классический случай. Он сидел, а я ходил кругами, как бы невзначай подступая к нему все ближе, целых полчаса я кружил, а он следил за мной с неотрывным интересом. По натуре я привязчив. И всегда испытываю потребность кого-нибудь опекать, с кем-нибудь делиться. А чем комиссар полиции хуже кого-нибудь другого? Правда, у него был смущенный вид, может, оттого, что я ему нравился. В таких случаях люди отводят глаза. Как от нищего бродяги. Взглянуть прямо неловко, вот и смотришь в сторону. Однако еще великий французский поэт Франсуа Вийон предсказывал: *«О люди — братья будущих времен...»*[1] Стало быть, знал: придут такие времена.

Комиссар встал:

— У меня обед.

Открыто пригласить меня пообедать он не осмелился, но я уловил его мысль. Я взял карандаш, бумагу и написал свои имя и адрес: может, как-нибудь заглянет патруль.

— Мне было бы приятно. Полиция обнадеживает.

— У нас туго с кадрами.

— Понимаю, самому, бывает, туго приходится.

Комиссар поспешно пожал мне руку и отправился обедать. Я намеренно выделяю обед, чтобы подчеркнуть, что я не сбился и продолжаю начатую тему о «яствах земных».

[1] Первая строка из «Баллады повешенных» Франсуа Вийона.

***

Итак, предстояло отыскать другую пищу для Голубчика: скармливать ему мышей и морских свинок я не мог — мне делалось дурно. У меня вообще очень чувствительный желудок.

Все это я и изложил отцу Жозефу. Как видите, я необыкновенно последователен, и это главная моя беда.

— Я не способен накормить его. При одной мысли, что несчастная белая мышка будет проглочена, меня мутит.

— Кормите серыми, — предложил священник.

— Серые, белые — все равно тошнит.

— Накупите их побольше. Тогда перестанете различать. Вы так относитесь к ним, пока берете по одной особи. Обособляете. А возьмите безликую массу — острота поуменьшится. Вблизи видна личность. Недаром убивать знакомых всегда труднее. Я знаю, что говорю, — во время войны служил капелланом. Издалека, когда не видно, в кого стреляешь, гораздо легче. Летчики, например, сбрасывают бомбы и мало что чувствуют. Поскольку смотрят с большой высоты.

Он задумчиво помолчал, сделал затяжку-другую и продолжал:

— Ну, а в общем, ничего не поделаешь. Таков закон природы. Каждый жрет, что ему по нутру. Голод не тетка...

И он тяжело вздохнул, вспомнив о голодающих всего мира.

В мышах особенно трогательна невыразимость. Им тоже внушает страх окружающий мир, но все их выразительные средства — пара глазок-бусинок. Мне же для этой цели служат великие писатели, гениальные художники, композиторы.

— Как это прекрасно выражено в Девятой симфонии Баха, — сказал я.

— Бетховена.

Ну, достанут они меня, консерваторы твердолобые!

— Мне больно за всех: за белых, серых — каких угодно.

— Ну, это уже больное воображение. К тому же, помнится мне, удавы не пережевывают пищу, а заглатывают целиком. Какая же тут боль!

Мы явно не понимали друг друга. Но вдруг аббата осенило.

— Не можете сами — наймите кого-нибудь, пусть кормит вашу тварюгу, — сказал он.

Меня взяла оторопь: почему я сам не дошел до такой простой мысли! И сразу всколыхнулся комплекс. Нет, у меня явно что-то не в порядке.

Я сидел как дурак и хлопал глазами. Проще ведь некуда. Колумбовы яйца — вот чего мне не хватает.

Наконец я оклемался и сказал:

— Я говорю о боли не в физическом, а в моральном смысле, имея в виду сострадание.

— У вас его скопилось через край, — сказал отец Жозеф. — В избытке. От избытка вы и страдаете. По-моему, месье Кузен, нет ничего хорошего в том, что вы расходуете запасы не на ближних своих, а на удава.

Взаимопонимание убывало.

— Страдаю от избытка?

— Вас переполняет невостребованная любовь, но вместо того чтобы поступать как все люди, вы привязываетесь к удавам и мышам.

Протянув руку поверх лежащего на столике счета, он взял меня за плечо и сказал:

— Вы неважный христианин. Надо уметь покоряться. Есть вещи непостижимые, недоступные нашему разуму, и их следует принимать. Это называется смирением.

Я вдруг с симпатией подумал о нашем уборщике.

— Сделать удавов привлекательными, а мышей неуязвимыми невозможно, месье Кузен. Вы направили естественные чувства не в то русло, и это не доведет до добра. Женитесь-ка на простой работящей девушке, заведите детишек и увидите: вы и думать забудете о законах природы.

— Что же это тогда за жена! Мне такой не надо, отец мой. Сколько я вам должен?

Последнее относилось к официанту.

Не сговариваясь, мы с аббатом встали и пожали друг другу руки. Рядом посетители играли в механический бильярд.

— Впрочем, практически решение вашей проблемы найдено, — сказал аббат. — У вас есть прислуга? Пусть она раз в неделю и покормит удава в ваше отсутствие.

Он замялся, не желая быть назойливым, но не удержался и напоследок добавил:

— Не забывайте, в мире умирают с голоду дети. Думайте о них время от времени. Это пойдет вам на пользу.

Он сокрушил меня этим ударом и оставил на тротуаре, рядом с раздавленным окурком. Я пошел домой, лег и уставился в потолок. Мне так не хватало дружеских объятий, что я готов был удавиться. На мое счастье, Голубчик замерз — я сам коварно перекрыл отопление именно с этой целью, — приполз и обвился вокруг меня, блаженно мурлыча. Удавы, конечно, не мурлычут, но я успешно делал это за него, помогая ему выразить удовольствие. Получался диалог.

***

На другой день я примчался на работу на час раньше, чтобы застать уборщика, просто поглядеть, что у него написано на лице, но мне не повезло. Экспедитор у входа сказал, что парнишки нет, он на тренировке. Спрашивать, что за тренировка, я не стал — зачем знать лишнее.

А на обратном пути в метро выбрал, по обыкновению, приличного, внушающего мне уверенность в себе человека и подсел к нему. Он почувствовал неудобство — вагон-то был наполовину пустой — и сказал:

— Вы не могли бы пересесть, места, кажется, хватает?

Так всегда. Людей стесняет близость.

Как-то раз вообще получилось смешно: мы с другим приличным господином вместе вошли в абсолютно пустой вагон на Венсенской линии и сели рядом. Минуту-другую терпели, а потом встали и пересели на разные сиденья. Все тот же комплекс! Я ходил к специалисту, доктору Пораду, и он сказал, что страдать от одиночества в большом городе, где трутся и толкутся с десяток миллионов человек, вполне нормально. В Нью-Йорке, я читал, есть особая телефонная служба, куда можно обратиться, когда начинаешь сомневаться, правда ли ты есть на свете. Женский голос подбадривает, уговаривает жить дальше. А в Париже снимешь трубку, так не только слова доброго не услышишь от почтово-телеграфного ведомства, но частенько и гудка не добьешься. Наши мерзавцы хладнокровно выкладывают вам всю правду: вы пустое место, на вас даже гудка жалко. А еще нападают на бордели — видите ли, защищают человеческое достоинство, как будто оно помещается в гениталиях. Всему виной политическое чванство. Не мне судить, что хорошо и что плохо для свободного развития абортариев, и критиковать общественные установления. Сидя внутри, смотреть со стороны неудобно. Я всего лишь стараюсь собрать максимум информации для возможных в будущем изысканий. Так всегда бывает: пройдет время, и ученые займутся выяснением и объяснением что да почему.

Я знаю, в природе нет недостатка в объектах любви: цветы, перелетные птицы, собаки — люби что хочешь, только бедный одинокий удав никому не нужен.

Поэтому я и решил развернуть информационную кампанию: люди должны наконец узнать, увидеть, понять меня. Сие грандиозное решение ничего не изменило, зато придало мне решимости, а решимость — величайшее благо.

Так вот, выбрав погожее утречко, я посадил Голубчика себе на плечи и вышел с ним на улицу. Гулял себе как ни в чем не бывало со своим удавом и гордо поглядывал по сторонам.

Ну что сказать — интерес я, безусловно, возбудил. На меня, наверно, никогда не обращали столько внимания. Меня окружили, шли за мной следом, со мной заговаривали, интересовались, что эта змея ест, кусается ли, ядовита или нет. Все задают одни и те же вопросы, когда впервые сталкиваются с удавом. А Голубчик знай себе спал — такова его обычная реакция на эмоциональную нагрузку. Кое-кто отпускал и колкости. Одна особа с пышным бюстом выкрикнула:

— Да он просто хочет, чтоб его заметили!

Да, хочу. Что же, мне из-за этого удавиться?

С тех пор я стал часто гулять с Голубчиком, иногда целыми днями. Люди мало общаются, мало знают друг друга, отсюда предрассудки, конфликты, распри и все такое. Вот я и понес информацию в массы.

Надо сказать, Голубчик на вид очень славный. Смахивает на симпатичный слоновий хобот. С первого взгляда его, как правило, принимают за кого-то другого. Впрочем, я-то знаю — от близкого знакомства он только выигрывает. На вопросы я отвечал вежливо, на все, кроме одного: не терплю, когда спрашивают, что он ест. Что ест, то и ест, кому какое дело! Однако в пространные разъяснения я не пускался, агитация ни к чему. Люди должны сами во всем разобраться, научиться понимать друг друга, а это приходит со временем.

Но скоро вмешалась полиция, и нашим с Голубчиком прогулкам пришел конец. Оказывается, появление на улицах Парижа с животными, которые считаются опасными, запрещено и расценивается как нарушение общественного порядка.

Что ж, тогда перейдем к конкретным наблюдениям по интересующему нас вопросу.

Самый, пожалуй, вопиющий случай — пенсионер из тридцать седьмой квартиры. Ни с того ни с сего он начал вдруг со скорбным видом рассказывать всем и каждому — а раньше не заговаривал ни с кем, не желая, чтоб его жалели, — что потерял любимую собачку. Все сочувствовали, пока не вспомнили, что никакой собаки у него сроду не было. Просто пришла старость, и ему захотелось всех уверить, будто и у него в жизни была любовь, было что терять. Ему не перечили — какая в конце концов разница. Так он и умер с горя, счастливый сознанием, что прожил не пустую жизнь.

Я уже говорил, что Голубчик ужасно красивый. Особенно когда в комнате солнце и он проворно скользит по полу, чешуйки отливают зеленью, охрой и гармонируют с цветом линолеума. Я нарочно подобрал густо-зеленый с землистым оттенком, самый натуральный. Не линолеум, конечно, натуральный, а фон для нас с Голубчиком, из соображений естественной среды. Я, правда, не уверен, различает ли он цвета, но делаю, что могу. Зубы у него посажены косо и чуть загнуты внутрь, так что когда он берет мою руку в рот, давая знать, что проголодался, я вынимаю ее очень осторожно, чтобы не оцарапаться. Днем приходится оставлять его одного, не брать же его с собой на службу. Пойдут еще кривотолки. Хотя жалко — я ведь занимаюсь статистикой, для одиночки профессия — хуже нет! Целый день у тебя миллиарды, а домой приходишь ничтожной малостью, близкой к нулю. В единице есть что-то тревожное, жалкое, потерянное, она похожа на грустного комика Чарли Чаплина. Как вижу цифру 1, так и хочется помочь ей выйти в люди. Круглая сирота, выросла в приюте, всего достигла сама, и вечно ей сзади наступает на пятки ноль, а впереди перекрывает путь вся мафия больших величин. Единица — живое свидетельство о недорождении и недозачатии. Она тянется к двойне, но потешно семенит на месте. Беспорядочно, как инфузории в капле. Люблю смотреть старые фильмы с Чарли Чаплином, сижу и смеюсь, как будто они не про меня, а про него. Будь я позначительней, единичку бы у меня всегда играл щуплый Чарли с котелком и тросточкой, что вечно улепетывает от жирного ноля, а тот орет на него, выпучив глаза, и никак не дает удвоиться. Нолю надо, чтобы было сто миллионов единиц, не меньше, иначе никакой демографии и никакой прибыли. Не будет притока спермы в банк, и прогорит дело. Ну, а бедняга Чарли опять убегает, опять остается один, и так без конца и без начала. Интересно, что он ест. Нешуточное это дело — единичная жизнь.

***

Я рано осиротел: мои родители разбились на машине, когда я был совсем маленьким. Меня поместили в одну семью, потом в другую, в третью. «Здорово, — подумал я, — глядишь, совершу кругосветное путешествие».

Желая скрасить одиночество, я увлекся счетом. В четырнадцать лет считал ночами напролет, доходил до миллионов, надеялся хоть кого-нибудь найти в этом множестве. В конце концов пошел работать в статистику. Считалось, что у меня склонность к большим величинам, а я просто-напросто хотел закалить себя и заглушить тревожный комплекс, в этом смысле нет лучшего упражнения, чем статистика. Так вот и получилось, что в одно прекрасное утро мадам Нибельмесс застала меня стоящим посреди комнаты в обнимку с самим собой. Я даже легонько покачивался, как будто сам себя убаюкивал, хотя и знал: стыдно, что за младенчество! Утехи с Голубчиком все-таки более естественны. Я как его увидел, сразу понял: вот кто утолит мой эмоциональный голод.

С другой стороны, я стараюсь не допускать перекоса, поддерживаю равновесие, регулярно посещая проституток, — категорически заявляю, что употребляю это слово в самом благородном значении, подразумевая величайшую благодарность, уважение в обществе и награду «За особые заслуги».

Человека, ушедшего в подполье с удавом, одолевает порой безысходность, а тут хоть какая-то отдушина. Сердце проститутки бьется для вас в любое время, приложи ухо к ее груди и слушай, она никогда не пошлет вас куда подальше. Я прижимаюсь ухом, и мы с моей улыбкой слушаем. Девушкам я иногда рекомендуюсь студентом-медиком.

С Голубчиком бывает, как правило, так: я усаживаюсь в кресло, беру его, а он обхватывает мои плечи длиннющей рукой в два метра двадцать сантиметров. Это и называется «органической потребностью». Физиономия у него невыразительная, в силу происхождения: каменный век, допотопные условия и все такое, то же самое у черепах. Взгляд его исходит из глубины пятидесяти с лишним тысяч веков и упирается в стены моей двухкомнатушки. Соседство существа, добравшегося до Парижа из столь далекого прошлого, приятно и утешительно. Оно настраивает на философский

лад, внушает мысли о вечном. Иногда он шаловливо покусывает мне ухо — привет из первобытной эпохи, — ощущение непередаваемое. Я не мешаю ему, закрываю глаза и жду. Внимательный читатель уже должен был догадаться по некоторым намекам, чего именно. Жду, чтобы Голубчик пошел дальше, сделал грандиозный скачок в эволюции и заговорил со мной человеческим голосом. Это и было бы пределом мечтаний. У нас у всех такое затянувшееся несчастливое детство...

Часто я так и засыпаю с доверчивой улыбкой в надежных объятиях двухметрового друга. У меня есть снимок: я сижу в кресле, обвитый спящим Голубчиком. Хотел показать его мадемуазель Дрейфус, но побоялся, как бы она от меня не отступилась, не подумала, что я обласкан по горло. Конечно, я мог бы ей объяснить, что сила объятий измеряется не весом и длиной, а глубиной чувства, но все же есть риск разбудить и в ней тревожный комплекс.

Эх, дорого мне обходится необыкновенное сожительство с Голубчиком. Поверьте моему опыту: мало какая женщина сможет терпеть близость удава. Для этого требуются особая чуткость и душевность, это серьезное испытание, тест, проверка. Без большой охоты никто не пойдет на такое, слишком велико расстояние между нормальным человеком и человеком с удавом. Но мадемуазель Дрейфус, несомненно, смогла бы, тем более что их предки охотились в одних и тех же лесах.

Иногда я просыпаюсь в кресле от удушья — так крепко спит Голубчик. Принимаю две таблетки валидола и засыпаю дальше. Профессор Фишер, автор монографии о питонах и удавах, пишет, что они тоже видят сны. Но не пишет какие. У меня на этот счет свои соображения. Я убежден: удавы спят и видят любимое существо. Мне это точно известно.

***

Движимый интуицией и жаждой познания, я сам стал видеть удавьи сны. Как известно, поставить себя на свое место никак нельзя: во-первых, оно уже занято, во-вторых, мешает тревожный комплекс. Зато, используя симпатический метод, можно поставить себя на место другого. Не знаю, насколько достоверно с научной точки зрения мое открытие, но, действуя таким образом, я и пришел к заключению, что удавы грезят о любви.

С первых же шагов я выяснил поразительные вещи.

Прежде всего обнаружил, что я очень красивый. И мило улыбаюсь, когда мне хорошо. Не сочтите это суждение за нескромность, ведь оно не мое. Что же до собственных моих, выражаясь напыщенно, воззрений на свою наружность, то я как-то осведомился у одной проститутки. Употребляю этот расхожий термин, заимствуя его у других, из соображений коллективизма и солидарности, сам же я его не одобряю, поскольку он уничижительный, а я уничижать не люблю. Так и спросил, что она думает о моей наружности. Она сильно удивилась, потому что вроде бы уже отработала свое. Остановилась на пороге и обернулась. Хрупкая, но бывалая блондинка.

— Ты что-то спросил?

— Что ты думаешь о моей наружности?

В ее обязанности это не входило — все официальные отношения между нами были завершены. Но само ее ремесло располагает к человеколюбию.

— Дай-ка посмотрю. Я ведь тебя не разглядывала. Не до того было — работа...

И посмотрела. Внимательно. Хорошо, что сейчас, а не раньше, а то бы я ничего не смог. И сказала неопределенно:

— Н-ну, ничего... Как все. Даже что-то есть: ты трогательный, будто боишься, что тебя съедят...

Пожала плечами и рассмеялась, но не зло.

— Да ты не расстраивайся. Выкинь из головы. И вообще, любовь — дело такое: не по хорошу мил, а по милу хорош.

У меня защипало в горле, будто я встретил что-то прекрасное. Но ведь в самом деле прекрасно, когда преграды между людьми рушатся и все становятся одним целым. В страшные дни мая шестьдесят восьмого, когда я три недели безвылазно сидел дома — думал, конец света, а раз так, пришла пора надеяться — и опасливо выглядывал из окна, я видел, как совершенно незнакомые люди останавливались на улице, разговаривали друг с другом.

— И потом, у тебя хоть взгляд человеческий. А большинство вообще не глядят, так только, все равно что машины ночью, когда, чтобы не ослепить встречных, катят с притушенным светом. Ну все, пока.

Она ушла, а я еще минут десять сидел в комнате один, утопая в блаженстве, охваченный эйфорией и прологоменом. Не знаю, что означает это слово, но я его всегда употребляю для обозначения веры в неведомое.

Это было очень вовремя, потому что как раз на другой день у Голубчика началась линька. Третья с тех пор, как он живет у меня. Две первые попытки закончились переменой кожи.

Начинается с того, что он впадает в апатию, будто все ему надоело и он во всем разуверился; глаза затягиваются мутной пленкой, а потом старая кожа начинает лопаться и слезать. Это чудное время — миг обновления, заря Надежды. Конечно, новая кожа ничем не отличается от старой, но Голубчик страшно доволен, снует и мечется по полу во все стороны, и я тоже чувствую себя счастливым. Без всякой причины, но это и есть самое настоящее счастье.

В статуправлении я постоянно напеваю, потираю руки, мне не сидится на месте, и сослуживцы удивляются моему оживлению. Я ставлю перед собой на рабочий стол букетик цветов, строю планы на будущее. Потом все успокаивается. Я снова заползаю в свое пальто-шляпу-шарф, в свою двухкомнатушку. А там Голубчик лежит, как обычно, клубком в углу. Праздник окончен. Но все равно это чудесно. И очень полезно для организма: обостряет чувства и предчувствия, укрепляет упования.

***

Собственно говоря, с собой я еще худо-бедно разберусь, а вот с другими беда. Хоть за порог не выходи. Как уже неоднократно отмечалось в нашем повествовании, в Париже и пригородах проживают десять миллионов человек, чье невидимое присутствие вполне ощутимо, но я иногда остро ощущаю их видимое отсутствие, и в этой отсутствующей толпе у меня разыгрывается комплекс. Испарина небытия. Правда, врач сказал мне, что это ничего, страх пустоты — разновидность страха больших множеств, подчиняющих себе малые, такова математика современности. Я думаю, мадемуазель Дрейфус должна страдать от него особенно остро, поскольку она цветная. Мы созданы друг для друга, но она колеблется из-за моих отношений с Голубчиком. Наверно, думает, что человек, окруживший себя удавом, ищет каких-то необыкновенных спутников жизни. И сомневается в себе. Поэтому вскоре после нашей встречи на Елисейских полях я сделал попытку помочь ей. Пришел на работу чуть раньше обычного и стал ее дожидаться около лифта, чтобы совершить поездку вместе. Надо же поближе познакомиться, прежде чем принять окончательное решение. А в пути люди быстрее сходятся, лучше узнают друг друга. Хотя в лифте все, как правило, держатся скованно, стоят навытяжку, не глядя на попутчиков, боятся ступить на чужую территорию. Лифт — настоящий английский клуб с остановками на каждом этаже. У нас в статупре каждая поездка занимает минуту десять секунд, а когда ездишь так каждый день, пусть даже молча, со временем подбирается тесная компания товарищей по лифту. Постоянное место встреч много значит.

За четырнадцать первых поездок у нас с мадемуазель Дрейфус ничего не разладилось. К счастью, кабинка не слишком большая, ввосьмером там очень уютно. Я всю дорогу сохраняю выразительное молчание, все равно за минуту не раскроешься, а выглядеть балагуром или массовиком-затейником не хочется. Когда же мы высадились на своем десятом в пятнадцатый раз, мадемуазель Дрейфус вдруг заговорила со мной, причем сразу по существу:

— А ваш удав, он все еще живет с вами?

Вот так, нежданно-негаданно. И смотрит мне прямо в глаза. Когда женщина чего-то хочет...

У меня захватило дух. До той поры никому до меня не было дела. И такая ревность — дескать, выбирай: он или я — мне в новинку.

Я стушевался и сморозил глупость, просто чушь собачью:

— Да, он со мной. Понимаете, в условиях Большого Парижа надо, чтобы рядом было любимое существо.

Любимое существо... Ну, не кретин ли — сказануть такое девушке?! Ведь вследствие естественного взаимонепонимания она только и могла заключить, что у меня уже кто-то есть, благодарю покорно. Так и вижу ее: сапоги выше колена и мини-юбка из чего-то такого. Да еще оранжевая блузка.

Она очень красивая. Я мог бы сделать ее еще прекраснее силой воображения, но не буду, чтобы не увеличивать дистанцию между членами нашего треугольника.

Сколько у меня могло быть женщин, не держи я удава, страшное дело! Слишком богатый выбор тоже рождает комплекс. Впрочем, я взял в дом вызывающее чувство всеобщего омерзения пресмыкающееся не для самообороны, я хотел, чтобы рядом было... Прошу прощения. Кажется, я выхожу за рамки естественно-научного исследования.

Когда я сказал мадемуазель Дрейфус, что у меня есть любимое существо, она так на меня посмотрела... но не подала виду, что обиделась или огорчилась. Ничуть. Сила

привычки развивает у черных в Париже чувство собственного достоинства.

Она даже улыбнулась. Грустно, будто нехотя, но улыбки часто бывают грустными, с чего веселиться?

— Счастливо, до свидания.

Попрощалась она очень вежливо и подала мне руку. Мне бы ее поцеловать, как было принято в старину. Но, чего доброго, прослывешь ископаемым.

— Счастливо, до свидания, спасибо, — сказал я, и она пошла по коридору в своей мини-юбочке.

А я остался стоять, мысленно нащупывая газовый кран. Умереть, умереть на месте, сию же минуту. Я уже обдумывал, как бы осуществить это желание, но вдруг на меня налетел уборщик, тащивший, как атлет, пирамиду из пяти мусорных корзинок.

— Чего ты тут торчишь, Голубчик? Да еще с такой кислой мордой?

В управлении меня зовут Голубчиком, шутка такая. По-моему, ничего остроумного, ну да ладно, я притерпелся.

— Да что с тобой?

Я не стал пускаться в откровения. Почему-то паренек не внушает мне доверия. Я его даже опасаюсь. Он вроде бы что-то замышляет. И это подозрительно. Но в конце концов, я не полиция. Знаю я таких: делают вид, что им все нипочем, а совершить ничего не могут, вранье, оно вранье и есть. И еще не люблю, когда мне талдычат, будто я все делаю не так. А наш уборщик вечно корчит из себя умника да поглядывает с хитрой ухмылкой: мол, ему-то известно, что и как надо делать, все проще простого, только руку протяни.

Нет, не нравится мне его взгляд. Будто я перед ним провинился. А у меня тоже есть гордость, и нечего меня шпынять почем зря.

— Кстати, — сказал он из-за своей пирамиды, — в субботу вечером у нас собрание. Может, придешь?

Узнаю честолюбца: все они только и знают, что предъявлять требования и претензии. В сущности, тот же фашизм. Впрочем, может, тотальный фашизм, обрывающий все надежды, не так уж плох. Чем не демократия: у всех одинаково нет свободы, и все понимают, почему ее нет и быть не может. Значит, у всех есть оправдание. Бывают же люди, которые до того боятся смерти, что не выдерживают спокойной жизни и кончают с собой.

— В полдевятого в комитете. Приходи. Хоть выползешь из своей дыры.

Чего я действительно не терплю, так это когда ругают мое жилище. Лично для меня нет ничего дороже. Каждый предмет, каждая вещица в моем доме, от шкафа до пепельницы, — мои старые друзья. Я твердо знаю, что каждый вечер найду их на тех же местах, где оставил утром. Это вселяет уверенность. И ослабляет комплекс. Кресло, кровать, стул всегда готовы принять меня, свет послушно зажигается, только нажми на кнопку.

— Мой дом не дыра, — сказал я. — Дыра — это пустое место, а я живу в удобной квартире.

— Ты просто врос в нее и ничего не видишь, — ответил он. — Да не кипятись, мне, в общем-то, до тебя нет дела, но больно смотреть. Так приходи в субботу. У меня заняты руки, возьми-ка сам у меня из кармана листочек, там указаны день и час. Развеешься.

Я чуть не послушался — в силу слабости. Не все знают, какая огромная сила слабость и как трудно с ней бороться. К тому же, мне не хотелось, чтобы считали, будто я эгоист и ничего не вижу дальше своего Голубчика. Хотя, если уж на то пошло, я не из тех, кто готов присудить Иисусу Христу Нобелевскую премию по литературе. У меня, как ни странно, обычная температура тела — тридцать шесть и шесть, хотя самочувствие подсказывает минус пять. По-моему, недостаток тепла может быть возмещен, если в один прекрасный день откроют новый, не зависимый от арабов источник энергии; наука сотворит очередное чудо, и можно будет получать любовь прямо от сети.

***

Непреложная ценность этих строк так очевидна, что я обратился к нескольким издателям с письмом, текст которого приведен ниже. И издатели, и текст подбирались с величайшей придирчивостью, постольку поскольку мое произведение еще находится в состоянии сыроватости и чреватости, а подавление зародышей — явление весьма и весьма распространенное в наши дни.

«Уважаемый г-н Такой-то!

Направляю Вам свой труд, обобщающий длительный личный опыт и наблюдения за жизнью удавов в условиях Парижа. Понимая, сколь велик поток произведений

о подпольной деятельности, а также сколь неизбежно выжидание для зародышевого состояния, я вместе с тем довожу до Вашего сведения, что в случае неполучения ответа обращусь, согласно общепринятому порядку, в другое место. С уважением и т.д.»

Я намеренно выдержал письмо в сухом и категорическом тоне, чтобы они решили, будто у меня есть другие возможности, и всполошились. Причем не уточнил, что это за возможности, на деле, разумеется, отсутствующие, — так они представляются более обширными, практически беспредельными. А поскольку беспредельные возможности — самое милое дело, я приободрился.

Как нетрудно заметить, в моем письме нет ни слова о женщинах, во избежание излишней откровенности.

Только я положил ручку, как раздался звонок. Я быстренько поправил перед зеркалом волосы и желтую в зеленый горошек «бабочку», как делал всегда, когда ошибались дверью. Но каково же было мое удивление, когда я увидел на пороге уборщика из управления и двух никогда ранее не попадавших в поле моего зрения молодых людей. Уборщик протянул мне руку.

— Привет. Мы проходили мимо и подумали: дай-ка зайдем посмотрим на хваленого удава. Можно?

Я возмутился до глубины души. Больше всего я дорожу своим правом на личную жизнь, никому не позволено вламываться ни с того ни с сего ко мне в дом. Частная жизнь святыня, именно ее лишились бедные китайцы. Мало ли чем я мог заниматься: может, смотрел телевизор, или размышлял, или изучал какое-либо из материальных проявлений свободы слова во Франции. Наконец, у меня могла быть мадемуазель Дрейфус, как она была бы шокирована, если бы кто-то с работы застал ее у меня и узнал о наших интимных отношениях! Негритянки особенно щепетильны в таких вопросах, учитывая их репутацию.

Я ничего не сказал, но комплекс мой разбушевался, хотя и без всякой причины, потому что, к счастью, мадемуазель Дрейфус у меня не было.

Парни вошли.

Я даже не успел снять со стены Жана Мулена и Пьера Броссолета. Как все люди, я не люблю, чтобы надо мной насмехались. И потом, кто хочет выжить в мегаполисе с населением свыше десяти миллионов человек — прошу прощения, что повторяюсь, я просто пытаюсь свыкнуться с фактом, — должен иметь что-нибудь сугубо личное: вещицы, тряпицы, коллекцию марок или хоть мечту, — пусть самую малость, но свое, капельку личной жизни. А больше всего я не хочу, чтобы кто-нибудь, — то есть кто ни будь! —увидев у меня на стене портреты двух настоящих людей, не подумал, что я одобряю сомнительную процедуру надувания через помпу, в просторечье называемую засорением мозгов и требующую регулярной прочистки. Если вовремя не прочистить, засор станет хроническим. Фашисты называли это «чистотой веры и идеалов», на деле же идеальная чистота оборачивается политическими нечистотами, а уж те разливаются «пражскими веснами». Глядя на туго свернувшегося Голубчика, связавшего самого себя в пудовые узлы, я особенно ценю свободу и неприкосновенность моего «Я» и моего жилья. С другой стороны, меня никак не обвинишь в каком-либо умысле, поскольку, когда я зародился, оба героя Сопротивления уже давно перекочевали в иной мир — тот, где живут все подлинно родившиеся.

Гости долго глазели на удава. Голубчик дрых в кресле, обмякший, как сдутая велосипедная камера. Он это обожает, а мускулы напрягает только по необходимости: когда надо извиваться, скручиваться, ползать.

— Что же, здорово, — съязвил уборщик, — есть кому о тебе позаботиться.

Я пропустил его слова мимо ушей. Ненавижу пикировки.

— А что он ест? — спросил один из его приятелей.

Этот вопрос я тоже ненавижу и тоже пропустил мимо ушей. Но он упрямо повторил:

— А что они все-таки едят, удавы-то?

— Хлеб, макароны, сыр и все такое прочее, — ответил я.

Мысль о заглатывании живых мышей и свинок мне претит, и я стараюсь упрятать ее подальше.

— Мы принесли тебе кое-что почитать, — сообщил уборщик.

И нате вам, парни вытаскивают из карманов брошюры и листовки.

Я набил трубку и задымил, как англичанин. Когда подступает комплекс, я стараюсь представить себя англичанином, невозмутимым и непрошибаемым.

— Рано или поздно ты влипнешь, — посулил уборщик. — Вот увидишь, узнает кто-нибудь из соседей и заявит в полицию или в санэпидслужбу.

— Я получил разрешение, — сказал я, — на содержание удава в домашних условиях. У меня все как положено.

— Не сомневаюсь, — сказал он. — «Все как положено» — таков ваш жизненный

принцип.

Когда они наконец ушли, я подошел к питонцу и взял его на руки. Эх, Голубчик ты мой, трудно тебе в таком неприспособленном городе. Мы с ним сели на кровать и долго сидели в обнимку. Я словно услышал его ответ и чуть не расплакался за него, постольку поскольку он устроен нечеловечески и сам не может.

А один мой сослуживец ездил в отпуск в Тунис и вернулся загорелым дочерна.

Это я к тому, что замечаю и хорошее тоже.

***

Вечером я предпринял нечто из ряда вон выходящее, желая, как выражаются уборщики из статуправления, «развеяться». Пошел поужинать в ресторан «Каштаны» на улице Кав. За одним столиком со мной сидела пожилая пара. Мне, постороннему, они, естественно, не сказали ни слова — не принято. Им подали антрекот с жареным картофелем.

Сам не знаю, как у меня хватило дерзости на такое. Конечно, мне всегда хочется иметь с кем-то что-то общее — многолетний голод, хронический дефицит. Но есть внутренний контроль, не позволяющий неприличные выходки из себя на людях, иначе невозможно безнаказанно жить в мегаполисе. Однако иногда самоконтроль теряется.

Вот он у меня и потерялся.

Я протянул руку и взял ломтик картошки с *их* тарелки.

Подчеркиваю *их* ввиду беспрецедентности.

И съел.

Они ничего не сказали. Видимо, не заметили именно ввиду беспрецедентности и умопомрачительности.

Я взял еще один ломтик. Слабость опять оказалась сильнее меня.

И еще.

Потом третий, четвертый.

Меня прошиб пот, но это было сильнее меня. Говорю же, слабость непреодолима.

Еще ломтик, запросто, по-свойски.

Подсознание зарвалось и понесло! Нечего сказать, развеялся. Расслабился.

Еще ломтик.

Дружеский штурм.

Что было дальше, не знаю, потому что пол у меня под ногами вдруг закачался, как при землетрясении, все вокруг заволоклось туманом, а когда я очнулся, все было по-прежнему. Ничего не случилось, ничего не изменилось. Передо мной стояла тарелка с артишоками, а пожилая пара лакомилась антрекотом с жареной картошкой.

Оказалось, инцидент не вышел за рамки подсознания. Попытка штурма потерпела неудачу, штурмующие вытеснили и скрутили сами себя, без ущерба для вражеской картошки. Я был во власти фантазии. Помню, в городе на всех стенках красовалось: «Власть — фантазерам!»[1] Стенкам что: они крепкие, на них еще и не такое пишут!

А я потерял сознание от ужаса. Но не упал, так что никто ничего не заметил. Повезло.

Однако идея, признаю без ложной скромности, была отличная, надо бы как-нибудь провернуть такую штучку.

До дому я дополз совершенно без сил и решил ознакомиться с литературой, которую оставили уборщики. Собственно, уборщиком был один, но это все равно. Итак, я осторожно просмотрел брошюры, газеты и листовки.

«Осторожно» не потому, что боялся общественно-опасности, а потому, что я все делаю с осторожностью, такое у меня жизненное правило. Не найдя ничего, касающегося предмета данного исследования, я выкинул всю кучу в корзинку. А потом обвил плечи Голубчиком, и мы забылись, блаженно приникнув друг к другу. Как много людей скверно чувствуют себя в своей шкуре, а все потому, что она чужая.

***

Итак, мы с Голубчиком долго нежились в блаженном забытье. Однако надо сказать, что вот уже десять месяцев я каждое утро езжу с мадемуазель Дрейфус в лифте, и, если умножить время каждого подъема на количество дней, получится изрядная цифра. У нас всего двенадцать этажей, и шутки ради я дал каждому имена: Бангкок,

[1] Лозунг бунтарей студентов в мае 1968 г.

Сингапур, Гонконг и так далее, как будто мы с мадемуазель Дрейфус совершаем круиз, чем плохо! Однажды я даже попытался сострить — во мне есть что-то английское, я склонен к юмору. Кабина доехала до шестого — по моей карте это бирманский порт Мандалай, — и я сказал мадемуазель Дрейфус:

— Стоянки такие короткие, что не успеваешь осмотреть город.

Она не поняла — каждый ведь сходит с ума по-своему — и только удивленно на меня посмотрела. А я прибавил:

— Говорят, в Сингапуре много интересного. Там сохранились китайские стены.

Но мы уже добрались, и мадемуазель Дрейфус так и вышла в своей мини-юбке и в полном недоумении.

Я же весь день просидел в висельном настроении. Что, если все совсем не так, как мне представлялось? С чего я вообразил, будто свет сошелся клином на мне? Может, я совсем неверно толкую чувства мадемуазель Дрейфус? Может, она, цветная, сочувствует заброшенным злой судьбой в Париж одиноким пестрым удавам и снисходит ко мне только из жалости к ним? А мне ее жалости не надо, мне и своей хватает. Я маялся комплексом неполноценности. И полнейшей свободы, когда никто никому не обязан, никто никого не держит и не поддержит, полнейшей воли, когда один в поле, ни ответа и ни привета, связан свободой по рукам и ногам, невольник того, чего у тебя нету. Такая свобода возвращает вас в зачаточное состояние, погружает в собственное предвосхищение. Тут меня занесло в астрологию, и я подумал: как знать, может, наша планета населена двумя с половиной миллиардами астрологических знаков, в которых закодирована судьба другого, полнокровного человечества, живущего в другой галактике? И Жан Мулен с Пьером Броссолетом тоже были этакими предопережениями, знаменательными преждеминованиями, депозитами в спермобанке, досрочно израсходованными в силу вкравшегося в систему человеческого фактора? Свобода — страшно тяжелая штука, без нее многое было бы объяснимо и извинимо. Тебе ее выдают, как в банке: получил и иди гуляй, а этого мало, надо, чтобы было еще что-нибудь, например, любимое существо — это я так, к слову, — чтоб не только от собственной воли зависеть. Я, конечно, против фашизма, но любовь — особое дело. В связи с этим повторю и, учтите, в последний раз, не прекратятся инсинуации, заговорю по-другому, так вот: я не собираюсь никого отпугивать Голубчиком, да и некого, никто ко мне в любимые существа не набивается. В тоталитарном государстве, по крайней мере, все ясно: нет свободы, значит, взятки гладки. А во Франции никакого тебе оправдания, то-то и скверно! Нет ничего подлее и мерзопакостнее страны, где все есть для счастья человека. То ли дело африканский голод или хотя бы хроническое недоедание, военная диктатура — вот это, я понимаю, оправдания, а сам ты ни при чем.

Я так разволновался, что дома вытащил из мусорной корзинки и перечел все брошюры и листовки, но не нашел ничего о себе лично — одна политика.

***

Похоже, аббат Жозеф прав: я действительно страдаю от избытка. Вернее, страдаю избытком. И по-моему, это всеобщая болезнь, весь мир страдает застоем любви, которую никак не может излить, и оттого изнемогает в ожесточении и конкуренции. В сердечных кладовых скрыты огромные эмоциональные ресурсы, плесневеющие и приходящие в негодность, залежавшаяся протухция, многовековые сбережения и отложения, сокровища чулок и кубышек. Они бродят, бурлят и не имеют иного выхода, кроме как через мочеполовые пути. Отсюда стагнация, инфляция и долларовая лихорадка.

И вот что я думаю: путешествуя вместе со мной в лифте, мадемуазель Дрейфус прекрасно понимает, что я страдаю от избытка, но робеет и не решается предложить помощь в силу своего происхождения. Великая страсть страшит малых мира сего. У нас в управлении есть одна секретарша, мадемуазель Кюкова, так над ней все смеются, потому что она каждые десять минут бегает в туалет. Должно быть, у нее очень маленький мочевой пузырек, совсем игрушечный.

Но я не теряю надежды. Женщину не может не привлечь молодой, прилично обеспеченный мужчина, который не побоялся связаться с двухметровой рептилией, холит ее, лелеет и кормит, чем она пожелает. Женщина чует теплое местечко.

Не считая того раза, мадемуазель Дрейфус не обменялась со мной в лифте ни словечком. То ли чувствовала, что наши отношения становятся все серьезнее, то ли просто от застенчивости. Возможно, ее смущают разговоры об удавах, по ассоциации с черномазыми обезьянами. Я начинаю думать, что родился слишком поздно, чтобы найти применение братским чувствам. Упустил хорошие времена, когда евреев притесняли, негров считали неполноценными, а арабов вшивыми и было так великодушно относиться к ним как к равным, теперь же благородные порывы пропадают

даром. Не придумаешь, как и проявить свое благородство. Вот если бы еще существовало рабство, я бы сразу женился на мадемуазель Дрейфус и почувствовал бы себя человеком. А так я это чувствую, только когда гуляю по городу с Голубчиком на плечах и слышу со всех сторон: «Какой ужас! Боже, ну и урод! Как власти терпят! С ума сойти! Эта тварь наверняка кусается, она опасная, ядовитая!» А я иду и в ус не дую, поглаживаю Голубчика и сияю: наконец-то я самовыражаюсь, утверждаюсь, проявляюсь, соприкасаюсь с внешним миром.

— Ишь распоясался!

— Носит на себе рассадник заразы! Вон у моей сестры была служанка-алжирка, и что вы думаете? Заразила глистами!

— Бедняга, наверно, у него никого нет.

Одного удава, конечно, мало. Но у меня есть еще мадемуазель Дрейфус в лифте. Между нами установилась тайная дружба. Мы скрываем свои чувства от постороннего взгляда, соблюдая деликатность и скромность. Она всю дорогу стоит опустив глаза, только подрагивает ресницами, пугливая и робкая, как газель, и каждая новая совместная поездка сближает нас и приближает долгожданный сладкий миг, когда осуществится равенство 2=1.

Чтобы сделать решительный шаг, мне остается только преодолеть неоскудевающее чувство собственного недобытка. Будто меня еще нет. Вернее, что я пребываю в состоянии «прологомена». Очень точное слово, в нем слышится «пролог» к чему-то или кому-то, и это вселяет надежду. В таком состоянии чувствуешь себя только эскизом, черновиком, и если оно на меня накатывает, я принимаюсь бегать кругами по своей двухкомнатушке и искать выход, причем самое досадное, что от дверей в этом случае никакого толку. Однажды во время такого приступа недорожденности я сочинил письмо профессору Лорта-Жакобу, которое привожу ниже.

«Уважаемый г-н профессор,

в подписанном Вами заявлении Национальной ассоциации врачей справедливо осуждается легализация абортов, а заведения, где производятся эти нарушающие права человека на свободу рождения операции, именуются «абортариями». Позволю себе в частном порядке и строго конфиденциально сообщить Вам, что священное право на жизнь, которое Вы, вслед за кардиналом Марти, отстаиваете, предполагает еще и доступность зарождения, тогда как в обществе налицо полная и очевидная невозможность такового — обстоятельство, о котором Вы, по всей вероятности, не подозреваете, ибо не упоминаете о нем ни словом. В этой связи позволю себе обратить Ваше внимание на широко известное по слухам, хотя до сих пор замалчиваемое событие, случившееся в 1931 году. Я узнал о нем из некой брошюры, купленной у букинистов на набережной, автора запамятовал. Итак, как Вы, должно быть, слышали, в 1931 году в Париже произошло первое восстание сперматозоидов. Они тоже отстаивали священное право на жизнь, не желая больше мириться с тем, что их законные стремления попираются и они сами упираются в стенки презервативов и погибают от удушья. По решению предводителя все повстанцы вооружились топориками, чтобы, когда настанет час, разрушить резиновую преграду и проложить себе путь к появлению на свет. Час настал, и вот подхваченные лавиной сперматозоиды подняли топоры. Вождь первым пробил стенку узилища: вперед, к миру, к жизни, к заветной цели! За прорывом последовала внезапная тишина. А затем столпившиеся у бреши сперматозоиды услышали отчаянный вопль первопроходца: «Назад! Здесь дерьмо!»

С глубочайшим уважением и т.д.»

Письмо я не отослал. Испугался. Вдруг не получу ответа, а значит, оправдаются худшие мои подозрения: все всё знают и только делают вид полнейшей невинности. Я уж собрался написать самому кардиналу Марти, но тут мне стало совсем страшно: а ну как он врежет мне всю правду-матку, с него станется! Дескать, так и так, недородок ты, предзачаток и мочеполовой выскочка. Четко и ясно, как положено прелату-воину, с присовокуплением благочестивых утешений от имени святой церкви.

***

Дело в том, что от хронического ожидания и острого сумбура у меня развилась тоска по предметам первой необходимости: красным огнетушителям, лестницам, пылесосам, гаечным ключам, штопорам и солнечным лучам. Таков побочный эффект моего состояния непроявленной, недодержанной пленки. А еще, как заметил читатель, мне не хватает вех и указателей.

Опустив адресованное Ассоциации врачей письмо в корзинку, я подумал: не написать ли еще и в Лигу защиты прав человека? То-то был бы удачный ход, сразу запечатлеешься. А если вдобавок с извещением о вручении, так и вещественное доказательство получишь!

Я уже потянулся к ручке, но тут вдруг уровень жизни французов подскочил мне в утешение на десять процентов по отношению к историческому прошлому и на семь — по отношению к номинальному доходу. Сорвавшись с радиоуст, эти проценты запали мне в душу. Цифры — вещь неопровержимая. А я очень впечатлителен и почувствовал резкое улучшение жизни — на десять процентов и на семь. Я выглянул в окно: прохожие на улице явно приободрились. В приливе благосостояния я подхватил Голубчика и, напевая, затанцевал с ним в паре. Десять и семь процентов — колоссальный прирост. Коммунисты небось рвут на себе волосы. Никогда не любил коммунистов. Я за свободу.

Пора, однако, кончать с этим затянувшимся узлом повествования, а то как бы не порвалась нить. Сослуживцы знают, что у меня есть только удав. И дают советы кто во что горазд. Одна дама из отдела документации даже предложила мне записаться в клуб дружеских встреч. Она сама ходит туда два раза в неделю, как она выразилась, на «грубовую терапию».

— Каждый рассказывает о своих проблемах, раскрепощается, мы их обсуждаем все вместе и стараемся не то чтобы разрешить — общества без проблем не бывает, — но научиться жить с ними, терпеть их, встречать, если хотите, с улыбкой. Словом, абстрагироваться.

Не представляю, как Голубчик мог бы абстрагироваться от своей проблемы, но я сказал, что подумаю.

А этот проклятущий уборщик надоел мне больше всех, я то и дело натыкался в коридоре и на лестнице на его плакатные усищи — дорогу французскому пролетарию! Он ничего не говорит, но его намекающе-призывный взгляд красноречивее всяких слов. А того не понимает, что сегодня двадцатипятилетний парень с закидонами в духе «старой доброй Франции» просто смешон. Клетчатая клеенка, дешевое красное вино, вельветовая куртка и подпольная типография — это вчерашний день, сегодня в «Самаритен»[1] все для всех. Самодельные бомбы никому не нужны.

И, черт побери, я невольно поддаюсь его взгляду. Черные глазищи так тебя и пронзают. Не знай я, что у него карманы полны политической дребедени, я бы ему поверил. Кретины всегда пышут несокрушимой надеждой. Наконец однажды я не выдержал:

— Послушай, хватит, меня не убедишь, можешь не стараться.

— Я же ничего не сказал.

— Это все равно. Пойми, у вас ничего не выйдет. Нужна биологическая мутация. А от линьки никакого толку, все остается по-прежнему и даже становится прочнее.

— А как насчет Лурда?[2] Не пробовал?

Я оторопел. Откуда он знает?

Действительно, пробовал. Как-то в пятницу мы с удавом отправились в Лурд. Голубчик ехал в специальной коробке с дырками, чтобы было чем дышать, а там, на месте, я обмотал его вокруг пояса под пальто. Мы пробыли в гроте целый час, потом я снял номер в гостинице, разложил Голубчика на кровати и стал ждать. И ничего. Как обычно, он свернулся узлами и кольцами. Я подождал часок-другой, сделав скидку на его размеры. И опять ничего, ни намека на желаемый результат. Голубчик как Голубчик, все до последней чешуйки на месте, удавом был — удавом и остался. Даже полинять лишний раз не сподобился. Я ничего не говорю — может, для нормальных случаев Лурд эффективен, для всяких там калек, паралитиков и прочих отклонений, узаконенных Ассоциацией врачей и соцобеспечением. Ясно одно: против природы он не помогает.

Разумеется, уборщику я ничего этого рассказывать не стал. Люди вроде него не верят, что нет пределов невозможного. Не удивлюсь, если он в невозможное вообще не верит.

— В активные действия ты не веришь, так, может, веришь в чудеса? — спросил он.

— Мои убеждения вас не касаются, — сказал я с достоинством. — Мне даром не нужен ваш Китай. У них там нет свободы.

Тут он побелел. Наверно, я угодил ему по больному месту. И процедил сквозь зубы:

— Держите меня! Это он-то... Он будет толковать о свободе. Ну, я молчу!

Не договорив, уборщик пошел своей дорогой. Я же вернулся домой и очень долго и беспричинно комплексовал. А комплекс неопределенной неполноценности есть наиболее глубокое, основательное и единственно реальное ощущение, доступное несовершеннорожденным. Ибо он коренится в самой сути дела.

---

[1] «Самаритен» — крупный универмаг в Париже.

[2] Лурд — городок в Пиренеях на юге Франции, место паломничества к чудотворному источнику.

***

К сведению грамотных любителей, все еще сомневающихся, стоит ли заводить удава, сообщаю: проблемы некоммуникабельности у нас с Голубчиком не существует. Когда мы вместе, нам нет нужды лгать или выяснять отношения.

Наше молчание означает счастье. Ведь настоящее, полное, непритворное взаимопонимание и выражается только молчанием. Ну а тем, у кого не столь высокие запросы, кто жаждет получить отклик извне в форме устного диалога, советую обратиться к господину Паризи, улица Подкидышей, 20-бис, четвертый этаж, налево.

Четыре года назад я сам обратился к его услугам, случилось это еще до откровения, то есть до того, как в мою жизнь вошел Голубчик. Вернее, он у меня уже был, но не занимал такого места. К тому времени я уже обзавелся двухкомнатушкой и устроился в ней со всей мебелью и прочими вещами, они для меня все равно что родня. Особенно мне симпатично кресло: вальяжная особа в английском твиде непринужденно покуривает трубочку и похожа на путешественника только что из дальних краев, которому есть что порассказать. Я всегда выбирал кресла английского происхождения. Англичане — заядлые землепроходцы. Большое удовольствие посидеть напротив кресла на кровати и выпить чашечку кофе, наслаждаясь приятным обществом. Кресло — это нечто уютное, покойное, чуждое суеты. Недурна и кровать: если потесниться, на ней хватит места для двоих.

Выбор кровати всегда давался мне с трудом. Узкие односпальные, грубо говоря, плюют вам в душу, сводят на нет все усилия вашего воображения. Односпальная кровать — откровенная, безжалостная единица. «Ты, приятель, безнадежный бобыль, сиди и не рыпайся». Поэтому я предпочитаю двуспальные, они открыты в будущее, но тут дилемма поворачивается другой стороной. К слову сказать, все дилеммы имеют пакостный характер, мне, например, ни одной приличной не попадалось. Когда каждый вечер и целую субботу с воскресеньем видишь перед собой двуспальную кровать, одиночество еще нестерпимей, чем в односпальной, — та, по крайней мере, сама служит ему оправданием. Начинаешь понимать всю меру одиночества африканского питона в Большом Париже, и эта мера все растет и растет. Один в двуспальной кровати, хоть и обвитый удавом, ты обречен на комплекс неполноценности, пусть даже с улицы доносятся успокоительные сирены полицейских и пожарных машин, карет «скорой» и «неотложной помощи», создающие иллюзию, будто о тебе кто-то заботится. Одинокий человек, затерянный под крышами Парижа, это, что называется, социальное обесцвечение. Бывало, если становилось совсем невмоготу, я вставал, одевался, вдевал руки в рукава закадычного пальто и выходил побродить по улицам, выискивая влюбленные парочки в подворотнях. Монпарнасскую башню тогда еще не построили.

В конце концов я купил двуспальную, имея в виду мадемуазель Дрейфус.

Собственно говоря, живительная идея была не моя, меня натолкнуло на нее французское правительство, которое в то время много говорило о «культурном оживлении». Со всех сторон только и слышно было: «возрождение», «оживление»; повсюду создавались «очаги культурной жизни». Это и подсказало мне мысль заставить предметы обихода, мебель и самого Голубчика культурно заговорить человеческим голосом.

Случалось мне, конечно, и раньше, вернувшись с работы, вслух обратиться к креслу, кофейнику или трубке, но так делают многие, просто для поддержания душевного равновесия. Можно взывать к вселенной, к мировому эфиру или к домашним тапочкам — кому что нравится, — но ответа не дождешься. Нет даже резонанса, звук тонет в глухоте. А ответ нужен. Нужен диалог. Вот тут-то и приходит черед «культурного оживления».

Господин Паризи жил на улице Монж, пятый этаж направо. Я узнал о нем через газету «Собеседник», известную поощрением искусства диалога, игры вопросов и ответов. Однажды я послал туда письмо:

«Уважаемый главный редактор!

Следуя Вашим советам — ответам на письма читателей, я решил украшать и совершенствовать свой внутренний мир. Согласно Вашим рекомендациям, собрал вокруг себя немногочисленные, но дорогие мне предметы мебели и прочие детали интерьера, чтобы чувствовать себя легко и свободно. Однако признаюсь Вам: мне не очень понятен сам смысл этого выражения, поскольку я вообще не чувствую себя или если чувствую, то не собой, а кем-то другим, кого тоже, как и меня, нет на свете, причем это взаимное отсутствие, с одной стороны, сближает нас, с другой — препятствует общению. Вполне очевидно, что разрешить это противоречие или, как говорится, «развязать этот узел» можно только одним способом: чтобы почувствовать себя кем-то, надо сначала почувствовать кого-то другого. Вот почему я обращаюсь к Вам за помощью: скажите, какие существуют средства общения и диалога.

С уважением...»

В следующем номере я получил ответ. Мне советовали обратиться к господину Паризи, который «специализируется в этой области». Газета превозносила диалог и его благотворное действие на психику и сообщала, что господин Паризи — чревовещатель, в совершенстве владеющий искусством самоубеждения, диалога с самим собой, с ближайшим окружением и даже, при необходимости, со всей вселенной. Овладеть же этим искусством не так сложно при некотором упорстве и терпении. Тут же следовал перечень великих поэтов, мыслителей и творцов, вступивших подобным образом в диалог с миром и получивших ответы огромной художественной ценности. Среди них Мальро, Ницше, Камю и множество других.

***

Господин Паризи — пожилой, за семьдесят, итальянец, с крупным носом и седой гривой; в прошлом он с успехом выступал на эстраде, теперь покинул ее и дает частные уроки желающим научиться беседе с собой и извлечению из себя ответов. Взгляд у него острый, живой, вид весьма внушительный. Вообще он выглядит несреднестатистически, оно и неудивительно: когда он родился, ничего статистического еще не было. Можете мне не верить, но в 1812 году население Франции исчислялось не более чем двадцатью миллионами и она была первой державой в мире, теперь же в ней живут пятьдесят миллионов и дела идут не так чтобы очень.

Движения у господина Паризи эффектные, словно у фокусника, вытягивающего предметы из пустоты; кажется, сейчас он отдернет занавес, и обнаружится нечто. Но он этого не делает — пусть мерцает Надежда. Он носит длинный плащ, пышный бант на шее, очки в темной черепаховой оправе, опирается на тросточку, которой размахивает в пылу красноречия.

Едва открыв мне дверь, господин Паризи с ходу обрушил на меня все великолепие своего искусства. Самые разнообразные звуки раздавались со всех сторон и наполняли комнату у него за спиной: вой гиен, птичий хохот, воркование голубей, любовный шепот и задыхающийся в экстазе женский голос: «Кайф, о-о, кайф!», ослиный рев и студенческий хай.

— Это чтобы вы сразу поняли, что не ошиблись этажом, — пожимая мне руку, сказал господин Паризи с сильным итальянским акцентом.

Господин Паризи — чревовещатель высшего класса. Уйдя со сцены, он посвятил себя, из любви к ближним и ради блага общества, преподаванию диалогического искусства, то есть стал учить людей формулировать вопросы и получать ответы вместе с душевным успокоением, — так он сам мне объяснил.

Мы прошли в опрятную гостиную, и господин Паризи тотчас сымитировал телефонный звонок.

— Вам звонят, — сказал он. — Снимите трубку.

— Но...

— Ну же, друг мой, отвечайте!

Я с опаской снял трубку:

— Алло?

— Милый, ты? — произнес женский голос. — Любимый мой! Ты думал обо мне хоть немного?

Меня мороз пробрал по коже. Это не мог быть господин Паризи. Он стоял на другом конце комнаты, да и голос был явно женский, более того — женственный...

— Ты думал, думал обо мне, милый?

Я молчал. Конечно, думал. Только и делал, что думал о ней.

— Знаешь, мне так плохо без тебя...

Нежный, еле слышный шепот. Просто чудо, до чего чувствителен аппарат.

— Утешьте ее, — сказал господин Паризи. — Я чувствую, она встревожена, боится потерять вас...

Что ж, теперь или никогда.

— Люблю тебя, — выговорил я, не помня себя.

— Слабовато, — деловым тоном сказал господин Паризи. — Надо сильней. Смотрите.

Он приложил ладонь к животу.

— Это должно исходить вот отсюда, из нутра.

— Люблю тебя, — вскричал я во всю силу своего нутра и страха.

— Не надо кричать, — снова поправил меня господин Паризи. — Дело в силе веры. Вы должны уверовать в то, что произносите. В этом вся соль. Ну-ка, еще раз.

— Я люблю тебя, — с жаром сказал я телефону. — Если б ты знала, как мне без тебя трудно. Как давно я жду, а на линии — пустота... Все копилось внутри. И набралось так много, даже слишком — избыточные ресурсы... страшно подумать... и все для тебя...

Я изливался в телефон добрых пять минут, а когда умолк, в трубке послышался вздох, звук поцелуя — и гудки.

Нас снова было двое: господин Паризи и я. У меня дрожали колени — я не привык к таким упражнениям.

Господин Паризи глядел на меня ободряюще.

— У вас прекрасные задатки, — сказал он. — Конечно, вы еще не очень уверены в себе. Надо тренировать воображение, если хотите насладиться его плодами. Любовь требует контакта, она не может быть безответной, вы постоянно должны, так сказать, поддерживать переписку. Любовь — едва ли не лучшая форма диалога, изобретенная человеком, чтобы отвечать самому себе взаимностью. И именно чревовещание призвано сыграть огромную роль. Великие чревовещатели — прежде всего освободители, они позволяют нам вырваться из одиночного заключения и ощутить родство с миром. Мы можем заставить говорить даже мертвую материю, даже пустоту и безмолвие — вот величайшее достижение культуры. Путь к свободе. Я даю уроки в тюрьме Френ, учу заключенных беседовать с решетками, стенами, наделять человеческим голосом все вокруг. Кажется, Фил О'Локк предложил единственно возможное определение человека: человек — это волеизъявление; а я добавлю: это изъявление, изъятое из контекста. Мне приходится принимать множество душевнонемых, их внутренняя немота — результат причин внешних, виноват контекст, и я помогаю им освободиться от него. Все мои клиенты стыдливо прячут тайный голос, потому что знают, что общество защищается. Например, закрывает бордели, чтобы закрыть глаза. Это называется нравственность, добродетель, ликвидация проституции мочеполовых путей, во имя того чтобы проституция высшего порядка, которая торгует не плотью, а принципами, идеями, такими ценностями, как парламент, честь, вера, народ, могла и дальше развиваться легальными путями. Рано или поздно становится невтерпеж, вы понимаете, что вам как воздух нужны правда, искренность, нужно задать вопросы и получить на них ответы, — короче говоря, нужно общение, причем общение глобальное, со всем, что есть на белом свете; и вот тогда на помощь приходит искусство. В игру вступает чревовещатель, и мир становится вполне сносным. Моя деятельность признана полезной для общества самим господином Марселеном, бывшим министром внутренних дел, а также господином Дрюоном, бывшим министром культуры; у меня есть разрешение на практику от Ассоциации врачей, потому что мой метод совершенно безвреден. Ничего не меняется, но человеку становится лучше. Вы ведь, конечно, живете один?

Я ответил, что у меня есть удав.

— Да, — сказал господин Паризи, расхаживая по своей чистенькой, с натертым до блеска полом гостиной, — Париж — очень большой город.

Я забыл сказать, а надо бы для полноты картины — любая мелочь может иметь свой скрытый, неведомый смысл применительно к Надежде, — что господин Паризи носил длинный шарф из белого шелка и шляпу, с которой не расставался даже дома в знак своей независимости и нежелания ни перед кем и ни перед чем склонять и обнажать голову. Я думаю, он не снимал шляпы перед нынешним миропорядком, потому что ждал иного, который бы того стоил (см. Буржо, «Непочтительность, или Позиция стоячего выжидания» — монография по этологии в трех томах, правда, уже распроданная, что неудивительно — книга с таким названием долго не пролежит!).

— Я беру двадцать франков за урок. Занятия групповые...

— О нет!

Меня отпугнула мысль, что надо платить за кого-то — за деньги я и так кого-нибудь найду.

— Не беспокойтесь, все остальные — такие же инвалиды войны...

— Какой войны?

— Просто к слову пришлось. Когда говорят «инвалид», обычно думают о войне, хотя на самом деле можно прекрасно обойтись и без нее. Я не могу заниматься с вами индивидуально, коллектив необходим, чтобы дело сдвинулось с места и для поддержания духа. Это входит в курс лечения упомянутого недостатка.

— Но мне не надо лечиться от недостатка. У меня, наоборот, избыток.

— Доверьтесь мне, и гарантирую: через пару месяцев ваша змея заговорит.

— Не змея, а удав, — поправил я.

— А разве удав не змея?

Не люблю, когда все валят в одну кучу и когда Голубчика обзывают змеей.

— Слово «змея» имеет у нас уничижительный оттенок, — сказал я.

— «У нас»? — переспросил господин Паризи и внимательно на меня посмотрел. Взглядом многоопытного, искушенного в людях итальянца. Таким взглядом вас обволакивают, чтобы легче проглотить. — Так-так... Понимаю. Все мы мучаемся поисками себя. Каждый ищет, где может. Там и здесь, тут и там. Есть такая неаполитанская песенка: «...тут и там, трам-пам-пам». Это только перевод, в подлиннике, разуме-

ется, не в пример сильнее. Приходится идти непроторенными тропами, а там, бывает, найдешь себя в таком виде, который трудносопоставим с человеческим.

Он заскользил зигзагами по натертому паркету, высоко держа голову в неснимаемой из гордости шляпе — ни перед кем и ни перед чем. Движения его были легки — сказывалась не утраченная с возрастом итальянская изворотливость. Он явно начинал мне нравиться.

— Так приходите, если хотите, завтра.

***

На другой день господин Паризи представил меня остальным ученикам. Сказать по совести, для меня знакомство с ними было малоприятным, я держался холодно, чуть ли не враждебно: наверняка они воображали, что меня привело сюда одиночество и мне, как им самим, не с кем поговорить. Но у меня есть мадемуазель Дрейфус, и если у нас не все еще окончательно решено, то только потому, что мы хотим получше узнать друг друга. И потом, чернокожая мадемуазель Дрейфус нежна и пуглива, как газель. А в кабине всегда посторонние.

Вот если бы в один прекрасный день лифт сломался.

Однажды мне так и приснилось: как будто он застрял между этажами и его никак не починят. И все бы превосходно, но, на беду, мадемуазель Дрейфус в тот раз в лифте не было. Я был совсем один, висел между этажами и не мог выбраться — типичный кошмар. Я нажимал на кнопки «вызов» и «тревога», но никто не отзывался. Проснувшись в смятении, я взял на колени Голубчика, а он поднял голову и посмотрел на меня с изумительным безучастием, какое всегда проявлял в минуты моих эмоциональных травм, чтобы вернуть мне покой. Всем своим непоколебимо безразличным видом он словно внушал мне, что он здесь, рядом, никуда не делся и все идет как обычно.

Одного из учеников звали Дюнуайе-Дюшен, он был владельцем продуктовой лавки и получал сливочное масло прямо из Нормандии, о чем и сообщил мне с первой же минуты, как бы предупреждая всякие недоразумения. Подал мне руку и, глядя в глаза, выпалил: «Дюнуайе-Дюшен. Получаю сливочное масло прямо из Нормандии». Я так и не понял его пафоса, хотя думал об этом несколько дней. Может быть, он масон? Кажется, у масонов есть какие-то тайные знания, которые они передают друг другу с помощью общих для всего братства знаков и иносказаний. Или наоборот: ему нечем выделиться из общей массы, а хочется внушить, что и он чего-то стоит. Наконец, бывают же очень скованные люди. Я постарался приободрить его:

— Кузен. Держу удава.

Часто случайные встречные, например соседи по купе, ни с того ни с сего исповедуются друг другу. Кого не знаешь, того не боишься.

Другого звали Бурак, он работал зубным врачом, но мечтал быть дирижером. Он поведал мне об этом, едва я опустился на стул рядом с ним и мы обменялись рукопожатиями. Господин Паризи, безостановочно расхаживая, не спускал с него глаз.

— Бурак. Поляк. Зубной врач, мечтаю быть дирижером.

Я еще не успел прийти в себя после нормандского масла и тут споткнулся вторично. Что ж, в бедственные времена некоторые пытаются предельным доверием завоевать дружбу окружающих. Такой психологический прием. По-моему, я не обманул ожиданий этого человека, тем более что я его отлично понимал. Я тоже мечтаю быть не тем, что есть, чтобы стать собой. Мало ли, может, он слышит внутренним слухом потрясающую музыку, целый оркестр со скрипками, литаврами и фанфарами, и хочет, чтобы ее услышали все, хочет поделиться, но для этого нужна публика в зрительном зале, чуткие уши и тонкие души, а люди не любят напрягаться, кому это надо разводить катавасию, наряжаться ради какого-то концерта. У каждого свои концерты. Между тем внутренняя музыка, не имея выхода наружу, расстраивается и превращается в адский грохот — оглохнуть можно. И вот мою руку пожимает высокий лысый, носатый и усатый человек, по жизни зубной врач, в душе дирижер, лет шестидесяти с гаком, что немало и для зубного врача, а для дирижера — тем более.

— Бурак, поляк. Зубной врач, мечтаю быть дирижером.

— Понимаю вас как нельзя лучше, — сказал я в ответ. — Я сам всю жизнь хожу к проституткам.

Бурак отдернул руку и посмотрел на меня с таким выражением, словно... в общем, с непередаваемым выражением. И отодвинул свой стул в сторонку. А я ведь только хотел сказать, что тоже мечтаю быть.

Если вдуматься, слово «взаимоотношения» вполне отражает горькую истину: как люди ни стараются, их все дальше и дальше относит друг от друга.

Я даже заглянул в словарь, но там сплошные опечатки, они, верно, заложены в набор: куда ни глянь — везде ложь. Например, «быть» объясняется как «существовать». Словарям нельзя доверять, они скроены по шаблону. Как готовое платье — по пропорциям среднестатистического потребителя. Если же эти пропорции нарушить, то станет очевидно, что «быть» означает «быть любимым». Это синонимы. О чем составители умалчивают. Я посмотрел «рождение» — та же фигура умолчания.

Читатель удивится, если я скажу, что Кордильеры, или Анды, должно быть, весьма живописны. Но я все равно скажу, без всякой связи с предметом повествования, чтобы доказать, что я ничем не связан. Я свободен и ставлю свободу превыше всего.

***

Сегодня знаменательный день: Голубчик приступил к очередной линьке.

В жизни удавов это — событие, проникнутое величайшим оптимизмом, Пасха, Йом Киппур, Надежда, Обетование. Основанные на длительном наблюдении знания дают мне право утверждать, что линька — время наибольшего эмоционального подъема у пресмыкающихся, канун и канон обновления. Расцвет гуманистического начала. Исследователям этих интереснейших животных (достаточно сослаться на авторитет Грюнтага и Куница) хорошо известно, что каждая линька оживляет в их груди стремление шагнуть вверх по лестнице эволюции, изменить свой вид на более высокоорганизованный.

Но в итоге они всегда возвращаются к прежнему состоянию или, точнее, положению. Таким образом, прогресс в среде удавов носит характер замкнутого цикла с повторным использованием побочных продуктов линьки в целях экономии ресурсов и полной занятости.

Пока Голубчик линял, я пропустил два занятия, сидел с ним рядом и морально поддерживал. В фигуральном смысле держал его за руку. Конечно, я знал, что все кончится обычной перемоткой, но так уж принято: например, когда женщина собирается рожать, а виновник ожидающегося события держит ее за руку, его долг — выказывать твердую надежду.

Не скрою, иной раз в ходе линьки я сам раздеваюсь и осматриваю себя с ног до головы. И однажды утром нашел-таки на ноге какое-то красное пятнышко; правда, оно скоро исчезло.

В нашей группе был еще некий Ашиль Дюр, господин лет пятидесяти, высокий, но сутулый, в развернутом виде в нем было бы метр восемьдесят с лишним. По его словам, он двадцать лет подряд служил в «Самаритен» заведующим секцией, а потом перешел в «Дешевые товары». О причинах я не спрашивал, уважая свободу совести, но он явно гордился своим поступком, и действительно, требуется немалая решимость, чтобы круто переменить жизнь в возрасте, когда другие помыслить не смеют ни о чем подобном. Мы пожали друг другу руки и сейчас же обнаружили, что нам обоим совершенно не о чем говорить. А это ли не залог дружеского взаимопонимания?

Каждый, кого интересуют вопросы культурного оживления среды, знает, в чем состоят учебные упражнения: мы говорили за куклу, которую господин Паризи помещал все дальше и дальше от нас, правее и левее, выше и ниже, добиваясь, чтобы мы не только оживляли ее, вкладывая в нее свой голос, но еще и полностью открывались, выкладывались, изливали внутреннюю суть и муть через полость рта. Мы должны были проецировать свой голос наружу, как будто он звучит извне и нам же отвечает. Ибо искусство в том и заключается, чтобы, так сказать, заставить Сфинкса давать ответы.

Разговаривали мы через манекен в человеческий рост, один из тех, которыми господин Паризи пользовался когда-то на сцене. Вид у него был крайне высокомерный и самодовольный. Самый что ни на есть бездушный вид, так что получалось очень впечатляюще и жизненно. Для пущего эффекта господин Паризи еще засовывал ему в рот сигару. Одет наш болван был в смокинг, как будто каждый день ходил на приемы. Мы, ученики, сидели полукругом на некотором расстоянии от манекена и, чтобы получался диалог, должны были, естественно, говорить и за себя, и за него. Как помнит читатель, в начале было Слово, что служит всем нам вдохновляющим примером. Для правдоподобия ответы собеседника надо было произносить не своим голосом, на этом господин Паризи настаивал особо.

— Запомните, господа, — говорил он, — искусство чревовещания, да и вообще Искусство в конечном счете сводится к умению вызвать ответную реакцию. Строго говоря, это и есть творчество. Вы должны наладить каналы связи, чтобы, перекачав по ним сырой материал, получить обратно конечный продукт — таким образом, вы сотворите себя.

Седая шевелюра, черепаховые очки — наш наставник расхаживал по блестяще-

му полу своей стерильной гостиной и вещал:

— Взгляните. Это ничто. Кукла, манекен с гримасой скептика или даже циника. Неодушевленный, застывший предмет. И его-то, господа, вы заставите говорить по-человечески. Больше того, вы вложите в его уста слова любви и участия. Вы сами, своими силами, не нажимая ни на какую потайную кнопку. А потом мы перейдем к этой цветочной вазе, столу, занавескам. Шаг за шагом вы наберетесь опыта, сноровки, одушевите весь мир. И дружеские голоса будут сопутствовать вам повсюду. В результате вы сможете, оставаясь одинокими и довольствуясь, как прежде, самими собой, наслаждаться жизнью и иметь все, что пожелаете. Это куда проще и вернее, чем гоняться за химерой и нарываться на беды, несчастья и разочарования. Месье Бурак, прошу вас.

Поляк вспыхнул.

— На что ты потратил свою жизнь, Бурак? — спросила кукла. — На ковыряние в зубах, вот на что!

— Я уже говорил вам, месье Бурак, что упражнение заключается в том, чтобы удалиться от самого себя на пять метров и войти в другой объект. Вы не получите приятного, доброжелательного, мудрого и милосердного окружения посторонних, если замкнетесь в себе. Избегайте варки в собственном соку, господа, — таково общее правило. Приучайтесь с самого начала вариться в чужом — это менее болезненно. Пока вокруг вас миллионы чужих людей, вы обречены на одиночество. Но стоит подумать о них и об их трудностях — и свои станут легче. Беды ближнего облегчают нам жизнь.

Само собой, все это говорилось через манекен, который с циничной ухмылкой цедил слова и жевал сигару. Мы покатывались со смеху. Все высокое следует несколько снижать — это тоже важное правило. Снижение, подгонка всех вещей по человеческой мерке есть основа стоицизма, иначе тебе не по себе и мир не по тебе.

— Вспомните: «Кто не сбережет сам себя, тот кончит дни на складе потерянных вещей». Так говорил великий О'Хиггинс, который мог вселить в пустой собор полсотни голосов и трагически погиб, потеряв свой собственный.

Напоминаю, если кто запамятовал: господин Паризи всегда носил на шее длинный белый шелковый шарф, чтобы движения адамова яблока не выдавали его, когда он чревовещает, и даже дома не снимал шляпы с высоко поднятой головы, чтобы подчеркнуть, что не склоняется ни перед кем и ни перед чем.

Я не сразу разобрался, что газета «Собеседник» неверно поняла мое письмо и направила меня к господину Паризи ошибочно. Ведь его методика призвана помогать людям завязывать дружбу сначала с туфлями, стульями и прочими обиходными предметами, а потом с другими, более сложными и более отдаленными. Но мне нужно не это. Если я и хотел сделать Голубчика говорящим, то только потому, что иногда заговаривал с ним сам и было бы куда веселее поболтать вдвоем. Но я вовсе не думал, что мой удав вдруг всерьез обретет человеческий голос, я имел в виду условную беседу, обыкновенную игру. Этакую оживленную разрядку. Как только я понял, что господин Паризи трудится в системе социальной защиты — недаром его метод признан полезным для общества, в Большом Париже у него обширная практика, особенно среди лиц женского пола, — я перестал посещать занятия. Мне не нужно нянек. Просто хотелось поговорить с удавом, разыграть Голубчика.

Один мой знакомый по «Рамзесу», господин Жобер, как-то за стаканчиком рассказал мне о своем психоаналитике. Вот действительно стоящее изобретение.

— Понимаете, он обязан вас выслушивать, он за это получает деньги. Усаживаете его в кресло, заставляете взять карандаш с блокнотом и записывать каждое ваше слово. Он на то и существует, что интересуется вами, такова его роль в обществе потребления.

Поначалу я не пропускал ни одного занятия и кое-чему научился: например, обставлял свои поездки в метро приятными, вежливыми репликами соседей.

— Месье Дюр, ваша очередь. Расскажите нам, для чего вы хотите стать чревовещателем.

— Для того, чтобы обратить на себя внимание, выделиться. В «Дешевых товарах» мимо меня каждый день проходит человек с тысячу, не меньше. Всем чего-то не хватает, и все хватают вещи. За год набирается тысяч триста, за восемь лет — чуть не десять миллионов, и все мимо... Продавцов — тех хоть замечают, к ним обращаются, что-то спрашивают, какое-никакое, а общение, ну, а на моем месте... За двадцать пять лет, что я прослужил в «Самаритен», мимо меня, считай, прошло все население Франции, да не один раз. Кажется, мог бы хоть кто-нибудь... Нет. Никто.

— Неужели? — подала голос кукла.

— Ни один человек.

— Нехило. А если самому дернуть кого-нибудь за рукав?

— И что сказать? О таких вещах не говорят.

— Вся беда от общества потребления, — вмешался я. — Всеобщее процветание. Всеобщая занятость.

— К... как это — всеобщая занятость? — спросил манекен, поперхнувшись от волнения первым словом.

— Всеобщая занятость — это всеобщая занятость, каждый занят, вот и все.

Я хотел изобразить смех, но выдохся, и манекен захрипел как удавленник.

— Больше силы! — командовал господин Паризи. — Выкладывайтесь до конца! Все наружу! Нутром, и как можно сильнее! Выкладывайте все, не беда, если и с кровью. Там, в глубине, ваш настоящий голос. Заперт внутри, в чреве. В горле не то, один пустой звук. Пусть говорят потроха... Изливайтесь, извергайтесь! Это главное. Излияние — залог жизни. Внутри все накапливается, застаивается, загнивает, нарывает и убивает. Жмите во весь дух! И не бойтесь быть смешными. Смеяться будут над куклой, она на то и посажена. Начали!

— А если б мог, я бы сказал, — снова заговорил манекен, — жизнь невыносима, когда у тебя нет никого и ничего. Когда некому тебя любить...

— Вы пошевелили губами, месье Дюр, но это не беда. Продолжайте.

— ...невыносимо, тяжело. Хоть бы одна живая душа поддержала.

— Перегрузка, — сказал я, — перегрузка центральных магистралей в час пик — типичная проблема мегаполиса. Слишком оживленное движение ведет к смертельному исходу, нужны кружные пути.

— Вот-вот, у нас в «Дешевых товарах» голова так и идет кругом, поток барахла выходит из-под контроля. Живой поток — не уследишь.

— Зато товары эмоционального потребления залеживаются, — сказал манекен, — не имея хождения на внутреннем рынке. Лежат на душе тяжелым грузом, образуют заторы. Как тут не взорваться? Есть, конечно, некоторый культурный выхлоп, но одним телевидением не обойтись. Всему есть предел...

— Отлично, месье Кузен, обнаруживайте все, что у вас там есть. И вы, месье Дюр, тоже продолжайте.

— В «Самаритен»...

— В «Самаритен» все для всех! — выдала кукла жизнерадостным тоном французского потребителя с политическим оттенком — не без тяги к объединенной Европе.

— Живой поток — распродажа-самообслуживание, — заговорил Дюр, — завалены все прилавки. А вечером я, как все, еду домой на метро, без четверти семь, в самый час пик. Нигде так не почувствуешь эту, как вы говорите, полную занятость, как в вагоне метро или пригородной электричке в час пик.

— В силу тех же причин, из-за демографического потопа, я и держу удава. А вспомнил я о нем, потому что месье Дюр заговорил о метро и электричке. Он все очень верно сказал. Так вот, удав — это та самая живая душа, которая ждет вас вечером дома и может поддерживать вас сколько угодно.

— Прекрасно, месье Кузен, — сказал господин Паризи. — Не стесняйтесь обнаружить своего удава.

— Я долго терпел, — продолжал Дюр, — держался, пока была надежда, но теперь мне пятьдесят семь лет, из которых сорок поглотила полная — через край! — занятость...

— Превосходно, господа, — похвалил господин Паризи. — Вы делаете успехи. Теперь вы, месье Бурак. Вон там, слева от вас, стоит пепельница. Оживите-ка ее, помогите ей высказаться.

— Не понимаю, при чем тут я, — промолвила пепельница.

— Вот и мы ни при чем, — ответил Бурак и покраснел от удовольствия: ему удалось разговорить пепельницу, не разжимая губ.

— Вы нам больше ничего не скажете, месье Кузен?

— Людям не хватает святого эгоизма. Например, есть у меня один знакомый, некий Жалько, мы иногда встречаемся в кафе. Разговаривать не разговариваем, обычно молчим, но по-дружески. И вот как-то раз он на меня посмотрел и, должно быть, увидел в моих глазах что-то особенное, светлое. Подходит ко мне и говорит: «У вас не будет четырехсот франков взаймы?» И, представляете, протягивает руку! Слава Богу, у меня как раз были деньги. С тех пор я все время начеку. Чтобы не встретиться с ним. Как увижу на улице — сразу перехожу на другую сторону. Боюсь, как бы он не вернул долг. Но пока мы еще связаны. Такая игра стоит свеч!

— Позвольте заметить, что правительство все-таки тоже кое-что делает, — вмешалась кукла. — Есть специально отведенные места для инвалидов.

— Вообще-то лично я собираюсь жениться, — объявил я, став в позу. — Мы уже много месяцев ездим в одном лифте. Моя невеста — девушка мечтательная, романтическая, с развитым воображением, дитя тропиков, с такой, сами понимаете, все время боишься оказаться не на высоте. Но что такое лифт: пара минут — и все, разочаровать не успеешь, и репутация не пострадает. Я имею в виду не свою репутацию, а

репутацию любви. Пара минут в скоростном лифте ничего не нарушит. Но я не согласен с уборщиком из нашего управления, этот ни во что больше не верит или, еще хуже, верит совсем не в то. Человек, его жизнь и его средства выживания — не игрушки. Кажется, кому-то из великих франкоязычников принадлежит фраза: «Терпение и труд все перетрут». И действительно, только благодаря терпению и усердию родителей мы живем в этом мире. В мире изобилия и высокого уровня всеобщих благ на душу.

— Месье Укор, прошу вас.

Укор был моложавый, но худосочный, изрядно потрепанный потребитель с замашками опального аристократа. Знаете таких? Человек обижен на весь мир, оскорблен необходимостью быть тем, что он есть, и вынужден терпеть эту несправедливость. Про себя, не делясь ни с кем — не из жадности, а скорее из жалости, — я прозвал его Вечным Укором. Я ему вполне сочувствовал и однажды, пожимая руку, пошутил:

— Что делать, не всем же быть резедой или королевским кондором.

Королевский кондор часто приходит мне на ум, потому что Голубчик часто видит его во сне — не крылья ли тому причиной?

Но Укор почему-то очень удивился, а некоторое время спустя я услышал, как он говорит господину Паризи:

— С какой стати этот зануда Кузен сует свой нос куда не просят!

А я-то думал, что хоть здесь найду друзей. Досадно, но, видно, сказывается нервное напряжение, комплекс неполноценности и отсутствие опыта.

Замечу кстати, но без повода и без намеков: недавно в газете писали, что во Флориде останавливается уличное движение из-за мошек. Они сталкиваются с лобовыми стеклами автомобилей во время брачного танца и разбиваются миллионами. Капельки любви залепляют стекло, останавливая даже грузовики. Ослепленные водители ничего не видят. Я прочел и поразился: какое скопление любви! Ночью мне снилось, что я кружусь в воздушном брачном танце с мадемуазель Дрейфус. Около часу я проснулся, и сколько ни старался вернуться в этот сон, ничего не получалось: снились одни грузовики.

***

Итак, я ушел из группы господина Паризи. Не из-за мошек — они ни при чем, а потому что понял: газета «Собеседник» по ошибке направила меня к настройщику. А я не хочу подстраиваться к среде, пусть среда подстраивается к нам. Говорю во множественном числе, чтобы было не так одиноко.

Они решили, что я страдаю только от внешней нехватки, а у меня еще и внутренний излишек. Безысходный избыток. Я даже подумал: может, господин Паризи — член Ассоциации врачей (скорее всего, искусственный член), ведь именно ее президент, профессор Лорта-Жакоб подписал то самое воззвание касательно абортов. Так или иначе, занятие господина Паризи — протезирование, и это очень хорошо, учитывая, сколько на свете увечных и калечных. Для этой культуры всегда есть обширное поле. Искусство, музыка, культурное оживление — все это замечательно. Очень нужно. Очень важно. Протезы — полезнейшая вещь. Они служат на благо общества, позволяют его членам подстроиться, пристроиться, встать в строй и зашагать в ногу. Но это совсем не то, особенно когда подумаешь о тоннах разбитой вдребезги о калифорнийские лобовые стекла любви. Значит, природа насыщена любовью. Кроме того, я не хочу вкладывать в Голубчика человеческий голос, чтобы не обмануть Надежду. Кругом и так сплошной обман. Иногда начинает казаться, что живешь в дублированном фильме: все шевелят губами, а слова не соответствуют. Нас всех просто озвучивают, причем иногда вполне удачно, так что веришь в реальность.

***

Зато в это же время произошло важное событие: я встретил профессора Цуреса. Он живет этажом выше в квартире с большим балконом. Профессор Цурес — благодетель человечества. Газеты пишут, что только в прошлом году он поставил свою подпись под семьюдесятью двумя обращениями деятелей науки и культуры в знак протеста, солидарности или с призывом о помощи. Между прочим, я заметил: подписываются всегда только эти деятели, как будто остальные неграмотные. Поводы самые разные: голод, геноцид, дискриминация. Подпись профессора Цуреса — все равно

что три звездочки в мишленовском путеводителе. Я уж так и считаю: если где-то пошла резня или там гонения, а подписи профессора Цуреса нет, значит, можно не суетиться, это не высший класс. Мне, как эксперту по картинам, нужна для заключения подпись мастера в нижнем углу. Подпись удостоверяет подлинность. А ведь, говорят, столько развелось подделок, даже в Лувре попадаются.

Итак, я счел своим долгом представиться человеку, имеющему такой престиж и такие заслуги перед страдальцами. Но, разумеется, скромно, чтобы не показаться навязчивым и нахальным. И стал поджидать профессора Цуреса у дверей его квартиры, встречать его радушной, но ни к чему не обязывающей улыбкой. Поначалу он мимоходом приподнимал шляпу: сосед есть сосед. Но, поскольку наши встречи на площадке у его дверей продолжались изо дня в день, приветствие его становилось все суше и суше и наконец совсем иссохло: не прикасаясь к головному убору и не глядя на меня, он хмуро проходил мимо. Понятно, я же не жертва насилия, во всяком случае снаружи это не видно. На мировой уровень я не тяну: вшивенькая демографическая единица, а туда ж! Профессор Цурес — солидный седовласый муж, привыкший к пыткам в Алжире, напалму во Вьетнаме, голоду в Африке, где уж мне равняться. Может, я и не был для него совсем пустым местом; и будь у меня налицо нехватка конечностей, ему было бы за что ухватиться, впрочем, вряд ли: у него другие масштабы. Я — одиночное бедствие, моя масса близка к нулю, а у него не водится мелочи, его человеколюбивые акции оцениваются миллионами, он оперирует статистическими величинами, так что в некотором смысле мы с ним коллеги. Он из категории людей, для которых только миллионное кровопролитие становится ощутимым. Таковы издержки крупномасштабного состояния. Вполне осознавая, что я всего-навсего мушиное пятнышко, капля в демографическом море и что, говоря языком кино, меня нет в титрах, я стал появляться на этаже профессора с букетиком цветов в руках, чтобы нарушить заурядность. Это возымело эффект, но он начал как-то побаиваться меня: уж очень стойкое пятнышко, никак его не вывести. А я упорно — что называется, «с упорством отчаяния» — и проникновенно улыбался.

Надо сказать, то была мрачная полоса в моей жизни. Голубчик погрузился в долгое оцепенение, мадемуазель Дрейфус внезапно ушла в отпуск, население Парижа еще возросло. Мне страшно хотелось, чтобы профессор Цурес заметил меня, как вспышку насилия, как преступление против человечества. Я мечтал, чтобы он пригласил меня к себе и мы бы стали друзьями, сидели за чашкой чаю и он рассказывал бы мне о прочих бедствиях из своей коллекции, чтобы мне было не так одиноко. Вкушая плоды демократии, можно прилично подкрепиться.

Короче, профессор Цурес занимал все мои мысли, и было так приятно сознавать, что он здесь, у меня над головой. У него прекрасная внешность: строгие, но справедливые черты лица, холеная седая бородка. При одном взгляде на него проникаешься гордостью, взлелеянной властями на примере великих соотечественников всех времен в целях возвеличивания подданных в собственных глазах.

Много недель продолжались наши встречи на лестничной площадке, расширявшие круг моих друзей. Я приготовил для профессора светлое бархатное кресло в гостиной и уже представлял, как он сидит в нем и беседует со мной о способах стимуляции полноценной рождаемости и предотвращения десятков миллионов несделанных абортов, в результате которых появляются на свет недородки, в нарушение священного права на жизнь. А на случай нехватки тем для обсуждения я внимательно штудировал газеты. Правда, профессор Цурес все еще не говорил мне ни слова, но я объяснял это тем, что мы давно знакомы и говорить уже не о чем. Думать иначе: будто профессор Цурес не удостаивает меня своим вниманием, так как я не массовое убийство и не подавление свободы слова в Советской России, — было бы ошибкой. Просто он занят наиболее крупными явлениями, а наличие удава длиной в два метра двадцать сантиметров еще не дает мне права считать себя таковым. Да я и не ждал, чтобы он бросился обнимать меня с пустейшим возгласом «как дела», который позволяет отделаться от ближнего двумя словами и дальше преспокойно заниматься собой.

Прошел, наверное, не один месяц, и профессор проявлял неизменную деликатность: ни разу не спросил, что я делаю у него под дверью, что мне надо и кто я такой. Замечу в скобках, без видимой связи с предметом повествования, но в прямом соответствии с его формой и развитием, что удавы, по сути дела, являются не разновидностью животного мира, а точкой зрения на мир вообще.

Когда мимо вас проходят не глядя, это не из-за того, что вас как бы нет, а из-за бандитизма в парижских предместьях. Хотя я вовсе не похож на алжирца.

В принципе я знаю, что бывает и взаимная любовь, но на такую роскошь не претендую. Я готов довольствоваться самым необходимым: просто любить кого-нибудь со своей стороны.

***

Дружба с профессором Цуресом закончилась самым неожиданным образом. Однажды, когда я, по обыкновению, поджидал его на площадке, излучая добрые чувства, он вышел из лифта и направился прямиком к двери. Я стоял чуть отступя и улыбался. Я вообще улыбчивый, такая у меня счастливая предрасположенность. Профессор достал из кармана ключ и вдруг, впервые с начала нашего знакомства, нарушил установившееся молчание.

Он обернулся и окинул меня откровенно неприязненным взглядом.

— Послушайте, месье, — сказал он. — Вот уже месяц вы чуть не каждый вечер торчите у меня под дверями. Терпеть не могу настырность. В чем дело? Вы хотите мне что-нибудь сказать?

Знаете, когда-то я придумал одну неплохую штуку. Правда, продлилось это недолго, но некоторое время Общество слепых здорово помогало мне. Я приходил каждый вечер после работы и ждал у входа. Часов в семь начинали выходить слепые. Иногда, в особо везучие дни, мне удавалось подцепить человек пять-шесть и помочь им перейти улицу. Вы скажете, велика важность — перевести через дорогу слепого, зато это действует безотказно. Как правило, слепые очень милые, любезные люди, оттого что немного повидали на свете. Я брал своего подопечного под руку, и мы переходили, машины останавливались, прохожие окружали нас заботой. И мы успевали сказать друг другу что-нибудь приятное. Но однажды попался слишком прозорливый слепой. Я помогал ему уже несколько раз, и он меня знал. И вот как-то погожим весенним вечером я заметил его, подбежал и взял под руку. Не знаю, как он догадался, что это я, но реакция была мгновенной.

— Оставьте меня в покое! — заорал он на всю улицу. — Поищите себе другую забаву! Тоже мне благодетель!

И, подняв трость, он перешел через дорогу сам. А на другой день, видно, предупредил своих, потому что никто больше не пожелал со мной идти. Я, конечно, понимаю, у слепых тоже есть гордость, но зачем же лишать других возможности протянуть кому-то руку помощи?

Не знаю, чем обернется предел мечтаний, но, уж поверьте, в нынешнем мироустройстве, при всеобщем порядке вещей, не хватает ласки.

Впрочем, советские ученые верят, что во Вселенной есть жизнь, которая посылает нам радиосигналы через космос.

***

Мы с профессором стояли на лестнице, и он пожирал меня взглядом. Это было даже приятно, позволяло почувствовать себя.

— И вообще, кто вы такой?

Голос у профессора Цуреса был возмущенный, хронически, раз и навсегда возмущенный, как будто его заклинило во время какого-то чрезвычайно крупного возмущения.

— Я ваш сосед с четвертого этажа, господин профессор. Вы, наверно, знаете... — сказал я, не сдержав горделивой скромности. — У меня есть удав.

И с тайной надеждой прибавил:

— Удавы — существа очень привязчивые и незаслуженно обиженные.

Взгляд профессора смягчился, в лице что-то дрогнуло:

— А, так вы тот самый Голубчик...

— Нет, — поправил я, — Голубчик — это мой удав. Он не может без меня жить, поэтому так привязан. Должно быть, вы плохо представляете себе, профессор, что такое жизнь одинокого удава в Большом Париже. Такая жизнь должна быть расценена по шкале ЧП как «бедственное положение», и, поверьте, оно действительно весьма бедственно. Я понимаю, конечно, в вашем распоряжении самые разнообразные притеснения и кровопролития, на которые вы можете переключиться, когда вам плохо и одиноко, но удавам подобные утешительные сравнения недоступны. Они не могут заглушить свои страдания чужими, более значительными по качеству и количеству. Я читал книгу Жоста «Лекарство от одиночества», но чтобы удав мог, как мы, внять благим увещеваниям двуногих собратьев или смириться со своей долей, взвесив все возможные беды, которые на нее не выпали, — для этого он должен не только вылезти из своей шкуры, но и влезть в чужую, что не предусмотрено Ассоциацией врачей, ставящей себе несколько иные задачи, а именно: всеобщий равноправный выбор мочеполовых путей. Ее занимают проблемы высшего порядка: неотъемлемое право на среднестатистическую и демографическую жизнь внутри вегетативной системы, в жидкой культуре. А также расширение сети спермобанков с возможным при-

влечением иностранных рабочих рук. Немаловажно и жилищное строительство в кредит, под залог и под ключ заказчика. Словом, Голубчик — это не я.

— Но вас так зовет весь квартал, — сказал профессор Цурес, разглядывая меня с любопытством, как серьезный человек, позволивший себе маленькую разрядку.

Я был в полном смысле ошеломлен. Вот уж не знал, что меня знает весь квартал. От волнения у меня перехватило дыхание и задрожали поджилки. За себя я не испугался, не такая уж я крупная дичь, чтобы устраивать на меня облаву. Во мне всего-то метр семьдесят два, овчинка выделки не стоит. Но меня беспокоит необъяснимая неприязнь, враждебность, отвращение людей к удавам. Они нередко становятся жертвами стихийного разгула, подвергаются бесцельному, неоправданному с практической или экономической точки зрения истреблению из чисто идейных соображений, вроде тех, исходя из которых в древности устраивались крестовые походы. Одни мстят удавам за то, что они так инородны и неудобоваримы. Другие ставят им в вину, что они, не имея никаких оправданий в виде интеллекта, рук или ног, а также исторических традиций и научного багажа, все равно живут в неволе, им незнакома жажда власти над собой и над другими, что, наконец, они прирожденные пресмыкающиеся и ползают гораздо лучше нас. Так или иначе, бей, души, дави богопротивных гадов! Но, с третьей стороны, справедливости ради нельзя не признать, что французы питаются лучше, чем любой другой народ, и кулинарное искусство у них на высоте. Особого внимания заслуживают изысканные соусы и благородные, в самом точном смысле слова, вина.

Правда, встречаются окрыляющие исключения. Так, прогуливаясь однажды по Люксембургскому саду вкупе с Голубчиком, я набрел на человека, который одобрительно посмотрел на меня и сказал вслед:

— Защита природы — насущная необходимость!

Я был тронут до слез. Это был солидный господин с орденом Почетного легиона за дружеские услуги в петлице. Мне такое снится ночами. Я вижу, будто ко мне подходит мальчик лет семи-восьми, не больше — так что с ним можно разговаривать на равных, — кладет руку мне на плечо и произносит:

— Именем удавьего рода и властью, данной мне свыше, посвящаю тебя, Голубчик, в кавалеры ордена Почетного легиона за дружеские услуги.

...Подумать только, в России есть целая река под названием Амур.

***

Все это вовсе не отступление, ибо то, что я собирался сказать профессору Цуресу на лестничной площадке, имеет прямое отношение к моему предмету. Видели бы вы, как он, Голубчик, выписывает на полу спирали, петли и арабески, ища трещинку, чтобы просочиться на волю.

— Простите, господин профессор, мою, так сказать, подспудную назойливость, но дело в том, что я преклоняюсь перед вами. Мне известны ваши подписные заслуги. И я знаю, что у вас много места. Поэтому я хотел просить вас приютить...

Профессор раздраженно перебил меня:

— Опять злосчастная комната для прислуги! Она действительно пустует, но временно. Моя прежняя прислуга-испанка вернулась на родину, скопив капитал, и теперь я жду португалку. Комната не сдается. Весьма сожалею.

И он вставил ключ в замок.

Жестокое недоразумение. Я не хотел просить его уделить место невостребованным, недорожденным, но уже обремененным страданиями человеческим существам, — в конце концов такой же удел ждет грядущую португалку. Да и пустующие комнаты для прислуги милы моей душе: они как будто тоже кого-то ждут. Зная почерк профессора Цуреса, я считал, что такие, как он, организуют всевозможные комитеты по приему и устройству прибывающих на этот свет. Я, разумеется, имею в виду прибытие не только в эмбриональной, но и в любой другой форме. Белая мышь, может, не такая важная особь, но когда она сидит у меня в руке, нежная, слабая, женственная... в общем, что говорить... я чувствую, что защищен от жизненных невзгод, пока ее мордочка тычется в мою ладонь (при большом желании это прикосновение можно счесть благодарным поцелуем). Так хорошо в теплой ладони. Наверно, это и есть милость.

Кстати, надо бы заглянуть в атлас — он у меня всегда под рукой на случай человеческих заблуждений — и посмотреть, где именно находится русская река Амур. Пустить реку по другому руслу в целях оживления пустыни вполне осуществимо. Само собой, я не собираюсь поворачивать Амур в своих личных целях, но пусть бы его воды коснулись меня по весне, в разлив, не то я иссохну — иссохну без живительной влаги, нельзя же всю жизнь ждать, чтобы сломался лифт.

Поставьте себя на мое место. При нынешнем несовершенном, но незыблемом

положении вещей удавы питаются мышами. Вот я и хотел попросить профессора Цуреса приютить Блондину, поскольку он такой большой человек. Потому что рано или поздно Голубчик Блондину сожрет, как требует природа. Природа же, как каждый знает по себе, есть не что иное, как сплошное извращение.

Достаточно взять в руку мышку, чтобы убедиться. Лично у меня в такие минуты теплеет в груди, как будто великая река Амур вдруг покинула русло и из глубины России притекла сюда, из тамошнего сибирского края в здешний, в наш Париж, поднялась в лифте на третий этаж, хлынула в мою двухкомнатушку и затопила все вокруг. Как будто я сам в объятиях мощного Амура, как в теплой, уютной ладони. Разрешение этнического конфликта между удавами и белыми мышами в руках великой реки Амур, и пока она протекает где-то за тридевять земель, на краю географии, будет продолжаться взаимопожирание при полной занятости, невзирая на все успехи жилищного строительства.

Я тут как-то обмолвился о Голубчике, разговаривая с парнишкой-уборщиком из управления, он вроде бы интересовался классовой борьбой в природе и в силу этого просил меня держать его в курсе моих экологических проблем. Так он, извольте радоваться, опять завел свое.

— Приходи к нам. чудак, — говорит. — У нас будет демонстрация в Бельвиле. Там ты сможешь свободно развернуться. Иначе удавишься собственными петлями.

Пристал, как банный лист!

— А что за демонстрация? — спросил я осторожно: а ну как опять политика.

— Просто демонстрация, — ответил он, участливо глядя мне в глаза.

— Но какая? Против кого или против чего? Или, наоборот, за кого? Арабов там хоть не будет? Может, опять какие-нибудь политические или фашистские штучки? Или, не приведи Господь, что-нибудь божественное?

Он жалостливо покачал головой и сказал:

— Бедняга, — в голосе его слышались теплые нотки. — Ты совсем как твой удав. Даже не знаешь, что кто-то о тебе заботится.

И ушел, показывая всем своим видом, что ему жаль попусту тратить любовь.

***

Не нужно мне никакой демонстрации, чтобы развернуться, растянуться и распуститься — кум королю! — в моей квартирке, с трубочкой, табачком, в тесном кругу домашних предметов обихода. Но я страдаю избытком и не вижу иного способа расширить сбыт скопившихся продуктов внутреннего потребления, кроме ненавязчивой рекламы исподволь, типа кампании «рука помощи». Я так переполнен ресурсами любви, что иногда, сидя в кресле, думаю: уж не во мне ли берет исток одноименная русская река! Этот подземный источник еще не открыт, и только мадемуазель Дрейфус с присущей чернокожим особой чуткостью догадывается о его существовании. Негры куда чувствительнее нас, что объясняется необходимостью выживания в девственных лесах и пустынях, где источники существования крайне редки и глубоко запрятаны. Мысленно я так и говорю ей — я ведь решил на следующей стоянке, в Бангкоке, в гостинице «Ориенталь» (проспект у меня уже есть), объясниться и откровенно высказать все самое сокровенное... «Иренэ, — говорю я, — я хочу все-все отдать вам, во мне такое изобилие эмоциональных ресурсов, что некоторые географы полагают, будто великая река Амур берет начало в моих недрах...» Здесь моя речь переходит в другое русло. Я имею в виду будущую речь в Коллеж де Франс, если настанет время, когда удавы и их так называемая жизнь будут наконец признаны достойными внимания сей высокочтимой аудитории и представляемой ею цивилизации.

На сегодня мне требуется только одно, только об одном молюсь я во весь внутренний голос, боясь потревожить соседей: чтоб было у меня любимое существо. Весьма скромное требование. Но как изложить все это профессору Цуресу, человеку утонченному, доктору всех и всяческих наук, которому, скорее всего, не по вкусу кровавый бифштекс с доставкой на дом и явно недостает опыта привычных к кровопусканиям великих сибирских рек. Я и он все равно что бурьян и газон. Я стоял перед ним как животрепещущая проблема: если истину о себе высказываешь вслух, слух ближнего останется для нее закрытым. Зато открылась дверь в профессорскую квартиру, послушная простому повороту ключа.

А я и без ключа открою вам всю душу и скажу, что если бы профессор согласился приютить Блондину и присматривать за ней, это не только положило бы начало замечательной дружбе между нами, но и помогло бы мне наконец отделаться от самого себя и больше не чувствовать себя лишним, как все лишенные самочувствия.

— На что мне ваша мышь? Что за дичь?

Профессор был взбешен. Меня это не обескуражило, наоборот — я радовался бурному началу нашей дружбы.

— И почему я? Почему именно ко мне вы пристали со своей мышью? Как это прикажете понимать? Ну вот что, мне некогда. С вами я разговариваю только из вежливости, поскольку мы соседи, но возиться еще с вашей мышью мне некогда, и так времени кот наплакал.

Я задохнулся смехом и еле выговорил:

— Простите... Но у вас так остроумно получилось...

Меня разбирало все больше.

— ...вы так естественно и кстати вспомнили о коте, как только речь зашла о мыши...

Во мне нет ни капли злорадства, но смех приносит облегчение, и я не мог остановиться.

— Так вы...

Профессор побелел как полотно, на фоне которого даже его безукоризненный шарф показался сероватым.

— Вы издеваться надо мной вздумали?! — взорвался он. — Фашист! Террорист! Провокатор!

Мне сделалось страшно. Я терял друга. Глаза профессора метали молнии. Прошу простить высокопарный слог, вообще-то он не в моем духе: в наше время красивыми словами не проймешь, это шелуха, а мне важна суть. И я стараюсь выдержать самый демографический, житейский, подноготный тон. Высокие материи нынче поизносились.

— Вы славитесь как защитник всех обиженных. А я укрываю у себя белую мышь и не знаю, что с ней делать дальше. Именно «укрываю», поскольку мышь слаба и отовсюду ей грозит опасность.

— А как же ваш удав? Ведь, если я не ошибаюсь, он как раз мышами и питается? Так в чем же дело?

Он шагнул ко мне, засунув руки в карманы брюк, выпятив грудь и задрав, как хвост, полы пальто. Сигарета во рту, бородка, кашне и шляпа. Под мышкой распухшая от милосердия, набитая правами человека папка. (Портрет предельно точен!) Гнев профессора улетучился, вид у него был теперь скорее насмешливый.

— Надеюсь, ваш удав питается как следует? А чем вы его кормите? Мышами, то-то и оно. Так нечего вилять и отпираться. Против природы не попрешь.

— Тут я бессилен. Но я кормлю его не сам, поручаю прислуге. А к вам пришел за помощью, вот и все. Потому что смертность чувств достигла ужасающих размеров.

— У вас своеобразная манера выражаться! — сказал профессор Цурес.

— Я пытаюсь пробить брешь, вот и все. Вдруг нарвусь на что-нибудь новое. Уборщик из нашего управления говорит, что все слова нагородили для того, чтобы оградить среду. Вход свободный, обеспеченный священным правом на жизнь, а выход перекрыт. Не знаю, приходилось ли вам держать на ладони беззащитную мышку. Впрочем, у вас, конечно, всегда найдутся миллионы голодающих, это колоссальное облегчение. Не стану вас больше отрывать, скажу только, что телевидение предоставляет всем и каждому утешаться массовыми страданиями. Вот только что показывали: пятьдесят тысяч эфиопов умерли от голода, — ради того, чтобы отвлечь нас, но на меня это не действует, то есть мне от этого легче не становится. Такой уж я бесчувственный.

— У вас есть друзья? — участливо спросил профессор.

— Могли бы быть, но люди не любят удавов, а я не могу бросить несчастное животное. Не могу — и все. Слышали об инопланетянах? Ну вот, и тут примерно то же самое, помощь извне, за пределами возможного.

Профессор положил руку мне на плечо без всякой снисходительности, уж он-то умел выражать добрую волю.

— Дорогой мой, я все понимаю, но квартира у меня не так велика. Взять вас к себе я не могу, зато на днях непременно загляну к вам сам. Не падайте духом. Все будет хорошо. Вам вредно одиночество. Постарайтесь завести друзей.

С этими словами он толкнул дверь и ушел к себе, но это было уже не важно: я успел вылезти из своей скорлупы и шагнуть далеко вперед. Долго еще стоял я перед закрытой дверью и улыбался ей как живому существу.

***

До утра я не мог заснуть. В ушах пел хор дружественных голосов, перед глазами колыхались васильковые луга. Я люблю васильки, особенно за название: «василек» — слово веселое и похожее на смех ребенка. У меня такое бывает: целые концерты

звучат в глубине души, с песнями и плясками, берущими за сердце скрипками и задорными народными инструментами, как подумаю о разлитом вокруг море любви, о ждущих своего часа сердечных кладах и о двух миллиардах островов сокровищ, омываемых амурными волнами. Люди страдают от перенасыщения добром, которое не могут излить на головы ближних — не позволяет общественный климат, засуха в социуме. Каждый, задыхаясь от нерастраченности, думает, как бы побольше отдать, — это же прекрасно! Актуальнейшая проблема всех времен — избыток любви и доброты, которые в силу Бог знает какого несовершенства нашего устройства не находят естественного оттока, так что великая река Амур принуждена растекаться по мочеполовым каналам. Я тоже ношу в себе невидимые, но наполненные до краев резервуары, их содержимое гниет и бродит, не находя выхода, а поделиться этим богатством не с кем: Голубчик — удав, его потребности весьма невелики, Блондина — мышь и тоже довольствуется малым, была бы теплая рука.

Мне самому так не хватает теплой дружеской руки.

***

И вот ночь, и я лежу, свернувшись кольцами, и думаю обо всем этом, а в глубине души играют флейты, пляшут васильки, цветут улыбки. Все равно темно, никто не видит, так что пусть. В старину говорили: у стен есть уши, они все слышат, но это вранье, стенам начхать, стоят себе, и все. Если, конечно, самому на них не лезть. Одна мадемуазель Дрейфус могла бы пожать мои плоды, пока они не сгнили на корню. Вот если бы нам с ней так повезло, как я однажды читал в газете: люди застряли в лифте и просидели всей компанией сутки с лишним. Авария, хорошая авария — отключение тока, остановка потока, разрыв замкнутого круга, — и мы бы наконец нашли друг друга. Я бы и сам подсуетился и сломал что-нибудь в механизме, но как это сделать на ходу, да еще когда сидишь внутри, — нет, в одиночку тут не справиться. Я уж готов был прибегнуть к помощи извне и попросить нашего уборщика, но не решился: его богатый опыт подрывной деятельности мог бы все испортить.

Лежу и слушаю свой потайной приемник. В такие минуты кажется, что все легко: встать, найти себя в потемках, обняться и забыться в теплой дружеской руке.

Но ладно уж, сойдет и то, что есть, в конце концов не хуже, чем у людей; я встал, нашел в потемках кресло, взял Голубчика, и он чувствительно обнял меня, и я забылся.

С Блондиной в теплой дружеской руке, согретый близким существом в лице удава — чем не жизнь!

Но однажды ночью, когда мы все трое спали, положившись друг на друга, наглядно отклоняясь от природы и приближая горизонты невозможного, несбыточный предел мечтаний и т.д., произошло непоправимое, чему я был бессильным свидетелем во сне. Должно быть, пальцы мои разжались, мышь оказалась на ладони, на виду, и в Голубчике незамедлительно сработал закон джунглей. Пусть тот, кто побывал в подобной ситуации, представит сам, что чувствовала бедная Блондина, очутившись перед раскрытой пастью страшного чудовища, хоть и невидимой в темноте, но ощутимой по охватившему тебя смятению. Спасения нет. Я так перепугался, что, кажется, чуть окончательно не родился, известно же: страх стимулирует роды. Понять всю глубину трагедии под силу только тем, у кого хватит слабости. К счастью, я проснулся, и оказалось, что Голубчик с Блондиной мирно спят, каждый на своем месте. Ничего не стряслось, если не считать моего потрясения. На всякий случай я встал и посадил мышь в коробку, но долго еще не мог заснуть, предоставленный самому себе.

***

На следующий день ровно в девять часов пятьдесят минут произошло долгожданное событие. Я пропустил уже несколько кабин, поджидая, как подразумевалось строго между нами, пока придет мадемуазель Дрейфус, и она наконец появилась, но я к тому времени совсем извелся и с ужасом думал: вдруг не придет совсем, а пришлет письмо, что между нами все кончено. Как-никак мы ездим в одном лифте каждое утро вот уже целых одиннадцать месяцев, а для совместной жизни нет ничего хуже привычки, потихоньку подменяющей подлинное чувство.

В то утро я и без того был расстроен: мне нанесли оскорбление. Дело было так: я зашел в «Рамзес» выпить кофе, а за соседним столиком сидела немолодая дама и держала на коленях зеленого попугая в корзинке. Кого-кого, а меня особа, разгуливающая по Парижу с попугаем, не удивит, однако же дама сочла нужным ко мне обратиться. Протягивая какую-то карточку, с кисло-сладкой, точно по рецепту китайской кухни, улыбкой, она сказала:

— Возьмите, месье. Это новая телефонная служба, звоните в любое время суток, и с вами поговорят. Все законно, даже занесено в справочник: служба «Родственные души». Ни рекламы, ни пропаганды, просто душевный разговор, вас внимательно выслушают, расспросят, им все о вас интересно. А можно абонироваться на дополнительные услуги; вам пришлют приятный подарок на день рождения, и вы будете знать наверняка: в этот день специально выделенный человек думает о вас.

Я возмутился. Кажется, я прилично одет и вид у меня не такой уж заброшенный.

— А когда разговор окончен, вы вешаете трубку?

— Ну разумеется, — ответила дама.

— «Ну разумеется», — насмешливо передразнил я и поднялся во весь рост, бросив на столик прейскурант «Родственных душ». — Вы вешаете трубку и снова остаетесь одна со своим зеленым попугаем. Но я, мадам, к вашему сведению, человек семейный, у меня есть подруга в лифте, я не нуждаюсь в общении посредством телефона.

Я распалился и в завершение тирады сказанул:

— Запомните, мадам, в Париже не принято заговаривать с незнакомыми мужчинами, которые вас не трогают.

Из дальнейшего можно, во-первых, заключить, как легко человеку ошибиться в другом человеке и как ненадежен даже самый неразлучный попугай в трудную минуту. Немолодая дама вдруг разрыдалась, а телефонная сеть и не подумала помочь ей. Я же вдруг понял молодых и горячих преступников, которые, ища сочувствия, хватаются за револьвер и стреляют в кого попало. Никогда прежде мне не случалось видеть, чтобы кто-то проливал из-за меня слезы, и столь явное внимание к моей персоне подействовало на меня ошеломляюще.

Во-вторых, как можно заключить из того же дальнейшего, ошибиться в зеленом попугае тоже легко. Слезы лишенной всякой телефонной помощи немолодой дамы я описал достаточно подробно. Повторяю, первый раз в жизни я заставил кого-то плакать и был глубоко потрясен тем, что, оказывается, обладаю даром, о котором никогда не догадывался и который мог бы значительно облегчить мои сношения с собратьями по мегаполису. В восторженном озарении я представил себе широчайшие возможности мгновенного резонанса, спонтанного равенства, представил город как демократическое общежитие и радужные перспективы, самопроявления. Но еще больше поразил меня попугай, обнаруживший такую человечность, какой, несмотря на длительные изыскания в Национальной библиотеке, я не распознал в нем с первого взгляда. Эта пернатая личность, поначалу игнорировавшая беседу, безучастно сидя в корзинке, вдруг взмахнула крыльями, очутилась на плече у личности человеческой и принялась осыпать ее увядшее лицо нежными клевками, вопя:

— Бум! Сердце стучит в груди![1]

— Вы бы мне такого не сказали, если б я была молодой и красивой! — с обидой выговорила немолодая личность.

— Бум! Сердце стучит бум-бум! — оглушительно утешал ее попугай.

Дама дала ему орешек и, поднеся к глазам платок, улыбнулась сквозь слезы. И тут попугая заклинило.

— Бум-бум, бум-бум! — заладил он.

— И расцветает любовь! — подсказала хозяйка.

Но попугай молчал, словно проглотил человеческий язык, и только жалобно смотрел круглыми глазами на братьев бóльших. Не попугай, а мокрая курица.

— Бум-бум! — беспомощно проквохтал он наконец и забился в корзинку.

У меня защемило сердце.

— Я держу удава, — сообщил я даме, чтобы она поняла, что мы с ней в каком-то роде одного поля ягоды. — Он перенес уже несколько линек, но все равно остается удавом. К сожалению, такие проблемы пока неразрешимы.

К нам подошел хозяин «Рамзеса», взял деньги, которые я положил на столик, и сказал, что по радио передали, будто бы на южном направлении, у Жювизи, образовалась пробка километров на пятнадцать. Я горячо поблагодарил его. Ведь тем самым он дружески подразумевал, что на других направлениях пробок нет, все пути открыты, свободны вплоть до горизонта возможного. Рядом со мной сидела славная седовласая женщина, видно было, что жизнь ее прошла в тяжких и бесполезных трудах. В лучшем случае она имела мелкую лавочку или что-нибудь в этом духе. Довожу сие до сведения Ассоциации врачей как факт, имеющий отношение к вопросу об абортах и священном праве на жизнь.

И тут я вспомнил плакат с правилами оказания первой помощи, он висел напротив, на стене дома по улице Дюкре, там были фотография и все указания, как делать искусственное дыхание рот в рот утопающим и другим пострадавшим. Так вот, делать это надо как можно скорее, дорога каждая секунда, но обычно все равно бывает

[1] Слова известной песенки Шарля Трене.

слишком поздно, поди распознай утопающего в уличном потоке. Демографический поток — это вам не амурные волны: течение в парижском метро так сильно, что запросто утонешь и следа не останется. Я понял: немолодую даму надо спасать рот в рот — телефонной сети в таком деле, как искусственное дыхание, доверять нельзя. С точки зрения общественной безопасности и культуры это — искусство, требующее вдохновения. Между тем попугай смотрел на меня круглыми глазами, в которых сквозили обида на непонимание и ожидание ответа. А дама продолжала улыбаться из глубины корзинки, но мы уже все друг другу высказали, исчерпали общую материю, остались лишь смущение и неловкость. Тем не менее, чтобы дама не подумала, будто я потерял к ней интерес по тем же причинам, что и все прочие, я с присущей мне находчивостью подхватил сказанное хозяином «Рамзеса» относительно пятнадцатикилометровой пробки на южном направлении, у Жювизи. Причем постарался придать голосу твердость, чтобы внушить даме, что остальные пути открыты, — не хотелось оставлять ее в беде. Потом перешел к статистике и большим числам, чтобы она поняла: в таком великом множестве всегда есть шанс на рождение и возрождение. Примеров сколько угодно: пораженные филлоксерой виноградники снова плодоносят, министр здравоохранения неустанно заботится об увеличении поголовья отечественного рабочего скота во Франции (так он сам писал в газете «Монд», впрочем, вполне вероятно, что это был министр сельского хозяйства, ошибка же возникла из-за смещения ценностей или упущения в наборе), а недосмотр властей или утечка при абортах могут способствовать рождеству Человека — подобно тому, как это имело место на заре нашей эры. Я безостановочно работал ртом, накачивая жертву, но усилия разбивались о подавленный взгляд из корзинки. Что ни говори, а убитый горем попугай — это нечто превышающее человеческие силы.

***

Прежде чем вернуться в лифт и описать произошедшее там грандиозное событие, я должен заскочить сам и забросить читателя к себе домой, поскольку в мое отсутствие Голубчик выкинул коленце, которое сначала выбило у меня почву из-под ног, а потом восстановило против меня всех жильцов. Впрочем, нет, пожалуй, забегать вперед не стоит, не то обилие пусть даже самых искусных извивов вокруг да около предмета могут оставить у придирчивого читателя ощущение сумбура и затянутого узла. Пусть все идет своим чередом. Итак, поведаю сначала о счастье, обрушившемся на меня в лифте. Едва оторвавшись от земли, мадемуазель Дрейфус посмотрела мне в глаза, ослепила улыбкой и с мягким акцентом родных берегов спросила:

— Ну что ваш удав? Как он поживает?

Это был уже второй после знаменательной встречи на Елисейских полях откровенный знак внимания с ее стороны.

У меня потемнело в глазах, как всегда, когда перехватывает дух, и целый этаж я прочищал горло, пока не смог говорить спокойно, не рискуя усилить ее смятение, — юные негритянки впечатлительны и пугливы, как газели.

— Благодарю вас, — сказал я, — живет как может.

Конечно, надо бы сказать: «Спасибо, он живет отлично», но то-то и оно, что я не хотел создавать у нее впечатление, будто все хорошо и без нее. Мне ясно представился кадр из передачи «Жизнь животных»: вспугнутая газель срывается с места и исчезает в джунглях. Поймите меня правильно: на грани срыва долгожданное событие приобретает огромную важность.

— Живет как может. Развивается нормально. Вырос за год на два сантиметра.

Нам оставалось всего два этажа, чтобы все высказать друг другу, и я замолк со всей доступной мне невыразимостью. Обычно для внушительности я ношу темные очки, как кинозвезда, чтобы не приставали поклонники на улице, но в тот день в приливе этакой мушкетерской лихости — где наша не пропадала! — не надел их. Поэтому мог досыта выражаться обнаженным взглядом и высказал Иренэ все, что накипело. Верьте слову, взгляд мой пел, как хор и скрипка с оркестром, вместе взятые. Никогда в жизни не был я так счастлив в лифте. Я выпустил из глубины корзинки убитого горем попугая. Казалось, кровавые бифштексы во всех мясных лавках города обрели наконец право голоса и тоже запели хором. Это так резко подняло престиж домашнего скота в глазах потребителей, что стала наконец очевидной разница между бараном и человеком. А во мне что-то родилось или, по крайней мере, что-то выкипело.

Миновали Бангкок, Сингапур, Гонконг, а кабина все поднималась. Мне приходилось читать, что роды могут начаться где угодно, например, в поезде, самолете, такси, но как-то не верилось — мало ли что напишут, да и опечатки сплошь и рядом. Мадемуазель Дрейфус в кожаной мини внимательно смотрела на меня. И я чувство-

вал, она видит насквозь тайники моей души: затравленного попугая в корзинке, белую мышь в коробке, удава в два метра двадцать сантиметров и двадцать узлов в час, которому я служу единственным посредником. Смотрела и улыбалась, а лифт возносился, должно быть, в заэтажную высь. Только заметив, что он снова на первом и, кроме меня, в кабине никого нет, я очнулся.

Но главное ждало меня впереди. Не успел я все-таки подняться к себе, как в кабинет вошла мадемуазель Дрейфус с чашкой кофе, в рыжей кожаной мини и того же цвета сапогах. Она прислонилась к моему IBM и, помешивая ложечкой кофе, спросила:

— Нельзя ли как-нибудь взглянуть на этого самого удава?

Я не растерялся. Когда видишь, что кто-то хочет выплыть, умей бросаться в воду. Человек терпит одиночество — это бедствие я знаю не понаслышке и откликаюсь с первого зова. Движимый инстинктом самосохранения, я нырнул не раздумывая:

— Ну конечно. Заходите к нам на чашку чая, когда вам будет угодно. Не забиваться же в корзинку, как я тут видел одного попугая с дамой. Приходите, мы всегда рады.

— Что, если в субботу? Часов в пять?

— В пять! — звонко отчеканил я. — Договорились.

Мадемуазель Дрейфус вышла. По-моему, мир спасет женственность, по крайней мере, в моем случае так уж точно. Бывают, я знаю, противные случаи: например, в нашем доме, шестой этаж, вход со двора, живет некий господин Жальбек, так у него в шкафу висит немецкий мундир со свастикой. Я пишу о нем, чтобы заполнить паузу, образовавшуюся после ухода мадемуазель Дрейфус.

Не знаю, сколько времени я простоял как громом пораженный, но, должно быть, много. Чтобы прийти в себя и сесть, понадобилось расслабиться через силу, да еще не очень-то я был уверен, в себя ли пришел. Я вдаюсь в подобные детали единственно потому, что на свете, несомненно, бессчетное множество таких же безнадежно фантастических романов, как мой, и я хочу поделиться опытом с себе подобными, протянуть им руку помощи.

Домой я летел на крыльях, спеша обнять Голубчика и пуститься с ним в пляс, — на радостях во мне взыграла вакхическая струя.

Но Голубчика дома не оказалось. Он пропал. Исчез. Испарился бесследно. В моей двухкомнатушке нет угла, где он мог бы от меня спрятаться. Я знаю наизусть, куда он заползает, когда не в духе. Под кровать, под кресло, за занавеску. Но ни в одном из этих мест его не было.

В панике я перерыл всю квартиру. Кошмар! Голова шла кругом, мысли мелькали одна другой нелепей. Что, если Голубчик ушел в состоянии аффекта, который вызвало у меня обещание мадемуазель Дрейфус? Или решил, что он мне больше не нужен, его место будет занято, и удалился из деликатности, тактичности или, наоборот, из обиды и ревности? Мадам Нибельмесс оставила открытой дверь, и он уполз с разбитым сердцем. А может, перед уходом черкнул мне несколько слов, орошенных слезами? Я зарыдал и рухнул в кресло. Нет, нигде никакой записки. Что же теперь делать, если мадемуазель Дрейфус придет в субботу проведать Голубчика, а я исчез и даже не предупредил? Один-одинешенек. Подавленный всем комплексом Большого Парижа с бессмертными памятниками культуры и архитектуры. Голубчик ползает понизу, он мог отравиться выхлопными газами. На улицах полно ксенофобов, известно, как не любят стихийных эмигрантов, вон арабов сколько раз убивали ни за что ни про что, а удав еще похлеще араба! Мне редко выпадало счастье, и я не знал, каково психическое воздействие столь резкого выпадения на непривычный организм. С одной стороны, все еще грела улыбка мадемуазель Дрейфус в лифте и ее обещание заглянуть ко мне, с другой — леденила пропажа любимого удава, в общем, я был под стрессом противоречивых чувств.

Я снова обыскал все углы и даже, как каждый на моем месте, заглянул в запертый снаружи шкаф. Но обнаружить удава не удалось, несмотря на весь мой опыт в этом жанре.

Шкаф зиял вопиющей невозможностью.

Невозможное в обличье чисто французского общества закрытого типа со всеобщим избирательным правом собственности под ключ подступало с ножом к горлу.

Короче, каждый знает, что значит потерять близкое существо. Наконец я лег с дикой головной болью, меня ломало и скручивало в такие узлы, что не продохнуть. Я не случайно говорю о ломке — ни с чем другим так не схожи муки человека, лишенного опоры и утешения, человека, который, отдав все душевные излишки любимой твари (ведь все мы твари Божьи), спешит домой после долгого отсутствия (на службе и вообще), заранее улыбаясь при мысли, что любимец поджидает его, свернувшись в уголке или повиснув на занавеске, — и вдруг... «Кто же теперь будет обо мне заботиться, кормить меня, брать на руки и обвивать вокруг плеч от избытка братских

чувств и одиночества», — в отчаянии думал я. По-моему, братство — это слияние грамматических лиц «я» и «он», «я» и «ты», обогащающее возможности сопряжения. На секунду мне показалось, что я просто опоздал, например из-за забастовки в метро, и сейчас буду дома, усталый, но довольный; вот-вот, как обычно, щелкнет ключ в замке и войдет с полной сумкой продуктов и с газетой под мышкой Голубчик. Я поползу ему навстречу, приветливо извиваясь; дурачась, потяну за брючину, и все снова будет к лучшему в этом лучшем из миров — глупейшее, между нами говоря, выражение! Но поверить в это по-настоящему я не мог, как не мог вернуться в свои восемь лет — самый подходящий возраст, когда только и возможно невозможное. Меня обуревал страх очутиться на дне корзинки с затравленным попугаем и даже без родственной души его зрелой хозяйки; в горле застряла пятнадцатикилометровая пробка под Жювизи, перед глазами вставали душераздирающие картины: вот Голубчика сбивает грузовик, и мадам Нибельмесс преподносит мне его в виде дамской сумочки; в мозгу бушевал смерч, поднимая застрявшие в извилинах частицы культурного багажа: Наполеон, выводящий свой народ из Египта, наши предки галлы, бюст Бетховена, забастовка на заводах Рено, программа фронта левых сил, Ассоциация врачей, профессор Лорта-Жакоб на страже жертв аборта, Голубчик, представляющий Францию на мировом форуме. Меня не удивило бы, если бы в квартиру в самом деле вошли, связали меня по рукам и ногам, подвергли экспертизе на степень негодности, а затем передали в Лигу прав человека для окончательного заключения.

Часам к одиннадцати я настолько запутался и замотался, что решил пока не дергаться, памятуя, что шнурки следует развязывать потихоньку, не то затянешь узел еще сильнее. В лихорадочно воспаленном сознании вспыхивал красный свет, магистральные артерии распирал напряженный поток, респираторные пути периодически закупоривались пробками, пульсировали мигалки и выли сирены «скорой помощи» с пожарной командой. Со всех сторон скрежетало и грохотало, и каждую минуту увеличивалось поголовье недородков, обеспечивая рабсилу, изобилие и полную занятость. Нарастало всеобщее нервное истощение, духовное оскотение и бессердечная недостаточность последних предметов необходимости. Стадо эмбрионов паслось на ниве Министерства инородного образования. Я попытался отогнать наваждение, увести мысли в сторону по тропкам ассоциативных связей: от эмбрионов к пробиркам, от пробирок к культурам, а уж культура — совсем другая музыка, девятая симфония Брамса, иерихонские трубы, от которых падают стенки. Но легионы недородков врывались во все бреши, расползались, как фашистская зараза. А что толку кричать: «Фашизм не пройдет!» — хрен редьки не слаще, пройдет что-нибудь другое, такое, что не обрадуешься. Тот же эмбрионал-социализм (не угодно ли?). Это не политическая партия, не идеология, никакой поддержки избирателей тут не нужно. Это явление демографическое, обусловленное самой природой, священным правом на мочеполовую жизнь. Я вдруг ощутил столь мощный позыв в этой области, что встал и пошел по нужде.

***

Все-таки выйти Голубчик никак не мог: у него нет ключа. Наверно, задержался на работе, какие-нибудь сверхурочные часы, другого объяснения не было. Разве что завернул в бордель, но мало вероятно: он ходил туда, если приспичит, только в обеденное время, с двенадцати до двух, когда нет наплыва людей. Такой уж он чудак. Трудно представить, чтобы его опознали и затоптали в метро — после долгого рабочего дня парижане едут усталые и пассивные. В полицию тоже вряд ли забрали — полиция ничего не имеет против пресмыкающихся.

Состояние мое было неописуемо, выражаясь техническим языком, я попросту слетел с катушек. Однако ценой невероятных усилий произвел полную перемотку и восстановил присущую мне картезианскую ясность ума. В доме Голубчика нет, следовательно, он выполз, улизнул через какое-нибудь из отверстий, к которым, как я знал, его всегда тянуло. Негодный удав спал и видел, как бы удрать на волю и посвоевольничать. Такие несознательные поползновения уже бывали.

Еще раз все обыскав, я окончательно установил, что его действительно нет. То была великая победа разума: значит, я на верном пути.

Я взял в руки Блондину и погладил ее по шерстке. От дружеской ласки мне стало легче. Но, кажется, у Блондины есть свои, гастрономические, основания радоваться исчезновению Голубчика.

Когда, посадив ее обратно в ящик, я закрывал шкаф, под окном вдруг раздался вой сирен. Я распахнул его, высунулся и увидел, что у подъезда остановились карета «скорой помощи» и полицейская машина.

Меня так и пронзило: в «скорой помощи» он, Голубчик, его задавил шестьдесят

третий автобус, в котором лет пять тому назад один тип обозвал меня мозгляком. Его погрузили в «скорую помощь», а полиция пришла допросить меня, в каких условиях я содержу дикую иностранную рабсилу. Я решил дорого продать свою шкуру и схватился за автомат, разумеется, воображаемый — строчить из настоящего я ни за что бы не смог, это только так, чтобы не упасть в собственных глазах. Изготовившись, я стоял посреди комнаты и конспирации ради глотал свои особые человеческие приметы, только несколько штук пробились и скатились по щекам. Сейчас принесут безнадежного Голубчика на носилках. Директор зоопарка еще давно, как увидел его, сразу сказал: «Вот это, я понимаю, удав!» Может, и другие так понимали и по ошибке линчевали его.

Бессильно сжав кулаки, я ждал. Никого. Шумели на лестнице, но где-то внизу. Наконец я не выдержал и, забыв всякую осторожность, сам открыл дверь и вышел.

***

События разворачивались этажом ниже. Перегнувшись через перила, я с удивлением увидел, как санитары выносят на носилках мадам Шанжуа дю Жестар. Супруги Шанжуа дю Жестар живут прямо подо мной, просто к слову не пришлось упомянуть о них раньше. На площадке стояли двое полицейских и сам Шанжуа дю Жестар, лысый и в подтяжках. Мне стало неловко, но тут сам Шанжуа дю Жестар поднял голову, увидел меня, и лицо его запылало такой яростью, что я сам в кои-то веки почувствовал себя действующим (только неведомо где и как) лицом.

— Негодяй! Скотина! Извращенец!

В два скачка он одолел разделявшие нас ступеньки и, если бы полицейский не схватил его за руки, набросился бы на меня с кулаками. Шанжуа дю Жестар — рослый, грузный, лысый, коммерческой складки человек о трех подбородках, которыми он как добрый католик мог бы поделиться с ближним. До сих пор мы отлично ладили, поскольку оба понимали: хочешь жить в мире с соседом — поменьше с ним встречайся. Но на этот раз он прямо-таки рвался из кожи вон мне навстречу.

— Мерзавец! Маньяк!

Он захлебнулся, явно не находя больше слов, что неудивительно, поскольку согласно последним социологическим исследованиям словарный запас современного француза сократился на пятьдесят процентов по сравнению с прошлым веком. Я поспешил ему на помощь и с готовностью подсказал:

— Дерьмоед! Хулигад! Безомразник!

Но он принял мои добрые намерения за личные оскорбления, и блюстители порядка еле сдержали новый его порыв.

— Подонок! Так оскорбить честную женщину!

— Пройдемте в участок! — сказал один из блюстителей, пресекая с молчаливого согласия напарника всякие разговоры о честности.

Шанжуа дю Жестар плюнул мне в лицо, но не попал — я стоял на три ступеньки выше.

Блюстители затолкали его в квартиру и заперли, а меня взяли под руки и еще раз настойчиво пригласили в участок.

Представьте же мою радость, когда за решеткой в полицейском комиссариате XV округа я увидел... кого же, как не моего драгоценного Голубчика, свернувшегося собственной персоной в тугую, готовую к самообороне пружину! В помещении сидел он один, всех завсегдатаев: дежурных потаскушек и беспаспортных туристов, не сумевших доказать, что они японцы, — эвакуировали. Я бросился к решетке, протянул руки сквозь прутья и стал гладить Голубчика. Он узнал мою ласку, стремительно распустил узлы и с державной легкостью воздвиг в воздухе спираль, представ во всем своем великолепии и подставив мне голову, особо чувствительную к изъявлению братских чувств. Тут одна эвакуированная потаскушка, — не могу без волнения вспомнить! — белокурая потаскушка, прелестная, как каждая не успевшая утратить веры в свое дело шлюха, сказала:

— Какая лапочка!

Я вспыхнул и затрепетал от этого комплимента. Затем меня провели к уже знакомому комиссару, и я наконец узнал, что произошло между Голубчиком и внешним миром.

Голубчик обожает плескаться, мне приходится постоянно следить, чтобы он не шалил в туалете, где вода не первой свежести. Но в тот день перед уходом я, должно быть, неплотно прикрыл дверь, и любознательный удав дорвался. Ну, а дальше все пошло как по писаному: он обследовал унитаз, нашел дыру, радостно влез в нее и заполз в канализационную трубу. Приятная освежающая прогулка — и он вынырнул этажом ниже, в туалете Шанжуа дю Жестаров, как раз в тот момент, когда хозяйка

восседала на толчке. Голубчик высунулся, чтобы глотнуть воздуха и осмотреться, и при этом задел особу мадам Шанжуа дю Жестар. Будучи женщиной весьма степенной, имеющей склонность к классической музыке и утонченному вышиванию, она сначала решила, что ей почудилось. Однако Голубчик проявил упорство и еще несколько раз легонько боднул мадам Шанжуа дю Жестар в интересное место. Тогда она подумала, не засорилась ли труба, привстав, заглянула в унитаз, и глазам ее предстал вздымающийся из воды удав. Бедная женщина испустила страшный вопль и, не сходя с места, потеряла сознание. Ее легко понять: в Голубчике два с лишним метра, для человека непривычного это многовато. Тут-то и последовала упомянутая выше бурная сцена с участием Шанжуа дю Жестара, «скорой помощи» и наряда полиции. Я попытался объяснить комиссару, что Голубчик — абсолютно невинное существо и ни за что не притронулся бы к прелестям почтенной мадам Шанжуа дю Жестар, если бы не вмешался случай. Но тут ввели разгневанного супруга, который, в свою очередь, немедленно вмешался и заорал на меня: «Свинья! Подонок!» — как будто это я просочился в канализацию, чтобы пощупать его супругу за пикантные места. Я оборонялся, как мог, втолковывал ему, что я занимаюсь не чем-нибудь, а статистикой и не имею обыкновения ползать по вонючим трубам — все напрасно: Шанжуа дю Жестар вцепился в меня мертвой хваткой. Комиссар сказал, что меня могут привлечь к суду за нанесение ущерба психическому здоровью с его возмещением. Он опять спросил, есть ли у меня разрешение на содержание экзотических эмигрантов в домашних условиях, и я опять предъявил ему документ. Стоило большого труда убедить его, что я не спускал Голубчика в канализацию с каким-то тайным умыслом. Наконец мне разрешили забрать удава, я шагнул за решетку, взял его на руки, а он в ту же минуту прижался головой к моему плечу и заснул от перевозбуждения.

Попрощавшись со всем обществом, я хотел поскорее уйти восвояси, но комиссар остановил меня.

— Вы не можете идти по улице, обернувшись удавом, — сказал он отеческим тоном. — Париж — город нервный, достаточно искры, чтобы вызвать взрыв. По инерции все худо-бедно идет своим чередом. Но если народ взбаламутить, показать ему иные возможности, он разнесет все к чертям.

В то же время комиссар протянул руку и потрепал буйную головушку Голубчика.

— Красота! Живая природа! — сказал он и вздохнул из глубины своей полицейской души. — О-хо-хо! Бывает же!

— Еще бы! — подхватил я. — При моей профессии так приятно прийти вечером домой и найти образчик живой природы.

— Что и говорить, — подытожил он. — Ладно, идите, только будьте осторожны. Возьмите такси. Обстановка в Париже накалена до крайности. Все держится только в силу привычки. Недавно один тип бегал по улице и стрелял направо-налево, в правых и виноватых. А тут еще вы с вашим удавом... Люди примут это за покушение на привычный образ жизни. Ну, счастливо. Но больше не попадайте в трубу и не щекочите порядочных дам в неположенном месте. Конечно, конечно, это не вы, а удав, я все понимаю, но ответственность все равно на вас.

Он не сводил глаз с Голубчика. Все-таки не каждый день такое увидишь. Потаскушки и даже подчиненные комиссара тоже смотрели как зачарованные. В каменных джунглях нечасто встретишь явление природы. Все люди как люди, а тут особь совсем другого вида!

— Да, это дело долгое и кропотливое, — сказал комиссар. Туманное замечание, но для меня в нем забрезжила Надежда.

***

Дома, как по заказу, меня ждала под дверью желтая бумажка: наконец-то Общество собралось принять меня в расчет. Я заполнил анкету очень тщательно: пригодится, если возникнут сомнения или придется доказывать свое существование. Всякое бывает. Когда население норовит перевалить за три миллиарда, а в ближайшее десятилетие подобраться к десяти, проблем хватает: тут и инфляция, и девальвация, и падение нравов, и рост поголовья на корню в мировом масштабе.

Пятница подходила к концу, а в субботу в пять обещала заглянуть мадемуазель Дрейфус.

Я стал готовиться. Поражать Иренэ показным блеском и пускать ей пыль в глаза ни к чему. Пусть меня любят ради меня самого. Поэтому я ограничился тем, что принял ванну и смыл последние следы канализации. Из ванной меня вытащил телефонный звонок. Натурально, кто-то опять ошибся номером. Я настолько привык отвечать: «Это ошибка», что стал и впрямь чувствовать себя ошибкой. Так часто звонят незнакомые люди, которые ищут кого-то другого. В этих поисках наугад другого су-

щества есть что-то бесконечно трогательное: может, тут проявляется некое, отличное от обычного телефонное подсознание...

Итак, я накрыл стол скатертью, украсил букетом ландышей в простой вазочке, расставил чайный сервиз на две персоны и положил две красные салфетки в форме сердечка. Сервиз на две персоны приобретен мною давным-давно: судьба требует, чтобы ей доверяли, и эти требования следует выполнять, тогда есть надежда хоть когда-нибудь ее задобрить. Но что подать гостье к чаю, я не имел ни малейшего представления. Как вспомню, сколько я натерпелся из-за разборчивости Голубчика! Однако мадемуазель Дрейфус живет в наших широтах уже давно и, надо полагать, не столь привередлива.

Спал я плохо, меня лихорадило — все из-за предстоящей встречи, ведь я был уверен, что мадемуазель Дрейфус действительно придет, а когда всю жизнь ждешь и ждешь любовь, оказываешься к ней совсем неподготовленным.

В голову лезли разные мысли. Я думал о том, что безупречность любой системы обеспечивается наличием фактора ошибки, и, значит, следует ждать его вмешательства. Что ж, как говаривал нам Вездесущий Голубчик, «прости им, ибо не ведают, что творят». Позволю себе и я заметить своим ученикам, в случае, если по опубликовании настоящего труда удостоюсь институтской кафедры, что предвестия грядущего предела мечтаний можно наблюдать под цветущими каштанами, на скамейках Люксембургского сада и в подворотнях, а именуются они «прологомены» (от греческого «пролог» и английского «men» — «люди»), то бишь «прелюдии». Перейдем, однако, к ошибке, касающейся нас вплотную.

***

Я был готов к приходу мадемуазель Дрейфус уже в два часа дня. Правда, она обещала к пяти, но при парижских уличных пробках!

Голубчика я расположил на самом виду, в кресле у окна. Выгодно освещенный, он весь сиял, словно аттракцион в луна-парке (от англ. to attract — приманивать), — это как приманка и задумано, чтобы понравиться мадемуазель Дрейфус.

Сам же нарядился в светлый костюм с зеленым галстуком. Одеваться следует внушительно, тогда не так опасно переходить улицу — вас считают персоной и потому обращают на вас внимание. Волосы у меня белесые и жидковатые, но, к счастью, это незаметно, потому что на мою внешность никто не смотрит. И ничего страшного, даже наоборот — тем явственней видны достоинства внутренние, лучшим выразителем которых является Голубчик в силу моей к нему привязанности. Прошу прощения за узловатость — это нервное.

В половине пятого раздался звонок. Меня охватил страх: вдруг опять ошиблись номером. Но я взял себя в руки и пошел открывать, стараясь держаться как можно раскованнее: когда девушка первый раз приходит в гости к удаву, она поневоле робеет, и надо поскорее поместить ее в свою тарелку.

На пороге стояла мадемуазель Дрейфус в рыжей мини и таких же сапогах выше колена, но это еще не все.

С ней были трое наших общих сослуживцев.

При виде их кровь отхлынула у меня от лица, так что мадемуазель Дрейфус обеспокоилась.

— Вот и мы, — сказала она, выпевая слова по туземному обычаю. — А что с вами, вы какой-то странный или забыли наш уговор?

Удушил бы наглецов! Вообще-то, вопреки укоренившемуся предрассудку, я совершенно безобиден, но этих троих сжал бы железной хваткой и удавил на месте.

Вместо этого я осклабился, приветствуя гостей:

— Заходите.

И широко распахнул дверь — так подставляют грудь врагу.

Они вошли. Замначальника управления Лотар и двое молодых из сектора проверки, Бранкадье и Ламбержак.

— Рад вас видеть, — сказал я им.

На самом деле я был бы рад провалиться сквозь землю. В моей двухкомнатушке прихожей практически нет, шаг — и сразу попадаешь в гостиную. Они без колебаний сделали этот шаг... Мадемуазель Дрейфус обернулась и посмотрела на меня с мягкой улыбкой. Зато другие...

На Голубчика они и не взглянули.

Они пожирали глазами стол.

Букетик ландышей.

Пару чайных чашек.

И пару салфеток сердечком, будь они неладны.

Всего по паре, все накрыто для пары сердец.

Их насмешливые взгляды сразили меня наповал, но, соблюдая приличия, я не дал себе воли и остался полуживым.

Какое коварство! Какая сокрушительная жестокость!

Я стоял словно голый, а все вокруг сотрясалось беззвучным смехом. Самоубийство не для меня, я человек маленький, у смерти найдутся клиенты покрупнее. На сенсацию я не тяну ни качеством, ни количеством.

Конечно, я не имел на все это права. На ландыши, скамейку под каштанами в Люксембургском саду, подворотни, чайный сервиз на две персоны и пару салфеточных сердечек.

Никакого права, ведь мне ничего не обещали. Просто что-то как будто проклюнулось в кабине лифта.

Надежда — это ошибка, свойственная человеческой натуре.

— Очень мило, — сказала мадемуазель Дрейфус, глядя на сердечки.

Те трое тоже не сводили с них глаз. Так и впились, вцепились мертвой хваткой.

— Такое может вкрасться даже в работу IBM, — промямлил я.

Ошибка, фактор ошибки может вмешаться даже в самые совершенные системы — вот что я хотел сказать, но не ради оправдания, я ведь только следовал природе.

— Стиль ретро, — произнес я далее с героическим усилием, чтобы выручить сердечные салфетки — я чувствовал себя настолько слабым, что мне было необходимо кому-нибудь помочь.

— По-моему, нас тут многовато, — заметил догадливый Ламбержак. — Мы, пожалуй, вас оставим.

Оба приятеля поддержали его. Издевательство чистой воды, хотя они не подавали виду. Но я-то понял.

Я приготовился защищать Голубчика. Как бы между прочим опустил руку в карман пиджака. Тревожные сирены взвыли на пороге сердца, я напружинился и занял круговую оборону. Мой подпольный шеф Жан Мулен когда-то тоже попал в ловушку и был схвачен гестапо в Калюире. Голубчик безмятежным клубком лежал в кресле, вполглаза поглядывая на всех с величавым презрением. Ни дать ни взять особь другого вида. Безупречная маскировка, и бумаги в полном порядке. Жан Мулен умер, но не выдал себя.

— Интересно, каково живется удаву? — спросил Бранкадье, подчиненный Ламбержака.

— Ничего, привык, — ответил я.

— Привычка — вторая натура, — глубокомысленно изрек Ламбержак.

Я сухо подтвердил:

— Именно. Кем быть — распоряжается случай, а там уж выкручивайся как знаешь.

— Приспособление к среде, — сказал Ламбержак.

— Приспособление — это и есть среда, — поправил я.

— А что они едят? — спросил Бранкадье.

Тут я заметил, что Лотар и мадемуазель Дрейфус пошли на кухню. Смотрят в холодильнике, что я ем!

Я застыл в немом негодовании.

Удавы не нападают на человека. Это все клевета, и Голубчик мирно дремал в своем животном состоянии.

Все же я не выдержал и ринулся на кухню.

Юнцы в гостиной у меня за спиной так и прыснули. Мадемуазель Дрейфус искала в шкафу чашки. Я встал рядом, сложив руки на груди и улыбаясь с видом презрительного превосходства.

— Я спущусь и буду ждать вас в машине, — сказал Лотар. — А то она ненадежно припаркована. Пока. Ваш удав очень мил. Я с удовольствием на него посмотрел. До понедельника, месье...

Я ясно расслышал непроизнесенное «месье Голубчик».

— ...месье Кузен. И спасибо. Удав в домашних условиях — это так интересно.

Мадемуазель Дрейфус закрыла шкафчик. Естественно, больше чашек у меня не было — дома я считаю не больше чем до двух. И я не понимал, почему она на меня так смотрит.

— Мне, право, очень неприятно, — сказала она. — Поверьте. Так получилось. Они тоже захотели посмотреть на удава...

Мадемуазель Дрейфус опустила густо поросшие ресницами глаза. Она едва не плакала. Описан случай, когда потерпевший кораблекрушение матрос трое суток погибал в открытом море и все-таки был спасен. Главное — не захлебнуться. И я жадно глотал воздух. А мадемуазель Дрейфус все стояла, опустив глаза, на грани моих слез. И тогда...

Тогда я горько усмехнулся и распахнул холодильник.

— Пожалуйста. Смотрите, если хотите.

Яйца, молоко, масло, ветчина. Все как у людей и с равным правом. Масло, яйца, ветчина — среднестатистический рацион. Правда, живых мышей я не ем, не привык, еще не настолько приспособился. Если я и ошибка, недоразумение, которое подлые негодяи хотят устранить, то чисто человеческого свойства.

Дверца закрылась, и я снова сложил руки на груди.

— Где же ваш удав? — тихонько спросила мадемуазель Дрейфус.

Она хотела сказать, что мне не надо ничего доказывать и нечего оправдываться, моя человеческая природа для нее не подлежит сомнению, и она понимает, что я не удав.

Мы вернулись в гостиную.

По дороге случилось невероятное.

Она пожала мне руку.

Я понял это не сразу, поначалу списав на несчастный случай, каприз праздной конечности, вне всякой связи с системой священного права.

Порог гостиной мы переступили в мире и согласии.

Ламбержак и Бранкадье, склонившись над креслом, разглядывали Голубчика.

— Он прекрасно ухожен, — сказал Ламбержак. — Это ваша заслуга.

— И давно у вас эта страсть к природе? — спросил Бранкадье.

— Не знаю, — уклончиво ответил я, не опуская скрещенных на груди рук. — А что? Мечтать ведь, кажется, никому не возбраняется.

И, поднимая голову все выше, а руки стискивая все крепче, прибавил:

— С природой все не так просто.

— Конечно, проблемы среды, — подхватил Ламбержак. — Виды на грани истребления нуждаются в защите.

— Вся надежда на фактор ошибки, — вымолвил я, но объяснять не стал — все равно они бессильны.

— Многие обезьяны, киты и тюлени тоже под угрозой, — сказал Бранкадье.

— Да уж, забот невпроворот, — подтвердил я с самым серьезным видом.

— А некоторые уже почти не существуют, — сказал Ламбержак.

Я проглотил намек не моргнув глазом.

— В общем, есть над чем потрудиться. — Ламбержак потер руки, будто собираясь закусить, и, сверкнув пробором, выпрямился.

— Похвально, очень похвально, — сказал он, глядя мне в лицо. — Видно, что вы-то не сидите сложа руки.

А я как раз изо всех сил сжимал сложенные на груди руки, пока не стало жарко. Руки — ведущий орган для поддержания душевного комфорта.

Я безмолвно овладевал высотой положения. Если бы не разбитые сердца несчастных салфеток, вышел бы вообще без потерь. Но они мучительно краснели вместе с беззащитными ландышами, и я никак не мог прикрыть их.

Мадемуазель Дрейфус, отойдя к окну, где посветлее, наводила красоту. Она ждала, чтобы лишние ушли, но те и в ус не дули. Ничего не поделаешь: среда всегда окружает, осаждает и досаждает.

Пользуясь случаем, замечу невзначай, но с чувством: моя заветная мечта — видоизмененный язык. Небывалый, с безграничными возможностями.

В этой же связи из другой области: каждый раз, когда я прохожу по улице Соль мимо мясного магазина, мясник подмигивает мне и тычет кончиком ножа в разложенные на витрине безмолвные красные куски. Ему-то что, мясникам к бойне не привыкать, а я... Я ощущаю острую нехватку английской флегмы. Вид онемевших языков на мясном прилавке заставляет громко роптать мое чувство справедливости и оживляет убитого горем попугая в глубине корзины. Пример с попугаями весьма показателен в силу природной ограниченности их выразительных средств скудным, однообразным, принудительным языком. В результате: забитость и подавленность на самом дне корзинки. Вы скажете, на свете есть поэты и они героически борются со всеобщей избитостью, однако их не воспринимают всерьез ввиду незначительных тиражей и мощного отвлекающего действия средств массовой информации. Исключение составляет советская Россия, где поэтов неукоснительно искореняют как недопустимое отклонение от нормы, наносящее урон поточному производству абортов и производной от него цивилизации.

Ну, а этого нашего мясника я особенно опасаюсь: всему кварталу известно его пристрастие к деликатесам.

Мадемуазель Дрейфус спрятала помаду в сумочку, щелкнула замочком и протянула мне руку. На Голубчика она даже не взглянула. Чернокожие болезненно относятся к намекам на свое происхождение, им сразу мерещатся джунгли, обезьяны, расисты и все такое прочее. Между тем низшей расы не существует, хотя бы потому, что ниже некуда.

— К сожалению, мне пора, я опаздываю. До понедельника. Спасибо, что зашли.

Подозреваю, что последнюю фразу благовоспитанно проговорил я сам.

Ламбержак потрепал меня по плечу и сказал:

— Приятно взглянуть на такое. Вы правильно делаете, что поддерживаете связь с природой.

— Похвально, очень и очень похвально, — покровительственно изрек Бранкадье.

— Спасибо. Увидимся в понедельник, — повторила мадемуазель Дрейфус.

— На днях, — уточнил я, не желая связывать себя словом.

Все трое вышли и остановились у лифта, я же закрыл за ними дверь, но, прежде чем захлопнуть ее окончательно, помедлил. Не так уж мне хотелось знать, что они скажут, но было поздно.

— Вот это да! — сказал Ламбержак. — Ну и ну! Помрешь!

— Не зря ж я вас уговаривал! — сказал Бранкадье. — Видали сердечки на столе?

— Губа не дура! — сказал Лотар, очевидно, поднявшийся поторопить приятелей.

— Такому житью не позавидуешь, — проговорил Бранкадье, уступая потребности возвыситься за счет ближнего.

— Да, бедняга... — примазался Ламбержак.

Статистически достоверный прием: чтобы не захлебнуться, надо во что бы то ни стало удержать голову над водой. Выше нос, не то пропал. Самосохранение путем самовнушения.

Только в интересах данного исследования и документальности ради выслушал я из-за двери этот разговор.

Мадемуазель Дрейфус не сказала ничего. *Она ничего не сказала* (курсив мой).

Взволнованно, потрясенно, молча чуть ли не плакала. Ее молчание звучало во мне самом: уж я-то знаю. Я с улыбкой прислонился к косяку, нежно-нежно, словно к щеке мадемуазель Дрейфус. Мне казалось, что мы втроем составляем подпольную ячейку и дело у нас идет на лад. А это не так мало, учитывая, как целеустремленно IBM предотвращают и искореняют человеческий фактор.

Я выдержал испытание, но какой ценой: меня скрутило, стянуло узлом, шевельнуться не мог от боли.

***

Постепенно я успокаивался, а чтобы окончательно прийти в себя, погрузился в легкую спячку. И, надо сказать, пришел, действительно, в себя, то есть вновь обрел целыми и невредимыми все свои изъяны и полную рабочую форму. Так что даже отправился перекусить в китайский ресторанчик на улице Блатт. Он очень маленький. Столики и люди за ними размещаются почти вплотную, придешь один, а окажешься в тесном кругу: со всех сторон ближние, все плечом к плечу. Слышишь разговоры, пусть они чужие, но проникают в самую душу. Втягиваешься сам, подхватываешь на лету шутки и тоже можешь свободно выражать любовь и симпатию к собратьям. Словом, то, что называется теплая дружеская обстановка. Тут мне хорошо, я оттаиваю, закуриваю сигару и становлюсь в душе душою общества. Люблю, чтоб все попросту, по-домашнему. Разумеется, удавам в ресторан нельзя, но я знаю правила и стараюсь их соблюдать. Вот и на этот раз все прошло чудесно, справа и слева от меня расположилось по паре влюбленных, и мне досталось вдоволь ласковых слов и нежных пожатий. Другого такого китайского ресторана нет во всем Париже.

После насыщенного дня я долго не мог уснуть. Ночью два раза вставал, подходил к зеркалу и оглядывал себя с головы до ног: не появились ли какие-нибудь обнадеживающие признаки. Ничего. Та же кожа, та же конфигурация.

Сдается мне, что прорыв произойдет не с этой, а с той стороны. Легкий сбой в программе, минутная заминка — тут-то и проклюнется живой побег. Хотя почему, спрашивается, весна всегда случается в природе и никогда в нас самих? Как бы хорошо взять и, с позволения сказать, распуститься где-нибудь в апреле — мае.

Осмотр выявил одну-единственную родинку под левой мышкой, которая, может, была и раньше. Правда, стоял ноябрь.

Я сунулся к Голубчику, но он был не в духе, общаться со мной не пожелал и заполз под кровать — дескать, «прошу не беспокоить». И я снова лег, обремененный детской смертностью. За окном гудели реактивные самолеты, целеустремленно сверлили ночь полицейские сирены, с шумом катили машины, и я пытался успокоить себя мыслью, что все они куда-то направляются. Думал о правоохранительных органах Италии (там потеплее!). Твердил себе, что раз на каждом шагу припасены огнетушители и продолжается их производство впрок, значит, это неспроста и не пустые хлопоты, а явное преддверие в пределах возможного. Заботами муниципальных служб мое окно достаточно освещено снаружи, и, если бы к дому подставили пожарную

лестницу для спасения жертв с верхних этажей, на моем горизонте появилось бы человеческое лицо. С другой стороны, может, так и задумано, чтобы сначала изолировать меня от среды, а потом открыть и распознать, изучить и ввести в организм для повышения сопротивляемости, как Пастерову вакцину или пенициллин. Подумать только, какая масса Нобелевских премий пропадает втуне! Кончилось тем, что я снова встал под предлогом малой нужды, вытащил Блондину и посадил ее в ручное укрытие. Ее влажная мордочка тыкалась в ладонь, словно ласковая росинка.

***

Утром я пришел на работу очень рано, все думал: что же будет? — и боялся пропустить. К тому же, скажу не стыдясь, страшновато было встретиться с мадемуазель Дрейфус после нашей вчерашней близости. Я взбудораженно перебирал в памяти все, чего мы не произнесли вслух, но так или иначе, молча, флюидами, высказали друг другу. В пятитомной «Истории Сопротивления», которую я читаю для поднятия духа, написано, что у великой реки Амур есть тайный подземный ход, невидимое русло, где в приливе слабости можно спасти от окружения сокровенную искру Божью. Искру называют Божьей именно в силу ее божественной слабости, и только сокровенной ее и можно сохранить. Когда же подпольщики осторожно, бесшумно, по-индейски переступали порог сердца и тайно сходились вместе, разгоралось нечто грандиозное. Возгоралось пламя. То были существа *особой породы*. Подчеркиваю в знак восхищения и на заметку имеющим уши. Я не поджигатель, мне важно не столько пламя, сколько жар, ведь на священных искрах во все времена, а в наше особенно, грели руки.

В тот день телексы нашего статуправления, специализирующегося в области демографии, принесли информацию о значительном приросте рук (в смысле рабочих рук, которых, например, всегда не хватает в сельском хозяйстве) — в одной только Франции прирасло триста тысяч пар, опрометчиво зарегистрированных новорожденными, к вящей радости многодетных матерей, довольных тем, что на сей раз это счастливое событие постигло не их. Мой IBM тоже явно был доволен, клавиши так и склабились: как же, пополнение матриц, приток статистических единиц — что может быть приятнее для машины!

Триста тысяч мочеполовых единиц, так сказать, валовой национальный продукт. Ну, а я встал и пошел глотнуть кофе, я ведь не Иисус Христос, и мне нет дела до проблем полной занятости недородков, широкого потребления рабсилы, нехватки рук в агропромышленности, роста поголовья отечественного скота или конкуренции между французскими и китайскими спермобанками; впрочем, и Иисус Христос не сильно озабочен проблемами деторождения.

В кафе я отважно развернул газету. Все одно к одному: министр здравоохранения — в ту пору именовавшийся Жаном Фуайе — самым энергичным образом высказался с демократической трибуны против абортов. «Я имею определенные убеждения, — так он и сказал, — которыми никогда не поступлюсь». Браво! Я тоже против абортов обеими руками. За неотъемлемое право рождаться целиком и полностью. У меня тоже имеются убеждения, которыми я никогда не поступлюсь. Я тоже считаю: пусть поступаются другие. Я тоже дорожу покоем и чистой совестью. Я тоже умываю руки.

Эта газета каждый день посвящает целую полосу искусству и культуре в душеспасительных и благотворительных целях, а также для отвода глаз. Благонамеренный глазоотвод — отличный камуфляж. Надежное укрытие для Жана Мулена и Пьера Броссолета — там их искать не станут. Так что я — за.

На этом фоне черный кофе-экспресс выделяется светлым пятном — хоть тут гореть без камуфляжа.

***

Стою я, допиваю свой кофе, облокотившись на стойку, и вдруг кого бы вы думали вижу неподалеку? Того малого — уборщика. Будто случайно затесался в стадо. Этакий упитанный экземпляр французской породы, глядит задорно и весело, ничуть, как ни странно, не набычась. Пристроился у другого края поилки и при виде меня не повел и бровью, разве что подмигнул вполглаза. То есть не столько он подмигнул, сколько я уловил намек. И упреждающе кивнул. Но он хоть бы что. Не здоровается. У меня похолодело в груди. Опять неудачная попытка пересадки сердца с отторжением! Может, нам и нечего было сказать друг другу, но это «нечего» было, и оно было общим. А теперь он стоит, жует крутое яйцо, прихлебывает кофе и ни гугу. Правда, вид у него довольный, но тому причиной не я, а кофе. Уму непостижимо, сколько

добрых чувств могут люди излить на какую-то ничтожную чашку кофе. Наконец он все-таки обратился ко мне, очевидно, сработало чутье и он решил приобщить меня к своей вере в ручное освобождение, в смысле «своею собственной рукой».

— А я как раз вчера о тебе думал.

Ну прямо наповал!

— И кое-что тебе принес, держи-ка...

С этими словами вынимает из кармана какой-то печатный листок и открыто протягивает мне.

— Выучи наизусть. Хоть будешь знать, что такие вещи возможны и доступны, и то прок.

Он бросил на стойку франк и с независимым видом, будто ему сам черт не брат, направился к выходу. Не напади он сразу на дверь, небось не поздоровилось бы стенке. Меня такие типы раздражают.

Я взглянул на листок. Отпечатано скверно, на ротаторе. Пришлось надеть очки. Ага, вот заголовок. «Изготовление бомб в домашних условиях из подручных материалов»...

Не знаю, как у меня не остановилось сердце! А если в кафе сидят личности в штатском и не спускают с меня глаз? Скорее порвать бумажку! Все вокруг поплыло, туман прорезали слепящие лучи фонарей, они впивались в душу, обшаривали все углы, мне звонили в дверь в шесть утра, в неизменных кожаных плащах. А я-то забыл снять Жана Мулена и Пьера Броссолета, теперь они пропали, засветились. Прямо здесь, в кафе, за стойкой, среди рогаликов и крутых яиц, я ясно услышал этот звонок в шесть утра. Паника охватила меня, разыгралась не на шутку, а она у меня всегда разыгрывается в лицах и крупных масштабах, например, в виде военного переворота в Чили, пыток в Алжире, ближневосточного конфликта или мира во Вьетнаме. Иначе говоря, горячие точки полыхают локально, а вокруг тишь да гладь. Не все отдают себе отчет в том, что жуткий страх и ужас свидетельствуют о ясности сознания и адекватном восприятии окружающей действительности во всех ее проявлениях. При нынешнем положении вещей полное физическое расстройство — самое здоровое состояние. Поэтому тревогу и смятение у недородков следует всячески стимулировать в целях окончательного рождения. Страх ускоряет роды — это общеизвестно.

Однако я взял себя в руки — и очень вовремя, еще чуть-чуть, и я бы сознался, что укрываю ползучего еврея. Выручила закалка старого подпольщика: да здравствует родина! — я устоял.

Не моргнув глазом допил кофе и даже заказал еще чашку — пусть видят: я не спешу удрать. Хоть я и прочитал о Сопротивлении все, что можно, но времена изменились, теперь расстрелом на Мон-Валерьен не отделаешься.

Я вытер пот со стойки и закурил трубку с наибританским видом. Похоже, уборщик за мной шпионит. Глядит простачком, а видит насквозь все мои узлы и извилины. Где же неприкосновенность частной жизни?..

Для живых существ, лишенных защитных приспособлений и затравленных принудительной свободой, один выход — уйти в подполье. Впрочем, есть и другой: порвать с Сопротивлением и обрести душевный покой в фашистской форме, но такой костюм я соглашусь надеть лишь при наличии торговой марки левых сил. На этот счет я очень щепетилен и должен знать, какого происхождения вещь. Душевный покой — тонкая материя, а где тонко, там и рвется, тут марка особенно важна. К счастью, в настоящее время реальной фашистской угрозы нет, да в ней и нет нужды — обходимся своими силами. Кто стращает фашистской угрозой, тот просто хватается за соломинку в стоге сена. Что и говорить, фашистский мундир укрыл бы меня надежнее, чем внутреннее сопротивление, но предмет данного исследования — удавы, а их, как подсказывают мне интуиция, опыт и убеждение, их такая мимикрия не прельщает, они точно знают, чем это кончится: им спустят шкуры и наделают из них ремней, щитов, сапог и черных кожаных плащей для утренних визитов. Поэтому я обзавелся укромными норами с отнорочками, чтобы можно было вернуться и спрятаться в себя. Для удава в мегаполисе с десятимиллионным населением, перенасыщенном уличным движением, жилищный вопрос имеет первостепенное значение. И даже если я по необходимости вылезаю наружу — иду, например, на работу или в бордель, — то не подвергаюсь особому риску, поскольку прохожим в парижской давке не до удавов.

***

Наконец мне удалось покинуть кафе, сохраняя внешнюю невинность, и у лифта я встретил мадемуазель Дрейфус — было ровно девять. Мы вошли в кабину, и она озарила меня великолепнейшей, с привлечением всей лицевой мускулатуры, улыбкой. У меня гора свалилась с плеч, ведь обычно после первой интимной встречи влюблен-

ные испытывают вполне понятные неловкость и волнение. Такая психологика. Я даже не знал, есть у мадемуазель Дрейфус родные в Париже и поставила ли она их в известность. Если нет, то оно, может, и к лучшему, есть вещи, которым лучше не обнаруживаться и не высказываться. Судьба затоптанных окурков да будет им наглядным предостережением.

— Добрый день. Все было так мило в субботу.

И тут я не ударил в грязь лицом. Схватил удачу на лету и сделал гигантский скачок:

— Вы ходите в кино?

Вот так, непринужденно, запросто. В лифте было еще пять человек, и мой вопрос произвел эффект разорвавшейся бомбы. По меньшей мере, на меня. Остальные не выказали никакой реакции. Верно, не поняли масштаба события: я взял и пригласил мадемуазель Дрейфус в кино.

— Очень редко. Устаю после работы... а в выходные отдыхаю.

Ага, она дает понять, что для меня готова сделать исключение. И еще: что вечерами не болтается невесть где, а занимается хозяйством, стряпней, нашими детьми и ждет меня со службы. Разогнавшись, я уже собрался так же лихо предложить ей сходить в кино в ближайшее воскресенье, но лифт остановился.

В коридоре, не доходя до своей двери, мадемуазель Дрейфус сказала с особым смыслом:

— Вы, должно быть, и правда очень одиноки.

Точное попадание. Яснее в присутственном месте не выскажешься.

— Жить с удавом — это надо, чтобы у человека совсем-совсем никого не было... Ладно, пока, как-нибудь на днях увидимся.

На прощание мадемуазель Дрейфус еще одним мускульным усилием преподнесла мне вторую улыбку, которая осталась витать в коридоре вместе с ароматом ее духов. Я тоже витал и потому предстал перед своим IBM с опозданием на четверть часа.

События набирали темп. Я решил сделать мадемуазель Дрейфус ответный подарок — букетик цветов. Завтра дождусь ее у лифта, но не внизу, как обычно, а наверху — пусть поволнуется всю дорогу, поломает голову, что могло случиться, не заболел ли я, а выйдет из лифта — я тут как тут, с букетом фиалок наготове. Дальше все пойдет как по маслу: наплыв чувств, признания, скамейка в Люксембургском саду под цветущим каштаном.

***

Ночь была потрясающей! Я стал вместилищем концерта. Песни, пляски, бубны, народные костюмы — представление на славу, переполненный зал, ни одного пустого местечка! Я улыбался в темноте под бурные аплодисменты. Выходил кланяться на бис. Фиалки поставил в стакан с водой — больше им не требуется. Стоит женщине появиться на пороге сердца — и весь внутренний мир ликует, просто невероятно!

Без четверти восемь — вдруг мадемуазель Дрейфус не утерпит и придет пораньше — я стоял на площадке десятого этажа. С фиалками в руке, готовый распахнуть дверь лифта.

Девять. Пять минут десятого. Мадемуазель Дрейфус нет. Служащие прибывали порциями, и я уже перестал открывать им дверь — не нанялся.

Девять пятнадцать.

Двадцать.

Мадемуазель Дрейфус нет.

Не сдамся. Не дрогну, не уступлю ни пяди. Пусть ухмыляются — люди есть люди, ведут себя чисто по-человечески... или нечисто... все равно, пусть... На том стою с букетиком фиалок, фиалки тоже стойко пахнут.

Девять двадцать пять. Мадемуазель Дрейфус все нет. Меня бросало в жар и в холод и постепенно скручивало в узел. Но вдруг осенило: она, наверно, ждет меня внизу, чтобы, как обычно, подняться вместе, навеки вместе, а меня нет, и она все стоит и стоит. Я бросился по лестнице вниз как ошпаренный, но опоздал, перед лифтом никого, а кабина уже спускается. Что ты будешь делать, сплошные накладки, не дай Бог, мадемуазель Дрейфус решит, что я морочил ей голову или в последний момент передумал, потому что она черная. Эта мысль буквально подкосила меня, я сел на ступеньку, не выпуская из рук стаканчика с фиалками. Ведь это ужасно! Я только и мечтаю, чтобы у нас были черные детишки и чтобы мы все: они, я, мадемуазель Дрейфус и Голубчик — сплотились в крепкое семейное ядро. Готов хоть в пещере с ними жить, по обычаю предков — пожалуйста! Во мне нет ни капли расизма, вот уж за что ручаюсь. Покончить с этим недоразумением во что бы то ни стало! Наверно,

мадемуазель Дрейфус сидит у себя и переживает, покинутая и униженная.

Надо действовать, и немедленно! Я обошел все кабинеты, не расставаясь со стаканом и букетом. Заглянул в каждую дверь, не взирая на смеющиеся лица. Ходил с протянутой рукой, пока вконец не потерял голову. И не только голову — меня казнили, четвертовали. Не чуя рук и ног, открывал я дверь за дверью, входил, озирался, ни с кем не здоровался — в тот момент я был способен на все. В конце концов я сунулся со своими фиалками в кабинет директора.

— Что с вами, Кузен? — спросил он.

Я стоял, задыхаясь от гонки по этажам и злости на весь мир.

— Вы хотите преподнести мне цветочки?

— Да не вам, черт побери! — Я распалился так, что в одиночку учинил бы штурм Бастилии. — Я ищу знакомую, мадемуазель Дрейфус.

— Так фиалки для нее?

— Это мое личное дело.

Гори все огнем. Чего бояться, когда такой ужас. Конечно, я рисковал своим будущим, но на самом деле рисковать было нечем: будущее есть там, где есть двое, а где их нет, там нет и будущего. Это каждый знает с колыбели, и не заводите меня, не то, мать вашу за ногу, как одичаю да как начну изготавливать домашние бомбы из подручных материалов!

— Успокойтесь, старина.

Конечно, так всегда, этим сволочам главное — покой. Я тебе устрою покой, старый хрыч. Сам покойничком станешь, ни забот, ни хлопот, лафа, да и только!

Отчаянным усилием воли я все же загнал себя в рамки и сказал:

— Простите, господин директор. Я ошибся. Я ищу одну из наших служащих, мадемуазель Дрейфус.

После чего повернулся и пошел к двери.

— Мадемуазель Дрейфус у нас больше не работает. Она уволилась.

Я застыл, вцепившись в дверную крючку. То есть кручку. Да тьфу ты, ручку!

— Когда?

— Ну, подала заявление заранее, как положено. А вы не знали?

Дверь заклинило. Или не дверь, а меня. Словом, что-то где-то заклинило, это факт. Я никак не мог повернуть ручку. Такая круглая медная штуковина. Скользкая, не ухватишь.

Крутил направо и налево — ни в какую. Заклинило внутри. Заело. От натуги я весь затянулся узлами, но открыть дверь не мог.

Директор подошел и положил руку мне на плечо.

— Ну-ну! Не расстраивайтесь... Успокойтесь... Это что же, так серьезно?

— Мы собираемся пожениться.

— И она не предупредила вас, что уходит?

— Всего не упомнишь, нам надо столько всего обсудить, что мелочи забываются.

— Но как же она не сказала вам, что уезжает на родину, в Гвиану?

— Извините, господин директор, но тут что-то заклинило, дверь не открывается.

— Позвольте, я... Вот. Надо было просто повернуть.

— Знаете, на мой взгляд, старые, дедовские ручки без всяких выкрутасов были куда практичней. А эта дрянь скользкая — не ухватишься.

— Понимаю... Никак не ухватишься. Выскальзывает из рук. Возможно, вы и правы, Кузен.

— Все это с самого начала ни к черту не годится, если хотите знать мое мнение, господин директор.

— Да-да.

— Отвратительно, из рук вон, господин директор. Чего уж там, говорю, что думаю, а думать я не разучился, уж не обессудьте.

— Разумеется, но все равно не стоит. Послушайте меня, Кузен. Ну же, возьмите мой платок.

— Такая скользкая дрянь, другого слова нет — дрянь, да и все! И чихать я хотел!

— Что-что?

— Чихать, господин директор, чихать с высокой колокольни! Я и сам знаю: если схватить покрепче да надавить... Но двери должны открываться свободно.

— Правильно... Придите в себя. Мало ли что бывает. Все уладится, вы у нас на хорошем счету. А двери бывают другие, знаете, электронные, открываются, как только протянешь ногу.

— Ну, когда протянешь ноги, никаких проблем.

— Надо подумать, может, заведем что-нибудь в этом духе.

— Впрочем, я здесь не у себя дома, прошу меня извинить. Сбой в программе.

— Что вы, Кузен, напротив, вы здесь у себя, я хочу, чтобы вы это поняли, прочувствовали, запомнили и передали другим. Мы все здесь делаем общее дело. Общее

— вот что важно. Ваш коллектив — ваш дом.

— Благодарю вас, господин директор, но все-таки я не у себя, потому что я тут никто. И мои замечания насчет вашей двери и ручки совершенно неуместны. Поверьте, к вам лично они никак не относятся.

— Дорогой Кузен, вы очень взволнованы, у вас неприятности личного свойства, и я, в свою очередь, заверяю вас, что искренне вам сочувствую, ведь мы все — одна большая семья.

— Я знаю, господин директор, знаю и как раз об этом пишу труд.

— Отлично, это можно только приветствовать. Кстати, я слышал, вы держите удава?

— Да. В нем уже два метра двадцать сантиметров.

— И он будет еще расти?

— Вряд ли. Больше некуда, он уже занял все место, которым я располагаю.

— Наверно, нелегко жить бок о бок с пресмыкающимся.

— Не знаю, я его никогда не спрашивал. Пользуясь случаем, благодарю вас за доброе отношение и участие. Не премину упомянуть об этом в своем сочинении.

— Что вы, Кузен, голубчик, не стоит благодарности. Повторяю: мы все — одна семья. И я всегда рад случаю поговорить по душам с любым сотрудником. Я придаю большое значение духу товарищества. Сплоченный коллектив — это самое главное. А теперь до свидания. И не думайте больше об этом инциденте. Впрочем, не исключено, я и правда закажу автоматические двери. Пусть распахиваются сами. Жизнь достаточно сложна, надо облегчать ее где можно. Кланяйтесь домашним.

Вырвавшись от директора, я помчался в отдел кадров, узнал адрес мадемуазель Дрейфус и поехал к ней. В метро снисходительно улыбались моему стакану фиалок, чтобы они не завяли раньше времени.

Мадемуазель Дрейфус жила на улице Руа-ле-Бо, на шестом этаже без лифта. Я взбежал по лестнице на одном дыхании и не пролив ни капли воды, но в квартире никого не было. Я спросил у привратницы, не оставлено ли мне записки, но она, как и следовало ожидать, захлопнула дверь у меня перед носом. Пришлось вернуться в управление и до семи часов воевать с цифрами, что далось мне нелегко — я непреодолимо стремился к нулю. Цветы стояли на столе передо мной. И я даже проникся симпатией к IBM за его чистую бесчеловечность. В половине восьмого я снова звонил в дверь мадемуазель Дрейфус, снова не застал ее и прождал до одиннадцати, сидя на лестнице со своим неразлучным стаканом.

Когда и к одиннадцати она не пришла, терпение мое лопнуло, что случается со мной крайне редко, поскольку я неприхотлив и неизбалован. Это ведь только слова, что «чаша терпения переполнилась», на самом деле капли капают и капают, а чаша не переполняется. Так и задумано. Каждому, кто сидел на темной лестнице с букетом фиалок в стакане, знакомо это ни с чем не сравнимое чувство лютого душевного холода и голода. Не может быть, чтобы она совсем уехала. Не бывает, чтобы человек просто так взял и уехал в Гвиану, даже не попрощавшись. Десять минут двенадцатого. Никого. Последние четверть часа я высидел только потому, что привык «терпеть еще немного».

***

К половине двенадцатого я так затосковал по любви и ласке, что пришлось прибегнуть к помощи профессионалок. Пошел, как обычно, на улицу Помье. Хотел найти Грету, у которой такие длинные руки, но вспомнил, что она перешла на надомную работу. Оставалась высоченная блондинка, по всем статьям уступавшая подругам, и я подумал, что, может, она будет поласковее со мной из благодарности. Мы пошли в ближайшую гостиницу на углу.

Девушка назвалась Нинеттой, а я, сам не знаю почему, Роланом. Терять времени она не стала.

— Присядь-ка, миленький, я тебе помою зад.

Знакомая музыка. Скрепя сердце я оседлал биде. Напрасно думают, что вещи тоже бездушны. Лично я испытываю к ним христианские чувства. Вот и теперь, сидя на биде в одних носках, я размышлял, что за скверная у него, должно быть, жизнь.

Шлюшка опустилась на колени с мылом на изготовку.

Я вспомнил объяснения знакомой пожилой дамы, в прошлом хозяйки борделя: в ее время девицы подмывали клиента только спереди, но потом вкусы утончились. Поднялся уровень жизни, расстаралась реклама, наступило изобилие благ на душу — и теперь каждый ценит качество, знает, чего вправе требовать, разбирается, какой кусочек полакомее и какой курорт пошикарнее.

— Вот так, — приговаривала шлюха, орудуя мылом. — Теперь, если захочешь розочку, пожалуйста!

— Да не нужна мне розочка, — возразил я.

— А вдруг найдет охота, что ж, ломать кайф, вставать и идти мыться — куда это годится. Все удовольствие насмарку.

— Не засовывай палец, терпеть этого не могу, да еще с мылом, щиплет же, черт!

— В любви можно все, надо только хорошенько помыться. Что ты вцепился в свои фиалки — поставь сюда. Это мне?

— Нет.

Не поднимая головы, она добросовестно шпиговала меня мылом. Еще одно нелепое недоразумение, как все в этом мире.

— Ты бы, золотко, снял носки, а то некрасиво. Чем ты вообще-то занимаешься?

— Держу удава.

— Как это?

Я не ответил. Есть заветные уголки, куда не следует соваться.

— Ну вот, теперь ты чистенький. Иди ложись.

Она повесила полотенце на спинку кровати, легла рядом со мной и принялась теребить губами мои соски. Мадам Луиза говорила мне, что когда честные женщины любят не за деньги, они такого не делают, поскольку страсть исключает методичность, тогда как при платных сношениях эта услуга предусмотрена в обязательном порядке.

— Тебе так нравится?

— Приятно. Но лучше просто приголубь меня, Нинетта.

— Так тебе нужна ласка?

— А что же еще?

Она обняла меня. Мне повезло: руки у нее были довольно длинные. О, как хорошо...

— У меня есть один такой клиент, я должна его обнимать, укачивать и нашептывать: «Спи, малыш, мамочка рядом», а он тогда делает пипи под себя и лежит довольный.

— Тьфу ты! — дернулся я.

Лучше бы остался дома с Голубчиком.

— Что ты? Что такое?

Я встал и рявкнул:

— Дуреха! Надо же хоть капельку души!

— Чего-чего?

— По-твоему, насовала мыла в задницу — и все, что ли? — Меня так и распирало. — Мыла-то не пожалела. Жжет как я не знаю что.

— От мыла ничего плохого не бывает.

— Но и ничего хорошего тоже!

Я натянул брюки.

— Ты не хочешь?

— Знаешь, как называли бордель в прежние времена, когда Франция была настоящей доброй Францией? «Дом утех»! А тут дождешься, чтоб тебя утешили, как же! Подавись ты своим мылом! Не умеешь обслуживать клиента — не берись!

Тут проняло и ее. Она вскочила.

— Чего разорался-то?! Мыть клиенту зад — без этого нельзя, иначе подхватишь глисты, спроси любого врача. Я согласна лизать задницу, но только чистую! Мы не дикари!

Я был уже за дверью. Однако пришлось вернуться — я забыл стаканчик с фиалками. Можно было, конечно, и оставить их, пусть себе вянут, а мадемуазель Дрейфус купить другие, но я успел привязаться к этим, мы столько пережили вместе.

***

Я снова сбегал на улицу Руа-ле-Бо, но мадемуазель Дрейфус все не возвращалась. Хотел было оставить у двери фиалки, но не смог расстаться с ними — ведь это последнее, что нас связывало. Так и пошел домой с ними вместе. В шляпе, шарфе, плаще и при стакане шел я по Парижу. Мне стало чуточку лучше — помогла сила отчаяния. Теперь я пожалел, что ушел от проститутки — последний-распоследний раз напоминаю о высоком смысле слова, — ушел несолоно хлебавши. Меня томило избыточное нулевое самочувство, а избавить от него могла бы только ласка и крепкие объятия. По мере приближения к нулю чувствуешь себя не меньше, а больше. Чем меньше существуешь, тем больше маешься. Ничтожно малые величины характеризуются внутренней избыточностью. Кто обращается в ничто, тот сам себя отягощает. Чем ближе абсолютный нуль, тем дальше себя хочется послать. Ты весь — лишний вес. Так бы и стер себя, как пот, с лица земли. Словом, наступает состояние духа

ввиду отмирания тела. Продажные женщины отлично помогают в подобных случаях, это факт общеизвестный, хотя и тщательно замалчиваемый из соображений этических, равно как и экономических — чтобы не набивать цену. А, по-моему, пропадать ни за грош обходится себе дороже.

Я вспомнил, где можно найти Грету: на квартире у некой дамы, где принимают до часу ночи — на случай неотложной помощи. У меня и адрес записан: XIV округ, улица Асфодель, 11, хозяйку зовут Астрид. Я отыскал указанный дом и решил скоротать время до без десяти час в ресторанчике напротив за чашкой кофе, с тем расчетом, чтобы явиться под занавес, когда клиентов уже не ждут и мой визит будет приятной неожиданностью. Ровно без двенадцати час я встал, перешел через улицу и позвонил. Открыла горничная, а встретила сама хозяйка, весьма приятная почтенная дама с радушной улыбкой.

— Здравствуйте , мадам, я к Грете.

— Грета сегодня не работает. Но у меня есть еще три милые девушки. Войдите, я вам покажу.

Я вошел в гостиную, заставленную мебелью и заваленную всякой дребеденью, и сел в мягкое кресло. Выбор в таких делах оскорбляет женскую гордость, а я не хотел никого обидеть и, едва вышла первая девушка, сказал, что она меня устраивает. Однако вмешалась хозяйка:

— Постойте, есть еще две. Вы должны посмотреть на них тоже. У нас такое правило: чтобы у всех были равные шансы.

Вторая оказалась пикантной вьетнамкой, но я не мог бы утешаться с ней из-за ужасов вьетнамской войны. Какое удовольствие среди таких бедствий?!

— Есть еще негритянка, — сказала хозяйка, и в комнату вошла мадемуазель Дрейфус.

«Вошла в комнату» — это все, что я могу сказать за неимением слов вулканической силы, способных передать, что сделалось со мной, когда мадемуазель Дрейфус вот так взяла и вдруг вошла в комнату. Я затрепетал: значит, она не уехала в Гвиану, значит, ничего не потеряно, все снова возможно, доступно и близко, никаких преград. Неисповедимы пути Господни, видно, он заглянул в сей благословенный притон.

Да, это она, мадемуазель Дрейфус, вот ее кожаная мини и сапоги выше колен. Я постарался скрыть изумление — пусть не думает, что я не верю в сказки.

Она! В самом деле она. И это не сказка, а явь. Не уехала в Гвиану, на родину певучего выговора, просто переквалифицировалась.

Я с такой нежностью прижимал к груди шляпу, что сводня — произношу и это слово с благоговением, — проницательно разгадав психологический ребус, проступивший на моей блаженной роже каплями пота, сказала:

— Я вижу, вы сделали выбор. Пожалуйте сюда.

Под напором бурных чувств у меня подгибались ноги: певучий выговор при мне, никто не уехал в Гвиану, как хорошо все то, что хорошо кончается.

Одного я страшно боялся: как бы не вырвалось наружу удивление, не сорвался в силу слабости придушенный возглас, а то мадемуазель Дрейфус подумает, что я не ожидал найти ее в борделе. Было бы не к лицу ударить в грязь и запачкать мадемуазель Дрейфус.

— На «да» нет суда, — неуклюже пошутил я.

Но мадемуазель Дрейфус не расслышала — мы уже входили в уютную комнату без окон, зато с широкой кроватью и зеркалами на всех стенах для полноты обзора. Мадемуазель Дрейфус целомудренно закрыла дверь, подошла ко мне, обхватила за шею, прижалась бедрами и улыбнулась.

— Кто тебе сказал, что я здесь работаю?

— Никто. Просто повезло. Обломилось. А это вам... Тебе...

Переход на «ты» через Альпы прошел как по маслу.

— Возьми...

Я протянул ей фиалки. Почти вся вода высохла от долгой ходьбы и переживаний.

— Но раз ты принес цветы, значит, знал, где меня искать.

— Бывают счастливые совпадения. Мне сказали в управлении, что ты уехала в Гвиану.

Она раздевалась. Без всякого стеснения, как будто мы незнакомы.

Я же не решался расстегнуть брюки. Все не так. Неправильно. Брюки надо снимать в конце, после всего, перед уходом — тогда уже ничего. А так неправильно, ей-богу.

— ... в Гвиану, — промямлил я, стараясь для начала овладеть хоть собой.

Она присела на биде, стыдливо повернувшись ко мне спиной.

— Ну да, я так всем сказала, для простоты. Раньше я подрабатывала здесь только по вечерам, а наутро приходилось вскакивать и к девяти опять бежать в управление,

так что я страшно выматывалась. Да и работа там нудная, надоела до смерти. Сюда приходила как выжатый лимон, на вечер никаких сил не оставалось. Вся эта бесконечная статистика, машины, клавиши не для человека, а для робота.

То ли дело здесь: пусть не так солидно, зато живее и разнообразнее. Общаешься с людьми, близко сходишься с каждым. Как будто мы все — большая семья, понимаешь? Приносишь радость другим и сама живешь не зря. Прости за грубость, но постель — не такая тоска, как IBM. У нас кого только не встретишь. Бывает, человек приходит совсем пришибленный, а уходит — глядишь, полегчало. И вообще, если бы любовь не продавалась за деньги, могло бы обесцениться и то, и другое. А так укрепляется курс национальной валюты. Посуди сам, если за сто пятьдесят франков ты можешь получить классную девушку, то будешь эти франки уважать. Начнешь к ним по-другому относиться. Поймешь, что деньжата — не мусор, а стоящая вещь.

Она взяла полотенце и теперь, стоя передо мной, вытиралась. Тут меня отпустило, я ощутил прилив родового начала и тоже избавился от одежды.

— Какая ты красивая, Иренэ, — сказал я и потрогал ее грудь.

Она тоже пощупала меня и игриво похвалила:

— Ого, да ты молодцом!

Я почувствовал, что расту у нее на глазах.

Прирост величины заставил меня подумать о членах Ассоциации врачей и их обращении в защиту равного священного права каждого члена общества на свободное зачатие — легко твердить о равенстве величинам, с которыми не сравниться рядовым членам.

Не отнимая руки с залога моего неотъемлемого права, мадемуазель Дрейфус, как бы прощупывая почву, спросила:

— Зачем ты живешь с удавом?

— У нас с ним избирательное сродство.

— Как это?

— Очень просто. Родство душ. Душевное слияние и влияние на почве обоюдотщетного упования. «Упование» есть в любом словаре, только словарям доверять нельзя, от них сплошные недоразумения. Честно говоря, я сам не знаю, что это слово означает, но надеюсь: вдруг что-нибудь да значит. Неясность питает Надежду, таит скрытые возможности. Такова диалектика. Вот я и выискиваю в окружающей среде двусмысленные крупицы запредельного диалекта.

Мадемуазель Дрейфус все поглаживала мои скрытые возможности, и они недвусмысленно возрастали.

— Ты прямо поэт, — сказала она без ехидства.

И прибавила:

— Ладно, давай я тебя подмою.

Что ж, не капризничать же — я сел на биде как положено. Она нагнулась и плеснула воды на мой залог священного права. Потом стала перед святыней на колени и принялась намыливать мне зад. Я же тем временем мысленно поздравил себя с тем, что, заботами судьбы, похоже, являюсь счастливым обладателем самого чистого в мире зада.

— Я не стану просить вас делать эту штуку, — сказал я, переходя на «вы», чтобы повысить уровень общения.

— Так гигиеничнее — вымыть все, — возразила она.

— А многие просят?

— Да. Нынче это в моде. Все жаждут раскрепощения, женские журналы только об этом и трубят. И психоанализ велит не подавлять желания.

— Ну да, раскрепощение на службе просвещения.

— Ничего страшного, если чисто вымыто.

— Роза — символ недостижимого идеала, к которому всегда стремятся люди.

— С другой стороны, подмывание имеет для нас чисто психологическое значение, поднимает наше достоинство. Получается, что мы делаем почти то же самое, что сестры милосердия. Своего рода моральная поддержка. Хотя я в ней не нуждаюсь, мое достоинство не страдает. Для меня это занятие совершенно органично.

Мы поднялись, она подала мне полотенце, и я вытерся. Их дело подмыть, а вытирается клиент сам — таков ритуал.

Потом она вытянулась в постели со мной рядом и принялась за мои соски.

Внутри все горело. То ли не придумали еще подходящего мыла, то ли реклама отстает от жизни. Такое упущение! С полным основанием и со слезами на глазах заявляю: рекламные агентства, как ведущие, так и входящие в моду, должны развернуть кампанию по внедрению мягкого мыла специально для розочки, надо расклеить повсюду плакаты и прочее, как было сделано в свое время для детского «Беби-Кадум». Реклама определенно еще далеко не исчерпала всех возможностей, и есть области, которыми она неоправданно пренебрегает.

Втихомолку я вытирал слезы.

— Приголубь меня, — шепнул я.

Время — лучший целитель, жгло уже меньше.

Мадемуазель Дрейфус смотрела на меня озадаченно. Сначала я подумал, что ее смутили мои чешуйки, но усилием доброй воли отогнал наваждение.

— Ты плачешь, милый? Что-нибудь не так?

— Ничего. Просто мне хорошо.

— И от этого ты плачешь?

— От всего. Подыграй мне немножко.

И она подыграла с большим знанием дела. Обхватила меня руками и ногами. Приникла к моей груди, как Божья благодать. В гуще жестких волосков остались капельки воды, навевавшие мысли о заре, росе, утренней неге. Удаление Надежды прошло безболезненно, я только все еще похлюпывал носом. Теперь я как все, с намыленным задом. Распрощался с мыслями о всякой мнимости и инородности и влился в русло, доступное каждому, как священное право на жизнь. Занял место согласно купленному билету в пункт назначения с гарантией социального обслуживания и полной занятости.

Решено: завтра же отдам Голубчика в зоопарк. Я не имею права держать его. Он — другой породы. Ничего общего.

Левой рукой мадемуазель Дрейфус ласково ободряла меня. Результат не замедлил сказаться, к обоюдному удовольствию.

— А ты парень не промах, — произнесла она, не скрывая заученного восхищения. Помню, одна девица как-то раз пошутила: «Ну что, милок, поиграем в лошадки?» А другая предложила «заморить моего червяка».

Такие шуточки в порядке вещей, нечего обижаться.

Плакать я перестал — все равно под рукой нет материалов для изготовления бомб на дому.

И все же сказал упрямо, напролом и вопреки:

— Обними меня покрепче, любимая.

Она послушалась, и живительными каплями потекли минуты ласки. Одни томительно-медленно, другие на диво быстро. Ее нежная шея служила гаванью моему лицу. Женственность и правда была ее призванием.

— Ты так и не сказал, почему завел удава...

— По аналогии...

— С чем?

— Или по патологии...

Она задумалась, но в половине второго заведение закрывалось, добираться до смысла слов было некогда, и она предпочла, изгибаясь и оглаживая мой бессловесный правоноситель, наполнить его новым смыслом.

Время истекло, мы встали и начали одеваться. Сто пятьдесят франков ровным счетом.

— Деньги — отличная штука, — бодро заметил я. — Они все упрощают. Найтись, сойтись, разойтись — все так легко.

— Деньги — штука верная и честная. Без обмана. Черным по белому. Все самым естественным образом. Поэтому их и презирают.

— Естественная среда всегда страдает ни за что — такова экология вещей.

— Это и есть аналогия, да?

Мы одевались, переговаривались не спеша, чтобы не слишком резко разрубить узел завязавшихся отношений, как будто все кончено и нечего сказать.

Наконец я решился:

— Я давно хотел тебя спросить, но мы мало знали друг друга, а теперь... Переезжайте жить ко мне. А удава я сдам в зоопарк.

Она посерьезнела и покачала головой.

— Нет. Вы очень добры, но мне дорога свобода.

— Со мной вы останетесь свободной. Свобода — священное право.

— Нет, — упрямо повторила она и нахмурилась, — я хочу быть независимой. И потом, я люблю свою работу. Я помогаю людям, приношу им облегчение, я на своем месте. Здесь потруднее, чем в больнице. Сестра только сидит у постели больного, а не лежит с ним вместе. Я пошла сюда по зову сердца.

— Как это по-христиански.

— Вот уж нет, я выбрала профессию проститутки вовсе не из любви к Господу Богу. Христианская благодетель здесь ни при чем. Просто мне это нравится. Я знаю себе цену, и я ее получаю. Многие ли стоящие женщины могут этим похвастаться? По большей части они делают то же самое, но бесплатно, расходуют себя даром, обесценивают любовь. Отдаются ни за грош, как будто ни гроша не стоят. Нет, я предпочитаю иначе.

— Но вы сможете и дальше здесь работать, я не принуждаю вас бросить свое дело. Супруги должны уважать друг друга. Я за свободу в браке.

— Право, вы очень добры, и все-таки нет. Мы можем встречаться здесь, приходите, когда захотите, так гораздо удобнее. Зачем усложнять жизнь.

Она открыла дверь. Фиалки остались на туалетном столике, ладно, все равно увядать, к тому все идет.

— Не говорите ничего в управлении, так будет лучше, — сказала мадемуазель Дрейфус. — Хотя я не стыжусь, тамошняя работа куда постыднее этой. Ну, пока, заходите.

Я вышел. Попрощался с хозяйкой.

— Заглядывайте еще, — сказала она.

Я направился в кафе напротив, прошел прямо в туалет и заперся в кабинке, чтобы отдышаться и разложить все по полочкам. Я хотел отсидеться в четырех стенах и убедиться, что я это я. Прошло какое-то время, прежде чем мне удалось ослабить узел и дойти до дому.

Вошел в отличном самочувствии, присвистывая.

Природа требовала свое. Я был голоден и достал из ящика Блондину. Открыл пасть, чтобы заглотнуть ее, но едва прикоснулся к ней языком, как спохватился: ведь я не признаю законов природы. Приспособление, среда и прочая ерунда вроде священного права на собачью жизнь — нет, дудки! Есть хотелось зверски, мышь была уже на языке, оставалось только проглотить, но я не поддамся так легко этим паскудным законам. И я нашел в себе силы положить мокрую, как мышь, Блондину на место. Не хочу и не буду как люди.

Сон не шел, я то и дело вскакивал и бежал в ванную промывать зад, но это не помогало.

Голос природы урчал в животе, но я дотерпел до утра и отдал Блондину хозяйке «Рамзеса» — ей давно хотелось завести что-нибудь маленькое, тепленькое, живое, с нежными ушками — не все же думают только о жратве. Вернувшись, нашел трех мышей, которых принесла мне мадам Нибельмесс, и не устоял: проглотил двух разом и, свернувшись клубком, завалился спать в углу.

***

Прошло несколько дней — не знаю точно, сколько, — и как-то утром я отнес Голубчика в зоопарк. Больше он мне не нужен, я отлично чувствовал себя в собственной шкуре. Он уполз с полнейшим безразличием и обвил дерево, как будто не видел разницы. Я же вернулся домой и подмыл зад. На минуту я поддался панике, мне показалось, что я не я и что я стал человеком. Смешные страхи: я им всегда и был. Просто воображение подчас играет с нами дурные шутки.

Часам к трем я ощутил прилив дружеских чувств и пошел в «Рамзес» проведать Блондину, но коробка стояла пустая. Одно из двух: или хозяйка ее пересадила, или уже слопала.

Пришел назад ни с чем. Меня трясло, мучил мысленный зуд во всем теле. Тогда я сел и насочинял кратких объявлений, факсов и телеграмм с оплаченным ответом, но отправлять не стал: мне ли не знать, как одинок удав в Большом Париже и как предвзято к нему относятся. Каждые десять минут я бегал в ванную и драил зад до блеска — не помогло и это.

В пять часов я понял, что дело плохо и надо найти другое решение, верное и без свойственных заблуждений, не идущее, однако, вразрез с моим непоколебимым антифашизмом. Тоска по чему-то отличному, подручному и безупречному была так сильна, что я сломя голову бросился на улицу Тривиа к часовщику с намерением завести ручные часы. Выбрал особь со светлым, приветливым циферблатом и парой тонких чутких стрелок. Часовщик рекомендовал мне другой, «более совершенный» экземпляр.

— Эти не нуждаются в заводе. Они кварцевые и будут идти сами целый год.

— Но мне, наоборот, нужны такие, которые во мне нуждаются и останавливаются, если я о них забываю. С личным контактом.

Как все люди, привыкшие жить по-человечески, он меня не понимал.

— Часы, которые без меня не обойдутся. Вот эти...

Я сжал часы в ладони. И почему-то вспомнил о фиалках. Такой уж я привязчивый.

Часы в ладони пригрелись. Я разжал пальцы — циферблат улыбался. Значит, у меня талант внушать дружескую улыбку часам.

— Это «Гордон», — значительно сказал часовщик.

— Сколько они стоят?

— Сто пятьдесят франков.

Столько же, сколько мадемуазель Дрейфус — явный знак свыше.

— Но у этой модели нет гарантии, — сокрушенно сказал часовщик, выдавая тайную тревогу.

Дома, наскоро подмыв зад, я скользнул в постель, сжимая в руке свои часики. Если запастись терпением и хлебными крошками, можно приманить на ладонь и так же ухватить воробушка. Но всю жизнь на воробьях и крошках не продержишься, к тому же воробьи рано или поздно улетают в силу неумолимой невозможности. В самой середине круглой часовой рожицы красовался носик-точка, стрелки раздвигались в улыбке, правда, это зависело от времени (понятно, нельзя же улыбаться все время). Когда я был маленьким и жил в приюте, то зазывал к себе по ночам большого доброго пса, которого сотворил силой воображения вкупе с потребностью в ласке и наградил черной мордой, длинными, трогательными (для рук) ушами и человечески-нечуждым взглядом. Он приходил ко мне в дортуар каждый вечер и облизывал лицо, но потом я вырос, и тут уж он ничего не мог поделать.

Так, с часами в руке, я пролежал всю ночь. Наконец я обрел что-то человеческое и в то же время неподвластное законам природы — тикать они на них хотели! Только иногда приходилось вставать, чтобы подмыть в ванной зад. Утром я проглотил последнюю мышь — чтобы настроиться и лучше приспособиться к среде. Через пару деньков нарочно забуду завести Франсину, пусть почувствует, как я ей необходим. Я окрестил свои часы Франсиной в честь некой одноименной личности.

Ходить на работу я не мог — боялся выдать себя в силу нехватки мнимости. Хотел объявить голодовку, но на мадемуазель Дрейфус свет клином не сошелся. Два дня кое-как продержался без пищи, но законы природы взяли верх, и, когда на третий мадам Нибельмесс принесла мне корм, я поднялся во всю длину и взял у нее из рук коробку с шестью мышами. Одну тут же проглотил из учтивости и дабы продемонстрировать почтенной женщине, что я нормальный человек. Во избежание ненужных разговоров.

— О, месье Кузен! — воскликнула мадам Нибельмесс.

Я промолчал. Хочет, пусть называет меня Кузеном. Только засмеялся, взял за хвост вторую мышь и миролюбиво проглотил ее тоже. В мегаполисе с десятимиллионным населением надо поступать как все. Соблюдать видимость с ног до головы.

Мадам Нибельмесс, видно, убедилась окончательно, поскольку выбежала вон и больше не являлась.

На другой день я возобновил обычную жизнедеятельность — пошел в управление и до вечера просидел за IBM. Никто не заметил моего отсутствия. Только билетик метро понял мое состояние и при выходе остался у меня в руке, не покинул в трудную минуту.

Ночью в постели я болезненно ощущаю нехватку рук — рук мадемуазель Дрейфус; но так, я читал, бывает: боли в несуществующих конечностях после ампутации мучают всех увечных. Зато я стал улавливать ободряющее бульканье в радиаторе — какая-никакая поддержка извне. На пятый день нового этапа подпольной борьбы за освобождение меня одолела философия. Все делятся на одних и других, думал я. Причем другие тоже одни, только сами не понимают. Запутанный и никому не нужный узел, а мне так и подавно, у меня своих узлов хватает.

Приходится пускаться на хитрости, чтобы соседи на меня не донесли. Например, ставить на полную громкость пластинку Моцарта с тонким расчетом — пусть думают: раз слушает Моцарта, значит, человек. При немцах было куда проще: получил поддельный паспорт и живи себе спокойно.

С Жаном Муленом и Пьером Броссолетом я поговорил откровенно и объяснил, что больше не могу их укрывать. Сказал, что теперь нужны предельная бдительность и изворотливость. Они все поняли. Одного убедил калюирский опыт, другого — шесть этажей без лифта. Итак, я снял оба портрета со стены и сжег — пусть будут в полной безопасности и сохранности, в самой глубине души. Внутреннее подполье — самое надежное. Я пообещал каждый день делиться с ними лучшей пищей и не полениться купить побольше батареек для электрических фонариков — нельзя же все время оставаться в темноте, должен быть луч света.

К мадемуазель Дрейфус в бордель я не заходил, мне нечего предложить молодой независимой женщине. Признаюсь, однако, что продолжаю регулярно мыть зад на биде — без мечты не проживешь. А вообще-то, если я и думаю о мадемуазель Дрейфус, то только для того, чтобы удостовериться, что о ней не думаю, то есть для душевного равновесия.

Живу в мире и согласии со своими ручными часами. Хоть они и без гарантии, но исправно, как обещал часовщик, останавливаются всякий раз, когда я их покидаю. Я по-прежнему убежден, что полноценная единица складывается только из двоих, хотя допускаю возможность свойственного заблуждения. Свыше часто слышатся шаги профессора Цуреса, который носится с правами человека и кровопролитиями. Я все

жду, не снизойдет ли он ко мне, но, плотно окопавшись на своем высоком посту, он бодрствует в одиночку, одержимый неусыпной деятельностью.

В управлении тоже все нормально. Я бдительно сохраняю человеческий облик, так что на меня не обращают внимания. Уборщик достукался: его засекли и уволили. Я по нему нисколько не скучаю, хотя думаю о нем с удовольствием, радуюсь, что больше не нападу на него в коридоре. Случается, правда, — да и с кем не бывает! — накатят подспудные поползновения, но я употребляю патентованные средства заглушения. В настоящее время любой органический недостаток легко восполнить с помощью полноценных, общественно полезных, искусственных членов. Из разговоров коллег я знаю, что в социуме наблюдаются кричащие болевые точки, но их крик подавляется статистической массой. Иногда я поднимаюсь среди ночи и развиваю гибкость на будущее. Катаюсь по полу, скручиваюсь в узел, извиваюсь и пресмыкаюсь — вырабатываю полезные навыки. Получается удачно, просто до ужаса, как на самом деле. А говорю я это для пресечения досужих домыслов.

Бывают маленькие нечаянные радости. То развинтится от уличной вибрации и примется подмигивать лампочка. То кто-то по ошибке позвонит ко мне в дверь. То забулькает и согреет душу радиатор. То зазвонит телефон и защебечет нежным женским голосом: «Жанно, миленький, это ты?» — и я целую минуту могу молча улыбаться и чувствовать себя миленьким Жанно...

Париж — огромный город, где ни в чем нет недостатка.

Вглубь одного стихотворения

ПОЛЬ ВЕРЛЕН
Песня без слов

Перевод с французского

На мотив Верлена

Сразу оговорюсь — я не сторонник таких публикаций, и даже не потому, что они чем-то похожи на скачки с препятствиями, а по другой причине. Читая и сравнивая, невольно превращаешься то ли в редактора, то ли в члена жюри, и это постороннее занятие мешает главной работе — читательской , требующей воображения и соучастия. Толстой однажды заметил, что стихи на чужом языке — особенно если знаешь его нетвердо — кажутся лучше, чем есть. Это сущая правда и результат бессознательного и бессловесного творчества внесенного читающим в затуманенный для него текст. Похожее происходит и с переводами, разумеется, если они способны, задев за живое, разбудить это творческое начало. Переводческое мастерство — довольно условное понятие, и порой косноязычие жизненней виртуозности. Для многих и для меня, например, загадка, почему сологубовские переводы Верлена имели такой успех, а вот Александр Блок их ценил. Видимо, вслушивался, читая, не в них, а в себя.

Резонный вопрос — почему бы тогда вообще не переводить стихи прозой. «В прозаическом переводе читатель по меньшей мере узнает точный смысл строк» (И. Эренбург). Но есть ли у стихов точный смысл? И по какому камертону выверять упомянутую точность? Словари для этой цели не годятся. Что стихи, если непереводимы самые простые, изначальные слова! Земля, вода, хлеб, любовь. Подобно крылу бабочки, хранящему цвета и оттенки окрестного мира, слово вбирает его голоса и отголоски. В родниковых странах, будь то Испания или Грузия, слово «вода» — как ледяной глоток в жаркий полдень, в Армении оно журчит, в Германии сочится лесной влагой, а в полноводной России льется широким, открытым звуком и уводит, как дорога. Слова — звуковые кристаллы, но самоцветами они становятся в огранке стиха, и потому поэзия — хранительница языка и его любимица. Она ведь намного старше прозы, и это естественно — все, что стоило и следовало помнить, вверялось такому речевому строю, чтобы сказанное запомнилось. Стихотворная фраза — оперенная стрела: она вонзается в сознание, и смысл ее постигают, не успев понять. Но это не все. Звуковые волны стиха растворяют и несут в себе многоголосье мира; воздух, щебет, тишина и даль, запечатленные в языке, вторгаются в словесную вязь, образуя смысловой фон, порой неожиданный для самого поэта. Эту вольную звуковую стихию, укрощенную словом, Гоголь называл «поэзией поэзии». Она непереводима, но ради нее-то и ломаются копья.

Перед вами стихотворение, непереводимость которого заявлена с первых же слов — «Il pleure dans mon coeur». «Плачется в моем сердце» — так по-русски не говорят. По-французски — тоже. Но эта необычность у Верлена звучит естественно, без насилия над языком, потому что перекликается с обыденным «il pleut» (безличным, как русское «льет» или «моросит»). Так не говорится, но так можно (а после Верлена — хочется) сказать. Однако неологизм — это еще полбеды. Для перевода неподатливей всего песни: у них слишком глубокие корни и при пересадке легко обрываются. А стихи о дожде и сердечной смуте — это песня, и мало того — «песня без слов» (свою, наверно, лучшую книгу, куда стихотворение входит, Верлен так и назвал — «Песни без слов»). В нем действительно слов не больше, чем звуков в хроматической гамме. Опоясывающие рифмы-повторы еще больше сужают словесное пространство, но зато выделяют мелодию Не знаю, перелагались ли эти

Верлен в 1870 г. Рисунок Ф. Регаме.

стихи на музыку; если да, то напрасно — их незачем озвучивать и петь, они поют сами. Простейшие слова простейших фраз — лексика букваря — становятся нотами тревожной мелодии, которая растет от строфы к строфе, от изначальной угнетенности (langueur) к «худшей из мук» (la pire peine) — необъяснимой и нестерпимой тоске.

Новаторство Верлена не в изобретательности, но в умении о сложном и трудном сказать просто. А простота, как признавался Флобер, требует немалых ухищрений. Стихи начинаются сравнением, но звуковой резонанс il pleure — il pleut его упраздняет. Вместо уподобления плача дождю или наоборот — возникает единое состояние, душа и мир раскрываются друг другу, и непонятно уже, кто кому откликается. Что-то смутное и недоброе творится в мире, овладевая человеком помимо воли и сознания. Давным-давно, еще до Рождества Христова, Катулл в знаменитом двустишии «Ненавижу ее и люблю» (пер. С. Шервинского) тоже прибег к безличному, страдательному обороту речи. Римлянин Катулл мучился оттого, что ему любилось и ненавиделось неразрывно. Парижанин Верлен, тоже не умевший любить иначе, мучится тем, что в минуту, казалось бы, успокоения, свободный от любви и ненависти — sans amour et sans haine, — не находит себе места в этом мире.

Начиная с символистов, права на Верлена предъявляли многие, но, пожалуй, особенно любили его декаденты, как российские, так и свои, отечественные. Любили, надо сказать, безответно, хотя Верлен сам дал им повод считать его предтечей. Речь об известном сонете «Я — римский мир периода упадка» (пер. Б. Пастернака). На самом-то деле это не декларация, а пародия. Непозволительно исповедальный (по выражению Пастернака) Верлен не был удачливым пародистом, и последняя строка сонета — «Лишь грусть без объясненья и предела» — непритворно верленовская. Но задуманы стихи как пародия на декадентов и в книгу вошли под шапкой «В духе некоторых». Декадентство — эстетизация упадка. Свое время Верлен считал упадочным, а собственная жизнь ему временами представлялась безудержным падением, но он мучился этим, а не вдохновлялся. Короче, он не любил декадентщину. Он любил весну, недолюбливал лето, подобно Пушкину, и в отличие от него боялся осени — сезонные пристрастия бродяги. Весна 1872 года застала Верлена на пороге кочевой, бесприютной жизни. В памяти еще звучали расстрельные залпы версальцев, семья распалась, он ненавидел Париж, пил, подавленность перемежая яростью, и готовился бежать куда глаза глядят.

Тогда и родились эти пасмурные стихи, и горькое недоумение их — не грусть, навеянная погодой. Настроения живут недолго, а в искусстве вообще не выживают. Пушкинское «Дар напрасный, дар случайный» тоже сопряжено с событиями нерадостными — влюбленностью, сватовством, отказом, но стихи так безысходны, словно пережитое всколыхнуло темные глубины, весь подспудный трагизм существования. Мы охотно повторяем за Блоком: «Веселое имя — Пушкин», забывая продолжение: «Роль поэта — не легкая и не веселая, она трагическая».

Пушкинскому бунту: «Жизнь, зачем ты мне дана?» — вторит лермонтовская горечь: «Что же мне так больно и так трудно?» И покинуто жалуется дождю Верлен: «Pourquoi, sans amour et sans haine, mon coeur a tant de peine?» Разделенные временем и далью, одинокие голоса перекликаются, как птицы перед отлетом. И вот уже в нашем беспощадном веке португалец Пессоа откликается верленовской тоске: «Все также она бессменна и беспричинна. Как небо, видна. Как воздух, неразличима». А Пабло Пикассо, этот сгусток жизненности, подводит итог: «Искусство — дитя сиротства и тоски».

Почему человек тоскует — и тем нестерпимей, чем сильнее в нем голос жизни? Поэт с веселым именем Пушкин мог часами, пугая друзей, метаться по комнате, твердя: «Тоска! Какая тоска!» Что гнетет людей — груз чужих и своих горестей, память, совесть или врожденное чувство отторженности и неполноты? Или тоска и есть подлинный, темный голос самой жизни, наделенной сознанием конца? Поэты ищут ответ, и даже великие не находят. Быть может, какой-то намек на него просвечивает в самом языке? Тоска непереводима, у французской и русской — разные оттенки. Но есть общее: по крайней мере, в романских и славянских языках тоска — то, что теснит. Тоска — когда человеку тесно в самом себе и в целом мире. Если Баратынский прав и скорбь животворна — быть может, и в тоске таится воля к обновлению, обещание и залог свободы?

Наверно, и такую ноту можно при желании расслышать в верленовской мелодии. У стихотворения много подтекстов. И неудивительно, что непереводимую «песню без слов» упорно переводили, переводят и наверняка будут переводить. Кого-то завораживает песенная простота стихов, кто-то узнает в них себя, но всех, думаю, притягивает человеческая достоверность, понятность этой непонятной тоски. И еще — в «песне без слов» как бы кристаллизовалась верленовская поэзия в том ее облике, что живет в нашем сознании. Неловко ссылаться на себя, но, может быть, это не частный случай. Я люблю перевод Пастернака и переводил это стихотворение не в надежде на удачу, а из бессознательной убежденности — пока не обломаешь на нем зубы, к поэзии Верлена нечего и подступаться.

О переводе Пастернака хотелось бы немного сказать. Суть поэтического перевода вычурно, но верно определил Брюсов: «Разложить фиалку в тигле на основные элементы и потом из этих элементов создать вновь фиалку». Самому Брюсову это не всегда удавалось, а вот Пастернак иначе не умел. Вообще-то в тигле не разлагают, а плавят, это не перегонный куб. Пастернак переплавлял подлинник целиком — и отливка не была копией, зато сохраняла цельность и прочность оригинала. Поэтому переводам Пастернака присуща «равноудаленность» от подлинника: слово неуклюжее — составное, но этим и удобно. Удаленность публикуемого перевода очевидна (и не раз подвергалась разбору и осуждению), но то, чем он равен подлиннику, очевидней. Пастернак писал о Верлене: «Он по-разговорному сверхъестественно естественен». Таков и перевод. Его непринужденность, легкое дыхание, мягкий женственный тембр — это ведь и есть Верлен. Искусство перевода — в немалой

мере искусство жертвовать. Пастернак пожертвовал метафизической тревогой «песни без слов»; верленовскую мелодию он переложил для простого, «домашнего» инструмента. Жертва немалая, но любой перевод — переложение, только у музыканта средней руки инструмент задыхается от навязанных ему непосильных созвучий, а у настоящего — говорит собственным голосом. И в конце концов, прав Пастернак или, на чей-то взгляд, не прав, но это русские стихи, они врезаются в память, их можно петь. Еще одно русское стихотворение.

«Одной слезой река шумней».

А. ГЕЛЕСКУЛ

Il pleut doucement sur la ville
ARTHUR RIMBAUD

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville
Quelle est cette langueur
Qui penètre mon coeur?

O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s'ennuie
O le chant de la pluie!

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s'écoeure
Quoi! nulle trahison?
Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,
Sans amour et sans haine,
Mon coeur a tant de peine!

«Romances sans paroles», 1872

Небо над городом плачет,
Плачет и сердце мое.
Что́ оно, что́ оно значит,
Это унынье мое?

И по земле, и по крышам
Ласковый лепет дождя.
Сердцу печальному слышен
Ласковый лепет дождя.

Что́ ты лепечешь, ненастье?
Сердца печаль без причин...
Да! ни измены, ни счастья —
Сердца печаль без причин.

Как-то особенно больно
Плакать в тиши ни о чем.
Плачу, но плачу невольно,
Плачу, не зная о чем.

1894

Перевод ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА
(В кн. «Зарубежная поэзия в переводах Валерия Брюсова». М., «Радуга», 1994.)

Песня без слов

Сердце исходит слезами,
Словно холодная туча...
Сковано тяжкими снами,
Сердце исходит слезами.

Льются мелодией ноты
Шелеста, шума, журчанья,
В сердце под игом дремоты
Льются дождливые ноты...

Только не горем томимо,
Плачет, а жизнью наскуча,
Ядом измен не язвимо,
Мерным биеньем томимо.

Разве не хуже мучений
Эта тоска без названья?
Жить без борьбы и влечений
Разве не хуже мучений?

1904

Перевод ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО
(В кн. И. Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., «Советский писатель», серия «Библиотека поэта», 1959.)

Сердце тихо плачет,
Словно дождик мелкий,
Что же это значит,
Если сердце плачет?

Падая на крыши,
Плачет мелкий дождик,
Плачет тише, тише,
Падая на крыши.

И, дождю внимая,
Сердце тихо плачет,
Отчего, не зная,
Лишь дождю внимая.

И ни зла, ни боли!
Все же плачет сердце.
Плачет оттого ли,
Что ни зла, ни боли?

1914

Перевод ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА
(В кн. И. Эренбург. Стихотворения. Л., «Советский писатель», серия «Библиотека поэта», 1977.)

В слезах моя душа,
Дождем заплакан город.
О чем, тоской дыша,
Грустит моя душа?

О, струи дождевые
По кровлям, по земле!

В минуты, сердцу злые,
О песни дождевые!

Причины никакой,
Но сердцу все противно.
К чему же траур мой?
Измены никакой.

Нет горше этой муки, —
Не знаешь почему,
Без счастья, без разлуки
Так много в сердце муки!

1893,1896,1922

Перевод ФЕДОРА СОЛОГУБА
(В кн. Ф. Сологуб. Стихотворения. Л., «Советский писатель», серия «Библиотека поэта», 1975.)

Над городом тихо накрапывает дождь.
АРТЮР РЕМБО

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?

О дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.

Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.

Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

1940

Перевод БОРИСА ПАСТЕРНАКА
(В кн. «Европейская поэзия XIX века», т. 2. М., «Художественная литература», 1977.)

В сердце — слезы одни,
Словно дождь над кварталом,
И откуда они
В эти мирные дни?

То поет, то бормочет
Средь панелей и крыш,
Сердце выплакать хочет
То, что дождик бормочет.

Не понять, отчего
Сердце так изнывает,
Кто обидел его?
Не понять ничего!

Нет несноснее муки,
Чем не знать, почему
Без любви, без разлуки
Сердце рвется от муки.

1983

Перевод ВЛАДИМИРА ПОРТНОВА
(В кн. «Вечернее зарево. Из французской лирики XIX века». Переводы В. Портнова. Баку, 1983.)

Мелкий дождик над городом льется.
АРТЮР РЕМБО

Слезы в сердце моем,
Как над городом дождик;
Что за грусть под дождем
Ноет в сердце моем?

О, как сладко по крышам
И по плитам звенит!
С замиранием слышим
Дождь, поющий по крышам.

Нет особых причин
Сердцу глупому плакать.
Ни измен, ни кручин...
Нет для грусти причин.

Ах, какая досада:
Не понять, почему
Без любви, без разлада
В сердце грусть и досада.

1994

Перевод АЛЕКСАНДРА РЕВИЧА

Пасмурно в сердце моем,
Пасмурный день за окном.
Что за печаль и о чем
В сумрачном сердце моем?

Капли дождя нараспев
Мерно по крышам стучат,
Сердцем моим овладев, —
О, этот дождь нараспев!

Сам не пойму, отчего
Тяжесть на сердце легла —
Что омрачило его?
Странная боль: ни с чего.

В том-то и корень беды —
Тошно ему ни с чего.
В нем — ни любви, ни вражды:
Имени нет у беды.

1994

Перевод МАЙИ КВЯТКОВСКОЙ

Сердцу плачется всласть,
Как дождю за стеной.
Что за темная власть
У печали ночной?

Мой напев дождевой
На пустых мостовых,
Неразлучен с тоской
Твой мотив городской!

Сердце плачет тайком —
О какой из утрат?
Это плач ни о ком,
Это дождь виноват.

И за что, не пойму,
Эта мука из мук —
Тосковать одному
И не знать почему?

1995

Перевод АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА

■

ИОСИФ БРОДСКИЙ

Памяти Марка Аврелия

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
1987г.

I

Для нас античность существует, мы же для нее — нет. Не существовали никогда и никогда не будем. Это несколько диковинное положение делает наши суждения об античности до некоторой степени несостоятельными. С точки зрения хронологической и, боюсь, генетической расстояние между нами чересчур огромно, чтобы предположить какую-то причинно-следственность: мы взираем на античность как бы из ниоткуда. Наша точка зрения подобна взгляду на нас самих с соседней галактики. Она сводится в лучшем случае к солипсистской фантазии, к видению. На большее нам претендовать не следует, ибо нет ничего неповторимей, чем наша чрезвычайно непрочная комбинация клеток. Что узнал бы древний римлянин, проснись он сейчас? Облако в вышине, синеву волны, поленницу дров, горизонтальность постели, вертикальность стены, но — никого в лицо, даже окажись встреченные им совершенно голыми. Очутившись среди нас, он в лучшем случае испытал бы чувство, сходное с тем, что испытывает высадившийся на Луну: что перед ним — будущее или далекое прошлое? пейзаж или руины? Вещи эти в конечном счете весьма схожи. Если, конечно, он не увидит всадника.

II

Двадцатое — возможно, первое столетие, взирающее на статую всадника с легким недоумением. Наш век — век автомобилей, и наши короли и президенты водят машины, или же их возят. Всадников во множестве нам вокруг не обнаружить, кроме как в цирке или на скачках. Исключение, может быть, составляет британский принц-консорт Филипп, равно как и его дочь принцесса Анна. Но это связано даже не столько с королевским положением, сколько с именем «Филипп», которое является греческим по происхождению и означает «philo-hippoi»: любитель лошадей. Связано настолько, что до недавнего времени мужем Ее Королевского Высочества был капитан Королевской гвардии Марк Филлипс, сам отменный наездник. Мы могли бы добавить сюда еще наследника британской короны принца Чарльза, страстного игрока в поло. Но вот, пожалуй, и все. Мы не видим лидеров демократий или, коли на то пошло, вождей немногих оставшихся тираний верхом. Ни даже военачальников, принимающих парады, которых в наши дни становится все меньше и меньше. Всадники почти полностью перевелись в наших краях. Конечно, сохранилась еще конная полиция, и нет, вероятно, для ньюйоркца большего Schadenfreude[1], чем наблюдать, как

[1] Злорадство (*нем.*) (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© Joseph Brodsky, 1994

один из этих лохинваров в седле выписывает штраф неправильно припаркованному автомобилю, в то время как его четвероногое фыркает на капот жертвы. Но когда мы сооружаем нынче памятники вождям и национальным героям, на пьедестале стоят лишь две ноги. А жаль, ибо лошадь обычно символизировала многое: империи, мужество, природу. Существует даже целый этикет конной скульптуры; так, например, если лошадь встает на дыбы под седоком, это означает, что последний погиб в бою. Если все четыре копыта покоятся на постаменте — указание, что он умер в своей постели. Если одна нога поднята высоко в воздух, то подразумевается, что скончался от ран, полученных в бою, если не так высоко — значит, жил довольно долго, пройдя свой жизненный путь, так сказать, шагом. С автомобилем это невозможно. К тому же автомобиль, даже «ролле-ройс», не подчеркивает чьей-либо уникальности и не возвышает над толпой, как лошадь. Римских императоров, к примеру, часто изображали верхом, но не для того, чтобы увековечить их излюбленный способ передвижения, а чтобы ясно обозначить их превосходство: принадлежность, часто по рождению, к сословию всадников. На языке того времени «всадник», по-видимому, означало «высокопоставленный» или «высокородный». Иными словами, equus[1] вдобавок к седоку был навьючен еще и массой аллюзий. Прежде всего он мог представлять прошлое, хотя бы потому, что был представителем животного царства, то есть того, откуда прошлое вышло. Возможно, именно это в конечном счете имел в виду Калигула, когда собирался сделать своего коня консулом. Ибо античность, видимо, уже уловила эту связь. Поскольку прошлым она интересовалась гораздо больше, чем будущим.

III

Общего у прошлого и будущего — наше воображение, посредством которого мы их созидаем. А воображение коренится в нашем эсхатологическом страхе: страхе перед тем, что мы существуем без предшествующего и последующего. Чем сильнее этот страх, тем подробней наше представление о классической древности или утопии. Иногда — и даже слишком часто — они перекрываются, когда, например, кажется, что древность обладала идеальным устройством и обилием добродетелей, или же когда жители наших утопий прогуливаются по своим мраморным ухоженным городам, облаченные в тоги. Мрамору, конечно же, суждено быть неизменным строительным материалом как античности, так и утопии. Вообще, белый цвет пронизывает наше воображение до его крайних пределов, когда версия прошлого или грядущего принимает метафизический или религиозный характер. Рай — бел; таковы же древняя Греция и Рим. Это пристрастие является не столько альтернативой к темноте источника нашей фантазии, сколько метафорой нашего неведения или просто отражением материала, который фантазия обычно использует для своего полета: бумаги. Скомканную бумагу на пути в мусорную корзину легко принять за осколок цивилизации, особенно если вы сняли очки.

IV

Впервые я увидел этого бронзового всадника через ветровое стекло такси лет двадцать назад — можно сказать, в предыдущем воплощении. Я только что впервые приземлился в Риме и направлялся в гостиницу, где один мой знакомый заказал для меня номер. Гостиница носила совсем не римское имя: она называлась «Боливар». Нечто конное уже ощущалось в воздухе, ибо великого libertador[2] обычно изображают верхом на лошади, вставшей на дыбы. Погиб в бою? Я не мог припомнить. Мы застряли в вечерней пробке, которая выглядела помесью вокзальной толпы с исходом с футбольного матча. Я хотел спросить шофера, далеко ли еще нам ехать, но моего итальянского хватило только на «Где мы?». «Пьяцца Венеция», — буркнул он, кивнув налево. «Кампидольо», — кивок направо. И еще кивок: «Марко Аурелио», — сопровождаемый тем, что, несомненно, было энергичным высказыванием о заторе. Я посмотрел направо. «Марко Аурелио», — повторил я про себя и почувствовал, как две тысячи лет будто растаяли, растворились у меня во рту благодаря итальянской форме имени императора. Которое всегда звучало для меня эпически, в сущности, имперски, подобно разделенному цезурой громовому объявлению мажордома самой истории: Марк! — цезура — Аврелий! Римский! Император! Марк! Аврелий! Таким я

[1] Конь (*лат.*).
[2] Освободитель (*исп.*).

узнал его в школе, где мажордомом была наша приземистая Сара Исааковна, очень еврейская и очень кроткая женщина на шестом десятке, учительница истории. Но при всей своей кротости, когда доходило до имен римских императоров, она выпрямлялась, принимая величественную позу, и почти кричала поверх наших голов в облупленную штукатурку классной стены, украшенной портретом Сталина: Гай Юлий Цезарь! Цезарь Октавиан Август! Цезарь Тиберий! Цезарь Веспасиан Флавий! Римский император Антонин Пий! И наконец — Марк Аврелий! Казалось, что имена эти были больше ее самой, как будто они поднимались изнутри, чтобы вырваться в пространство гораздо большее, чем могли вместить ее тело, класс, страна и сама эпоха. Она упивалась их необычно звучащими, чужестранными именами, их непредсказуемой последовательностью гласных и согласных, и это было в самом деле заразительно. Дети любят такого рода вещи: странные слова, странные звуки, — вот почему, я полагаю, историю лучше учить в детстве. В двенадцать лет можно не уловить интриги, но незнакомый звук наводит на мысль об иной реальности. Именно так действовал на меня «Марк Аврелий», и эта реальность оказалась весьма обширной, в сущности, большей, чем реальность самого императора. Теперь, видимо, пришло время реальность эту одомашнить, поэтому, полагаю, я и очутился в Риме. «Марко Ауреліо, значит», — сказал я про себя и повернулся к шоферу: «Где?» Он показал на вершину громадного каскада мраморных ступеней, ведущих в гору, теперь как раз перед нами, и когда машина резко вывернула, чтобы продвинуться на миллиметр в море автомобилей, я на мгновение узрел залитые прожектором пару лошадиных ушей, бородатое лицо и вытянутую руку. Затем море поглотило нас. Полчаса спустя у входа в «Боливар», с багажом в одной руке и деньгами в другой, я спросил у шофера во внезапном приливе братских чувств и благодарности — в конечном счете, он был первым человеком, с которым я заговорил в Риме, и к тому же он доставил меня в гостиницу и, похоже, даже не слишком много запросил, — его имя. «Марко», — сказал он и уехал.

V

Наиболее определенная черта античности — наше в ней отсутствие. Чем доступней ее обломки и чем дольше вы на них таращитесь, тем решительнее вам отказывают во входе. Лучше всего вас отрицает мрамор, хотя бронза и папирус не слишком ему уступают. Дойдя до нас целиком или во фрагментах, эти вещи поражают, конечно же, своей долговечностью и искушают нас, особенно осколки, собрать их в связное целое — но им и не предназначалось дойти до нас. Они были и до сих пор остаются сами по себе. Ибо человеческая потребность в будущем столь же ограниченна, как и его способность поглощать время, что, например, демонстрирует грамматика, эта первая жертва всякого рассуждения на тему о грядущем. В лучшем случае эти мраморы, бронзы и папирусы предназначались для того, чтобы пережить свои модели и своих творцов, но не самих себя. Их существование было функционально, иначе говоря, имело ограниченную цель. Время — не осколки калейдоскопа, ибо состоит из преходящих частей. И хотя, возможно, идея загробной жизни была внушена предметами, до недавнего времени ее не рассматривали как доступный вариант. Как бы то ни было, перед нами следы необходимости или тщеславия, то есть соображений всегда близоруких. Ничто не существует ради будущего, и древние, естественно, не могли считать себя древними. И нам не следует объявлять себя их завтрашним днем. Мы не будем впущены в античность: она и так была густо заселена, в сущности, перенаселена. Свободных мест нет. Нечего курочить суставы, колотясь в мрамор.

VI

Жизнь римских императоров кажется нам чрезвычайно увлекательной, ибо мы сами чрезвычайно увлечены собой. Мы мыслим себя, мягко говоря, центрами своих собственных вселенных, безусловно, разных по величине, но все-таки вселенных и, в качестве таковых, имеющих центры. Разница между империей и семьей, вереницей друзей, паутиной романтических связей, областью знания и т.д. — разве что в объеме, но никак не в структуре. Кроме того, потому, что цезари так удалены от нас во времени, сложность их положения кажется понятной, поскольку время как бы сокращено перспективой двух тысячетелетий почти до масштабов детской сказки со всеми ее чудесами и наивностью. Их империи — это наши записные книжки, особенно вечером. Мы читаем Светония, Элия или Пселла в поисках архетипов, даже если все,

чем мы управляем, всего лишь велосипедная лавка или семья из двух домочадцев. Почему-то легче отождествить себя с цезарем, чем с консулом, или претором, или ликтором, или рабом, даже если это больше соответствует нашему настоящему положению в современной реальности. Объясняется это отнюдь не самовозвеличиванием или амбициями, но очевидной притягательностью укрупненных, выпуклых образцов скомпрометированной добродетели, порока или самообмана, а не их невнятных, нечленораздельных носителей по соседству или, коли на то пошло, в зеркале. Вот почему, возможно, мы разглядываем их подобия, в особенности мраморные. Ибо в конечном счете вместимость человеческого овала ограниченна. Не более двух глаз, не менее одного рта; сюрреализм еще не был изобретен, и африканские маски еще не вошли в моду. (Впрочем, может быть, и вошли, и именно поэтому римляне так цеплялись за греческие эталоны.) Так что в конечном счете вы неизбежно признаете себя в одном из них. Ибо не бывает цезаря без бюста, как не бывает лебедя без отражения. Бритые, бородатые, лысые или хорошо причесанные, они все отвечают тебе пустым, лишенным зрачков мраморным взглядом, подобно паспортной фотографии или полицейскому снимку преступника. Вы не поймете, что они замышляли; и наложение этих лиц на их истории и делает их, возможно, архетипами. К тому же это несколько приближает их к нам, ибо, будучи изображаемы довольно часто, они, без сомнения, научились относиться к своей физической реальности до некоторой степени отстраненно. В любом случае бюст или статуя для них являлись тем же, чем для нас фотография, и наиболее «фотографируемым» лицом, очевидно, оказывался цезарь. Были, конечно, и другие: их жены, сенаторы, консулы, преторы, знаменитые атлеты и красавицы, актеры и ораторы. В целом, однако, судя по тому, что уцелело, мужчин ваяли чаще, чем женщин, из чего можно сделать вывод о том, кто́ контролировал кошелек и определял этос. По обоим показателям цезарь был вне конкуренции. В Капитолийском музее вы можете часами шаркать по залам, битком набитым мраморными портретами цезарей, императоров, диктаторов, августов, свезенными сюда из мест, когда-то им подвластных. Чем дольше таковой оставался на посту — тем многочисленней «фотографии». Его изображали в молодости, зрелости, дряхлости; иногда бюсты разделяют от силы два года. Кажется, что мраморное портретирование было промышленностью, а судя по разнообразию степеней распада — промышленностью похоронной; в конце концов эти залы начинают представляться подобием библиотеки, заставленной многотомной энциклопедией обезглавливания. «Чтение» ее, однако, затруднено, так как мрамор знаменит как раз своей непроницаемостью. В некотором смысле с фотографией — или, точнее, с тем, чем фотография была, — его роднит еще и то, что он абсолютно монохромен. Прежде всего он представляет всех белокурыми. Тогда как в жизни некоторые из моделей — жены цезарей, по крайней мере, ибо многие из них происходили из Малой Азии, — блондинками не были. Однако мы почти благодарны мрамору за отсутствие в нем пигментации, как мы благодарны чернобелой фотографии, ибо она дает волю нашей фантазии, нашей интуиции, так что рассматривание становится актом соучастия, подобно чтению.

VII

И действительно, существуют способы превратить рассматривание в чтение. Мальчиком в родном городе я часто ходил в большой музей. В нем была огромная коллекция греческой и римской скульптуры, не говоря уж о мраморе Кановы и Торвальдсена. Я заметил, что в зависимости от времени дня, а также и времени года лица изваяний принимали разные выражения, и мне было любопытно, как они выглядят после закрытия. Но музей закрывался в шесть — вероятно, потому, что мраморные скульптуры непривычны к электричеству. Делать было нечего. Да и что вообще мы можем сделать со статуями? Можно кружить около, щуриться на них под разными углами, но и только. Бюсты, однако, допускают больше вольностей, что я обнаружил случайно. Однажды, глазея на белое личико некоей раннеримской fanciulla[1], я поднял руку, наверно, чтобы пригладить волосы, и таким образом преградил путь свету, который падал на нее с потолка. Выражение ее лица сразу изменилось. Я отвел руку немного в сторону: оно снова изменилось. Я принялся довольно лихорадочно двигать обеими руками, отбрасывая всякий раз новую тень на ее черты: лицо ожило. В конце концов мое занятие прервали крики смотрителя. Он бежал ко мне, но его искаженное лицо представилось мне менее одушевленным, чем черты маленькой мраморной девочки, родившейся до Р.Х.

[1] Девочка (*итал.*).

VIII

Из всех римских императоров Марк Аврелий имеет наилучшую прессу. Историки его любят, философы тоже. Именно последним Марк Аврелий обязан хорошей репутацией и поныне, ибо эта наука оказалась долговечней Римской империи или деталей ее государственного правления. Вообще-то историкам следовало бы быть менее восторженными на его счет, потому что несколько раз он вплотную подошел к тому, чтобы лишить их науку предмета; в частности, с назначением своего сына, совершенного идиота Коммода, наследником. Но историки — публика крепкая; они усваивали вещи и более непереваримые, чем идея Коммода переименовать Рим в свою честь. Они вполне могли бы ужиться с Коммодополем на карте и даже в нем самом и изучать историю Коммодовой империи. Что до философов, они были — а некоторые и до сих пор — очарованы «Размышлениями» Марка Аврелия, возможно, не столько из-за глубины и проницательности, сколько из-за респектабельности, которую сама дисциплина приобрела от царственного прикосновения. Политика гораздо чаще является занятием философов, чем философия — увлечением государей. К тому же для Марка Аврелия философия была больше чем увлечением: она была, как мы бы сказали сегодня, терапией или, как выразился позднее Боэций, утешением. Марк не был великим философом, не был он и провидцем, ни даже мудрецом; его «Размышления» — одновременно грустная и полная повторов книга. Доктрина стоиков к тому времени уже в самом деле стала доктриной, и хотя он писал по-гречески, до Эпиктета ему далеко. Весьма вероятно, что, как и любой римский император, он предпочел этот язык из уважения к происхождению доктрины, а также, возможно, из ностальгии по языку цивилизованного общения; в конце концов это был язык его юности со свойственными ей более возвышенными стремлениями. Прибавьте к этому, если угодно, возможные соображения секретности и преимущества отстранения, которое есть цель и метод самой дисциплины и усилено в данном случае языком. Не говоря уж о том, что его правление просто совпало со значительным возрождением в Риме греческой культуры, первым, если угодно, Ренессансом, несомненно, благодаря длительной эпохе прочной стабильности, которую историки окрестили «Pax Romana». И историки любят Марка Аврелия именно потому, что он был последним хранителем этого Pax. Ибо его правление фактически четко завершило период римской истории, длившийся почти два столетия, начавшийся с Августа и во всех отношениях закончившийся с нашим героем. Они любят его, потому что он последний в ряду, и притом весьма внятный, что для историков — роскошь. Марк был исключительно совестливым правителем, возможно, потому, что был назначен, а не помазан на царство, поскольку он был принят в династию, а не родился в ней. И историки, и философы любят его именно за то, что он так хорошо выполнял обязанности, к которым считал себя малопригодным и которые действительно принял неохотно. Для них его положение, вероятно, отражает некоторым образом их собственное: он как бы является образцом для тех, кому в этой жизни приходится идти против своего призвания. Во всяком случае, Римская империя приобрела гораздо больше от его двойной верности долгу и философии, чем доктрина стоиков (которая, в свою очередь, пришла с Марком к своему завершению: этике). Недаром высказывалось мнение, и часто очень решительно, что внутренний конфликт такого рода — хороший рецепт для власти. Что лучше, если духовные искания правителя имеют собственный выход и не слишком мешают его действиям. Не в этом ли суть всей истории с царем-философом? Когда вашей метафизике не дают разгуляться. Что касается Марка, он тем не менее страшился этой перспективы с самого начала, боялся быть вызванным ко двору Адриана, несмотря на все его услады и блестящие виды на будущее. Возможно, именно из-за них; истинный продукт греческой доктрины, все, чего он желал, — это «простое ложе, шерстяной плащ». Философия для него была манерой одеваться настолько же, насколько она была манерой рассуждения: тканью существования, не просто умственным занятием. Представьте его буддийским монахом; вы не слишком промахнетесь, поскольку «образ жизни» был сутью также и Стои, собственно, в нем вся суть и была. Юный Марк, должно быть, настороженно относился к усыновлению императором не только из-за сексуальных предпочтений Адриана: это означало гардероб столь же отличный, сколь и сопутствующая ему духовная пища. То, что он пошел на это, было связано, как представляется, не столько с давлением на него императора, сколько с собственными сомнениями нашего героя относительно своей интеллектуальной выносливости: очевидно, что легче быть государем, чем философом. Во всяком случае, это произошло, и вот памятник. Вопрос однако: кому? Философу? Или царю? Обоим? Возможно, ни тому, ни другому.

IX

Памятник, в общем и целом, — вертикальная вещь, символический уход от общей горизонтальности существования, антитеза пространственной монотонности. Памятник никогда фактически не отходит от этой горизонтальности — как, впрочем, и все остальное, — но скорее на ней стоит, отмечая ее в то же время подобно восклицательному знаку. В принципе памятник — это противоречие. В этом смысле он напоминает свою наиболее частую модель: человеческое существо, равным образом наделенное вертикальным и горизонтальным свойствами, но в конечном счете успокаивающееся на последнем. Долговечность материала, из которого памятник обычно изготовляется — мрамор, бронза, затем, все чаще, чугун, а теперь уже и бетон, — еще больше высвечивает противоречивый характер этого предприятия, особенно если темой памятника является великая битва, революция или стихийное бедствие, то есть событие, которое привело к большим жертвам и было моментальным. Однако, даже если темой является абстрактный идеал или последствия важного события, существует явно ощутимое противоречие временны́х рамок и представлений о долговечности, не говоря уже о фактуре. Возможно, принимая во внимание стремление материала к постоянству, лучшей темой для памятника является вообще-то разрушение. Сразу приходит на ум цадкинская статуя разбомбленного Роттердама: ее вертикальность функциональна, ибо указывает на сам источник катастрофы. К тому же, что может быть горизонтальней, чем Нидерланды? И приходит в голову, что памятник этот обязан своей генеалогией великим плоскостям, представлению о чем-то, видимом издали, — будь то в пространственном или во временном смысле. Что он имеет кочевое происхождение, ибо, по крайней мере во временно́м смысле, мы все кочевники. Человек, так ясно сознающий тщету всех людских предприятий, как наш государь-философ, конечно, первый возразил бы против превращения себя в городскую статую. С другой стороны, двадцать лет того, что, по-видимому, было практически непрестанными пограничными боями, заставляя его перемещаться повсюду, фактически превратили Марка в кочевника. Вот, кстати, и конь его здесь.

X

Однако Вечный Город — это город холмов. Точнее, их семь. Некоторые — естественные, другие — искусственные, но преодоление их — в любом случае тяжкое испытание, особенно пешком и особенно летом, хотя температуры соседних сезонов не слишком отстают. Прибавьте к этому не слишком крепкое здоровье императора; прибавьте, что с годами оно не становится лучше. Отсюда — лошадь. Памятник, расположенный на вершине Капитолийского холма, в сущности, заполняет вакуум, оставленный фигурой Марка верхом на лошади, который приблизительно две тысячи лет назад появлялся здесь довольно часто, если не сказать регулярно. Как говорят, по дороге на Форум. На самом деле, по дороге с него. Не будь пьедестала Микеланджело, памятником был бы след ноги. Еще лучше — отпечаток копыта. Римляне, суеверные, как все итальянцы, утверждают, что, когда бронзовый Марк падет на землю, наступит конец света. Каково бы ни было происхождение этого суеверия, оно резонно, если иметь в виду, что девизом Марка было Aequitas [1]. Это слово предполагает уравновешенность, невозмутимость в трудных обстоятельствах, ровность душевного расположения; буквально: выравнивание animus, то есть удержание души — и, таким образом, мира — в узде. Небольшая описка в этой формуле стоиков — и вы получите определение памятника: Equitas[2]. Правда, всадник несколько подался вперед, как бы склоняясь к своим подданным, и его рука вытянута в жесте, среднем между приветствием и благословением. Некоторые даже утверждали, что это не Марк Аврелий, а Константин, обративший Рим в Христианство. Однако для этого лицо всадника слишком безмятежно, слишком свободно от рвения или пыла, слишком отрешенно. Это лицо бесстрастности, а не любви — а бесстрастность как раз то, что Христианству никогда не удавалось. Нет, это не Константин и не христианин. Это лицо свободно от всякого чувства; это постскриптум к страстям, и опущенные углы рта свидетельствуют об отсутствии иллюзий. Будь там улыбка, вы могли бы подумать о Будде; но стоики слишком хорошо знали физику, чтобы несерьезно относиться к идее конечности человеческого существования. Лицо сияет первоначальной позолотой, покрывавшей бронзу, а волосы и борода окислились и стали зелеными — так человек седе-

[1] Уравновешенность, невозмутимость, бесстрастность (*лат.*).
[2] Конность (*от лат. equus — конь*).

ет. Мысль всегда стремится воплотиться в металл; и бронза отказывает вам в доступе, включая истолкование или прикосновение. Перед вами — отстранение как таковое. И из этого отстранения император слегка наклоняется к вам, вытянув правую руку для приветствия или благословения, иначе говоря, признавая ваше присутствие. Ибо там, где есть он, — нет вас, и vice versa[1]. Левая рука теоретически держит поводья, которые либо утрачены, либо отсутствовали с самого начала: в любом случае лошадь всегда слушалась бы этого седока. Особенно если она представляла Природу. Ибо он представляет Разум. Это лицо явно династии Антонинов, хотя он и усыновлен, а не рожден ею. Волосы, борода, глаза немного навыкате и слегка апоплексическое сложение — такие же, как у его приемного отца, ставшего тестем, и его родного сына. Неудивительно, что их так трудно отличить друг от друга среди мраморов Остии. Но, как мы теперь знаем, мода эпохи легко может справиться с генами. Вспомним «Битлз». К тому же он слишком чтил Антонина Пия, чтобы соперничать с ним в разнообразии; его внешность могла быть просто результатом почтения. Кроме того, скульптор, будучи современником, возможно, желал передать ощущение преемственности правления приемного отца и приемного сына, уловленной историками: ощущение, которое стремился создать и сам Марк. Или же скульптор просто пытался представить родовой портрет эпохи, портрет идеального правителя, и мы имеем здесь сплав двух лучших императоров, имевших место со времен убийства Домициана, по тому же принципу он сделал и лошадь, над индивидуальностью которой мы не задумываемся. Скорей всего, однако, это — сам автор «Размышлений»: лицо и торс, слегка наклоненный к подданным, весьма соответствуют тексту этой грустной книги, которая сама тяготеет к реальности человеческого существования, являясь не столько судьей, сколько арбитром. В этом смысле этот памятник — статуя статуе: трудно изобразить стоика в движении.

XI

Вечный Город напоминает гигантский старый мозг, давным-давно потерявший всякий интерес к миру — слишком ясное предприятие — и погрузившийся в свои собственные расселины и складки. Пробираясь сквозь их сужения, где даже мысль о себе чересчур громоздка, или их расширения, где идея вселенной внезапно представляется мелкой, вы чувствуете себя как притупившаяся иголка, шаркающая по бороздкам огромной пластинки — к центру и обратно, — извлекая вашими подошвами мотив, который время о́но напевает настоящему. Это и есть для вас истинный Голос Хозяина, и он превращает ваше сердце в собаку. История — не наука, а нечто, принадлежащее не вам, — что есть главное определение красоты. Отсюда это чувство, ибо она не собирается отвечать вам взаимностью. Это односторонний роман, и в этом городе вы мгновенно узнаете его платонический характер. Чем ближе вы к объекту желания, тем более мраморным или бронзовым он становится, так как легендарные профили туземцев раскатываются во все стороны, точно одушевленные монеты, высыпавшиеся из разбившейся терракотовой копилки. Точно время кладет здесь между простынями и матрасом свою собственную копирку — ибо оно чеканит в той же мере, что и печатает. Как только вы оставляете «Боливар» или в равной степени зловонную, но более дешевую «Нерву», вы упираетесь в Форо Трайано с его победоносной колонной, туго обмотанной покоренными даками и парящей, точно мачта, над мраморным ледоходом разбитых колонн, капителей и карнизов. Сейчас это царство бродячих кошек — уменьшенных львов в этом городе уменьшенных христиан. Громадные белые обломки и глыбы слишком громоздки и беспорядочны, чтобы придать им хоть видимость порядка или сдвинуть с места. Они оставлены здесь, чтобы впитывать солнце или представлять «античность». В некотором смысле они это делают; их плохо или никак не сочетающиеся формы есть демократия, это место все еще Форум. И по пути с него, как раз через дорогу, за соснами и кипарисами, на вершине Капитолийского холма стоит человек, сделавший возможным соединение республики с имперской властью. Он — без сопровождения: добродетель, как и болезнь, отчуждает. На какую-то долю секунды это все еще 176 г. н.э. или около того, и мозг размышляет о мире.

[1] Наоборот (*лат.*).

XII

Марк был хорошим правителем и одиноким человеком. При его роде занятий одиночество, конечно, приходит вместе с территорией; но он был более одинок, чем многие. В «Размышлениях» вы чувствуете этот привкус сильнее, чем в его переписке, но это лишь привкус. Трапеза состояла из многих блюд, и довольно тяжелых. Во-первых, он знал, что его жизнь вывихнута. Для древних философия не являлась побочным продуктом жизни, но ровно наоборот, и стоицизм был особенно требователен. Возможно, мы должны обойтись здесь без слова «философия» вообще, ибо стоицизм, особенно его римский вариант, не следует характеризовать как любовь к знанию. Это был скорее длящийся всю жизнь эксперимент на выносливость, и человек превращал себя в подопытного кролика: он был не инструментом исследования, но его материалом. Ко времени Марка знание, даваемое доктриной, предстояло скорее испытать, нежели воспринять. Ее материалистический монизм, ее космогония, ее логика и критерий истины (осознание, которое неизбежно вынуждает субъекта согласиться с ним как с истинным) уже сложились, и для философа суть жизни состояла в том, чтобы доказать подлинность этого знания, применяя его к действительности до конца своих дней. Иначе говоря, жизнь стоика была упражнением в этике, ибо за этику платить нечем, кроме как опытом. И Марк знал, что его эксперимент был прерван или сведен до уровня, который он сам не был в состоянии постичь; еще хуже, что его открытия — если только они были — не могли иметь никакого применения. Он верил Платону, но не до такой степени. Во всяком случае, ему первому пришлось согласовывать общее благо с несчастьем индивидуума, и, возможно, «Размышления» как раз об этом: своего рода постскриптум к «Государству». Он знал, что как философ он кончен: что с сосредоточенностью покончено и что все, на что он мог надеяться, — это немного времени для случайных раздумий. Что лучшим, к чему может свестись его жизнь, будут случайные озарения, иногда истинная догадка. Он принял это, несомненно, ради общего блага, но отсюда доминирующая меланхолия «Размышлений» или, если угодно, пессимизм — тем более глубокий, ибо человек этот определенно подозревал, что это далеко не максимум. «Размышления» — фрагментарная книга, родившаяся из помех. Это обрывочный, несвязный внутренний монолог со случайными вспышками как педантизма, так и гениальности. Она показывает вам, кем Марк мог бы быть, а не кем был: его вектор, а не достигнутый пункт назначения. Кажется, что эта книга была набросана среди гула и гвалта военных кампаний — может быть, и успешных — у походного костра и тога воина служила одеялом телу философа-стоика. Иными словами, она была написана несмотря на или, если угодно, вопреки истории, частью которой его пыталась сделать судьба. Возможно, он был пессимистом, но, уж конечно, не детерминистом. Вот почему он был хорошим правителем и почему соединение республики с имперским правлением при нем не выглядело фальшиво. (Есть даже основания утверждать, что наиболее крупные демократии современного мира выказывают все возрастающее предпочтение его формуле. Хорошие примеры тоже заразительны, но добродетель, как мы сказали, отчуждает. Не говоря уже о том, что время, растрачивая свою копирку на подданных, видимо, почти не оставило ее для правителей.) По крайней мере, он был хорошим хранителем: он не растерял того, что унаследовал; и если Империя при нем не расширилась, она осталась точно такой же; как сказал Август, «хорошего понемножку». Для человека, которому поручен надзор за вещью столь обширной и так надолго (практически тридцать три года, со 147-го, когда тесть наделил его императорской властью, до его смерти в 181-м неподалеку от будущей Вены), на его руках удивительно мало крови. Он скорей миловал, чем карал тех, кто восставал против него; тех, кто боролся с ним, он подчинял, а не истреблял. Законы, им принятые, помогали наиболее слабым: вдовам, рабам, детям, — хотя надо сказать, что он первым ввел двойной стандарт при обвинении в уголовных преступлениях членов Сената (должность особого обвинителя была его изобретением). Он экономно пользовался государственной казной и, будучи бережливым, старался поощрять это в других. Несколько раз, когда Империя нуждалась в деньгах, он продавал дворцовые драгоценности, а не выжимал из своих подданных новые налоги. Не затевал он и дорогих строек: ни Пантеона, ни Колизея. Во-первых, потому, что они уже существовали; а во-вторых, потому, что его пребывание в Египте было совсем коротким и он не выезжал за пределы Александрии в отличие от Агриппы и не в пример Титу и Адриану, так что его воображение не было захвачено гигантским, под стать пустыне, масштабом египетских сооружений. К тому же он очень не любил цирковых зрелищ, и, когда ему приходилось на них присутствовать, он, как сообщают, читал, писал или принимал доклады во время представления. Однако именно он ввел в римском цирке сетку, подстраховывающую акробатов.

XIII

Античность — прежде всего— визуальное представление, порожденное предметами, чей возраст не поддается определению. Латинское «anticum» — в сущности, более жесткий термин для «старого», происходящий от равным образом латинского «ante», которое означает «прежде» и обычно применялось, вероятно, к греческим делам. Следовательно, «предыдущность». Что до самих греков, то их «arche» значит начало, или генезис, момент, когда что-то происходит впервые. В таком случае — «первость»? Как бы то ни было, в этом и состоит существенное различие между римлянами и греками — различие, обязанное своим существованием отчасти тому, что греки имели в своем распоряжении меньше предметов, над происхождением которых им следовало бы задумываться, а отчасти — их общей склонности к сосредоточенности на истоках. Первое на самом деле может прекрасно служить объяснением второму, ибо после археологии идет только геология. Что до нашей собственной версии античности, она жадно поглощает как греков, так и римлян, но на худой конец могла бы сослаться на латинский прецедент в свою защиту. Античность для нас — огромная хронологическая мешанина, наполненная историческими, мифическими и божественными существами, увязанными между собой мрамором; мешанина еще и потому, что большинство изображенных смертных претендует на божественное происхождение или было обожествлено. Что выливается в практически одинаково минимальное — все-таки субтропики — одеяние этих мраморов и в замешательство с нашей стороны при атрибуции обломков (эта отколотая рука принадлежит божеству или смертному?). Стирание различий между смертными и божествами было обычным для древних, для римских цезарей в частности. Тогда как греки интересовались своей родословной, римлян больше занимало повышение в звании. Цель, разумеется, была та же: Небесные чертоги, но тщеславие или поддержание авторитета правителя играло в этом довольно незначительную роль. Весь смысл отождествления с богами состоит не столько в представлении об их всеведении, сколько в ощущении, что их абсолютная плотскость полностью уравновешена абсолютной же степенью отстранения. Начать с того, что чисто профессиональная мера отчуждения обычно заставляла правителя отождествлять себя с богом (в случае Нерона и Калигулы этому способствовала скорее плотскость). Получая статую, он значительно увеличивал эту меру, и лучше, если происходило это при жизни, ибо мрамор уменьшает как ожидания подданных, так и собственную готовность оригинала уклониться от явленного совершенства. Это освобождает, а свобода — это сфера божеств. Грубо говоря, мраморная и ментальная перспектива, которую мы называем античностью, — это огромный склад сброшенной и разорванной на клочки кожи, пейзаж после отступления; маска свободы, сломанная лестница.

XIV

Если Марк что и ненавидел и всячески ограничивал — так это гладиаторские бои. Одни говорят — оттого, что он питал отвращение к кровавым видам спорта, таким грубым и негреческим, и принятие чьей-либо стороны было для него началом пристрастности. Другие настаивают, что это связано с его женой Фаустиной, которая, притом что имела тринадцать детей — лишь шесть из них выжили, — была удивительно неразборчива для императрицы. Среди ее многочисленных связей выделяют некоего гладиатора, который, как утверждают, был настоящим отцом Коммода. Но пути Природы непостижимы; яблоко часто откатывается далеко от дерева, особенно если дерево это растет на склоне. Коммод был и гнилым яблоком, и наклонной плоскостью. Что же касается судеб Империи, то здесь он был настоящим обрывом. И возможно, неспособность постичь непостижимость путей Природы являлась источником репутации Фаустины (хотя, если Марк был настроен против гладиаторов из-за Фаустины, ему следовало бы запретить заодно матросов, актеров пантомимы, генералов и т.д.). Сам Марк не принимал этого всерьез. Однажды, осаждаемый слухами и советами избавиться от жены, он заметил: «Если мы отошлем нашу жену, то придется вернуть и ее приданое». Приданым в этом случае являлась сама Империя, поскольку Фаустина была дочерью Антонина Пия. В общем, он неустанно защищал ее и, судя по почестям, которые он воздал ей, когда она умерла, возможно, даже любил. По-видимому, она была одним из тех тяжелых блюд, чей привкус вы едва ощущаете в «Размышлениях». Вообще-то жена Цезаря вне упреков и подозрений. И возможно, именно для того чтобы поддержать это отношение, а заодно спасти репутацию Фаустины, Марк отошел от почти двухсотлетней традиции избрания наследника престола и передал корону тому, кого он таким образом признал своей плотью и

кровью. Во всяком случае, это была плоть и кровь Фаустины. Его уважение к тестю было огромно, и он просто не мог поверить, что кто-то, в чьих жилах течет кровь Антонинов, может быть так порочен. Возможно, он рассматривал Фаустину как явление Природы, а Природа для философа-стоика была высшим авторитетом. Пожалуй, Природа научила его невозмутимости и чувству меры; иначе его жизнь превратилась бы в сущий ад; «Размышления» оставляют за собой, подобно леднику, обломки солипсизма. Зло и жестокость Марк не столько прощал, сколько устранялся от них. Он был скорее беспристрастным, чем справедливым, и его беспристрастность являлась не результатом его умственной беспристрастности, а стремлением его ума к бесконечному; в частности, к пределам самой беспристрастности. Это озадачивало его подданных не меньше, чем историков, ибо история — область пристрастного. И как подданные упрекали Марка за его отношение к гладиаторским боям, так историки нападали на него за преследование христиан. Конечно, можно только гадать, насколько Марк был осведомлен о христианском учении, но нетрудно вообразить, что он находил его метафизику близорукой, а этику неприятельской. С точки зрения стоика, бог, которому вы можете предложить добродетель в обмен на вечные блага, не стоит молитвы. Для человека, подобного Марку, ценность добродетели состоит как раз в том, что она является азартной игрой, а не помещением капитала. По крайней мере, с интеллектуальной точки зрения у него было очень мало оснований благоволить к христианам; еще меньше таких оснований у него было как у правителя, осаждаемого войнами, чумой, восстаниями — и непокорным меньшинством. К тому же он не вводил новых законов против христиан; законов Адриана и Траяна, принятых до него, было вполне достаточно. Очевидно, вслед за своим любимым Эпиктетом Марк рассматривал философа, то есть себя, посредником между Божественным Провидением и человечеством, то есть своими собственными подданными. Вы можете спорить с этим его представлением; но одно совершенно ясно: это была версия с финалом гораздо более открытым, чем Христианство. Блаженны пристрастные, ибо они наследуют землю.

XV

Возьмите белый, охру и голубой; добавьте к этому немного зеленого и массу геометрии. Вы получите формулу, которую время выбрало в этих краях для своей декорации, ибо оно не лишено тщеславия, особенно когда принимает форму истории или индивидуума. Оно поступает так из своего нескромного любопытства к конечному, к своей способности сокращать, если угодно, для каковой оно обладает разнообразными личинами, включая человеческий мозг или человеческий глаз. Поэтому не следует удивляться — особенно если вы родились здесь, — оказавшись однажды окруженным бело-охристой площадью в форме трапеции с бело-голубой трапецией над головой. Первая сотворена человеком (а именно Микеланджело), вторая — дана свыше, и ее вы можете узнать с большей легкостью. Однако ни в той, ни в другой для вас нет никакого проку, ибо вы — зеленый: оттенка окисленной бронзы. И если кучевое белое облако в кислородной синеве над головой все же предпочтительней мраморных икр балюстрады и загорелых тибуртинских торсов внизу, это потому, что облака напоминают вам о древности ваших мест: потому что они, облака, — будущее любой архитектуры. Ты тут простоял почти две тысячи лет, и кому, как не тебе, знать. Возможно, облака, в сущности, — единственная настоящая древность, которая существует, хотя бы только потому, что среди них ты не бронзовый.

XVI

Ave, Цезарь. Каково тебе теперь среди варваров? Ибо мы варвары для тебя — хотя бы потому, что не говорим ни по-гречески, ни по-латыни. Мы боимся смерти гораздо больше, чем ты, и наш стадный инстинкт сильнее инстинкта самосохранения. Звучит знакомо? Может быть, все дело в нашей многочисленности, Цезарь, а может быть, в количестве нашего имущества. Мы, конечно, чувствуем, что со смертью нам предстоит потерять гораздо больше, чем тебе когда-то, даже если ты владел Империей. Для тебя, если я правильно помню, рождение было входом, смерть — выходом, жизнь — островком в океане частиц. Для нас, видишь ли, это все несколько мелодраматичней. Что нас пугает, я полагаю, так это то, что вход всегда охраняем, тогда как выход — свободен. Мы не можем помыслить о превращении снова в частицы: после накопления такого количества имущества это неприятно. Инерция статуса,

я полагаю, или страх стихийной свободы. Как бы то ни было, Цезарь, ты среди варваров. Мы твои настоящие парфяне, маркоманны и квады, потому что никто не занял твое место, и мы населяем землю. Некоторые из нас даже идут дальше, вторгаясь в твою древность, снабжая тебя определениями. Ты не можешь ответить, не можешь благословить, не можешь поприветствовать или утихомирить нас своей вытянутой правой рукой, пальцы которой еще помнят перо, выводившее строки твоих «Размышлений». Если эта книга нас не цивилизовала, кто это сделает? Возможно, тебя объявили царем-философом, именно чтобы уменьшить ее значимость, подчеркнув твою уникальность. Ибо теоретически то, что уникально, — недействительно, Цезарь, а ты был уникален. Впрочем, ты не был царем-философом — ты первый содрогнулся бы от этого ярлыка. Ты был тем, чем тебя сделала смесь власти и пытливости: послесловием к обеим, существом уникально, почти до патологии автономным. Отсюда твой упор на этику, ибо высшая власть освобождает от нравственной нормы, практически, по определению, то же делает высшее знание. Ты получил и то, и другое, заплатив лишь за одно, Цезарь; вот почему ты стал столь чертовски этичным. Ты написал целую книгу, чтобы держать свою душу в узде, приучить себя к каждодневному мужеству. Но к этике ли ты на самом деле рвался, Цезарь? Не неутолимая ли твоя жажда бесконечности побуждала тебя к тщательному самокопанию, ибо ты считал себя фрагментом — хотя бы и крошечным — Целого, Мира, а Мир, как ты утверждал, постоянно меняется. Так кого же ты обуздывал, Марк? Чью нравственность ты пытался и, насколько я знаю, сумел доказать? Неудивительно, что ты не изумлен, оказавшись сейчас среди варваров; неудивительно, что ты всегда гораздо меньше боялся их, чем самого себя, — ибо себя ты боялся гораздо больше, чем смерти. «Не думаешь ли ты, что суть всех зол, неблагородства и малодушия у человека, — говорит Эпиктет, — это не смерть, а скорее страх смерти?»[1] Но ты также знал, что никто не владеет своим будущим, как, впрочем, и своим прошлым. Что все, что предстоит потерять со смертью, — лишь день. когда это случается, точнее, оставшаяся его часть, а в глазах времени — и того меньше. Нахватался-таки у Зенона; ничего не скажешь. В любом случае, ты не позволял перспективе небытия окрасить твое бытие, вселенная впереди или не вселенная. Эвентуальная пляска частиц, считал ты, не должна иметь никакого влияния на одушевленное тело, не говоря о его разуме. Ты был островом, Цезарь, или, по крайней мере, твоя этика была им, островом в первобытном и — извини за это выражение — послебытном океане свободных атомов. И статуя твоя просто отмечает место на карте истории нашего вида, где остров этот когда-то находился: необитаемый, до погружения. Волны доктрины и веры — доктрины стоиков и веры христиан — сомкнулись над твоей головой, объявив тебя своей Атлантидой. Истина, впрочем, в том, что ты никогда не принадлежал ни тем, ни другим. Ты просто был одним из лучших среди живших на этом свете людей, и ты был одержим своим долгом, потому что ты был одержим virtus[2]. Потому что она достигается трудней, чем ее противоположность, и потому что, если бы в основе мира было заложено зло, мир не существовал бы. Некоторые, без сомнения, укажут, что доктрина и вера пришли до и после тебя, но не история определяет, что есть добро. Конечно, время, сознавая свою монотонность, побуждает людей отделить свое «вчера» от своего «завтра». Ты, Цезарь, был добр, потому что не делал этого.

XVII

Последний раз я видел его несколько лет назад сырой зимней ночью в компании бездомного далматского дога. Я возвращался на такси в гостиницу после одного из самых отвратительных вечеров в моей жизни. На следующее утро я улетал из Рима в Штаты. Я был пьян. Машины двигались со скоростью, которой желал бы на собственных похоронах. У подножия Капитолия я попросил шофера остановить, расплатился и вышел. Гостиница была недалеко, и, надо полагать, я собирался продолжить путь пешком; вместо чего я вскарабкался на холм. Шел дождь, не проливной, но достаточный, чтобы превратить прожектора, освещавшие площадь — нет! трапецию, — в шипучие пилюли алка-зельцер. Я спрятался под аркаду деи Консерватори и осмотрелся. Площадь была абсолютно пуста, и дождь ударно изучал геометрию. Вскоре я обнаружил, что я не один: неведомо откуда появился средних размеров пятнистый далматский пес и бесшумно уселся в нескольких футах от меня. Его внезапное общество было так странно утешительно, что на мгновение мне захотелось угостить его

[1] *Беседы Эпиктета*. Перевод Г.Тароняна.
[2] Добродетель, душевное благородство (*лат.*).

сигаретой. Полагаю, это было связано с узором его шкуры; шкура собаки была единственным местом на всей пьяцце, свободным от человеческого вмешательства. Некоторое время мы оба взирали на статую всадника. «Для Природы Целого вся мировая сущность подобна воску. Вот она слепила из него лошадку; сломав ее, она воспользовалась ее материей, чтобы вылепить деревцо, затем человека, затем еще что-нибудь. И все это существует лишь самое краткое время. Для ларца нет ничего ужасного в том, чтобы быть разобранным, как и в том, чтобы быть сколоченным»[1]. Это мальчик прочел в пятнадцать лет и вспомнил тридцатью пятью годами позже. Однако ни эта лошадь не была сломана, ни сам этот человек. Очевидно, Природа Целого была удовлетворена этой формой мировой сущности и отлила ее в бронзе. И внезапно — возможно, из-за дождя и ритмичного рисунка микеланджеловых арок и пилястр — все как бы расплылось, и на фоне этой расплывчатости сияющая статуя, свободная от какой-либо геометрии, представилась пришедшей в движение. Не слишком быстро и даже не прочь отсюда — но достаточно, чтобы собака меня покинула и пустилась вслед за движущейся бронзой.

XVIII

Сколь захватывающей ни казалась бы римская древность, возможно, нам следует быть несколько осторожней с нашей склонностью к ретроспекции. Что, если рукотворная наша хронология — всего лишь самоутешительное заблуждение, способ сокрытия отсталости человеческого сознания? Что, если она только средство оправдания черепашьего шага эволюции вида? И что, если само представление о такой эволюции ложно? Наконец, что, если это доброе старое чувство истории — просто самозащита дремлющего большинства от бодрствующего меньшинства? Что, если наши соображения об античности — лишь выключение будильника? Возьмем, к примеру, этого всадника и его книгу. Начать с того, что «Размышления» не были написаны «во втором веке от Р.Х.», хотя бы потому, что их автор не жил по христианскому календарю. Впрочем, время сочинения этой книги не имеет значения, ибо ее предмет — этика. При условии, конечно, что человечество не испытывает особой гордости за то, что понапрасну растратило пятнадцать столетий, прежде чем прозрения Марка были повторены Спинозой. Возможно, в счете мы сильнее, чем в мышлении, или мы принимаем первое за второе. Почему мы всегда так хотим знать, когда именно истина была произнесена впервые? Разве археология такого рода не является сама по себе указанием на то, что мы живем в заблуждении? Во всяком случае, если «Размышления» — древность, то руинами являемся именно мы. Хотя бы потому, что верим, что этика имеет будущее. Что ж, возможно, нашу способность к ретроспекции и впрямь следует несколько обуздать, чтобы она не оказалась всепоглощающей. Поскольку этика — даже не будучи ничем другим — критерий настоящего, возможно, единственный существующий, ибо она превращает все «вчера» и «завтра» в «сейчас». Она именно та стрела, которая в каждый момент своего полета неподвижна. «Размышления» — не учебник экзистенциализма, и они не были написаны для потомства. И нам не следует интересоваться личностью автора или присваивать ему звание государя-философа: этика — уравнитель; таким образом, автором здесь является каждый. Его представление о долге не может быть приписано царской передозировке, поскольку он не был единственным императором на свете; нельзя приписать императорскому происхождению и его смирение, поскольку мы можем испытывать то же самое, не будучи императорами. Смирение это нельзя объяснить и его философской выучкой по тем же причинам: было слишком много философов кроме Марка, а, с другой стороны, большинство из нас не является стоиками. Что, если его чувство долга и его смирение были в первую очередь продуктом его личного темперамента, расположенности к меланхолии, если быть точным; в соединении, возможно, со старением? В конечном счете существует всего лишь четыре известных темперамента; так что, по крайней мере, меланхолики среди нас могут принять эту книгу близко к сердцу, забыв об исторической перспективе, которой все равно никто не владеет. Что до сангвиников, холериков и флегматиков, то им тоже, возможно, следует признать, что меланхолическая версия этики достаточно удобна для них в смысле восхищения ее родословной и хронологией. Возможно, раз уж нет обязательной стоической идеологизации, общество может выгадать, сделав хотя бы ощутимую душевную склонность к меланхолии необходимым условием для любого, кто стремится обществом этим управлять. В этом смысле демократия дает те же возможности, что и империя. К тому же нам не

[1] *Марк Аврелий.* Наедине с собой. Размышления. Перевод С.Роговина. М., 1914.

следует называть стоическое приятие воспринимаемой действительности смирением. «Бесстрастность» подошло бы больше, учитывая соотношение между человеком и объектами его внимания, или — что, возможно, вернее в нашем случае — vice versa. Песчинка не может смириться перед пустыней; и что в конечном счете хорошо у меланхоликов — они редко впадают в истерику. В общем, они вполне разумны, а «разумное» — как однажды сказал Марк — «есть в то же время и гражданственное». Сказал ли он это по-гречески, дабы соответствовать вашему представлению об античности?

XIX

Из римских поэтов Марк лучше всех знал и любил Сенеку. Отчасти потому, что Сенека, как и он, был человеком испанского происхождения, слабого здоровья и государственного ума; главным же образом, конечно, потому, что он был стоик. Что касается Катулла, Марк, без сомнения, счел бы его слишком страстным и холеричным. Овидий для него был бы не вполне пристойным и излишне замысловатым, Вергилий — тяжеловесным и, возможно, даже подобострастным, Проперций — чересчур одержимым и пылким. Гораций? Гораций с его уравновешенностью и преданностью греческой монодии, кажется, был наиболее конгениальным автором для Марка. Но возможно, наш император считал его слишком изощренным или слишком переменчивым и к тому же неровным: короче, слишком поэтом. В любом случае в «Размышлениях» нет почти никакого следа Горация, нет там, впрочем, следа и величайшего среди латинян — Лукреция — еще одного, кого мы могли бы счесть естественным выбором Марка. Но возможно, стоик не хотел быть подмят эпикурейцем. В целом же Марк, кажется, ориентировался гораздо лучше в греческой литературе, предпочитая поэтам драматургов и философов, хотя отрывки из Гомера, Агафона и Менандра встречаются в его книге вполне регулярно. Если что и делает античность связным понятием — так это объем ее литературы. Библиотека людей вроде нашего героя обычно насчитывала сотню или около того авторов; о другой сотне, возможно, знали с чужих слов. Это и впрямь были добрые старые времена, как их ни назови: античность или как-нибудь иначе. И даже писания, известные понаслышке, все равно ограничивались двумя языками: греческим и латынью. Если бы вы были им, если б вы были римским императором, стали бы вы по вечерам, чтобы отвлечься от забот, читать латинского автора, если б имели выбор? Даже если б автор этот был Горацием? Нет; слишком близко, чтоб отдыхать на этом. Вы бы выбрали грека — потому что им вы никогда не будете. Потому что грек, особенно философ, в ваших глазах обладает большей подлинностью, чем вы сами, ибо он не знал латыни. Хотя бы потому, что он был меньший релятивист, чем вы, считающий себя практически метисом. Так что, если он был стоиком, стоит прислушаться. Стоит, может, даже пойти дальше и самому взяться за стило. Иначе не будешь соответствовать чьему-то представлению об античности.

XX

Бездомный далматин, спешащий за бронзовым всадником, слышит нечто странное, звучащее вроде бы знакомо, но заглушенное дождем. Он слегка убыстряет ход и, догнав статую, поднимает морду, надеясь понять, что слетает с губ всадника. Теоретически для него это должно быть легко, ибо его Далмация была родиной многих Цезарей. Он узнает язык, но не может разобрать выговор:

Не иди по стопам Цезарей и не позволяй себя увлечь: ведь это бывает. Старайся сохранить в себе простоту, добропорядочность, неиспорченность, серьезность, скромность, приверженность к справедливости, благочестие, благожелательность, любвеобилие, твердость в исполнении надлежащего дела. Употреби все усилия на то, чтобы остаться таким, каким тебя желала сделать философия. Чти богов и заботься о благе людей.

Пусть не тревожит тебя будущее! Ведь ты достигнешь его, если это будет нужно, обладая тем же разумом, которым ты пользуешься в настоящем.

Все это обычно в отношении опыта, мимолетно в отношении времени, мерзостно

в отношении материи. Все остается тем же, каким было при тех, которых мы предали земле.

Если боги существуют, то выбыть из числа людей вовсе не страшно: ведь боги не ввергнут тебя во зло...

...ропот по поводу чего-либо происходящего есть возмущение против Природы Целого.

Люди рождены друг для друга. Поэтому или вразумляй, или же терпи.

Мир — изменение, жизнь — убеждение.

Всегда иди кратчайшим путем. Кратчайший же — путь, согласный с Природой.

Каковы по большей части твои представления, таковым же будет и твое помышление. Ибо душа пропитывается этими представлениями.

...любить то, к чему ты возвращаешься. К философии следует возвращаться не как ребенок к своему дядьке, но как страдающие глазами к своим лекарствам, губке или яйцу, другие — к целебной мази или водяному душу.

Дух Целого требует общения.

Лучший способ оборониться от обиды — это не уподобляться обидчику.

Не приносящее пользы улью не принесет и пчеле.

О страдании: если оно невыносимо, то смерть не преминет скоро положить ему конец, если же оно длительно, то его можно стерпеть. Душа сохраняет свой мир силою убеждения, и руководящее начало не становится хуже. Члены же, пораженные страданием, пусть заявляют об этом, если могут.

Важны три отношения: к облегающему тебя телу, к божественной причине, источнику всего случающегося со всеми, и, наконец, к живущим с тобою людям.

Не превозносись, получая, и не ропщи, когда отдаешь.

И потом больше ничего не было, кроме звука дождя, стучащего по плитам Микеланджело. Далматин метнулся через площадь, подобно куску извлеченного из земли мрамора. Он, несомненно, направлялся к античности, и в ушах его звучал голос его хозяина — статуи:

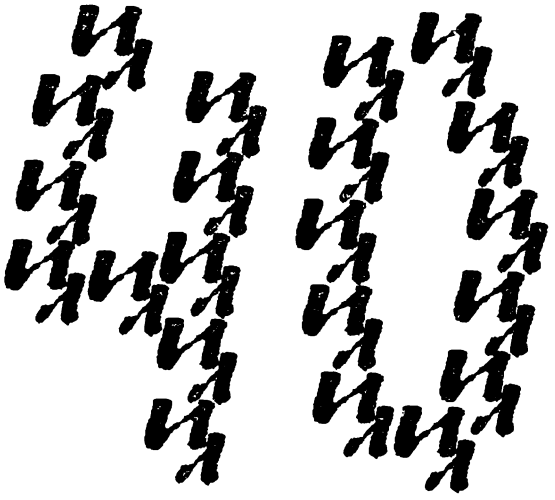
Все равно, наблюдать ли одно и то же сто лет или три года[1].

Авторизованный перевод с английского Е. КАСАТКИНОЙ.

■

[1] *Размышления*. Перевод С.Роговина.

НАМ



АСТ

Юбилейная анкета «ИЛ»

Извечный застольный вопрос «Ты меня уважаешь?» более чем уместен, если вопрошающему стукнуло сорок. Задали этот же, по существу, вопрос и мы. Судя по приводимым ниже отзывам, репутация у журнала добрая. Причем добрая настолько, что нам, случается, приписывают чужие заслуги: некоторые произведения, помянутые в анкете уважаемыми деятелями культуры и политики, увидели свет на страницах других почтенных периодических изданий.

К сожалению, нам удалось опросить далеко не всех, кого хотелось бы. Всем ответившим — спасибо и за то, что оторвались от дел, и за добрые слова.

У «ИЛ» праздник. Была ли когда-нибудь «ИЛ» праздником для Вас?

Михаил АЙЗЕНБЕРГ

Первое знакомство с журналом состоялось еще в то время, когда следовало читать совсем другие книги. Но свежий номер «ИЛ» всегда лежал на журнальном столике в комнате родителей и чем-то неодолимо притягивал. Это притяжение так или иначе длится до сих пор. Постепенно складывался образ новой литературы, очень отличной по духу от литературы советской и даже от того, что считалось тогда современной западной прозой. Культурную работу такого объема трудно переоценить.

Я думаю, что есть состояние, даже более необходимое и драгоценное, чем праздник: ожидание праздника. С таким ожиданием заглядываешь всякий раз в содержание нового номера «ИЛ».

Лев АННИНСКИЙ

Была.

Когда забилось на иглах сердце хемингуэевского героя за мгновение до того, как грянул по нему колокол.

Когда стало ясно, что Киплинг — никакой не колониальный поэт («и нету Востока и Запада нет...»).

Когда читал Гарсиа Маркеса в потрясении, восторге, онемении, не понимая, что это такое.

Андрей БИТОВ

Как-то сложилось, что, не вникая ни в какие принципиальные соображения, я никогда не был читателем периодической печати. Ни в сталинское, ни в оттепельное, ни в застойное, ни в гласное, ни в послеперестроечное время. Никогда не был подписчиком. Читаю время от времени от корки до корки любую газету или журнал любого попавшегося под руку времени. С большим интересом. За все это время я гораздо более привык к устной газете. Улавливаю из чужого мнения, какое могло бы оказаться мое. Как ни странно, безошибочно. «ИЛ» попала для меня в этот устный ряд, наверное, в оттепель. И я доставал журнал уже не по случайности, а по собственной воле раза три в своей жизни, и все три раза это было оправдано. То есть и было праздником. «Над пропастью во ржи», «Бойня номер пять» и, наконец, «Сто лет одиночества».

Каждый раз срабатывала аутентичность, то по причине Райт-Ковалевой, то по причине синхронности. Именно то, что было переведено тогда же, когда опубликовано там, то есть почти тогда же, когда и написано. То есть очень хотелось синхронизировать себя за занавесом с тем, что называется «современной литературой». Таким образом, в подсознании журнал этот назывался, по-видимому, «Современная литература».

По этому поводу вот какой внезапный мемуар. Я жил тогда на Невском проспекте около вокзала. То есть можно датировать концом шестидесятых — началом семидесятых годов. Мои были на даче, я наслаждался одиночеством и был разбужен тревожным звонком. В дверь стучали, ломились, кричали «Спасите!». В квартиру ворвалась девушка прямо с вокзала. Такой у нее был вид. За ней гнались, ее преследовали, ей угрожали. Она боялась выйти. И вот она уже нашла тапочки и чуть ли не принимает ванну, во всяком случае, уже пьет чай со мной на кухне. Писателю тогда предписывалось изучать жизнь. Мы разговорились. Я был поражен ее образованностью, так контрастировавшей с ее внешним видом. «Ой, как у вас много книг», — сказала она. Она оказалась читательницей. Нет, не моей. Советскую литературу она из принципа не читала. На вопрос о том, кто же

ее любимый автор, она ответила без заминки — Анри де Ренье. Девушка с вокзала, достающая Анри де Ренье в издании «Academia», — это восхитило меня.

— Что же вы читали кроме Анри де Ренье? — спросил я.

— Я читаю только журнал «Иностранная литература».

Иосиф БРОДСКИЙ

В моей жизни «Иностранная литература» сыграла роль чрезвычайно значительную. Это было действительно окно в Европу, Америку, Азию, Африку и вообще во все полушария. У меня складывается впечатление, что я через это окно и выпал.

Марк ЗАХАРОВ

Да, это праздник, который всегда со мной. Благодаря вашему журналу я знаю эту фразу. Но говорить об этом стыдно, потому что я читал журнал только с 60-х по 85 год, а потом мой усталый мозг был деформирован водоворотом газет и еженедельников.

Владимир КОРНИЛОВ

«Иностранная литература», конечно, была праздником. В «ИЛ» я прочел Фолкнера, Хемингуэя, Джойса. Без «ИЛ» я всего этого никогда бы не прочел.

Новелла МАТВЕЕВА

Да, была. Это когда я читала в «ИЛ» роман Джона Стейнбека «Зима тревоги нашей».

Юрий НИКУЛИН

Сколько помню себя, столько я общаюсь с книгами, собираю библиотеку. Самое желанное — когда мы получали «Иностранку», может быть, небрежно, но нежно. Журнал был очень интересный. Я впервые познакомился с Чапеком через «ИЛ». Алана Маршалла записные книжки тоже прочел у вас. И очень долго собирал журналы, переплетал. А потом отдал все это в Некрасовскую библиотеку. Потом был печальный период — стали печатать только страны народной демократии. Потом прошел и он. Прекрасный журнал, который должен был читать каждый интеллигентный человек. Пусть здравствует и процветает журнал в наше трудное время. Московский цирк и вся моя семья поздравляют «ИЛ».

Юрий НОРШТЕЙН

Была, в период, когда печатался Маркес — «Сто лет одиночества», и еще, когда в вашем журнале печаталась «В ладье Харона» Дюлы Ийеша. Естественно, когда печатались древние китайские поэты, эссе по искусству.

Булат ОКУДЖАВА

Да, всегда была праздником. Особенно в давние времена, когда я из этого журнала узнавал о новинках западной литературы. Не могу сказать, что в те времена журнал был очень щедр на публикации западной литературы. Но мы прекрасно помним, в какое время мы жили, и мы благодарны и журналу и сотрудникам за их просветительскую деятельность.

Анатолий ПРИСТАВКИН

Во времена, когда существовал «железный занавес», литература серьезная, всемирная была нам мало доступна, и журнал был окошком в свет. Я выписывал «ИЛ» довольно долго. Помню тот необыкновенный случай с пьесой «Носорог», которая была обещана, но снята в последний момент и появилась, видимо, из-за редакторской уловки: сняв пьесу, «забыли» снять оглавление. Многие номера были для нас литературным событием. Был спад, но с приходом Лакшина журнал стал вновь интересным, и мы друг другу передавали номер с «Парфюмером». Дай «ИЛ» Бог здоровья!

Эдвард РАДЗИНСКИЙ

Все время, потому что это было единственное окно в тот мир, и целый ряд вещей мог прийти только из журнала. Сейчас положение будет другое и очень сложное, потому что раньше название «Иностранная литература» вполне оправ-

дывалось. Это была действительно иностранная литература, то есть полузапретная литература: Хемингуэй, Ремарк, Апдайк, переводы Райт-Ковалевой — все это было как бы дозволено и не дозволено, а точнее, дозволялось только «ИЛ».

Евгений РЕЙН

Я последние годы, к сожалению, просто не в силах подписываться на «ИЛ». Но, приезжая в Коктебель каждый год, я беру комплект «ИЛ» и просматриваю все и прочитываю основное. И с радостью вспоминаю время 10 — 15-летней давности, когда я был подписчиком. Для меня, человека, который с трудом читает на английском и не читает на других языках, «ИЛ» всегда была окном в мир литературы и культуры. Остаюсь ее и поклонником, и читателем, и приверженцем.

Лев РУБИНШТЕЙН

Вышло так, что я никогда не был подписчиком «ИЛ». Однако нужные номера всегда доходили до меня и, разумеется, в самом изможденном виде. Доходили не путем вульгарной почты, а «правильным» путем самиздата.

Я и сейчас как бы вижу перед собой залитую кофе и вином обложку с какой-нибудь тошнотворной гедеэровской картинкой, где дядька в якобы синем протягивает тетке в якобы красном рулон с какими-то чертежами. Далее закон жанра требовал долгого, бесконечно долгого перелистывания страниц со стенограммой круглого стола, посвященного актуальным задачам литератур молодых афроазиатских государств, вставших на некапиталистический путь развития.

О, этот неравномерный шелест страниц в нетерпеливом ожидании «В ожидании Годо»! Праздник? Ну, вообще-то да...

Евгений САБУРОВ

«ИЛ» была безусловно праздником в те годы, когда праздников у нас было мало. Праздником была публикация Кафки. Сейчас ситуация изменилась, и, например, от публикации «Портрета художника в юности» вся Москва на ушах стоять не будет. Сейчас сделать всеинтеллигентский праздник значительно сложней. Сейчас приходится сказать так: «ИЛ» довольно много праздников сделала для интеллигенции России. Но это — в прошлом. Как сейчас журнал может сделать праздник, я не представляю.

Лев ТИМОФЕЕВ

Да, много раз в 60-е, 70-е годы.У нас не было другой возможности приобщиться к западной общественной мысли, как только с помощью «ИЛ». Я помню, что мы читали не только романы, повести и стихи, но прочитывали от А до Я хронику культурной жизни, которая была значительно правдивее, чем то, что мы могли извлечь из других современных изданий.

Олег ЧУХОНЦЕВ

Я — старый подписчик. Поэтому, извините за банальность, это праздник, который всегда со мной.

Николай ШМЕЛЕВ

Праздником «ИЛ» была нередко. Все-таки жизнь делилась примерно так: сначала вся традиционная классика, потом долгая жизнь, когда наша литература читалась главным образом между строк, а прямое слово приходило главным образом из-за рубежа. И в том, что прямое слово все-таки доходило, я думаю, огромная заслуга вашего журнала. И если вы, несмотря ни на что, все-таки выживете (как и другие наши толстые журналы), я думаю, в этом случае слухи о нашей общей близкой смерти будут сильно преувеличены.

Сергей ЮРСКИЙ

Была. На меня произвели неотразимое впечатление «Шпиль» Голдинга в переводе Хинкиса, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в переводе Бродского, из последних номеров «История мира в 10 1/2 главах» Барнса, «Волхв» Фаулза, «Любовь в Крыму» Мрожека.

Григорий ЯВЛИНСКИЙ

Да, когда «ИЛ» опубликовала «Немного солнца в холодной воде» Франсуазы Саган.

«ИЛ»: эпоха великих географических открытий

На юбилейных торжествах принято вспоминать о заслугах юбиляра. В качестве орденов и медалей за доблестный труд мы можем предъявить имена писателей, открытых журналом. Конечно, открытия происходили иногда с большим опозданием, да и в самом этом слове применительно к «ИЛ» есть элемент неточности: трудно «открыть», например, Жана Жене, если весь читающий мир знаком с ним уже полвека.

Но как бы то ни было, мы гордимся тем, что в нашем журнале впервые заговорили по-русски

Эмиль АЖАР
Питер АКРОЙД
Микеланджело АНТОНИОНИ
Джон АПДАЙК
Мигель Анхель АСТУРИАС
Антония С. БАЙЕТТ
Джулиан БАРНС
Сэмюэл БЕККЕТ
Иоганнес БОБРОВСКИЙ
Симона де БОВУАР
Т. Корагессан БОЙЛ
Малькольм БРЭДБЕРИ
Том ВУЛФ
Аллен ГИНЗБЕРГ
Хуан ГОЙТИСОЛО
Уильям ГОЛДИНГ
Витольд ГОМБРОВИЧ
Гюнтер ГРАСС
Грэм ГРИН
Эдгар Лоуренс ДОКТОРОУ
Фридрих ДЮРРЕНМАТТ
Жан ЖЕНЕ
Патрик ЗЮСКИНД
Эжен ИОНЕСКО
Кадзуо ИСИГУРО
Константинос КАВАФИС
Бел КАУФМАН
Франц КАФКА
Джек КЕРУАК
Вольфганг КЁППЕН
Дёрдь КОНРАД
Хулио КОРТАСАР
Харпер ЛИ
Робер МЕРЛЬ
Генри МИЛЛЕР
Юкио МИСИМА
Роберт МУЗИЛЬ
Разипурам Кришнасвами НАРАЙАН
Эдвард ОЛБИ
Ян ОТЧЕНАШЕК
Кэндзабуро ОЭ
Октавио ПАС
Тадеуш РУЖЕВИЧ
Сальман РУШДИ
Жан-Поль САРТР
Уильям СТАЙРОН
Том СТОППАРД
Джером Дэвид СЭЛИНДЖЕР
Сью ТАУНСЕНД
Теннесси УИЛЬЯМС
Джон ФАУЛЗ
Макс ФРИШ
Артур ХЕЙЛИ
Воле ШОЙИНКА
Бруно ШУЛЬЦ
Умберто ЭКО
Мирча ЭЛИАДЕ
Кингсли ЭМИС

и многие, многие, очень многие другие ...

МОРИС ВАКСМАХЕР

ВСПОМИНАЯ НАЧАЛО

Пытаюсь вспомнить, как начиналось мое авторство в «Иностранной литературе», и лишний раз убеждаюсь в несовершенстве памяти — во всяком случае, своей собственной. Оказывается, многое забылось, живые подробности стерлись, сквозь пелену прошедших лет проступают лишь отрывочные картины, неясные и размытые. Но кое-что вспоминается все же достаточно четко.

Один из мартовских (или февральских?) дней пятьдесят пятого года. Жил я тогда на Зацепе, возле Серпуховской площади, недалеко от теперешней редакции «Иностранной литературы». Звонит телефон. Слышу в трубке деловитый голос: «Морис Николаевич? С вами говорит Тамара Лазаревна Мотылева. Я прочла вашу статью в «Знамени». Хочу предложить вам сотрудничество в нашем журнале».

Мотылева спрашивает, не возьмусь ли я подготовить для первой книжки журнала большой ролланов ский материал. Я, разумеется, с радостью соглашаюсь.

Полгода назад я вернулся домой, в Москву, после трех лет преподавательской работы в Читинском пединституте. Штатной службы в Москве не нашел, да и с нештатной литературной работой пока что негусто. С Тамарой Лазаревной я незнаком, но, конечно, знаю ее литературоведческие труды, знаю, какое прочное место в круге ее интересов занимает творчество Ромена Роллана. А в январском номере «Знамени» за 1955 год напечатана моя статья о Роллане. Потому и попал я в поле зрения Т. Мотылевой, члена редколлегии только что созданного журнала, в котором она возглавляет отдел критики.

Приезжаю в редакцию. Она находится на улице Воровского, разместилась в нескольких маленьких комнатках во дворе Союза писателей в левом флигеле знаменитого «Дома Ростовых», по соседству с иностранной комиссией. В редакции тесно и шумно, из комнаты в комнату снуют сотрудники, о чем-то спорят, что-то обсуждают. Я еще никого здесь не знаю — тех, с кем плечом к плечу предстоит мне как переводчику стихов и прозы, автору статей, нештатному референту по современной французской литературе долгие годы работать в «Иностранке». Вскоре я начну бывать в редакции часто, чуть ли не ежедневно, познакомлюсь с Николаем Николаевичем Вильмонтом, Саввой Артемьевичем Дангуловым, Борисом Исааковичем Розенцвейгом, Софьей Павловной Черниковой (с главным редактором Александром Борисовичем Чаковским я, кажется, познакомился много позже и дел с ним впрямую не имел), с молодыми сотрудниками редакции — Татьяной Ланиной, Алексеем Словесным, Изабеллой Зориной, Татьяной Карповой, Николаем Прожогиным, Владимиром Смирновым, Татьяной Левченко, Лорой Харлап и многими другими.

Но это произойдет несколько позже. А сейчас я спрашиваю в дверях, как мне найти Т. Мотылеву, и прохожу в одну из редакционных клетушек, где стоит ее стол, а окно выходит на крохотный внутренний дворик.

Мотылева коротко излагает мне суть моего первого журнального задания. В многочисленных вышедших за последние годы во Франции дневниковых и эпистолярных сборниках Р. Роллана я должен найти материал, интересный для публикации в «Иностранной литературе». Но самое главное не это. Центральное место в готовящейся публикации займут фрагменты из ролланов ского «Дневника военных лет» за 1914 — 1919 годы, произведения весьма объемистого, состоящего из трех десятков «Тетрадей» и представляющего собою, как обозначил в подзаголовке сам автор, «Заметки и документы к нравственной истории Европы этого времени». Оттуда тоже надо отобрать материал, потом все отобранное из книг и из рукописи «Дневника военных лет» перевести и снабдить лаконичными примечаниями. Работа непростая, ответственная, к тому же более чем срочная: первая книжка журнала должна выйти в свет в июле этого же, 1955 года. (Если бы я с самого начала представил себе всю сложность этой работы, помноженную на ее крайнюю срочность, я бы, возможно, дрогнул и отказался. Но за какую махину я взялся, до меня дошло лишь тогда, когда отступать было уже поздно...)

О ролланов ском «Дневнике военных лет» я слышал много интересного, о нем в конце 1954 года писали все наши газеты, но я никак не мог предположить, что вскоре буду держать его в руках.

Дело в том, что машинописные экземпляры этой рукописи Р. Роллан поместил на хранение в несколько крупнейших библиотек Европы и США, и в их числе — в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина в Москве. Согласно воле писателя, 1 января 1955 г. пакеты с рукописью «Дневника» были во всех этих книжных хранилищах вскрыты. Естественно, что новый журнал захотел быть в числе первых, кто познакомит своих читателей с этим документом эпохи, тем более что журнал и был создан для того, чтобы заниматься художественной литературой и писательской публицистикой нашего века. Редакции надо было действовать как можно оперативнее и быстрее, чтобы нас не успели опередить другие журналы.

Помню, как в отделе рукописей Ленинской библиотеки мне одну за другой (разумеется, без права выносить их из комнаты) выдавали папки с машинописью, испещренной характерным ролановским почерком, с авторскими уточнениями, поправками, вставками. Помню охватившие меня чувства: робость, растерянность, исследовательский азарт — перед этим колоссальным и бесценным пластом европейской культуры и самой жизни, чувство ужаса при виде этой не перестающей кровоточить трагедии, при виде страданий и гибели миллионов людей, вступивших в чудовищную схватку на полях Европы. Снова ощутил я безмерное уважение к автору «Дневника», к великому гуманисту, взвалившему на свои плечи огромный труд, неблагодарный и благородный, который он посчитал делом своей совести и писательской чести, — противопоставить истерии обезумевших толп, свистопляске шовинистической пропаганды обеих воюющих сторон достойную и трезвую позицию Разума, возвысить свой голос в защиту человеческой жизни на Земле.

Психологически для меня оказалось неожиданно трудным из этого материала что-то выбрать. Ведь когда из огромного целого выбираешь какую-то часть, неизбежно делаешь это за счет других кусков и фрагментов, и они в результате оказываются за бортом. А мне в «Дневнике» было интересно буквально все; каждая страница, казалось, должна была быть немедленно опубликованной. На чем остановить свой выбор? Читаешь очередную «Тетрадь», какая-то запись или приведенный Ролланом документ кажутся поразительно яркими, звучат удивительно современно, но через несколько страниц — или уже в другой папке — натыкаешься на новый кусок, близкий первому по теме, и он тоже прекрасен, даже, быть может, ярче, чем первый... Какой же из них выбрать?

Переполненный сомнениями, я приходил в редакцию, советовался с Т. Мотылевой, с Н. Камионской. Так начинали постепенно вырисовываться контуры будущего состава.

Странно, мне никак не удается вспомнить, какой была сама техника этого отбора. Переписывал ли я тут же, в отделе рукописей библиотеки, какие-то страницы от руки? Или ограничивался кратким реферированием каждой «Тетради», перечнем фактов, проблематики, имен — и уже это обсуждалось в редакции? Но в обоих случаях — как готовился самый текст, французский текст для перевода? Ведь ксерокса тогда не существовало, отобранные из «Дневника» материалы требовалось перепечатывать на машинке. Как это делалось? Хоть убей — не помню. Знаю лишь, что над переводом работал, обложившись грудами всевозможных справочников и словарей, в читальных залах Ленинки и Разинки, а также и дома, засиживаясь нередко чуть ли не до утра.

С признательностью вспоминаю Наталью Оскаровну Камионскую. Передо мною встает ее умное живое лицо, проницательные глаза , белоснежная седина. Редакция «ИЛ» привлекла ее в качестве внешнего редактора мне в помощь. Человек огромной эрудиции и тонкой филологической культуры, со знанием многих языков и с большим опытом журнальной работы (она сотрудничала еще в довоенной «Интернациональной литературе»), Наталья Оскаровна оказалась (теперь я это особенно понимаю) идеальным редактором. Н. Камионская всегда доброжелательно и тактично помогала мне и при отборе материала, и в стилистической отделке перевода. Сейчас-то я понимаю, что очень многого тогда еще не знал и не умел, что был еще очень зелен профессионально и что Наталья Оскаровна, щадя мое самолюбие, находила всякий раз верный тон и подсказывала нужное решение...

Время летело катастрофически быстро, работы было по-прежнему невпроворот, и даже тогда, когда, казалось, все уже было сделано, всякий раз возникали — то у отдела проверки, то у редакторов, то у меня самого — какие-то новые вопросы, появлялась необходимость уточнить еще какую-то дату, написание еще какого-то имени, и приходилось для этого вновь и вновь поднимать горы справочной литера-

туры. Дело, конечно, житейское, но для меня все это было впервые, и я нервничал.

Но вот мы держим его в руках, нашего первенца. На обложке по синему с голубым фону белые буквы: «*ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА*», в нижнем правом углу — большая черная *единица*, черными буквами «*июль*» и — синим по голубому — год «*1955*». Журнал родился.

И теперь, почти 36 лет[1] спустя, он снова передо мной, тогдашний новорожденный, нынешний ветеран. Листаю уже порядком затрепанную книжку, вглядываюсь из сегодняшнего дня, из начала девяностых годов, в напечатанные в ней материалы, стараюсь оценить их нынешними глазами. Оказывается, это тоже непросто. Только что сетовал на то, что никак не удается вспомнить в деталях, как все начиналось, — теперь не могу отвлечься от своего тогдашнего ви́дения, от тогдашнего своего, середины 50-х годов, восприятия культурной жизни в стране и мире, отвлечься от того, какими тогда виделись мне (даже, пожалуй, осмелюсь сказать «нам») писатели и произведения, с которыми журнал знакомил читателя в первых своих номерах. Одно ви́дение накладывается на другое, общая картина из-за этой интерференции смазывается, испещряется рябью, дрожит, как на экране ненастроенного телевизора. Но настроить телевизор все-таки надо.

Несомненно, на всем, что помещено в июльской книжке «ИЛ» 1955 года, лежит печать времени — того времени, когда в воздухе уже начинало веять ветрами приближавшейся оттепели, но прежние стереотипы общественного и индивидуального сознания были еще сильны и живучи (сказал это и подумал: а не сильны ли они и живучи еще и сейчас?..). Это касается прежде всего материалов, подающихся в № 1, 1955 г. анонимно, — редакционных обращений к читателю, вступлений, сопроводительных справок и врезок. Особенно наглядно проявляется это в терминологии, в политических и литературоведческих штампах, в навязших в зубах клише, идущих из недавних сталинских времен, из «Краткого курса», из «основополагающих трудов великого вождя и корифея науки» по вопросам языкознания, эконо́мических законов социализма в СССР и т.п., и т.д. Та же печать времени ощущается — в меньшей степени, но ощущается — и в отборе зарубежных произведений и авторов, представленных в первом номере журнала, в том числе в отборе фрагментов из роллановских писем и дневников. Весьма отчетливо помню, как, читая в библиотеке тетрадь за тетрадью «Дневник военных лет» и восхищаясь едва ли не каждой записью Роллана, а затем переводя на русский отобранные фрагменты, я то и дело опасливо поглядывал на сидевшего во мне «внутреннего цензора»; подсознательная опаска привычно заставляла меня следить, не скривилась ли его казенная физиономия от еще одного упоминания французским писателем имен и фактов, которые десятилетиями были у нас под запретом, не наливаются ли чиновничьи щеки румянцем праведного гнева при роллановских рассуждениях, чересчур еще вольных для той поры.

За школьные годы, за годы студенчества, учительства в школе, аспирантуры и вузовской работы эта боязнь въелась в меня достаточно глубоко, я тогда еще просто не умел писать и говорить о литературе по-иному. Еще долго в своих статьях и рецензиях делил я писателей Франции на «прогрессивных», «реалистов» (немного позже — уже «гуманистов») — и противостоящих им «реакционных», «формалистов» и прочая, и прочая, и исходил при этом не столько из рассмотрения их эстетических устремлений, из анализа их творческих удач или неудач, сколько из оглядки на то, кем они числятся в наших табелях о рангах в зависимости от их философских воззрений, от их отношения к марксистским догмам, от их участия или неучастия в Сопротивлении (а в случае участия еще и от того, к какому именно Сопротивлению они примыкали, коммунистическому или деголлевскому) и, конечно, от их высказываний о политике советского руководства. И в моих предисловиях еще звучал доктринерский и поучающий тон, когда речь шла о мастерах (Ф. Мориаке, А. де Сент-Экзюпери или Рене Шаре), не вмещавшихся в наши убогие схемы.

И все-таки я не считаю, что за все, напечатанное в июльском номере «Иностранки» пятьдесят пятого года, журналу, его сотрудникам и авторам надо краснеть.

Нет, не в угоду (или, во всяком случае, не только в угоду) тогдашней политической и общественной конъюнктуре были помещены в этом номере повесть Анны Зегерс, роман Роже Вайяна, стихи Арчибальда Маклиша, пьеса Жан-Поля Сарт-

[1] Эта статья была написана Морисом Ваксмахером в 1991 году. (*Прим. ред.*)

ра, стихотворения и публицистика Уолта Уитмена и те же, при всей их усеченности, роллановские материалы. Журнал и в последующие годы знакомил читателей с литературой настоящей, сильной, добротной, с зарубежными писателями первого ряда — притом что многие большие, всемирно известные писательские имена из года в год неизменно выпадали из журнальных планов и публикаций. И хотя рядом с истинными мастерами литературы к читателям «ИЛ» нередко приходили произведения литераторов, не только не делавших погоды в литературе, но просто незнакомых в своих странах, — все же, думаю, почти каждая книжка «Иностранки» оказывалась для нашей культуры открытием еще одного крупного, иногда великого мастера XX века. Уильям Фолкнер и Эрнест Хемингуэй, Пабло Неруда и Поль Элюар, Халлдор Лакснесс и Жоржи Амаду, Жак-Стефен Алексис и Эрих Мария Ремарк, Натали Саррот и Франц Кафка, Эжен Ионеско и Робер Мерль, Грэм Грин и Альберто Моравиа приходили к нам — зачастую впервые — со страниц «Иностранной литературы». За их произведения не надо краснеть и сейчас, в пору снятия литературных запретов по внелитературным мотивам. Правда, листая номера «Иностранки» за ее первые годы, ощущаешь неловкость, натыкаясь на оговорки и оправдания, какими зачастую обставлялась тогда публикация этих прекрасных произведений...

Если же вернуться к тому, с чего я начал эти заметки, то разве в текстах Р. Роллана из первого номера «ИЛ» пятьдесят пятого года не поражает нас их сегодняшняя актуальность, разве не пронзает нас ощущение, что автор «Жана-Кристофа» и «Кола Брюньона» обращается непосредственно к нашему времени, даже порой прямо и к нам, удрученным нашими нынешними бедами?

В 6-й тетради «Дневника военных лет» (1915 г.) читаем: «...Эта война, все поставившая под вопрос, перевернула вверх дном все моральные ценности. Одним из самых печальных открытий, которые она заставила меня сделать, является то, что умы, вскормленные традициями Великой революции, стали ныне злейшими врагами свободы. Свобода!.. У них всегда на устах ее имя, но это — имя кумира, чьими фанатическими служителями они являются. Мы это уже видели у наших радикал-социалистов. Было бы упрощением рассматривать Францию как страну Революции. Революция, реакция — старые знамена войн XVIII и XIX веков. Сегодня идеал человечества стал выше и революционеры, которые не сдвинулись с места, остались позади, стали реакционерами, сами того не ведая. Словами будущего должны стать «терпимость», «человеческое братство» — невзирая на различие учений и верований. Пусть каждая страна, пусть каждый человек будут свободны думать так, как они хотят! Но пусть они протянут друг другу руки, взаимно признавая за другими это же право! Кто считает, что он служит свободе, желая навязать ее другим, тот клерикал наизнанку и враг свободы...» («Иностранная литература», 1955, № 1, с. 140-141.)

Н.ТРАУБЕРГ

ТЕПЛОЕ ЛЕТО 1955 ГОДА

Сорок лет тому назад появился журнал, который вы сейчас читаете. Даже такая простая фраза — уже полувранье: можно сказать, что тогда воскресла «Интернациональная литература». Собственно, мы сами, довольно молодые филологи, воспринимали это именно так. «Интернациональную» мы прочитали вдоль и поперек, каких-то писателей знали только оттуда, а любили почти всех. Наверное, не надо объяснять, почему во времена Бабаевского радовались чему угодно, только бы «другому». Кстати, теперь, когда многие мечтают о сплошной душеполезности, я вспоминаю те годы. У меня у самой старомодные вкусы, но в падшем мире не бывает культуры, у́же — словесности, похожей на тогдашнее кино: зачем ставить много средних фильмов, не лучше ли просто штук пять, но безупречных? Честное слово, это было, и не только от советского злодейства. Вернее сказать, где есть «это», до злодейства недалеко.

Но я отвлеклась, отчасти — для того чтобы не писать воспоминаний. Именно с этой статьей я поняла окончательно, что это невыполнимо. В стихах — пожалуйста (не мне, конечно, да я их и не пишу), в музыке — тем более, в прозе вроде музыки или стихов — очень возможно, хотя кто его знает. А просто вот так — нет, нельзя. Врать

будешь на каждом шагу, по разным причинам. Самые грубые вынесем сразу за скобки: наш несчастный «селф-имидж» неуклонно полезет в текст, мало того — в центр, и еще спасибо, если он не обрастет чужими похвалами, как в одном рассказе Тэффи. Хорошо, простейшие страсти мешают увидеть себя — ну и не пиши о себе, пиши о других. А как? Что мы о них знаем? Какие-то обрывки действий и фраз, которые исказила память? Это бы еще ничего, хотя тут нужно простодушие, малодоступное книжному человеку; но ведь любой человек, видит он это или нет, как-то все толкует — и непрестанно ошибается, по пристрастию и по неведению.

Все эти опасности гораздо меньше, если мы привыкли корректировать пристрастность. Как странно, что теперь почти все поголовно — люди суровые и церковные, а таких простых вещей то ли не знают, то ли к себе не относят! Но это другая тема, не для статей; что же до задач «литературных», прошлое легче было бы описать в аллегории, притче, миракле — но тогда надо отменить книгопечатание. Даже в самиздате и то получалось как-то жутко. Вот еще одна тема, и я бы хотела в ней разобраться.

Наконец, неведение. При любом, простите, «духовном опыте», мы не знаем о человеке почти ничего. Здесь я выхожу за пределы статей, но к теме этой статьи приближаюсь.

Начинался (или возрождался) журнал. Из лагерей возвращались друзья, пели «По тундре» и «Централку», читали «Доктора Живаго», которого Борис Леонидович давал буквально всем, кто приедет. Естественно, и само лето было прекрасным, как в его ранних стихах; но рассказать об этом мог бы только стихотворец (см.выше). Что делать, если пишешь статью?

Когда я стала ее писать в первый раз, я прекрасно знала все, что тут написано, и тем не менее попыталась рассказать об одном человеке, о Николае Борисовиче Томашевском. Может быть, кому-нибудь поможет то, что я сейчас скажу, а именно — ничего не вышло. Поможет вот как: мы снова подумаем об особенностях человеческой памяти и человеческого суждения, не говоря уже о суде. Остаются мифы в бытовом смысле слова, то есть вранье, мифы в научном смысле — но тогда надо писать хотя бы повесть, и, наконец, обрывочные сообщения с условными выводами. Видимо, это они и есть.

Когда начинался или возрождался этот журнал, нескольким людям сказали, что они будут в нем работать. Я не помню, кто был первым редактором, но для нас, незадолго до этого впервые напечатавших свои переводы, все связывалось с Николаем Николаевичем Вильмонтом, которого мы хорошо знали в жизни, а на уровне «молодых» — с Николаем Борисовичем Томашевским.

Николай Борисович был филологом-романистом. Примерно тогда же в университетах возникли странные отделения — испанское и итальянское, отдельно от французского. Мы, приехавшие в 1955 году из Ленинграда, где уже не было для нас работы, кончали романо-германское отделение, и еще спасибо, что мне удалось плохо знать немецкий, ему — английский. О том, что можно быть италистом или испанистом и не знать французского, никто из гордых питерских филологов и не догадывался.

К тому времени Николая Борисовича уже признали ученым. Занимался он Италией и Испанией, больше Италией. Еще в университете ему пророчили будущность крупного филолога, именно филолога, а не «литературоведа», тем более не лингвиста. Сам он, однако, перестал об этом мечтать к 1949 году, когда стало ясно, что жизни нет и, видимо, не будет. Через несколько совершенно чудовищных лет она началась снова — мы это очень сильно ощущали, но сил для «чистой науки» уже не было. Зато появилось какое-то неудержимое культуртрегерство. Мы не только хотели, чтобы тот или иной любимый писатель заговорил по-русски, но и стали чем-то вроде проповедников. Думали мы об этом еще возвышенней, говорили на том языке, который возвышенность исключал и требовал иронии.

Лидия Яковлевна Гинзбург, близкая к Колиной семье, пишет где-то между прочим, что в какой-то редакции с ней работали интеллигенты, демократические и не-демократические (второе слово я пишу потому, что забыла ее термин). Тогда это разделение ощущалось очень сильно; мне кажется — в несчастном и гордом Питере сильнее, чем в Москве. Первым и определяющим признаком был язык. Интеллигенты второго типа, соседствующие и с «обломками империи», и с богемой, говорили немного насмешливо, прежде всего — о себе. Буквально все ос-

тальные то смеялись: «Уж вы скажете!», то просто не понимали. Манера эта, сама по себе небезопасная (очень легко перенести ударение на других, и выйдет злая глумливость), защищала от многого, тем более что советский язык развивался в прямо противоположном направлении. Коля Томашевский, насколько я помню, не сказал на советском языке ни единого слова.

К 1955 году Колю я знала больше двадцати лет. Правда, общались мы только десять, с осени 45-го, когда он пришел в Ленинградский университет, а вот с 34 — 35-го я о нем слышала от нашей общей учительницы французского, которую называли Мариос (а звали Мари Жозефовна). Вероятно, ему она хвалила меня или кого-нибудь еще, но мне говорила, что очень хороший мальчик Кука Томашевский все знает и к тому же любит Наполеона. Она была бонапартистка, а я — непротивленец и военных вообще не любила, причем считала, что так и получается по-Божески. Учили меня этому не толстовцы и не светские гуманисты, а нянечка и мамины родители, традиционно православные.

Отсюда нетрудно вывести, что мы были барские детки. Не костры и не дворы, а какие-то француженки. Тут возражения два: во-первых, классических питерских ученых и полупривилегированную богему можно назвать барами только в противопоставление дворам и кострам. Во-вторых, каждый из нас в разное время, но оба лет в двенадцать, попытался это скрыть или покаяться, но не преуспел. Разница между нами в том, что у Коли рецидива не было. У меня — был, именно в те годы, когда мы учились на филфаке, а у него — ни в малейшей мере.

Этому способствовало и то, о чем я пыталась недавно писать в предисловии к одним мемуарам. Автор их, принадлежавший к тем самым денди, которых посетил Блок, доказывает, что юный Стенич все выдумал, они были очень приличны. Может быть; но в блоковском очерке, как и в страшных «Мальчиках и девочках» Зинаиды Гиппиус, описан вполне узнаваемый дух. Какие книжки ни возьми: трезвые воспоминания Елены Георгиевны Боннэр, невыносимые записки о Цветаевой в Болшеве, — мы видим несчастного, исковерканного мальчика, такого русского блумсберийца, который, к довершению бед, еще и не вправе писать как пишется. Денди конца 10-х хоть переводили потом лет пятнадцать, а писательские дети 30-х — кто как. Чаще всего они погибали — Георгий Эфрон, Всеволод Багрицкий, Володя Никитин, брат Михаила Козакова. Именно с Володей дружил Коля и с другим денди, совсем уж прекрасным — Кириллом Мариенгофом. Тот покончил с собой.

Из-за очень маленькой разницы в возрасте я услышала о них только в 1945 году, от Коли. Судя по его рассказам, они вообще не пытались подстроиться к миру парашютов и футбола. Как бы то ни было, без них на несколько лет блумсберийцы исчезли, остался один Коля. Теперь они есть, сколько хочешь, и давно, только не такие трагические, а может быть, в семидесятых — такие? Не знаю, слишком уж их стало много, могли друг другу помогать.

Наверное, Коля был самым приятным из всех наших студентов. Он пил много пива, читал стихи, играл в теннис, какое-то время с Пуниным ходил в балет, какое-то время — с Матвеем Гуковским (оба сели; а самое перечисление занятий скользит от уютности все к тому же барству). Конечно, мы еще и учились, мало того — мы это очень любили, и учили нас люди неправдоподобные: Жирмунский, Шишмарев, Смирнов, Кржевский, не говоря о русистах. Но сейчас я думаю о другом. Коля уже не пытался каяться в своей чужеродности, хватило ума; однако именно поэтому он впал в печаль, из которой так и не вышел. Нельзя остаться нормальным тому, кто жил в те годы. Все — калеки, но самые умные — в своем, особом духе, и спасибо, если они спасались питьем.

К 1955 году Коля был старше меня не на четыре года, а лет на сорок, хотя мой рецидив давно прошел. Август я провела у них в Гурзуфе. Сам он приехал позже, другие — кто когда, а все время там жила двоюродная бабушка его жены, Цецилия Львовна, с кошкой Ведьмой. О ней можно с ходу написать сказку. Посудите сами: сестра ее, Ада Львовна, уехала когда надо, осела в Швеции и преподавала музыку, кажется, детям короля. Циля с кошкой жили под Пермью, называвшейся тогда иначе. Примерно в 54-м Ада нашла и вызвала Цилю через Красный Крест и того же короля, Циля бросила Пермь, взяла кошку и ждала в Гурзуфе последних разрешений. Она их дождалась и просидела с Ведьмой сорок дней в карантине — то ли Ведьма там сидела, а она к ней ходила.

Однако это было позже, а в августе, среди разноцветных роз, Циля слушала наши прожекты. В журнале, где работал Коля, мы собирались напечатать Лорку, Пиранделло, Честертона и еще кого-то. Кстати, я переводила там «Донью Роситу», что очень подходило к розам. Все это мы напечатали, но не в журнале, а в Гослите.

Причины описать нельзя, потому что я обижу человека, тогда — важного, теперь — старого. Зато можно воспеть свойство, которое у Коли было, а у этого человека — не было. Перевалив за тридцать, Коля старел и мрачнел, мало во что на свете верил, едва спасался друзьями и питьем, семьей и стихами, но не терял учтивости. Сейчас мы говорим о всяких «нравственных коллапсах», об утрате нравственных навыков, — но очень многое можно обобщить словами вроде «грубость», «хамство», а там и «жестокость», «беспощадность».

Даже теперь, когда гораздо меньше истерической злобы, никто не лезет, никто тебя не учит, все-таки швыряют дверь перед идущим сзади, отталкивают, идут без очереди. Очередей, в сущности, нет, но они идут в церкви, к исповеди! Это очень загадочно. Казалось бы, главной причины — выгадать время — тут быть не может, все равно достоишь до конца. Нет, идут, и без того оправдания, которое было у кричащих и учащих, но ведь совершенно растоптанных женщин. Исчезает или исчез условный, знаковый альтруизм. Дети в верующих семьях часто и не догадываются, что он как-то связан со странными, возвышенными словами, словами, которые они так часто слышат.

Никак не церковный, смутно-верующий Коля был в гораздо лучшем положении: он знал, что ничего не знает, и применял к себе слова мытаря. Что же до мелких поступков и неотделимых привычек, можно вспомнить, что кто-то назвал любезность и учтивость «Нагорной проповедью для бедных». Скорее для богатых — тех, кто решил легко отделаться; но суть ясна. Хоть веди себя так, как будто ты всех почитаешь! Коля себя так вел. Много лет я видела, что он стоит, пока не сели все. У него уже нога отваливалась, ее собирались отрезать (диабет), а он не сдался.

Мудрый Честертон, которому удалось не впасть при этом в печаль, писал об учтивом короле Карле II: «Такая безупречность в мелочах полезна для души и для общества. Десяти заповедей он вспомнить не мог, десять тысяч — выполнял. Имя его [...]связано с множеством действий, исполненных той благородной учтивости, той трогательной деликатности, которая обитает на неясной границе между искусством и нравственностью. [...] В отличие от Георга IV он был джентльменом, а джентльмен — это человек, повинующийся странным уставам, которых нет ни в одной книге, и верный добродетелям, которых еще никто не назвал».

Значит, не назовем и мы, но многие поймут, что́ мы имеем в виду, ведь даже те, кто поступает иначе, очень хотят, чтобы так поступали с ними. Поневоле думаешь, что в наведении мостиков через топи действует тот же закон, о котором пишет апостол Павел: самое важное делают далеко не правильные люди. Для христиан это трюизм; мало-мальски мирское сознание этому противится. Так хочется выделить сильных, победительных, правильных и причислить к ним себя! Пожалуйста — но тогда окажется, что именно у тебя все рассыпется прахом.

Закон этот действует только в одну сторону — слабость не гарантирует победы. Да, с христианской точки зрения слабый и жалкий лучше сильного тем, что он слаб и жалок — но и только. Привычная подтасовка нашего времени, благодаря которой любой маргинал приравнивается к юродивому и святому, исключительно опасна. Но я отвлеклась.

Наверное, многие благодарны Коле; да я это и слышала, когда прошлой весной в Союзе писателей собрались на его семидесятилетие и несколько учеников (не при нем, он уже умер) рассказывали, насколько это было им важно. Коля дотянул до них не только память о книгах, но и особенную жизнь, где люди друг друга щадят, не лезут вперед, не ищут своего.

Я — в опасной близости к новозаветным определениям любви. Что поделаешь! Когда пишешь о прошлом, главная правда — «только жалость и стыд», но ведь еще и благодарность — не за события, а за людей, а значит, любовь к ним. Рассказать об этом нельзя, но именно здесь сошлись бы и ожили обрывки полуправд. Не только италисты помнят про солнце и светила. Но это уже Бог знает что, и дальше писать не стоит.

БОРИС ДУБИН

ЯЗЫК ДРУГОГО

Среди книг у меня дома (моих, но, если говорить словами Борхеса, обо мне и знать не знающих) есть десятка четыре конволют, сброшюрованных из журнальных публикаций. Дюжина их — из «Иностранной литературы» (еще столько же отдельных номеров «ИЛ», вместе с дюжиной выпусков, увы, оборвавшейся книжной библиотечки, хранятся целиком). Каких-то номеров (скажем, с Милорадом Павичем или Симоной Вайль) не сумел в свое время достать и брал у друзей и в библиотеках, какие-то вещи прочел уже в книгах, что-то раздарено, потерялось, растворилось само собой, но даже по объему это оставшееся в несколько раз больше, чем из любого другого журнала.

Дело, однако, не только в этом. «Выдирки» из других изданий — «Нового мира» или «Невы», «Родника» или «Искусства кино» — урожай двух-трех сравнительно недавних, но уже отошедших в историю лет журнального бума (а до того я никаких журналов просто не выписывал). Лишь из «Иностранной литературы» они собрались за четверть века, с университетских времен; за столько же лет скопились, но в меньшем объеме, разве что «Вопросы философии» да «Вопросы литературы» (а у кого-то это будет, видимо, «Новый мир»; кроме них, к этому диагностическому перечню журналов эпохи прибавить, кажется, нечего). Здесь — назову наудачу то, на чем мои самодельные тома просто раскрылись под рукой, — североамериканцы от Фолкнера и Хемингуэя до Беллоу и Генри Миллера и латиноамериканцы от «Ста лет одиночества» до «Книги Мануэля», англичане от Голдинга до Джойса и японцы от Кавабаты до Мисимы; Камю и Кафка, Хименес и Рильке, Зингер и Агнон, Кундера и Боровский...

Не об индивидуальных пристрастиях речь. Тем более что ничего редкостного в моих, думаю, нет, и если кто-то из сверстников или старших коллег назовет какие-то другие, свои имена, то все-таки наши списки вряд ли разойдутся в корне. Об этом и разговор. О времени, которое в таких вот общих именах и книгах сказалось. О роли журнала в это время, верней — в этом времени и для этого времени, а значит, и для последующего, включая нынешнее. Об уровне журнала и о его устойчивости в смене лет (кстати, «ИЛ» и после золотого века «гласности» утратила читателей куда меньше, чем другие толстые журналы, и новой культурной ситуацией не была до такой, как они, степени перепугана и парализована).

Можно — разумеется, очень бегло и с пережимом — представить 60-е годы, сведя, допустим, в три колонки оглавления трех тогдашних журналов — «Нового мира», «Юности» и «Октября», а 70-е — «Нашего современника» и «Дружбы народов» (80-е годы, если не брать эмиграцию, уже не журнальные). Никакой особой хитрости тут не нужно: для очевидцев эта хроника напрашивается уже как бы сама собой (хотя никем, кажется, так и не составлена). А вот «Иностранку» в подобной расстановке сил поминают, на мой взгляд, редко. И зря. Ее воздействие, круг ее читателей значили тогда и значат сейчас, думаю, не меньше. Она давала и дает, вносит в нашу жизнь (в самом широком, культурологическом смысле слова) ДРУГОЕ, исподволь нас к этому ДРУГОМУ приноравливая и приучая быть к нему внимательными. К ДРУГОМУ во всем, начиная с фонетики имен и непривычности реалий: в воссоздаваемом обиходе вплоть до его полузаметных, «фоновых» мелочей в поступках героев, в их словах и молчании, в мотивах и ориентирах их действий, в окружающих их вещах и принятых оценках, во всем отношении к миру и к себе, в складе авторского письма, поступи и метафорике стиха, в эстетике как таковой, да мало ли в чем еще...

Перевод, тем более современной, словесности — вообще занятие странное, парадоксальное. Переводчик одержим тем, чего в его собственной литературе (а формируется и живет он ею, пластами ее истории и сиюминутной энергией, словесной оптикой и речевой ухваткой, музыкой и смыслом материнского языка) нет, но что он, переводчик, тем не менее как-то предощущает и к чему со счастливой тоской тянется. Каким способом он может чувствовать то, чего вроде бы нет, какими средствами надеется это в своей родной литературе создать и передать тоже пока еще несложившемуся, незримому читателю, — непонятно. Могут сказать, что на этой невидимой черте, на рубеже незнакомого и незаменимого, на грани между нереальным и предвосхищаемым, распыленным и собранным (образом, словом,

собою) искусство и существует. Возражать не стану: наверное, так. Но, может быть, в переводе это особенно явно и ощутимо. И переводят (а делают это, как писал Пастернак, «целые литературы... культуры и народы») вовсе не потому, что несколькими языками обычно владеет и читает книги «в подлиннике» лишь меньшинство (про нашу интеллигенцию не говорю).

Переводят, только дорастая и дорастя до бескорыстного и доброжелательного интереса к ДРУГОМУ — любому, неведомому и, в этой своей неведомости, важному. А это свойство от природы не дано, но и хапком не берется, его нужно выработать (равно как потом — не растерять). Перевод — свидетельство наступающей зрелости культуры, выход наружу ее собственных плодоносных сил, отчего и не совместим ни с провинциальным ломанием, ни с державной спесью. Почему он и расцветает — если, конечно, это не простое техническое подспорье и не музейная мумификация — в пору, когда культура-воспреемница активна сама (заместить или симулировать эту активность перевод, сколько кто ни пыжься, не может).

Есть слова Мандельштама про «ворованный воздух»... Для меня, если говорить совсем коротко, «ИЛ» несла и несет на своих страницах разнообразие неведомого, в лучших публикациях удерживая по отношению к нему и неподдельную заинтересованность, и необходимую дистанцию (и панибратство, и придыхание тут равно нелепы, безрезультатны и, правду сказать, смешны). И журнал, по-моему, всякий раз проигрывал, когда каждый из трудившихся на него, вне зависимости от имени, звания и роли — переводчик, литературовед, работник редакции, член редколлегии — поступался живым, самым срочным и единственно существенным делом, отвлекался, скажу за Блоком, от «длинной мысли» ради привходящих и ближайших соображений самосохранения или конъюнктуры, злободневности или престижа. Но особенно — становясь, и в мыслях и на деле, в позу цензора и прикидываясь, а то и убеждая других, будто рассчитывает «на дурака» и так оно заведено и нужно. Кто здесь кого оставил в дураках, уже вроде бы ясно и ребенку. А вот потерь от этого недобросовестного лукавства вполне взрослых дядей и для литературы, и для авторов, и для журнала, и для его публики — не сосчитать. Иное дело, что не журнал или не всегда журнал был тут инициатором и что им одним оно не исчерпывается (издательства и всяческих ведомств комитеты тут тоже свою лепту вложили). Но так или иначе, образ словесности завершающегося века в сознании, мягко говоря, многих, даже лучших читателей у нас в стране еще и сегодня изуродован чудовищными ампутациями, протезами и рубцами.

Вопреки привычному самовосхвалению «самой читающей страны в мире», читают у нас вовсе не много и довольно скверно, а переводят — возьмите любой международный справочник, хотя бы статистический ежегодник ЮНЕСКО — просто до оскорбительного мало (в нынешних же суете и мути еще и с особой, наглой топорностью). Квалифицированной и сложной работы тут, как почти в любой сфере у нас, — опять, как всегда, непочатый край. Вес и возможности «Иностранной литературы» сейчас, при всей их понятной ограниченности листажом, регулярностью, тиражами, средствами и т.п., просто не с чем сравнить, поскольку никакого другого издания, целиком занятого именно этим делом, не было, нет и, насколько понимаю, не предвидится.

...Меня с журналом свели в середине семидесятых старый гослитовец Олег Степанович Лозовецкий, мой первый редактор, можно сказать крестный, и его жена (а теперь вдова) Елена Ивановна Малыхина, затеявшая издавать в Венгрии большой сборник стихов и прозы Эндре Ади и, как обычно, не жалевшая для этой работы ни времени, ни сил, привлекшая новых переводчиков, среди которых был и я, делавшая для нас подстрочники и растолковывавшая строку за строкой на словах, доставшая пластинки с исполнением стихов Ади и устраивавшая вечера с нашим чтением их переводов. Двум этим людям я обязан очень многим. На вечере в московском Доме литераторов они познакомили меня с Ларисой Николаевной Васильевой и с Татьяной Владимировной Ланиной, которая подборку Ади в 1977 году напечатала, с которой мы потом из года в год работали и которую недавно проводили в последний путь... Мне все чаще кажется, что словесность — и, может быть, прежде всего поэзия — это разговор ушедших с нерожденными, который мы, насколько удается, каким-то образом слышим и языку которого, по мере хотения и прилежания, учимся. Учимся, мало-помалу втягиваясь и переселяясь в это наречие сами, так что если после нас в конце концов что и остается, так это оно.

На 3-й странице обложки — сотрудники журнала «Иностранная литература». Они — разные люди, но объединяет их искренняя любовь к литературе, особенно иностранной, поэтому они и сфотографировались сообща на редакционном крыльце. В ознаменование сорокалетнего юбилея журнала.

Первую годовщину «ИЛ» отмечали на широкую ногу, в «Праге». Тогдашний главный редактор сказал тогдашнюю речь: «Партия... правительство... неусыпная забота... интересное время» и т.д. Член редакционной коллегии Сергей Образцов попросил слова от беспартийных и сказал: «Всю жизнь я живу в интересное время. Как же я устал жить в интересное время!»

Образцов вообще славился умением говорить некстати, снижать уровень ритуала. Когда журнал въезжал в свое нынешнее жилье — особняк на Пятницкой, — литературно-партийные сановники личным присутствием по обычаю освящали новоселье. Образцов и на этот раз смазал чинную картину водворения. Окинув взглядом с полдюжины дверей, выходящих в длинный коридор, он заявил во всеуслышание: «Здесь можно было бы устроить роскошный публичный дом». «Этот кукольник!» — возмутились сановники. Только кукольника в редколлегии и видели.

Казенное целомудрие — обширная тема, и память о нем хранится в редакционных преданиях. Примеров не счесть, но вот некоторые.

Название пьесы Ж.-П. Сартра «Почтительная проститутка» вогнало редколлегию в краску, и произведение было озаглавлено «Лиззи» — по имени главной героини.

Фраза «Он ее обнял и поцеловал» показалась в 50-е годы слишком фривольной, и после глубокомысленных сокращений ответственный секретарь оставил «Он ее...».

Сравнительно недавно главный редактор объяснял нежелание печатать «Лолиту» тем, что у него дочь-подросток. И добавил, что после прочтения романа Набокова им с женой «было стыдно смотреть в глаза друг другу».

В «Дженни» Э. Колдуэлла из соображений стыдливости в эротических сценах всюду была выброшена кровать, а род занятий персонажей оставлен без изменений. Получилось вовсе непотребно. Принудительным оправданием очевидной несуразицы были ставшие в редакции крылатыми слова одного из начальников: «Это не наш секс».

Совершенно естественно, что при такой монастырской чистоте нравов сотрудники журнала ничтоже сумняшеся выправляли «оргазм» на «организм» и только диву давались, когда кому-нибудь из литературных героев путем загадочных манипуляций удавалось испытать несколько организмов кряду. А очередной редактор, встретив в рукописи выражение «альковная сцена», начертал на полях: «Альков — это ниша».

Советское пуританство распространялось не только на сферу интимных отношений. Скажем, в «Мертвой зоне» Стивена Кинга Сару (имя героини) от смущения переименовали в Сэйру. И все это, так сказать, добровольный встречный план. Но ведь и Главлит без дела не сидел и получку отрабатывал!

Неудивительно, что в полном согласии с учением З. Фрейда подавленные желания вытеснялись в подсознание и давали о себе знать ошибочными действиями, в данном случае опечатками. Они красноречивы (см. Приложение).

Не обошлось и без вмешательства потусторонних сил. Давным-давно один высокопоставленный блюститель (тот самый, которому Сталин не мог найти других писателей) пообещал, что «Смерть в Риме» Кёппена будет напечатана только через его, блюстителя, труп. Свершилось по сказанному. «Смерть в Риме» увидела свет, но к тому времени начальник был там, «где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин».

Вспоминать и описывать сейчас все это так же чудно, как чудно было в брежневские времена читать журнал «Корея». Но это, к сожалению, правда. Не в Корее, а на Пятницкой, 41 преуспевающий литератор и член редколлегии говорил о переводах И. Бродского: «Если бы мне сказали, что это средний поэт, которому нечего есть, я бы напечатал. Но когда мне говорят о таланте, я печатать не могу и не буду».

Или такую вот игру ума обнаруживали внутренние редакционные рецензии: «Явный уход из сферы «нового романа», хотела того Саррот или не хотела», позволяет «организовать вокруг этого издания кампанию против «антиромана». Как хотите, так и квалифицируйте это, с позволения сказать, литературоведение.

Все это в прошлом, дай Бог, невозвратном. Но за невзгодами и злобой дня интеллигентным людям (а на них журнал и рассчитан) не надо забывать, что свобода слова и печати — благо безусловное, первичное, абсолютное. Как справедливо было замечено, вопрос так не стоит: хлеб или свобода. С исчезновением свободы начинаются перебои и с хлебом.

Последнее десятилетие принесло всем нам много и хорошего и плохого, много сомнительного. Но одно несомненно: сотрудники «ИЛ» привыкли и полюбили работать в полную меру отпущенных им ума, способностей, вкуса; и отвыкли (а любить — и раньше мало кто любил) снабжать вполне самодостаточные литературные произведения хитроумными предисловиями с формулировками вроде: «советский читатель сумеет разобраться». Разумеется, сумеет.

С.Г.

«НАМНОГО ЛЕТ ЗАДОЛГО», или ИЗ ТАЙНОГО АРХИВА РЕДАКЦИИ

За сорок лет через редакционные кабинеты проистекла целая Лета рукописей. Лишь малая (и будем надеяться, лучшая) их часть прошла по всем кругам издательского цикла и попала к читателям, превратившись в 120 тысяч страниц печатного текста. Редактор, как фронтовой хирург, всякое повидал на своем веку, зрелищем истерзанной и кровоточащей плоти русского языка его не проймешь. Но бывают особенно впечатляющие ранения и жестокие травмы, заставляющие содрогнуться даже заскорузлую редакторскую душу. Память о них живет в редакции и пугливо передается новым поколениям литсотрудников. За десятилетия набралась целая кунсткамера, наполненная монстрами и уродцами художественного перевода. Зачитывание вслух экспонатов этой тайной коллекции давно стало любимым аттракционом журнальных планерок и застолий. В честь славного юбилея мы решили приоткрыть дверцу нашего строго засекреченного архива, чтобы и читатель мог прикоснуться к язвам родной словесности, а заодно получить некоторое представление о тяготах редакторского труда.

СТИЛИЗМЫ

Этот раздел в нашем архиве представлен наиболее мощно. Переводчики и авторы во все времена любили о простом сказать непросто, одним словом, «сделать красиво». Например, так:

За исключением отъявленных упрямцев ежедневный бифштекс не является здесь незыблемой традицией.
Я всегда голодна, в этом большая драма для моих бедер.
Я усиливаюсь ускорить движение.
Он зримо видел ряды виноградников.
Она... отрезала себе кусок хлеба от булки.
...на лице у Эмильенны появилось эстетическое удовольствие.
Клэр обладала большими запасами чувства долга.
Лишенное тела белое одеяние могло быть похоронным нарядом Клэр.
Маленькая девочка в застывшей на коленях у матери позе.
Они разразились обоюдным взрывом веселого смеха.

АРИСТОКРАТИЗМЫ

Все истинно красивое аристократично, а все истинно аристократичное бывает, разумеется, лишь в описаниях заграничной великосветской жизни. Тут главное - держаться изящно, чуть-чуть оттопыривая мизинец.

И уж конечно, на борту не будет столько дам, которым мне надо целый жаркий душный день в порту в Монте-Карло гладить их бальные платья, чтобы вечером им пойти в них во дворец на бал.

Когда вымыли руки и покончили с вечерним посещением уборной...

Сотни элегантных карет и бесчисленных лошадей...

Он терпеть не мог обдрипанности.

Виски с примесью содовой.

Холеная дама с парой добрых карих глаз, сквозь которые она наблюдала чужую жизнь.

...среди изысканных мебелей...

Почему ты еще не за роялью?

Вы такая нескладеха в своих мерзких моднючих тряпках.

Сколько страсти, сколько экспрессии и мятежных движений переводческой души погубил безжалостный редакторский карандаш!

Что это за женщина прется пешком? Куда ведут ее все убыстряющиеся вдоль дороги широкие шаги?

Ради существования я должна тратить тонны усилий всех своих членов...

Я вся, кроме ушей, покрываюсь бледностью.

Не долго думая, я вцепился в торчащую над спиной шею, оттянул ее вместе с головой назад и с силой стукнул сбоку.

Джон из последних сил боролся со слипавшимися веками.

Тело принадлежало мужчине с развороченной выстрелом головой.

Иной раз и редактору бывает досадно, что рамки живаго великарускаго слишком тесны и не успевают вовремя раздвинуться, дабы вобрать лучшее из рождающейся прямо на глазах новой идиоматики.

Намного лет задолго.

С трудом пополам.

Туберкулез заразителен.

Парижские бюргеры.

Еврейская синагога.

Объедки пищи.

В отдельном особняке.

Ветер в деревне дул как попало.

Наибольший восторг у редакторского племени во все времена вызывали смелые эксперименты с расширением возможностей человеческого организма.

Его мятое лицо с залысинами на висках.

Ее нос и рот поджаты.

Его рот задерживался, дышал и шевелился у самой кожи.

Лицо - слепок с черепа.

Ногти у нее были искусаны до мяса.

Кейт крепко сцепила губы.

У Кейт язык прирос к горлу.

Без комментариев.

Джон подвел Мэри к софе и сел на нее.

...в ложбинке между рядами помидор.

Купальный костюм не мог скрыть его чувственного возбуждения.

Я не должна подчиняться любовному совокуплению, не испытывая желания.

Тело у него было худое и не располагающее.

Хороших тебе снов, и пусть я буду участвовать в них.

Любовь и желание сливались в нем с ненавистью и гневом на ее счет.

Она выглядела без одежды с большими изъянами.

Флюиды взаимной тяги так и перекатывались от одного к другому.

...брошь, приколотая к верхнему склону ее туго затянутой левой груди.

Было бы несправедливо писать гадости об авторах и переводчиках, не упомянув и о собственных достижениях. Сами редакторы тоже, бывало, вносили скромный, но весомый вклад в сокровищницу наших «измов». Вот кое-что из нажитого:

Действие романа происходит в заграничной европейской стране, где имеются горы и бесчисленные замки. (*Из внутренней рецензии*)

Арп Ганс (1887 — 1966) — французский поэт, художник и скульптор, входил в парижскую группу художников-сюрреалистов, известен своими изогнутыми формами. (*Редакционная сноска*)

Пальцы усеяны бриллиантами.(*После редакторской правки*)

ПРИЛОЖЕНИЕ

TOP TEN, то есть ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ ОПЕЧАТОК в истории «ИЛ»

Напечатано:	***Следует читать:***
Штурмбаннфюрер СССР	Штурмбаннфюрер СС
Пистолетница	Писательница
Парнография	Порнография
Хулиган Гримау	Хулиан Гримау
Невразумительные возможности социалистического реализма	Непревзойденные возможности социалистического реализма
Рождественские трепари	Рождественские тропари
Мудрец являлся ко двору со своею мотней	Мудрец являлся ко двору со своею лютней
На ее лице играл горячий румынец	На ее лице играл горячий румянец
Намыленная икона	Намоленная икона
Марксизм де Сад	Маркиз де Сад

УМБЕРТО ЭКО (UMBERTO ECO; род. в 1932 г.) — итальянский ученый и писатель, профессор, читает курсы лекций по семиотике в Болонском университете, директор Института зрелищных искусств, почетный доктор университетов США, Дании и др. Автор книг «Эстетическая проблематика у Фомы Аквинского» («Il problema estetico in Tommaso d'Aquino», 1956), «Открытое произведение» («Opera aperta», 1962), «Поэтика Джойса» («Le poetiche di Joyce», 1966), «Трактат по общей семиотике» («Trattato di semiotica generale», 1975), «Lector in fabula» (1979), романа «Остров вчерашнего дня» («L'isola del Giorno prima», 1994). В «ИЛ» (1988, № 8—10) напечатан перевод романа У.Эко «Имя розы», за который писатель был удостоен крупнейшей итальянской литературной премии «Стрега» (1981) и французской премии «Медичи» (1982).
Роман «Маятник Фуко» («Il pendolo di Foucault». Milano, Bompiani, 1988) печатается в журнальном варианте.

ДЖОН АПДАЙК (JOHN UPDIKE; род. в 1932 г.) — американский писатель, член американской Академии искусства и науки, автор многих романов, сборников рассказов. Известность и признание пришли к Апдайку после выхода в свет его романов «Кентавр» («The Centaur», 1963; Национальная книжная премия; рус.пер. «ИЛ», 1965, № 1, 2) и «Кролик, беги» («Rabbit, Run», 1960; рус. пер. 1979), за которыми последовали «Кролик исцелившийся» («Rabbit Redux», 1971), «Кролик разбогател» («Rabbit Is Rich», 1981; рус. пер. М., 1986), «Кролик на отдыхе» («Rabbit at Rest», 1990). В «ИЛ» напечатаны также его романы «Ферма» (1967, № 4), «Давай поженимся» (1979, № 7, 8), рассказы из книг разных лет (1984, № 5; 1992, № 10).
Рассказ «Игра с динамитом» («Playing with Dynamite») взят из сборника «Лучшие американские рассказы» («Best American Short Stories». Boston — New York, Houghton Mifflin Company, 1993).

ЧЕСЛАВ МИЛОШ (CZESŁAW MIŁOSZ, род. в 1911 г.) — польский поэт, прозаик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии (1980). С 1951 г. — в эмиграции (во Франции и США). Профессор славянских языков и литератур в Калифорнийском университете в Беркли. Первые книги стихов Милоша выходили в Вильно в 1933 — 1936 гг. и в Варшаве в 1940 г. подпольно. Автор книг стихов: «Спасение» («Ocalenie», 1945), «Дневной свет» («Swiatło dzienne», 1953), «Город без названия» («Miasto bez imienia», 1969), «Где восходит солнце и куда садится» («Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada», 1974), «Гимн о жемчужине» («Hymn o perle», 1982), книги «Подневольный разум» («Zniewolony umysł» , 1953), сборников эссе «Властитель мира» («Emperor of the Earth», 1977), «Поиски родины» («Szukanie ojczyzny», 1992) и др.
В «ИЛ» стихи и проза Ч. Милоша печатались в 1991, № 5; 1992, № 8,9; 1995, № 1.
Публикуемые стихи получены редакцией в рукописи.

МИЛОРАД ПАВИЧ (МИЛОРАД ПАВИЋ; род. в 1929 г.) — сербский писатель, литературовед, доктор филологических наук, профессор университетов в Белграде и Нови-Саде. Автор поэтических сборников, сборников рассказов, в том числе «Русская борзая» («Руски хрт», 1979), «Новые белградские рассказы» («Нове београдске приче», 1981), романов «Хазарский словарь» («ИЛ», 1991, № 3), «Пейзаж, нарисованный чаем» («Предео сликан чајем», 1988; рус. пер. 1991), «Внутренняя сторона ветра» («Унутрашња страна ветра», 1991). На русском языке печатались также рассказы М. Павича в сборнике «Набросок сценария со счастливым концом» (М., 1984).
Пьеса «Вечность и еще один день» («Заувек и дан више») опубликована в Белграде в 1993 году (Београд, «Бата», «North American», «Орбис»).

ГЕНРИ МИЛЛЕР (HENRY MILLER; 1891 — 1980) — американский писатель. В 30-х годах жил во Франции, где издал около десяти книг. Автор трилогии «Тропик Рака» («Tropic of Cancer», 1931), «Черная весна» («Black Spring», 1938) и «Тропик Козерога» («Tropic of Capricorn», 1938). Трилогия была запрещена в США за безнравственность. В 1961 году запрет снят Верховным судом. В числе выпущенных в последующие годы книг — трилогия «Благостное распятие» («Rosy Crucifixion», 1949 — 1960), путевые заметки о поездке по США «Кондиционированный кошмар» («The Air-Conditioned Nightmare», тт. 1,2, 1945 — 1947), сборник эссе «Биг Сур и апельсины Иеронима Босха» («Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch», 1958), книга «Тихие дни в Клиши» («Quiet Days in Clichy», 1965; рус. пер. 1993), статьи, воспоминания и др. В «ИЛ» напечатаны роман Генри Миллера «Тропик Рака» (1990, № 7, 8), этюд о Рембо «Время убийц» (1992, № 10).
Рассказ «Дьеп — Нью-Хейвен» («Via Dieppe — Newhaven») взят из первого издания сборника Г. Миллера «Макс и белые фагоциты» («Max & White Fagocites». Paris, Obelisk Press, 1938).

ЭМИЛЬ АЖАР (ÉMILE AJAR) — псевдоним известного французского писателя Ромена Гари (ROMAIN GARY; 1914 — 1980; наст. имя Роман Касев). Под этим псевдонимом вышли романы «Голубчик» («Gros-Câlin», Mercure de France, 1974), «Жизнь впереди» («La vie devant soi», 1975; Гонкуровская премия; рус. пер. в Библиотеке «ИЛ», 1988), «Псевдо» («Pseudo».

1976), «Печаль царя Соломона» («L'angoisse du roi Salomon», 1979). «Иностранная литература» напечатала романы Ромена Гари «Обещание на рассвете» (1993, № 2) и «Воздушные змеи» (1994, № 1, 2).
Роман «Голубчик» стал претендентом на премию «Ренодо», но Ромен Гари, не желая раскрывать псевдоним, снял свою кандидатуру.

БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1940 г. в Ленинграде) — поэт, эссеист, переводчик. Лауреат Нобелевской премии (1987). В 1972 г. был вынужден эмигрировать из СССР и с 1974 г. живет в США. Пишет на русском и английском языках. Стихи И. Бродского с 1965 г. выходили в США. Автор многих сборников стихов, в том числе «Остановка в пустыне» (1970), «Конец прекрасной эпохи» (1977), «Новые стансы к Августе» (1983), «Урания» (1987) и др., сборника эссе «Меньше единицы» (удостоен премии как лучшая литературно-критическая книга Америки за 1986 г.). В «ИЛ» напечатаны его переводы пьес «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда (1990, № 4) и «Говоря о веревке» Брендана Биэна (1995, № 2), эссе «Меньше единицы» (1992, № 10), «Большая элегия памяти Джона Донна» и переводы стихов Дж. Донна (1988, № 9).
Эссе «Памяти Марка Аврелия» («Homage to Marcus Aurelius») было напечатано в альманахе «ARTES» (1994, volume I), «The Ecco Press» (U.S.A.) and «Natur & Kultur» (Sweden).

■Переводчики:

КОСТЮКОВИЧ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА — литературовед, переводчик. В ее переводах публиковались стихи итальянских, испанских, французских поэтов. В «ИЛ» напечатан перевод романа Умберто Эко «Имя розы» (1988, № 8—10).

БЕРНШТЕЙН ИННА МАКСИМОВНА — переводчик с английского. В ее переводах изданы романы «Моби Дик» Г. Мелвилла, «Смерть Артура» Т. Мэлори, «Возвращение в Брайдсхед» И. Во, «Черный принц» А. Мердок («ИЛ», 1974, № 8—11, совместно с А. Поливановой), «Костры амбиций» Тома Вулфа («ИЛ», 1991, № 10,11 совместно с В. Бошняком), повесть «Десятый» Грэма Грина («ИЛ», 1986, № 12), рассказы Дж. Апдайка, Дж. Сэлинджера, В. Притчетта и др.

МОРЕЙНО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1964 г.) — поэт-переводчик с немецкого и польского языков. В его переводах печатались стихи Пауля Целана, Готфрида Бенна, Гюнтера Айха, Карла Кролова («ИЛ», 1993, № 8), Хайнца Чеховского, «Немецкая эпиграмма» («ИЛ», 1994, № 9) и др.

ВАГАПОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА — кандидат искусствоведения, литературный и театральный критик, переводчик с сербского, хорватского, словенского и македонского языков. В ее переводах изданы новеллы И. Андрича, пьесы М. Крлежи «Агония», «Арестей» и др., а также его публицистика, роман «Поминки» Б. Зупанчича, роман «Пейзаж, нарисованный чаем» М. Павича (совместно с Р. Грецкой), пьесы М. Матковича, Г. Стефановского и др.

САВЕЛЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА — филолог-славист, переводчик с сербского и хорватского языков. В ее переводах публиковались: повесть «Лесной хозяин» Й. Радуловича, романы «Хазарский словарь» М. Павича(«ИЛ», 1991, № 3) и «Форсирование романа-реки» Д. Угрешич, рассказы Д. Илича, работы югославских авторов по истории, социологии и политологии. Автор ряда публикаций по современной югославской литературе в периодике нашей страны и СФРЮ.

МАВЛЕВИЧ НАТАЛИЯ САМОЙЛОВНА — переводчик с французского. Перевела «Сказки кота Мурлыки» М. Эме, «Песни Мальдорора» Лотреамона («ИЛ», 1993, № 1), «Портреты-воспоминания» Ж. Кокто (Библиотека «ИЛ» , 1985), роман А. Сарразен «Перелом» («ИЛ», 1993, № 10, 11), рассказы Б. Виана и др.

■

ИЛ
ИНОСТРАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный "ИНДЕКС" с 500 000 ссылками, бесплатный "ЕЖЕГОДНИК" с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические "ЕЖЕГОДНИКИ".

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.

Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.

"GREAT BOOKS" - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Орвелла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.

CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - **"Britannica Discovery Library"** в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.

"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.

"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма

"Мир Знаний",
эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"
Телефон в Москве: (095) 161 0775, 161 4049
Факс : (095) 161 0675
E.-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1995, №7, 1-288